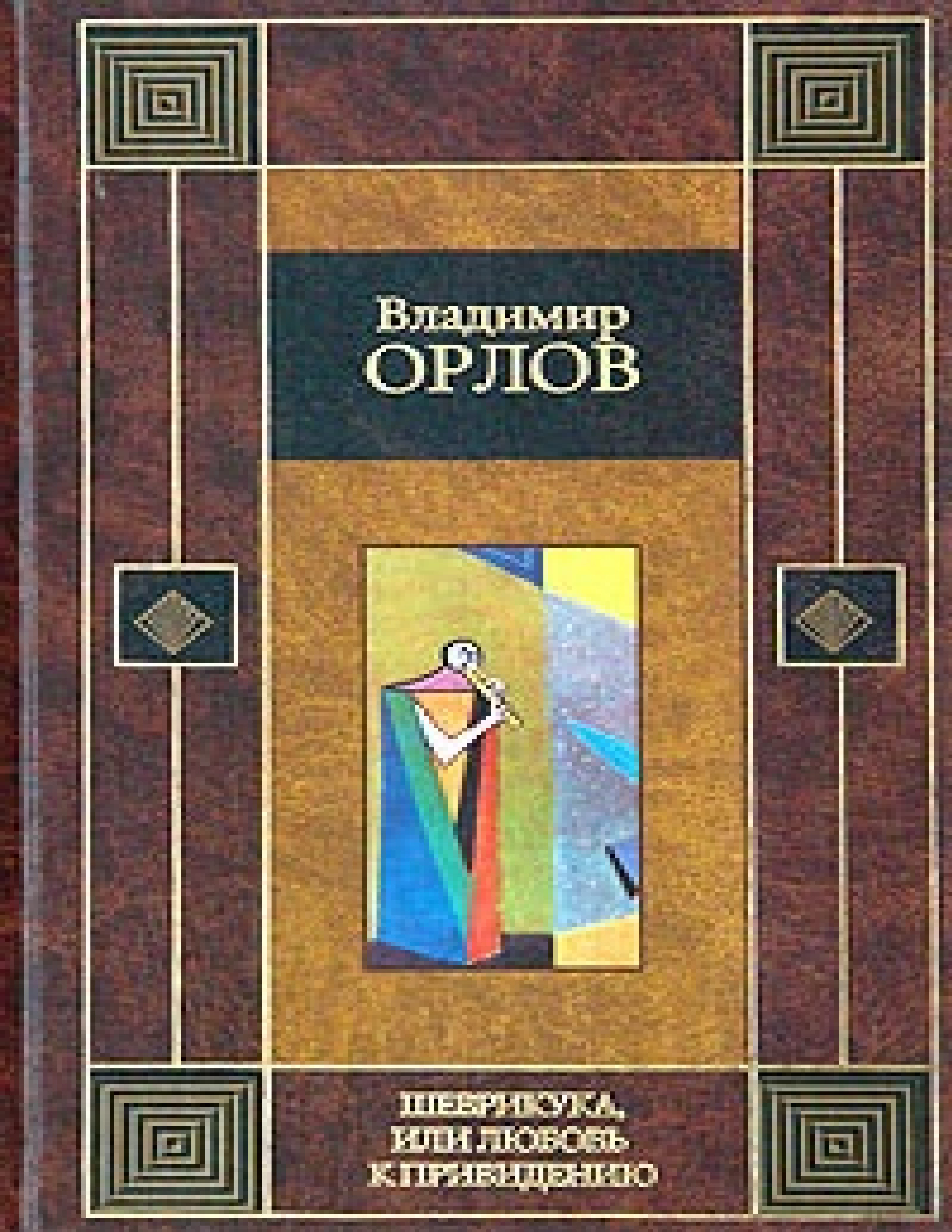
Владимир
ОРЛОВ
Шеврикука,
или любовь
к привидению

Annotation

Владимир Викторович Орлов – один из самых самобытных писателей нашего времени. Используя приемы фантастики и романтического реализма, он пишет о творчестве, о положении художника в обществе, о любви, о любимой Москве. Романы Владимира Орлова изданы во многих странах мира. Роман «Шеврикука, или Любовь к привидению» завершает триптих «Останкинские истории». Шеврикука – современный домовой, плут и проныра, оказывается в фантастических условиях нынешней московской смуты. В остросюжетном столкновении самых разных персонажей – привидений, о которых никто ничего не знает, отродий, происхождение которых покрыто мраком, технических гениев и чиновников, оказавшихся без работы, Шеврикука пытается отстоять собственное достоинство и право оставаться самим собой.

Владимир Орлов.
Шеврикука,
или Любовь к привидению

1

В Останкине, как известно, живут коты, псы, птицы, тараканы, люди, демоны, ведьмы, ангелы, привидения, домовые и иные разномыслящие существа. Среди прочих и Шеврикука.

Домовым Шеврикука был приписан к зданию №14 по 5-й Ново-Останкинской улице. Дом этот тянулся (и нынче тянется), не перегибаясь в спине, почти от улицы Цандера до Аргуновской. От созидателей он получил почтительный титул «Дом-корабль», в обществе же назывался «Землескребом». Если бы нашлись умельцы и поставили дом №14 на попа, имелись бы основания считать его небоскребом. Но умельцы в ту пору добывали прокорм в Атлантик-Сити, Осаке, Абиджане, местные же труженики смогли лишь разложить новое останкинское жилище по земле, и Шеврикука получил в нем должность домового-двухстолбового. Название должности вывел, и, видно, натощак, какой-нибудь Почеши-Затылок или Раздолбай-Компьютер, задрипанный канцелярист с пятнами от фломастера на ушах, Шеврикуке скучно было его произносить. Хотя должность его и считалась на три степени выше пустячной. Но ее ли был достоин Шеврикука? Вот тебе раз, пеняли ему, и так вовсе не дом в три оконца из гнилых уже бревен, с летними капризами мух, с душевными томлениями угасающего сверчка, со злющей старухой владелицей был уготован ему, а два столба в Землескребе, два подъезда о девяти покоях, этажах то бишь, с четырьмя квартирами при каждой двери лифта. Что врут, ворчал Шеврикука, откуда нынче три оконца? А в кураже он ерепенился, шуршал, шумел, он-де мог бы держать весь дом. «Ну вот, – замечали ему. – А куда же девать кадры?» Кроме Шеврикуки, поставлены были в Землескреб, по причине его протяженности, еще восемь домовых-двухстолбовых. Шесть из них, судя по ведомости, размусоленной все тем же невидимым канцеляристом, Почеши-Затылок, Дать-Ему-В-Рожу, Раздолбай-Компьютер, были и не коренными, московскими, а вывезенными из поселений, оказавшихся под водой. Вода, скорее всего, имелась в виду историческая. «Своих, что ли, не хватает? Мало ли в Москве домов рушат! – возмущался Шеврикука. – Зачем же еще и из далей завозить?» «Подремите в холодильнике, – говорили ему. – Экий вы горячий». А дальних не только завозили, иные из них пристраивались сами, сами пробивались из мест опустевших, помятых, погоревших, потопленных или осознающих себя помятыми или потопленными. Москва им представлялась в их запечьях и

закутках Вертоградом многоцветным, где и стоило осуществлять служебное рвение, растеплять потухшие было привычки и предания в надежде, что тут-то – и нигде более – накормят пряником и наградят серебряной ложкой. Шеврикука не был высокомерен, сам когда-то в пору затей государя Алексея Михайловича и просвещенного боярина Ордина-Нащокина приехал в первопрестольную в обозе из-под Можайска, в мешке с горохом, но уравнять себя с новоприобретениями столицы, на его взгляд, неумехами, однако наглецами, не имел сил. Оттого порой его числили в оппозиции и в засаде. Впрочем, причину тут выводили неверно, на домовых из соседних подъездов Шеврикука серчал нечасто и по делу, а так в отношении к ним был ровен и терпелив. Недовольства его и ворчания проистекали от иных досад.

Потянул бы он весь Землескреб. Почему бы и не потянуть? При нынешней-то нетребовательности москвича, напуганного смутой жизни, непременно потянул бы. Если бы захотел. Если бы его попросили. Но никто не просил. И не всякую просьбу Шеврикука согласился бы уважить. Если бы стали его улещивать останкинские чины и краснобаи, он бы их унизил отказом. А те, чье расположение могло оказаться и уместным, не просили. Хуже того, было известно: те-то – не все, но один из тех – в разговорах, возможно, и печать налагающих, называли Шеврикуку плутом, лодырем, вралем, пройдохой. Еще и пронырой. И еще – бузотером. Ну ладно бы просто называли. Мало ли чего не наговорят сгоряча болтуны, пусть и самые рукодержащие. А то ведь и расставляли для него шлагбаумы. Может, даже и капканы, коли не брезговали охотничьим промыслом. Впрочем, капканами Шеврикука мог себя наградить и в мечтаниях. Кто он был таков, чтобы ставить ему капканы? «А вот таков! Таков! – раззадоривал себя Шеврикука. – Что и капканы закажут!»

Должен заметить, что среди прочих комплиментов слова «плут» и «проныра» менее всего обижали Шеврикуку. Ну плут, ну проныра – и что здесь дурного? Это именно в пятистенке с котом на печи, со сверчком, с хозяином, его женой и чадами был хорош тишайший лежебока, лишь бы дом благоденствовал и не прыгали бы по столу миски с борщом. А нынче-то, когда обслуживать приходится и не людей, не жильцов на Земле, а квартиросъемщиков, персонажей дэзовских бухгалтерий, с излишеством набитых в братских подъездах, друг от друга отличаемых фотоликами на карточках покупателей, натурами скандальными, как нынче-то не крутиться плутом и пронырой? Много ли выйдет проку без плутовства и пронырства? То-то и оно. А он, Шеврикука, был способный… И слово «враль» его не особенно раздражало. Ну враль, а кто теперь не враль? Хотя

деликатнее и справедливее было бы аттестовать его фантазером. Или даже мечтателем. С воображением. Но то, что его отнесли к лодырям и лоботрясам, было Шеврикуке досадно. Сами кто они будут, аховые работнички! Только что дадено им носить в парадные дни кружевные воротники, штаны с витым шнуром-сутажом, а если парадные дни зимние – валенки, подшитые тремя слоями красной галошной резины и утепленные внутри кроличьим мехом. И опять же ходят легенды об их парадных бязевых кальсонах, будто бы они на гусином пуху и украшены сердитыми желтыми цветами с жостовских подносов. Да, унижать квартальных домовых, обзывать их, топать на них ногами в этаких валенках и кальсонах им дозволено статусом. Но дообзываются и дотопаются.

Ну, предположим, теперь он лодырь и лоботряс. Оттого что надоело. Обрыдло. Сам себе позволил быть лоботрясом. Что нынче усердствовать в Останкине? Главное – не разрешить себе воровать, до этого Шеврикука еще не добрел и вряд ли добредет. Но судить о его сути, лоботряс он или не лоботряс, мог лишь он сам, а не всякие жующие пастилу чины с плоеными кружевами у шей (от испанских грандов, что ли, или от лотарингских гуманистов? Кому-то ведь, начитанному, ударило в голову, и зазвенели коклюшки). При этом, конечно, Шеврикука соображал, что, если бы его попросили и призвали, он бы и брыжжи одобрил, и валенки, и парадные кальсоны, но не призывали негодяи, отцы-командиры, держали в Землескребе, числили лодырем и все же наверняка ставили ему капканы. А ведь даже теперь при всех числителях и знаменателях судьбы Шеврикуки его подъезды в Землескребе были самыми опрятными. Знать об этом кому следует полагалось.

Удивительно опрятными. И не из-за намеренных напряжений Шеврикуки. Просто сам он был опрятен, таким сложился в ходе воспитания чувств и привычек. Возникали недоумения с мылом, зубными пастами, мужскими одеколонами, дезодорантами, и Шеврикука страдал. Хорошо хоть рядом произрастал Ботанический сад с травами и кореньями. Правда, на варево лечебных и чистых снадобий требовалось время. Шеврикука клял отечественную парфюмерную промышленность, бывшую в пору энтузиазма Трестом Жиров. «Где теперь наши знаменитые духи „Красная Москва“, они же до Учредительного собрания – французские, „Подарок императрице“, где их флакон с красной бумажкой? Ни духов, ни флакона!» – гневно восклицал Шеврикука. И варил снадобья, не торопя жидкость. Зачастил и в баню. Благо новые либеральные установления предполагали полуденные отгулы за ночные труды. А Шеврикуке хватало и

часа полтора сна в календарные сутки. Впрочем, и прежде, даже и при самых коварных порядках, он находил способы путешествий в парную. Хоть бы и прикинувшись березовым веником.

Опрятной была и одежда Шеврикуки, тем более что он добывал ее из воздуха. Когда-то Шеврикука (звали его иначе) и сухой горошиной мог проехать в мешке из можайского села Колычево в стольный град. Были времена, и не столь отдаленные, когда домовым и некоторым иным существам было предписано рожу человеку не казать, фигуры не иметь, внешним видом никого не пугать и не очаровывать, а лишь невидимо производить звуки и перемещать предметы. «А русалки? – роптали домовые на сходах. – Им можно! У них всего в обилии. И там, и тут. И чешуя. А что они умеют, кроме как щекотать? А лешие, а водяные! У них в сырости и в туманах фигуры, пожалуйста, проступают…» «Русалки нас не касаются, – разъясняли смутьянам. – Это потопшие девы… А лешие и водяные и обязаны пугать смутными фигурами». Понятно, что выражения недовольства и отпора ему приводятся здесь чрезвычайно упрощенные и простодушные, а домовые были вовсе не амебы и не инфузории. Впрочем, что мы знаем толком и про амебы с инфузориями?..

Но жизнь-то человека катилась, кувыркалась, неслась, отправляя высокомерием заблуждений домовых вместе со всякими костяными ногами, мальчиками-с-пальчик, обижающими людоедов, в фольклорные издания, в сноски к заключениям ученых умов, в мельтешение цветных картинок на экранах ради потехи детишек, и Шеврикука все чаще и чаще позволял себе, глаз кося на крутые предписания, гулять по Москве в человечьем подобии. Да разве он один! И никого своим присутствием он не смущал. Этот когда-то лишний человек в деревне, в слободе, еще в сороковые годы даже и в Москве, во дворах нашего Напрудного переулка и уж тем более в коммунальной квартире, вызывал любопытство и требовал разъяснений. Но сколько в столетии случалось столпотворений, перемещений народов, несуразиц с брожением умов и населения, погоняний кнутом и револьвером, каш людских, в коих удачникам полагалось ходить по головам, телам и душам. При них никаких разъяснений от лишних существ не требовалось. Словом, немало Шеврикука получил уроков прилежания и поведения. А теперь-то, когда Москва уже и не проходной, а пролетный двор, сосуд суеты, куда можно плюнуть, но плюют на тротуар; скопище людей, где сосед не знает соседа, где полно заезжих зевак, добытчиков с сумой на колесах, трибунов при микрофонах, командированных усовершенствователей народного блага, негодяев с автоматами, ножами и взрывными устройствами, виртуозов

наперстка, летучего жулья, купцов с вареными штанами, бомжей, пришельцев, – чего теперь-то было опасаться в прогулках по городу домовому Шеврикуке? Паспорт если только или визитку предложат показать в магазине. Но для Шеврикуки вырастить сейчас же в кармане паспорт, талоны, карточки и еще что там введут было делом простейшим.

Помимо всего прочего, в уложениях произвели поправки, на взгляд авторитетного домового Артема Лукича исторические. Или судьбоносные. И раньше множество оговорок, конечно при угрозе непременных и полезных наказаний, позволяло домовым появляться «в телесном виде вблизи основного и первопричинного городского населения», под которым, естественно, подразумевались люди. Но появляться в случае крайней служебной необходимости, лишь «инкогнито», не открывая принадлежности к своему сословию и уж тем более – тайн сословия. (Слово «сословие», видно, льстило умам, его употребившим, или даже казалось им дерзким из-за объявленной в нем претензии, но никак не передавало сути той живой ветви мироздания, к которой относились и домовые.) В последние же сезоны, когда, по наблюдениям блюстителей правил, в мире, а у людей и в Москве в особенности, все разболталось (в Останкине – тем более), домовым «в телесном виде» было «дозволено свободное посещение людей». С отвагой дозволено. Или даже с вызовом. Этот вызов Шеврикука сначала почуял, а потом и определил на ощупь, а потом и вычислил. Эко на что замахнулись забияки или гордецы из их робкого и прикладного по предназначению сословия! Не вдели ли они при этом гвоздики в петлицы или серьги в уши, не запели ли хором: «Мы с птицами будем на равных!», не побросали ли в костры муаровые ленты с вечными на них словами «Все для человека!»? Нет, конечно, такого никто и позволить себе не мог, никто и жеста не произвел с покушением на основы, что уж говорить о кострах, лишь несколько строк в документе было вычеркнуто и вписано тихонькое: «дозволено свободное посещение…» Но все же, но все же… Шеврикука чуял…

Немало нашлось и недовольных новым правовым допущением. Староверы всегда отыщутся. О прогулках Шеврикуки домоседы ворчали и раньше. Прохвост, он и есть прохвост, утешали себя, ему и зачтется. Сами же они продолжали невидимо кряхтеть и стонать в чуланах, в подполах либо на чердаках, а теперь на антресолях, в водопроводных трубах, полагая, что способствовать домашнему строительству они могут мыслями или же душевными посылами. Все иное – ложно. Телесный вид они принимать не собирались, лишь, получая повестки, выползали какими-то закорючками, кривыми засохшими колобками в присутственные места на

выволочку или для поощрений. Впрочем, и с такими случались катавасии. Совершенно неожиданно никому не ведомый как личность, известный лишь по прозвищу Пост-Одоевский, домовой с улицы Кондратюка, из дряхлых ветеранов, вылез, наверное, из банки с чайным грибом, воплотился в бугая-отставника в выцветшем кителе со следами погонов и стал ходить на все демонстрации – и в Лужники, и на Манежную площадь, и к телецентру. Каждый раз он волочил с собой транспарант «Уравняем домовых в правах с таксистами и работниками метрополитена!». А потом завел и флаг с четырьмя полосами – фиолетовой, черной, оранжевой и серой. Был он в толпе уместен, никто его ни о чем не расспрашивал и не обижал. К тому же он так научился орать, что и желающих обидеть его не отыскивалось. Опять же никому не ведомый и не видимый домовой Попичкуев, из тех же колобков и закорючек, превратился вдруг в учтивого господина с «дипломатом», знающего четыре языка, слез со своего шестка и принялся играть на бирже. А домовой Непетухин, вылупившись из скорлупы и приобретя бороду, за пятерки писал на Арбате портреты проходящих мимо красавиц.

«Ох, бедовые! Ох, бедовые! – думал о них Шеврикука. – То дремали в оцепенении, а теперь ишь как раззадорились! А в подъездах дела запустят…» Впрочем, они запустили и без демонстраций, бирж и Арбатов, ему-то что. Да и стиль нынче в городе был такой, что его, Шеврикуки, опрятность могла показаться порочной или корыстной.

Сам Шеврикука транспарантов и знамен не носил, в уличной толпе был свой, ничем ее не раздражал и не давал поводов завидовать ему. Он производил впечатление мастерового лет тридцати двух – тридцати семи. Может, столяра хорошей руки, может, краснодеревщика, может, дамского портного, может, бутафора из Малого театра, может, лекальщика с самолетного завода. Видно было, что работы он исполняет достойно, а коллеги и заказчики его уважают. Бить такого не было причин. Да и задирать не возникало желания. Хотя по первому взгляду могло показаться, что он простак и объегорить его ничего не стоит. Уж больно он ходил румяным и добродушным. Но потом наблюдатель мог заметить, что не такой уж перед ним и простак, один-то, левый, глаз Шеврикуки (серый по цвету) был именно простодушно и удивленно открыт, но правый глаз (тоже серый) при этом щурился, пожалуй, иронично, и уголок рта под ним чуть кривился, вызывая мысли о скептическом умонастроении Шеврикуки. «ан нет, – являлось в голову наблюдателю. – Вовсе не простак!» К красавцам Шеврикуку отнести было никак нельзя, но кому-то открывалось в нем и нечто привлекательное. Шеврикука (ростом он был выше среднего),

склонный к полноте, но пока не раздобревший, имел длинную шею любознательной личности, толстые уши, толстые губы и вполне заметный нос, притом как бы гнутый, с одного бока он казался толстым, в половину картофелины, с другого же его будто обтесывали стамеской, позволив потом коже лишь обтянуть кость. Над залысинами Шеврикуки и розовым лбом его торчал клок жестких русых волос, в пятидесятые годы, когда нравственные личности боролись с плесенью из коктейль-холлов, Шеврикука мог бы произвести его в стиляжий кок. Но по нынешнему виду Шеврикуки выходило, что стиляг он наблюдал лишь грудным младенцем. Шеврикуке нравилось быть теперь именно тридцатипятилетним. Как-то в собрании домовых старик Иван Борисович запыхтел: «Что вы все головы морочите смутным временем! Смутной время, Смутное время! Переживали мы смутные времена, и не раз! А ту смуту помню. И Тушино, и самозванцев! И Шеврикука небось помнит». – «Нет, не помню, – резко сказал Шеврикука, обидев старика. – Я позже завелся». А ведь помнил, хотя и не был в Тушине. Много чего помнил Шеврикука. Но не хотел вспоминать…

А одежду он заказывал без претензий, самую ходовую, какую носили тихие москвичи его возраста и среднего достатка. Возможно, в душе он был франтом, но щеголять на улицах себе запрещал. Были на то причины. И чрезвычайно опасался Шеврикука выглядеть смешным. Из тканей милей всего был ему бархат, особенно цветов Веронезе, однако времена бархата не наступили или вовсе истекли. Шеврикука не мог дать публике поводов для веселий, а потому вместо бархатов надевал свитера домашней вязки, джинсовые штаны и куртки, против них он и не возражал.

Таков был останкинский домовой Шеврикука в ветреные июньские дни. Многим, знавшим его, он казался тогда смирным, доброжелательным, несклонным бить стекла и зеркала, вот если только ворчуном. Но кто в те ветреные дни не ворчал, не бранил порядки и их исполнителей? А Шеврикука лишь казался смирным и послушным. Он жил присмиревшим и притихшим. На всякий случай. Чтобы ничего не проморгать и быть в готовности. Предчувствие волновало его: вот-вот начнется то, о чем он уже давно выстраивал предположения. Тогда и понадобится Шеврикука истинный…

2

Воскресные созерцания Шеврикуки были разрушены.

Если помните, Шеврикука спал мало. Но вот созерцать нечто в себе и в природе, совершать, закрыв веки, путешествия, разглядывать книги с просветительскими, но живыми картинками либо же читать сочинения, чувствительные или глубокомысленные, он был расположен. Тем более что времени у него хватало. При жильцах, а тем более при хозяевах приходилось бдеть, чуть ли не приговаривая в воодушевлении: «Рады стараться!» При квартиросъемщиках, да в двух подъездах, да на девяти этажах, ни о каких воодушевлениях речи не шло. Нет, порой Шеврикука и старался, но это когда он ощущал, что чья-то человеческая жизнь подлинно требует его опеки, тут уж он опять в силу воспитания становился незримым дядькой-опекуном при малых детях. А так он просто содержал подъезды в опрятности и ни в чьи житейские обстоятельства без нужды не встревал.

Поутру в воскресенье Шеврикука хотел откушать в чащах Лосиного Острова брусничного листа. Но передумал. Забрел в квартиру пенсионеров Уткиных, отбывших на дачу, и, съежившись там, улегся в кратере малахитовой вазы. В вазу ничего никогда не клали из почтения к камню и Даниле-мастеру, в ней сейчас было чисто, прохладно, и Шеврикука созерцал. И вдруг почувствовал, что в его владениях происходят безобразия. Или вот-вот произойдут. Так, услышал, что в соседнем, его, подъезде отключили воду. Что-то затевалось на четвертом этаже в квартире (№468) стервецов Радлугиных. Супруги Радлугины работали в сберегательной кассе, она – контролером, он чинил аппараты и любезничал с кассиршами. Радлугин, в пору, когда достославный Егор двинулся в поход за очищение народных генов от влитого в них алкоголя, уловил возможность скорой карьеры и наградил себя изобретенным титулом – Старший по подъезду. Он принялся сражаться с бытовым пьянством, врывался в частную жизнь, корил неразумных, просвещал их насчет мирового заговора, рассылал филиппики по местам их работ, а предположив в квартирах винокуренное производство, вызывал милиционеров с собаками, не переносящими самогон на дух. Шеврикука обиделся, в наглом и корыстном самозванстве углядел покушение на свои полномочия, приманив как-то Радлугина запахом яблочной косорыловки, дверью прищемил тому нос. Недели три волонтер великой войны с порчей

генов ходил с бинтами на роже. И теперь у Шеврикуки не было к Радлугиным симпатии, и пусть бы у них все ломалось и дергалось. Но Шеврикука явно ощущал присутствие чужой силы. Или хотя бы чужого усилия. Никакие местные полтергейсты в подъездах Шеврикуки не развлекались, они знали его нрав и знали, что он может показать им барабашкину мать. Шеврикука вздохнул, потянулся и незримо перенесся в соседний подъезд.

Два сантехника волокли к Радлугиным розовый унитаз. Это в воскресный-то день. И сантехники были не дэзовские, чьи труды, конечно, требовали надзора Шеврикуки, но относились к числу положенных. Нет, волокли унитаз чужие. Один из них был кучерявый белесый малый в тельняшке с клипсой на ухе и сигаретой в зубах. Второй – крепыш лет сорока пяти, заметно, что бритый наголо, и, возможно, потому в кепке – казался личностью наглой и решительной. «Савинков какой-то», – пришло в голову Шеврикуке. А в малом с клипсой на повороте открылось и нечто знакомое. «Да это же Продольный! – поразился Шеврикука. – Завился подлец и тельняшку надел!» Продольный был домовой как раз из лимитчиков, подъезды его размещались в Землескребе в самом конце, у Аргуновской улицы.

– Эй, стойте! – закричал Шеврикука. – И вон отсюда!

– Это что? – спросил Продольного бритый крепыш. – Кто это шумит? Пресечь?

Шеврикука спохватился, возник из воздуха:

– Я вас сейчас так пресеку! Продольный, ты меня знаешь!

– Ты же не здесь, – растерялся Продольный. – Ты же сейчас в Лосином Острове…

– Я здесь. И в Лосином Острове, – сказал Шеврикука. – Это кто с тобой?

– Это дядя, – заспешил Продольный. – Дядя это. Мой. Из Липецка. Да? Ведь дядя?

– Дядя. Дядя, – хмуро подтвердил бритоголовый. – Успокойся.

– Что это ты тельняшку-то надел? – не удержавшись, задал лишний и бестактный вопрос Шеврикука. – По какому праву? Ты из десантников, что ли, или из морской пехоты?

– Это вас не касается, – грубо сказал названый дядя.

– Меня здесь все касается! – грозно заверил его Шеврикука. – А сейчас я коснусь вас с унитазом!

С криком он ринулся к лжесантехникам, пятернями ухватил каждого из них за шиворот и потянул вниз, к распахнутому лестничному окну.

Продольный был легок, сам норовил взлететь и упорхнуть, липецкий же дядя упирался, казался Шеврикуке стальным сейфом, набитым дорогими слитками, да еще и унитаз не желал выпустить из рук.

– Вон! – рычал Шеврикука.

– Тельник-то не рви! – заверещал Продольный. – Чего пристал? Чего ты пристал к нам? Пожалеешь… Перепадет тебе! И привидению твоему… Твоей… Суке этой!..

– Ах ты, недопаханный! – вовсе рассвирепел Шеврикука. – Тельник надел! Да ты не из морской пехоты, а из морской капусты! Из заячьей!

Оба предпринимателя были доставлены Шеврикукой к окну, воздвигнуты им на подоконник, а потом и выдворены с ревом в останкинские воздухи из чужих владений. Продольный нырнул вниз рыбкой, а названый дядя опрокинулся на бок, как бы нехотя позволил себе, прищурившись, взглянуть в глаза Шеврикуке и, причмокнув, что-то посулить ему сквозь зубы. И в злом прищуре его было обещание уплатить по счету.

– Вещь-то выронили здесь ненужную! – Шеврикука подхватил оставшийся трофеем унитаз и вышвырнул его в окно.

Унитаз низвергался куда быстрее Продольного с дядей, способных, как выяснилось, совершать затяжные спуски с фигурами, Продольный изловчился поймать унитаз на лету, прижал его к груди и уже на асфальте прокричал что-то обидное Шеврикуке, и они с дядей, смешавшись с людьми, поспешили к Аргуновской улице.

– Что? Что? Где? – выскочил на шум сознательный гражданин Радлугин. – Унитаз жду. А тут звуки. Что? Где?

– Водку дают в разлив в шестьдесят втором магазине, – сказал Шеврикука и рассеялся в воздухе, оставив Радлугина в недоумении.

Сейчас же Шеврикука возобновил свободный ток воды по трубам подъезда и произвел следствие. И вот что открылось. Позавчера дама Радлугина обнаружила, что засоленный позапрошлым летом в пятилитровой банке зеленый крыжовник прокис. На исторический случай – либо гражданской войны, либо всеобщего разгильдяйства, либо глумления рыночной экономики – Радлугиными много чего было закуплено, засушено, засолено, замариновано, завялено, заспиртовано и в инспекторские дни подлежало ревизии. Прокисший крыжовник дама Радлугина решила наказать плаванием в туалетной воде. Только она приступила к делу, как банка выскользнула из ее рук и расколола унитаз. В ДЭЗе, хотя там скандалиста Радлугина и боялись, обещали установить беспорочный унитаз лишь через неделю. И то, скорее всего, из списанных.

И тут вчера Радлугиной во дворе случайно повстречались два сантехника. От усталости они валились с ног и чуть ли не уткнулись в Радлугину своими ключами и фибровыми чемоданами. Слово за слово, «Братцы, спасите!», и договорились, что завтра же утром Радлугиным будет установлен новый унитаз, и не какой-нибудь, а розовый с зелеными крапинами. «Из резервов…» Определили и цену – полсотни.

Уже одна эта история была криминалом и давала повод Шеврикуке писать докладную записку. Но Шеврикука, заново и со вниманием исследовав происшествие, нырнул в подполье очевидного и выяснил, что Продольный недели две готовил предприятие с розовым унитазом. Где они с так называемым дядей его сперли, было уже неважно. Так вот. Продольный, без тельняшки и без клипсы, а в виде городского комара, ребенка асфальтовых мокрот, внедрился в квартиру чужого подъезда и попискивал над ухом Радлугиной. При его-то попискиваниях и прокис крыжовник, стал плесневеть, и Радлугиной внутренний голос подсказал утопить ягоду. А когда банка зависла над унитазом, Продольный укусил Радлугину в белую шею. Сделку же во дворе устроить было пустяком.

Шеврикука никак не мог успокоиться, и оттого течение мыслей в нем было рваное. «Неужели они из-за полсотни? – недоумевал он. – Из-за полсотни!» Домовые, в особенности в последние годы, подзарабатывали, порой и самым удивительным образом, на карманные расходы, на деликатесы, не предусмотренные распорядком жизни, на средства самообразования, да мало ли на что, хотя бы и на желтого попугая! Заработки эти не поощрялись, их бранили, называли безвкусицей, позорящей честь сословия, иных шабашников и наказывали, приравнивая их чуть ли не к валютчикам, но скорее из-за стараний не потерять лицо. Каким карманам мешает валюта? При этом либеральными умами приработки признавались делом вынужденным, вызванным столетними ущемлениями прав домовых… Но это все болтовня, фикус с ней! Да пусть бы и промышлял Продольный с липовым дядей, пусть бы и подсовывал дуракам ворованный унитаз, его дело, но как он посмел, нарушив неколебимое, объявиться со своей затеей на его, Шеврикуки, заповедной территории? Неужели всякие Продольные и уважать его перестали?

Продольные ладно. Продольные могли по глупости. Или из-за утраты существенных понятий. С Продольным он разберется. Но ведь Продольный был способен и уловить нечто в атмосфере. Почувствовать неуважение к Шеврикуке тех, на кого он, Продольный, и ровня ему взирали снизу, верхнюю губу приоткрыв. А потому и позволить себе дерзость: намекнуть на увлечения Шеврикуки и даже пригрозить не только ему самому, но и

якобы любезному Шеврикуке привидению. За это и за оскорбление барышни, пусть и небезупречной, будут пересчитаны все белые и синие полосы тельняшки прохиндея!

Но явление бритоголового, перед которым Продольный явно лебезил, должно было озадачить Шеврикуку. Не специальный ли этот дядя? И не специальный ли унитаз был вставлен в сюжет происшествия? И не нарочно ли унитаз назначили именно Радлугину? Вспомнилось Шеврикуке обстоятельство шестилетней давности и прежде не разъясненной. Когда Радлугин сначала назначил себя Старшим по подъезду, а потом и уговорил четырех несмирных ветеранов, единственно явившихся на собрание представлять население, избрать его Старшим («Да что Старшим! Верховным по подъезду!»), он в сражениях под знаменами неутомимого Егора одержал немало побед. В частности, вынудил пожилого чиновника Фруктова с шестого этажа произвести от страха и унижений расчеты с жизнью. Фруктов был тихий добряк, чиновник – совершенный, от. движений бровей начальства взмокал на службе в усердиях. Но в общество трезвости вступать отказался. Ревнитель Радлугин с десяток писем отправил куда надо, с приложением фотографий, на них – стаканы, рюмки, сосуды и рядом Фруктов в разных видах и разных степенях веселия или тоски. Коли б не кампания, Фруктова бы мирно пожурили. И коли бы пришла одна бумага, ее бы куда-нибудь засунули. Или разорвали. А тут их десяток, и автор – зверь. И был дан Фруктову разговор со швырянием фотографий на стол, после чего робкий чиновник наелся таблеток и не проснулся. В прощальном письме Фруктов укорял Радлугина, чего он, мол, так осерчал на него, и ставил под сомнение фотографии. Пил он один, перед ужином для поднятия аппетита, и не чертики же его снимали, до чертиков он не напивался. Вопрос о чертиках не стали обсуждать, за Радлугиным стояла государственная правда. И вот теперь Шеврикуке пришло в голову: чертики чертиками, а не какой-нибудь невидимый Продольный обслуживал тогда Радлугина фотографом? И это в его, Шеврикуки, суверенном подъезде!

«Ее еще и сукой обозвал! – вновь вскипел Шеврикука. – А кто же я, интересно, в его мнении? И откуда он узнал про привидения, кудряш этот с клипсой? Или намеренно поставили его в известность? Затевают что-нибудь? А ведь могут, могут затевать!» Шеврикука был сердит, раздосадован, чрезвычайные, гневные речи произносил, чуть ли не с угрозами, понятно, не вслух. Но следовало ругать и себя. Он-то хорош! Он ведь сам допустил непорядок, впал в благодушие, глаза и уши заклеил, на что же он рассчитывает в грядущих событиях, если так распустил и

разнежил себя?

Утро было испорчено, и день прошел в суете. «Непорядок! Непорядок!» – твердил себе Шеврикука, исследуя все подробности обоих подъездов, полы на лестницах и стены готов был мыть, сдувать пылинки, хотя и находил помещения чистыми, не знал пощады в отношениях с комарьем и мухами, крушил забредших из чужих пределов клопов, тараканов, мокриц, мучных жуков, не давая им надежд на помилование или амнистию, и даже стянул, склеил трещины радлугинского унитаза, увы, Радлугины были съемщиками в его подъезде. Хотя им и стоило подвесить ванну к потолку.

Суетой своей, пусть и мелкой, Шеврикука приводил себя в служебное состояние, необходимое для нынешних деловых посиделок. В восемь вечера Шеврикука был намерен явиться на толковище домовых в музыкальную школу. Посиделки могли оказаться нынче нервными.

3

Уже не нахал Продольный с дядей волновали Шеврикуку. Разбор истории с ними (хотя докладную, следуя правилам дисциплинарного канона, Шеврикука и написал) был отложен. Нет, он думал об ином. Храбрился, охлаждал себя, но уже не мог сидеть на месте и в семь вышел из дома. Быстро зашагал по улице Кондратюка, будто ему было необходимо ехать куда-то метрополитеном. На исходе Кондратюка он столкнулся с домовым Петром Арсеньевичем.

Хотел было проскочить дальше, ан нет.

– Здравствуйте, любезный Шеврикука, – раскланялся Петр Арсеньевич.

– Добрый день, – вынужден был остановиться Шеврикука.

– Разве вы не туда? – удивился Петр Арсеньевич.

– Я?.. Отчего же, и туда… Но ведь рано. А потом и туда. То есть… Я…

– Так пойдемте вместе, – предложил Петр Арсеньевич. – Не спеша.

– Ну да, ну да, – буркнул Шеврикука.

Петр Арсеньевич, домовой из углового строения на Кондратюка, был церемонным мухомором, отвязаться от него Шеврикука вряд ли бы смог. Люди дали бы Петру Арсеньевичу лет семьдесят с накатом, на улицы при публике он выползал с тростью, инкрустированной перламутром, летом носил чесучовые брюки и чесучовую же куртку, был почти лыс, имел седые усы и бородку клинышком, делавшую его отчасти похожим на умилительного дедушку, пребывавшего некогда всесоюзным старостой. Впрочем, Петр Арсеньевич относился к тому дедушке дурно. В Останкине Петр Арсеньевич считался домовым несущественным, когда случались посиделки, ему полагалось присутствовать лишь в прихожей. Что уж говорить про Совещания?

– Отчего это посиделки, – принялся размышлять Петр Арсеньевич, – стали устраивать в выходные дни?

– Телевизоров насмотрелись, – сказал Шеврикука.

– Ах, да, да, – закивал Петр Арсеньевич. – Видимо, так. А вот… – тут же он замолчал, отважиться долго не мог и все же произнес: – А что вы, любезный, слышали про сокращения?

– Какие сокращения? – спросил Шеврикука.

– Ну, не сокращения… Ну, может, перетасовки… Или как по-нашему?.. Повсюду ведь перетасовывают… Опять же по телевизору…

– Не знаю. Не слышал, – сказал Шеврикука.

Он знал. Он слышал. Но не захотел огорчать старика.

– Ну да, – вздохнул Петр Арсеньевич. – Это вас не коснется. Вы фигура заметная. И живая. Не то что мы, древние развалины.

– Не скромничайте, Петр Арсеньевич, – сказал на всякий случай Шеврикука. – И не нагоняйте на себя страхи… заранее…

– А вот… Поговаривают… – сказал Петр Арсеньевич. – Эти… отродья… – и тростью было указано на Останкинскую башню, – в поход будто на нас хотят пойти… Войну, говорят, желают начать… Тогда, может, будет не до сокращений, не до перетасовок этих?.. А?

– Да неужели вы, Петр Арсеньевич, – поморщился Шеврикука, – не успели привыкнуть к войнам или к перетасовкам?

– Ах, да, да! – меленько рассмеялся вдруг Петр Арсеньевич, будто Шеврикука изволил отменить поводы его волнений. – Вы правы, вы правы… Однако, согласитесь, случай здесь особенный. Чаще мы оказывались при чьих-то чужих войнах, а тут намерены пойти походом именно на нас. Готовы ли мы к этакому повороту дел?

– Зачем мы нужны-то им? – спросил Шеврикука. – На кой им этот поход?

– Кабы я знал… Но ведь поговаривают… И чувствуется напряжение энергий, – сказал Петр Арсеньевич. – Может, раздражаем мы их… Может, они от гордыни… Молоденькие, свежие, теплые, пар от них идет, и вот все ломать хочется… Мол, мы одни правы и одни могучи, а все остальные закоснели и идиоты… И положение их требует драки.

– Какое такое положение?

– А такое, – охотно принялся разъяснять Петр Арсеньевич. – Они-то ведь завелись не спросясь. Мы, положим, завелись тоже не спросясь. Дух хлеба, дух очага, дух, простите, щей, или что там варилось до щей. Но ведь когда это было? И уже когда мы признаны, установлены, вошли во все ведомости и протоколы, живем именно узаконенными, никому не мешаем и соблюдаем приличия. А они?

– Что они?

– Вот то-то! Что они! Они-то сами толком не ведают, кто они такие и зачем. Их распирает, дрожжи гонят их вширь и ввысь, они не знают пока, в чем остановятся и какие формы им суждено принять. И при этом они незаконнорожденные. Каково им успокоиться-то? И каково усмирить свое высокомерие? – Тут Петр Арсеньевич замолчал, возможно, ему показалось, что он излишне горячится и шумит, а вокруг – любознательные. – Но это я все так, с чужих слов. Я-то никого из них и не видел. Вы хоть что знаете о

них? Видели кого? Или, может, даже знакомы с кем?

– Ничего не знаю. Я ими не интересуюсь, – соврал Шеврикука. – И тем более ни с кем не знаком.

– Ну конечно, ну правильно, – закивал Петр Арсеньевич. – Но постойте, куда же вы несетесь, я не поспею за вами, ноги у меня дряхлые, не ваши ведь… Да… И Чаши Грааля на Башне нет…

– Чаши Грааля? – Шеврикука остановился, перед тем в воздух чуть не взлетев.

– Чем я вас так напугал? – остановился и Петр Арсеньевич.

– Нет. Я так… оступился… Но какая тут еще Чаша Грааля?

– Чаша Грааля. Меч-Кладенец. Кольца Альманзора. Сокровища Полуботка. Что там еще? – сказал Петр Арсеньевич. – Простите, что я так высокопарно говорю. Но у них этого нет.

– А у нас есть?

– Любезный Шеврикука, – с укором улыбнулся Петр Арсеньевич. – А вы будто не знаете.

– Нет, я, конечно, слышал… легенды, песни, шуршание всякое… – смутился Шеврикука, он никак не мог прекратить валять дурака, от всех ожидал нынче подвоха, отношения с Петром Арсеньевичем были у него, как у пса с кустом барбариса, знал, что осыпается такой на углу улицы Кондратюка, и все, что он теперь-то пристал к нему, или – одинок и не с кем поговорить? А кто не одинок? Но вдруг Петр Арсеньевич и впрямь рыл ему яму или испытывал его… Шеврикука сказал: – А я это шуршание в голове не держу. Какой толк? Может, когда-то что-то и было у нас, но сейчас оно наверняка либо истлело, либо затупилось, либо обратилось в глину. Присутствие его полагалось бы чувствовать, а не чувствуется. Извольте. Прокладки в моих подъездах стираются чуть ли не каждый день.

И сам остался недоволен сказанным.

– Я вас понял… Извините, пожалуйста, что навязывался в собеседники, – Петр Арсеньевич потух, тростью тыкал в асфальт, будто ослеп. – Единственно скажу напоследок. Полагаю все же: оно, то, что было, и теперь не шуршание и не привидение. Напротив… Надеюсь на это.

Шеврикука резко взглянул на Петра Арсеньевича.

– Опять же извините, – грустно сказал Петр Арсеньевич. – Я говорил про свое, нисколько не имеющее к вам отношения.

Дальше они шли молча.

Детская музыкальная школа стояла прямо возле Землескреба. Прогулку Шеврикука совершил, но успокоиться ему не было дано. Метрах в ста от школы Шеврикука с Петром Арсеньевичем растворились в воздухе

и возобновились личностями на втором этаже учебного заведения. Прежде, когда Останкино лишь переходило из полудачного состояния в городское, местные домовые собирались на Аргуновской улице в деревянном доме с башенкой. На первом этаже там были почта и сберегательная касса, на втором – жилищно-эксплуатационная контора. Ночью в помещениях конторы и сходились. А где же, полагали, еще? Но тот дом с башенкой снесли, а ЖЭКи, бывшие домоуправления, усовершенствовали, наградив их притом собачьими кличками – ДЭЗы и РЭУ. Ночью при ДЭЗах и РЭУ собираться отказались, иные робко, иные революционно, – неужели они проходят по ведомству эксплуатации жилья? (Раньше-то проходили и на каждое «цыц!» лапками дрыгать переставали.) Переругавшись, утихомирились с соблюдением достоинств и гражданских позиций и согласились собираться в детских музыкальных классах. Уж как бы при культуре. Тут, кроме классов, имелись и вестибюли, и учительские, и туалеты, и подоконники, и даже малый концертный зал. И потихоньку привыкли к тому, что именно здесь проходили теперь и ночные общения, и заседания клуба, и творческие отчеты домовых, и судилища, и деловые посиделки, и даже кутежи. Ревнители нравов поначалу протестовали: «Дети и кутежи – несовместимо!» – вынуждая желающих предаваться весельям в диетической столовой при ресторане «Звездный». Но в «Звездный» и по ночам забредали подгулявшие мужики и бабы, грубили домовым, и те решили, что покой и безопасность они обретут лишь в музыкальной школе. Но когда объявлялись деловые посиделки, все иные встречи по интересам с ними совмещаться не могли. Хотя посиделки и были простым толковищем, стенограммы на них не велись и резолюции не принимались.

В прихожей перед учительской домовых сидело уже много. И Петр Арсеньевич тихо опустился на скамейку подальше от важной нынче двери. Знал свое место. До толковища оставалось семь минут, и Шеврикука подошел к окну, будто нечто чрезвычайное должен был рассмотреть сейчас на проезжей части. Сам же оглядывал запасных. Или резервистов. Сидели они скромные, почти безгласные, но с пониманием предназначенного им на лицах. Хотя из резервистов их никуда и не переводили, им доверялось лишь соблюдение традиций и церемониала. «Ба! – Рот открыл Шеврикука. – Да здесь же Продольный!» Как ни мала была роль сидельца в прихожей, но Продольный и до нее не дорос. Присутствие его при толковище было безобразием, и Шеврикука двинулся было к Продольному с намерением указать наглецу, что он оскорбительно лишний, но тут возник привратник и глашатай (им был нынче домовой с Аргуновской улицы

Дурнев, он же Колюня-Убогий) и объявил: «Действительных членов просим в зал». Шеврикука как бы нехотя повернул к двери, но Колюня-Убогий его придержал и сказал: «Вас не велено. В списке нет. Вас не велено…» «Чего? Меня нет?» – Шеврикука не взревел, не зарычал, а произнес это шепотом, но зловещим, какой полагалось бы услышать и в дальних выселках – в Солнцеве и в Бутове. Колюня-Убогий егозил, видно было, что страшился Шеврикуку, и слова, испуганные, смущенные, выползали из него: «Не велено… В списке нету… А я что? Кто я?.. Я не сам… Я сегодня здесь по расписанию…» «Да ты что! Я действительный член! А ну позволь!» – оттолкнул привратника Шеврикука и шагнул в зал, но движением руки распорядителя, домового Тродескантова, был остановлен. Услышал поразительное: «Вам сегодня определено место в прихожей». И сразу же понял, что остановлен не жестом Тродескантова, а колющим, властным взглядом неизвестного доселе на посиделках персонажа. Персонаж этот был бойцовского вида тяжеловес в темно-синей шелковой поддевке с косым воротником, подпоясанной крутым, витым шнуром, бритый наголо, утром представленный Шеврикуке липецким дядей подлеца Продольного. «Шея-то какая! И затылок, – пришло в голову Шеврикуке. – Это уж и не Савинков, а считай Котовский!» И стало ясно, что утром тот прикидывался дядей, может, дурачась, но, может, и унижая себя, а кепчонку надевал маскарадную. «Я протестую! – теперь уже заревел Шеврикука. – Я действительный член!» Тродескантов в сомнении отправился было к домовым, стоявшим возле гостя (или как его называть?), но губы того скривились, и Тродескантов послушно заявил Шеврикуке: «Место вам сегодня определено в прихожей!»

Ошеломленный Шеврикука опустился на презренную скамейку сидельцев в прихожей. Ему тут же бы покинуть паскудное собрание, но уйти отсюда до исхода посиделок он не имел права. Да что не имел! И ушел бы! Однако – и сам стыдился признаться себе в этом – он еще надеялся, что сейчас дверь распахнется, перед ним сотворят поклон и призовут на совет. Дверь и впрямь отворилась, распорядитель Тродескантов что-то шепнул привратнику-глашатаю, и Колюня-Убогий, будто сам себе не веря, объявил: «Полного сбора нет. В зал приглашается Петр Арсеньевич, улица Кондратюка, дом номер два». Петр Арсеньевич поднялся, но, похоже, тут же должен был рухнуть в обморок, его подхватили под руки соседи и почтительно повлекли к недоступной им двери. Так уж и недоступной? Вот тишайший Петр Арсеньевич лета кротко сидел в прихожей, ни на что не претендуя, уж тем будучи доволен, что зовут из года в год, и нате вам! – чудесный поворот в судьбе.

Но каково было Шеврикуке! Эко его провели мордой по булыжной мостовой! Экое позорище ему учинили! Сколько сидело вокруг свидетелей его срама, замолкнув в испуге и удивлении! Поглядывали они на него, кто с любопытством, кто с состраданием, а больше-то небось ехидничая и торжествуя. И в зале при лучинах (пусть и в светлый вечер, но непременных, как дань преданию) наверняка думали теперь о нем, Шеврикуке. Думать думали, но говорили об ином.

То ледяная дрожь била Шеврикуку, то лава кипела в нем, требуя выплеска. Подходил привратник и глашатай Дурнев с колокольцем в руке. Колюня-Убогий, тварь жалкая, останкинское посмешище, юродивый, шут дрожащий, готовый перед любым, кто покрепче, лебезить и с бубном мелко попрыгивать, слюну изо рта пуская! Он и теперь, на всякий случай впереди, побитого хотел задобрить, бормотал виновато, склонившись над Шеврикукой, себе в оправдание: «Я ведь что… Я-то самый поганенький. Но ведь расписание. Вот по расписанию нынче я с колокольцем. А ты гневаешься на меня. И в обиде. И на наших. Они-то, может, и пустили бы тебя. Хотя иные и опасаются озорства… Но пустили бы… А этот строг. Который с полномочиями-то… Любохват… Оттуда (и пальцем – указ на юг, на Китайгород)… Строг он и громок… А я что?» «Сгинь!» – цыкнул на привратника Шеврикука. Досидел до прощального звона колокольца и в мгновение, дозволявшее уйти с посиделок, ушел, ни на кого не взглянув.

Ринулся куда-то в синих, сухих сумерках, а куда – и сам не знал. Но не домой. «Все! – говорил он себе. – Час пробил!»

– Шеврикука! – окликнули его уже на Цандера.

Шеврикука обернулся. Сзади шагал церемонный мухомор Петр Арсеньевич. «Как настигла меня эта развалина? – удивился Шеврикука. – И тоже, что ли, примется сейчас оправдываться? Увольте!»

– Жизнь есть жизнь, – сказал Петр Арсеньевич. – Истолковывать что-либо нет нужды… Но коли вдруг возникают соображения о пробитом часе или о том, что Рубикон можно и не переплыть, а перешагнуть, не всегда следует спешить. Или быть сгоряча опрометчивым…

– Я не могу с вами вести разговор на равных, – бросил Шеврикука.

– А я, может, и не вам говорю, а себе… И себе же замечу, что дела у нас с Отродьем этим, с духами Башни, выйдут серьезные. Увы, слишком серьезные. И в скором времени… Да… А вслух я бормочу опять же по старости, оттого что все во мне спотыкается и тяготится существованием… Пребывайте в здравии…

Петр Арсеньевич поскрипел к себе на Кондратюка.

4

«Ну нет! Все! – повторял Шеврикука уже дома. – Час пробил! Они еще спохватятся, они еще приползут с горючими словами… Но все! Час пробил! Рубикон…» Какой еще Рубикон, сейчас же возмутился Шеврикука, этот мухомор и свежий выдвиженец Петр Арсеньевич одарил его Рубиконом, и истребить память о нем не было у Шеврикуки хлорофоса. Или нафталина. «Рубикон! Чаша Грааля!» – не при лицейских ли кафельных печах обитал в свои золоченые дни Петр Арсеньевич, и ныне обласканный? Летел, что ли, он за ним, Шеврикукой, вчера, чтобы бормотать вслух? Хоть бы и летел, пусть его намеки и подсказки и останутся при нем, а он, Шеврикука, будет жить и сгоряча, и опрометчиво. И не испугает его надзирающий взгляд уполномоченного в шелковой поддевке, бывшего липецкого дяди, бывшего сантехника, умыкнувшего унитаз, напротив, лишь подтолкнет его к крайностям и полетам. Но найдет ли управу Шеврикуке этот так называемый Любохват? Шеврикука относил себя к сведущим, умел слушать и в расспрашивать и что-то не помнил никакого Любохвата. Нигде такой прежде не проходил. Возможно, был вызван или поднят из сургучовых недр и прозвище, сладкое, как тульская коврига, получил во временное пользование. Его дело. Шеврикуке все одно – дядя он или уполномоченный Любохват!

Так храбрился, хорохорился в обиде и гордыне Шеврикука, задирая себя и своих недругов, находящихся, впрочем, в отдалении. Сам же, утвердив себя в малахитовой вазе, принимал в расчет неловкость своего положения. Пробил уже не час, а по крайней мере двадцать один час с той секунды, когда решение было им бесповоротно принято. Но сразу, посчитал Шеврикука, нестись и вздыматься на Башню было бы некрасиво. Понятия «красиво» и «некрасиво» были чрезвычайно важны для Шеврикуки и сберегались в его алмазном фонде. К тому же нестись сразу было не только некрасиво. Возникли бы и подозрения… Но это все были отговорки. Шеврикука ощутил, что соваться на Башню робеет. Не то чтобы робеет (хотя и робеет), но находится в смущении оттого, что не знает, как и с чем на Башню являться в его нынешнем случае. Сто раз полагал, что рано или поздно ворвется туда, но разрабатывать практический план действий брезговал в уверенности, что все и так выйдет прекрасно и само собой. То есть получалось, что в нем жило лишь одно упование или даже греза, а холодной готовности не было никакой. Что же, теперь ему впорхнуть туда и

обрадовать неизвестно кого: «Здравствуйте, это я, Шеврикука!»

Впрочем, один вариант явления Шеврикука в голове держал. Но сегодня он никак не подходил. И опытом удальцов последних лет, иных из них Шеврикука знал, воспользоваться он не мог. А уже утекали на Башню домовые. И пропадали там. Не возникало от них ни слуху ни духу. Ни строчки, даже и зашифрованной. Их называли предателями, перебежчиками, расстригами. Исчезли осенью два идеально послушных домовых. Чтобы в головах, подверженных соблазнам, не воспалились смута и ложные порывы, было разъяснено, что этих двух идеальных Отродья с Башни, растоптавшие всякие понятия о чести, выкрали для проведения страшных опытов. А потому предлагалось бдеть и блюсти себя. Обещали также усилить средства защиты и покрасить пограничные столбы. Каким образом утекали на Башню останкинские расстриги (хотя кто и когда подвергался здесь пострижению?), Шеврикука имел представление, но пробираться их тропинками не желал.

«А! Будь что будет! – решил Шеврикука. – Что сидеть-то здесь и робеть! И воробьиного птенца не высидишь!» Крепкой оставалась в нем досада, да и температура поднялась отчаянная, сбить какую можно было лишь либо действием, либо снадобьем, но от него пришлось бы впасть & спячку сроком на семь месяцев. Уже уносясь к Башне, Шеврикука нашел в себе трезвые мысли и, как требовалось, отослал воздушной почтой докладную записку о противоправных действиях домового Продольного и его соучастника, назвавшегося дядей. Приметы прилагались.

Разгон Шеврикуки был таков, что он, невидимый, чуть ли не ударился в одну из бетонных ног Башни, придуманных инженером Никитиным. Протекала темно-синяя июньская ночь, а на Башне копошились труженики, двери двигались, и Шеврикука, не впадая в раздумья, способные отвлечь, влетел в одну из продувных щелей. А дальше что? Тут тебе не музыкальная школа, в часы отдохновений пустая, тут – телевидение, да еще и кабак в небесах с интересом к иностранцам, отсюда люди не уходят, они мешают здесь и в собачьи, и в волчьи, и в петушиные часы, где же следует искать истинных хозяев Башни? Или – где ему необходимо оказаться, чтобы истинные хозяева эти его, Шеврикуку, учуяли, обнаружили и приняли во внимание?

Что и как внутри Башни, было Шеврикукой изучено зимой и весной. Да и во многих коридорах, буфетах, аппаратных, студиях, залах и даже туалетах Шеврикука побывал тогда исследователем, набросал и чертежи для лучшего воздействия на память (и сразу их сжег). Надеялся он и на свой нюх, на подсказки своей натуры, много чего испытавшей. Он

предполагал, где могли бы оказаться гнезда отродий (сейчас он и в мыслях не называл хозяев Башни Отродьями – вдруг мысли его читают), в тех местах и курсировал. Потом подумал: а что, если его, невидимого, никто или ничто не почувствует, не засечет, ни на одном экране его силуэт не засветится? Моментально принял вид жителя останкинских улиц и проездов, стал передвигаться по коридорам деловито, будто отбывал ночную смену. Выглядел он необходимым работником, в одном месте ему доверили отнести бухту кабеля («Кому?» – спросил Шеврикука. – «Как – кому? – удивились. – Или не помнишь? Пашке, едрена вошь!»), в другом – отругали за неповоротливость, вручили электрический полотер и велели пройти с ним коридор от огнетушителя до мужского туалета. Всюду спрашивали, нет ли сигарет, и это при требованиях. «Не курить!». Натирал паркет Шеврикука со старанием, увлекся, но никто к нему не являлся ни от людей, ни от духов. Но только он прислонил полотер к стене, как его взяли под белы руки и повлекли ввысь.

Кто его волок, возносил в черной пустоте рядом с трубой для поднебесных лифтов, Шеврикука понять не мог. Похоже, существ легких, возможно, пушистых была стая, они суетились, толкались, верещали, шелестели, перекрикивались целлулоидными кукольными голосами из детских радиопередач, будто ускоренным движением пленки, и обидно для Шеврикуки щипались. «Что вы щиплетесь-то! – не выдержал Шеврикука. – Сдурели, что ли!» Он локтями повел, норовя кого-нибудь из воспарителей в назидание садануть, но те заверещали громче, засмеялись, явно радуясь неприятностям Шеврикуки. «Ах! Ах! Ах! А он недотрога! Недотрога! А он, оказывается, цветок жасмин! Ах, давайте, давайте, его совсем не будем касаться! Ах, давайте его выпустим!» – «Выпустим! Выпустим! Выпустим!» Сразу же началось свободное падение Шеврикуки, приостановить его он не мог, закричал в испуге: «Эй, вы! Хватайте меня. Вам же велели меня доставить!» Шеврикука был согласен теперь и на щипки, и на щекотания. «Разрешил! Разрешил! Бесценный-то наш, ненаглядный-то наш! Барин наш ласковый! Разрешил! Хватайте его! Хватайте! Несите!»

И Шеврикука со свистом и смехом был изловлен, раскручен и вброшен в дикое помещение, ударился о стену, впрочем, не больно. Зажегся фонарь в чьей-то руке или лапе, луч его бил в глаза Шеврикуке. «Садитесь! – услышал Шеврикука. – Выкладывайте сразу, зачем пришли». «Я, что ли? – спросил Шеврикука, устраиваясь на полу, на мятом матраце, возможно, на татами. – А ни за чем. Просто так пришел. Прогуляться. Познакомиться». – «Ну и представляйтесь. Как вас именуют?» – «А никак, – сказал

Шеврикука. – Пока никак. Да и не вижу я никого, кому бы следовало представляться. Не этой же шушере шелестящей». «Как он прав! Ведь как он прав!» – тотчас восторженно заторопились целлулоидные кукольные голоса, легкие, шелестящие спутники Шеврикуки стали подпрыгивать невдалеке. «Как справедливо подумало о нас ихнее сиятельство! Благоухающий наш! Нежнейший! Что же сидите-то вы так неловко? Эдак и нога затечет! И брюки примять можно! Надо поправить! Надо удостоить нежнейшего!» К Шеврикуке подлетели, схватили его и не руками, не лапами, а клешнями, крутанули, и не раз, потом, держа за ноги, шмякнули носом о стену. Стоять на голове прислоненным к стене и оставили Шеврикуку.

«Да отпустите его! – прозвучал недовольно, скрипуче голос взрослого. – Усадите. Не надоело ли вам дурачиться!» Шеврикуку усадили, «ах, конечно, конечно, мы же обидели ребенка», угостив его при этом жестким апперкотом. Фонарь погас, справа и слева включилась желтоватая подсветка, и метрах в пяти перед собой Шеврикука увидел небольшое (с чемодан ростом) существо, возможно, механического происхождения. Трехчастное. Верхняя и нижняя части его были в ширину равны, средняя – чуть уже. Сразу же Шеврикука предположил, что верхняя часть собеседника – это его голова, средняя – туловище, нижняя, понятно, – ноги. Ног собеседник имел три. Или это были три планки. Нет, решил Шеврикука, планки – плоские, а тут – объемы, словно бы ребра старого водяного радиатора. Или палки нунчаки. Уже ведя разговор, Шеврикука подумал, что три симметричные «ногам» подробности головы – возможно, два уха и нос. В отличие от ног уши и нос двигались, правда, строго по горизонтали, то раздвигая, то сжимая голову-гармонь и отражая, вероятно, вибрации чувств собеседника. «Интересно, а какие у него могут быть дети? – задумался вдруг Шеврикука. И сам себе удивился: – При чем тут дети?»

– Значит, – сказал гармонь-радиатор, – зовут вас никак. И кто вы – неизвестно.

– Известно! Известно! – из-под потолка, из черно-желтой мороки опять заторопились кукольные голоса. – Зовут его Шеврикука. Он домовой двухстолбовый, то есть о двух подъездах, здания №14 по 5-й Ново-Останкинской улице, в простонародье Землескреб.

Шеврикука кивнул. Он не опечалился: если располагали сведениями, то, стало быть, это именно те, на кого и следовало выходить. Или, вернее, не сами те, а хотя бы щупальца тех.

– Да, располагаем. И выясняется, что вы нам неинтересны. А потому

вас надо вернуть к полотеру. Если, конечно, в причинах вашего явления сюда нет чего-либо примечательного.

– Чего-либо нет, – хмуро сказал Шеврикука. – Но теперь я чувствую себя неучтивым. Вы знаете, кто я, я же не ведаю, как называть вас.

– О! Это ли теперь должно вас заботить? – Планки растянулись, собеседник то ли удивился, то ли рассмеялся. – Называйте хоть Риббентропом. Так зачем вы пришли? И с чем?

– Ни за чем. И ни с чем, – решительно сказал Шеврикука.

– Если вы полагаете, что вам предоставят более значительного собеседника, то вы ошибаетесь. Других собеседников у вас не будет. Вы стоите на своем?

– Стою, – сказал Шеврикука, впрочем, после некоего молчания.

– Да он же секретный агент! Он же замочную скважину ищет! И игольное ушко! – ожили сразу над Шеврикукой кукольные голоса, заверещали, завибрировали, расталкивали друг друга. – Секретный агент! А мы-то глаза занавесили! Ату его! Ату! На шампур его и в реактор! В печь термостойкую! Агента задрипанного!

– Цыц! А вы (уже Шеврикуке), означенный двухстолбовый, не правы. Пожалуй, я зря пообещал отправить вас к полотеру. Вы вспомните: кто-нибудь из домовых, ушедших к нам, вернулся в Останкино? Никто. Желаете себя сохранить – произнесите существенные слова. Хотя бы два слова. Времени у нас нет. У вас – тем более.

Как на японском мелком календаре, при смещении его, возникает новая картинка, так при резком движении собеседника Шеврикуке открылась вместо горизонталей гармони-радиатора (или сквозь них?) фигура, явно схожая с человечьей, и синие глаза блеснули, однако тут же видение исчезло. «Что он хочет от меня? – думал Шеврикука. – Какие два слова ему произнести? „Чаша Грааля“, что ли?»

Собеседник вздрогнул:

– Да, да! Хотя бы два слова!

– Нет у меня никаких слов, – сказал Шеврикука.

– Что же вы нам голову морочите! – воскликнул собеседник. – Что от дел отвлекаете! В порошок его, в сыпучий! Под зад коленом! В реактор, в режим распада! Под зад коленом! Триста плетей по обезвоженным местам!

Дальнейшее Шеврикука помнил плохо. Его опять подхватили, теперь уже с гиканьем и посвистом, крутили, трясли, пинали, то в пропасти швыряли, то винтом возносили в поднебесье, и все в Шеврикуке замирало, засовывали в недра жестяной бочки и били по ней кувалдами, потом втиснули в ржавую водопроводную трубу и сжатым воздухом погнали на

восток. Здесь сознание Шеврикуки погасло.

5

Очнулся Шеврикука на берегу Останкинского пруда.

На черной воде в платной прогулочной лодке сидел водяной Марафетьев с удочкой в руке. «Часа два ночи», – сообразил Шеврикука. Ночь стояла тихая, теплая, и люди на Поле Дураков и по тротуарам улицы академика Королева, пусть и редкие, шлялись. Водяной Марафетьев сидел в полосатых плавках спасателя, фетровой ковбойской шляпе и за спиной имел гитару. На всякий случай Шеврикука пожелал помахать водяному рукой, но сразу же понял, что Марафетьев его приветствия и не заметит. Он, Шеврикука, лежал глубоко в цветущих кустах шиповника. При попытке подняться застонал и принялся браниться. Все в нем болело. Все, но в некоторых местах боль была особенно ощутимой. Исследовав географию боли, Шеврикука пришел к выводу, что добросовестнее всего экзекуторы отнеслись к устному распоряжению: «Под зад коленом!»

Ковыляя домой, Шеврикука не раз оборачивался, грозил кулаком Башне и находил слова, каким позавидовали бы подсобные рабочие рыбных магазинов.

Потом клокотание в нем поутихло. «Кто-нибудь из домовых, ушедших к нам, вернулся в Останкино?» – вспомнилось Шеврикуке. А он возвращался. Понятно, они могли и лукавить, кто-то вдруг и вернулся, иное дело – как и в каком виде. А он, несомненно, возвращался. И возвращался Шеврикукой. И он почувствовал себя чуть ли не победителем. Видали, экий Шеврикука-то он!

Однако победные песнопения звучали в нем недолго, и с унылой рожей явилась мысль: ну и какие такие достижения в том, что он уцелел и возвращается? Накануне о возвращении он вовсе и не пекся. И выходило, что он проиграл. Он упустил шанс, который вряд ли еще представится. Бго не приняли всерьез, не признали даже достойным темницы или измельчения в порошок, его отрыгнули за ненадобностью, не считаясь с приличиями и без боязни последствий. А если рассудить холодно, переведя себя в состояние студня из свиных ног с желатином, то следует признать, что более других виноват был он сам. Он ведь знал, куда рискнул проникнуть, готовился к капканам, унижениям и даже пыткам, роль себе сочинил и выстроил и вдруг – к собственному изумлению – повел себя гордецом, дерзил собеседникам. «А зачем они кривлялись? – начал оправдываться Шеврикука. – Кривлялись-то зачем?.. Голосами дурными

верещали, щипались, вспоминали Риббентропа, балаган устраивали… Зачем?..» «Их право, – тут же ответил себе Шеврикука, – не они тебя приглашали, ты сам изволил их посетить». Отважившись двинуть в поход, был согласен на любого собеседника, да что согласен – мечтал о любом собеседнике, а заполучив его, надо полагать, что и не «любого», принялся ему хамить. И тогда еще терпение у них не иссякло. Хотя бы два слова существенных они желали от него услышать. Коли сам приволокся. И не услышали. Возможно, их устроили бы и «Чаша Грааля», а он и о ней не сказал. («Далась тебе эта „Чаша Грааля“!» – опять удивился себе Шеврикука.) Дурак, он и есть дурак, добавить тут нечего. Ну, живой, ну, вернулся, а дальше что? Что дальше-то? Ведь он уже и в мыслях выкорчевал себя из привычной жизни. К тому же как пребывать здесь, как служить после воскресных посиделок?

«А-а-а, – в отчаянии решил Шеврикука, – сяду-ка я на больничный. Выправлю-ка я больничный и отсижусь. И дядя, уполномоченный, фикус меня не достанет. А там посмотрим!»

Добывать больничные Шеврикука и при непоколебленных состояниях своей натуры был умелец, теперь же и ловчить не стоило, а надо было лишь предъявить дежурному знахарю спину и задницу («сдувал пыль с лампочек, рухнул вместе с люстрой, сами знаете, какие выпускают, пусть и по конверсии») и удалиться от недоброжелателей в спасительное укрытие постельного режима. И Шеврикука немедля посетил ночного знахаря. Дежурил тот в калекопункте на четвертой липе (если встать передом к Хованскому проезду) Поля Дураков, зевал в безделье. Бумагу выправил вмиг. Шеврикука получил снадобье для растирания («нынче туда добавлены шакальи выбросы, из Замбии, некоторые суют вовнутрь, но я бы не советовал»). В малахитовой вазе Шеврикука решил обдумать происшествие дня заново и всерьез, мысли по дороге от пруда и домой казались ему теперь неразумными, зыбкими, суетными. Но тут же ощутил сигнал: в его подъездах опять нарушалось благонравие. «Нет меня! – протестуя, в воздух, сделал заявление Шеврикука. – Я больной! На больничном! Болею болезнью!» Но шум опять происходил из окрестностей квартиры активиста Радлугина.

«Ну попадитесь мне сейчас подлец Продольный и уполномоченный дядя!» – возмечтал Шеврикука.

Однако и сам Радлугин, так и не вознагражденный ведомствами судьбы розовым унитазом, был встревожен и раздосадован не менее, нежели Шеврикука. Шумели над ним, в квартире кандидата наук Мельникова, и на ближних пролетах лестницы. Радлугин звонил в

«Скорую», в милицию, к пожарным, машины приезжали – и белые, и желто-синие, и красные. Но и отбывали. Выяснив причины ночного праздника, лица, вызванные Старшим по подъезду, проявляли непростительное благодушие, никого не брали, не окатывали струей, никого не убеждали резиновыми доводами, а говорили: «Историческая неизбежность. Человечество прощается с прошлым. Пусть порезвятся напоследок. К шести разойдутся».

Уснуть супруги Радлугины не могли, в пижамах толклись у двери, приоткрытой на две цепочки, и время от времени обращались к народу с пронзительными призывами и назиданиями. «Не митингуйте, – отвечали им без злобы, но с усталостью и печалью. – Вот метро поедет, и мы уберемся». А стрелки подтянулись к трем.

Шеврикука в приличном виде ввинчивался в компании курящих вблизи квартиры Мельникова и скоро вызнал все обстоятельства. Вот что было. Упразднили Департамент Шмелей. Длиннее: Департамент, управлявший полетами шмелей. В бумагах название Департамента выглядело еще более протяженным. Дело к тому шло. Той самой исторической неизбежностью, о которой справедливо напоминали Радлугину медики, милиционеры и пожарные, Департамент был поставлен в очередь. Теперь номер его выкликнули. Упразднили. Разогнали. Изничтожили. Компот сварили из чиновников, объявив, что накладно надзирать из первопрестольного населенного пункта над шмелями, да и противно это естеству природы, пусть перепончатокрылые летают, кушают, плодятся и совершенствуются сами по себе. Патриоты Департамента учинили прощальный бал. Гуляли в ресторане. Когда утихли, околев, ламбады и эскадроны мыслей шальных, решили продолжить. Кто где. Вспомнили, что талант, а может, и гений Митя Мельников, малахольный и великодушный, может многих вместить в своей холостяцкой квартире. К нему и бросились. И хорошо сидели. Теперь догуливали, курили, зевали. Впрочем, иные были еще резвые и неутоленные.

– Ба, и вы здесь! – Шеврикуку хлопнули по плечу.

– Я? – Шеврикука даже растерялся. – Да, я здесь… Здесь я…

Приветствовал его квартиросъемщик Сергей Андреевич Подмолотов, проживавший на втором этаже и хорошо Шеврикуке известный.

– Вы тоже, что ли, в нашем Департаменте работали? – обрадовался Подмолотов. – А я и не знал. Я сегодня со многими познакомился, с кем, оказывается, работал.

– Нет, – сказал Шеврикука. – Я здесь случайно. Я ведь тоже живу в этом доме. Возможно, мы с вами сталкивались во дворе, в магазинах, в

очереди за квасом…

– И не только за квасом! – рассмеялся Подмолотов. – То-то я вижу – лицо знакомое.

– Конечно, конечно, – закивал Шеврикука. – И мне ваше.

– А на Северном флоте вы не служили?

– Нет. На Северном я не служил.

– Тогда, наверное, в Севастополе?

– Нет. И в Севастополе я не служил.

– Ну и ладно. Тем более следует промочить горло. Пойдемте к Мельникову.

И Подмолотов повлек упиравшегося Шеврикуку из коридора к столу. Сергей Андреевич Подмолотов был мужчина шумный, из породы громобоев, он и носом издавал громкие звуки, нос этот был солидный, трубой, напоминал нос Корнея Ивановича Чуковского. Сергей Андреевич в Департаменте трудился в должности инженера по технике безопасности, но и во дворе и в доме его знали прежде всего как бывшего и доблестного моряка. Срочную службу он проходил на непотопляемом крейсере «Грозный». Его и называли во дворе не Сергеем Андреевичем и не Серегой, а то Крейсером, то Грозным.

– Митя! Мельников! – загремел Подмолотов. – Смотри, кого я привел! Вот, видишь! – И уже шепотом: – Запамятовал, как вас именуют, в голове нынче все перемешалось, извините…

– Меня? – замешкался Шеврикука. – Игорем Константиновичем…

Он сам себе был удивлен. Случались эпизоды, когда в людских компаниях и передрягах ему приходилось придумывать себе имя и отчество. Но «Игорь Константинович» никогда не являлось ему в голову, и не было никаких объяснений, почему теперь он объявил себя именно Игорем Константиновичем.

Впрочем, никто на него, похоже, не обратил внимания. Дмитрий Мельников, узкий в кости, деликатного сложения блондин, кивнул из вежливости. И ему, наверное, лицо Шеврикуки показалось знакомым. Но Мельникова, вцепившись в куртку, тянул к себе возбужденный собеседник с намерением то ли расцеловать Митю, то ли плюнуть ему в физиономию. И собеседник этот проживал в Землескребе. Департамент в пору расположения к нему городских властей выбил здесь немало квартир. Собеседник Мити был экономист Дударев, красавец мужчина лет тридцати пяти с коварными тонкочерными усами графа Люксембурга или князя Эдвина, покорившего королеву чардаша, вертопрах и плясун, в словесных баталиях способный обескуражить и самого Радлугина. Наконец, Дударев

расцеловал Митю. Но тут же гордо оттолкнул его от себя и сказал:

– Ты – мельник, колдун, обманщик и вор, и дело наше, еще и не начатое, а значит, и тем более хрупкое, желаешь предать!

– Почему я обманщик и вор? – пьяно пробормотал осевший на стул Митя.

– А потому что опера есть такая композитора Фомина «Мельник – колдун, обманщик и вор». Или сват. Не важно. Лучше вор! Ну ладно, мельник ты теперь только по фамилии. И небось уже не колдун. Стало быть, остался только – обманщик и вор!

– Почему я обманщик и вор? – обиженно повторил Митя. – Почему я…

– Ты, Дударев, не прав, – вломился в разговор Подмолотов. – Ну конечно, Митька уже не мельник. И где они, мельницы, где? Где мука? Где вермишель и рожки? Но колдуном-то он может быть, их-то хватает!

– Могу! – тут же откликнулся Мельников. – Колдуном – могу! И прабабка моя была колдуньей. Под Дмитровом. В селе Ольгово, в имении Апраксиных, там, где Пиковая Дама на портрете… Колдуном – могу!

Сил у Мити хватило лишь на это заявление, веки его смежились, он заснул.

– Все он врет! – заключил Дударев. – И дело наше поддержать не желает!

– Какое дело? – спросил Подмолотов.

– Тише! Тише! – зашипел на него Дударев. – Неугомонный не дремлет враг!

Сейчас же из угла комнаты воздвигся человекобык с бокалом в руке и запел: «Смело мы в бой пойдем за власть Советов и-и-и, – палец певца поперся вверх, превращаясь в восклицательный знак или в жезл управителя движением, – и-и-и как один умрем в борьбе за это!» «Бордюков, успокойся!» – приказала певцу крепкая обильная дама, похожая на метательницу ядра, сама будто выложенная из ядер, за столом она хозяйничала, и ее слушались. Вот и Бордюков, испив из бокала, крякнул, сел и успокоился. «Бордюков – это наш кадровик. И по общим делам… – зашептал Шеврикуке Подмолотов, видимо посчитавший, что свежего человека следует просветить. – А соседка его – Совокупеева, она передовых взглядов и всегда в президиумах, тоже экономист, как и Олег Дударев, но сознательностью выше… А вон та барышня, раскраснелась вся, это наша прелестная Леночка Клементьева, музыковед, она из музыкального управления. Бывшего, конечно, бывшего…» «Какое в вашем Департаменте могло быть музыкальное управление?» – усомнился

Шеврикука. «А как же! – Подмолотов сомнениям Шеврикуки чуть не обрадовался. – А моряк-то великий, пусть и не служил на крейсере „Грозном“, но за сколько лет все предвидел и написал „Полет шмеля“! Леночкино управление занималось биомузыкой, расшифровкой серенад и трудовых песен шмелей, других разных насекомых. Леночка, скажем, вела стрекоз, ну я еще кое-что, вы понимаете… – Тут Подмолотов зашептал совсем тихо, губы его почти сжались. – Конечно, мы и шмелей курировали, и их процветанию содействовали, но и не только… Много чего секретного… Теперь другое мышление. И правильно… Но было, было… Вот и Митя Мельников, Эдисон с Яблочковым, такие темы разрабатывал, такое изобретал, что и рассказать нельзя, талант и гений!» «Точно! – подтвердил усевшийся рядом Дударев, плясавший только что за стеной, налил всем в рюмки жидкость бурого цвета и тоже зашептал: – Митьке-то давно быть доктором, академиком, а он лодырь и карась, он и теперь уже такое соорудил, почти соорудил, что чего хочешь материализует. Вот все, что Крейсер Грозный врет, и это материализует!» «Я никогда не вру! – обиделся Подмолотов. – Нигде. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Ты же знаешь». «И такого человека, как Мельников, разогнали и сократили? Как же так? – не поверил Шеврикука. – Его куда только с почетом не звали, а он сказал: буду как все. И его не сдвинешь». «Дурак он! – вспомнил возмущенно Дударев. – Колдун, обманщик и вор! И дело наше поддержать не хочет! Предатель!» – «Какое дело?» – «Тише! Ша! Замолкли! – зашипел Дударев. – Выпьем лучше! А Ленка-то как на него смотрит. Тоже дуреха из оленьего стада!» Музыковед Леночка Клементьева, рекомендованная Шеврикука Подмолотовым, и впрямь во все время их разговора не сводила с Мельникова черных глазищ, восторженных и жалеющих, и все видели, что она в Митю влюблена. На Митю глядел и ее приоткрытый рот. Хотелось бы сказать: ротик. Но нет, у Леночки был именно рот, и большой, нисколько, впрочем, ее не портивший. И вызывавший даже предположения, что Леночка – барышня не только благоуханная, но и страстная. Теперь она явно желала подойти к Мите и замереть возле него, оберегая Митин сон. Но сила вмещенного в нее напитка подняться ей не позволяла. «И-и-и! – опять взлетел палец Бордюкова. – Как один умрем в борьбе за это!» Теперь певцу на глотку не наступили, а даже попросили начать кантату «От края до края по горным вершинам, где вольный орел совершает полет», и он, обнаружив в себе ансамбль Александрова, просьбу ринулся исполнять. Бордюкову стали подтягивать. Хоровое пение в Останкине никогда не умирало, менялись лишь вкусы и пристрастия любителей. Долгие годы здесь, как помнилось

Шеврикуке, звучали все более трогательные, бередящие душу или, напротив, обнадеживающие слова. Вроде таких: «Ромашки спрятались, опали лютики…» Или: «И снится мне не рокот космодрома…» Или: «Без меня тебе, любимый мой, лететь с одним крылом!» Или: «Из полей доносится „Налей!“ И конечно: „Горная лаванда“! Где те устойчивые времена! Сейчас же получалось, что квартиросъемщики и их гости при хоровом пении из лирического состояния впадали в гражданское. При этом свирепели, и орали, и готовы были бить посуду. Шеврикука поглядывал на солиста, человекобыка Бордюкова, и прикидывал, перевернут ли стол вместе со спящим хозяином или нет. Не перевернули. Утомились… Тут он наконец разглядел, что на столах осталось и что с них уже было взято. При нынешних затруднениях к Мельникову принесли закуски и напитки из семейных добыч и запасов, все больше домашнего приготовления. Жидкость от разных специалистов была своего цвета – и бурая, и свекольная, и мутно-оранжевая, и прозрачная, как совесть отечественного налогоплательщика. „Кони сытые бьют копытами!“ – забрал Бордюков. Его остановили предложением выпить за урожай и за преодоление кризиса в Новой Гвинее.

– Мо-ол-ча-ать! – вскочил вдруг на стул мелкий взъерошенный мужчина с тремя жетонами победителя соревнования на эпонжевой ковбойке. – Мо-ол-ча-ать! У нас что? Нам что – знамя вручили? У нас поминки. Мы упразднены. Мы сокращенные. Нас нет. Нет. Мы живые трупы. Мы привидения. А тут поют и пляшут! Ра-зой-дись!

– Свержов, успокойся, спать пора, баиньки пора! – Возле оратора сейчас же оказался легкий Дударев, стал за ногу стаскивать Свержова с кафедры, подоспела Совокупеева, она хозяйственно схватила Свержова, заграбастала его и повлекла из компании на покой.

«Наверх вы, товарищи, все по местам!» – стал размахивать руками Бордюков, приглашая публику открыть глотки и ответить Свержову и судьбе. «Это по-нашему, по-флотски! – одобрил Бордюкова Подмолотов, успел шепнуть Шеврикуке: – А Свержова вы в голову не берите. Замначальника управления передних плоскостей. По режиму. Он, конечно, строгий. Да и как же ему без строгостей? Но вы не бойтесь. Это он на нервах». И последовал Бордюкову во вторые голоса.

И все же гулянье криками проявившего бестактность Свержова было расстроено. Вот уж и из песен исчезла энергия. И пили без тостов, кто как – кто с соседом, кто сам с собой, кто чокаясь с рюмкой или плечом дремлющего Мельникова. Шеврикука полагал, что ему пора раскланяться, но встать не мог. Трезвенником он не был, но и не увлекался, и уж под

столами и заборами никто его не наблюдал. А тут он затяжелел. Может, на Башне его слишком растрясли и изволтузили. «Ну ладно, – говорил себе Шеврикука, – еще посижу, послушаю». Как это он прежде-то не проявлял интереса к Мите Мельникову и занятиям Департамента Шмелей? А вдруг и не случайно Продольный с уполномоченным дядей собирались заменить предмет из системы общей связи именно под Митей Мельниковым? Не был ли в их предприятии какой-нибудь особый смысл или технический фокус? А покойный Фруктов, до гибели доведенный, проживал прямо над Мельниковым! Так-так-так! Нет ли во всем этом темного, но и вызванного кознями сплетения обстоятельств, которое ответственный домовой-двухстолбовый проморгал? Чьими кознями? Из-за чего и ради какой выгоды? «Фу ты! – останавливал себя Шеврикука. – Глупости мерещатся, закусывать следовало борщом…» Тут на плечо Шеврикуке доброжелательно возложила руку крепкая дама Совокупеева. Рука ее была горячая, и сама Совокупеева исходила жаром. Или истомой. Нельзя сказать, чтобы возлежание руки на его плече вышло для Шеврикуки неприятным. Опять Шеврикука подумал, что Совокупеева может – и удачливо – толкать ядро и вся сложена из ядер. «Как это материя, тряпки всякие выдерживают, как не треснут, когда ядра ее перекатываются?» И в этой ленивой мысли Шеврикуки не было неприязни, скорее содержался комплимент женщине. «Такая и в Доме Привидений бы не пропала, – подумал Шеврикука. И тут же на себя фыркнул: – Не пропала бы! Она там бы в первые привидения вышла, да еще бы и свечи в шандалах растопила!» В грезах Шеврикука перевел в Дом Привидений и Леночку Клементьеву, и Леночка увиделась там уместной. В тех же грезах сразу возникли чаровница Гликерия и бесстыжая Невзора, она же Копоть, и стали Шеврикуку гневно отчитывать, Шеврикука их не прогнал, он хотел всех, и хрупких, и обильных, примирить и обнять…

– Какая улыбка у вас благодушная! – услышал Шеврикука явно ласковые слова Совокупеевой. – И хохолок какой… И уши какие большие…

С плеча Шеврикуки горячая рука Совокупеевой двинулась к его лбу, потрепала жесткий клок его русых волос, а потом захватила его левое ухо, сжала его, отпустила и стала гладить розовую мочку и ушную раковину.

– И такую женщину сократили? – млея, произнес Шеврикука. – И такую женщину упразднили? О чем же они думали…

– И сократили! И упразднили! – Рука Совокупеевой взлетела вверх, пальцы сцепились в кулак, и опустилась на стол, произведя переполох посуды. – Давай, друг, дернем с горечью!

Себе из криминальной по классификации Радлугина бутылки она плеснула бордовой жидкости в стакан, оглядела рюмку Шеврикуки в недоумении и заменила ее, как неспособную составить счастье, стаканом же, они дернули с горечью, и Шеврикука понял, что Совокупеева его сейчас повлечет. Но опять загремели, заголосили человекобык Бордюков и Свержов со значками соцсоревнователя, теперь вместе, вскочив на соседние стулья, правда, один выступал с песней, другой с устной прокламацией – звал с ружьем и на улицу. Но песня не была поддержана, и ружье не нашлось. В Шеврикуке же все текло и колыхалось, и состоялись минуты, когда жаркая дама Совокупеева увлекла его в приют любви, и было испытано им удовольствие, будто бы он откушал сдобный пирог с малиновым вареньем, только что вынутый на противне из духовки. А потом Шеврикука задремал.

Проснувшись, он ужаснулся: давно столько не спал. Сидел он за столом в квартире Мельникова, и из-под его рук и головы старались вытянуть скатерть. Шеврикука вскочил. «Как же это я? А дела? Дела! Ты на больничном! Ты на больничном!» – тотчас зазвенели над ним бубенцы; Шеврикука огляделся. Легкий Дударев, тихие поутру Подмолотов, Совокупеева и Леночка Клементьева убирали в квартире, и Шеврикука вызвался носить посуду на кухню. Совокупеева на него и не посмотрела, воспоминания о пироге с малиной из духовки предлагалось не держать в голове. Впрочем, воспоминания эти и не слишком были нужны сейчас Шеврикуке.

В коридоре под потолком, вытянув руки в ноги будто в полете, раскачиваясь, висел человекобык Бордюков и, не глядя вниз, нечто бормотал. Под ним стояли Митя Мельников и еще более, чем ночью, взъерошенный соцсоревнователь Свержов, уговаривая кадровика, корифея анкет и личных дел снизойти к людям. Бордюков мрачно мычал и мотал головой. «Как это он башку-то смог пропихнуть в кольцо? – удивился Шеврикука. – Он же теперь ее оттуда не достанет». Митя Мельников из двенадцати колец, родственных гимнастическим, устроил себе под потолком место для умственных полетов и обывательских мечтаний. Имели же туземцы в Западном полушарии и до Колумбовых каравелл гамаки. Митя просовывал голову в кольцо, остальные кольца и ремни держали его туловище, раскинутые ноги и руки, Митя покачивался в квартирных высях, отдыхал, обмозговывал свои технические соображения, а то грезил. Но это Митя. А Бордюкову-то зачем потребовались выси? И каким макаром сумел он взлететь? Впрочем, не Шеврикуки это было дело. Спускаться на пол Бордюков не желал, а может, и не соображал, где находится. Совокупеева,

выйдя в коридор, спросила, опохмеляли ли Бордюкова или нет, и, узнав, что не опохмеляли, посоветовала принести стакан «лигачевки», но не поднимать его к объекту, а поставить на пол. Увидев под собой самогон, Бордюков задергался, хотел было ввести себя в штопор, но не вышло. Подставили стремянку, с трудами и ругательствами высвободили тело Бордюкова, а голова не давалась, была в два раза шире кольца. Следовало кольцо пилить. Пока искали пилу или ножовку, Шеврикука, поморщившись, поднялся по стремянке, растянул кольцо, с тушей Бордюкова чуть ли не рухнул на пол, с метр вынужденно пролетел. Совокупеева удивилась, стояла озадаченная, впрочем, недолго. Действия Шеврикуки, возможно, укрепили ее в чем-то, она взглянула на него со значением, но сейчас никуда не повлекла. Ушла по делу. А Бордюков шарахнул стакан и потребовал еще.

– Ну нет! – решительно сказал Дударев. – Все выпито, пролито и испарилось! Сам бы с удовольствием, но не имеем. Сейчас все вымоем, вытрем и пойдем в парк, там под каждым кустом сидят дяди Гриши и тети Грани, у них на квартирах курятся напитки и марочные, и ясновельможные.

Бордюков уныло кивнул, подниматься с пола не стал. Когда действительно все было вымыто и вытерто, Дударев предложил и Леночке с Совокупеевой участвовать в оздоровительной прогулке. Леночка, кротко, влюбленно взглянув на Митю Мельникова, было согласилась, но Совокупеева цыкнула на нее, заявив, что после вчерашнего надо думать не о душе, а о хлебе насущном. Хлебом-то все же именно и жив человек, а в три часа им с Леночкой назначен дорогой разговор в хорошем совместном предприятии.

– Да-да! Конечно! – рассмеялся Дударев. – В советско-йошкаролинском. Будете в ихнем «Макдональдсе» накрывать на стол. Подадите нам моченый горох: «Просим вас, мужчины!..» Мы-то как раз в парке и поговорим о деле. И Митичку заставим в него вступить.

– Заставим! – утвердил с пола Бордюков.

– Нет, – заявила Совокупеева. – В твое дело включиться, коли будет нужда, успеем. Нам с Леной надо сегодня сходить. А перед тем зайти в баню и к парикмахеру.

– Ну смотрите, – сказал Дударев.

6

Прежде останкинским мужчинам в утреннем и неотложном состоянии не пришлось бы шагать долго. Принял бы их и исцелил незабвенный пивной автомат на Королева, пять. Но, увы, в восемьдесят пятом году открылось новое внеисторическое сражение с пороком, в результате чего помещение автомата было даровано райотделу милиции. На моей памяти таких государственных сражений происходило много, начинались они всегда с души, с газетных слез матерей и жен, с печалей по поводу подпорченных бормотухой и вражьими силами народных генов, а заканчивались исключительно повышением цен на сосуды, столь приятным населению. Но кампания восемьдесят пятого года оказалась особенно резвой и отечественно-спасительной. При ней не только повысили в нравственных целях цены, издали «Роман-газетой» тексты тихонравного медика Углова, обрадовали торговлю всех видов, но и вызвали беспредельное производство самогона, всюду называемого, независимо от удач изготовителей, «лигачевкой». А останкинских жителей лишили пивного автомата. Вот теперь наши знакомцы и шагали из Землескреба в Шереметевскую дубраву имени Ф. Э. Дзержинского.

Шагали они в шашлычную. Ни шашлыков, ни опасных для желудка «колбасок», возводимых в меню в достоинство купат, в той шашлычной уже не водилось. Там можно было заказать на закуску песочное печенье, а в случае счастливой торговли – морскую капусту и морское же существо кукумарию. Но зато рядом в зарослях бузины и черемухи обретались дяди Гриши или тети Грани, с ними несложно было порассуждать на предмет самогона, не вынимая из карманов визиток. Шеврикука вовсе не хотел идти в парк, но его уговорили составить компанию. Он даже сопротивлялся, бормотал что-то о делах, но Дударев, нынче самый порывистый и устремленный, удивился: «Какие такие, Игорь Константинович, дела, когда вы на больничном?» Тут и Шеврикука удивился: экий дотошный и ушастый этот Дударев, всего-то раз он и назвал себя Игорем Константиновичем, а тот удержал в памяти. Насчет больничного Шеврикука и вообще не помнил, что кому-то говорил о нем. Неужели его так разобрало ночью, что он принялся болтать людям про обстоятельства своего существования? Он и согласился пойти в парк с бывшими тружениками Департамента Шмелей, чтобы выяснить, не открыл ли он в загуле о себе чего и похлестче.

Но спутники по дороге в парк особого интереса к его персоне не проявляли. И если Дударев и Подмолотов выглядели оживленными и нечто предвкушавшими, то Свержов и Митя Мельников шагали молча и в печали, а Бордюков, вчерашний песельник, просто плелся. Можно было предположить, что эти пятеро в друзьях прежде не ходили. Возможно, лишь проживание в Землескребе делало их останкинскими земляками, да и разгон Департамента Шмелей сбил их в кучу. Отчего-то Шеврикука вспомнил о домовом Петре Арсеньевиче, хотя после воскресных посиделок сокращение вряд ли тому грозило.

– Ничего, ничего, сейчас поправим состояние, – обратился к Шеврикуке Дударев. – И о деле поговорим. Вы, Игорь Константинович, кто по профессии? Я, возможно, прослушал…

– Смотря что считать профессией, – сказал Шеврикука.

– Да, да! Конечно, конечно! Вы правы! Вот наш прекрасный Бордюков’ не имеет никакой профессии, а дела делал.

– Не делал, – сказал Свержов, – а портил людям жизнь.

– Это нас сейчас не касается, – махнул рукой на Свержова Дударев. – Так что вы, Игорь Константинович, умеете делать?

– Многое, – вздохнул Шеврикука. – Многое чего умею делать…

– Ну уж, наверное, не все, – рассмеялся Дударев. – Вот, скажем, то, что смог бы сделать Митечка Мельников, вы, думаю, не сможете. Он у нас уникальный талант. К тому же из колдунов. По отцовской линии.

– И по материнской! – добавил Подмолотов. – А вот морских узлов вязать он не может!

– Как твоя фамилия? – спросил Бордюков.

– Подмолотов, – сказал Подмолотов.

– Ударение? – спросил Бордюков.

– Подмолотов.

– Не ври!

– Как у наркома иностранных дел. Но с приставкой.

– А ты его лично знал?!

– Я-то? Нигде, ни за что, ни при каких обстоятельствах! Конечно, знал. Мы строим в Бирюлеве, я тогда был в СМУ, он идет мимо, ему девяносто шесть лет, он говорит: ты, что ли, тоже Молотов? Нет, говорю, я Подмолотов. Он говорит: ну все равно, давай выпьем, а у меня стакан в руке, я ему даю, он выпил, говорит: хороший спирт. Сталин, говорит, дурак, меня не уважал, а Хрущева, дурака, привечал.

– Все ты врешь! – сказал Бордюков. – Ты вот и на Мельникова грешишь, а сам, уж точно, ни одного узла связать не сумеешь!

– Я-то! – рассмеялся Подмолотов. – Это вот Игорь Константинович, возможно, не сумеет.

– Я сумею, – грустно сказал Шеврикука. – Хотя и надоело.

– А наркомов ты не пачкай! – заявил Бордюков Подмолотову. – И на узлы твои мне наплевать. Где у тебя ударение?

– Я Подмолотов. И все.

– Здравствуйте! Ты – Крейсер Грозный! – обрадовался Дударев. – Ты – Крейсер Грозный, и более никто!

– А узлы вы все равно не умеете вязать.

– Умею, – поморщился Шеврикука.

– Неужели и выбленочный?

– И выбленочный. Хотя он и противный. И кошачьи лапки. И удавку. И рыбацкий штык. И еще восемнадцать узлов, о которых вы и не знаете.

– Я не знаю?! – возмутился Подмолотов.

– Да, – сказал Шеврикука, – вы про восемнадцать узлов, на флоте не применяемых, и не знаете.

– Какие такие восемнадцать? – растерялся Подмолотов. – Да я все узлы знаю!

– Я могу назвать и еще тридцать узлов, о которых вы И представления не имеете.

– Никогда, ни за что и ни при каких обстоятельствах!

– Хорошо, – сказал Шеврикука. Он почувствовал, что сейчас начнет врать, фанфаронить и надо себя ограничить. И помнить, кто он есть.

– Ну-ка покажите выбленочный-то! – вдруг потребовал Свержов. – Я вот сейчас шнурки из ботинок выну.

– Погоди! – сказал Дударев. – А полы вы, Игорь Константинович, циклевать можете?

– Полы, – сказал Шеврикука, – могу.

– А рубанком?

– И рубанком.

– А чтоб леща вяленого достать в Самаре? – спросил Подмолотов.

– Это не ко мне, – сказал Шеврикука.

– Я вас уважаю, – заключил Дударев.

– И леща не может! – стоял на своем Подмолотов. – И уж тем более не развяжет ртом двадцать девятый узел!

– Двадцать девятый, тридцать первый, тридцать восьмой ртом могу, – заупрямился Шеврикука. – А вот начиная с сорок третьего, извините, исключительно носом.

– Я тебя уважаю! – сказал теперь и Свержов.

– Сорок третьего морского узла нет, – покачал головой Подмолотов. – Сорок четвертый есть, а сорок третьего нет.

– А давайте поедем в «Кот д’Ивуар», – возмечтал Митя Мельников.

– Сколько ты нам положишь? – спросил Свержов Дударева.

– Не меньше семисот. Поначалу. Иначе вы и не прокормитесь, – сказал Дударев. Тут же взглянул на Шеврикуку: – А вам не смогу дать больше пятисот пятидесяти.

– Я к вам и не собираюсь, – сказал Шеврикука.

– Но-но-но! – погрозил ему пальцем Дударев. – Ишь, уже загордился!

Но уже приблизились к шашлычной. И была тут же обнаружена в зарослях тетя Граня, поход ее за трехлитровой банкой совершался не более двадцати минут. Расселись в воздушном зале шашлычной, день был сухой, не капало, сиделось хорошо. Поначалу молчали, разливали, пили, жевали, фыркали и находили, что стало легче. Похоже, что из Бордюкова, Свержова и Мельникова унеслась тоска, и даже увиделось им некое благополучие в мире и в собственных судьбах. А Дударев и Подмолотов выглядели еще более задорными. Дударев холил расческой коварно-крутые усы, поглядывал, нет ли поблизости каких-нибудь утренних дам, в надежде их развлечь. Но дам не было. А Подмолотов, Крейсер Грозный, явно хотел напомнить публике что-либо из своей вулканической жизни. Шеврикука и выпил всего полстакана, а опять отяжелел. Это было странно.

– Вот так же сидим мы однажды в Эфиопии, – сказал Подмолотов, – крейсер наш посещал с дружеским визитом, и заходят в бар американцы. Они такие же, как и мы.

– Ага! Прямо и такие! – поморщился Свержов.

– Такие же! – заявил Подмолотов. – Может, и еще лучше. Но не хуже. Тем более тоже моряки. Сразу поспорили, чей флот крепче. Естественно, мы их перепили. Очнулся я в госпитале. Но и перед госпиталем я кое-что чувствовал. Мы плыли по Амазонке.

– Ага! По Амазонке! – обрадовался Свержов. – Это какая же Амазонка в Эфиопии?

– Правильно, – кивнул Подмолотов. – Амазонка не в Эфиопии. Она в Бразилии. Нас срочно вызвали в Бразилию. Мы утром там.

– Где Эфиопия и где Бразилия?

– И что! – Подмолотов чуть ли не возмутился. – Под Африкой мы прошли туннелем. Скоростным. Там есть такой туннель. Секретный. О нем нельзя говорить. Но вы люди проверенные. Про Мертвую дорогу слыхали? Ну? А этот успели достроить. Не всех сразу отпустили. И вот идем мы, значит, утром Амазонкой. Река дурная! Мутная. И выплескивается в океан.

Валы катит. Не пускает. Но кого не пускает? Атомный гигант не пускает! Мы ей пальчиком: не шали, Амазонка! Сразу стала шелковая. Впустила. Но опять видим: дурная. Деревья вдоль нее стоят прямо в воде. Растут друг на друге. Корни у них залезть в глубину не могут, раскорячиваются, зовутся «дощатыми». Доски, а не корни. Во! Хотя и не доски. И все зверье попряталось, засело в лианах. Жулье. И попугаи. Ярких расцветок. Но кое-где все же берег как берег, и на нем поселения. Индейцы голые с пузатыми детьми, пупки торчат, тысячу лет не видели настоящих моряков. Монтесумы. Затерянный мир. Но вдруг – фазенды. Плантации. Негры маются там и тут. Из-за одной такой фазенды у меня и возникли затруднения.

– Куда вы шли-то? – спросил Мельников.

– А в Парагвай. Там несколько адмиралов русских. И генералов. Из эмигрантов.

– Погоди, – сказал Свержов. – Что на фазенде-то?

– А ничего, – сказал Крейсер Грозный. – Ничего. Идем мы и видим – слева по борту на берегу мужика и бабу привязали к столбам и бьют кнутами. Видимо, рабов. Мужик – негр, баба – белая. Красивая. Молодая.

– Изаура, что ли? – лениво предположил Дударев.

– Какая Изаура? – не понял Крейсер Грозный. – Не знаю – Изаура она или Виолетта. Или Флорелла. А только не по мне, когда женщину стегают кнутом. Я говорю капитану: надо или десант, или из орудия главного калибра. Он мужик вообще-то боевой, но тут русского моряка в нем одолел политик. «У нас государственная задача – Парагвай, мы туда и идем. Только туда. А у этих, возможно, семейные причины. Что вмешиваться? Известно, кто при этом получает в морду. И по заслугам». Ну я не мог слушать и смотреть. Я как стоял, так и бросился к левому борту и – ласточкой в мутную воду. Дую саженками, а по женщине опять – хлесть кнутом. Думаю, сейчас вы узнаете, почем Крейсер Грозный! И тут на меня в амазонской воде с боков, спереди, сзади подло напали мелкие сволочи вот с такими зубьями – как иглы в швейной машине. Очнулся я на койке. О чем вам начал докладывать. Лежу завернутый в Андреевский флаг. Где, говорю, я? Вы, говорят, в военно-морском госпитале на пристани Манаус. А как, говорю, она? Как там на плантации? Она, говорят, жива, обложена примочками, плантатор сбежал, фазенда сгорела. А из Сан-Паулу ночью прилетел Пеле, его, правда, мы не смогли к вам пропустить, но он передал цветы. Действительно, на тумбочке, салфеткой застеленной, кувшин с цветами. Васильки, ромашки, львиный зев, зверобой, колокольчики. И сухой лист. Если бы я не был флотским, глаза бы у меня замокрели.

Растрогал меня Пеле. Миллионер миллионером, а знает, какие растения мне по душе. Не испортили мужика деньги. Распеленайте меня, говорю, смотайте с меня Андреевский флаг. Смотать-то мы, говорит, сумеем, но только вы нас не торопите, вы распеленутый, может, огорчитесь. Это отчего же? А, говорят, вы плохо знаете наши природные особенности. Вы, говорят, возможно, об этих подлых пираньях придерживаетесь превратного мнения. А они не только всю вашу суконную форму русского моряка с брюками клеш сжевали, но и еще кое-что. Как, говорю, и главный предмет? Главный-то предмет, говорят, как раз в первую очередь. И что же мне теперь делать, спрашиваю? А это, говорят, мы не знаем. Опять же если бы я не был флотским, у меня по щеке тихо протекла бы слеза. А они говорят, то, что вы вчера просили, вам пришили взамен. И хорошо пришили. У нас в Манаусе хирурги не хуже, чем в Арканзасе или где-нибудь в Штутгарте. Но если пришитое вас будет тяготить, вы можете его на время отъединить. Вещь съемная. То есть, извините, говорят, конечно, не вещь. Но вы сами просили пришить именно это. И не просили, а требовали. И умоляли. Можно, естественно, посчитать, что вы требовали и умоляли в горячечном состоянии или даже в забытьи, но вы убедили нас, что такова ваша мечта и воля. И соблаговолили заверить письменное ходатайство. Вот, пожалуйста, оно. На трех языках. На русском тоже. И ваш отпечаток пальца. Операция проведена уникальная. Ну и сматывайте с меня, говорю, Андреевский флаг. Они потупились. А вдруг, говорят, теперь в моменты слабости вы расстроитесь? Что хоть пришили-то, спрашиваю? Анаконду, отвечают. Какой длины? Одиннадцать метров, экземпляр крупный. Да вы что, кричу, чем же я ее в Москве кормить буду! Это кто – кобель-анаконда или сука? Кобель, успокоили. Вот, говорю, его тем более небось не заставишь жрать мороженый картофель или брюкву. И не надо бы, советуют. Анаконда – змей водяной, конечно, рыскает и по земле, но предпочитает пребывать в струях. Кушает и рыбу, надеемся, что рыба в Москве есть. Ну рыба-то есть, говорю, минтай, хек с головами и без них, мойва. Пока есть. Они обрадовались, приободрились. Если бы вы не просили сами, говорят, именно анаконду, мы бы ее ни за что не пришили. Но вы объяснили, что вы флотский и змей вам нужен водяной. Другое дело, что вы требовали восемнадцать метров, а где их взять? Экземпляры в семь метров уже большие, в девять – просто огромные. Исключительно из уважения к вашей личности мы отыскали одиннадцатиметровую донорскую особь, а насчет восемнадцати вы нас чрезвычайно извините. Несмотря на братство народов и дружеский визит, мы оказались бессильны. Ну ладно, говорю, не расстраивайтесь, какого змея пришили, такого и буду содержать.

Расчехляйте! Они приступили. Не без волнения. Стали разматывать Андреевский флаг. Торжественно, по протоколу. А анаконда-то почувствовала ослабление режима и зашевелилась. А когда нас с ней окончательно распеленали, она от радости взыграла. Сначала вроде как бы танцевала в воздухе надо мной, в кольца складывалась, а потом выпрямилась в полный рост. Но под углом, потому как мешал потолок. Ну, я вам скажу, змей!

– Брешешь ты! – поморщился Бордюков.

– Не мешай! – осадил его Дударев. – Ну и врет! А ты не мешай!

– Никогда не вру! – сказал Крейсер Грозный. – Никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах. Игорь Константинович не даст соврать. И на пленку это все снято. Там уж вертелись и с телевидения, и от газет, и из рекордов Гиннесса. Они попросили, чтоб я не сразу усмирил змея, чтоб хоть полчаса дал ему побыть в полный рост. У них работа, я понимаю. Я их уважил. Но на полчаса. Через полчаса отбой. Велел змею укладываться. Несите, говорю, с крейсера мне брюки и исподнее. Вам, говорят, надо еще лежать и лучше это делать в пижаме. Это моряку-то в пижаме? Ну все равно, говорят, вам надо сшить особенный костюм с необыкновенными внутренними помещениями. Мне смешно. Какие такие костюмы могут быть лучше черноморских клешей! И нашего исподнего! Принесли. Говорю Анаконде: готовься к размещению. Встаю. Натягиваю клеши. Сопротивляется, гад, но чувствует мой характер и силу тамбовского сукна. Крякнул, но застегнул все, что надо. Ремнем и пряжкой закрепил власть над зверем. Ни на одних флотах нет таких клешей и пряжек, как у нас. И зверь, чувствую, присмирел. Пусть, думаю, недоволен, но привыкнет.

– Ну и где же он теперь? – спросил Свержов.

– Где надо, – сказал Крейсер Грозный.

– Погоди, – сказал Дударев. – А функции он исполнял?

– Исполнял, – кивнул Крейсер Грозный.

– По обмену веществ? Или какие?

– Всякие.

– И что же, были охотницы?

– Были?! – хмыкнул Крейсер Грозный. – Мне от них приходилось скрываться. Особенно как дали сюжеты с нами по телевизору. И в кино. В ихних «Новостях дня». Поначалу-то змей и сам хорохорился, гад оказался ненасытный. Он ведь и смазливый, чешуя блестит, гладкая, оливково-серая, по верху два ряда бурых пятен. А морда! Морда смышленая, ноздри раздутые. Одно слово – удав. Какие только дамы не набивались к нам в подруги!

– А ты предпочитал рабынь?

– Для черноморского моряка нет рабынь! Но такие, я вам скажу, находились охотницы и эгоистки, что ради удовольствия готовы были стать проглоченными и переваренными. Может, прежний змей их бы и переварил, но мой был уже флотский. Рыцарь. Никого не сожрал. А только лелеял. Но жрать был горазд. Волокли ему рыбу, птицу, кроликов, мелких копытных.

– И долго вы куролесили?

– Четыре месяца, – сказал Крейсер Грозный. – Ровно четыре. По просьбам президентов, их жен и дочерей командование разрешило мне быть гостем Латинской Америки. Серега, сказал мне адмирал, постарайся. Ты, сказал он, можешь послужить делу укрепления не хуже, чем наши боевые визиты дружбы. Я – руку к бескозырке! Но потом змей устал. И залег в ил.

– В какой ил?

– Во влажный, – сказал Крейсер Грозный. – Эти гады, эти удавы, эти змеи водяные, эти Анаконды имеют обыкновение. Случись засуха, они тут же мордой, а потом и всем телом – во влажный ил. И в спячку. И дрыхнут так, пока не начнется сезон дождей. Ушлые. И мой туда же. Хотя никакой засухи и не было. Устал. Наскучило ему. Укатали сивку крутые горки. Раскланялся я с Латинской я Центральной Америкой и вернулся продолжать срочную службу в Севастополь.

– С Анакондой? – спросил Дударев.

– Со змеем, – успокоил Дударева Подмолотов. – Тем более что он съемный. Я для него завел чемодан. С дырками. С иллюминаторами. В Крыму он стал зябнуть. Кашлял. Но привык. И опять, гад, пустился в развлечения.

– В Москве ему и вовсе холодно. Небось сюда его и не взял?

– Взял, – сказал Крейсер Грозный. – Закончил службу и взял.

– И он не буянил?

– Сам просился.

– Хорошо, – сказал Дударев. – А если бы тебе пришили не его, а ее?

– Могли бы пришить и ее, – задумался Крейсер Грозный. – Там хорошие хирурги. Она бы давала в год до семидесяти детенышей. В яйцах. А то и больше.

– От тебя?

– Почему от меня? От себя.

– Так-так-так! Семьдесят детенышей! В яйцах! – Дударев воодушевился, достал из кармана блокнот. – Семьдесят яиц в год!

– Да что ты пишешь! – взревел Бордюков. – Кому ты веришь? Этому брехуну?

– Ну и пусть врет! – сказал Дударев. – Слушай и не мешай. И ты, Мельников, слушай. Здесь и для нашего будущего дела есть направление.

Тут Шеврикука чуть было не высказался. И он за все годы трудов в Землескребе не наблюдал каких-либо свидетельств проживания в здании, во дворе его и вообще в Останкино гигантского водяного удава. Но Шеврикука сейчас же сообразил, что лучше молчать.

– Где она? – орал Бордюков. – Предъяви!

– Я не обязан носить змея все время, – сказал Крейсер Грозный. – И нет нужды. У меня у самого восстановилось.

– Может, он ввинтился теперь башкой.во влажный ил? – предположил Свержов.

– А хоть-бы и в. ил, – сказал. Крейсер Грозный.

– Но засухи нет!

– Нет, – подтвердил Крейсер Грозный, и глаза его стали чрезвычайно хитрыми. – Засухи нет. Но у него свои резоны.

– Может, он в том, в детском пруду? – спросил Свержов. – Или в пруду, что у Башни?

– Может, и там, – сказал Крейсер Грозный. – Он свободный змей в свободном государстве. Где хочет, там и проживает. Мало ли у нас водоемов. Но я бы на его месте сидел бы сейчас в Ботаническом саду, в Главной Оранжерее. Там пальмы, там бананы, там в воде цветут лотосы и виктории. И всюду порхают амазонские мухоловки.

– Мельников, обрати внимание и на это признание! – сказал Дударев и опять что-то записал в блокноте.

Шеврикука был совсем тяжел, веки его склеивались, но при упоминании Оранжереи он встрепенулся, то ли в испуге, то ли в недоумении:

– Анаконда в Оранжерее?

Благоразумие, все еще не погасшее в нем, заставило его немедленно замолчать и не встревать в беседу ни с какими вопросами. Но и испуг, и недоумение не прошли. Бразильский змей невдалеке от привидений? Но вдруг этому Подмолотову, этому Крейсеру Грозному, известно нечто о привидениях и их доме?

– Идиоты! Жертвы перестройки! – опять заорал Бордюков. – И правильно, что вас сократили и выгнали! Кому вы верите!

– В Департаменте Шмелей, – сказал Свержов, – ты сам много чему верил. И нас заставлял верить!

Крики и протесты Бордюкова были признаны приглашением снова промочить горло и продолжить действие, прерванное визитом дружбы в Эфиопию. Но Крейсер Грозный не мог успокоиться. «Ах, вы не верите! – заявлял он. – А из вас кто-нибудь пил с императором? Никто! А я пил! С императором! С Хайле Селассией! Это настоящий мужик! А этот, который его прогнал, ихний Мариман, Менгисту, дрянь! Я пил с императором!..» Потом Крейсер Грозный пытался поведать еще нечто. В частности, о том, что он родился в мешке с цементом и клинкером при Михайловском цементном заводе в Рязанской области. И о том, что уже в четыре года он был кандидатом в мастера спорта по стрельбе из рогатки катышами клинкера, резина, же шла на рогатки из противогазов… Но Крейсера Грозного теперь никто не слышал. Пили, галдели, Шеврикуке стало совсем худо, соображал он расплывчато и все же старался не пропустить ни слова про Оранжерею. Однако ни про анаконду, ни про Ботанический сад с прудами и Оранжереей более не вспоминали. Лишь звучало иногда: «А вы не пили с императором!» И Шеврикука, расслабившись вовсе, заснул.

А проснувшись, растерялся. Сидел он неподалеку от шашлычной под кустами бузины, вблизи нескольких пустых трехлитровых банок и граненых стаканов. Прежние собеседники Шеврикуки пропали, а справа от него полулежал теперь странный тип, дурно пахнувший. Впрочем, во рту Шеврикуки, внутри его всего было так противно, что обращать внимание на чужие дурные запахи или осуждать их было бы неразумно. Новый сосед Шеврикуки походил на карлика с Веласкесовых полотен, голову же его, здоровенную, подпирала шея будто бы раструбом боярского воротника. «Ну что? – спросил карлик. – Пойдем?» «Куда?» – удивился Шеврикука. «Как куда? – подмигнул ему карлик. – Куда вы предлагали». «А куда я предлагал?» – спросил Шеврикука. «Ну знаете! – теперь уже удивился карлик. – Как же так, Шеврикука!»

И Шеврикуку осенило: карлик – из духов Башни. Или хотя бы от них.

Они встали и пошли. Когда дух поднялся, Шеврикука увидел, что тот и не карлик. Уродец точно, но не карлик. Руки и ноги его были от коротышки, но лобастой головой своей он доходил Шеврикуке до плеча. И, возможно, по иным, нежели у Шеврикуки, эстетическим представлениям он и не считался уродцем.

– Пэрст, – сказал дух. – Меня зовут Пэрст. Вы, может, запамятовали.

– Запамятовал, – согласился Шеврикука. – И куда предлагал идти, запамятовал. Зачем – тем более.

– А я помню, – сказал Пэрст. Возможно, он был просто Перст, но гласную в своем имени возводил достоинством выше, с очевидной

претензией, будто намекал на нечто важное, о чем вынужден пока молчать.

Но был он жалок и чем-то удручен, порой его била дрожь, не заметить этого Шеврикука не мог.

– Я во сне, что ли, с тобой разговаривал? – спросил Шеврикука.

– Нет, – сказал Пэрст. – Мы сидели. И пили. С нами и еще были. Но их раздражал исходящий от меня запах. Они затыкали носы. Они ушли. Тогда вы и признались, что вы Шеврикука. Но, может, вы и не Шеврикука?

И Пэрст остановился. Соображение, пришедшее ему в голову, похоже, его напугало.

– Нет. Я именно Шеврикука.

– А я – Пэрст, вы поняли! – обрадовался Пэрст. – Я вам рассказывал!

И последовал повтор, надо понимать, истории Пэрстовых злополучий. Там, на Башне, ему было приказано засесть в капсулу и замереть в ней. Хоть бы и на три столетия. На сколько – не его дело. Закладывали Оптический центр за гостиницей «Космос» и в обстановке пятифлажного митинга, естественно, с непременными взаимоуколами, замуровали в фундаменте капсулу с посланием к потомкам. Башня уже давно рассаживала в капсулы наиболее важных для города фундаментов своих агентов. Ну не агентов, а неизвестно кого. И неизвестно зачем. Возможно, конечно, с чрезвычайно секретной миссией, в которую мало кто был посвящен. А может, и на всякий случай. Вот и Пэрсту пришла пора засесть в капсулу. Радость грошовая, но приказали. А он кто? Он никто. К концу митинга он вместился в капсулу. Капсула хорошая. Вроде футбольного кубка. Блестела. Из титанового сплава. Послание в пластиковой упаковке в ней уже лежало. Тут Пэрст услышал: главного оратора стали партийно подковыривать. Мол, что – послание. Можно было бы отправить потомкам и ценный подарок. Мол, когда закладывали цирковое училище на улице Расковой, клоун Карандаш бросил в капсулу тысячу рублей, земля ему пухом. Тот, кого подковыривали, рассмеялся. Что потомкам ваши рубли! Мол, мы способны уже катать людей бесплатно в такси, а в будущее отослать платину и бриллианты. Полез в карман и опустил в капсулу подарки. Что-то звякнуло. Вышло эффектно. Аплодировали. Тут капсулу прикрыли мраморной плитой с золотыми словами «Потомкам – в третье тысячелетие!». И к Пэрсту пришел покой. Но ненадолго. Часа через три двое мастеров, опускавших плиту, ее и подняли. Что-то они слушали на митинге, но невнимательно. Они развинтили капсулу, искали платину, бриллианты или на крайний случай тысячу рублей и, не найдя их, обозлились. А нашли они четыре пробки от пивных бутылок. В бессильном раздражении они справили на безвинных Пэрста, послание и пивные

пробки малую и большую нужду, полили их еще чем-то вонючим и опять придавили мрамором. Капсула была опошлена, и Пэрст посчитал, что имеет право покинуть ее. «Э-э! – подумал Шеврикука. – Теперь тебя и не Пэрстом будут называть, а Капсулой. Если не объявят дезертиром». И Шеврикука вспомнил, что обещал провести Пэрста на фабрику химчистки за Ботаническим садом и окружной дорогой.

Но вместо химчистки они оказались в пивной на улице Фонвизина, где запахи Пэрста-Капсулы выделить из других ароматов кому-либо было недоступно. Шеврикука чувствовал, что его может занести, что сейчас он станет врать, хвастать и важничать. «Подумаешь, анаконды и титановые капсулы с посланиями! Да я эти анаконды! – принялся выступать Шеврикука. И очень громко. – Да я эти анаконды сшибал с деревьев из рогаток! Катышами клинкера! И я пил с императором! Хайле Селассией!» «Какие анаконды?» – не поняли Пэрст-Капсула и свежие фонвизинские собеседники. «А такие! – стукнул кружкой по столу Шеврикука. – Любых размеров и шкур! Резину на рогатки брал из аэростатов! Резал их на полосы садовыми ножницами! Или вот. Из Киева базарят с англичанами, будто те зажилили бочку золота полковника Полуботка, из запорожской казны… Или вот эти чудики со станции Тайга ищут золотой запас Колчака! А я про такие клады знаю, что!.. Князей Черкасских, например. И ходить далеко не надо. В версте отсюда, в Останкинском парке…» Шеврикука даже и рукой указал, в каком направлении следует идти, чтобы обнаружить в парке клад князей Черкасских. Скептиков, впрочем, разевавших рты, Шеврикука попытался удивить рассказами о думном дьяке Шелкалове, владевшем Останкином после отмены опричнины, тот тоже много чего накопил и кое-где закопал. «Но не под кедрами, – тут же расстроил слушателей Шеврикука. – Не под кедрами. Кедры привез из Сибири уже именно один из князей Черкасских, не скажу какой, ни-ни, не скажу, а князья Черкасские пошли от кабардинского князя Темрюка, и золота имели – во!» Далее Шеврикука свернул к Мечу-Кладенцу, Чаше Грааля, а проявив себя драматическим тенором, пропел: «Отец мой Парсифаль, богом венчанный, я – Лоэнгрин…» Тут его опять сморило…

7

Шеврикука лежал в малахитовой вазе.

На полу, на ковре, в солнечных лучах грелась анаконда.

В дверь позвонили. «Экие глупые слова, – подумал Шеврикука. – Ведь не в дверь позвонили. В квартиру. В меня позвонили». За дверью просителем стоял Пэрст-Капсула. «Брысь!» – сказал Шеврикука анаконде, и она исчезла. А может, ее и не было.

Шеврикука открыл дверь и впустил Пэрста. Наверное, тот отмывал себя. И долго. Возможно, натирался благовониями. Но дурной запах совсем не истребил. Впрочем, Шеврикуке все было мерзко сейчас.

– Меня прислали к вам, – объявил Пэрст-Капсула.

Он снова дрожал. Был напуган. Не теми ли, кто прислал его?

– Ну и что? – грубо сказал Шеврикука.

– Меня прислали к вам… И просили вас прибыть для беседы…

– Прямо сейчас?

– Желательно вовремя.

– Еще чего! – И Шеврикука зевнул, давая понять, что лучше бы его оставили в покое, к чему он более теперь расположен.

– Я вас провожу…

– А ждать мне не придется? – спросил Шеврикука с

вызовом. И сейчас же осадил себя: опять он хорохорится! Ведь был случай… Впрочем, перед Пэрстом можно было позволить себе и покуражиться!

Но в баню бы теперь! И веник в руки!

– Ладно, – сказал Шеврикука. – Сейчас и отправимся.

«Явилось бы мне мое Монрепо, – подумал Шеврикука, – где никто бы не мог нарушить мое уединение и покой…» Главное – Монрепо! Да, были и Монрепо, и Монплезиры, но у кого? К тому же он, Шеврикука, всегда с большим интересом относился к затее светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова устроить Монкураж. И сам кое-что придумал и осуществил. Но – где, как и когда!..

«Однако теперь-то что было мечтать о венике и парной! О, Монрепо! Ловок, брат! Сейчас тебя возьмут, подхватят служители с целлулоидно-кукольными голосами, повлекут, со щипками, оплеухами, с ударами ног из канфу, со швырянием о бетонные стены, в поднебесье, а потом и в седьмые небеса Останкинской башни. Предоставят для беседы. Можно

предположить, как и чем она закончится.

– И велели передать, – сказал Пэрст-Капсула, – что вы вольны принять приглашение на беседу, а вольны и не принимать его.

– Естественно, волен! – сказал Шеврикука. – Конечно, волен! Но принимаю. В здравом уме. И с превеликим удовольствием. Вот только повяжу бант на груди.

– Какой бант? – спросил Пэрст-Капсула.

– Из черного бархата.

Какой бант?! Из какого черного бархата? Он ошалел, что ли? Что он мелет? «Что мелю, то и мелю!» – сказал себе Шеврикука. Были у него бархатные ленты в укрытии, были желтая, фиолетовая и черная, и Шеврикука понял, что именно теперь бант он непременно повяжет, пусть его и выставят посмешищем, пусть унизят или даже удавят, стянув бархат на шее. Отправив посланника духов во двор, Шеврикука пробрался к тайнику и уважил свою блажь.

– Идем к Башне? – спросил Шеврикука во дворе.

– Идти никуда не надо, – сказал Пэрст-Капсула. – Вы просто закройте глаза. И все. А я ни вам, ни им больше не нужен.

Шеврикука закрыл глаза.

– Поднимите веки, – услышал он. – И присаживайтесь.

Шеврикука стоял возле кресла. В мягкую глубину его он и погрузился. Пребывал он в некоем помещении-ящике, по размерам схожем с вагончиком строителей. Напротив него, в кресле же, сидел крупный мужчина или, скажем, существо, принявшее облик крупного мужчины. И вылитый Бордюков. Нет, разглядел Шеврикука, не Бордюков. Пожалуй, весомее Бордюкова. И более ястреб. Но из породы Бордюковых. Никого и ничего более вокруг себя Шеврикука не наблюдал. Чистейшие бледно-фиолетовые стены вагончика были прорезаны четырьмя квадратными окнами, виды в них все время менялись, и вскоре Шеврикука сообразил, что их вагончик летает вблизи Башни, над Останкином и парком, причем шальным образом, кувыркается, крутится, ныряет вниз и возвращается в выси, покачиваясь, выделывает и иные кренделя городского пилотажа, возможно, бочки и иммельманы, не причиняя при этом Шеврикуке никаких неудовольствий и неудобств.

– Вас не трясет? И не болтает? – осведомился тем не менее хозяин летающего помещения. Или не хозяин.

– Нет, – сказал Шеврикука. – Не трясет. И не болтает.

– Ну и хорошо, – кивнул собеседник. – Но можно закрыть оконца шторами, чтобы нас не отвлекало движение. А?

– Меня оно не отвлекает, – сказал Шеврикука.

– Вы в напряжении. Будто я намерен вас потрошить или подвешивать на крюк. А зря. Наше общение ни к чему не должно обязывать. Ни меня, ни вас. Из него может выйти толк, а может и не выйти. И мы разлетимся. Да, я не Бордюков. И не его брат. И не параллельная структура. В своих сущностных буднях выгляжу иначе. Или никак не выгляжу. Но ради контакта, ради соответствия вашим привычкам меня обрядили в подобие Бордюкова. Имея при этом в виду, что ваши мысли могут или даже должны получить некое направление. Я с этим мнением спорил, но уж ладно…

– Какое направление мыслей? – спросил Шеврикука. – Я у вас сегодня в общем отделе? В кадрах, что ли?

– Вот-вот, я этого и опасался, – сказал собеседник. – Вашим мыслям дали коридор, и суть нашего общения чрезвычайно сужается. Вдобавок происходит несомненное приспособление и вас, и нас к людским стереотипам. А ведь мы и вы – не люди.

– Да, мы – не люди, – сказал Шеврикука, но сказал так, будто давал понять, что домовые точно не люди, а вот что за компания приманила его в выделывающий воздушные кренделя вагончик, с уверенностью судить он бы не стал.

– И мы не люди, – услышал Шеврикука. – И не пришельцы. Мы именно отродья, какие завелись на Башне. По вашей останкинской терминологии. Отродья! Башенная шваль! В лучшем случае – духи-самозванцы! – И новый знакомец Шеврикуки рассмеялся. Однако сразу же сказал строго: – Но вы нас боитесь. И не напрасно. При этом вы нас не понимаете, а скорее всего, и не способны понять. Из-за вашего консервативного высокомерия. К тому же уровень… как бы помягче сказать… ваших представлений и знаний таков, что вы и не можете… Извините, вы гадаете, как меня называть. Естественно, не Риббентропом. Извините за прошлые тычки и щипки, но вы сами, как мне сообщили, дали повод для них. Имя – или название, или прозвище – вы мне можете придумать сейчас сами. Подлинное я не имею возможности произнести. Вы его и не запомните.

– Бордюр, – сказал Шеврикука. – Вы не Бордюков, но Бордюр.

– Странно. Странно как-то… Бордюр тонок и длинен, а я вон какой обширный и свирепый. И Бордюр, он вроде бы внизу и что-то ограничивает? Или ограждает? Ну ладно… И примите к сведению. Я личность в вашей истории случайная. Попался под руку. Просто я из тех, кто может надевать человечью личину. Пусть это и противно моей натуре. Многие же пока не могут. Иные и вовсе не имеют форм и иметь их не

должны. А они-то как раз специалисты. Но, может быть, вы опять потребуете иного собеседника?

– Нет, – сказал Шеврикука. – Да и мне ли требовать?

– Хорошо, – сказал Бордюр. – Мы сошлись с вами в том, что мы и вы, к счастью или не к счастью, – не люди. Для людей мы за пределами их жизни. Вас они и просто называют нежитями.

– Нежити – это тюбинги в туннелях метрополитена, – резко сказал Шеврикука. – Но и тюбинги бетонными ребрами ощущают проходящие мимо них поезда.

– Согласен, Шеврикука, согласен! – Бордюр в воодушевлении рукой по руке хлопнул. – Но люди, для которых вы все же есть, все равно считают вас чем-то восемнадцатистепенным.

Тут Бордюр умолк, похоже, посчитал необходимым успокоиться.

– А отчего вы, – спросил он, – решили повязать именно черный бант? Вы могли повязать желтый. Или фиолетовый. А повязали черный. Почему?

– Не знаю, – сказал Шеврикука. – По дурости.

– И ведь люди, – Бордюр вскинул сцепленные пальцами руки над головой, а потом обрушил их вниз и пальцы выпрямил, возможно указуя на презренную останкинскую землю, – не стоят того, чтобы мы были у них в восемнадцатистепенных! Даже – в третьестепенных! Не стоят! Быть у жалких, озлобленных существ в услужении мы не намерены! Нет!.. Черный бархатный бант вы, значит, повязали по дурости?

Шеврикука угрюмо кивнул.

– Дурость нынче свойство редкое, – заметил Бордюр. – Все вокруг исключительно умные. А выходит, впрочем, всякая дрянь… И небось по дурости вы познакомились с нашей неряшливой мелочью. С Пэрстом этим. А? По дурости? – Бордюр хохотнул, в смехе его было одобрение – мол, так и надо, старик, все путем! – и даже как бы обещание покровительства: со мной, мол, купишь и сырокопченый окорок, и электрический утюг. – Но я бы посоветовал не иметь более с этим недотепой-полуфабрикатом дел. Дел с ним, видимо, и не случится. Он будет исторгнут или разъят за ненадобностью. У него нарушение схемы. Имя его забудьте. Его спишут. Разымут или рассеют. И он не станет ни призраком, ни привидением.

Шеврикука взглянул в глаза Бордюру. В них была стужа.

– Да, у нас нет привидений, – сказал Бордюр, в интонации его Шеврикука ощутил сожаление. Или даже печаль. – У нас нет прошлого. У нас нет родословных. А какие могут быть привидения без прошлого. Иные видят в этом благо. Мол, от нас все пишется даже и не заново, а впервые. И набело. С нас начинается все. В-с-е! Прочее следует отмести и забыть. У

нас нет прошлого и нет поводов для ностальгии. Для нытья. Нет груза чужих, но врученных наследием поражений, ошибок, пороков, нет слабых токов, нет связей, способных вызвать опасные и даже болезненные состояния логических систем. Все так. Все так. А вот я хотел бы, чтобы у нас были прошлое, родословные и привидения. Такой каприз. Однако накопления возникают с ходом времени. Скажите, отважный Шеврикука, у вас есть накопления?

– У меня нет накоплений, – сказал Шеврикука. – И я не давал повода называть меня отважным.

– Не давали? Тогда примите мои извинения. И у меня нет накоплений. А жаль. Вот у князей Черкасских, вы говорили, были накопления. И они схоронены где-то здесь, под нами. Под деревьями в Шереметевской дубраве. Или черниговский полковник Полуботок. В лондонских подвалах, вы полагаете, его бочка? Бессовестные британцы! А золотой запас сибирского адмирала. Где, где он? Но оставим князей Черкасских, сечевика Полуботка, несчастного адмирала. Что нам они? Так вот. Вы не накопили. Я не накопил. Мы и не копили. Но ваше, как у вас любят подчеркивать, сословие. Оно ведь существует не год, и не век, и не тысячелетие. Конечно, иные за века ничего не приобретают и не накапливают, а лишь транжирят. Пускают по ветру собранное другими, а им завещанное. Приданое-то – тем паче. Но ваше-то сословие не таково. Вы же существа хозяйственные. В картишки – ни-ни! Все – в дом, все – в избу. Иначе какие же вы домовые? Уж у вас-то точно есть накопления. На черный день! Сокровища, полагаю, поинтереснее клада князей Черкасских. А?

– Не знаю, – сказал Шеврикука. – Не уверен. Не слыхал. Не удостоен знанием. Ни грош, ни сухарь из этого клада или склада мне не обещаны.

– В том вековом или бесконечном накоплении, о котором я веду речь, нет ни копеек, ни золотых монет, ни тем более сухарей. Там есть нечто, чему ни вы, ни люди, ни даже мы не способны дать истинное название. Сила Кощеева царства умещалась в игле. Даже в иголке, коли принять во внимание утиное яйцо. Да-с. У кого Игла. У кого Чаша Грааля. У кого Меч-Кладенец. А у вас что же могло быть такое замечательное?

– Половник для щей, – сказал Шеврикука. – Или большая ложка. Деревянная. Ею неразумного дитятю отец мог за столом назидать по лбу. Со звуком.

– Ну, Шеврикука… – поморщился Бордюр. – Эко вы… Здесь должно быть нечто торжественное, ритуальное, ценимое родом. То бишь сословием… Но давайте продолжим наш ряд… Приходит на ум опять же чаша… Или ендова какая-нибудь особенная… Или братина… Или даже

самовар… Да… Мечей-то, конечно, у домовых не водилось. Но ведь чем-то вы, случалось, оборонялись?

– Случалось, – подтвердил Шеврикука. – Кочергой. Или скалкой. Или даже стиральной доской. Случалось, ходили и в бои. С печными ухватами. С головнями незатушенными. А то и с вилами.

– Ну да… Ну да… – вздохнул Бордюр. – Конечно…

В глазах его проявились усталость и досада, нестерпимое желание прекратить пустой разговор.

– А то и швырялись горшками. Чугунными, – вспомнил Шеврикука.

– Конечно, конечно, и горшками, – закивал Бордюр. Он опять вздохнул. – Да, эпос о домовых создать было бы чрезвычайно трудно. Ни гекзаметром, ни тонически-аллитерационным стихом, ни силлабо-тоническим. Если только раешником. Но вы и в раешники, как помнится, не попадали. Так, в устные побасенки… Н-да… И тем не менее… И тем не менее. Наши возможности – зовите нас отродьями, духами Башни, обдухами или духообами, нам не обидно, – во сто крат, да в какие там сто! – богаче возможностей ваших. И тем не менее… Вы – подвалы человека. Ну и запечье. Запечье и подполье. Вас вызывали его страхи, его заблуждения, его наивности и детские упования. А мы – подпотолочье человека. Или даже – надпотолочье. Мы над ним. Мы созданы его дерзостью, его наглостью, его куражом, его шальными забавами, его голодно-высокомерным порывом обломать рога природе. И мы уже над ним. Мы отбились от его рук. И не намерены ему служить. И тем не менее. У нас нет того, доли чего есть у вас.

– Есть прямо здесь, в Останкине? – спросил Шеврикука.

– Да. Может, именно и в Останкине.

– Сомневаюсь, – покачал головой Шеврикука.

– Я, похоже, утомил вас, – сказал Бордюр. – А вы небось собирались в Дом Привидений?

– Нет, – сказал Шеврикука, – сегодня не собирался.

– А как же бант?

– Бант – ради вас.

– Ну-ну… А Темный Угол? Он не поругивает вас за приключения, за походы к привидениям, за всякие шалости? Не грозит вам карами?

– Их ругань и кары меня не заботят, – сказал Шеврикука.

– Ой ли? Они так беспомощны? У них нет силы?

– У них есть сила. Но меня она не связывает.

– Может быть, пока? Они существа сердитые. Блюстители. Сами вызвались оберегать чистоту преданий и следований им. Им, кстати. Кощей

мог бы доверить и оборону яйца с иглой? А? Не так?

– Не знаю. Это меня не волнует, – сказал Шеврикука. – И сведений о них, коли они вам нужны, я добыть бы не смог. У меня иные свойства.

– Не дуйтесь, Шеврикука, не дуйтесь! – заулыбался Бордюр. – Сейчас мы с вами закончим. И разойдемся кто куда. Но прежде я обязан передать вам слова тех, кто и попросил иметь с вами беседу. Намерения ваши, известные в их внешних проявлениях, приняты к сведению. И решено: не перечеркнуть и не размыть. Вас. Пока. И не сказано вам: изыдь и отведи от нас взор. А сказано: ступай и живи, как прежде. И жди. Вдруг что и случится. И призовут. Или посоветуют. А там поглядят.

– Назначат приглядный срок? – спросил Шеврикука.

– Это не ко мне, – сказал Бордюр. – Скажу лишь: вы рискуете и чрезвычайно. Надеюсь, понимаете… Да, к вам приглядятся. И вы приглядитесь. Хотя вам будет труднее. Вы не на равных. Еще и потому, что вы линейны. А мы нелинейны.

– Не в Останкине судить, – сказал Шеврикука, – кто линеен, а кто нелинеен. И что проку, что кто-то линеен, а кто-то нелинеен. И потом – все это слова и обозначения. А близки ли они к истине? Вряд ли.

– Вот как? – Бордюр, показалось Шеврикуке, впервые всерьез посмотрел ему в глаза. И долго смотрел. Будто изучал глазное дно.

– Я не собирался более жить среди домовых в Останкине, – сказал Шеврикука. – Причина менее всего в том, что я обидчивый и не люблю оскорбления. Мне надоело. Я понимаю, что для вас я трава сорная, к тому же и перебежчик или способный переметнуться. Я никогда не буду с вами на равных, но я готов к своему положению. Вам же авось на что-нибудь сгожусь. Но если я не нужен, объявите. Я иначе буду жить.

– Вы нетерпеливый, – заговорил Бордюр. – Вы нетерпеливый! Это нам известно. А у нас не сразу дают Подписывать бумаги, за нарушение правил которых полагается взыскивать кровью.

– Я, может быть, и не намерен подписывать какие-либо ваши бумаги, – сказал Шеврикука. – Вы подумайте о своей пользе.

– Вы самонадеянный. Если не наглый. Или неумный, – сказал Бордюр. – «Бумаги», «кровь», «подписывать» – это все из условностей. По нашим положениям, для нас разумным, а для вас, возможно, ледяным и безжалостным, вы уже без всяких подписей и бумаг вступили в поле внимания Танталова луча. Одно мгновение – и… То есть и одного мгновения не надо.

– Хорошо, – сказал Шеврикука. – Я буду жить в Землескребе. И буду ждать.

– Ждите. И еще я уполномочен произнести некоторые слова. Кандидат наук Мельников проживает в ваших подъездах? Человек он примечательный. И лаборатория у него примечательная. В квартире его вы могли бы бывать почаще. Может, и повстречались бы раньше с дамой Совокупеевой. А? Не так? – И тут Бордюр подмигнул Шеврикуке снова с одобрением: мол, и я такой же ухарь-купец, и я не прочь, коли подвернется случай. – И некий Радлугин ваш жилец? Вот и еще один объект, достойный вашего обозрения. И инженер Подмолотов, он же Крейсер Грозный, ваш. Видите, какой многоцветный букет для вас нарвали. Или какую преподнесли вам корзину с фруктами. Да. Именно. С фруктами. Ведь и чиновник Фруктов жил у вас. Добавьте в ту же корзину еще и Дударева, соревнователя Свержова и их коллегу Бордюкова, хотя эти трое и проживают в чужих подъездах. Н-да. А коли Крейсер Грозный ваш, то, стало быть, и Анаконда ваша. А что это у вас, сударь Шеврикука, бант вдруг развязался? – В голосе Бордюра было не только изумление, но и сочувствие Шеврикуке.

– Как?.. То есть?.. – растерялся Шеврикука. – Действительно…

– Взял вдруг и развязался. – Теперь Бордюр, похоже, радовался. – От волнения, что ли? Или по другой причине?

– Извините, я сейчас завяжу…

– Не надо! Не надо! Ни в коем случае! – вскричал Бордюр будто в испуге. – И так замечательно! Завяжете не здесь, а дома! Дома! Домой и отправляйтесь!

– Но ведь мы высоко… – сказал Шеврикука. – – Да, высоко! Да, кувыркаемся! – все еще кричал Бордюр. – Что из этого? Вы сейчас закроете глаза и отправитесь.

– Покедова, – сказал Шеврикука.

– Погодите! Постойте! Покедова оставьте при себе. Мы с вами более не столкнемся.

– Не уверен.

– Не перебивайте меня! Знак отсюда или сигнал получите способом особенным. Этот вонючий полуфабрикат к вам более не явится. Живите внимательно и помните, что здесь влажных чувств не держат. Теперь закрывайте глаза! Но не спеша!

Спешил бы или не спешил Шеврикука, но много ли надо времени, чтобы опустить веки? Крохи его. И вот в эти крохи Шеврикука все же смог углядеть, что с собеседником его случилось приключение. Он и секундами раньше, показалось Шеврикуке, будто стал терять в весе и в ширине плеч, да и лицо его принялось утончаться. А в миги прощания (коли «покедова»

было отклонено с укоризной) существо, собеседовавшее с Шеврикукой, превратилось в нечто узкое и протяженное, то ли в полосу серую с чередой бегущих темно-синих треугольников (начальственно-серым был костюм Бордюра, а синим – галстук), то ли в плотно-жесткий опояс, должный все ограничивать, держать в сбережении, чтобы не расползлось, не потеряло линию, форму или даже красоту. И тут ресницы Шеврикуки сомкнулись.

8

Расклеить их удалось не сразу. Не дождавшись приглашения «Открывайте!», Шеврикука сам дал команду глазам. А их будто заклеили пластырем. И точно, пластырь на глазах был. Шеврикуке с болью и ворчанием пришлось его отдирать.

Стоял он в квартире пенсионеров Уткиных, в Землескребе. Черная бархатная лента, переставшая быть бантом, свисала с плеча. Шеврикука выругался, стянул, сорвал с себя бархат, чуть ли не с брезгливостью, будто на него залез змей, объявившийся уже в Останкине, швырнул его на диван.

И сам сел на диван.

«Надо успокоиться, а что же за тварь ты такая, эко трясешься, – отчитывал себя Шеврикука. – Ведь живой! Ведь живым оставлен! Живым!»

И успокоился.

«Значит, они мне, – думал далее Шеврикука, – решили установить направление мыслей и действий… Ну что ж, может, оно и к лучшему… Конечно, направление это выгодно им, оно – для их целей, догадок, шарад и корысти. Но ведь и у меня не выжжено соображение. Не выжжено совсем-то… Они и это имели в виду, и понятно, в их сетях – ячейки на всякие случаи. И тут, впрочем, новостей нет. А коли не раздавят, опять будем живы. Глядишь, и отворят калитку. Ну а дальше? Нужна ли тебе отворенная калитка? Ведь снова бежишь к ней именно по дурости, именно по безрассудству!»

Всем изгибам нынешнего собеседования Шеврикука мог найти толкование. И выбор вагончика с кувырканиями и полетами его не удивил. Хотя, возможно, никаких полетов и кувырканий вовсе не было, кого-кого, а специалистов по изобразительному ряду и эффектам на Башне хватало! Ну и их это дело! А вот отчего так взволновал духобашенного Бордюра черный бархатный бант, Шеврикука истолковать не мог.

А бант Бордюра не то чтобы взволновал. Похоже, расстроил. Или даже напугал. Говорить-то Бордюр говорил, и все, видно, по делу, ничего не упускал, но бант его явно смущал. Либо раздражал. Бордюр будто силу какую-то желал применить к банту, Шеврикука это порой чувствовал. А когда усилие было приложено, бант развязался, Бордюр чуть ли не возликовал. Но и утомился. Крики его нервные в конце разговора, скорее всего, были вызваны расходом сил, вряд ли предвиденным.

Впрочем, возможно, Шеврикука все это вообразил. Ну язвил Бордюр про бант, ну развязалась лента, возможно, оттого, что он, Шеврикука, вертел в волнении шеей. Но зачем он надел этот идиотский бант? И еще именно черный, а не фиолетовый или желтый? С перепоя? Или в самом деле по дурости? Или по некой невысказанной подсказке? Бесспорных объяснений дать себе Шеврикука так и не смог. Как не смог и даже выстроить варианты предположений, отчего обеспокоился Бордюр. Про себя же, поразмыслив, постановил: да, с перепоя и по дурости.

Глаза у Бордюра были синие, вспомнилось Шеврикуке. Ну и что? К непременному серому костюму московского чиновника, или дельца, или трибуна средней ценности синие глаза весьма подходили. И галстук ему повязали темно-синий. Знали, какой образ лепили и зачем. Нет, осадил себя Шеврикука, не то, не то. Тут иное… А! Вот что! У того-то, к кому приволокли Шеврикуку пушистые щекотихи с целлулоидно-кукольными голосами, у того-то однажды за пластинами гармони проступила синева глаз! Опять же ерунда! Мало ли что и с какой целью предъявляют или приоткрывают ему, Шеврикуке! Да пусть тот собеседник и Бордюр – одно лицо, или одно существо, или одна субстанция («А что это – субстанция?» – задумался Шеврикука), или одна идея. Пусть! Какое это имеет значение!? И пусть недотепа курьер (или не курьер) Пэрст-Капсула – тоже Бордюр! Какое это имеет значение!

«Никакого, – вздохнул Шеврикука. – Почти никакого… – Потом подумал: – И сидят они теперь над детекторами лжи, разбираются в крючках…» Сразу же поехидничал над самим собой: «Голова садовая! Детекторы лжи для них – четырнадцатый век!»

Кстати, он им почти и не лгал.

А бархатную ленту следовало сейчас же растоптать, сжечь, разжевать и выплюнуть! Ну не сжечь и не растоптать, а удалить с глаз долой. И навсегда. Что Шеврикука безотлагательно и сделал. Упрятал кусок бархата в укромное место, откуда брал. Не в его привычках было выбрасывать тряпки, пусть ему и противные.

Однако мы, видно, и впрямь летали и кувыркались, вынужден был признать Шеврикука, голову-то вон как крутит, этак вывернет. Сказывалось, понятно, и вчерашнее нарушение режима, но и условия беседы с Бордюром пока напоминали о себе. Шеврикука отправился во двор, сел на скамейку, думать более ни о чем не желая.

А на дворе была ночь, черно-синяя, душная, тихая. Никто в домах не голосил, не выпускал в пространство с цепей звуковых дорожек горластых мужиков и дев, не звякал в кустарниках насаждений стеклянной посудой,

не щипал барышень, не материл президентов. Это была ночь одиночества. И Шеврикука опять ощутил, что он в мире один.

– Шеврикука… – донеслось из-за мусорного ящика.

Шеврикука повернул голову вправо, но ни звука не издал.

– Шеврикука… – Голос (почти шепот) был робкий, будто отстеганный кнутом, но слова произносились внятно. – Шеврикука, позвольте к вам приблизиться…. Я подползу… На мгновение…

Шеврикука молчал. Запрета не последовало. И нечто подползло.

– Это я… Пэрст…

«Брысь! Пшел отсюда!» – следовало бы цыкнуть. Но Шеврикука не цыкнул.

– Вы были сегодня у квинта и вернулись… – зашептал Пэрст-Капсула. – Я не думал, что вы вернетесь. А вы вернулись… А я… А со мной…

– У кого я был? – не выдержал Шеврикука. И тем самым вступил в разговор, участвовать в котором не должен был себе позволить.

– У квинта… У одного из квинтов… У одного из квинтэссенсов…

– Встань. Раз уж… Что ты валяешься-то. Садись.

Пэрст-Капсула привстал и бочком уселся неподалеку. Шеврикука не хотел, но зажал ноздри и чуть было не отъехал к краю скамейки. Однако пахло от Капсулы редким и драгоценным нынче, как белужий бок, куаферским одеколоном «Полет».

– Да, – подтвердил Пэрст-Капсула. – Отскребся. В химических чистках и татарских парных. Теперь не стыдно… Перед концом. Словно в белой рубахе…

– Ну! Ну! Мужик! Брось! – стараясь быть грубоватым, решил подбодрить Капсулу Шеврикука. – Не раскисай. Никому не дано знать… А что отскребся, похвально. И вот одеколон добыл.

– Хотите, и вам открою, как добыть.

– Нет, нет! – заторопился Шеврикука. – Я не к тому.

– А знать мне дано, – с печалью сказал Пэрст-Капсула. – Дано. Последняя ночь. А я не хочу. На мне нет вины. И мне горько.

– Я не судья, – глухо произнес Шеврикука.

– Да. Это так. Но вы вернулись. И вы останетесь.

– Надолго ли?

– Пусть и ненадолго. Поэтому я здесь. Это не должно пропасть. И я принес вам…

– Чего еще? – насторожился Шеврикука.

Пэрст-Капсула протянул к нему руку, разжал пальцы. На ладони его

что-то лежало. Одно, рассмотрел Шеврикука, – круглое, другое – продолговатое, чуть закрученное по краям.

– Я не возьму, – сказал Шеврикука.

Теперь он впрямь отодвинулся от духа.

– Но ведь пропадет…

– Мне велели это передать? – спросил Шеврикука.

– Нет. Никто не велел. Это я. Это мое.

– Не возьму! – сказал Шеврикука нервно. – Ни за что! Мне не надо!

– Но ведь пропадет! – взмолился Пэрст-Капсула. – Или учуют, захватят и наделают плохих дел. И не расхлебаешь!

Шеврикука и во тьме, в черной черноте черной комнаты все мог увидеть, теперь же он хотел узнать, синие ли у Капсулы глаза, но тот наклонил голову, в прощальный раз рассматривая свои ценности. Как будто бы не синие, как будто бы темнее… Но что из того! Что из того!

– Откуда происходят?

– Это мое.

– Ворованное? – сурово спросил Шеврикука.

– Нет! Это мое! – обиделся Пэрст-Капсула. – Откуда, не могу сообщить.

И Шеврикука взял.

Не мог брать. Не должен был брать. Но взял. Предметы были тяжелые. Металлические. Весомее золота. Руку Шеврикуки потянуло вниз.

– Ну и что? – сказал Шеврикука. – Вроде монета. Морда на ней чья-то с коротким волосом. На обороте – лист растения. Или, может, не монета, а жетон. Бывало, сунешь такой куда-нибудь в отверстие, а тебе нальют пива. Или керосина. Не фальшивая? На зуб пробовал?

– Не фальшивая.

– А это что-то продолговатое, крученное по краям. Смахивает на лошадиную голову.

– Да, – кивнул Пэрст-Капсула. – Похоже на лошадиную голову.

– Ну и что? Для чего это? И что с ним делать?

– Не знаю. Осмелюсь предположить – для чего-то важного. Возьмите. И оберегайте.

– Нет! Ни за что! Сейчас же забирай! Или выкину!

Однако рука Шеврикуки никуда не двинулась, а пальцы его сжались.

– Прощайте, – сказал Пэрст-Капсула. – Я ухожу.

Тут Шеврикука выказал слабость, привстал и в сентиментальном порыве попытался горемыку обнять напоследок. И сам он не ожидал от себя проявления чувств к существу, вовсе ему не близкому, а возможно, и

поддельному. И Пэрста-Капсулу его движение скорее напугало – не ценности ли ему хотели возвратить, тот отшатнулся от Шеврикуки, прошептал: «Прощайте» – и исчез.

Выпрямить пальцы, отодрать их друг от друга, вызволить их из несвободы жадности Шеврикука не мог. «Экие они дошлые! – в досаде размышлял Шеврикука. – Увидели, наверное, как я упрятывал обруганный мною же бант. Или без того вызнали, что я и впрямь лучше давиться пойду, нежели выкину объеденную молью тряпку или ботинок, стоптанный да с дырами. Опыт, что ли, они намерены какой произвести надо мной? Над линейным-то?.. Кортес и Монтесума…» (Тут я, рассказчик истории домового Шеврикуки, смущен и пребываю в недоумении. Сам ли Шеврикука вспомнил о Кортесе и Монтесуме? Знал ли он о них вообще? Или это я, рассказчик, бесцеремонно ворвался в соображения Шеврикуки?..)

А пальцы Шеврикуки разжались.

9

Монету (или жетон) и лошадиную голову, за ночь не исчезнувшие, следовало незамедлительно укрыть. Но у кого и где? Сдать в ломбард? Смешно. А держать приобретения вблизи себя Шеврикука не видел резона. Чур их! Подальше их! Не его они, не его! А кого – он не знает! Два адреса среди прочих Шеврикука все же выделил. Но после размышлений дом мухомора с бородкой, ныне выдвиженца, Петра Арсеньевича, Шеврикука отклонил. Прежде он наследство бедолаги Пэрста-Капсулы (поутру Шеврикука как бы согласился с тем, что Пэрст – бедолага, жил отдельно, сам по себе) спрятал бы в доме Петра Арсеньевича. Но теперь гордыня остановила его.

Оставалось проникнуть в Дом Привидений и Призраков.

Чтобы там не раскудахтались, не загремела посуда и не распустились возбужденные интересом уши, Шеврикуке пришлось выжидать удобные минуты. До полудня. После ночных трудов обитатели дома имели право вздремнуть – кто с храпом, а кто со свистом, и право это Шеврикука уважал.

Зимой привидения и призраки квартировали в Ботаническом саду, в Оранжерее, а в летние месяцы перебирались в Останкинский парк, под крышу лыжной станции или лыжной базы, что к западу от Потехинской церкви.

Лыжная база в Останкине, как вы знаете, на вид простой сарай, и не более того. Не дровяной, естественно, сарай, а протяженное сооружение, с украшениями из досок по фасаду, в начале века в нем могли бы содержать летательные аппараты Уточкина и Заикина. Но все равно сарай. Зимой там было шумно, пахло лыжной мазью и гуталином для тупоносых ботинок, но непременно и снегом, и ветром, наигравшимся в белых следах, и замерзшими лапами елок, а ближе к весне – и талой водой, и щеки милых лыжниц там розовели, и смех их звучал, и шел пар от титана с кипятком и серебристого бака с цикориевым кофе. Я более уважал снежные дороги в Сокольниках, но нередко бывал на лыжной станции и у себя, в Останкине.

А в апреле ее запирали на замок, и она впадала в летние сны. Это для людей. А привидения, призраки и иные личности, о которых здесь не время говорить, но, может, и придется, из Оранжереи, не скажу, что все с удовольствием, перебирались на лыжную базу. В свои Апартаменты. Работники, забредавшие летом в прохладные недра сарая, чтобы убедиться,

все ли в порядке, ничего, кроме стеллажей со спортивным инвентарем и обувью, столбов со скамейками, не наблюдали. Все было в порядке, и, конечно, стоял в помещении неисчерпаемый и вкусно-черный запах лыжной мази. Лишь одной из уборщиц каждое лето мерещились в неосвещеннных углах мерцания шелковых платий и слышались дальние дивные голоса. Один из них как-то явственно пропел: «Было двенадцать разбойников и Кудеяр атаман». И смолк. Уборщица, докладывая о видениях, ни на чем никогда не настаивала, не просила о прибавке к зарплате, а только мечтательно улыбалась. Начальники ее ворчали, находя объяснения ее видениям в том, что вблизи лыж и ботинок завелась моль и порхает, или грызуны, или даже летучие мыши и надо принимать меры. Однако сезон следовал за сезоном, а дивные звуки слышались, и шелк шуршал и мерцал.

Шеврикука, если бы знал об этом, рассудил бы: раззявы и дуры ведут себя неопрятно, залезая в чужое пространство. Не мечтательную уборщицу имел бы он в виду, та лишь обладала тонкой восприимчивой натурой.

Теперь же Шеврикука путаными петлями шел к лыжной базе. Хвоста не вел. И никакая подозрительная трясогузка, или бабочка, или радиоуправляемая модель его не сопровождали. С северного бока сарая Шеврикукой третий год как была освобождена от гвоздей доска, в потайную щель, используемую им чрезвычайно редко, Шеврикука и прошмыгнул.

Ни единого звука он не издавал, не хотел, чтобы сегодня Горя Бойс знал о его посещении Дома, но уже в темени сырых пазов услышал:

– А-а! Да ведь это Шеврикука! А ну-ка пожалуй сюда!

– Да не ори ты! – рассердился Шеврикука. – Сейчас и подойду. Хоть и видеть твою рожу мне ни к чему. И не ори!

– Не будь пролазой! От дяди Гори Бойса все равно не уйдешь.

Из черноты надвинулся на Шеврикуку боевой стол на двух тумбочках и в шаге от Шеврикуки надменно замер. За столом, под канцелярской лампой, сидел взаимоуважающий соблюдатель Бойс, тощий, но притом пухлощекий, в валенках, в ватных штанах, пребываемых на теле Бойса в режиме подтяжек.

– Кто пролаза? Чего ты сам-то стену таранишь! Сиди и сиди у своих врат!

– Отчего здесь в неотведенный час?

– Я больной. Болею болезнью, – сказал Шеврикука. – На больничном.

– Предъявляй лист.

Шеврикука протянул бумагу из калекопункта.

Соблюдатель Бойс снял очки. Смастерил он их из фанеры и казнил ими мух. Явилась муха, он ее прибил. Прилетела вторая, эту Бойс почесал и шлепком направил жить дальше.

– А если заразишь постоялицу травмой? – сказал Бойс. – Или огорчишь ее увечьем?

– Не твоего ума дело! – сказал Шеврикука. – Отъезжай на самокате к проходной. Соблюдай свой чин и свои пределы. Или я напомню о них. Ты, Горя, меня знаешь!

– Зачем ты шумишь? – забеспокоился Бойс. – Что ты шумишь?

– А кто тут шумит? А кто? – выскользнула из стены взаимоуважающая следитель бабка Староханова. Она же Лыжная Мазь. Или – Смазь.

– Никто не шумит, – хмуро сказал соблюдатель Бойс. – Наш гость направляется в Апартамент триста двадцать четвертый. Есть кто в Апартаменте?

– Есть, есть кто в Апартаменте! – запрыгала на одной йоге, гоняя перед собой корабельный секстант, следитель Староханова. – Есть, есть кто в Апартаменте! Но он возьмет и гостя не примет!

– Этого не знает никто. Бери. – Бойс протянул Шеврикуке сушеную воронью лапу, на алюминиевом ромбе, привязанном к ней, было выцарапано гвоздем: «324». – Ступай, Шеврикука. Веди прохладную беседу. Не озорничай. Не шали. Горя бойся!

Боевой стол взаимоуважающего соблюдателя, позванивая шпорами тумбочек, унесся к проходной. Исчез. Следитель Староханова вынула из холщовой сумы жестянку и пальцем стала втирать в ноздри лыжную мазь.

– От насморка, сладкий! От чиха гнилого! – заулыбалась она Шеврикуке. – Лапландская, нумер осьмой, для жесткой лыжни. Со стеарином. Одновременно способствует и страстям. Ежели, конечно, натереть мускатного ореха и три щепоти…

– Что ты за мной поперлась, старая карга! – сказал Шеврикука. – Или я не знаю дороги?

– Ох, ох! Удалой Шеврикука! Погубитель сердец! Если бы скосить мои годы! – Староханова руки в боки уперла и укоризненно покачала головой. – По должности поперлась, по должности. Иные думают, что знают дорогу. А есть углы, и есть повороты, и есть конец дороги. О них-то известно? Нет! О них и не думают!

– Исчезни, бабка! – рассердился Шеврикука. – Я с утра невеселый.

– Оно и видно. – Лыжная Мазь отскочила от Шеврикуки. И тут же заныла, забубнила, запричитала, выходило, что она несчастная, брошенная, узурпированная, разрушенная солями и нечистотами, а ей не дают

канифоли. Вдруг она сделала сальто через десять плошек с горящим спиртом, энергично перевернулась еще раз и заскользила в темноту, будто служила и не при лыжах, а при коньках.

«Что-то в ней сегодня новое, – подумал Шеврикука. – А что – и не поймешь…» И он последовал в Апартаменты.

– За несданные ценности и документы ответственности не несем… – донеслось до Шеврикуки.

Шеврикука движение произвел, будто был намерен швырнуть в дальний угол булыжник. Насморочные звуки тут же утихли.

Однако вскоре он пожалел, что не позволил бабке Старохановой исполнить обязанности и сопроводить гостя в Апартаменты с анфиладами. Ощутил, что сегодня ее конвой был бы уместен. Ожидаемый им поворот судьбы должен был положить конец его походам в Дом Привидений и Призраков. Или навсегда. Или надолго. И не собирался Шеврикука встречаться с Гликерией. А ей необязательно было знать, что она более его не увидит. Он не любил прощаний. Хотя и не думал, что нынешнее прощание выйдет схожим с отрыванием бинтов от незапекшейся раны. Гликерия ему надоела, а он ей, скорее всего, опостылел. Но какая дама пожелает выглядеть брошенной? Ее слова и жесты должны быть последними. Ее часам с боем положено отменить время. Это-то – пусть. Но Шеврикуке, возможно, предстояло исчезнуть. Как бы Гликерия не принялась разыскивать пропавшего без вести и вынуждать кого-либо разузнавать о нем. Это Шеврикуке было не по душе. И неделю назад Шеврикука, посетив Гликерию, как он полагал, напоследок и убедив себя в том, что она и впрямь взбалмошна, капризна, барыня и хватит ему с ней, уже скучно, учинил скандал. Скандал мерзкий. Но все как будто бы у них (или с ними) закончилось. И ладно. Что же теперь-то произойдет при его явлении? Вот отчего конвой бабки Старохановой не повредил бы…

Темень не рассеивалась, и в Шеврикуку вошла тревога. Апартаментам четвертой сотни положено было быть, но их не было. Шеврикука шагал и шагал и мог никуда не прийти. Но не растяжение истоптанного им пространства было причиной его тревоги. «Чудовище! – будто кто-то шипел в нем. – Чудовище! Всюду и вокруг Чудовище!» Какое чудовище? И что значит – всюду и вокруг? И кто шипит в нем? Проносились мимо него серые пятнистые силуэты, кривые плоскости, свитки, чьи-то руки, или глаза, или рыла проступали из тьмы, кто-то кашлял, бранился невнятно, хрюкал, стонал или выл, но все это было знакомо, объяснимо и не несло ни зла, ни предупреждения, хотя Шеврикука, как и прежде, рисковал. Это были блики быта Дома. Нет, чувства возникали новые. В них скребло

предощущение Ужаса. Душно стало Шеврикуке, душно! Рука его рванулась к горлу, надо было отодрать давящее. Но не отодрала. И почувствовал Шеврикука, что его, сдавливая уже всего, вбирает в себя нечто живое, страшное и огромное, дышащее жарко и смрадно, и он уже внутри, в чреве Ужаса…

Отпустило. Смрад пропал. И возник свет. Тусклый, словно от двадцатипятисвечовой лампы, но свет.

Шеврикука тяжело дышал. Потом закашлялся. Глазам стало больно, и потекли слезы. Будто его травили газом. Ни Бойс, ни бабка Староханова не могли позволить себе таких развлечений. Кто-то другой. Что-то другое. И своего, похоже, добились. Испугали. Но, может, ничего и не добивались?

Идти назад было бы бессмысленно. Шеврикука и не пошел бы. А вот уже и потянулись Апартаменты четвертой сотни. Дыхание его восстановилось, а глаза не слезились. Шеврикука нащупал невидимый гвоздь и повесил на него воронью лапу с алюминиевым ромбом.

– Войдите, – лениво или вовсе нехотя соизволили пригласить.

И будто зевали.

Шеврикука плечом проткнул стену и вошел.

Пригласили его нынче войти в спальную Кроме Гликерии, находилась здесь совсем необязательная сейчас Невзора, она же Прилепа, она же Дуняша Отрезанная Голова, она же Копоть. Можно было и еще припомнить имена или прозвища, связанные с той или иной историей этой вертлявой прохиндейки. В Апартаментах Гликерии она просила называть себя камеристкой чудесной госпожи. Хотя ее следовало бы списать из кухарок в посудомойки.

Гликерия была уже одета, сидела на мягком пуфе вблизи корабля-алькова, почти под самым темно-синим с золотыми блестками балдахином, Невзора причесывала ее. Впрочем, сегодня она была не Невзора, а Дуняша. Стояла в грубой ночной рубахе со следами угля для сонных грез на рукаве, а когда наклонялась, открывала взглядам оранжевые толстые панталоны из байки с начесом, голова же ее, вся в бумажных папильотках, лежала метрах в пяти на стуле.

– Добрый день, – с тихой вежливостью подтвердил свое присутствие Шеврикука.

– Батюшки! Шеврикука! – Длинные руки Невзоры-Дуняши взлетели вверх, костяной гребень выпал из них. – А я неодетая и простоволосая! Срамота какая!

Невзора-Дуняша-Копоть подхватила со стула голову, сунула под мышку, папильоток стараясь не повредить, и понеслась прочь. Перед

самым исчезновением она, явно для Шеврикуки, проделала несколько энергичных, кариокских карнавальных движений бедрами, знала, в чем ее сила.

Гликерия повязала волосы зеленой шелковой лентой, встала. Синяка под левым глазом ее не было, а прошла лишь неделя, и синяк обязан был цвести. День она начинала в полупрозрачном турецком костюме с шуршащими шальварами.

– По делу, милостивый государь? – спросила Гликерия, надменно улыбаясь. – Или забрать игрушки?

– Игрушек здесь не держу. Шел мимо и зашел.

– Стало быть, по делу.

– От скуки, – сказал Шеврикука. И посмотрел по сторонам, предлагая Гликерии о делах не упоминать.

– И какое же у тебя дело? Излагай. И проходи дальше. Куда шел. Здесь еще скучнее. С тобой тем более.

Шеврикука смутился. Врезать ей, что ли, снова, дурной бабе? Рука не поднялась. А Гликерия прошествовала мимо него барыней. Какой и была. Барыней! А он стоял перед ней лакеем. Штаны бы на него надеть короткие, чулки и туфли с пряжками, а в руки вместить поднос с чашкой кофе. Идти, идти надо было отсюда, вернуть Горю Бойсу сушеную воронью лапу и более в Дом Привидений – ни ногой! Никогда. Но вдруг опять по дороге станут душить, сдавят и вберут во чрево? Не с монетой ли Капсулы и лошадиной головой связано это?

– Ну, милостивый государь Шеврикука? – сказала Гликерия и пилкой убрала нечто лишнее с розового ногтя. – Я жду.

Тут и влетела Дуняша-Невзора-Копоть. Голова ее была на месте, папильотки сняты, волосы, густые и пышные, подняты вверх для дневных развлечений. Барышня надела кроссовки, джинсы, белую майку с английскими словами и видом кораллового атолла меж грудей. На шее ее висела цепочка желтого металла и не имелось никаких шрамов. Дуняша жевала бублик. Обрадовала:

– Во бублик! Горячий! Гликерия Андреевна, я на кухне их бросила. Хотите принесу?

– Нет, Дуняша, – сказала Гликерия. – Не надо. Сейчас мы закончим с посетителем, и я пройду завтракать в столовую.

– Мне уйти?

– Нет. Разговор пустой и недолгий.

– А чего он притащился, идол-то этот, Шеврикука? – осмелела Невзора-Дуняша и заглотала бублик. Пар пошел из ее рта и ноздрей.

При этом она и глазищами своими будто бы готова была столкнуть Шеврикуку в пропасть. Прежде он сам отправил бы ее в дальние края, а теперь промолчал. Промолчала и Гликерия, хотя дерзость Невзоры-Дуняши по отношению к гостю, какому-никакому, вышла не по чину. А та, не дожидаясь слов Гликерии или Шеврикуки, поспешила поделиться неотложными чувствами:

– Эта отставная прокурорша опять развесила кошачьи штаны и платья как раз в тех местах, где мне летать, ползать и вопить. Отстирать как следует не может, выжать как следует не может, они мокрые, вонючие, тыкайся в них мордой!

Об отставной прокурорше знал и Шеврикука. Дуняша Отрезанная Голова служила в коммунальной квартире на Знаменке, бывшей Фрунзе, возле Румянцевской библиотеки, в угловом доме с башней, 8/13, выстроенном Шехтелем для доходной дамы Шамшиной. Прокурорша держала семнадцать кошек и двух котов, а чтобы не увеличивалось поголовье, надевала на зверей штаны и платья с застежками и раз в три дня меняла им костюмы. Прежде, имея силу в руках, сносно стирала и отжимала. Развешанные тряпки, будто цирковые, нисколько не мешали Дуняше являться, скорее оказывались уместной декорацией. Соседи, правда, порой связывали выходы привидения именно с сушившимися в ванной или в коридоре нарядами, ворчали на прокуроршу, но негромко. Побаивались Салтычьих окриков и историй ее прошлых заслуг. К тому же прокурорша приводила в квартиру активистов общества поощрения котов, и те разъясняли жильцам, что привидения, пусть и без голов, но вызванные котами или их костюмами, чаще полезны, нежели вредны. Нельзя сказать, чтобы эти разъяснения льстили Дуняше, но из снисхождения к полосатым и пушистым она терпела тряпки. Но теперь, мокрые и вонючие, они стали ее раздражать. Гликерия, а иногда и Шеврикука давали Дуняше советы – не ныть, а реже брать назначения на Знаменку или вовсе туда не ходить. Это было бы разумно при шести совместительствах барышни. В них она наводила тоску или буйствовала не Дуняшей, а кем – будет случай, расскажу. Но квартира на Знаменке вызывала у Невзоры-Дуняши особенные чувства. И дело было не в любви ее к эффектам. Конечно, ей нравилось вызывать острые ощущения, обмороки, колики совести, прилеты карет из дурдома, восторги уфологов. Она бралась являться и расчлененным телом, и мумией в бальзамах, и обугленной, и еще чем похлеще. Что ей одна отрезанная голова! Но там чаще всего были именно совместительства и чужие истории. А из квартиры на Знаменке, если верить Дуняше, она происходила. В этом столетии, звучало уточнение, в

этом столетии! В двадцать шестом году всю квартиру (ныне. в ней шесть жилых ячеек, было больше, доходило до четырнадцати) занимал зубной врач Ценципер с кабинетом. Дуняша служила у него кухаркой, скорее даже домохозяйкой, он ее ценил. Вообще был хороший человек. А в двадцать седьмом году Дуняшу убил негодяй Варнаков. Говорил впоследствии, что в состоянии душевного потрясения и прочее. И не помнит. Сам же клялся в любви. Ходил, ходил, лечил зубы, вот и вылечил. Отрезал голову. Поначалу, может, и любил. И позже, может, любил, но Дуняша ему стала мешать. Соблюдать же «конспирацию по соображениям дела» из гордости она не согласилась. А был он красавец. Бывший матрос. Бей по груди кувалдой – отскочит. И вот зарезал, мерзавец. Грустная вышла история. А потом зубного доктора с его машинами куда-то переместили. Перед войной квартиру занимал генерал Власов. Этот исторический факт отчего-то тоже волновал Дуняшу. «Ну и что? Ну генерал Власов, и что?» – спрашивали Гликерия и Шеврикука. «Как же! Да вы что! – недоумевала Дуняша, глазища таращила. – Ну вы даете! Сам генерал Власов!» Дуняша боялась являться генералу, являлась только его жене. (И мне волнения Дуняши по поводу генерала малопонятны. Впрочем, для меня куда более существенно, что в квартире, в одной из комнат ее, в семидесятые годы проживал мой приятель адвокат Кошелев с семьей, и я у него бывал. У Кошелевых завелись мыши, прокуроршу милостиво попросили выделить на ночь, на две полосатых воинов в штанах. Прокурорша отказала, сославшись на опасность предприятия. Про белую бабу с отрезанной головой от Кошелевых я имел смутные сведения. Легенда о кухарке была. Была. Или о посудомойке. Может, и являлась та, но в другом конце коммунального коридора – эвон он какой длинный, две кухни и две ванные, может, и мышей она оттуда пригоняет.)

– Прекрати ходить на Знаменку, – предложила Гликерия.

– Если только из Москвы убуду, – воскликнула Невзора-Дуняша, – прекращу!

– Тогда не ной, – сказала Гликерия. – Или выкинь все тряпки и веревки. Такой сюжет позволителен. Тебя даже поощрят.

– А животные?

– Ну сама и стирай.

– И поплакаться нельзя. И поныть нельзя. Конечно, мы особы простые. Кухарки, а не урожденные Тутомлины. И поселены не в Апартаментах с анфиладами, а в номерах тридцать шестой сотни.

– Жалобы младой кухарки, – сказала Гликерия. – Слышали. А куда же ты сможешь убыть из Москвы?

– Так я и скажу! – Невзора-Дуняша чуть ли не кукиш хотела предъявить, но раздумала. – Особенно при Шеврикуке.

– Тут ты права, – кивнула Гликерия. А Шеврикука стоял в прежней позе на прежнем месте. Можно было предположить, что теперь Гликерия соизволит уделить ему внимание, а Невзора-Дуняша опять на время исчезнет. Но Шеврикука уже расхотел просить Гликерию о чем-либо. Ей не стоило доверять вещицы. Шеврикука чувствовал, что Гликерию так и подмывает сейчас учудить. Или ему назло. Или по настроению. Из каприза. Или просто так. Тонкие крылья ноздрей ее были сжаты, и в глазах мелькало желание куролесить.

– Большой вам поклон, – сказал Шеврикука. – А мне двигаться дальше.

– Ему, Дуняша, наша компания противна.

– Не противна, – сказал Шеврикука. – А малоприятна. И стоять мне тут бессмысленно.

– Ах вот как! – рассердилась Гликерия.

– Конечно! – Дуняша, напротив, обрадовалась. – Небось завел новые шашни. Или его увлекли. Ведь сколько вокруг наглых баб! Вот и у меня, на Знаменке, две комнаты занимает одна такая наглая. Совокупеева!

Шеврикука взглянул на Невзору-Дуняшу с подозрением. Совпадение или произнесено не зря?

– Во! Во! – воскликнула Дуняша. – Сразу напрягся!

– Нам что до этого? – пожала плечами Гликерия.

Шеврикука не был намерен ввязываться в прения с Дуняшей, но ввязался. И по-базарному:

– Ты лучше расскажи, где сейчас твой красавец Варнаков, бывший матрос?

– Сам знаешь где, – строго сказала Дуняша. – В Таинственных Чертогах. В Палате Людских измерений. Там.

И пальцем вниз указала. Но тут же и ойкнула, рот захлопнула ладошкой, будто открыла лишнее и нарушила предписание.

Тихо стало в Апартаменте. Тихо. Но ненадолго.

– Слушай, Шеврикука. – Невзора-Дуняша заговорила уже деловито. – У тебя есть кто-нибудь знакомый в «Интуристе»? Или в «Национале»? Или у Хаммера?

Шеврикука, все еще в базарном волнении («Совокупееву приплела!»), чуть было не поинтересовался, уж не каждую ли неделю, принимая во внимание заслуги и труды Невзоры-Дуняши, допускают ее «туда», «вниз» («Таинственных Чертогов», «Людского измерения» упоминать, понятно, не

стал бы) навещать любезного бывшего матроса Варнакова, как он там, на крюке висит или ходит, и не придумала ли Дуняша ради удовольствий новые виды терзаний? Но удержался и сказал:

– У Хаммера никого нет. А в «Национале» и в «Интуристе», может, кто и есть. Не знаю. Надо уточнить, кто и на каком этаже.

– Вот и уточни, сделай одолжение. И чем быстрее уточнишь и замолвишь слово за меня, тем благороднее поступишь. Меня трудно сбить с панталыку, но после «Метрополя» я в расстройстве. Каковы хамы! А сегодня попробую на Тверской, в «Интуристе».

Дуняша принялась тараторить далее, но Шеврикука слушал ее рассеянно, о сути просьбы ее он догадывался. При либеральных послаблениях привидениям, как и домовым, было дозволено свободное, в человечьем обличье, посещение людей. В случаях, разумеется, когда эти прогулки или общения не могли повредить служебным усердиям и благу. Ну и конечно, соответствовали распорядку дня. При обретении свобод и часов независимости первым делом, как известно, требуется насладиться ими. Некоторые, особо голодные, так бросились в наслаждения, что подорвали здоровье, по легендам и без того хлипкое. Или были определены за проказы в холодную. Иные особы наслаждения для себя отложили, посчитав, что не все завоевано. Эти еще продолжали борьбу. В частности, за сокращение рабочего времени привидений и призраков. За внеурочные. За прогрессивную оплату вредных дежурств в рассветную пору. И прочее. Требований было множество. И теперь случались голодовки привидений. Гликерия ко всяческой суете относилась надменно. А Невзора-Дуняша была бузотерка и с охотой участвовала в борьбе. Встревала как-то и в голодовку, но, увы, способностью к голоданию ее натура была обделена. Неунывная и пылкая московская жизнь увлекла Дуняшу. Многое, ранее недоступное, хотелось примерить на себя и испытать. Приятельница ее Квашня уговаривала пойти в цыганки. Дуняша рассмеялась. А Квашня пошла, нанимала на сроки ребенков, рядилась в старушку, собирала копеечку. Дуняша же после нескольких приключений решила определить себя в путаны и отправилась, то ли по неосведомленности, то ли обнаглев, прямо в «Метрополь». Имела сеанс. И следующий сеньор манил ее усами. Тут Дуняшу настигли враги. Били, как самозванку, зонтами, тыкали в бок ножницы. Таксисты ее, выгнанную и помятую, проводили дальше, назвав «сукой рязанской». А смуглый шмыгало, глаза кому при явлении на свет продирали осокой, пообещал, если она еще раз забредет в чужой огород, отрезать голову.

Кое-кого из встретивших ее в «Метрополе» недружественно Дуняша

запомнила, и Шеврикука им не завидовал. Нынче она отправится в «Интурист» и там снова будет бита зонтами. Или чем покрепче. Хотя как знать. Шеврикука наблюдал теперь за барышней и видел, как она собирает себя. Ночью, на Знаменке, она была Дуняша, в Останкине проснулась Дуняшей, сейчас же в ней происходило соединение свойств из разных ее историй и совместительств. Дневная Дуняша и при тонкой ее кости могла показаться женщиной здоровой, крепкой, знакомой с крестьянскими работами. Длинное лицо ее, скуластое, с долгим прямым носом, вполне приглядное, виделось грубовато-загорелым. Крупные руки и крупные же ноги, в ступнях, в подъеме, словно бы подтверждали земную надежность натуры. Не наблюдалось в ее движениях основательности, вертлявая была Невзора-Дуняша. Но вертлявость эта могла возбудить ложные предположения. Ушлый мужик должен был бы сообразить, что с этой бабой лучше не связываться. Но вот бывший матрос связался. То есть не со всей ее, а с частью ее, называемой Дуняшей. И что вышло?.. Прежде чем пойти в путаны, Невзора-Дуняша, наглядевшись телемиражей, захотела попробовать себя фотомоделью или манекенщицей. Однако не нашлось стоящего человека, чтобы выделить ее из толпы и оценить. Лишь однажды на мелком конкурсе надевали на нее брезентовый комбинезон под девизом «А я поеду в деревню к деду», и он на ней лопнул. И ведь не так могуча она была, не из жарких ядер состояла, как Совокупеева. «Фу ты! Опять Совокупеева!» – поморщился Шеврикука.

– А вообще все это дерьмо! – заявила вдруг Невзора-Дуняша. – Все, что вокруг! И Увека Увечная права!

– С чего это, – спросила Гликерия, подняв левую бровь, – последовало такое постановление?

– Со всего! – утвердила правоту – свою и Увеки Увечной – Невзора-Дуняша. Но тут же добавила: – А может, я просто невезучая. Не фартит. И любви нет. Хоть бы познакомили с кем настоящим. А, Шеврикука? Или не слышишь? Вот на Башне и вблизи нее завелись богатые и выгодные духи. Для балов снимают Итальянский зал во дворце. Сведи меня с кем-нибудь из них. Поценнее. Я его охмурю. Или он меня. Ну?

– Не имею чести ни с кем из них быть знакомым, – сказал Шеврикука. – И не видел из них никого.

– Врешь! Вре-е-ешь! – Невзора-Дуняша всплеснула руками. – Такой проныра, как ты, и никого не видел? Врешь! Нет, скучно с вами, скучно! Вот брошу вас и убуду отсюда!

– Увека Увечная уже убывала, – сказала Гликерия, но без назидания и без ехидства, и глядела она не на Невзору-Дуняшу, а внутрь себя. Свое

перебирала…

– Увека – дура! – сказала Невзора-Дуняша. – Она в привидения пробилась из кикимор. Неугомонная дура! А я…

– А ты угомонная? Или ты тоже пробилась из кикимор?

Невзора-Дуняша не ответила Гликерии, она, опять ойкнув, прикрыла рот ладошкой и стояла сама собой напуганная. «Вот оно что… – Шеврикука принял во внимание интонации Гликерии и испуг Невзоры-Дуняши. – Всерьез, выходит, обе…» Мещанское привидение (тоже, стало быть, тридцать шестой сотни) Увека Увечная, весной объявившая себя Веккой Вечной или просто Веккой, неделю назад была задержана на таможне в Бресте и возвращена в Москву. Она и впрямь была взята из кикимор, могла являться лишь тенью, скрюченной тенью, с горбом и в чепце, сбитом на ухо. Но себя она понимала высоко, кокетничала напропалую, лезла во все дыры и во всякие приключения, порой и с безобразиями. Была из тех, кто на гаданиях, оборачиваясь к бане голой задницей, просил протянуть по ней куньим хвостом и, уверив себя, что почувствовал мохнатое, ожидал богатств и фавора. Не раз ее укоряли за злое дыхание, за шипение, за распутство, за простое нарушение женской благопристойности. Но она выкручивалась. Может, на самом деле жила под опекой куньего хвоста. Еще раньше Невзоры-Дуняши, раздосадовав ее и многих, Векка бросилась в фотомодели, и в мисс, и в миссис, была удачлива, жгучие брюнеты и шатены целовали ей ручки. Пробовала себя и в путанах, зонтами ее никто не бил. Все ей было мало, здешняя местность стала ее удручать, для начала Векка наметила себе Лихтенштейн. Быстро оформить документы не смогла, терпения не имела никогда, приглядела некоего джентльмена и после взаимных удовольствий улеглась в его портсигар заменной сигаретой. Таможня в Бресте посчитала джентльмена контрабандистом, и вещи его были отправлены в Москву на экспертизу. А Увеку Увечную давно уже хватились в Доме Привидений и Призраков. Отловили и доставили. Куда определили – Шеврикука мог предположить.

– Нет, хоть бы скорее наступила зима, – заговорила Невзора-Дуняша, будто упоминаний Увеки Увечной перед тем и не было, – и опять бы переехали из этой постылой лыжной базы в Оранжерею!

– Чем тебе плоха лыжная база? – спросила Гликерия.

– Всем! – решительно сказала Невзора-Дуняша. – Всем! Всем! Всем! Это общежитие! Я что – лимитчица? Я – коренная москвичка! А это вахтовый сарай-балок для тех, кто добывает газ! Нет! Даже и не общежитие, и не сарай. Ночлежка! Хитров рынок! Барон и пьяная Настя! И все провоняло лыжной мазью.

– Ну, Дуняша, ты несправедлива, – позволила себе улыбнуться Гликерия. – Какая уж тут лыжная мазь?

– Одна лыжная мазь! И гуталин! Крадется за тобой старуха Смазь с насморком – от нее за километр все воняет лыжной мазью. Всю ночь тыкаешься мордой в мокрые и вонючие тряпки, придешь сюда – и на тебе: снова вонь и слежка!

– И у вас в номерах сносно, – не выдержал Шеврикука. – Бывали…

– Во-о! – было указано длинным пальцем в сторону Шеврикуки. – И это полено еще шипит. Отчего, милая Гликерия Андреевна, нельзя было быть вам зорче и предусмотрительнее и не вытаскивать из дров полено сучковатое и с трещинами?

– Полено, как известно, выбирают в темноте.

– Тем более что в темноте, – сказала Невзора-Дуняша.

– То полено, – сказала Гликерия, – вернулось в поленницу.

– Оно так, – сказал Шеврикука. – Но, может, его оттуда и вовсе не вытаскивали.

И снова стало тихо. Невзора-Дуняша серые глазища свои в тревоге переводила с Гликерии на Шеврикуку, будто ощущала себя виноватой в возникшей неловкости. Потом сказала:

– Вот. А в Оранжерее все было бы куда веселее… И будет! Будет! Там, говорят, змей объявился.

– Какой змей? – рассеянно спросила Гликерия.

– Большой. Лежит в задумчивости вблизи водяных растений теплых стран.

– Ты сама его видела? – спросил Шеврикука.

– Я говорю: говорят! – фыркнула Невзора-Дуняша уже сердито. – Ладно. Вы мне надоели. Мне все надоели. Я голодная. А мне к шести в «Интурист». Я иду на кухню. Какие тебе, Лика, готовить сегодня костюмы?

– Через час я должна быть на корте, – сказала Гликерия. – Потом в манеже – верховая езда. Потом преподаватель восточных языков. Пусанский диалект корейского.

– Большая жизнь! – вздохнула Невзора-Дуняша. – А Увека Увечная хотела дунуть без языка. Конечно, которые живут в Апартаментах с анфиладами…

Она уже уходила, но обернулась и сказала:

– Но притом вы все же, Гликерия Андреевна, хоть и урожденная, – частное привидение, а не историческое. Да!

То ли она высказывала сожаление. То ли желала уколоть Гликерию. Или поставить ее на место. Шеврикука не понял.

– Я помню, Дуняша, – мягко сказала Гликерия. – Но иные исторические пребывают сейчас по соседству с Увекой. В узилище Таинственных Чертогов.

– И Батищева там?

– И Батищева.

– И Чулкова?

– Чулкова нет. Чулкова в Апартаментах первой сотни.

– Какая Чулкова? – встревожился Шеврикука.

– Та самая! – сказала Невзора-Дуняша. – Та самая! А тебе бы помолчать. Не ваше поленье дело! Но где бы кто ни находился, мне на это наплевать!

«Монкураж! – вспомнилось Шеврикуке. – Монкураж!»

А Невзора-Дуняша удалилась, опять ради него произведя кариокские движения бедрами.

– Ну что? – сказала Гликерия и гордо вскинула голову. – Проси.

– Глупости, – сказал Шеврикука. – Ни ты ни о чем не можешь у меня просить. Ни я у тебя.

– Проси, – сказала Гликерия.

– Ладно. Прошу принять, – сказал Шеврикука. И протянул ей мелкие вещи опущенного в прошлое Пэрста-Капсулы.

– Иди, – сказала Гликерия.

– Как скажешь, – поклонился Шеврикука.

– И более не приходи.

– Но если…

– Не пропадут. А коли потребуются, возникнут сами…

10

Шеврикука брел по Звездному бульвару. Когда он пробирался на лыжную базу, небо было голубое, без сметаны, столь свойственной в последние годы московскому безоблачью, вызываемой, по всей вероятности, техническими играми человека и рождающей печаль по истинной небесной лазури. Где нынче та лазурь? Если только в Италии. Или на полотнах Сильвестра Щедрина. И листья на тополях, березах и липах тогда не трепетали. А утром граждан по радио призывали закрывать окна и форточки, брать зонты, надевать резиновую обувь и стараться не выходить из помещений. Циклон от фиордов Норвегии гнал ураган из новгородской земли в тверскую, рвал там крыши, свирепствовал на фермах, подымал в воздух свиней и коров, разорил отделение милиции в Торопце, искорежив мотоциклы с колясками. Да что коляски! Автобусы переворачивало, трубы электрических станций осыпало на землю кирпичами и, похоже, могло раскачать Останкинскую башню. Объявлено было о временной эвакуации персонала.

По часам Башне уже полагалось раскачиваться. А она стояла ровно. И стекла поблизости – ни в жилых домах, ни в учреждениях – не звенели и не бились. Небо затянуло, но никаких свирепостей и буйств в воздухе не происходило. Шел тихий прохладный дождь. И все.

«Ну не ураган. Ну дождь. Опять врет прогноз. Ну и что? Мне-то что?» – думал Шеврикука.

Подступила тоска, и избегнуть ее он не мог. Проще всего было бы объяснить тоску явлениями природы, сменой небесных обстоятельств, но вышла бы ложь. Да и что бы отменили какие-либо объяснения? Ничего. При подходе к Апартаментам Гликерии на него набросился страх, предощущение Ужаса. Пугаться Шеврикуке приходилось часто, но обычно он сознавал степень угрозы, ее пределы и неизбежность ее разрешения. Или тут же вспоминал трын-траву. Предощущение Ужаса он не испытывал давно, шепот о Чудовище выдавило его сознание, почти забывшее о случаях встреч с силами, желавшими раздавить его и вобрать в себя. От Гликерии Шеврикука уходил в отчаянном кураже, полагая, что его караулят. Но никто его не караулил. И никто на него не напал. Теперь Шеврикука думал: будут караулить и нападут. Но ощущения Ужаса уже казались краткими, и потому с ними можно было согласиться. Приступу же тоски, Шеврикуке знакомому, предстояло длиться вечность, и хуже всего в нем

было однообразие тихой боли разума. Эта боль замком затворяла действия и решения.

Шеврикука свернул на Шереметьевскую улицу, дошел до грязного путепровода, у серого бетонного парапета его встал. Под мостом, разрывая Марьину Рощу, текли рельсы ко Ржеву. Менее всего любил Шеврикука в Москве раны железных дорог, запахи гари, металла, черных и коричневых жидкостей, бестолочь брошенных кем-то вагонов, цистерн, холодильников, с ржавыми и битыми боками, нагорья мусора, отходов, хлама, вышвырнутого с небрежностью неуважения к живому, к травинке зеленой и к голубокрылой стрекозе, к чистой капле, калеченые строения, сараи, гаражи, всунутые там и тут безмозглыми и наглыми поденщиками, весь этот хаос и безобразие случайных, проносящихся куда-то временных жителей Земли. Отчего же куда-то? В тупик! В тупик! В тупик! А скорость не утишишь и не остановишь гон колес, исход один…

В приступы тоски Шеврикука приходил и сюда.

В особенности угодно было ему стоять у парапета над Ржевской линией в зимние темно-серые сырые дни. Снег в грязи и копоти усугублял вид городского безобразия. Все понятия о соразмерном и ладном были нарушены и на мосту, и под ним – на путях, вблизи них, на полосах отчуждения. Ничто соразмерное, чистое, незапятнанное и ладное нигде вообще не присутствовало, все было сплошным отчуждением, все – в порче и нечистотах, и ничего никто изменить не мог.

О, стужа и тоска Земли!

«Все было! Было! Было! И ничего не будет!»

Шеврикука побрел домой.

«На острове Тоски двадцать две стальных доски…»

И все же что-то озадачивало в Останкине Шеврикуку, Может, тишина? Но откуда ж тишина? И день сочился, и шли троллейбусы, и неслись автомобили, и стояли милиционеры. Однако скандального скрежета машин Шеврикука не слышал, не врезался металл в металл; штанги троллейбусов не соскакивали с проводов, не обрушивались на головы прохожих, не обдавали их искрами, таксисты и милиционеры не матерились. Если не тишина, то что же? Смирность некая была в Останкине и Марьиной Роще. Смирность. Или даже смирение…

Он выходил от Гликерии с вызовом: «Нате, вбирайте!» Но никто его не караулил и не вобрал в себя. И может быть, оттого, что он отделался от наследия Пэрста-Капсулы, сбагрил его, сплавил в чужие руки? А часом раньше на него напали именно из-за двух мелких металлических вещиц? Нет, такой отгад Шеврикука запретил себе держать в голове, а мысли о

Чудовище следовало истребить, как блажь, иначе бы в нем остался испуг. И надолго. Однако он вспоминал, что вручал вещицы Гликерии чуть ли не с удовольствием. Или со злорадством. Впрочем, нет! Но если не с удовольствием и злорадством, то с явным пониманием, что он Гликерию затруднит. Может, даже принесет ей беды. Он явился к Гликерии зря, доверять ей было нельзя, и раз кончено – значит, кончено! Но когда услышал о корте, о манеже, о пусанском диалекте, представил, как принесут Гликерии короткую теннисную юбку – к загорелым ногам, и амазонку, в нем, как и в Невзоре-Дуняше, взыграло. Ну да, конечно, урожденная графиня Тутомлина, пусть и воспитанница, пусть и без приданого, пусть и страдавшая невинно, а он – кто? Опять же у нее не квартира на Знаменке и не два подъезда в Землескребе, а трехэтажный дворец – позднее барокко, с завитушками рококо, конец восемнадцатого века, с подвалами белого камня времен Алексея Михайловича. Пусть бывший дворец сейчас – не дворец, но не исключено, в будущем – опять дворец. Да, можно было объяснить ее капризы последних месяцев и ее претензии. Гликерия маялась – кто она и что ей делать. Не отменена ли она как привидение, не потеряла ли свойства и кому ей являться? У шумноговорящих властей было много безумных идей, задумок, подвижек, но не было денег (может, и были, но утекали в приготовленные кошели). Решениям же властей, в чем и состояли нынче их стиль и прелесть, полагалось быть неоднозначными и непредсказуемыми. А потому из части дворца Тутомлиных еще не вывели коммунальные квартиры, другую часть изредка посещали реставраторы, а третью часть пока лишь обследовали архитекторы. В коммунальных квартирах явления белой красавицы в ларинском платье не вызывали никаких чувств, хватало своих забот, хорошо хоть привидение не значилось услугой в платежных книжках. А люди искусства, архитекторы и реставраторы, в доме не ночевали. Каково приходилось Гликерии! Снизойдя к ее утратам и печалям, ей разрешили и часы дежурств проводить в Доме Привидений, а на Покровку являться, когда пожелает. Но теперь дом на Покровке стали смотреть! И кто? Выгодные деловые люди, купцы, милосерды и благодетели. Под офисы, под конторы таинственных жонглеров компьютерами, способных накормить жетонами метро. Но прельстительнее всего – под резиденции конвертируемых особ. Поначалу полагали, что особ этих неудобства проживания с призраками и привидениями могут огорчить. И отпугнуть. Провинциальные заблуждения! Одухотворенные особняки любители готовы были купить и перевезти и в Сиэтл, и в Карсон-Сити. А известия о том, что в видении дома на Покровке проявляются лучшие свойства

светлой и нежной восточнославянской красавицы («типа Б. Тышкевич, А. Ларионовой, „Анны на шее“ и др.» – указывалось в проспекте), и вовсе вызывали восторги. Дом на Покровке уже ходили смотреть, но днем. А сообразительные наши сограждане задумали и ночные сеансы смотрин, не гарантируя, правда, еженощных выходов привидения. Шеврикука им не завидовал. Они вызнали легенду, но не знали Гликерию. А Шеврикука ее знал. Но, может, Гликерия готовилась теперь к выходам? Отсюда и корт, и манеж, и пусанский диалект? В чьи глаза пыль? И в преподавателе не было нужды. Имелась, в частности, травка по имени бал, Шеврикука ее не видел, но говорили, правда, простодушным и темным: отвари ее, попей и будешь знать, кто что кричит – и звери, и гады, и птицы, и рыбы, и деревья, и камни, и уж тем более люди, на каком пожелаешь наречии. Но подобное освоение языков и смыслов, видимо, дурной тон. Анна на шее. Гликерия на шее. На чьей шее? На чьей? Не на его же! Нет! Не на его! И быть такого не могло никогда! И ни в коем случае не следовало протягивать ей монету и лошадиную морду!

Но что морочить теперь себе голову! Игрок, игрок ожил в нем, Шеврикуке! Как только вспомнили Увеку Увечную или Векку Вечную и Шеврикука учуял в словах Гликерии, в ее глазах раздумья, сомнения в некоем принятом или непринятом ею решении, он все свои «не надо» и «не следовало» отбросил. Гликерия не Увека и не Дуняша, ее затея вышла бы куда отважнее и рискованнее их затей. Но решилась ли Гликерия или нет? И что придумала? Многим ли временем располагала? И Шеврикука протянул ей две вещицы. Она взяла…

А впрочем, отодвинулось бы все подальше – и Гликерия, и реликвии Пэрста-Капсулы, отмененного и развеянного, и сами духи Башни, и все. Все!

«А у острова Тоски двадцать две стальных доски…»

11

Но через два дня отодвинулся от Шеврикуки и сам остров Тоски. Хотя и не исчез вовсе. А Шеврикука посчитал необходимым отыскать домового Петра Арсеньевича.

Дождь прекратился, и Петр Арсеньевич вполне мог прогуливаться по асфальтовым тропам Поля Дураков, среди сухих кустарников вблизи трамвайных путей. Или же – в парке. Но нет, Шеврикука с ним не столкнулся. Мимо «Космоса» и бульваров прошел к Алексеевской. И здесь не гулял Петр Арсеньевич. А время было его. Но в подземном переходе Шеврикука сподобился увидеть домового из Землескреба Ягупкина. Харя Ягупкина и всегда была противна Шеврикуке, а тут он сидел на фанерном листе еще и сильно заросший рыжим волосом. Нога у Ягупкина была теперь одна, в сапоге, вытянулась напоказ, а при ней лежали костыли и ушанка для подаяний калеке. Странно, но возле Ягупкина жался Колюня-Убогий с бутылкой минеральной воды в руке. Это Шеврикуку расстроило. «Что это они? – подумал Шеврикука. – Квашня – в цыганки с ребенком, Ягупкин – в нищие? Их дело». Подмывало Шеврикуку бросить просителю, не иначе как ветерану и герою, копейку, но не бросил. Прошел дальше. В подъезде его жил лоб-фантазер Синеквадратов, его в детстве согнул полиомиелит, жил тихо, но когда напивался, грезы его пробивали асфальт, он объявлял себя инвалидом чешской кампании шестьдесят восьмого года, боев на Даманском и под Джелалабадом, ночным спасателем Белого дома. Но тот, кроме кружек пива, никаких наград не принимал. А Ягупкин? Не штурмовал ли он мимоходом и Зимний дворец? Уже наверху, у выхода из метро, Шеврикуку догнали.

– Шеврикука! Эй! Остановись! – орал Ягупкин.

Ягупкин прыгал, отталкиваясь костылями, за Шеврикукой, а Колюня-Убогий, плохо дыша, поспешал за ним. Люди разумно расступались перед калекой на костылях. Явно с ощущением вины.

– Ну что? – остановился Шеврикука. – Что ты орешь? И что ты бежишь за мной? Сидел там и сиди.

– Да мы без зла… – смутился Ягупкин. – Вот Колюня говорит: «Давай угостим Шеврикуку». А я что? Я говорю: «Конечно». Колюня, доставай!

Харя Ягупкина была не только заросшая, но и опухшая. Зрачки его выцвели. Колюня-Убогий, он же домовой со Звездного бульвара Дурнев, достал бутыль и стакан. При последней встрече с Шеврикукой на

воскресных посиделках Колюня-Убогий, будучи по расписанию привратником и глашатаем, еще произносил внятные слова. Теперь он верещал радостно-умилительно, выл что-то, будто у него вырвали язык, слюна текла из его рта.

– Не пью, – сказал Шеврикука. – А вы-то за что?

– Как – за что? – осмелев, захохотал Ягупкин. – Ты, Шеврикука, опять в раздражении! А циклон? А ураган? Где они? Фью – и нет их! А ты говоришь – за что! И простолюдинам нальем!

Ягупкин, стоя на одной ноге, костылями обвел проспект Мира, обещая угостить всех простолюдинов. Колюня-Убогий запрыгал и восторженно завыл.

– Какой циклон? Какой ураган? – спросил Шеврикука.

– Которых ждали. Которые сметали. А у нас в Останкине они руки вверх и как миленькие. Дождик теплый, и все.

– Просто иссякли, – сказал Шеврикука.

– Как же, иссякли! Газеты читай! – назидательно заявил Ягупкин. – В Рязанской области возобновились. Элеватор в Сасове, депо в Рыбном, труба в Уфе – все в труху. А у нас в Останкине их скрутили и уняли!

– Кто?

– А ты будто не знаешь? Премудрая сила! – прошептал Ягупкин, костылем указав при этом вниз, в недра. Но прошептал яростно, словно бы в дни обороны Москвы обещал народу второй фронт или секретное оружие. А уже вокруг него трудились ротозеи, полагавшие, что митинг вот-вот откроется.

Что было стоять с дурнями? Да еще где – в Москве при выходе из метро. Шеврикука повернулся и уже на ходу лишь ради Колюни-Убогого бросил:

– Я не пью. Я на больничном. Болею болезнью.

Спускаясь к Дому обуви, Шеврикука услышал публично-доверительное:

– Колюня! Брезгуют нами, калеками! Будто он, а не мы стояли на Пресне и на Садовом! Не плачь, Колюня! Поперли его уже из музыкальной школы! Попрут и с лыжной базы! И из Оранжереи! Утри слезу, Колюня! Грудь распрями, бушлат поправь!

И у Кибальчича еще были слышны Шеврикуке крики Ягупкина. И будто бубен звучал. А Колюня-Убогий, случалось, тряс бубном с колокольцами. «Не из Темного ли Угла Ягупкин? – подумал Шеврикука. – Уж больно вольничает». Прежде этого здоровенного и неопрятного бездельника Шеврикука не принимал во внимание. И сегодня его тельник

был грязный и в дырах. Но, может, сегодня роль потребовала грязи и дыр? «Что это они все понадевали тельняшки?» – вспомнил Шеврикука о наглеце Продольном.

Видеть более Шеврикука никого не хотел. Но как только, обогнув угол Гознака, стал спускаться зеленым скосом Звездного бульвара, увидел Петра Арсеньевича. Петр Арсеньевич будто растерялся, но приподнял соломенную шляпу, а потом, приняв трость, инкрустированную перламутром, левой рукой, правую протянул Шеврикуке:

– Добрый день, любезный Шеврикука!

– Добрый день…

– Я ощущаю неловкость после тех посиделок. Вы вправе были не подать мне руки, но вы подали… Я понимаю вас… Но я…

– Вы-то тут при чем! – резко сказал Шеврикука.

– Вот и спасибо, что вы так чувствуете… Не располагаете ли вы временем, не согласитесь скрасить мою прогулку пятью минутами общения?

– Ну, если пятью минутами… – неуверенно сказал Шеврикука.

Петр Арсеньевич, с тростью, в белой чесучовой куртке и в чесучовых же брюках, проявлял себя все тем же церемонным мухомором и подчеркивал, на взгляд Шеврикуки, пожалуй, и излишне старательно, что он старик, увы, именно старик. Иные и в девяносто лет резвы, фыркают по утрам под ледяной водой, тяготят мышцы гирей, а Петру Арсеньевичу несомненно нравилось жить стариком. Впрочем, что значило для него девяносто лет. Волосы Петра Арсеньевича были и не седые, а белые, из голубых когда-то его зрачков время истаяло.

– Вот здесь присядем, если вы не возражаете именно здесь со мной поскучать… Я вижу, вы удручены. Я не хочу заглядывать вам в душу… Но вы чем-то печально озабочены. Или удручены.

– Мелочи. Ерунда, – отвел глаза Шеврикука. Потом сказал: – Встретил двух дураков…

– И что же они?

– Глупо повторять. Говорили о некой таинственной силе в Останкине. Или о премудрой силе. Шли на Москву циклон с ураганом. И сгинули. Провалились. Потом премудрая сила их отпустила. Снесло элеватор в Сасове, трубу в Уфе или еще где…

– Слышал. Но что же здесь глупого? Ведь они верят.

– Да?

– То есть… Как бы это сказать… Вот цветок… Вот возьмем какой-нибудь цветок… Ага, вот колокольчик… Нет, что-нибудь попроще. Вон, вон

клевер. Кашка. Да. Кашка.

Тростью Петр Арсеньевич указал на бледно-розовые головки клевера, росшего рядом в траве.

– Нет, рвать не надо. Они свое не прожили. Ученый человек, классификатор, все объяснит. Где стебель, где розетка листьев, какое соцветие, какой отряд, какой подотряд, какая в клевере надобность, какая польза, какие калории. И все, все, все. Но для него это лишь мелкое растение семейства бобовых, и не более. А вы вглядитесь в эту кашку, в этот шар! В это чудо! Совершенство формы, архитектоники, цветовых сочетаний! И притом чудо живое! Да что я вам бубню! И я ощущаю в этом цветке совершенную и премудрую силу, его воплотившую и в нем оставшуюся. Ах, как я плохо принялся объяснять! Главное – есть, это совершенное и премудрое, и оно может себя проявить!

– Может, – согласился Шеврикука. – Но не проявляет.

– Как знать! Как знать! – горячо продолжил Петр Арсеньевич. – Может, и проявляет. Как? Мы не ведаем. Строим догадки. А иные и ведают. Я слышал об одном. Он теперь секретный узник…

– Кто он теперь? – спросил Шеврикука.

– Я оговорился, – быстро сказал Петр Арсеньевич. – Оговорился. Со мной бывает. Слабости возраста. Я про другое. Можно ведь эту совершенную и премудрую силу и вызвать. И она явится. Или вызволить. Своей верой в нее. Своим поклонением перед ней, признав в ней вещий смысл. Да, признав и в цветке клевера вещий смысл. И он ответит откровением. Один дальний знакомый мог…

– И он теперь секретный узник?

– Нет! Нет! Я не про это! Не про это! – испугался Петр Арсеньевич.

– Но ведь у каждого своя вера, свое поклонение, свое понимание вещего смысла, свое направление воли, стало быть, из одного и того же, сотворенного кем-то, могут изойти разные силы? Кто что способен вызвать. Или заказать…

– Наверное. Может быть… Я не продумал… Может быть… А к чему мы все это говорим? – спохватился Петр Арсеньевич.

– Пожалуй, и ни к чему, – сказал Шеврикука.

– Ах да, ураган, циклон. Труба упала в Уфе, а не в Останкине. Двое, как вы считаете, дуралеев поверили… Но вдруг они правы. Хотя и не способны что-либо вызвать или ведать о чем-либо…

– Да, конечно, они правы, – поспешил согласиться Шеврикука.

– Или вот, напротив, – сказал Петр Арсеньевич. – Есть нечто, что подразумевает в себе совершенное или даже высшее, нежели совершенное,

возможно, заблуждаясь, и несет в себе энергию, или не знаю что, но это нечто еще не родилось, а жаждет, требует быть рожденным и воплощенным в форму. А форм нет. Как к этому отнестись? К нерожденному дитя?

Трость Петра Арсеньевича указала на Башню.

– Это вы к чему? – спросил Шеврикука.

– А? Что? – Петр Арсеньевич будто проснулся. – В чем, любезный Шеврикука, ваша тайна?

– Какая тайна? – удивился Шеврикука.

– Ваша тайна! – капризно сказал Петр Арсеньевич. – Ваша!

– Вы полагаете – она есть? – спросил Шеврикука.

– Должна быть!

– А я считал, что весь – на виду.

– Вы мне ее не откроете, – печально покачал головой Петр Арсеньевич. – Нет, конечно. Но вдруг бы я мог оказаться вам полезен.

– Вы заблуждаетесь. Я таков, какой есть.

– Да, да. – Печаль оставалась в глазах Петра Арсеньевича. – Наша участь – бесконечность схожих происшествий. Иным на это наплевать, иные переносят все в полудреме или во сне, а иные удручены бесконечностью и ищут приключений…

– Это не ко мне, – резко сказал Шеврикука.

– Не к вам, не к вам, – закивал Петр Арсеньевич. – Это так… мысли вслух… Потом ведь что такое тайна? Она только тем и хороша, что тайна. А заглянешь за ширмочку-то, после долгих стараний и риска, а там-то? Пустяковина, пшик. Вот, скажем, власть. Будто всесильна. Одарена страхами, выстлана легендой. И верится, что действительно все может, и есть нечто могучее в ней, в глубине ее, нам не явленное. Но всунешься, жрецов обойдя, за ширмочку, а там какой-нибудь тщедушный карлик, и не умный к тому же… Или пахан. И грустно станет – зачем лез за ширмочку-то?

– Пахан? – спросил Шеврикука.

– Да и пахан… И пахан… С чем только не сталкивала меня жизнь… И все равно – бесконечность повторений сходных происшествий.

– Вас она удручает?

– Удручает или не удручает, а существовать надо. Да и что-то занятное то и дело обнаруживается.

– Чуть было не забыл, – решился Шеврикука. – Вы куда образованнее и начитаннее меня.

– Увольте, увольте! – запротестовал Петр Арсеньевич.

– У одного из моих… скажем, квартиросъемщиков… мне довелось

увидеть две вещицы… Может, пустячные. Но я любопытный. А что это, так и не понял…

– Опишите их, – сказал Петр Арсеньевич.

– Я их срисовал, – сказал Шеврикука. – А тонкой бумагой и оттиснул, чтобы были ясны размеры и толщина. Мелкие вещицы.

Петр Арсеньевич взглянул на Шеврикуку с вниманием.

– Вот, пожалуйста, – и Шеврикука протянул старику четыре бумажных листка.

– Надо полагать, монета, – сказал Петр Арсеньевич, – и фибула, часть фибулы…

А пальцы его дрожали.

– Может, монета, – сказал Шеврикука. – А может, жетон. Вроде тех, какими в москательных магазинах добывали керосин.

– А на вес?

– Тяжелые. Будто из благородных металлов. Но и те жетоны были тяжелыми.

– А нельзя ли подержать в руках эти вещицы?

– Их нет.

– То есть?

– Квартиросъемщик съехал. На днях.

– По обмену? Если по обмену, его можно найти в Москве. Пусть и в чужом доме.

– Нет. Его не найдешь. Он вообще съехал.

– Да? – Петр Арсеньевич опять поглядел на Шеврикуку с вниманием. – Жаль. Скорее всего, это не жетоны из москательного магазина.

– А если это подделки? Ложные изделия для какой-либо игры?

– Вот потому-то их и надо было подержать в руках.

– И что же в них примечательного?

– Монета, возможно, из Бактрии. Профиль этот – царя, возможно, одного из наследников македонского государя. А очень может быть, что это обол…

– Обол? – как бы засомневался Шеврикука.

– Обол, как помните, греческая монета, – сказал Петр Арсеньевич. – Ею платили за перевоз в царство мертвых.

– Вот тебе раз! – удивился Шеврикука.

– Потом оболом стали называть предмет, служивший не обязательно платой за перевоз, а, скажем, пропуском в нечто укрытое и тайное… Но я не уверен, что это именно обол… А фибула… Фибула эта древняя… То

есть если верить вашему рисунку… Вы, конечно, знаете, о фибулах…

– Конечно! – поспешил Шеврикука. И чуть ли не поперхнулся. Сразу же и отругал себя: зачем теперь-то надо было врать!

– Фибулы встречаются и в скифских захоронениях, – сказал Петр Арсеньевич, – но эта скорее западного происхождения… Похожа на ту, что имеется в музее в Лукке. Вам не кажется?

– Вроде бы… – скашлянул Шеврикука.

– А впрочем, есть сходство с лангобардской фибулой из Фриули… Та и зовется – «лошадиная голова». Но не могу утверждать определенно. Память! Увы! Память! Нет, вы, любезный Шеврикука, имеете дело с дырявым стариком…

– Я так не думаю, – сказал Шеврикука.

– Вот если бы вы мне доверили эти листочки дня на три…

– Нет! – воскликнул Шеврикука. – Нет! Они мне необходимы!

И он моментально, неожиданно для себя, протянул руку и вырвал листочки у Петра Арсеньевича.

Петр Арсеньевич в испуге отодвинулся от Шеврикуки. Пробормотал виновато:

– Я ни на что не хотел посягать… Просто… Мой интерес мог быть вызван увлечением лошадьми…

«Какими лошадьми! – свирепо думал Шеврикука. – При чем тут лошади!»

– Конечно, конечно, – говорил Петр Арсеньевич, – это увлечение возникло оттого, что нам не положено быть всадниками. Что мы можем – покататься украдкой без седла да заплетать по ночам гривы. И более ничего. А ведь история многих столетий на Земле – это история человека и лошади. На то, чтобы возникли стремя, седло, подковы, ушли века…

Петр Арсеньевич говорил, говорил и руками, прислонив трость к скамье, стал нечто показывать, а Шеврикука его не слушал. Он вспоминал, как Гликерия принимала у него на хранение вещицы Пэрста-Капсулы. Как горели у нее глаза любопытством, азартом, ожиданием добычи. Как сжались ее пальцы, лишь только на ладони ее оказались монета и фибула. Потом она успокоилась и будто остыла. Повеселев и даже напевая что-то из «Аскольдовой могилы», и снова не принимая Шеврикуку во внимание, стала ходить по будуару в своих заботах. (В те мгновения Шеврикука увидел на стене новую здесь обманку. Или и впрямь восемнадцатого столетия. Или хорошую имитацию. В зелено-голубой дали стоял белый барский дом, прямо же перед зрителем на будто бы картоне были будто бы приколоты булавками – «как живые» – три пестрые бабочки, рядом с ними

лежали два осиновых листа. А в углу картона написали «выцветшими» буквами: «Ольгово. Имение гр. Апраксина». Тогда Шеврикука успел подумать: «Ольгово, Ольгово… Ведь что-то слышал…» Теперь он вспомнил: из Ольгова Дмитровского уезда, имения Апраксиных, происходили предки квартиросъемщика из его подъезда, Митеньки Мельникова. В связи с Ольговом Митенька что-то говорил и про Пиковую Даму, впрочем, он был пьян.) Да, да, Гликерия ходила и напевала и уже не была хищной птицей, наметившей внизу, в огороде, выводок цыплят. Ее ждали корт, манеж, пусанский диалект. Она готовилась выйти из простоя и покорить (испугать, восхитить, соблазнить) во время ночных смотрин валютных особ. «Взглянуть надо будет на эти смотрины!» – сурово пообещал Шеврикука. Но и не одни смотрины без сомнения держала в уме Гликерия… И Шеврикуке стало жалко вещиц. Надо было их отобрать! Вырвать их, что ли, как сегодня он вырвал листочки из рук Петра Арсеньевича. Но Гликерия была не Петр Арсеньевич…

– Да, конечно, куда более, нежели история лошади, меня занимает история рыцарства, – услышал, наконец, Шеврикука Петра Арсеньевича. – Это чрезвычайно увлекательная история. Но без лошади не было бы и средневекового рыцарства…

А Шеврикука потихоньку успокаивался. Теперь он думал, что пальцы Петра Арсеньевича, может, и не дрожали. Может, и Гликерия не была тогда хищной птицей. И все ему прибредилось. Как прибредилось и Чудовище. А вещицы неудачника Пэрста-Капсулы – обыкновенный хлам. Или – расхожие поделки.

– Представьте себе, – Петр Арсеньевич говорил уже восторженно, – два века человечество жило предчувствием появления Роланда…

– Предчувствием явления кого живет оно теперь? – спросил Шеврикука.

– Не знаю… не знаю… – растерялся Петр Арсеньевич. – Но я продолжу, если позволите… Два века – Роланд явился, чтобы пасть в Ронсевильском ущелье. Теперь его чувства к прекрасной Альде кажутся смешными. Они и тысячу лет назад многим казались смешными… Да… Вот нынче на кооперативных лотках можно вроде бы купить любую книгу. Любую чепуху. А высокопочтенные рыцарские романы они не догадались выпустить. Вам, Шеврикука, не приходилось видеть в киосках сочинения, скажем, Кретьена де Труа? Или «Смерть короля Артура»?

– Я на них и не обратил бы внимания, – сказал Шеврикука. – Читаю исключительно детективы и боевики. Всякие крутые вещи. И в пустых квартирах, если уж решу что-нибудь посмотреть на видео, то непременно

боевики.

– Ну да, ну да, все эти Шварценеггеры, младшие Ливановы и Соломины, Сталлоне… И самому небось хочется стать сыщиком или суперменом? – полюбопытствовал Петр Арсеньевич.

– Каким уж там сыщиком! – лениво махнул рукой Шеврикука.

– А я вот не отказался бы побыть рыцарем, – произнес Петр Арсеньевич мечтательно. – Но тем, стародавним. В латах, с мечом и копьем, и на коне в тяжелых доспехах. Тогда это был танк. И не отказался бы от дамы сердца.

– Рыцари сражались с чудовищами, – заметил Шеврикука.

– И с чудовищами! – обрадовался Петр Арсеньевич. – Да! И с чудовищами! Славный Беовульф с могучим Гренделем. А потом и с его страшной матерью.

– Чудовищ нынче нет. В Останкине, по крайней мере.

– Кто знает, – сказал Петр Арсеньевич.

– Вы всерьез? – спросил Шеврикука.

– Мы говорили. И из кашки-клевера можно вызвать или вызволить совершенную и премудрую силу. А из чего-то – и злую. Иному же необходимо именно чудовище.

– Но зачем?

– Может, для того, чтобы иметь сторожа. Для себя и своего достояния. У всех свои тайны. Кроме вас, любезный Шеврикука, простите. Кроме вас. А об Отродьях, тех, что на Башне, нам и вовсе ничего не известно. Что им нужно? Чего они желают или жаждут? А тому же славному Беовульфу пришлось биться с огнедышащим драконом, караулившим сокровища древних курганов. Был еще дракон Фафнир…

– «На море на Окияне есть бел-горюч камень Алатырь, никем не ведомый, – Шеврикука позволил себе стать чтецом-декламатором. – Под тем камнем сокрыта сила могучая, а силы нет конца». Или: «Под морем под Хвалынским стоит медный дом, а в том медном доме закован змей огненный, а под змеем огненным лежит семипудовый ключ от княжева терема». Или: «Двадцать старцев, не скованных и не связанных…» Это, кстати, не отпущенники ли из секретных помещений? И так далее. Но ведь согласитесь, Петр Арсеньевич, все это теперь не для нас. И не для нынешних людей. Тем более не для их ушлых детишек.

– Кто знает, кто знает…

– Ну да, я слышал от вас недавно – Чаша Грааля, Меч-Кладенец, отец мой Парсифаль. Теперь вот Беовульф и дракон Фафнир.

– И вы иронизируете надо мной! – расстроился Петр Арсеньевич. – Я

так и думал, что этим закончится… Но виноват сам. Сам. Глупая потребность поделиться с кем-то своими соображениями… Но с кем? Выходит – с самим собой. К неудовольствию и скуке собеседников… Старость и одиночество…

– Поверьте, Петр Арсеньевич, я не хотел вас обидеть, – сказал Шеврикука. – И собеседник я не привередливый. Поэтому, наверное, мне нередко случается выслушивать чужие мысли вслух… Сомнения, предположения… и прочее… Совсем недавно имел такой длительный разговор. Я более молчал и выслушивал… И не было обид… И что же у нас в курганах, так скажем? Есть ли сокровища, накопленные и приобретенные в столетиях?

– Вам ведомо самому.

– И что же, над ними лежит камень Алатырь, змей огненный сидит в медном доме и бодрствуют старцы, не скованные и не связанные?

– Вам ведомо самому.

– Нет, Петр Арсеньевич, не ведомо.

– Мне, стало быть, тем более. Я до сих пор пребывал в прихожей посиделок.

– Вы обиделись на меня, Петр Арсеньевич. Снова прошу у вас извинения. Дури мне не занимать. Но к вам я отношусь без иронии, а с почтением. Мне даже могло прийти в голову, что вы из тех старцев, не скованных и не связанных, коим выпало бодрствовать и оберегать. Или хотя бы быть посвященным в их суть.

– Вы ошибаетесь, – сказал Петр Арсеньевич. – К тому же вы справедливо заметили – чего стоят давние слова о камне Алатыре и змее огненном. Это – простодушие начальных испугов и надежд. Оно не возвратится.

– Но если дать волю фантазии… Что же могло быть бы в наших курганных сбережениях?

– Полагаю, что не золото, не камни смарагды и не сапфиры.

– Половник для щей, ухват, кочерга, братина, ендова, сбитенник, самовар, кадка с соленьями…

– Что, что? – напрягся Петр Арсеньевич.

– Это я так… Вспомнил нечто, кем-то недавно произнесенное… – сказал Шеврикука. – И что же, в тех ендовах, в тех сбитенниках и кадках было бы разлито одно благо? Одни меды и кисели?

– Не думаю. Горькие соки никуда не истекают. И не высыхают. И много ли в нас блага-то? Как и в людях? К тому же будто бы сказывается происхождение. Иные из-за него самоедствуют и корят сословие. Другие

из-за него же, напротив, трубят в фанфары.

– Из-за какого происхождения?

– Из-за предания, что мы низвергнуты. А уж потом наполнены людским.

– Это спорное мнение. А предание, возможно, позднее и подложное.

– Да, мнение спорное. И предание… Согласен… Но блага в нас, увы… И приумножается ли честь? Да что – приумножается? Сберегается ли честь? Оттого я и увлечен рыцарством, хотя сам пребывал в грехах и проказах, что там была честь!

«Заклинило старика», – подумал Шеврикука. Он был сейчас не только спокоен, но и благодушен.

– А этот змей, про которого говорят, что завелся в Оранжерее, – улыбнулся вдруг Петр Арсеньевич, – надо полагать, не Фафнир и не Беовульфова судьба. Те ведь не только извергали огонь, но и имели крылья…

– А что, – спросил Шеврикука, – в Оранжерее завели змея?

– Говорят…

– Петр Арсеньевич, – сказал Шеврикука, – если у вас не исчез интерес, я мог бы дать вам листочки с рисунками И оттисками. Но, конечно, с возвратом. И ненадолго.

– Что вы! – воскликнул Петр Арсеньевич. – Конечно не исчез! Мне только взглянуть кое-куда и сравнить… И подумать… Завтра же я вам их непременно верну!

Но пальцы Петра Арсеньевича, когда он принимал листочки, опять дрожали.

– Завтра же! Завтра же! – горячо заявил Петр Арсеньевич. – Вот в этом самом месте. В шесть вечера. Если вас устроит.

– Хорошо, – сказал Шеврикука. – Я приду.

12

Четыре дня Шеврикука прожил расслабившись. В благодушии он вернулся в Землескреб, его никто не спрашивал и никуда не тянул, больничный не терял силу. Хотел было в квартире флейтиста Садовникова, кошатника и книжника, тихой букашкой проползти в справочники и выяснить, что такое фибула, но заскучал и фибулу отставил. Обеспокоился, как бы скука не перешла в тоску, и отправился в квартиру картежника-акулы Зелепукина. Зелепукин гастролировал в поездах Транссибирской магистрали или пил женское тело в Сочи, в отеле «Дагомыс». А видеотека у него была богатая. И был игровой компьютер.

Кассеты Шеврикука ставил наугад. По причине снабженческой образованности Зелепукин украшал все коробки кассет, даже и с историями инспектора Лосева, английскими словами, для Шеврикуки не всегда доступными. Оттого в просмотрах Шеврикуки случались повторы. Правда, старья Зелепукин не держал. Если только классику порядка «Конана-варвара». На этого Конана (а может – конунга? Все же княжеского рода был там Шварценеггер. Надо бы спросить у обожателя лошадей и средневекового рыцарства) сразу же и напоролся Шеврикука. И не пожалел. Даже растрогался, наблюдая (в который раз) жертвенные действия девы-валькирии. Посидел в тишине и снова завел «Конана-варвара». Музыка, особенно в эпизодах с адским жрецом, казалась знакомой и будто бы взятой в долг, но и она не раздражала Шеврикуку. А потом широконосого Хакмана посылали во Францию отлавливать наркомафию, а он чуть не отдал концы. А потом воспитанный для террора блондин потерял под водой память и, сам того не понимая, исказил замыслы вашингтонских ястребов. А потом… «Э-э-э! – сообразил Шеврикука. – Уже полшестого».

Лень было идти Шеврикуке на Звездный бульвар, да еще почти к Гознаку, но из приличия он пошел. Не явился Петр Арсеньевич в шесть, не явился в половине седьмого, а без четверти семь Шеврикука, вслух и громко выбранившись, отправился домой. Пустым вышел и его поход новым днем. Необязательным проявлял себя Петр Арсеньевич. «Что я шляюсь из-за этих бумажек! Будет время, сыщу старика», – решил Шеврикука и вернулся в салон Зелепукина.

Снова пошли удовольствия. Теперь терзал негодяев Сталлоне, а упрямый шериф проваливался сквозь стеклянную крышу. Русскими

словами чаще говорил за героев человек с тяжелым и неизлечимым насморком, порой, когда насморк становился совсем уж невыносимым, на экране лишь дергались чухонские титры (фильмы, стало быть, предлагались свежайшие, записанные в балтийских заливах), но и тогда Шеврикука почти обо всем получал представление. Особенно хороши были для Шеврикуки фильмы о полицейских, отчасти грубоватых и невежественных, но отважных, из-за строптивости обычно попадавших в опалу и отстраняемых от дел. Как рискованно и круто они проводили расследования, в одиночку или в компании с гибким, самоотверженным негром-напарником! Так бы и сидел Шеврикука у телевизора, так бы и наслаждался страшными тайнами, погонями звездных кораблей, поисками ковчега Моисея, если бы не одно обстоятельство.

Обстоятельство это заключалось вот в чем. Зелепукин был натурой широкой, но экономической. Пустот в кассетах не допускал. Но в паузах писал не мультики, а секс. Эстетический, житейский, учебный – со сменой комбинаций и компаний, фигурный, всякий. Были у него кассеты, полностью отпущенные картинам любовных искусств. Иные – для себя. Иные, позабористее, – уготованные на продажу ценителям кавказским и туркестанским. Шеврикука поначалу, полеживая на диване и имея в руках щиток дистанционного управления, кнопками заставлял ремесленников любви, чтобы не мешали детективам, мелькать, кувыркаться и в мгновения бесследно исчезать. Но потом ему словно бы лень стало издеваться над ними, он их уже не подгонял и от экрана при этом не отворачивался. Тогда ему пришло на ум: «А не подняться ли к Легостаевой?» На ум! Если бы на ум!

Шеврикука и ножом тыкал себя в живот, пытаясь болью умерить пыл. И прекращал просмотры. И отвлекал себя, включив компьютер, игрой «тетрис», проводил медведя мимо ульев к водокачке, а все время выскакивал пасечник с дубиной, и его надо было избегать. Не помогало. Шеврикука снимал со стены гитару и пел: «Звериной тропой Забайкалья…» Перевирал слова, чтобы вышло больше зверства. Толку никакого. Брал тома кооперативных детективов, буквы покрывало туманом, а ценимый Шеврикукой приватный сыщик Арчи Гудвин не мог выстрелить из тридцать восьмого калибра. Все в Шеврикуке было возбуждено и не вопрошало, а требовало: «А не подняться ли нам к Денизе!»

Дениза, она же товарищ Нина Денисовна Легостаева, просившая Шеврикуку отчего-то называть ее в мыслях Денизой, жила тремя этажами выше. Легостаева вела в культурном институте общественные дисциплины. В прошлом году она дважды вызывала милицию с жалобами на домового.

Жалобы были схожие. Из заявлений Легостаевой выходило, что местный домовой – сексуально озабоченный и нападал на нее с целью произвести надругательство. Милиционеры удивлялись, но составляли протоколы. Шеврикуку вранье Легостаевой не злило, напротив, оно было отчасти лестно. Так или иначе, женщина признавала де-факто существование его и его сословия, пусть и таинственное, а вызовом представителей власти (грозилась, если не разберутся, звонить самому полицмейстеру) и словами об уголовном деянии возносила Шеврикуку и в юридическое состояние. Большинству же населения были безразличны домовые и их заботы. Но хоть это большинство уже не относило Легостаеву к потерявшим крышу, как было раньше, ее расспрашивали с вниманием, фотографировали в квартире в местах нападения, показывали по московскому каналу, правда, там специалист, пусть и соглашался с возможностью полтергейста, все же тонко подвел зрителей к мысли об изголодавшемся инопланетянине. Но Шеврикука-то знал, кто изголодался. Легостаева подавала знак ему. Она проклинала его. Она ревновала его. Она молила его! Она ждала. Крайность состояния вынуждала ее звонить в милицию.

Обязан сообщить, что Легостаева была страшила. Причем страшила в окулярах-директивах. На такую взглянешь вскользь и пожелаешь отвернуться. А Шеврикука видел фотографии Легостаевой в школьной форме. И ничего. Девочка как девочка. Милая даже мордашка. Шеврикука был убежден, что физиономию Легостаевой перекорежили общественные дисциплины. Нос, рот растянул, а потом и скукожил диалектический материализм. Из скул, ушей, бровей выпирали истматы, базисы, надстройки, прибавочные стоимости, третий и четвертый постулаты Канта. В глазах угрюмо тлело презрение к эмпириокритицизму. Но тело Легостаевой не знало общественных дисциплин. Какое это было тело! Тело ее, скрытое безвкусными тряпками, не видел никто. А Шеврикука видел. Оно было неописуемой красоты. Хотя при чем тут красота? В нем предощущались иные достоинства. Красота, полагал Шеврикука, должна волновать художника. А он был не художник, а экземпляр мужского пола. И его влекло. В Легостаевой же в ее тридцать восемь лет все бурлило, клокотало и жаждало утоления страстей.

Как все вышло у них впервые, расскажу, если представится случай. Замечу только, что в Перечне Услуг домовых значилось среди прочего и «Утоление страстей квартиросъемщиков». А потому Шеврикука после общений с Легостаевой, не частых, отмечу, разъяснял себе (нужда возникала), что по отношению к Гликерии дурного он не совершил. Такой Перечень. К тому же добавлял: мало ли какие услуги в Перечне

привидений, он их не знает и знать не хочет. И добавлял: к Легостаевой он ходит не из чувств, а из жалости. Замечу еще: Легостаева дала понять, что страсть желает утолять с домовым (имя Шеврикука ей не было известно) невидимым, но с осязаемым и ощутимым. То ли в грезах ее было это нашептано, то ли имелись к тому гуманитарные основания. Ну и ладно. Шеврикуку пожелание устраивало.

Но дома ли теперь сидела Легостаева? Возбужден Шеврикука был так, что мог сейчас дать повод для третьего вызова милиции. Но принесся бы к Легостаевой, а ее нет. Сгорел бы подъезд. Шеврикука набрал номер, подышал тяжело и услышал: «Приходи… Умоляю… Приходи… Через. полчаса…»

Через полчаса!

За полчаса можно было бы добраться и до Совокупеевой. Но нет, ни Совокупеева, ни тем более Гликерия не были сейчас нужны. Следовало вытерпеть полчаса и подняться именно к Легостаевой.

И поднялся.

Произвел шум. Гремел кастрюлями, скреб по полу щеткой. Давал Легостаевой знаки: он явился. Услышал взволнованное: «Ты пришел… Милый… Но не спеши… Подымись кверху… К потолку… К небу… Пролейся сегодня золотым дождем… Будь сегодня нежным… И не спеши… Я позову…»

Ага. Пролейся золотым дождем. Он, значит, нынче будет Зевс, а она – Даная. И еще. Просьба не спешить и проявить себя нежным. В прошлый раз потребовала немедленно стать грубым ненасытным самцом и теперь небось через десять минут возжелает грубого самца. Представления Денизы о любовных утехах, возможно, были лишь литературно-исторические (хотя девушкой ее Шеврикука не застал). Чувственные удовольствия ей нравилось размещать в отдаленно известных сюжетах. Однажды она пожелала стать Жанной д’Арк, совращаемой вероломно подосланным к ней монахом. Монах этот, как выяснилось в дальнейшем, оказался не только иезуитом, но и извращенцем. Потом Легостаева была революционеркой, собиравшейся убить царя, но пойманной и брошенной в одиночную камеру Петропавловской крепости. Приходил и пытал ее следователь Бекашин (и фамилию придумала), поначалу льстивый и сахарный, затем жестокий. И он в дальнейшем оказался извращением. Шеврикука полагал, что сюжеты эти вызваны стараниями морально послушной Легостаевой уговорить в просветленно-трудовые дни саму себя и совместить ее представления о всемирном развитии с несовершенствами грешного тела. Позже к ней, уже царевне Софье, пробирался в Кремль

подземным ходом из своих охотнорядских палат князь Василий Васильевич Голицын. Истории вспоминались Легостаевой драматические, в них неподалеку свирепела погибель, возможно, и в ее близости для Денизы отыскивались оправдания. Но Даная?.. В судьбе дочери аргосского царя Акрисия, пожалуй, было благополучие. Хотя папаша и запирал ее в медном тереме под землей, чтобы не имела ухажеров, – ему пообещали смерть от руки внука. Но потом-то не ей снес голову диском на Олимпийских играх сынок Персей, а именно несчастному деду Акрисию. Если правильно помнил Шеврикука. Впрочем, это было их дело и дело Денизы, а Шеврикукино дело было теперь парить под потолком невидимым Зевсом.

Он парил и даже производил громыхания в небесах, правда не громкие, чтобы не испугать жителей своих подъездов. Легостаева включила лампу, стоявшую у дивана, прошептала:

– Милый… я жду… пролейся золотым дождем.

И стал Шеврикука золотым дождем.

Но и как было предложено, опускался золотыми градинами неспешно, словно и не градинами, а листьями или лепестками, направляемыми вниз смирным ветром. А потому и успел рассмотреть женщину. Легостаева лежала нагая, откинув легкое одеяло и приняв позу рембрандтовской Данаи. Очки она, правда, не сняла (и это Шеврикуку не расстроило), а у запястий ее краснели браслеты, не столь дорогие, наверное, как у аргосской царевны, скорее всего, пластмассовые, но и они не вызывали у Шеврикуки досады. Прекрасным все же природа одарила женщину телом. И груди ее были хороши. И бедра, и живот, над пушистым холмом в меру полный, обещали удовольствия. И запахи ее кремов устраивали Шеврикуку (вспомнилось ему, как при нем Невзора-Дуняша натирала Гликерию благовониями, но при чем, при чем была теперь Гликерия, она утонула в прошлом!). Легостаева, видно, этим летом плавала и ныряла, нежилась у водоемов в бикини – белые полосы кожи были Шеврикуке приятны. «Ба, да у нее на шее след от цепочки. Может, стала надевать крест? – предположил Шеврикука. – А сейчас засмущалась к сняла?» Впрочем, не его это была забота. «Вот ты уже здесь… Вот ты уже меня коснулся, – шептала Легостаева в истоме. – Какой ты нежный… Не становись пока большим… Побудь маленьким… Маленьким-маленьким… Одной каплей… Одной золотой горошиной… Побудь здесь…» Было указано место для горошины: в ущелье меж полушарий грудей. Пальцы Легостаевой касались Шеврикуки, катали его по белой коже. «А теперь становись большой и тяжелый… обними меня всю… всю… войди в меня и займи меня всю… всю!» Золотая горошина исчезла, а невидимый, но осязаемый и ощутимый

Шеврикука разросся, огрубел, стал огромным, чуть ли не в полкомнаты, объял Легостаеву и вошел в нее…

13

Было пасмурно и сыро, когда Шеврикука выбрался во двор. Шел, подставив лицо дождю. Смутным видением надвинулись на него Ягупкин и Колюня-Убогий.

– Сколько теперь времени? – спросил Шеврикука.

– Одиннадцать, одиннадцать, – ответил Колюня-Убогий. – Пятница.

– Сколько? – не поверил Шеврикука. – Одиннадцать пятницы? Уже?

– Во-о! – обрадовался Ягупкин. – Откуда ты выполз такой смурной? Тебя шатает! Смотри у меня! Будешь баловать, пропадешь, как этот старичок!

– Какой старичок? – спросил Шеврикука.

– Старичок, старичок, старичок, – запел Колюня-Убогий и, похоже, был готов пуститься в пляс. – Пропал старичок!

– Да не вой ты! Какой старичок пропал? – обратился Шеврикука к Ягупкину.

Был Ягупкин опять на двух ногах, но очень утертый кулаками. Возможно, и твердостями обуви.

– Не пропал он, твой старичок, – сказал Ягупкин. – А сгинул. Сгиб.

– Тебя зонтами били? – спросил Шеврикука.

– Какими зонтами! Дикари! Людоеды! Книгами! Английской живописью из Эрмитажа! У них там, понял, стоял лоток. Он у них недолго постоит!

– Постоит, постоит, постоит! – заплясал Колюня-Убогий.

– Ну ладно, – сказал Шеврикука. – Какой старичок-то? И почему – мой?

– Старичок, старичок, старичок! – Колюня-Убогий пошел вприсядку и будто бы держал в руке платок. – Петр Арсеньевич, старичок, как и ты, изнуренный.

– Ихним лотком – им по башкам! – сказал Ягупкин. – А один еще на валторне играл. И валторну! А старичок Петр Арсеньевич именно не пропал, а сгиб.

– Но он не мог погибнуть, – сказал Шеврикука.

– Мог, не мог! – поморщился Ягупкин. – Тебе говорят, значит – сгинул. Иди посмотри. Там взрыв и пожар. Может, эти отродья с Башни.

– Он им мешал? – спросил Шеврикука.

– Нет, ну ты точно изнуренный, – сказал Ягупкин. – И тебя шатает. Ты

до Кондратюка не дойдешь.

– Дойду, – сказал Шеврикука.

И пошел.

А Ягупкин и Колюня-Убогий решили его сопровождать.

Жизнь дома на Кондратюка, где обитал Петр Арсеньевич, и верно, была нарушена. Людей одного из подъездов определенно выселили. Рамы раскуроченные увидел Шеврикука, черные следы пожара. Сам учинить такое Петр Арсеньевич не мог. Погибать он не собирался. Еще совсем недавно он опасался сокращений и перетрясок и, надо полагать, не допустил бы и безобразий жильцов. Стало быть, могла проявить себя посторонняя сила. Впрочем, соображал сейчас Шеврикука плохо и пребывал в растерянности.

– Во! – указывал на разрушения Ягупкин. – И этих с лотком и валторной надо бы так!

– Когда был взрыв и пожар? – спросил Шеврикука.

– Три дня назад. Вот только ураган отпустило. И циклон. И бабахнуло.

– И жертвы?

– Двоих увезли в каретах. А может, и больше.

– А с чего вы взяли про старичка-то?

– Старичка, старичка, старичка! – заплясал Колюня-Убогий. – Взяли, взяли, взяли!

– А потому что в этот дом уже намечают нового! – хмыкнул Ягупкин.

– Но, может, Петра… этого Арсеньевича… – осторожно предположил Шеврикука, – куда перевели…

– Перевели! Пойди проспись! Петр Арсеньевич – тю-тю!

Ничтожный Ягупкин грубил, а у Шеврикуки не было сил поставить оболтуса на место. «Что их слушать?» – подумал Шеврикука.

– Пойду и просплюсь, – согласился Шеврикука. – Я – больной, на больничном. Болею болезнью.

«Расследование и дознание!» – указал себе Шеврикука по дороге домой. Но прежде следовало отлежаться в малахитовой вазе жильцов Уткиных, прийти в себя, поверить в возможность исчезновения или погибели Петра Арсеньевича и все благоразумно обдумать. В малахитовой вазе Шеврикука и залег.

«Начинать надо с Тродескантова! Именно с него! С Тродескантова!» Мало ли что могли вбить себе в голову Ягупкин и Колюня-Убогий и мало ли чему в волнении мог поверить он, Шеврикука. А Тродескантову он имел повод задать вопросы. Домовой Тродескантов по жребию был распорядителем последних деловых посиделок, и он, пусть и деликатно, не

допустил Шеврикуку в залу заседания. Шеврикука мог теперь, проявив себя скандалистом, потребовать сведений, где же этот старичок, Петр Арсеньевич, выдвиженец, его заменивший? Есть он или его нет? Пусто ли его место? И если пусто, не состоится ли возвращение его, Шеврикуки, в действительные члены посиделок? Хотя сам он хлопотать о возвращении не намерен. Только в случае извинений перед ним – он посмотрит. Не сразу, а лишь ощутив возобновление сил, Шеврикука отправился искать Тродескантова. Говорил шумно, именно скандалил. Никакие тайны домовых Тродескантов разглашать не имел права, и давать справки его никто не уполномачивал. Но напор Шеврикуки привел стеснительного Тродескантова в волнение. «Ничего я про Петра Арсеньевича не знаю, – суетился Тродесканотов. – Его уже нет в ведомости». «Нет, его точно вычеркнули? – кричал Шеврикука. – Или это слухи?» – «Ну, вычеркнули, вычеркнули…» – «Но вы видели, что его вычеркнули? Или знаете с чужих слов?» – «Ну видел, видел, – растерянно повторял Тродескантов. – И сняли с довольствия…» Ах, распалялся Шеврикука, если этот Петр Арсеньевич таков, что его соизволили вычеркнуть, то как же посмели им заменить его, Шеврикуку, на посиделках! «Я тут ни при чем…» – ныл Тродескантов и отступал от Шеврикуки. «А кто же при чем?!» И далее. И далее. Громкие слова униженного и оскорбленного. На полчаса.

Но главное Шеврикука узнал.

Раз вычеркнули и сняли с довольствия, Петр Арсеньевич и впрямь исчез. И скорее всего, безвозвратно. Мог попасть и в секретные узники. Но вряд ли. Не той степени была личность. Сам истребить себя Петр Арсеньевич не имел возможности. Если бы и имел, то зачем понадобилось бы ему сгинуть? Причин Шеврикука не находил. Стало быть, с ним сотворили. Кто? Можно было строить догадки. Сотворили свои или чужие. Правда, кого считать своими и кого чужими… Но почему? Или зачем? Решение судьбы Петра Арсеньевича было явно внезапным. Возможно, неожиданным и для исполнителей. Не из-за его же, Шеврикуки, бумажных листочков с рисунками и оттисками! Но тогда бы дотянулись до самого Шеврикуки. Или до Гликерии. Нет, рисунки вряд ли принимались во внимание.

Но было отчего обеспокоиться Шеврикуке.

И выходило, что он жалел Петра Арсеньевича.

Шеврикука вспоминал: с кем был в приятельстве Петр Арсеньевич или хотя бы с кем поддерживал отношения? Сведения об этом были у него туманные. Петр Арсеньевич говорил о своем одиночестве и об отсутствии собеседников. Но не всегда же он был одинок. Кто-то наверняка знал и про

обстоятельства его останкинской жизни. Это предстояло выяснить.

Нетерпение гнало Шеврикуку к пятиэтажному дому Петра Арсеньевича. И все же Шеврикука посчитал, что визит следует отложить до полуночи. Да, новый домовой, как выяснилось из оправданий стеснительного Тродескантова, туда еще не перебрался, хозяйство не принял, но мало ли что? Вряд ли дом оставили без присмотра. И возможно, присмотр этот поручили цепкому глазу. Не исключено, что и не одному. Ну ладно, пообещал Шеврикука, как-нибудь сообразим…

Но назначением полуночи Шеврикука скорее стремился утихомирить себя и действовать хладнокровнее. Что день, что ночь – условия визита оставались одинаковыми. И наверное, Шеврикуке предстояло превратиться в летучее насекомое – в комара или в дрозофилу. Либо стать пробивным тараканом, какому доступны все ходы коммунального строения. Не скажу, что это было приятно Шеврикуке, но, пожалуй, мелкое существо могло проворнее отыскать тайники Петра Арсеньевича. А они, полагал Шеврикука, были. Если их, конечно, уже не опустошили. Или не спалили в минуты пожара.

Дом Петра Арсеньевича был хрущевских времен, без лифтов, квартиросъемщиков в нем проживало меньше, чем в двух подъездах Шеврикуки. Причины взрыва и пожара, разведал Шеврикука вечером, были самые обыкновенные. Утечка газа, повреждение проводки, пьяный курильщик в постели. Создать их не стоило трудов. Причем не постеснялись учинить беды людям, значит, сила действовала – бесцеремонная. Вряд ли Петр Арсеньевич, каким его Шеврикука знал, не следил за газом и электричеством.

В сумерках Шеврикуке показалось, будто за ним наблюдают. Будто рожа наглеца Продольного мелькала в кустах бересклета. Будто шуршание чье-то следовало за ним. В тронутом взрывом подъезде было сыро и пахло горелым деревом. На трех этажах жильцов оставили, на четвертом и пятом квартиры освободили. Путешествия Шеврикуки мухой-дрозофилой были неспешно-осторожными и неожиданно утомили его. К открытиям они не привели, хотя и подтолкнули Шеврикуку к некоторым размышлениям. Но когда он летал в совмещенном уют-кабинете и был намерен спикировать под ванну, засыпанную кусками грязной штукатурки, он ощутил движение воздуха. Никаких ветров здесь быть не могло, но его, Шеврикуку, явно кто-то хотел сдуть или прибить к стене. А потом чья-то рука возникла, отдельная, сама по себе, смутно видимая, но чуть ли не с когтями. И рука эта стала ловить Шеврикуку. Дважды она взлетала, и пальцы ее сжимались, Шеврикука едва-едва успевал проскочить меж ними. И кто-то ухал в

досаде. «Этак ведь раздавят! Или прихлопнут!» Шеврикука ринулся ввысь, к потолку, к вентиляционному отверстию, юркнул в него, а рука ударила по пластмассовой сетке, и стена треснула. Несся Шеврикука трубами, воздушными ходами, словно им выстрелили, вылетел в пространство ночи, лишь во дворе разрешил себе спуститься в зелень. «Каким тут комаром! Какой мухой! Истинно раздавят или прихлопнут!» И вырос в прежнего Шеврикуку.

Но он был рассержен, вошел в состояние: «Сейчас я с ними разберусь» – и двинулся к дому. Сразу же услышал жестяное: «Не лезь, Шеврикука! Не суйся!» А никого рядом и не было. И будто бы камни покатились вниз в водосточной трубе. Сначала Шеврикуку остановила некая невидимая плоскость, словно бы он ткнулся лбом в незамеченную им стеклянную дверь. И тут же из мрака выпрыгнул гибко-резиновый призрак в шишковатом шлеме-маске и с палкой ниндзя в руке. Не раздумывая, Шеврикука ударил его в голову. Призрак охнул, согнулся, но смог вскинуть палку…

Когда Шеврикука пришел в себя, он увидел рядом с собой Пэрста-Капсулу. Было утро. Шеврикука лежал в траве сквера улицы Королева. Пэрст-Капсула стоял над ним.

– Ты же… – еле пробормотал Шеврикука.

– Нет, – сказал Капсула. – Я остался. Я забыт.

– Это ты меня ночью?

– Нет, не я. Я нашел вас здесь.

– Даже так? – спросил Шеврикука. – Именно здесь?

– Да. Я искал и в других местах. Но нашел здесь.

– Ладно. – Шеврикука попробовал подняться и встал. – Ничего. Все движется. Могло быть и хуже. Но стоит пойти и продлить больничный… Тебя послали меня отыскать?

– Меня никто не посылал, – сказал Пэрст-Капсула. – Меня нет. Меня забыли. Я сам по себе. Я искал сам.

– Но если забыли, – предположил Шеврикука, – могут и вспомнить.

– Вряд ли. У них суета. Потому и забыли. И я для них слишком мелкий. Полуфаб. Возможно, недосотворенный. Промежуточная стадия. Или не так сотворенный и брошенный…

– Пэрст – что за имя?

– Пэрст – проблемы энергетического развития судеб. Транспортно-биологические, в скобках. Лаборатория.

– Ну ладно, – сказал Шеврикука. – И что же мне с тобой делать?

– Я вижу: вы теперь в затруднении, – сказал Пэрст-Капсула. – Может, я

способен в чем-то вам помочь?

– Ты-то? – удивился Шеврикука. – Вряд ли. И сам говоришь – слишком мелкий.

– Именно потому, что слишком мелкий… Но обучен многому…

Чуть ли не обиду ощутил Шеврикука в голосе духа. Не слаб и не сентиментален, как в ночь прощания, а серьезен был теперь Пэрст-Капсула. Мгновенно возникло соображение.

– Ты пришел за своими вещицами? – спросил Шеврикука.

– Нет. Просто потянуло к вам. Но они у вас?

– Они пропали, – сказал Шеврикука.

– Известно, кто их взял?

– Пропал мой знакомый, кому я доверил их укрыть. Возможно, вместе с ним пропали и вещицы. Возможно. Но возможно, что тайники его остались нетронутыми. Я хотел проверить, но мне не дали.

– Где и как? И кто не дал?

Шеврикука, не тратя много слов, рассказал о Петре Арсеньевиче, о его доме, взрыве и пожаре.

– Я могу проникнуть, – сказал Пэрст-Капсула, – и посмотреть.

– Ну-ну! – покачал головой Шеврикука. – Уж если я…

– Я могу. У меня другие возможности.

– Попробуй, – сказал Шеврикука.

И он отправился домой. Пэрсту-Капсуле было предложено, если попробует и справится с делом, прибыть ночью во двор Землескреба в то самое укромное место, где он и вручил Шеврикуке вещицы в канун ожидаемой им гибели.

В два часа ночи Шеврикука вышел во двор. Пэрст-Капсула ждал его.

– Я там был, – сказал он. – Тех вещей там нет. Или я на них не наткнулся. Отыскал лишь это.

И он протянул Шеврикуке портфель, какие имели учителя или скорее учительницы в двадцатых годах столетия.

– И где?

– Полости в плитах перекрытия, – сказал Пэрст-Капсула. – Между вторым и третьим этажом нетронутого подъезда. Производственный брак завода панельного домостроения шестьдесят первого года. В других полостях и пустотах не обнаружил ничего существенного. Но возможно и повторное исследование.

– Пока не надо.

Помолчав, Шеврикука сказал:

– Я ввел тебя в заблуждение. Твоих вещиц в том доме и не было.

– Вы мне не доверяете?

– Не знаю, – сказал Шеврикука.

– Я один. Меня никто не посылал, – опять в голосе Пэрста-Капсулы была обида, но теперь к ней добавилась и печаль. – Я хотел помочь…

– Я никому не доверяю, – сказал Шеврикука. – Такая нынче жизнь.

– Я один. Мне некуда идти. Я устал. Есть причины. Мне надо отдохнуть. Выспаться. Но не на виду.

– Ну ладно, – сказал Шеврикука. – У меня в подъездах найдется место. Пошли.

Порядочных московских чердаков, где можно было бы развешивать белье или держать голубей, в Землескребе не было, но получердачье возле шахт лифтов имелось. Чтобы подобраться к механизмам в случае их поломки или вылезти на плоскую крышу. Бомжей в своих подъездах Шеврикука не поощрял. Но один бомж как-то у него завелся. Вернее, это был не совсем бомж, а законный житель второго этажа, любитель одеколона и аптечных жидкостей, поругавшийся с матерью, с братом и потому решивший произвести себя в бомжи. Мать с братом строптивого укротили, отправили в лечебницу, а в получердачье осталось от него логово с помятой раскладушкой. Лучшего убежища Пэрсту-Капсуле Шеврикука предоставить не мог. Шеврикука сопроводил Пэрста-Капсулу на верхний этаж, по железному трапу они поднялись к дверце, обитой ведерной жестью, усталому духу было показано предлагаемое место жительства. Пэрст-Капсула кивнул, ему и раскладушка с рваным брезентом была хороша. Радость Пэрста-Капсулы отчасти растрогала Шеврикуку, и он даже указал гостю на ком войлока в углу чердака и на драный плащ прежнего бомжа, ими можно было утеплиться. Хотя ночи пока стояли душные. Впрочем, Шеврикука тут же пробормотал как бы в воздух слова о том, что им, наверное, надо будет подумать, где бы сыскать место поудобнее, поспокойнее, а то вдруг выйдут какие-либо затруднения. «Да-да, – согласился Пэрст-Капсула. – Мне бы только отдохнуть дня три…» «Да нет, это я так, – великодушно успокоил его Шеврикука. – Отчего же дня три? Можно и побольше… Торопиться не будем».

«Пусть уж он за мной присматривает, – подумал Шеврикука, – если его прислали с этим…»

А сам он с портфелем Петра Арсеньевича проследовал в квартиру Уткиных.

14

Но Петра ли Арсеньевича добыли ему портфель?

Запахи от портфеля подходили к Петру Арсеньевичу. Но ведь сколько сейчас выведено специальных умельцев, в частности, и по запахам! И все же Шеврикука, осмотрев вещь, посчитал, что портфель, даже если он и направлен к нему со злым или хитрым намерением, подлинный. Портфель хорошей кожи, красно-бурый когда-то, местами и теперь сохранивший первобытный цвет, конечно, потертый и с щелями, был небольшой, потому Шеврикука и подумал, что он – женский. Именно такой новенький портфель носила в двадцать восьмом году учительница школы второй ступени из строения Шеврикуки, сама только что оставившая парту. И теперь Шеврикука вспоминал о той учительнице с приязнью. Но он и насторожился. Вот сейчас он отщелкнет замок, и посыплются из портфеля пожухлые тетради с контрольными работами двоечников двадцать восьмого года! Отщелкнул. Да, лежали в портфеле бумаги, в частности, и школьные тетради. Но рядом с ними были и кое-какие предметы.

Шеврикука вытряс бумаги и реликвии Петра Арсеньевича на стол. Нервно стал инспектировать их. Его листочки с рисунками и оттисками не обнаружились. «Что я горячусь!» – отругал себя Шеврикука и постановил провести обследование спокойно. И не только спокойно, но и степенно. Будто свои спокойствие и степенность ему следовало кому-то предъявить. Будто этот кто-то должен был теперь увидеть Шеврикуку именно ученым-исследователем в очках или даже с лупой, в своем кабинете либо в академической лаборатории принявшимся изучать, скажем, старообрядческие рукописи, отысканные вблизи Пустоозерска. Или не рукописи, а формулы и записи физико-акустических опытов. Сидел Шеврикука действительно степенно, не ерзал, но сосредоточиться никак не мог, а уже понял, что для серьезного знакомства с бумагами Петра Арсеньевича нужны сосредоточенность и умственное напряжение не на час и не на два. Среди прочих текстов, рисунков-чертежей, будто бы клинописи и, возможно, криптограмм, попадались Шеврикуке и простенькие страницы. Были на них мимолетные соображения Петра Арсеньевича и были явные выписки из вполне доступных книг или документов. Иные выписки Шеврикуку удивили. То есть не сами выписки, а предполагаемые причины, по каким Петру Арсеньевичу понадобилось годы сохранять их, а возможно, и оберегать. Вот, скажем, советы по поводу кости-невидимки.

Следуя этому совету, требовалось: отыскать черную кошку, на которой бы ни единого волоса не было другого цвета, и сварить оную, выбрать все кости, а потом, положа все перед зеркалом, стоять самому и класть каждую кость к себе в рот, смотря в зеркало, когда же та кость попадет, то сам себя в зеркале не увидишь, и с сею-то костью можешь уж ходить куда хочешь и делать, что изволишь, будучи никем не видим. Шеврикука озадачился. Первым делом он стал вспоминать, встречались ли в Останкине черные кошки без единого волоса другого цвета. Не встречались. И у кошатника и книжника флейтиста Садовникова не было такой кошки. Да и что-нибудь бывает у нас теперь в чистом виде? Но даже если бы и обнаружилась требуемая кошка и была открыта Петру Арсеньевичу, стал бы он ее варить и, стоя перед зеркалом, класть кости в рот? Не мог себе этого представить Шеврикука. Да и само желание сделаться невидимым и недостижимым (не для людей, конечно, а для своих, для людей-то он и так чаще всего был невидимым) казалось Шеврикуке маловероятным. Все же Шеврикука прислушался и стал чуять, но нигде в Останкине присутствия Петра Арсеньевича не ощутил. Но ведь почему-то старик не выбрасывал из портфеля листочек с простодушным советом. Держал, как держит хозяйка старый рецепт, скажем, из рекомендаций добросердечной Молоховец. Уж и продовольствия того нет, а хранится легенда о раковых шейках, тушенных в белом вине. Или вот не расстался Петр Арсеньевич с выпиской о Перуне и сокрушении идолов. «Другой же или сей идол, когда тащим был в Днепр и бит палками, испускал тяжкое вздыхание о своем сокрушении… брошенный болван поплыл вниз, а идолопоклонники, не просветившиеся еще Святым писанием, шли за ним по берегу, плакали и кричади: „Выдибай, наш государь, боже, выдибай, – ты хоть выплыви или выдь из реки“, и будто бы идол тот, послушая гласа их, вышел на берег, отчего и прозвалось место то Выдубичи, однако бросили его опять с камнем в воду. А новгородский Перун, когда тащили его в Волхов, закричал: „Горе мне, впадшему в руки жестоких и коварных людей, которые вчера почитали меня как бога, а теперь надо мною так ругаются!“ – потом, когда бросили его с моста в реку, то плыл вверх и, выбросив на мост палку, вскричал: „Вот что вам, новгородцы, в память мою оставляю!“; сие было причиною, что через долгое время новгородцы имели обыкновение по праздникам, вместо игры и увеселения, биться палками». «Неужели, – подумал Шеврикука, – Петр Арсеньевич перечитывал свои выписки? Неужели его волновали Перун и новгородские любители палочных драк?» – «Прекрати читать! Выкинь! Сожги!» – будто бы ощутил приказ Шеврикука. Были бы перед ним печь или камин и горели бы в них поленья, Шеврикука швырнул

бы в огонь бумаги Петра Арсеньевича. Но приказ прозвучал чужой, и в нем было посягательство на его, Шеврикуки, независимость и особосущность. Шеврикука ноги вытянул, принимая для возможных наблюдателей как бы лениво-спокойную и уж точно независимую позу. Да и что уж такого дерзко-опасного или возмутительного в этих ерундовых листочках?

И Шеврикука снова стал просматривать бумаги Петра Арсеньевича. Вот что он в них углядел. Чары на лягушку. Заговор на посажение пчел в улей. Заговор от ужаления козюлькой. Стень. Заговор от скорой доспешки. Чары на лошадь. Чародейская песня солнцевых дев. Соображения о траве прикрыш. О непоколебимости цветущего кочедыжника перед дурной силой. О тенях зданий. О тенях земель и растений, предсказывающих раздоры и худые замыслы. О гаданиях на решете. О приключениях оборотней. Об онихмантии, или гадании по ногтям. И прочее, прочее… Все это было знакомо и неинтересно. И несерьезно. Главный ли тайник обнаружил Пэрст-Капсула? Или все эти выписки с полезными советами и заговорами Петр Арсеньевич держал для простофиль, полагая ввести их в заблуждение и отвлечь от существенного в нем? Но, может, Шеврикука сам нафантазировал о Петре Арсеньевиче лишнее, а теперь должен был отказаться от ложных представлений и намерений? Потом Шеврикука наткнулся на слова о рыцарстве, якобы интересовавшем Петра Арсеньевича. Правда, сначала пошли записи о воине-звере, который не так уж решительно удалился от оборотня. И о волколаках, о берсерках, то есть о «медвежьих шкурах» или одержимых медведем. Порядочные люди их не слишком жаловали. Однако те были, и, как записал Петр Арсеньевич, их обычаи и образ поведения позже не могли не отразиться в действиях раннего рыцарства. На желтоватом листе фиолетовыми чернилами было записано: «Из одного итальянца (Ф. Кардини)». И ниже: «Мирным и относительно процветающим оседлым народам кочевники представляются людьми жестокими, скрытными, асоциальными, бесчеловечными, у них нет веры, они жертвы мрачных, адских культов. В глазах кочевников оседлые безвольны, изнежены, растленны, крайне сластолюбивы, в общем – недостойны тех благ, которыми они обладают. Поэтому было бы справедливо, чтобы блага эти перешли в руки более сильного». Следовала пометка Петра Арсеньевича: «Мир и благо состоявшихся, благоустроенных, изнеженных манят, но и вызывают презрение… Кочевники-ватага-коммандос». Шеврикука отложил желтоватый листок. А не об останкинских ли духах, не о народившихся ли или нарождающихся персонажах Башни думал Петр Арсеньевич, читая одного итальянца? Несомненно, к людям, а к домовым – тем паче эти самые, с Башни,

относились с презрением и наверняка полагали, что всеми приобретениями людей они должны овладеть по необходимости времени и по праву сильного… Шеврикука увидел опять: «Из одного итальянца». «Вотан существовал в окружении дружины – свиты доблестных мужей. Подобно ему, германские вожди искали достойных товарищей для свиты. Им был свойствен особый образ жизни – странствие, неподчинение установлениям среды, в какой они выросли. Главное в них – амбиция, стремление первенствовать, повелевать, пристрастие к авантюре, жажда богатства, вкус к острым ощущениям. Будничное течение жизни вызывает у них тоску. Судьбу они не признают предначертанной. Будто бы неизбежное можно было перечеркнуть воинской доблестью. Но притом в комитате, дружине, естественной и необходимой была взаимная верность. И взаимность обязанностей. И честность. О дружине князя Игоря сказано: честно – это сражаться и приносить себя в жертву идеалам братства, бесчестно – подражать Каину и поворачивать оружие – против своих. Воинская этика, основанная на братстве, чести, преданности, и вела к тому, что вышло рыцарством». Ну-ну, подумал Шеврикука, экий романтик и созерцатель Петр Арсеньевич, тут тебе и Каин, и германские вожди, и Вотан-Один, и дружина князя Игоря. Или вот: «Варвары и римляне. Духи О. башни и мы. Явление варваров – наказание и назидание? Или – продолжение в новых одеждах?» Это мы, что ли, усмехнулся Шеврикука, римляне? Или люди? Однако мысль об этом, видимо, тяготила Петра Арсеньевича всерьез. «Люди (и мы, естественно, с ними) перед обрушивающимися на них событиями или предзнаменованиями испытывают великий страх. Был великий страх тысячного года. И явились в пору смятений, раздоров, вероломства заступники слабых и напуганных». Все, хватит, сказал себе Шеврикука. А в руках его уже были листочки со стихотворными строками. Зигмунд. Сын его Зигфрид… «Он страшного дракона убил своим мечом. В крови его омылся и весь ороговел. С тех пор, чем ни рази его, он остается цел…»

Зигфрид, Нибелунги. Клад их. Золото Рейна. Чаша Грааля. Король Артур. «Фу ты! – возроптал Шеврикука. – Зачем мне-то теперь все эти Артуры с их круглыми столами, все эти Зигфриды и Нибелунги и их клады! Что я глаза порчу!» Но он чувствовал, что в нем опять шипит чужой приказ: «Не лезь, Шеврикука! Не суйся!» И снова из упрямства (или вздорной блажи?) Шеврикука тетради и листочки сразу не отодвинул, а продолжал перебирать их и наткнулся на карточки из плотной бумаги, какими пользуются посетители общественных читален для особо ценных выписок и соображений. На одной из них были слова: «Принципы

комитата, дружины, свиты. Принципы коммандос, серых волков. И принципы воровской стаи. Они разные? Рыцари и банда. Принципы – близкие. Но часто они – навыворот. Это горько. Горько! Все идеальное может быть навыворот!» На обороте карточки тушью был начертан план какого-то дома и написано: «Малина. 11 проезд Марьиной Рощи. Подпол. Четыре спуска». А Петр Арсеньевич вроде бы служил когда-то в деревянных домах Марьиной Рощи. Ну и что! Ну и служил! Ему-то, Шеврикуке, что за дело! Избавиться следовало от портфеля! Избавиться! И уж ни в коем случае не надо было разгадывать криптограммы, строки крючков и клинописи (рунической, что ли?) и даже запоминать их. Шеврикука суетливо, дерганно принялся запихивать бумаги Петра Арсеньевича в портфель, увидел на обложке одной из них завитки букв: «Собственноручные записки феи Т., в составе мекленбургского посольства посещавшей Московию летом 1673 года. Сокольнический список». Еще и фея Т.! Шеврикука выругался. Только фей ему ныне не хватало! Мекленбургских! Будто опаздывая к самолету, Шеврикука стал швырять в портфель и реликвии Петра Арсеньевича, не вдаваясь в их подробности и не оценивая их, среди прочего чей-то клык, шелковую лиловую ленту (дамы сердца, что ли, марьино – рощинского, сокольнического, останкинского рыцаря?), пучок засушенной травки с цветком зверобоем и цветком львиный зев, четыре карты, четыре замусоленных валета (неужели поигрывал? неужели вообще был игрок?). Защелкнул замок. Выбросить портфель? Сжечь? Растворить? «Спрятать у Радлугина!» – вышло постановление. Почему у Радлугина? Почему именно у Радлугина, ведь за его квартирой наблюдают? И хорошо, что наблюдают! Сейчас же к Радлугину, сейчас же поместить портфель там!

15

А Гликерия? Что с Гликерией?

Разузнать о ней Шеврикука решил окольным путем. Что не позволяло ему рисковать и лезть на рожон? Благоразумие или трусость? Скорее всего, ни то ни другое. А что, Шеврикука посчитал полезным не называть словами. На лыжную базу Шеврикука проник тихо и кротко, никому не попадаясь на глаза. Ни с Гликерией, ни с Невзорой-Дуняшей не вступал в общение. Но вызнал: никаких чрезвычайных событий в жизни Гликерии не произошло. И смотрины дома на Покровке не отменили.

В калекопункте дежурным знахарем сидел какой-то свежий хмырь, весь в жабьих бородавках, желанию Шеврикуки продлить больничный лист навстречу не пошел. Бормотал что-то о транжирах, об экономии, о касторовом масле, которого его могут лишить. А от удара палки резинового призрака в видимой натуре Шеврикуки не осталось следов. Шеврикука проворчал: «Ну и ладно. А с этим хмырем мы еще разберемся!»

Спокойствие вернулось к Шеврикуке. Или даже душевное равновесие. А может, он стал неразумно беспечен. Три дня Шеврикука не поднимался в получердачье и не тревожил утомленного тяготами жизни подселенца. Наблюдая как-то проход по двору Радлугина, Шеврикука увидел на груди воодушевленного активиста, на орденском месте пиджака, большой, с блюдце, пластмассовый кругляш: «Клуб любителей солнечного затмения». Через день надпись на значке Радлугина была уже иная: «Участник солнечного затмения». «Какого такого затмения? – озадачился Шеврикука. – Неужели я пропустил его или проспал?» Опять явились недоумения: отчего он пять дней назад тащил портфель Петра Арсеньевича именно в квартиру Радлугиных? Отчего он так разволновался тогда, будто бумаги из портфеля, засушенные травинки или замусоленные валеты были отравлены и могли заразить его черной или даже погибельной болезнью? Стыдно было теперь Шеврикуке. В квартире Радлугиных он нашел портфель целым и нетронутым. Никаких датчиков вблизи него, ничьих отпечатков пальцев на коже портфеля он не обнаружил. Предмет, как был положен, так и лежал в книжном шкафу в пустоте за томами Мопассана. Собраний сочинений Радлугин выкупил много, но ни сам он, ни его добропочтенная супруга рук к книжному шкафу давно не протягивали. К Мопассану же они и вовсе относились с осуждением. Теперь Шеврикука принялся уверять себя, что бросился к Радлугиным неспроста, а с некой,

пусть и смутной мыслью о выгоде укрытия именно за Мопассановой спиной. Пусть, пусть наблюдают за квартирой Радлугиных, вдруг и ему выйдет от этого польза. Пусть все эти марьинорощинские или сокольнические малины из прошлого, все эти Нибелунги, Зигфриды с драконами и феями мирно почивают себе в шкафу, а потом – поглядим. Потом бумага и реликвии Петра Арсеньевича вдруг для чего-нибудь и понадобятся. И эта фея Т., посещавшая Московию в составе посольства в 1673 году (кстати, а что происходило в Московии в 1673 году?), и ее собственноручные записки окажутся не бесполезными.

В воскресный день Радлугин остановил во дворе Шеврикуку и сказал скорее утвердительно, нежели вопрошающе:

– Вы ведь в нашем доме живете. Я нередко встречал вас…

– Ну вроде бы… – без всякой охоты вести разговор ответил Шеврикука.

– И мне кажется, что вы в своем секторе активист.

– Говорить об этом не стоит, – будто намекая на нечто важное, но тайное, сказал Шеврикука.

– Я понял. Я так и думал про вас. Я не ошибся! – обрадовался Радлугин. И добавил уже доверительным шепотом: – Вы, конечно, принимали участие в Затмении?

– В каком затмении? – спросил Шеврикука.

– В Солнечном.

– В каком именно солнечном?

– Ах да… – сообразил нечто Радлугин. – В недавнем. В том, что в Мексике было полным, а у нас частичным.

– Видите ли… – начал Шеврикука многозначительно. – Затмения, солнечные, лунные, наводнения, землетрясения, солнцестояния… Мало ли в чем приходилось участвовать…

– Понял, понял, – заторопился Радлугин. – Все. Молчу. Конечно, в нашем доме жильцов не меньше, чем в районном городе, и вы, наверное, обо мне не слышали… Я – Радлугин.

– Отчего же, – сказал Шеврикука. – Слышал.

– Да? Очень рад. Да… Не все одинаково проявили себя во время Затмения, – сказал Радлугин тоном государственного человека, – не мне вам объяснять. Целесообразно выяснить степень участия каждого из жильцов дома…

– На какой предмет? – не менее государственно поинтересовался Шеврикука.

– Ну… – замялся Радлугин. – Чтобы иметь общую картину…

– Ну это конечно, – одобрил Шеврикука.

– Вот-вот, – удовлетворенно кивнул Радлугин. – Будем распространять опросные листы. Не могли бы вы раздать их в вашем подъезде?

– Нет, – резко сказал Шеврикука. – Не найдется времени. И не для меня это занятие.

– Ага. Понял. Но, может, хотя бы один лист потребуется вам для ознакомления?

– Один, возможно, потребуется.

Пока Радлугин защелкивал «дипломат», Шеврикука просмотрел опросный лист. Увидел среди прочего: «Что вы делали во время Солнечного Затмения? Бодрствовали? Были на посту? Тыкали пальцем в небо? Предавались панике? Пили от недовольства или из вредности? Занимались любовью? Отсиживались в туалете?» И так далее.

– Хорошо, – сказал Шеврикука. – Изучим.

– Вы знаете… – Похоже, Радлугин был намерен сделать серьезное заявление, но не отважился.

– Говорите, говорите, – разрешил Шеврикука.

– Мне кажется, в нашем подъезде завелся бомж. Он какой-то странный. С большой головой. И будто робот… наверху. Где кончается шахта лифта. Там вроде чердака.

– Вы туда поднимались?

– Нет, – сказал Радлугин, и было очевидно, что он ощущает себя виноватым перед социальной справедливостью и обязанностями гражданина. – Мне так кажется. У меня такое чувство. Я видел его… Этого, с большой головой… во дворе… Он нюхал жасмин… Он нездешний… Может, мне стоило сообщить в отделение? Или туда?..

– Вашу наблюдательность и чутье оценят, – строго сказал Шеврикука. – Но не надо спешить. Не надо. К тому же у вас, я полагаю, хватит хлопот и с опросными листами. А теперь, извините, я обязан отправиться по делам.

И Шеврикука, не оглядываясь, энергично зашагал к улице Королева. Он понимал, что наблюдательный и чуткий гражданин смотрит ему в спину, но не вытерпел и секунд через пять растворился в воздухе, наверняка вызвав в Радлугине напряжение мыслей. И пусть. И пусть себе Радлугин беспокоится в связи с объявившимся в подъезде бомжем или, может, неопознанным объектом, пусть даже докладывает о нем, куда пожелает или куда привык докладывать. Беспокоиться об этом не следовало, рассудил Шеврикука. Наблюдения или открытия Радлугина ничего не меняли.

Пэрст-Капсула лежал на раскладушке под плащом прежнего обитателя получердачья, дремал.

– Здоровье попрежнему подорвано? – спросил Шеврикука.

– Это вы? – Пэрст-Капсула поднял голову и опустил ноги с лежанки. – У меня не здоровье. У меня состояние. Энергетическое. И судьба. Их движение теперь – нормальное.

– Ты был замечен во дворе, признан нездешним и вызвал подозрения.

– Дважды выходил из дома, – сказал Пэрст-Капсула. – Озадачил одного человека. Заметил. Более не выходил.

– Что ты делал во время Затмения? – спросил Шеврикука и протянул Отродью опросный лист.

– Я не участвовал в солнечном затмении, – печально произнес Пэрст-Капсула.

– Это огорчительно.

– Я участвовал в лунном затмении, – сказал Пэрст-Капсула.

– На самом деле, что ли? – удивился Шеврикука.

– На самом деле.

– За лунные затмения значки пока не дают…

– За них и спасибо не скажут, – серьезно заявил Пэрст-Капсула.

– Ну ладно, – сказал Шеврикука. – Что ты собираешься делать дальше?

– Я хочу быть при вас.

– Это кем же? Управляющим, связным, денщиком?

– Меня легко обидеть, – сказал Пэрст-Капсула, – видно, я стою этого. Но меня никто не посылал к вам. А таиться от забывших обо мне на Башне я могу теперь и сам. Я вычеркнут.

«И Петр Арсеньевич вычеркнут», – подумал Шеврикука.

– А может, ты желаешь находиться вблизи двух своих вещиц? Не проще было бы заполучить их обратно? Отпала бы нужда укрывать и охранять их.

– Укрывать и охранять их обременительно?

– Терпимо, – сказал Шеврикука.

– Пусть теперь они будут там, где они есть. Я хочу быть не вблизи них, а при вас.

– Зачем?

– Не знаю. Но так нужно. Мне. И я могу пригодиться вам. Обузой вам я не буду. И не создам для вас неловкие и опасные положения.

– Ночуй пока здесь, – сказал Шеврикука.

– Спасибо! – растроганно заявил Пэрст-Капсула. Потом сказал: – Я

видел кандидата наук Мельникова. Он из вашего подъезда?

– Есть такой, – сказал Шеврикука. – Ну и что?

– Отчасти я произведение его лаборатории. Отчасти…

Пэрст-Капсула вновь заверил Шеврикуку, что не станет обузой, не будет ему докучать, а являться на глаза Шеврикуке обещал лишь по его велению и вызову. И что он не заскучает. И что у него уже есть остропривлекающее занятие.

А вот Радлугин стал Шеврикуке надоедать. Он караулил его во дворе, терял время, выныривал из-за углов и деревьев и как бы случайно оказывался на пути Шеврикуки. И непременно следовал душевный разговор с намеками. Шеврикука не сразу мог понять, в чем дело, но понял. Дотошный, но осторожно-осмотрительный Радлугин, конечно, наводил о нем справки, ничего не узнал и оттого, возможно, вывел о Шеврикуке суждение излишне романтизированное. Наверное, в таком суждении у Радлугина была сейчас и потребность. Дворовые разговоры протекали так, будто Шеврикука был лицом значительным, снабженным какими-то таинственными полномочиями, и намекать-то о которых не следовало по причинам государственным либо даже планетарным, а Радлугин был готов ему угодить или услужить. «Нет, надо от него отвязаться», – думал Шеврикука. И не мог отвязаться. А потребность в Шеврикуке у Радлугина открылась такая. Радлугин пребывал в растерянности, не зная, на кого ему теперь выходить, куда нести сведения. Старые структуры то ли и впрямь были поломаны и унижены, то ли на манер града Китежа опустились на дно озера Светлояр и до поры до времени обрастали там водорослями. Брошенным кутенком, поскуливая, бродил Радлугин в одиночестве, и вдруг ему померещилось, что Шеврикука – от новых структур. После сомнений, оглядок и изысканий Радлугин и надумал к нему прибиться. Шеврикука не стал его разочаровывать. Впрочем, и не позволил себе врать. Просто при разговорах с Радлугиным полномочия над ним витали и покачивали крыльями. А уж дело Радлугина было, пребывать в заблуждениях или нет. Тогда и посетила Шеврикуку мысль использовать Пэрста-Капсулу как «дупло». Длительные разговоры во дворе, дал понять Шеврикука, вряд ли хороши для дела, а вот «дупло»… «Да-да! – согласился Радлугин. – Дубровский, Маша, как же, помню, проходили в школе!» Радлугин все же не удержался и успел сделать устное донесение. Оно касалось останкинских слухов об Анаконде, заведшейся в Ботаническом саду. Конечно, Оранжерея не была близка к их кварталу, но проживающий и в двух километрах отсюда водяной змей мог вызвать в Землескребе смущение умов. Ведь чем-то его кормили, возможно, тратили на него

контейнеры или емкости с гуманитарной помощью, и это при голодных обмороках в школах и детских садах. Да, да, заверил Шеврикука, с Анакондой предстоит разобраться, но разбор этот – не в компетенции жителей Землескреба, пусть даже и проявивших себя во время Солнечного Затмения самым геройским образом. Радлугин собирался высказать свое несогласие с мнением Шеврикуки, но попытка его была пресечена. Тут же Радлугин, о чем-то догадавшись, пробормотал: «Ах, да», – и более Оранжерею не упоминал. Сообщил напоследок, не без гордости, что списки участников Солнечного Затмения, как проявивших себя, так и не проявивших, им уже почти составлены, сторонники же лунных затмений выявляются. Шеврикука хотел было спросить, чем же плохи сторонники лунных затмений, но сообразил, что своей неосведомленностью о чем-либо он расстроил бы Радлугина. «Хорошо, – сказал Шеврикука. – Списки, пока лишь одних не проявивших себя, вы опустите в „дупло“ в четверг в девятнадцать ноль три у входа в кулинарию ресторана „Звездный“. Из конспиративных соображений Радлугин быстро оглядел все вокруг и прошептал, в мгновение осипнув: „А где там дупло?“ – „Дуплом будет тот самый нездешний бомж с крупной головой. Вы мне о нем докладывали“, – сказал Шеврикука. „Ах так?!“ – удивился Радлугин и долго стоял во дворе растерянный.

Нездешний бомж, выслушав в получердачье Шеврикуку, сказал: «Я все понял. Я согласен». На ногах духа или полуфабриката Шеврикука увидел фетровые бурки с кожаными каблуками.

– Не жарко? – спросил Шеврикука.

– Ноги мерзнут, – засмущался Пэрст-Капсула.

– Радлугина ты теперь не удручишь, – заметил Шеврикука. – А кого-то можешь и озадачить.

– Разрешите походить в них хоть один день, – чуть ли не взмолился Пэрст-Капсула, будто Шеврикука желал лишить его последних в жизни утешений.

– Ходи хоть в корякских торбасах из оленьих шкур, – сказал Шеврикука. – Мне-то что.

Да пусть ходит в жару в фетровых бурках, подумал Шеврикука, кого в Москве удивишь прихотями манер и вкусов, если какой дурак и задержит духа, то вскоре и отпустит. И Шеврикука не стал язвить, напоминать о том, какие личности носили в сороковые годы белые бурки, воротники и шапки из серого каракуля, наверное, Бордюков хранит в кладовке бурки, тронутые, несмотря на нафталинную оборону, молью, пусть и Пэрст-Капсула теперь наслаждается… Но отчего у него мерзнут ноги?

– Диана, – подумал Шеврикука, – олицетворяла луну. Кто позволял себе затмевать Диану?

– Это вы к чему? – насторожился Пэрст-Капсула.

– Это я так, – сказал Шеврикука. – Ни к чему.

– Уже без Дианы, в иные времена, – сказал Пэрст-Капсула, – луну заслоняла Дикая Охота, Вилде Ягд. Когда она проносилась по небу, внизу выли собаки. И случались зимние бури.

– Дикая Охота? – удивился Шеврикука. «Дикая Охота. Дикая Охота…» – вспоминал Шеврикука. – Где-то я читал о ней недавно… На одном из листочков Петра Арсеньевича» «Дикая Охота, сонм призраков и злых духов, небесные гончие псы, зимние бури, гибель людей на перекрестках дорог, свита Одина-Вотана, тени Ирода, Каина, Аттилы, Бонапарта, Дрейка…» Но при чем тут Дрейк?.. Так. А не принесется ли вскоре и к нам Дикая Охота? Или ее осуществители уже здесь?»

– От твоих полетов не выли внизу собаки? – спросил Шеврикука.

– Нет, – сказал Пэрст-Капсула серьезно. – Я не летал. И к Дикой Охоте никак не могу быть причастен. Я просто знаю.

– Вас просвещали в лабораториях?

– Это не суть важно, – сказал Пэрст-Капсула.

«Вот, значит, как, – поднял бровь Шеврикука. – Ну и разгуливай дальше в своих бурках…»

– Для меня это и вовсе неважно, – сказал Шеврикука.

Надо было посетить Оранжерею.

Посетил.

Змей-анаконда ему понравился. И Шеврикука понял, что стервец умеет выживать.

Но прежде сообщу, что фетровые бурки Пэрст-Капсула носил еще именно один день. Стало быть, прошение его было осмысленным и обеспеченным свойствами натуры. При новой встрече с Пэрстом-Капсулой Шеврикука увидел духа-полуфабриката в пятнистой шкуре воздушного десантника. Тельняшка на духе, пусть и чистая, отчасти Шеврикуку опечалила. И наглец лимитчик Продольный надевал тельняшку. Впрочем, нынче в Москве в средних слоях расцвела мода на камуфляж. А куртка и брюки достались Пэрсту-Капсуле истинно камуфляжные. Но были и нарушения формы. Пэрст-Капсула приобрел не сапоги, а полусапожки, скорее щегольские, нежели необходимые защитнику Отечества или коммерческого добра. И на голове он утвердил не голубой берет, а ковбойскую шляпу от какого-нибудь неуравновешенного Буффало Джонса, отчего и осведомленному гражданину было бы трудно определить его

происхождение и социальный смысл. «А если потребуют документ?» – хотел было спросить Шеврикука. Пэрст-Капсула тут же протянул ему визитную карточку. Бумага на нее пошла ценная. «К. Пэрст, – прочитал Шеврикука. – Эксперт-полуфабрикат. Необходим при катавасиях. Москва. Округ Останкино». «Достаточно?» – спросил Пэрст-Капсула. «Достаточно, – сказал Шеврикука. – А „К.“ – это как понимать?» – «Капсула. Или я сделал не то?» – «Нет, все нормально», – успокоил эксперта Шеврикука.

Змей же, действительно подтверждая народную молву, дремал в Оранжерее в водоеме, приятном тем, что в нем в условиях Средне-Русской равнины и континентального климата цвели индийские и египетские лотосы и райские растения виктория регия. Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный, в своих комплиментах амазонскому змею почти не допустил преувеличений. Морду Анаконды Шеврикуке, правда, не пришлось оценить, но метров шесть туловища и хвост он рассмотрел. Чешуя удава была действительно блестящая, гладкая, сверху – оливково-серая, вдоль спины змея тянулись два ряда крупных бурых пятен, заставлявшие думать о кожаных изделиях для флоридских миллионерш. Змей лежал смирно, не тревожил листья лотосов и викторий, стебли дивных папирусов, не возмущал покой декоративной гальки. Никого не раздражал. Сотрудники Оранжереи и ее посетители к присутствию змея в Останкине относились спокойно, полагая, что он и обязан отдыхать в здешнем водоеме. Вот тогда Шеврикука и подумал, что этот стервец выживет и в канализационной трубе. Подумал одобрительно. Чуть ли не с завистью, хотя и сам был умелец выживать. На всякий случай Шеврикука попытался представить, какие могут отрасти у змея крылья и где. Картина возникла в его воображении занимательная.

Но зачем и как змей завелся в Останкине? Сие оставалось загадкой. Шеврикука желал поговорить с Крейсером Грозным, но тот, выяснилось, уехал в Рязань играть в футбол. К кандидату наук Митеньке Мельникову Шеврикука подойти не отважился. А вот побеседовать с Дударевым стоило – тот и жил в чужом подъезде, и был говорливый. Поймать Дударева во дворе Шеврикуке удалось не сразу. Но удалось. Дударев весь был в хлопотах, в бегах, в порывах, в полетах. И теперь он несся куда-то, а в глазах его полыхала безумная деловая идея. «А? Что? – Дударев не мог понять, о чем его спрашивал Шеврикука. – Ах, этот змей. Анаконда? Ну есть такой. Есть! Произвели! Да, в лаборатории. Явили на свет. Пусть пока подрыхнет среди лотосов и папирусов. Потом пойдет в дело. Не обязательно в консервы и на деликатесы. Не обязательно. Может, отыщется

для него предназначение и поважнее. И я уж догадываюсь какое. Змей Анаконда – это ерунда! Митенька Мельников – талант и гений, Эдиссон с Яблочковым, да что там Эдиссон с Яблочковым, какие при них были свет и звук? Тьма и глушь! И Митенька согласился вступить в наше дело. Но тише, тише об этом! Кстати, Игорь Константинович, я ведь не забыл и про циклевку полов, и про сорок третий морской узел, и про то, что вы многое умеете… Да-да! Я вам тогда обещал пятьсот пятьдесят рублей. Но эта сумма сегодня, согласитесь, смешная и неуважительная. И мы можем платить больше. А потому милости просим к нам!» Шеврикука был уже не рад, что остановил бывшего экономиста бывшего Департамента Шмелей. Впрочем, от шмелей и от других перепончатокрылых в Дудареве, красавце с коварными, тонкочерными усами прежде графа Люксембурга, а ныне московского коммерсанта-обольстителя, нечто, несомненно, осталось. Он попрежнему был устремленно-летучий и помнил, где и до каких пор его ждал взяток. Скорее, и не один. «У меня есть служебное место», – вяло произнес Шеврикука. «Сегодня одним местом не проживешь, – наставительно сказал Дударев. – Три таких места приложения сил кое-как накормят, а с четвертого накопишь на штаны. Взамен протертых. Нам скоро потребуется паркетчик. Есть идея насчет одного дома на Покровке. Через неделю – смотрины». И был назван адрес дома на Покровке. К нему судьбой была приписана Гликерия. «Хорошо. Я подумаю», – сказал Шеврикука. «С больничного-то вы съехали?» – спросил Дударев. «Да, больничный мне закрыли». «Ну и славно! – Дударев обрадовался, будто неделями раньше оставил Игоря Константиновича в реанимации, а теперь, разговаривая с ним, обнаружил ходячим, на что и не рассчитывал. – Нынче, как на войне, нельзя быть ни больным, ни раненым. И уж тем более притушенным!» Никаких поводов спорить у Шеврикуки не возникло. Летучий Дударев словно бы ни на секунду не прекращал движения, турбины в нем ревели, горящие табло требовали не курить и пристегнуть ремни. Впрочем, наблюдатель, увлекающийся, скажем, хореографией, мог посчитать, что молодой человек с коварно-крутыми усами венской манеры намерен вот-вот пуститься в пляс. А может, динамике его житейских предприятий были необходимы для разгона ритмические открытия стиля степ. Или стиля рэп. «И Бордюков со Свержовым уже при деле?» – из вежливости спросил Шеврикука. «Да! И Бордюков, и Свержов! Все при деле! И Совокупеева с Леночкой Клементьевой! Все при деле! При разных делах! И Крейсер Грозный от нас не отстанет! Нет! – Тут Дударев на мгновение задумался. – А Бордюков при этом записался и в монархический комитет, будет раздавать титулы графьев, баронов и виконтов», –

проговорил он медленно, будто бы оценивая нечто заново. Но сразу же воодушевился и улетел.

Во дворе Шеврикука встречал Митю Мельникова. Деликатного сложения блондин, гений и кудесник, проходил мимо, ничего не замечая, вид имел изнуренный.

Пэрст-Капсула уже несколько раз таинственно пробирался к ресторану «Звездный», на Цандера, имея целью секретные встречи с агентом Радлугиным. В одном из донесений Радлугин сообщил, что его стараниям провести Всемирные новоостанкинские игры чинятся препятствия и здесь несомненны происки. Он, Радлугин, выступил с идеей устроить Игры хотя бы и на стадионе в парке (рядом с лыжной базой, отметил Шеврикука). Надо было только громко окликнуть всех прописанных когда-то в Землескребе, а ныне оказавшихся в самых разнообразных концах света, и призвать их на Игры. И тех, кто отбыл в командировку. И тех, кто поплыл в гости. И тех, кто вовсе и напрочь отказался от останкинской прописки. Даже и таких поганцев по причине милосердия Радлугин был готов пригласить вдохнуть дымы отечества. Да, даже и таких. Конечно, следовало подвигнуть к спортивным достижениям и теперешних жителей дома. Ведь все когда-то прыгали, бегали, ныряли, метали гранату, сознательно доказывая свою готовность к труду и обороне. К традиционным видам спорта разумно было бы прибавить, дабы продемонстрировать миру плоды самобытности и увлечь человечество, виды спорта местные, такие, скажем, как лазание на обтесанный столб за яловыми сапогами и петухом или скакание в мешках с завязанными глазами. Естественно, требовалось сочинить для всех подъездов патриотические гимны, их и исполнять при вздымании флага, для каждого подъезда, понятно, особенного. Не пугала Радлугина необходимость строить вокруг Землескреба гостиницы и умеренные увеселительные заведения. И вот на тебе! Разумная и льготновыгодная идея столкнулась с удручающим безразличием жителей, их желудочным (или животным) эгоизмом. И с откровенными, но безобразными кознями. Кто именно строил козни, Радлугин не сообщал. А в новых донесениях о Всемирных играх он словно бы и забыл. Возможно, Радлугина вновь увлекли дела, связанные с затмениями, их участниками и их недоброжелателями, злонамеренными или заблудшими. О некоторых злыднях он ставил Шеврикуку в известность. Слова Радлугин выводил аккуратно, фразы не комкал. Но последнее его донесение вышло взлохмаченно-нервным. «Буянят. Четвертый этаж пятнад. подъезда грозит объявить бойкот Всемирным играм. Требуют дать этажу гимн, флаг, талоны на сало. Мародеры. Дебаты – создавать, не создавать партию др.

Солнечного Затмения (ПДСЗ-десезистов) зашли в тупик. Одинокая ст. преподаватель Легостаева Нина Денисовна (самоназвание – Дениза) забеременела. Утверждает – от Зевса. Наблюдатель».

«Не рано ли от Зевса-то?» – подумал Шеврикука. Впрочем, что Зевсу были медицинские сроки?

16

Очень скоро Шеврикука увидел во дворе Дударева опечаленным. Да что опечаленным! Разгромленным, уверил Дударев, разгромленным! Джинсовая рубаха его была помята и чуть ли не истерзана, а замечательные усы показывали без десяти пять (дня ли, ночи ли – не имело значения). Правый ус Дударева, будто выражая недоумение, вздернулся к глазу, левый же свис сникшим в безветрие стягом. И не в джинсовой рубахе, вспомнил Шеврикука, ходил Дударев даже и в жару, а во внушающей доверие темной тройке просвещенного и удачливого предпринимателя рябушинско-морозовской традиции.

– Разгромили! – взревел Дударев. – Обокрали!

– Вас?

– Да что меня! Что у меня красть и громить! Митино взяли! Митино!

– Когда? – искренне обеспокоился Шеврикука. – Впервые услышал, что квартиру Мельникова ограбили и разгромили. – Я-то должен был бы…

– При чем тут квартира! – вскричал Дударев. – Что у него дома брать? Лабораторию! Лабораторию!

Сразу же Дударев сообразил, что говорит лишнее. Да и не говорит, а орет.

– Впрочем, вам я могу доверить, – зашептал он, почти вплотную приблизившись к Шеврикуке. – Вы же с нами? Ведь вы, Игорь Константинович, согласились вести паркетные работы…

– Да, – кивнул Шеврикука. – Я обещал быть полотчиком. Если тот дом на Покровке…

– Ну вот! Ну вот! Стало быть, все это касается и вас!

Ощутив в Шеврикуке доброжелательного собеседника или даже родственную натуру, Дударев выпалил множество слов, порой и не заботясь вовсе, чтобы слова эти выстраивались в логические ряды, и не утруждая себя интересом к тому, как относится к ним паркетчик Игорь Константинович, понимает ли его, слушает ли вообще.

– Да! Да! Сплошные тризны! Все рушится и гибнет! Хаос! Разлад! Разброд! Дни, достойные глумлений и плясок на тризнах! Затмение мозгов и совестей! Агония! Говорят: не агония, а роды чудесного дитяти! Родовые схватки! Не вижу! Не вижу! Вижу пока агонию. И всюду игроки! Мы жертвы их бесстыжих амбиций. Земли, хребты, острова, перешейки, моря тасуются в их игре. Жулье и разбойники! Варвары! Напор варваров –

наказание и назидание! (Шеврикука удивился. Схожие слова он видел в бумагах Петра Арсеньевича. С чего бы вдруг случилось совпадение?) Но что толку от таких назиданий? Что значит в хаосе и абсурде каждый поступок? Мой? Ваш? Пусть и самый благонаправленный. Он втягивается в хаос и абсурд и сам становится хаосом и абсурдом. Любая благонаправленность теперь зло! И глупость! О боги! Всеобщая околесица и жуть…

– Но народ не унывает, – возник откуда-то Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный.

– Не говори чушь, – осадил его Дударев. – Лучше ври.

– Никогда не вру. Нигде и ни при каких обстоятельствах, – обиделся Крейсер Грозный. – Игорь Константинович не даст соврать. Но если ты так обо мне понимаешь, то я и стоять здесь не буду, пойду, куда шел.

И привел в исполнение свою угрозу.

– Да, разгромили и ограбили! – опять воскликнул Дударев.

– Кто?

– Невидимые силы. А может, и самые видимые. Но мы не оставим их в покое! – решительно сказал Дударев. – Свое вернем.

Объявив себя личностью, досадно неосведомленной, отставшей от технических достижений Департамента Шмелей, никогда не имевшей доступа ни первой, ни второй, ни двадцатой степени откровенности к секретным исканиям, а потому в чем-то обделенной судьбою, Шеврикука вынудил Дударева разъяснить профану, какие такие ценности были разгромлены и разграблены. Ну не совсем разъяснить, а допустить малые намеки. «Вам, наверное, и не дано понять все, – предупредил Дударев. – Да оно вам и не нужно». Но, похоже, и Дударев, будучи экономистом, а не птенцом гнезда Вернадского, не все понимал, а знал лишь о чем-то из чужих упрощений. Вот мираж, начал Дударев. Ничего нету и что-то есть. Нет в пустыне колодца, пальмы и хижины под ней. И есть колодец, есть пальма и есть хижина. И даже облако приплыло, из него вот-вот польется вода. Грезы или мольбы жаждущего путника, скажете, состояние воздуха и игра света. И ни капли влаги. Пусть так. Но примем и это во внимание. Есть много в мире не рожденного, а потому как бы и не существующего. Но не рождаются часто и дети, а они были зачаты и уже беспокоили мать. Каша варится в голове человека, борение чувств и соображений, но они не существуют для людей вокруг, если они не выражены словами, пусть судорожными и неточными. А сны? А муки, страсти, поскребы и почесы подсознания? А видения ложной памяти? Кстати, такой уж и ложной? В воздухе, не в том, понятно, что состоит из кислорода, азота и прочего, а в

воздухе жизни, возьмем Останкина и нашего двора, то и дело сотворяется, возникает нечто, несомненно влияющее хотя бы на движения душ жителей. Но это нечто не пощупаешь, по нему не ударишь молотком, от него не отхлебнешь ложкой. Однако энергия этого нечто, назовем – энергия, ощутима. И разве нельзя воплотить ее в некую реальность с видимыми границами и обликом? Отчего же нельзя? Отчего же нельзя-то! Можно! И не зря же отпускают в жизнь редких людей, один из которых квартирует с нами в Землескребе с паспортным клеймом Дмитрия Мельникова. Отпускают. Или опускают.

– И проблемами энергетического развития судеб занимался Мельников? – спросил Шеврикука. – Трансбиологическими?

– И этим! И этим! – уже торопясь, уже будто взлетая, проговорил Дударев. – А вы откуда знаете?

– Так… Слышал…

Так вот, продолжил Дударев, вранье Крейсера Грозного, хотя бы и про анаконду, – это ведь тоже извержение энергии. И не один Крейсер Грозный извергает. И воображение каждого из его слушателей создает энергию. Опять же условно – энергию. Или вот. Откуда музыка? Откуда берется музыка? Никогда на свете не было Шестой симфонии, и вдруг она есть. Жила – не жила Даная, никто не знает, а Рембрандт взял и явил ее публике. Из ничего? Как же из ничего! Из чего! Именно из чего! И она есть. Пусть даже литовский сумасшедший хотел ее извести, она все равно есть. (Даная Легостаевой тоже есть, и она зачала от Зевса.) А если Петр Ильич сотворил Шестую, Бах Иоганн Себастьян – Бранденбургский концерт, то почему же мы не можем произвести какую-то съемную амазонскую Анаконду? Анаконда – это шутка, чепуха, блажь! Детская полька по сравнению с Шестой симфонией. Собачий вальс! Эксперимент между делом.

– А не хотели произвести змея с крыльями? – не удержался Шеврикука.

– Откуда знаете? – удивился Дударев. – Хотели! С двумя, с четырьмя, с шестью. Кто-то предлагал – с тремя. С одним на хвосте.

– И чтобы дышал огнем?

– Да! И чтобы дышал огнем. Не обязательно огнем. Расплавленным чугуном. Но отменили. До поры до времени. Никогда не поздно оснастить. И огнем, и крыльями. Что я говорю! Что я несу! Не поздно. Как же! Разгромлены и обкрадены!

– Все же кем? – опять не удержался Шеврикука.

– Кабы знать точно – кем.

– Оттуда не могли? – Шеврикука посмотрел в сторону Башни. Из-за

Землескреба Башню не было видно. Но все знали, где она. И все чувствовали ее.

– При чем тут Башня? – спросил Дударев. – Зачем мы Башне? Вы что – мне подсказываете?

– Нет, – сказал Шеврикука. – Я просто так.

А Дударев задумался.

При том хаосе, при том разброде, при том дурном, но звенящем похмелье, что сопутствовали кончине Департамента Шмелей, лаборатория Митеньки Мельникова оказалась не нужна никому, кроме, конечно, предприимчивых и дальновидных людей, задумавших дело. К этим людям, естественно, относился он, Дударев. Не в последнюю очередь. Не в последнюю. Надо было сразу все оборудование забирать и размешать в хорошем месте. Но проспали растяпы, упустили время, понадеялись на добродушное расположение звезд и планет. Вот и получили! По делам, по растяпству и получили. Лишились тонн двух с половиной всяких мыслящих и колдующих устройств, не будем называть каких. А сколько ценного раскурочено негодяями и невежами. Ну взяли бы червячный компрессор, коли он им нужен, и унесли. Так нет, курочили и курочили. Но головы Митеньки Мельникова у них все равно нет и не будет. И делу замечательному не конец. Не конец! Пусть на это никто и не надеется!

– Но что вы имеете в виду насчет Башни? – спросил Дударев. – Что вы знаете? Или слышали?

– Я ничего не знаю, – сказал Шеврикука. – Я ничего не слышал.

– Нет-нет, не лукавьте! Вы о чем-то осведомлены. Вот вы и о проблемах энергетических развитий судеб от кого-то вызнали.

– Может, и от вас, – сказал Шеврикука.

– От меня? – удивился Дударев. – С чего бы вдруг? Если только от этого оболтуса Крейсера Грозного. И я его еще оформил ночным сторожем! Хорош караульщик! Ему бы ходить с колотушкой и берданкой вокруг объекта, а он неизвестно где. Выгоним в шею! Выставим.

И снова мимо них прошагал куда-то Крейсер Грозный.

– Вон он! Негодяй! Ночной сторож! Выгоним! Выставим! Без выходного пособия!

– Куда вы без меня денетесь, – остановился Крейсер Грозный. – Ну ходил бы я ночью с берданкой и колотушкой. Что бы изменилось? Тем более что я приставлен к другому объекту. И тем более что в лабораторию вторглись днем.

– Ну днем! И что из этого? – не мог успокоиться Дударев. – Все равно выгоним и выставим! Будешь, как Свержов, торговать у Малого театра

египетскими бульонными кубиками. Анаконду не прокормишь!

– Прокормлю, – сказал Крейсер Грозный. – Если попросит, прокормлю. Но пока не просит.

И он опять удалился.

– Ничего. Урезоним. Не пропадем. Все образуется, – самому себе, утихая, сказал Дударев. – Нас ограбили, но помешать нам не смогут. Уныние нам противопоказано. Действие началось.

И Дударев успокоился. Усы его перестали показывать без десяти пять, вернулись в надлежащие места и даже распушились. Можно было предположить, что джинсовый наряд через полчаса будет сменен на тройку просвещенного предпринимателя и Дударев вернется к делу.

Интерес поманил Шеврикуку в квартиру кандидата наук Мельникова.

Митенька, руки раскинув, плыл куда-то под потолком в гимнастических кольцах, пленником их неделями назад был заблудившийся Бордюков. Глаза Митенька закрыл, но видно, что не спал. Может, грезил о чем-то. Или грустил. Или обдумывал нечто таинственное, но научное. Порой он покачивался в подпотолочье. Или в поднебесье. Но редко. Полет его был тих и плавен.

Шеврикука не стал ему мешать.

17

Смотрины дома на Покровке устроили не через неделю, как обещал Дударев, а через две, в новолуние.

Происходили и смотрины дома, и смотрины претендентов, имеющих к дому интерес. Распорядители смотрин, в команде которых суетился Дударев, именовали их «женихами». Чтобы не вызывать недоумений и вопросов Дударева, Шеврикука был вынужден принять вид бытового насекомого, на этот раз – рыжеватого таракана с усами. Вечером один из гостей, или «женихов», по всей вероятности, латиноамериканец, проявив бестактность, указал в сторону Шеврикуки пальцем, чего нельзя было ожидать от латиноамериканца, и произнес с одобрением: «О-о! Кукарача!» Шеврикука скрылся в щелях, каких было много в памятнике архитектуры, бормоча нелестные слова и в адрес Дударева, и в адрес латиноамериканца.

В числе вечерних претендентов явились японцы, южный кореец, упомянутый уже латиноамериканец, два то ли датчанина, то ли исландца, были, конечно, и свои местные московские дельцы, и люди кавказской внешности, и один туркестанец из Андижана. Устроители смотрин выглядели людьми деликатными, европейски образованными, но гордыми, хотя при этом они давали понять, что гордость гордостью, а карманы у них обременительно пустые, а в домах, возможно, хнычут голодные дети.

С показом здания возникали сложности. Оно было явно запущено. К тому же, как известно, часть его занимали коммунальные квартиры с мятежными жильцами, не желающими убывать в Бутово, а часть, в правом крыле, пока даже и не обследовалась реставраторами. Там и лампочки не горели. Однако намечалось романтическое посещение темных комнат и подклетов со свечами в руках.

Столы предстояло накрыть на втором этаже в овальной гостиной. И хотя сюжеты смотрин не были объявлены претендентам с намерением удивить их по ходу дел, в воздухе витало, а кем-то и произносилось: «На уровне Екатерины». Какой Екатерины, Шеврикука догадывался, но что за уровень имелся в виду, представить он не мог. Лишь когда кем-то было шепотом уточнено: «На уровне Екатерины в Кускове», нечто для него приоткрылось. Но в Кускове гостей поили и кормили в Гроте, да и дом на Покровке никакого отношения к графу Петру Борисовичу Шереметеву не имел. И вряд ли во всей Москве нашлись бы теперь знатоки церемониала, какие не вызвали бы нареканий и усмешек в записях камер-фурьерского

журнала. И на стол небось, предположил Шеврикука, поставят французский коньяк «Наполеон» из варшавского крыжовника.

Но ведь ложными коньяками могли оказаться и все сегодняшние «женихи». Сколько ловцов, обманщиков и прохиндеев с намерениями приносятся нынче в Москву. Где и свой жулик на жулике.

Шеврикуке стало жалко Гликерию.

Хотя ее-то что было жалеть?

Овальный зал днем не открывали, не всем предстояло быть допущенным к кувертам. Хотя всех приветствовали равноуважаемо и равнодобродушно. Дневные гости поднимались на второй господский этаж парадной лестницей о двух разводах, с некогда мраморными ступенями. Нынче неизвестно какими, в лучшем случае – кирпичными, замазанными чем-то серым, коммунхозовская ковровая дорожка милосердно прикрывала их. Гостей направляли в аванзал с дорическими колоннами и розовыми амурами в ампирном небе. Тут было что пить и чем закусывать. И тут хозяйничал громкий расторопный Дударев. Казалось, он забыл об агониях, хаосе, всеобщей околесице и разброде. Казалось, он уже не помнил и о разгромленной, обобранной лаборатории Митеньки Мельникова, будто ей купон цена. Ну три. Сегодняшний Дударев с упоением руководил движением гостей к подносам-самобранкам и заманным коммерческим проспектам.

Гости же, естественно, имели при себе необходимые в наши дни вместилища, кто кейсы, кто портфели, кто сумки, кто саквояжи, а кто и канистры. Как известно, канистры уместны на приемах у итальянцев и французов. У итальянцев бьют винные фонтаны, у французов же льются духи и одеколоны. Но и на Покровке канистры не оказались вовсе бесполезными. В них можно было слить пепси, минеральные воды, пиво из жестянок, да все, что текло и булькало. Даже и соусы, если бы их подали. Но вот сливать в канистры водку и коньяк многие стеснялись. Неловкость некая возникала. Впрочем, несколько лет назад уносить что-либо с приемов или приводить туда непрошеных дармоедов – мужей, племянников, любовниц, автомобильных механиков – тоже представлялось дурным тоном. Нынче нравы стали проще. Нынче могли не понять тех, кто, завладев пригласительным билетом на прием, презентацию, брифинг, саммит, чтение ноты протеста, не урвал бы что-нибудь. Один гражданин прибрел теперь в аванзал с саквояжем времен сражений на сопках Маньчжурии, пасть у того раскрылась пеликанья. Гражданин был останкинский, вязал гамаки по-ямайски, и в связи с чем его позвали на Покровку, Шеврикуке оставалось лишь гадать. Бутылку крымского хереса,

крепкого, сухого, гражданин опустил в саквояж вежливо, туда же направил коробку, загруженную корзиночками с печеночным паштетом. Как бы спохватившись, он пробормотал расстроенно: «Куда же столько! Надо и совесть знать!» И одну корзиночку вернул на стол. А внимание его привлекли жульены из шампиньонов, и те сейчас же отправились в саквояж. «Неловко-то как, – пробормотал вязальщик ямайских гамаков. – Не надо бы все это…» Но тут же, влекомый лишь запахом, он прихватил и еще две горячие регенсбургские колбаски. Дударев все видел, но проявлял себя хлебосольным московским хозяином, миллионщиком, отчасти чудаковатым. Лишь порой губы Дударева все же растягивались в брезгливо-высокомерной усмешке. Тогда взгляды иных гостей (не совестливого вязальщика гамаков, не его) Дудареву подобающе отвечали: «А сам-то небось через день явишься с авоськой к нам на прием, так что помалкивай, селезень!» Но однажды Дударев насторожился. Подозрения его вызвал молодой человек, вбежавший в аванзал с очевидной боевой мыслью в глазах. Тяжелые ботинки его громыхали, за спиной у него был рюкзак, а в руке – альпеншток. «Рюкзак-то, понятно, для посуды и канделябров, – сообразил Дударев. – А альпеншток-то зачем? Неужели будет сдирать плафон с потолка?» Но Дударев быстро успокоился, молодой человек влетел не в тот дом, он спешил на собрание-разборку скалолазов в Сверчков переулок, туда же, получив разъяснения, и помчался. Да и новый московский стиль хождения в гости хозяйской утвари пока не касался. К тому же в аванзале находились и соблюдатели этикета, чрезвычайно благосклонные и элегантные, розовощекие блондины, каждый – под два метра, и были они, если судить по их выправке и особенностям физиономий, модными сейчас выпускниками Института физкультуры. Может, этим соблюдателям, предположил Шеврикука, передалось нечто от натуры графа Алексея Кирилловича Разумовского, чей дворец на Гороховом поле и занимал институт. А Разумовские все, как отмечала Екатерина Великая, были крупны, хороши собой, оригинального ума и очень приятны в обращении. Куда уж тут скалолазу с его рюкзаком и альпенштоком!

Но что это я все о приобретениях гостей? Тем более что их добыча уже была размещена где надо, а сами же они с бокалами шампанского приступили к светским разговорам либо рассматривали стенды с фотографиями, чертежами, планами реставрации памятника истории и культуры. Или даже внимали архитектору, стоявшему с указкой у стендов. Слышалось: «Уже в семнадцатом веке в усадьбе были каменные здания, включенные затем в ее главный дом и северный флигель. Древнейшей

частью главного дома является белокаменный объем рубежа шестнадцатого – семнадцатого столетий, находящийся теперь целиком ниже уровня земли…» «О! – обрадовался гость с кофром на плече. – Ниже земли! Это для привидений!» «Привидений? – растерялся архитектор. – Я не по привидениям. Привидений вообще нет. Я продолжу…» И последовали слова о дальнейших перестройках здания, в частности, для новых его владельцев Тутомлиных, о барокко, рококо и о том, что, в конце концов, главный дом усадьбы занял особое место в ряду московских жилых домов эпохи зрелого классицизма. «Что же, при зрелом, что ли, классицизме не бывает привидений?» – возмутился гость с кофром. «Фасады были гладко оштукатурены, – не дал себя сбить архитектор, – получили белокаменные тяги и карниз, а между ризалитами протянулся балкон на невысоких, широко расставленных консолях. Строгая простота отличает и внутренний облик дома. Парадная анфилада второго этажа, мы сейчас здесь и находимся, состоит из немногих помещений – зал с аванзалом, гостиная, спальня и кабинет, – но замечательна по своим монументальным масштабам. Гостиная – самое крупное помещение дома…» «В гостиную нас не пустят. Туда мы не приглашены…» – вздохнули в аванзале. «Это как же! – теперь уже вскричал гость с кофром. – Ризалиты здесь есть, белокаменные тяги есть, а привидений нет! Что вы нам головы морочите! Зачем вы нас заманивали?»

– Вас никто не заманивал, – сказал Дударев. – А привидение будет. Будет.

Шеврикука удивился. Дударев мог ответить уклончиво: мол, всякое случается, мол, речь идет о столетиях, вдруг что-нибудь отсырело, или заплесневело, или впало в спячку и кто вправе давать какие-либо гарантии? Но заверение Дударева прозвучало нагло-категорично. Будет, и все. Это Шеврикуку насторожило.

– Да. Будет, – сказал Дударев. – Но не сейчас. И не для всех. Сегодня не для всех. Увы, не мы избирали претендентов, они избирали нас. Однако я не понимаю, отчего вас так волнует привидение. Привидение, оно и есть привидение. Не более того. Мы ведь приглашали вас познакомиться с историческими и архитектурными ценностями дворца. Их множество. И я просто не понимаю…

Похоже, недоумение Дударева было искренним.

– Ведь столько здесь всего представлено на стендах… Одна история балбеса и пятиметра Панкратия Тутомлина чего стоит! И как главнокомандующий Москвы граф Гудович снял с него очки! – Видимо, судьба вертопраха Панкратия была чем-то особенно дорога Дудареву. Но

тут же Дударев и спохватился: – Уважаемые гости. Прошу извинения. Я здесь не главный и в деле новый, возможно, растерялся и кого-то обидел. Это непростительно. Приглашения всем вам были посланы с почтением и надеждой, что наши усилия будут интересны представителям самых разных слоев московского населения. Вечером же здесь произойдет деловой саммит претендентов. Возможно, ни один из них город не устроит. А к вам со словом обратится наш замечательный полпрефект гражданин Кубаринов. Прошу вернуться к подносам и столам.

Слово к представителям населения полпрефекта Кубаринова Шеврикука не был намерен слушать. Этот полпрефект (или – полпрефекта?) три года назад служил профсоюзным оратором в Департаменте Шмелей. Не потому ли и Дударев оказался у него нынче в распорядителях? Нужду или охоту устроить дневной сбор гостей дома на Покровке Шеврикука объяснил себе новым московским обычаем, подчинением неизбежности текущего времени. Приглашали людей гласных. Среди них были и хроникеры, и недорогие брокеры, и товароведы ювелирных магазинов, и музейные работники, и коммивояжеры резиновых фабрик, и бензозаправщики, и небастующие склифосовские, и гомеопаты, и одна врачевательница квартирных пум, и два картежника – всех не перечислишь. Кого хотели, того и приглашали. Главное, чтобы эти люди ушли сытыми, благодушными, не только гласными, но согласными, и разнесли в своей среде и по городу мнение о том, что на Покровке (в нашем случае – на Покровке) все происходит благородно, красиво, по правилам и все – на пользу столице и Отечеству.

А Шеврикука решил побродить по дому. Не забывал, что в своих путешествиях и исследованиях должен иметь в виду и здешнего домового. Вряд ли тому были бы приятны прогулки в подведомственных пространствах чужака. Кое-что об этом домовом Шеврикука знал. Пребывал тот на одном московском месте чуть ли не семь столетий, переселялся из бревен в камни, менялись его хозяева и имена, в последние два века его звали Пелагеичем. Якобы уже при императоре Павле он был дряхл, рассыпчат и грелся в чулке кухарки Пелагеи. Сейчас-то он вовсе мог полеживать где-нибудь засохшей и глухонемой закорючкой. Мог, конечно, и принять вид неживой закорючки на время московских перемен и невзгод. Догадался о сроках и замер. К тому же Пелагеич боялся или даже уважал Гликерию, в ее присутственные вечера и ночи был смирный и неслышный. Или хныкал в углу просителем. А если верить преданиям, прежде он слыл домовым вредным, наглым, многих конфузил, многих доводил до икоты, многим портил существование или хотя бы аппетит. Сегодня же Шеврикука

не ощутил ни засад Пелагеича, ни его интересов, ни даже запаха его дыхания. А был осторожен и чуток.

Пошел он бродить именно от нечего делать, а закончил путешествие взволнованным. Экие таинственные заброшенности он разглядел. А может, и разгадал. «Ну и дом! – твердил про себя Шеврикука. – Ну и дом! И каково в нем Гликерии!» А ведь, казалось бы, он об обстоятельствах судьбы Гликерии и ее истории знал все. Нет… Не останкинская ли жизнь притупила его память и любопытство? В Останкине строения – грудные младенцы, они еще ничего не ведают о прошлом и не предчувствуют будущее. В них уместны домовые Продольные. А он-то, Шеврикука, что разволновался сегодня? Или и впрямь забыл, что и в Белом городе, и в Земляном, да кое-где и за их валами, на Басманных, например, сотни зданий пронизаны веками и сами пронизали века, сберегают в себе не только древние камни, но и все приобретенное в столетиях, дурное и светлое. Сколько в них тайн, сколько сохраненной энергии, сколько пророчеств! «Что это я! – удивился себе Шеврикука. – Тайны! Энергии! Пророчества! Какая патетика! Какой пафос!» Несчастный Петр Арсеньевич и тот был сдержаннее в высказываниях. Пригодятся ли ему сегодняшние открытия или нет, Шеврикука еще не знал. И стоит ли ему вообще помнить о них? Нет, помнить, видимо, стоило, как и стоило помалкивать о своих нечаянных исследовательских прогулках. «Нет, надо вернуться! – кто-то будто приказывал ему. – Там еще остались замурованные ходы. И заколоченные двери!»

18

Затрубил охотничий рог.

«Женихов»-претендентов приглашали в гостиную.

Но отчего выбрали охотничий рог? «Их дело, – сказал себе Шеврикука. – Рог и рог». Уговорив себя не раздражаться и не ехидничать по поводу несовершенства церемонии, тем более что никто не поручал ему вести камер-фурьерский журнал, да и где теперь дремлют камер-фурьерские журналы, в каких архивах, Шеврикука отправился в гостиную Тутомлиных. Тут ему стало обидно за Москву. Отчасти – за Гликерию. «Декорации и бутафория – заключил он. – С кем связался Дударев? Со скрягами или о обездоленными?» Суждение это, отнюдь не бесспорное, было вызвано прежде всего четырьмя панно, на которые, правда, не пожалели ни холстов, ни красок. Высокие и протяженные панно, приставленные к стенам гостиной, должны были, по всей вероятности, без слов воздействовать на чувства и воображение претендентов. Конечно, не таким был дом Тутомлиных до лета семнадцатого года. Да, нынче в доме запустение. Но не разруха. Здесь гордая нищета, но и надежды благородных стен. Панно же столичных художников, чья цена уже определена аукционом «Сотби» в тысячах фунтов стерлингов, должны показать, что на Покровке было и что несомненно будет. «Вот дом Тутомлиных во всей его красе после перестройки учеником Матвея Казакова в конце восемнадцатого столетия, – разъяснял Дударев. – А это вид на Покровку с нашим домом и чудом нарышкинского барокко, незабвенной церковью Успения в легком прогибе улицы. А это – интерьер нашей с вами гостиной в пору процветания Тутомлиных. Мраморы, позолота, хрустали, уральские камни, фигурный паркет из Италии, прекрасные потолки, верхние окна, все, все должно возродиться. При счастливых обстоятельствах. А это – один из здешних дворцов, он – там, за углом Армянского переулка…» Надо сказать, что четвертое панно было представлено Дударевым сдержанно, с заметной потерей энергии в голосе и даже с долей смущения. «А что за пухлый мужичок в очках у дома за углом? – поинтересовался бестактный латиноамериканец, естественно коверкая туземные слова. – Это граф Тутомлин?» «Как же! – подумал Шеврикука. – В лучшем случае это Козьма Прутков. А так, может, и купец Иголкин». Действительно, на четвертом панно перед дворцом скромно, даже просительно стоял мужчина в очках. «Это Тютчев, – сказал Дударев. –

Это поэт Тютчев. Это он пришел к князю Гагарину. Гагарины – наши соседи. Их дворец от нас – метрах в двухстах. И на карете не надо ездить. Хотя и ездили. Адрес легко было перепутать. И теперь перепутали. Дали художнику не тот дворец. И не страшно. Префектура – одна. И Тютчев, хотя и чаще бывал у Гагариных, несомненно, заходил и к Тутомлиным…»

Сейчас же возрос над столом полпрефекта Кубаринов и поднял вверх некий металлический предмет, украшенный каменьями, возможно, жезл, а может, и какую иную столичную реликвию.

Не только замолк Дударев, но и началось действо.

Началась стрельба.

Испорченный бытом и служебными стараниями, Шеврикука подумал сразу, что стали рваться газовые баллоны. Но нет, баллоны должны были бы издавать иной звук. Да и не держали в доме ни баллонов, ни газовых колонок. Стрельбу во дворе вела артиллерия, и это был салют.

Двадцать один раз вскидывал Кубаринов взблескивающий каменьями (или стразами?) жезл. Позже Шеврикука разузнал, что салют производили из минометов. Привычнее было бы иметь для торжественной церемонии зенитные орудия, но договориться со службами ПВО не удалось, а минометы подвернулись. После выяснений интересов с коммерсантами энской воинской части минометы с персоналом были введены на Покровку, во временное пользование. Кубаринов просил салютовать холостыми минами, но чтоб погромче. «У нас нет холостых, – было сказано. – Но коли будет какая любезность, то, пожалуйста, ни одна мина не разорвется в вашей префектуре, а эксклюзивно для вас – за ее пределами…» Эти обещания успокоили Кубаринова, и он распорядился выдать воинам четыре ящика таиландских гуманитарных презервативов многоцелевого назначения. И точно, все приветственные мины полетели в чужие префектуры, к тому же иные из них подхватил ветер, дувший с северо-запада, и они разорвались вовсе во Владимирском государстве, вызвав воспаление и пожары мещерских торфяников. Кстати, минометы с персоналом утром назад никто не потребовал, и они потом были якобы приобретены чукотскими охотниками на моржей и отправлены куда следует. Якобы и на нартах с собачьими упряжками. Впрочем, это Шеврикуку уже не интересовало.

После салюта был произведен тост с намеками на международное доброжелательство.

И только рюмки опустились на белые скатерти, в черных проемах окон, отчасти заслоненных панно, увиделись то ли сполохи, то ли разводы северного сияния, то ли вспышки великанских бенгальских огней, при этом

треск за окнами стоял неимоверный. «Шутихи! Шутихи! – шепотом потекло за столами. – Русские шутихи!» «Салют, шутихи, вечерние наряды Дударова, соблюдателей этикета или услужителей, охотничий рог, – подумал Шеврикука. – Это и есть, что ли, – на уровне Екатерины в Кускове? Хорошо хоть Кубаринов не назначил себе исторический костюм…»

Полпрефекта Кубаринов и гости пребывали в двадцатом столетии, а услужители и Дударев, днем ходивший во фраке, скорее всего, в конце восемнадцатого. Почти все гости (среди них имелись и четыре деловые дамы) учли требования вечернего приема, лишь двое из них явились в легких свитерах и спортивных куртках. Надо полагать, это были американцы, и очень богатые. В Кубаринове все тоже соответствовало вечерней церемонии. Кубаринов был высок, строен, умел красиво носить костюмы, вид имел гордый, неподкупный и отчасти суровый. Любой, забывший о чести, взглянув на Кубаринова, обязан был затрепетать, утратить иллюзии, осознать, кому он, подлый человек, вознамерился предложить сделку, вспомнить о Страшном суде и только тогда отправиться в соседнюю префектуру за счастьем. Вот такие мысли способен был внушить Кубаринов.

Вечерней униформой атлетов-услужителей стали екатерининские парики, красные кафтаны кармазинного сукна, голубые камзолы, короткие нанковые панталоны, серые чулки и толстые башмаки с высокими каблуками. Какими глазами глядели на наших молодцов четыре деловые дамы! И латиноамериканец тоже. Отправь их на двести с лишним лет назад в Царское Село, одень каждого кавалергардом да расположи их по местам прогулок императрицы. Хватило бы у нее потом сил и энергии для потушения пугачевского пожара? Не знаю, судить не смею. Шеврикука против атлетов-услужителей ничего не имел, но в костюмах их его нечто смущало. Или раздражало. А вечерний Дударев поначалу вызвал иронию Шеврикуки. Потом он привык к Дудареву, живописен был Дударев, живописен, ничего не скажешь. Костюм ему выдали (или он сам его выбрал) влиятельного или богатого человека. Светло-серый кафтан с кружевным воротником и кружевными же отворотами рукавов, светло-серые штаны, заправленные в роскошные, выше колен, сапоги со шпорами. На перевязи слева – шпага. И опять же роскошная шляпа с пучком белых перьев, каких – Шеврикука определить не мог. Шляпу Дударев держал в правой руке и, когда следовало, производил ею изящные движения. Расчесанные темные локоны его парика отменно сочетались с уже известными усами. Префекты заводились в Москве не первый раз, и

Шеврикуке пришли на ум слова из одного прежнего уложения, о котором он не собирался помнить. По тому уложению префект (полпрефекта тем более) должен был быть не вельми свирепый и не меланхолик, но тщательный в деле. Кубаринов выглядел теперь, несомненно, тщательным в деле. Дударев же был игрив в деле. И как бы упоительно легкомыслен. Но и такой нравился. Передвижения Дударева вблизи столов были артистичны, а реплики его, разбрасываемые там и тут, способствовали всеобщему благодушию и сытости. Но когда Дударев назвал восемнадцатый век ключевым в истории дома на Покровке, Шеврикука как бы спохватился: «Но при чем тут восемнадцатый век? Это ведь не восемнадцатый век! И это не Петербург и не Москва! Это ведь Франция какая-нибудь!» Он имел в виду костюм Дударева. Костюмы такие носили лет за сто пятьдесят до Екатерины, и если во Франции, то при каком-нибудь Ришелье. Не иначе наряд этот добыт, соображал Шеврикука, в театре, в костюмерном цехе! Не иначе! (Шеврикука не ошибся. Он взбудоражился, не мог не проверить догадку и через три дня выяснил, что костюм, преобразивший Дударева, был пошит мастерицами Малого театра для актера А. Голобородько, исполнявшего роль герцога де Гиша, негодяя и погубителя Сирано де Бержерака.) Утвердившись в своей догадке, Шеврикука стал внимательнее рассматривать костюмы услужителей и в них обнаружил несоответствия и безобразия. Да что говорить, якобы золоченые якобы пуговицы были нарисованы акриловыми красками прямо по сукну. Да и кармазинное сукно это наверняка было крашеной мешковиной. Или солдатским бельем.

А что выставили на столы? Было ли на них фамильное (ну пусть и не фамильное) золото и серебро? Нет. Ни одна и малюсенькая серебряная ложка не присутствовала. Возвышались ли среди горячего и холодного золотые, серебряные, коралловые сосуды? Нет, не возвышались. И стало быть, некуда было наливать францвейны, русские ставленные и сыпучие меды, ягодные квасы и сбитни. Резвилась ли приветливо в хрустальном бассейне свияжская стерлядь? Нет, не резвилась. Гремел ли оркестр роговой музыки, ублажали ли слух певчие, плясали цыгане? Увы, увы. Ожидалась ли вообще азиатская расточительная роскошь, свойственная московским открытым барским домам? Вряд ли ожидалась. А что висело над столом? Может быть, висела на цепях, обернутых гарусом и усыпанных медными золочеными яблоками, большая люстра-паникадило? Отнюдь нет. Стыдно сказать, но, наверное, на днях, а то и вчера в спешке провели времянку и на ней укрепили доступный обывателю с умеренными доходами светильник о семи рожках. Да кое-где поместили декоративные жирандоли. А вместо оркестра и цыган музыкальную стихию праздника

создавали три черных человека с унылыми лицами – надо полагать, из крепостных. Один – со скрипкой, один – с виолончелью, третий – при флейте. На столе, конечно, кое-что имелось. И горячее, и холодное, и жидкое. По нынешним временам это дорого стоило. Или ничего не стоило… Ну и что? Ему-то что? Все идет, как идет. Ему-то какое дело! Он прибыл сюда развлечься, поглазеть и полюбопытствовать. И все. Он не платил за вход и всем должен быть доволен. Что он ворчит! Или у него не отходит желчь? Из гостей никто не ворчал. И кривоватый шнур светильника их скорее умилил, нежели рассмешил. А уж скрипка, виолончель и флейта тихо растрогали очарованных странников.

Вот и уже многие тосты были произнесены в поддержку новых веяний и столбовых дорог. Вот уже и полпрефекта Кубаринов отяжелел, но все же не переставал пережевывать что-то. И будто обещал каждому нечто хорошее и недвижимое. Иногда он говорил с долей меланхолии: «Да. Все мы легитимитчики». И тыкал вилкой в иностранную шпроту. «Экие они теперь худые стали…» А Дударев порхал от собеседника к собеседнику. К нему и тянулись. После того как все скушали по куску свиного бока на углях, в гостиную были внесены три карточных столика и скромно поставлены возле панно с храмом Успения на Покровке. В барских домах за такими столиками играли в ломбер, бостон, пикет, крибедж задорные дамы – часто и на бриллианты. «Небось с „Мосфильма“, – предположил Шеврикука.

– Знали бы вы, какие люди сидели за этими столами! – с пафосом произнес Дударев. – Какие личности за века являлись в ваш дом! Хотя бы и на полчаса. Какие личности здесь квартировали! Какие личности здесь проживали хозяевами! Могли ли совсем покинуть этот дом их тени и духи? Не верю! Не верю!

Проспекты с поэтажными чертежами здания были розданы гостям, Дударев посоветовал иметь их перед глазами.

«Вот, скажем, обратимся к помещению под номером двадцать семь. Все нашли? Здесь держал свою библиотеку Сергей Васильевич Тутомлин. Он считал себя виноватым перед убиенными на эшафотах женщинами и собирал все, что было сочинено и издано о них, в частности, о Марии Стюарт и Марии Антуанетте. Другого такого собрания не было в Европе. Там имелись даже записки ювелиров Бремеров с раскрашенными рисунками и судебными документами по поводу имевшего приключения ожерелья французской королевы. В соседних комнатах стояли кресла Марии Антуанетты и мебель герцога Орлеанского, там же хранилась коллекция драгоценных табакерок, тростей и палок разных королей и

прочих исторических особ. Этот богач Сергей Васильевич, выйдя в отставку, позволил себе в Париже вместе с приятелем князем Лобановым-Ростовским взять в аренду парк Фонтенбло, возить туда на пиры актеров на тройках в русской упряжи, а потом еще и основал в Париже яхт-клуб. Или возьмем помещение под номером двенадцать, это ближе к северному флигелю. Другой Тутомлин, Платон Андреевич, отплававший навигатор, летом – садовод и патриот картофеля, устроил при камине в помещении под номером двенадцать первый в Москве инкубатор на пятьсот цыплят, и они с удовольствием вылуплялись из яиц и в морозные дни. Дело и нынче небесполезное. Или отправимся в другой угол здания. Берем сразу помещения под номерами тридцать девять – сорок три. Был в доме мрачный период, когда хозяйничал в нем миллионщик Бушмелев, сибирский и окский заводчик, женатый на одной из графинь Тутомлиных. Это был деспот, душегуб и синяя борода. Графиню он затравил. Сыновей он пережил, изломав им судьбы. Сам же умер чуть ли не столетним. Но в доме уже был приживалом, безумным и нечистоплотным. И если верить преданию, был до смерти заеден насекомыми. Полагали, что и дух его изъеден, не имел сил и позволения покинуть здешние стены. Правда, за двести лет ни разу и никак себя не проявил. (При словах о насекомых Шеврикука незамедлительно убрался в безопасную местность.) Но до того, как быть заеденным, этот Афанасий Макарович Бушмелев сам многих заел. Держал на всякий случай разбойников в муромских лесах, невдалеке от окских заводов. Мог не только своих работников в назидание другим сбросить в колодец или уморить голодом. Были доступны извергу и дворяне. В особенности мужья приглянувшихся красавиц, не пожелавшие предоставить жен для удовольствия Афанасия Макаровича. Одного из них Бушмелев погубил, огнем уничтожив его усадьбу. Другого заманил на завод, а там приказал швырнуть несговорчивого в доменную печь. И жил безнаказанно. В помещения под номерами тридцать девять – сорок три доставлялись Афанасию Макаровичу местные женщины, иные и сами рвались туда, что-что, а необузданные страсти Москве всегда были свойственны. – Тут в интонациях Дударева явно выявилась гордость. – Кстати, Бушмелев располагал двумя спальнями – обыкновенной и парадной, в той стены были обиты красным штофом, и с двух портретов наблюдали за происходящим император и императрица. Опять же если верить преданиям, при Бушмелеве и замуровывали, кого и где – неизвестно. Однажды в доме производили ремонт. И тогда якобы плотники обнаружили в парадной спальне потайную дверь, а за ней потайной ход, а потом и подвал, а в нем – кости и черепа. Правда, вскоре пропали

плотники, пропала и потайная дверь. Уже в наши дни исследователи, дотошные, надо сказать, договорившись с криминалистами и получив на Петровке чуткие аппараты, пробовали отыскать тайники и замурованных пленников, но, увы, не отыскали. Приводили и собак, ученые собаки лаяли, скулили, отказывались от угощений и тоже ничего не отыскали.

Опечалившихся или даже помрачневших гостей Дударев принялся успокаивать. Конечно, были среди обитателей дома черные натуры, изверги и грешники, но не все же из них позволяли себе швырять соперников в расплавленный чугун. Конечно, не все. При этом нельзя не заметить, что мрачные готические драмы всегда придавали историческим зданиям особый шарм. Или даже особую цену. Но это так, мимоходом. А куда больше проживало здесь людей воспитанных и приличных. И весельчаков. И простодушных весельчаков. И весельчаков-проказников. Весельчаков-повес. Вот, скажем, вспомним Константина Петровича Тутомлина, племянника уже упомянутого графа Сергея Васильевича, да, да, того самого, что брал в аренду Фонтенбло. Этот Константин Петрович и веселил и сердил публику. Что ни день – то дуэль или ожидание ее. Ходил вечно с зашнурованным рукавом мундира или сюртука, все лицо в шрамах. Оттого был особенно приятен дамам. Но злобы и высокомерия в себе не носил, а просто был весело-бесстыжим. Проказы же любил рискованные и чаще всего – напоказ, с намерением доставить удовольствие приятелям, таким же, как он, шалунам. Уж как некорыстно было шутить с императором Павлом, а он шутил. Хрестоматийный случай из практики отечественных повес (сыновья иных из них затевали потом декабрьский бунт). Однажды Константин Петрович, а он был в карауле во дворце и оказался в обед дежурным за столом, дернул государя императора за косу, да так, что Павел вскрикнул от боли и, естественно, разгневался. Наш шутник объяснил свой поступок верностью уставу и стараниями в связи с несовершенствами в его исполнении, коса императора якобы лежала криво и нуждалась в выпрямлении. Император, подумав, одобрил педанта, но попросил в другой раз создавать прямую линию осторожнее. Но в другой раз Константин Петрович держал пари по иному поводу. Теперь он пообещал понюхать табаку из табакерки императора. Опять дежурил во дворце. Утром подошел к кровати спавшего Павла, взял его табакерку и зафыркал со смаком, пригласив государя проснуться. Опять гнев, опять недоумения. Константин Петрович сказал, что вдохнуть табак ему необходимо, дабы после восьми часов бдений отогнать сон: «Я полагаю, лучше провиниться перед этикетом, чем перед служебной обязанностью». Павел заключил: «Ты совершенно прав, но как эта табакерка мала для двух, то возьми ее себе».

Из слов Дударева выходило, что табакерка с бриллиантами – приз юного пострела – долго хранилась в доме на Покровке и лишь зимой восемнадцатого года была выменена на полпуда перловой крупы и что сам император однажды посетил усадьбу Тутомлиных. «Это наш северный Дон Кихот или, как считали другие, бедный петербургский Гамлет, – стал просвещать Дударев иностранных невежд. – С очень хорошими задатками и намерениями, но до обидного неуравновешенный и взбалмошный политик. Комплексы детства, тяжелых снов, предчувствий и прочее…»

У Шеврикуки стали дергаться временные тараканьи усы. Он слышал и про косу, и про табакерку. Но в истории с косой действующим лицом называли одного из князей Голицыных. Впрочем, вспомнил Шеврикука, выпрямление косы императора приписывали и еще одному беспечному шутнику – пензенскому дворянину и ехидному стихотворцу Копьеву. Где двое при одном подвиге, там возможны и еще десять героев. Среди них и наш Тутомлин. Хотя порой Шеврикуке казалось, что Дударев или привирает, или путает. Да что казалось! Ясно было. В Тутомлиных или в обитателей дома превращались совершенно посторонние люди, или же этих обитателей Дударев одаривал чужими поступками, мыслями, судьбами или свойствами. Либо же Дударев был просто неосведомленным человеком и фантазировал теперь сгоряча о персонажах, подсказанных ему начитанными людьми. Либо он все же знал кое-что, но имел целью продать товар и суетился приказчиком-искусителем. «Но уж больно он искательный – нет в нем истинной московской степенности, – подумал Шеврикука. – Но где теперь в Москве степенность? У кого?» А Шеврикука ценил степенность и полагал, что настоящие москвичи рождаются степенными и тяжелыми на подъем. Но был ли сам он когда-либо степенным? А Дударев уже рассказывал о лабиринте еще одного Тутомлина – графа Федора. Этот, по воспитанию – англичанин, хоть и дослужился позже до чина полковника, долго оставался совершенным шалопаем. Кто только не являлся в ту пору в наш дом, нередко и крикливые гуляки, и отпетые проходимцы. Ну и конечно, кредиторы. Однажды граф Федор раздосадовался и додумался. Примерно вот здесь, прошу снова взять в руки проспект и обратить взгляд на помещения номер девяносто два – девяносто три, в подвалах под ними, он устроил по легенде лабиринт-укрытие. Лабиринт как будто бы и не малый. Секреты его ходов и, естественно, выходов знал лишь чертежник и устроитель граф Федор. Якобы где-то в углу лабиринта граф имел кабинет своего одиночества с библиотекой и коллекцией восточных диковин. Когда приходили в дом неприятные посетители и уж тем паче требователи долгов или печальные надоеды из

суда, граф Федор исчезал в лабиринте, курил кальян и, отгоняя сплин с мигренью, рассматривал восточные диковины. Но опять, увы, увы, расстроил слушателей Дударев, есть легенда и нет лабиринта. Возможно, его и вовсе не было. «Как же, не было! – обрадовался Шеврикука. – Был! Он и теперь есть!» Тотчас же Шеврикука оборвал себя, мало ли, вдруг мысли его были кому-то интересны, а из мыслей этих можно было вызнать о сегодняшних открытиях Шеврикуки. А ведь не исключено, что он наткнулся и на убежище графа Федора. Но – тсс-с об этом!

Дударев все же не отвергал совсем легенду о лабиринте. Тем более что у приятеля графа Федора, Петра Разумовского, тоже умевшего жить азартно, неразумно, но весело, хитрый лабиринт в Одессе доподлинно был. Вдруг обнаружится и лабиринт графа Федора. Но чем хуже лабиринта, скажем, графиня Ольга Константиновна? Однажды, было дело, она привезла из Вены четыреста восемьдесят платьев. Но тогда она была еще сорокалетняя красавица. А вот накануне коронации Александра Второго, позже Освободителя, она, чтобы не опечалиться и соответствовать себе и случаю – при европейском-то бездорожье! – в несколько дней съездила в Париж и привезла к торжеству приличные туалеты. А было ей восемьдесят семь лет. Одной из ее примечательных ровесниц слыла Екатерина Мосальская, известная в Москве и других столицах как полуночная княгиня, или принцесса Ноктюрн. Той серьезные гадалки пообещали смерть ночью, во время сна, и она в темную пору более не спала, а проводила у себя или в гостях бурные ночи, конечно, в оживленной компании, конечно, с литературными и философскими беседами, с чтением мадригалов и музицированием. Обратите внимание на помещения под номерами тридцать два и тридцать четыре, там, случалось, по ночам блистала остроумием и нарядами бросившаяся в бега от судьбы Принцесса Ноктюрн. Кто только не был в доме! Все, похоже, были. И Наполеон? Вы спрашиваете: «И Наполеон?» Нет, Наполеон в двенадцатом году наш дом, увы, не посетил. Маршал Мюрат в поисках фуража здесь был, а Наполеон – нет. Совсем было уже подъехал сюда, но у него на Мясницкой сломался возок. Зато не раз кареты привозили на Покровку божественную мадемуазель Жорж, чья декламация покорила театралов Петербурга и Москвы. Этой мадемуазель Наполеон, говорили, оказывал в часы досуга любовные услуги, и в доме Тутомлиных хранилось короткое, но сострадательное послание корсиканского забияки, написанное им в дыму пожара. Не доехал возок, сломался, это случается, но вы не подумайте, что возле дома Тутомлиных припарковывались экипажи менее дорогие, нежели сегодняшние лимузины наших бесценных гостей. Всегда находились

любители роскошных выездов, щегольских средств передвижения, в Риме – колесниц, в свободной стране Махно – тачанок. И как же Москва без щеголей? Один из здешних состоятельных любителей заказал в Лондоне карету за восемьдесят тысяч рублей золотом, но, опробовав ее при доставке из страны-производителя, посчитал слишком грузной и отправил на покой. А иные же модники подъезжали на Покровку в экипажах с золотыми колесами, кучеров своих обряжали в кафтаны с бриллиантовыми пуговицами, на одну такую кучерскую пуговицу, наверное, можно было бы теперь приобрести не худший автомобиль… – тут Дударев обвел взглядом гостей и проявил деликатность… – северокорейского производства. Толстосум швед фыркнул, а японец произнес басом: «Пожалуйста! Да! Пожалуйста!»

А бестактный латиноамериканец пристал к Дудареву с интересом к личности Григория Ефимовича Распутина. Опять коверкал натуральные московские слова, острый голос его драл уши, как напильник. Рачительный Дударев одарил латиноамериканца и Распутиным. «Был Распутин! И Распутин был! Но недолго. Взял две простыни и ушел в баню». И Блок Александр Александрович был. С Менделеевой. Тот обедал. Особенно нравились Любови Дмитриевне уха с ушками-кондюбками. Вторую порцию ей моментально приносили вон через ту дверь. Пар валил. «Возле кухни, нам сказали, – опять встрял латиноамериканец, – был ход в подвалы времен Ивана Грозного». «Его заложили. Там масоны…» – отчего-то засмущался и заспешил Дударев. Оказывается, были тут и масоны, короткий срок, ну их к лешему. И Николай Иванович Новиков, еще не отправленный в крепость, похожий на пастора, заходил к хозяевам в гороховом сюртуке и с магической палкой. Ну и ее к лешему! И Чаадаев бывал, а как же. Впрочем, может быть, эти имена, как глубоко местные, и незнакомы почтенной публике. Заводились в доме и чернокнижники. И знатоки Зодиака, прошедшие обучение в Сухаревской башне у главного тайновидца Якова Вилимовича Брюса. И граф Калиостро, будучи с секретной миссией в Москве, именно в этой гостиной давал однажды сеанс страшных чудес с электрическими искрами и мгновенным отрастанием волос на голой голове камергера Войцеховского. И дальше предъявлялись собеседникам личности, имевшие отношение к дому на Покровке. Карлы и карлицы. Воспитанницы из калмычек. Шуты-дураки и шуты, валявшие дурака, сами же резавшие правду-матку. Крепостные актеры, на которых с завистью посматривали и Шереметевы, и граф Каменский. Бомбометатели из эсеров. Борис Савинков, две ночи в восемнадцатом году прятавшийся на чердаке от чека. Гетман Мазепа. Да, и Мазепа. Ему метрах в трехстах

отсюда в Колпачном переулке отвели резиденцию, прекрасные палаты, они и теперь стоят, можете пройтись, в них шарашат сувениры а-ля рюсс, покупать их убедительно не советуем. Гетман и в возрасте был хорош, любил всяческие приключения, уроки светской охоты получил в Польше вблизи ножек ясновельможных пани и, дважды являясь в Москву, как-то за орденом, как-то для беседы с Петром, естественно, не мог не заглянуть в дом, всегда славный своими красавицами. Однако кончил этот авантюрист плохо – проиграл, бежал, конечно, в Бендеры. Там умер, там лежит и теперь. Что же касается золота, называемого нынче бочонком полковника Полуботка и разыскиваемого киевской казной в английских хранилищах, то Мазепа его с собой не возил и тем более, даже пусть и будучи кем-то очарованным или в волнении, не оставлял его на Покровке. В этом нет никаких сомнений. И те, кто связывает свои интересы к дому с золотом Полуботка, трагедийно заблуждаются, им следует искать удачи в иных местах и префектурах. Последние слова Дударева вышли, пожалуй, не слишком вежливыми. Обеспокоенно заерзал Кубаринов, заявление Дударева показалось ему не лестным для префектуры, выходило, будто в ней чего-то не хватало для искателей удачи. Полпрефекта встал, но произнес нечто невнятное. Толмачи из числа наряженных услужителей переводили его текст долго.

– Бонапарта подвел возок, – вяло и словно бы самому себе, но все услышали, сказал гость в свитере, хотелось верить, филадельфийский миллионер. – Мазепа не захватил бочонок Полуботка. И умер не здесь, а в Бендерах. Можно подумать, что и привидение в доме лишь собиралось завестись, но не завелось.

– В доме было привидение, – резко сказал Дударев. – И оно есть.

– И не одно. У нас этих привидений… – широко, по-державному развел руки полпрефекта, он был сейчас барин и желал всех приветить и одарить. – Здесь столько теней и душ, загубленных и загубивших, столько… Вот можно подать хотя бы этого… который швырял в домну… Бушмелев. Да, Бушмелев. Пусть он покажется. Что он залеживается?

– Иные готовы всю нефть выкачать из недр. Бушмелев за два века никак не проявил себя. Ни запахом, ни стонами, ни действием. Его время не пришло. Сегодня у нас одно привидение, – Дударев был тверд. – По всей вероятности, женское… И я вас не понимаю, Вадим Александрович. У нас теперь рынок. Коммерция требует прилежания…

– Ах, да, да, да! Рынок! – спохватился Кубаринов. И объявил, став уже строгим барином: – Сегодня у нас одно привидение.

– Давайте хоть одно! – потребовал толстосум швед.

– Да! Пожалуйста! – поддержал его японец. – Привидение!

Дударев, обращаясь к толстосуму шведу, японцу и филадельфийцу в свитере, выкинув вперед руку с герцогской шляпой, высказал мнение, что было бы дурно подавать привидение к столу. К тому же привидению не прикажешь. Оно само по себе и обладает свободой выбора. Можно только надеяться, что оно появится добровольно, ощутит безвредно-бескорыстный интерес к себе и ответит на него своей энергией. А выходы Покровского привидения, по преданиям и долголетним свидетельствам, происходят в приемлемую для него пору.

– Привидение! – заорал толстосум швед.

– Да. Пожалуйста! – обрадовался японец. – Северные территории. Привидение. Пожалуйста!

– Привидение! С мороженым! – напильником по ушам провел бестактный латиноамериканец.

– У Бонапарта на Мясницкой сломался возок, – вежливо напомнил филадельфийский мультимиллионер.

– У нашего привидения, – гордо сказал Дударев, – нет никакой необходимости добираться сюда в возке.

«Блефует? – подумал Шеврикука. – Или и впрямь смогли выйти на Гликерию, улестить ее или заставить? Этого еще не хватало!»

Осадив, как ему показалось, бузотеров, Дударев опять стал навязывать публике исторические сюжеты, теперь уже, от нашего столетия, с энтузиастскими и вампирными историями тридцатых, сороковых и прочих годов. Вплелись в его рассказ революционеры, сыщики, председатели домкомов, сочинители мокрых доносов, какой-то почтенный железнодорожник, стиляги, простодушные валютчики, уплотнения жилплощади, октябрины младенцев, провинциальные всплески дальней сексуальной революции. «Привидение!» – опять заорали неугомонившиеся. «Пожалуйста!» – теперь уже с угрозой потребовал японец. Требовал без всякого акцента, басил, и, не видя его, можно было подумать, что это требует и не японец, а сибирский мужик. Дударев все еще бормотал что-то о необходимости дождаться момента сгущения полей и энергий, о том, что непременно надо выслушать прибереженную им напоследок историю привидения. Да и не одну эту историю. А несколько историй здешних красавиц с умопомрачительными поворотами судеб, с каскадами страстей и драм. «Не надо! Не надо историй! Подавайте привидение, и сейчас же!» «Да что они, угорели, что ли? – недоумевал Шеврикука. – Да и чем привидение замечательнее, скажем, домового Пелагеича?»

А уж и самые тихие дотоле гости кричали и топали ногами, требуя

привидения, и сейчас же! «Оно здесь не выйдет! – убеждал Дударев. – Оно здесь не выйдет! Оно не является в гостиной! Оно лишь внизу! Оно при свечах…»

– Вниз! В подвалы! В подземелья! – нервически вскричал латиноамериканец. – И свечи! Берите свечи! Вскочили не только иностранные охотники, но и все, кто их занимал беседами с обхождением, а за ними и черные музыканты, вскочили, бросились к столикам со свечами у выхода из гостиной, разобрали, расхватали свечи, столики уронили на пол, кто-то указал: «Вон тем коридором! Тем!» – и неслись тем коридором, а куда – неизвестно, в темноту, в темноту, к привидению, толкались, ударяли друг друга локтями, лбами, ногами, били кулаками, бранились, оскорбляя при этом в высокомерии самоуважения малочисленные народы и малые государства, добежали, дорвались до лестницы, ведущей вниз, узкой, горной, чуть ли не винтовой, выложенной плитами известняка, подобные ходы в шестнадцатом веке устраивали внутри стен в боярских палатах и воеводских домах, прыгающий свет факела лишь немного облегчал движение, на лестнице вопили, стонали, матерились, всякий по-своему, и все же никто не погиб, не был задушен, измят или изодран в клочья. Прорвались, добежали, в подвале, в подклети при свете факела уселись на деревянные лавки под сводами из тесаного мячковского камня.

А дальше что? Что дальше? Куда неслись? И зачем?

19

Сидели, притихнув или устыдившись, и будто ждали теперь укоров или даже березовых розог, оберегали зажженные свечи. И похоже, были напуганы. Порой шептали что-то. Или молились. Среди прочих тихих слов Шеврикука (а он из опасения быть раздавленным на лестнице из таракана переоделся в дрозофилу, в подвале же пожелал стать пауком) услышал и на русском: «Сюда бы сейчас Всемирную Свечу. Да, Всемирную Свечу…» Слова эти Шеврикука поразили.

Всемирная Свеча! По случайности ли было сказано так? Или это произнес человек знающий? И произнес не зря? Памятны были Шеврикуке впервые высказанные народу фантазии (или мечтания?) о Всемирной Свече, памятны были и страшные события, вызвавшие эти фантазии. Лучше было о них не помнить. И не надо было помнить, что недавно Всемирная Свеча встретилась ему в бумагах Петра Арсеньевича. Шеврикука приказал себе забыть о Всемирной Свече. И более о ней никто не шептал и не шутил.

Пауком Шеврикука провисел поначалу на короткой нити у опорного столба с распалубкой. Обустройству уделил секунду. Но нашлось время и сплести сначала гамак, потом беседку с кружевами и узорами, а потом воздушный замок со смотровой башней. Плести паутину приходилось от скуки. Так он говорил себе.

Привидение не являлось.

Дударев в подвалах вел себя тихо, лишь раз деликатно высказался о том, что без сгущения полей и энергии все равно не обойтись и надо набраться терпения.

А публика тем временем опять стала нервничать. Хотя чувства выражали здесь шепотом и с опаской. Испорченным телефоном передавали Дудареву, как несомненному авторитету, вопросы и простодушные желания. Где оно может появиться и в каком виде? Будут ли звуки? Возможно ли общение с привидением и если да, то каким способом. Включены ли в программу эротические сцены и позволительно ли в них участие? Пользуется ли привидение туалетом или в нем совсем прекращен обмен веществ? А если пользуется, то где этот туалет и будет ли он доступен зрителям и за какую плату? И так далее. Некоторые егозили, вертелись на лавках и не только спрашивали, но уже и давали советы. Одна из деловых дам позволила себе даже съехидничать, поинтересовавшись, не

придется ли привидения выклянчивать. И пошли советы, как привидение вызвать. И духов, если не откликнутся. Либо заклинаниями. Либо шаманским камланием с бубном. Либо приношением жертвы. Добыть животное, хотя б и кота, а в крайнем случае – пса, таксу или пуделя, прибить его в магическом месте гвоздями к чему-либо деревянному, чтобы были лужа крови и стенания под сводами. Дударев эти предложения отверг как неприемлемые, сославшись на особенности московской духовной жизни. Сообщил лишь, что звуки и стенания возможны, но внятных слов и тем более фраз от привидения никто не слышал. Общаться оно, если пожелает, станет знаками. Тут Дударев поднял руку со свечой и произнес:

– Тсс-с-с!

«Что? Где? Ой! – вскрикнула одна из дам. – Вон! Там!» – «Что? Где? Где? Что?» Заходили, задергались огоньки свечей, возникло колыхание стен, они задергались тоже, поплыли куда-то, вправо, влево, вверх, вниз, в глубины земли. «Вон! Вон! Оно наплывает, оно невесомо-нежное, оно в бурых пятнах!» – «Где? Где? Где в пятнах?»

– Тсс-с! – раздалось снова. Нижние палаты дома Тутомлиных (теперь – подземелье) для гостей были черны, зловещи, неведомы, не измерены. Шеврикука их узнал и измерил. Они были велики. Веками в них хранили припасы, товары, оружие. В последнюю войну в них устраивали прачечную для ближних госпиталей. Чем только позже не захламляли и не позорили палаты! В них и теперь после долгих мучений реставраторов лежал хлам. До безобразия необязательный. Грифы, блины штанг, мишени для пулевой стрельбы – от домашних атлетов, запрещенных вмиг. Брошенные сантехниками, чтоб далеко не волочь, ванны, унитазы, радиаторы, дырявые и ржавые. Рваные татами, подстилки для юных балбесов. Остатки трапез и меланхолических бесед забредавших сюда по случаю бражников. Теперь во мраке объявленного Дударевым сгущения полей и энергий подземелье для гостей было пространством тайны.

Голоса, указующие: «Вон оно! Вон! Там!» – затихли. Колыхание теней, блуждание световых пятен по стенам, по граням столбов, по выпуклостям сводов, будто втягивающее всех в черное небытие, возбуждало беспокойство, а то и страх. Там, между столбов и за ними что-то оживало, шевелилось, разбухало, протягивало к сводам лапы и вот-вот, уродливое, жадное, несытое, могло двинуться к деревянным лавкам. Шеврикуке и тому мерещились там уродины и призраки. Присутствие же Гликерии не чувствовалось. А Шеврикука уже и сам нервничал. Скверно становилось ему. Нет, Ужас, испытанный им при последнем визите в Дом Привидений, пока не приходил. Но что-то явно было обещано неладное. Что-то

приближалось, мрачно-неуклюжее и осерчавшее.

Полпрефекта Кубаринов тыкал Дударева начальственным жезлом, недоумевая в связи с задержкой выхода и показа и требуя от Дударева и привидения профессионального соответствия. Дударев, чьи жесты и позы выражали крайнюю растерянность, бегал за столбы и по возвращении что-то шептал в ухо полпрефекту. Ехидная деловая дама, теперь, правда, заикаясь, предложила известным ей способом на плитах пола выстроить свечами, ножами и всеми драгоценностями, какие есть, мистический круг и приманить в него привидение. Опять же и магическими танцами. С раздеванием и эротикой. Можно было считать и это приношением жертвы. Магические танцы и прежде отвергались. Сейчас же прозвучал нервно-зыбкий, с дрожью, смешок неприятия. Нервный и с дрожью – понятно отчего. Смешок же неприятия явно относился к пожеланию устилать сырые плиты пола драгоценными камнями и металлами.

Новые упреки разгневанного уже полпрефекта выслушивал Дударев, и тут метрах в десяти от него и от Шеврикуки нечто взорвалось, зазвенело, потом взорвалось еще дважды, гулом покатилось в черные углы, к теням, уродинам и тварям, седым дымом поплыло к деревянным лавкам, заставляя гостей чихать, кашлять, тереть глаза, а на стене напротив заплясали цветовые пятна, малиновые, лиловые, оранжевые, и – Шеврикука подумал сначала, что ему показалось, но нет, так и было в яви – то ли из стен, то ли из сводов проистекли музыкальные звуки, чрезвычайно дальние и как бы ненамеренные. Шеврикука услышал английский рожок, гобой и челесту. Цветовые пятна исчезли, а в черноте возникло бледно-белое свечение, оно медленно стало разрастаться и превратилось в нечто протяженное, по линиям – схожее с человеческой фигурой. Да, конечно, там в стене или за стеной стояла женщина. Или подобие женщины. Бледно-белая фигура тихо уплотнялась, приобретая формы искомой реальности. Теперь она стояла изваянием, будто бы навечно утвержденным на незримом пьедестале. Рука изваяния поплыла вверх. Женщина оживала. Покорно или печально склонилась к левому плечу ее голова. Дернулись, но потом плавно, словно в подводном сне, стали двигаться ее плечи, руки, бедра, ноги. Открылись глаза.

И снова – черная стена. И тишь.

Но сейчас же – возобновление дальней музыки. И, лишь на секунду отменяя ее, – взрыв, с грохотом, с дымом. И световая вспышка. А в этой вспышке – явленное привидение.

Гликерия удивила Шеврикуку.

Как она могла допустить то, что происходило в ЕЕ доме?!

Вдоль стены, а может быть, и внутри нее образовался свето-цветовой коридор, опять с малиновыми, лиловыми и оранжевыми пятнами, скорее всего, имеющий энергетические границы, в нем и путешествовало привидение. Умолкла челеста, вместо нее скромно, тоже из глубины стен, вступил ударник и томно стала грезить гавайская гитара. Не из-за настройки ли световых и музыкальных установок и произошла задержка привидения? Освещали привидение хитроумным способом, оно и при яркости мелькавших вокруг цветовых пятен пребывало в тумане, в клочьях облаков, по облакам ступало, подробности же его (ее) лица и тела рассмотреть было затруднительно. Но постепенно подробности эти стали проступать. Женщина плавала в грезах просветляемого покровского бытия привлекательная. Но отчего явилась не Гликерия? Неужели Гликерия воспротивилась и ее заменили? Кем заменили? И Гликерия вовсе не была прохладная, тем более ледяная, а уж особа, плавающая нынче в грезах, Шеврикука чувствовал это, вовсе пылала жаром. И не потому, что на ней были вигоневый салоп (догадались летом-то!) и плотная накидка, скрывающая лицо, а по причине общей пылкости натуры. Нет, и Гликерия умела быть пылкой. Но не в служебные часы. Теплый салоп, впрочем, был сброшен, и обнаружилось обнаженное плечо, смуглое, гладкое. «Да это же Совокупеева!» – Шеврикука в волнении чуть было не порвал паутину. Но он мог и ошибиться. Проявился в клочьях тумана и наряд, назначенный привидению для ночной прогулки. Похоже, это был пеньюар и явно из нынешних магазинов. Пеньюар подобрали легкий, но движения привидения порой выходили стесненными. Тело привидения Шеврикука узнавал. Однажды ему в нетрезвую голову зашла мысль о том, что тело это сложено из ядер, способных разорвать любые тряпки. Но открыл Шеврикука и иные причины сегодняшних несвобод Совокупеевой: исторический корсет под пеньюаром – от предгорий грудей и до бедер – и ватные валики, эти для пышности. Привидение сбросило накидку, откинуло голову и застыло. Лиловый, надо полагать, исторический парик был увенчан шишаком Минервы. Хороша стояла Совокупеева, хороша! И второе плечо свое привидению удалось высвободить и предъявить публике. И все поняли: не то что хороши, а роскошны были явленные шея и плечи. А какова распирала пеньюар грудь!.. Нет, Шеврикука не имел ничего против Совокупеевой. Наоборот. Но какое она имела отношение к дому на Покровке? И он сразу стал обнаруживать в привидении изъяны. «Пеньюар-то этот, да и туфли, и не туфли, а штиблеты – небось из Военторга! – возмущался Шеврикука. – А серьги, а браслеты! Ясно, чужие и со стекляшками! А зад какой! Откуда у привидения такой зад!» Чувствовал,

что лицемерит: и зад Совокупеевой в своем роде был хорош, и не всем привидениям выпадало жить несчастно-духовно-воздушными. Но возмущался. Сейчас этих надувателей, этих врунов, предполагал, освищут. А то и в очи им плюнут.

Но ошибался Шеврикука.

Гости были чуть ли не в восторге. Ни от чего не пострадав и снимая гнет примявшего их ожидания, они сначала с опаской, а потом и в полную силу ладоней приветствовали привидение, тем более что оно, будто бы строптивое, выглядело теперь благонамеренно-доступным. Вызнав, что привидение зовут Александрина или Александрин, просили – через Дударева – милую Александрин прогуливаться и танцевать. Она и прогуливалась, и танцевала, и делала это грациозно, но как бы и во сне, а когда решилась исполнить русского и вскинула руку с невидимым платком, ойкнула, чуть ли не застонала, лицо ее исказилось (Шеврикука обрадовался: Совокупеевой впился в пленительный бок китовый ус корсета, и по справедливости впился). Желали задать вопросы потустороннему знанию, иные щепетильные, иные о проблемах полов, но Дударев вскочил и умоляюще-требовательно приложил палец к усам: никаких звуков, привидение безмолвно. Поднялся полпрефекта Кубаринов, довольный и экономически состоятельный, и предложил в честь успешного прохождения церемонии опрокинуть по стакану ликера шартрез из коллекции графьев Тутомлиных. На столике вывезли бутылки с жидкостью безупречно зеленого цвета, световой луч превратил их в гигантские изумруды и устроил шелестящий сад на стене. «Браво! – вскричала публика. – Браво!» Разлили ликер в стаканы, один установили на столик и плавно направили столик к привидению. Привидение Александрин застыло на мгновение («ах, ах, как грудь вздымается и трепещет»), созерцала нечто внутри себя или испрашивала, как быть, можно ли при исполнении, затем дружелюбно поклонилась обществу, нежными, но видно, что и крепкими, пальцами взяла стакан с напитком альпийских монахов и поднесла его к влажным губам. Тогда и раздалось под сводами:

– Стерва! Самозванка! Лжепривидение! Добралась и до напитков! Наши ликеры хлебать! Ну уж это кукиш!

И существо, скорее всего также вышедшее из стены и совершенно нескрываемо для публики обладавшее женским телом, напало на Александрин. Оно, удерживая под мышкой левой рукой собственную голову, правой же, выбившей на пол стакан с шартрезом, пыталось сорвать с Александрин шишак Минервы и исторический лиловый парик. И сорвало.

– Самозванка! Шартрезы коллекционные хлебать!

«Дура! Башку нацепи! – хотел было посоветовать Невзоре-Дуняше Шеврикука. – Посмотри, на кого в бой-то пошла!» Но Невзора-Дуняша была не глупее Шеврикуки Облик для явления она приняла не в спешке, а с целью должного устрашения. Теперь же она вмиг укрепила голову на отведенном природой месте, двумя руками вцепилась в прекрасные волосы самозванки и опрокинула ее на сырые плиты. «А может, она и не самозванка?» – засомневался Шеврикука, как бы даже и сострадая Совокупеевой. Но вряд ли Совокупеева нуждалась в его состраданиях. При виде женщины с головой под мышкой она, конечно, растерялась и дала уронить себя на пол, но сразу же пришла в себя и взъярилась. Взъярилась и Дуняша. В особенности ее задели нелестные отклики на ее явление полпрефекта Кубаринова и мужиковатого японца. «А вы-то чего суетесь!» – воскликнула она, оставила Совокупееву, выхватила у Кубаринова жезл, гневным ударом по лбу уложила полпрефекта под лавку, жезлом же перебила все стаканы, не тронув бутылей тутомлинской коллекции, нанесла удар японцу, тут же предложившему ей мирный договор, погнала латиноамериканца в угол к шевелящимся уродинам, разодрала свитер филадельфийского мультимиллионера и только тогда вернулась к самозванке. Та уже была на ногах. Но ради того, чтобы принять боевую стойку, Совокупеевой пришлось воевать с предметами туалета, призванными служить грации и красоте, то есть с упомянутыми уже корсетом из китовых усов, ватными валиками и еще, как выяснилось, ватной же нижней юбкой. Треск раздираемого корсета не мог сравниться с битьем посуды и лба полпрефекта, но кем-то и он был услышан. Всего же, мешающего ей, Совокупеева не успела сбросить, и лишь в сражении с обидчицей к ней пришла свобода от всех стеснений. Вряд ли вы, конечно, помните, но мне однажды пришлось сообщить, что Невзора-Дуняша производила впечатление особы крепкой, здоровой, знакомой с крестьянскими работами. При этом не казались грубыми ее крупные руки и крупные же, в ступнях и в подъемах, ноги. Нынче она посчитала нужным обойтись без украшений и без одежд. Но поправлюсь – почти без одежд. Нечто белое, полупрозрачное, ее все же окутывало, меняло формы и свойства, то это были ленты, то – набедренная повязка, то – широкий кушак, то чуть ли не туника, все прелести воительницы были видны публике, но соблюдались и некие приличия. Я откровенная, как бы заявляла Невзора-Дуняша, но не бесстыжая. Впрочем, явившись разоблачать самозванку, она менее всего думала о том, будут ли у нее зрители или не будут. Шеврикука это знал. И у Совокупеевой теперь тоже

не было дальних мыслей, и ее «фламандские» бока и бедра оказались прикрытыми лишь лохмотьями пеньюара, корсета и стеганой нижней юбки. Жезл полпрефегта Дуняша со скрежетом зубовным, чуть ли не зарычав, сокрушила о колено, швырнула обломки в темноту и пошла на Александрин. Сразу же выяснилось, что оба разъяренных привидения не отстали от требований века и хороши не только в русской рукопашной, но освоили приемы восточных единоборств, кикбоксинга и кетча. «Экие героини сошлись! – радовался Шеврикука. – Эко у них ноздри раздуваются!» «Будешь чужие шартрезы кушать!» – кричала Невзора-Дуняша и била самозванку ногой в челюсть. «Щ-ща-ас ты у меня взвоешь!» – отвечала Совокупеева, излечиваясь от немоты и норовя кулаком левой попасть Дуняше в солнечное сплетение. «И побрякушки фальшивые! Позоришь профессию! – Невзора-Дуняша срывала с самозванки серьги, рвала цепочку медальона. – Что ж ты, стерва, не завела на груди блошиную приманку! Тебе бы пошла!» «Да я тебя сейчас! – ревела Совокупеева. – Вражья сила!» А после собственных усилий и захватов Дуняши все вериги – остатки пеньюара, корсета, нижней юбки – опали, и Совокупеева стала совершенно свободной, лишь при браслетах у запястий и в лакированных туфлях. «Пожалуйста! – басил японец. – Без кимоно! Александрин! Перл-Харбор! Пожалуйста!» – «Ставлю на новенькую мучачу! – выскакивал с бумажками в руках латиноамериканец. – Один к трем!»

При гвалте публики, возможно уже жаждавшей крови, исчез свет. И сейчас же под сводами вызвездилась Гликерия. Сияние длилось недолго и превратилось в ровное свечение.

Гликерия никуда не спешила, никого внизу не искала. Просто шествовала под сводами. Что было опорой для ее ног – не имело значения. И не выглядела Гликерия пленницей луны. Глаза ее были открыты и разумны. Но никто внизу ее не занимал. Хотя как знать. Верхняя, чуть пухлая губа ее была надменно приподнята, а в глазах ее Шеврикукой угадывалось лукавство, не слишком доброе. Может, и просто недоброе. По сюжету ночного появления Гликерия могла бы надеть чепец, просторный пудермантель и войлочные плоскоступые туфли. Могла бы держать у сердца романтическое послание или книгу с историей Поля и Вирджинии. Но нет. Гликерия – вырядилась. Голову ее украшала диадема. Волосы были уложены на античный манер и завязаны сзади пучком. Платье, выбранное Гликерией, украсило бы ее и на балу (две тафтяные мушки, налепленные ею, не противоречили этому предположению), уместным оно было бы и в случае приема у себя милых друзей с домашней музыкой и сочинением

стихов в альбом. Платье, льющееся долго, до каблуков, было светло-кремовое, из туаля, с рукавами-буфами до локтя, высокой талией и, естественно, откровенным верхом. В руке Гликерия держала перламутровый веер, ей ли не знать, что ночное собрание на Покровке могло пройти в духоте. Рослая, тонкая в кости, Гликерия никак не производила впечатление чахлого, болезненного создания. И она была в соку. И не походила ни на страдалицу, ни на жертву. Проницательные скорее могли учуять в ней силу, и опасную. И было очевидно, что она первым двум привидениям не ровня. Отлична от них и осанкой, и породой, и нитью судьбы.

«И я ей не ровня, – подумал Шеврикука. – И нити наших судеб из разной пряжи…»

Вновь были высвечены боевые особы, чей вид в пылу сражения еще не утерял привлекательности, головы их были прижаты друг к другу лбами, руки хватали за уязвимые места, ноги пытались производить подсечки и удары по корпусу (туфли Александрин сбросила), дамы ревели, рычали, возбуждали себя криками устрашения. Щелкнул веер над ними, и они застыли. Потом Гликерия легонько стукнула сложенным веером по ладони, будто обращая на что-то внимание. Лучи ее диадемы рассекли черные углы и тайны нижних палат Тутомлиных. Гликерия повернула руку, перстень на ее пальцах блеснул золотом. Золотой удар чуть не сжег паутину, державшую Шеврикуку. Невзора-Дуняша и Совокупеева глядели на Гликерию. Совокупеева с интересом, но и насупясь, Дуняша с обожанием, с гордостью верной сподвижницы, пусть для кого-то – и прислуги. Она будто забылась, пальцы расслабила, отпустив волосы Совокупеевой, открытую ладонь подняла к небесам, к Гликерии, призывая самозванку к благородным действиям: мол, опомнись и рассуди, кого отважилась заменить. Жест Дуняши был истолкован превратно. Или никак не истолкован. Совокупеева захватила расслабленную Дуняшину руку, рванула ее на себя и швырнула Дуняшу через бедро, заставив сведущего в приемах японца оценить бросок одобрительным криком.

Сразу же началось невесть что. Свалка, потасовка, катавасия, хождения по головам, битье предметов, физиономий и стен. Шеврикука, изначально положивший себе ни во что не вмешиваться, был вынужден все же участвовать в мелких событиях, хотя бы из побуждений уберечься и по возможности себя не обнаружить. То, что происходило в нижних палатах, а потом и во всем доме, дворе и на улице, не всегда оказывалось доступным любознанию Шеврикуки. Случались и скачки в восприятии им ночной действительности, ее перепадов и беспричинной неосторожности. Но кое-

что он видел. О прочем узнал.

Понятно, что вероломный бросок через бедро Дуняшу мог лишь раззадорить. Она вскочила, оттолкнула Совокупееву, заграбастала японца и им, как бревном, стала шевелить публику. Японец ей сейчас же надоел и был отпущен на пол. Но уже дрались сторонники привидения Александрин со сторонниками Невзоры-Дуняши. И все остальные дрались неизвестно из-за чего и неизвестно с кем. Толкались, бились, стервенели, крушили, рвали материю, кричали, ругались, над всем, на стенах, вновь плясали цветные пятна. Ухали петарды, полз дым, щипало глаза. По лестнице в нижние палаты ворвалось новое воинство, возбужденно-радостное, будто пробилось не в подземелье, а одолело стены Измаила и получило город на три дня. Выкрикивались при этом и отчаянно-обличительные слова. То были жильцы коммунальных квартир дома на Покровке. Видно было, что их подняли из постелей, но трое предводителей были вполне одеты. Среди них, к удивлению Шеврикуки, оказался Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный. Он размахивал Андреевским флагом и кричал:

– Но народ не унывает!

Его боевые сподвижники провозглашали требования: «Верните привидение! Долой лжехозяев! Отдавайте привидение народу, паскуды!» Но в последних словах явно слышались ноты неверия в свои свободы и муниципальную справедливость. Сергей Андреевич, Крейсер Грозный, выяснилось позже, посещал на Покровке приятелей, флотских, с ними он вспоминал императора Хайле Селассию, поход под Африкой в Парагвай и преждевременную смерть капитана Флинта на Сандвичевых островах. Закусывали. Сели в девять вечера. Растворяли братские чувства. Начали с «Варяга». Исполнили «В тумане скрылась милая Одесса» и только затянули «Последний матрос Севастополь покинул», как снизу стали мешать вокальному искусству. Надо было разобраться с безобразием. И оказалось, что безобразие до того глубоко и обширно, что требовалось поднимать жильцов с коек и свистать всех вниз. Все уже отняли у жильцов, и ум, и честь, и совесть, и хлеб, и кефир, отнимали квартиры, а теперь взялись за привидение. Жильцы спросонья поняли, что привидение, пусть являвшееся к ним и не всегда внятно, – их, и ничье более, бедная девушка, изведенная извергами, но и ожившая, ими, жильцами, вскормленная, взлелеянная, воспитанница, почти родное дитя. Теперь ее хотели погубить вновь. И не только погубить, но и заработать на погублении чужого имущества. А если иметь в виду приглашенных иностранцев, то и нанести культурный ущерб Отечеству. Шеврикука не исключал, что к жильцам примкнули бомжи и просто посторонние личности. Потасовка стала совсем свирепой, в ход

могли пойти и ножи. А Пелагеич спал. Или хоронился в трущобах запечья. Полотнище флага Крейсера Грозного сорвали, похоже, и растерзали, но ничто не могло остановить отважного останкинского морехода, голос его гремел громкопобедно. Крейсер Грозный размахивал древком флага, толстым, как дубина, и рвался освобождать привидение. С криком «Народ не унывает!» он сокрушил оказавшегося на его пути японца, на всякий случай прокатил его по полу, огрел следующего. Следующим был Дударев.

– Ба! Дударев! И ты здесь! – обрадовался Крейсер Грозный. – Где привидение?

– Вон привидение… – вяло сказал Дударев, обессилевший и измятый.

– Это Совокупеева! – захохотал Крейсер Грозный.

– Это привидение, – пробормотал Дударев и упал. Последние его слова прозвучали завещанием: – Наше при… Защити его.

Наводить справки, какое привидение имели в виду коммунальные жильцы, Крейсеру Грозному было не у кого, боевые сподвижники его, наверное, одолевали противника на флангах, Крейсер Грозный с ревом, нос трубой, двинул вперед. Наткнулся на Совокупееву и чуть не разбился об утес ее плеча.

– Совокупеева! Ты чего голая? Ты привидение, что ли? Вся в синяках. Это тебя, что ли, хотят угнать в рабство?

– Тише… тише… – зашептала Совокупеева. – Какое рабство! Не гогочи! Да, привидение. Из-за этой растеряхи Леночки Клементьевой. Да… Вон те, две, нам вредят… Самозванки!

– Ладно! – вскрикнул Крейсер Грозный и взмахнул древком. – Вот те две? Да это разве привидения? Это же бабы!

При этих его словах началось новое нашествие в нижние палаты Тутомлиных. Разобрав, расколошматив, разбросав доски, оставленные реставраторами в дверных и оконных проемах охраняемого государством памятника, в подвалы ринулись городские жители. По большей части – зеваки. После салюта с шутихами они окружили дом и, рты раскрыв, будто фанатики шахмат следующего хода Каспарова, ожидали сообщений о ночной прогулке изведенной покровской девы. С ними доверительно беседовали стражи порядка. Но не все там были бескорыстные зеваки, не все. Стоял и жужжал, выражая недовольство устроителями, уже упомянутый мужчина-бузотер с кофром. Вернулись, выгрузив добычу, и многие другие дневные гости дома. Вдруг и вечером что-нибудь отсыплется. Проходил мимо и остановился молодой человек с рюкзаком и альпенштоком. И надо сказать, стоять было интересно. Сообщения о ходе прогулки привидения поступали постоянно и самые невероятные, от них

дух захватывало, а рты открывались все шире и шире. «Это та, которая, помните, стреляла в великого князя…» – «Нет. Та из Лялина переулка. Это которая разбилась на стратостате Осоавиахима…» Потом разнеслось: «Их три! Раздают иностранцам! Делят!» А уж когда очевидным стало, что привидения могут поделить окончательно и ничего не достанется, увлекая за собой милиционеров, ринулись в оконные и дверные проемы, потому как иначе жить дальше было нельзя.

При общей толкотне и свалке у Шеврикуки вдруг начались перебои сознания. В нем самом причин для них не было. У кого он мог вызвать возражения и кому могло оказаться неприятным его присутствие? Неужели он, Шеврикука, имел неверное понятие о домовом Пелагеиче? Вряд ли. Воздействовать на него принялась сила, Шеврикуке неведомая. Этой силе пришлось противиться, она была настырна и неутомима. Не одно уже любознание удерживало теперь Шеврикуку в доме Тутомлиных. Гликерия перестаралась. Платье ее, да еще со шлейфом, было хорошо для хождений над публикой и в завороженных стенах. Но Гликерия спустилась выручать Дуняшу. Ее могли и затоптать. Хорошо хоть набежавшие сверху и с улицы не знали, кто здесь привидение, кого сдают в аренду и кого делят, к тому же все они очень скоро в месиве толкотни стали частицами общего дурева, сами по себе ничего не значащими, они желали лишь устоять на ногах и дать по роже, кому – в ответ, кому – на всякий случай. Шеврикука вовсе не собирался встревать во что-либо, да и не мог, однако теперь его тянуло быть поближе к Гликерии. «Не буду я ей ни в чем способствовать! Еще чего!» – говорил себе Шеврикука, но его тянуло. Пребывал он еще пауком, стал энергично удлинять паутину, по камням свода передвигаясь к Гликерии, попавшей в осаду. «Ну и попала в осаду, возьмет и уйдет куда хочет, сквозь стены, сквозь людей. Сквозь меня!» Ворчал, а сам двигался. Тут его и взяли в оборот, стараясь вовсе погасить в нем сознание. Но не смогли. Однако на время затухли впечатления и поступки Шеврикуки. Вот-вот он видел Гликерию уже рядом, бровь ее рассечена, струйка крови бежала по щеке. «Это у Гликерии-то кровь?» – успел удивиться Шеврикука, и – темнота… Вот он снова живет и действует, несется по тесаным камням, но Гликерии под ним нет. Шеврикука остановился в растерянности, оглядел «Ходынское поле». Все та же толкотня продолжалась под ним. Никем не остановленные осветители и пиротехники (или кто там занимался эффектами у Дударева?) не утихомирили пляски цветных пятен, да еще и швыряли дымовые шашки и петарды. Полпрефекта Кубаринов взывал к законодательной власти. Крейсер Грозный опять колошматил древком неуспокоенного японца, повторявшего: «Привидение Александрин! Перл-

Харбор! Пожалуйста!» «Я тебе покажу Александрин! – воодушевленно гремел Крейсер Грозный. – Я тебе покажу Перл-Харбор!» Молодой человек с рюкзаком на спине, спешивший днем в Сверчков переулок на собрание скалолазов, с альпенштоком в руке ползал теперь по опорным столбам и сводам, крошил камень и направлялся к Шеврикуке. «Придется его сдунуть, – прикидывал Шеврикука, – не то ведь задавит. А он цепок». Но, усилив свою чувствительность к предметам и существам, недружелюбно настроенным к нему в предпотолочье, Шеврикука вдруг открыл, что в поход на него двинулись насекомые из разных закоулков дома. Уже приходилось обращать внимание на легкомыслие Шеврикуки. Занявшись якобы от скуки плетением кружев, беседок и замков, он будто и не держал в голове мысли о местных постояльцах. А ведь слышал сегодня напоминание о том, что изверг Бушмелев был здесь зверски и до смерти заеден насекомыми. Толпа пауков с клопами в психической атаке шла прямо на Шеврикуку. Этим передовым смельчакам не повезло. Молодой скалолаз с альпенштоком, стремясь к вершине, прополз по своду мимо Шеврикуки, не задев его, зато недругов кого раздавил, кого осыпал в бушующую внизу толпу. Погибших сменили новые бойцы, угрюмо приближались к Шеврикуке. Рядом возник прыткий, заскочивший с тыла паучок, Шеврикука хотел было сбросить его в толпу, но услышал: «Не пропадем. Я при вас. Не пропадем». И будто бы голос знакомый. «Пэрст, а ты здесь откуда?» – спросил Шеврикука. И снова – темнота… Далее он сидел в освещенной комнате, похожей на гримерную. Он был уже не паук, а имел человечий облик. А может быть, он сидел никакой, невидимый. Во всяком случае, барышня, рыдавшая перед зеркальной створкой, его не видела. Но она и никого не видела. Барышня эта была Елена Клементьева, музыковед, обожавшая Митеньку Мельникова. И Шеврикука понял: это ее по причине хрупкости, мечтательно-влюбленного взгляда, белизны щек и плечей назначили привидением. А она не оправдала доверия. На стульях вокруг нее лежали кофточки, ночное белье, нижние юбки, ленты, шляпы, на полу колоколом стояло платье роброн будто с полотен Левицкого или Боровиковского. Совокупееву, видимо убиравшую Леночку к выходу, в интересах дела отправили к публике привидением, притом в случайном и сборном костюме. Или она сама вызвалась стать привидением в отчаянии и кураже. «Вы, Леночка, не расстраивайтесь, – сказал Шеврикука. – Митенька вас не видит. Вы еще услышите полет шмеля». «Кто здесь? – вскрикнула в испуге Клементьева. – Кто вы?» И опять – темнота… Потом хождение в узких, кривых коридорах. Лабиринт, убежище утомившегося повесы-коллекционера?.. Чьи-то тени. Чьи-то блудливые глаза. Неужели

Продольный? Этот-то здесь каким образом? Останкинские и вообще не должны были бы попасть на Покровку. А с Продольным рядом и так называемый дядя, мордоворот и атлет, уполномоченный Любохват. Зачем они здесь? Какие у них интересы? Неужели у них есть интерес и к привидениям?.. А это кто? Бордюр? Где он? Рядом? Или в нем, в Шеврикуке? Или нигде? Нет, кто-то сдавливает его плечи. По-приятельски, но и назидающе властно: «Успокойтесь, Шеврикука. Да, и мы здесь. А где же нам быть? Но успокойтесь. И остыньте». И снова – провал в темноту… Он, Шеврикука, в подземелье с низким, плоским потолком. Ледяная декабрьская стужа. Кости и черепа в углах. Узилище Бушмелева или застенок иного столетия? Сам он проник сюда или брошен, заточен навечно? Похоже, сам… Но сейчас откроется люк в потолке и спустится к Шеврикуке вырвавшийся, наконец, из оков проклятий свирепый дух Бушмелева. Вот его гремящие шаги… И опять – свалка в нижних палатах. Вдруг и впрямь вырвался на волю свирепый дух? Неужели никто не слышит его мстительный рык? Его, упрятанного, скованного, будто укрощенного навсегда, возбудила, растревожила, взбеленила дурная людская свара. Как бы не воссоздались и не ожили в нем гордыня и угрюмый зов злого помысла. Неужели никто не чувствует, что он уже раскачивает дом, что в дико-могучем порыве жаждет разнести, разломать, изувечить все и всех? А уж пауков, а уж насекомых, тех в первую очередь… «Да что это я? Что со мной происходит? – недоумевал Шеврикука. – Я не паук и не дрозофила. Я побыл ими. И хватит. Чего я путаюсь?» А уже и не пугался. Уже тот, испытанный им в Доме Привидений Ужас охватывал его. И воображалось невообразимое – как нечто злорадное, несокрушимое разрастается, разливается повсюду, извергая холодный ядовитый огонь и запахи праха. А вокруг уже кричали: «Земля трясется!» – «Это в метро, в туннелях, взрывы и сдвиги!» – «Помпеи и Геркуланум!» – «Свету конец!» – «Сумку верните! Отдайте сумку!» – «Газ! Газ пустили!» – «Слезоточивый!» – «Нервно-паралитический!»…

Под руку кто-то выводил Шеврикуку дверным проемом нижних палат во двор, на воздух. «Пэрст! Капсула! Это ты?» – смог пробормотать Шеврикука. «Все в порядке. Все будет в порядке», – услышал в ответ. Обернулся. Пэрста-Капсулы рядом не было. Люди, растерзанные не менее чем Шеврикука, ошалевшие, выбирались в свежесть московского утра.

Командир расчета минометчиков, уже бодрый, поинтересовался:

– Ну все, что ли?

И пошел производить – в честь окончания церемонии – орудийный салют.

20

В малахитовой вазе пенсионеров Уткиных Шеврикука проспал девятнадцать часов. Обычно для отдыха и здравия, если помните, ему хватало двух часов. Ну трех.

Видения явились Шеврикуке лишь на исходе восемнадцатого часа сна. Они были спокойные и малолюдные. И Шеврикука не нервничал, обозревая повседневную останкинскую действительность. Тогда ему показалась Всемирная Свеча. Ее не было, но вдруг она стала расти. Образовалась она посреди улицы Королева и была равно удалена от Останкинской башни и Космического монумента с мыслящим Циолковским в подножии. Люди, знакомые с географией Останкина, могут предположить, что Всемирная Свеча восстала из земли как раз напротив бывшего и достопамятного пивного автомата и что ее росту способствовали пивные дрожжи. Но нет, должен огорчить их. Свеча росла все же ближе к пруду и Башне, а пивные дрожжи, даже если учесть, что Свеча явно состояла не из стеарина или воска, вряд ли что-либо значили в ее судьбе. Впрочем, Свеча произрастала во сне Шеврикуки, и он был волен поставить ее хоть бы и у пивного автомата. Однако оказалось, что не волен. Всемирная Свеча была сама по себе, а Шеврикука мог лишь свидетельствовать ее существование.

За полчаса Всемирная Свеча стала куда толще и выше Башни (о Космическом монументе и говорить нечего), проткнула облака и устремилась в выси. Облака обтекали ее, лишь редкие задерживались и терлись о нее боками. Кстати, облаков было немного. Свеча стояла, росла, но не горела. Не светила и не обогревала. Видимо, в этом не возникало нужды.

Как полагал Шеврикука позже, во время наблюдения Всемирной Свечи он однажды во сне повернулся с боку на бок и, повернувшись, обнаружил над Останкином новый предмет. Предмет не предмет, а неизвестно что. Он то и дело менял формы, а возможно, и свойства. Для облегчения мыслей Шеврикука стал называть Это Неизвестно Что – Пузырем. Тут Шеврикукой были допущены неточности и упрощения. Отчего именно Пузырем? Отчего не Пупырем? Отчего не Каплей? Отчего не Надувным Матрацем? Отчего не Плотом для речного лежебоки? Да мало ли как можно было назвать предмет. Поначалу Шеврикука обеспокоился: не создает ли Это Неизвестно Что, посетившее Останкино, какие-либо

неудобства Всемирной Свече? Нет, беспокойство его вышло лишним. Пузырь плавал и передвигался сам по себе, никому не навязывался, никого не обижал, ни на что не натыкался. При этом нельзя было определить, каких он размеров и где находится. С уверенностью можно было только утверждать, что размеров он, скорее всего, гигантских, а находится над Останкином. Границ он вроде бы не имел, а вроде бы имел и границы. Предмет показался Шеврикуке нежно-серым, но при изменении его внешности и объема в нем возникали и иные цвета: то перламутрово-палевый, то бледно-фиолетовый, то тихо-бурый. Иногда же в недрах Пузыря вспыхивали и переливались таинственные огни. И слышалось Шеврикуке, что в Пузыре нечто фыркало.

Ну и ладно. Пусть будет так. Всемирная Свеча и Всемирная Свеча. Пузырь и Пузырь. С тем Шеврикука и проснулся.

Долго приводил себя в порядок. Ему потребовалось много воды, снадобий и разнообразных гигиенических средств. Он стал совершенно чист, сух, хорошо пах, тогда и вышел на улицу.

В Останкине не возвышалась Всемирная Свеча, а в высях не плавал Пузырь.

«Что и отрадно», – отметил Шеврикука. Одна такая Всемирная Свеча сентября 1771 года Москве запомнилась надолго.

На оздоровительную прогулку в парк, выяснилось, Шеврикуке не хватило сил. Ноги никуда не желали вести. «Будто меня вчера били мешком с фасолью», – расстроился Шеврикука. Судил он обо всем вяло и бестолково. Сел на скамейку, подумал: «Что это за дурь наводили на меня на Покровке? Кто и зачем?» И задремал.

– Ба, милый вы мой, да вас, видно, разморило! – услышал Шеврикука. – Ну тогда сейчас же за мной! В порт приписки!

Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный, тормошил его. В сумках Крейсера Грозного звякало и булькало.

– Сколько времени? – спросил Шеврикука.

– Восемнадцать ноль семь! – сказал Крейсер Грозный. – Все давно за столом. Пришлось ходить в автономное плавание. Груз взят. Следуйте за мной!

– Нет. Не могу, – пробормотал Шеврикука.

– И не упирайтесь! – захохотал Крейсер Грозный. – На базе ждут возвращения морских охотников.

Шеврикука встал и поплелся за Крейсером Грозным в свой же собственный подъезд. Зачем? Зачем поплелся-то? Но вот поплелся. Его шатало. Ему было все равно. Он отсутствовал на Земле. А где

присутствовал? Похоже – нигде. Из него истекли желания, интересы и воля.

– Ну вот и мы! – объявил Крейсер Грозный, впуская Шеврикуку в квартиру и радуя тех, кто давно за столом, свежестью восприятия жизни. – Прибыли для дальнейшего прохождения службы. Это мой старый приятель Игорь Константинович. Тоже останкинский. А это мои боевые мужики!

И Крейсер Грозный опять захохотал.

Сил поклониться боевым мужикам у Шеврикуки не нашлось. Мужиками этими оказались японец, которого в доме на Покровке Крейсер Грозный просвещал древком Андреевского флага, бывший служитель бывшего Департамента Шмелей и соцсоревнователь Свержов и двое флотских друзей Крейсера Грозного, отстаивавших вчера (или позавчера?) право коммунальных жильцов на свое, потомственное привидение. Эти двое спали за столом, откинувшись на спинки стульев.

– Подъем! – заорал Крейсер Грозный.

Покровские флотские, не открывая глаз, лишь пошевелили пересохшими губами.

– Ну ладно, – сказал Крейсер Грозный. – Тебе, Константинович, сразу штрафной стакан для сугреву.

– Нет. Нет! Не могу! – взмолился Шеврикука. – Только чай!

– Хорошо, – согласился Крейсер Грозный. – Будет тебе чаепитие. Мы уважаем любое, пусть и противоположное мнение.

Остальным он плеснул в стаканы «Пшеничную». В последние недели в допущениях народа к питью случались просветы, и не один самогон являлся теперь на столы граждан.

– Константиныч, – сказал Крейсер Грозный, положив руку на плечо разомлевшего японца. – Вот ты не поверишь, а это мой лучший Друг. Такеути. Да. Такеути Накаяма. Давай выпьем и поцелуемся, Такеути-сан!

– Пожалуйста! – обрадовался японец.

– Гнал бы ты подальше всех этих косопузых! – сердито сказал Свержов.

– Ты не прав, – возразил Крейсер Грозный. – Вот ты сидишь за столом, а Такеути-сан бегает и, между прочим, марафоны. Он – марафонец. Туда-сюда. Хочешь – по ровному месту. Хочешь – по холмам. Хочешь – на Фудзияму.

– Пожалуйста! – подтвердил японец.

– Ба! Свержов! – сообразил наконец Крейсер Грозный. – Ты опять повесил свой дурацкий плакат! Уже снимали! И теперь снимем!

На груди и на животе Свержова на проволочной дуге, обходившей шею, держался фанерный транспарант со словами: «Не вписался в

исторический поворот». Совсем недавно бывший соцсоревнователь Сверджов открывал торговлю египетскими бульонными кубиками вблизи Малого театра. А сегодня Сергей Андреевич, Крейсер Грозный, увидел Сверджова у Крестовского моста на тротуаре, с опрокинутой тюбетейкой для подаяний, пристыдил его, поднял с колен и чуть ли не силой привел к себе. Сверджов сначала бранился, потом плакал и позволил снять фанеру. Теперь опять водрузил ее на себя.

– Я не ради возбуждения жалости, – стоял на своем Сверджов. – А как документ предупреждения. Россия кровью набрякла!

И стукнул кулаком по столу.

– Но народ не унывает, – строго сказал ему Крейсер Грозный.

– О, Фудзияма! Е…на мама! – не открывая глаз, пропел один из покровских.

– Япона мама! Япона! – поморщившись, поправил вульгаризм приятеля Крейсер Грозный. – Вот япона. А вон там, далеко, – его мама. Эти японцы, – Крейсер Грозный обращался к Шеврикуке, – как дети малые. Как наши братья меньшие. Их обидеть ничего не стоит. Я позавчера его, Такеути, чуть не изувечил. Может, и было за что. Но все равно… Из-за чего, сан Такеути, я тебя бил?

– Привидение, – пробасил японец. – Александрин!

– Во! – загоготал Крейсер Грозный. – Мы позавчера ловили привидениев! Вон у них, у Петра и Дмитрия. На Покровке.

– Белое привидение. Нежный цветок. Александрин! – подтвердил Такеути-сан. И кивнул Шеврикуке: – Я и вас там видел, уважаемый Игорь Константинович.

– Я там… я нигде… – вяло покачал головой Шеврикука. – Я не был там… я позавчера… я был здесь…

– Константиныч, и ты там был? – удивился Крейсер Грозный.

– Нет, я…

– Я снимал, – улыбнулся японец. – У меня есть фото.

Такеути-сан достал из портфеля фотографии и вручил их Крейсеру Грозному. Оживились и покровские приятели Сергея Андреевича. Фотографии пошли по рукам, доползли и до Шеврикуки.

– Меня нет, – прошептал Шеврикука. – И не могло быть.

Его на фотографиях не было. А вот Гликерия и Невзора-Дуняша на них присутствовали. Это обстоятельство в иной раз не просто бы удивило Шеврикуку, а изумило бы его. Теперь он лишь принял его к сведению. И кровь текла у Гликерии из рассеченной брови, тихо вспомнилось ему.

– Точно, нет нигде Игоря Константиновича, – заключил Крейсер

Грозный. – Ты, видно, ошибся, Такеути-сан, москвичи-то они все на одно лицо. Или аппаратуру вы делаете пока слабую, малочувствительную.

– Видимо, ошибся, – расстроенно согласился японский гость.

– Зато бабы выходят у вас хорошо. И что мы с тобой дрались?

– Прекрасное привидение Александрин, – вздохнул японец.

– Да что ты нюни распустил! – Крейсер Грозный приблизил бутылку «Пшеничной» к стакану Такеути-сана. – Дадим мы тебе эту Александрин! Нужна нам эта Александрин! Вон Свержов не даст соврать. У нас этих привидений пруд пруди! Экая важность! Вам надо – берите. Вам острова нужны – берите. У нас этих островов! Хотите, мы вам еще и города дадим. Как скажешь – сейчас же! У вас какие города? Хиросима, Нагасаки… Вот. Нагасаки! А мы вам в придачу дадим Семилуки, Кобеляки… Еще что?

– Кобеляки – это теперь не наши Кобеляки. Кобеляки – это теперь Великой Малороссии город, – не открывая глаз, произнес покровский Петр. – Или Малой Великороссии… Шут их разберет.

– У них Кобеляки, – подал голос Свержов. – Зато у нас есть Кулебаки.

– Вот! А у нас есть кулебяки! – успокоил японца Крейсер Грозный. – Еще вкусней. Особенно с судаком!

– Не кулебяки, а Кулебаки. На Оке. Рядом с Выксой и Муромом. Там железо делают.

«…На Оке под Муромом миллионщик Бушмелев владел железноделательными заводами», – вспомнилось Шеврикуке.

– Тем более! Кулебаки с железом! Это тебе не с судаком! – Крейсер Грозный чуть ли не в восторг пришел. – Давай шарахнем по стакану! А я тебе, Такеути-сан, расписку напишу. И на привидение, и на Семилуки с Кулебаками. Выдать – и немедленно! Хочешь – на два привидения. Одно возьми тощее. Хочешь еще города? Вон там валяется атлас. Подбери. А я пока пойду подогрею водку и перелью в чашку. Чтоб была, как саке.

– Не надо! Греть не надо! Пожалуйста!

– Не надо. Греть не надо, – согласился Крейсер Грозный. – Это по-нашему. Слушай, Такеути-сан, давай поцелуемся!

И Крейсер Грозный с японцем Такеути Накаямой обнялись и расцеловались. Осушили стаканы.

– Нет, Константиныч, ты понимаешь, – опять обратился Крейсер Грозный к Шеврикуке, – позавчера мы с ним бились, как лютые враги, мне он ребра поломал, ну не ты, не ты, Такеути-сан, а давай я тебя буду звать Сан Саныч, не ты, не ты, успокойся, кто-то другой, и этим, моим чернофлотским корешам, Петру и Дмитрию, носы своротил, ну не ты, не ты, Сан Саныч, успокойся, а сегодня мы нашли друг друга и стали, как

братья. Где бумага? Где ручка? Вот бумага. Вот ручка. Пишу. Все свидетели. От Имени… кого? И по поручению… кого? Не важно. На основании закона… Во! На основании закона. Выдать господину Такеути Накаяме… Накаяме… так… выдать привидение Алексан… нет, замнем для ясности, просто привидение, количеством одно, проживающее… нет, имеющее место в доме номер… забыл, глазами помню, а номер забыл, это мы вставим… на Покровке и города Семилуки, Кулебаки и… и Армавир! Хватит пока?

– Хватит! Хватит! Пожалуйста!

– Ставлю подпись. И вы все расписывайтесь. И в получении тоже.

– Ты, Грозный, прекрати городами разбрасываться! – воинственно произнес Свержов.

– Да у нас этих городов!

– Дмитрий, – стал тормошить соседа покровский Петр, – Серега наше привидение выдает Японии.

– Не допустим, – не открывая глаз, произнес Дмитрий.

– Да не ваше привидение, дурачье! – Крейсер Грозный показал всем фотографию, исполненную Такеути-саном, и ткнул пальцем в Невзору-Дуняшу. – Или вот это.

«Ни в коем случае!» – ощутив покушение на права и свободы Гликерии, хотел было протестовать Шеврикука, но не смог и промычать. «Так нельзя. Так нельзя. Надо стряхнуть с себя дурман. Нельзя жить таким расслабленным, будто заговоренным или заколдованным», – пытался внушить себе Шеврикука. Все в нем, и мысли тоже, было растянуто, зыбко, уплывало куда-то и не имело краев. Надо было удержать себя в своей сущности, сжать себя, восстановить очертания и защитные свойства. Ну, ну, еще, еще, через боль, через страх, ну, принуждал себя Шеврикука к самоуправлению. И отчасти преуспел. Все в комнате стало для него определеннее и очевиднее. Можно было разглядеть следы сражения на лицах японца, Крейсера Грозного, понять, что глаза покровского жителя Дмитрия не открываются по причине того, что они затекли. «И, несмотря ни на что, Такеути-сан и особенно Крейсер Грозный бодры и свежи, – думал Шеврикука, – а я…» Хозяин квартиры Сергей Андреевич, останкинский Громобой, был несомненно бодр и радовался обстоятельствам окаянной жизни, будто бы все они были достойны флагов расцвечивания.

– Ты этой Фудзияме отпиши еще своего змея, – мрачно посоветовал Свержов.

– Какого змея? – оживился японец. – Пожалуйста. У вас есть змей?

– Слушай, Свержов, – сказал Крейсер Грозный, – ты все со своей фанерой сидишь. То ты носил значки победителя соревнования, сразу три штуки, и их не снимал. Теперь не снимаешь фанеру. А ведь снимешь.

– Я говорю: змея не зажимай. Анаконду своего.

– Анаконду? – Такеути-сан не мог успокоиться. – Мы очень любим змеев. Мы запускаем змеев. У нас в легендах…

– Это потом. Когда-нибудь, – Крейсер Грозный нахмурился. – Змей занят. Из вас кто-нибудь пил с императором? А я пил. С Хайле Селассиеи! Ты вот, Свержов, пил с императором? Нет!

«Кто же меня дурманил? – вернулся к своему Шеврикука. – Не ставили ли надо мной опыт? И были ли на Покровке Пэрст-Капсула, Продольный с Любохватом, зоркие сычи из Темного Угла, Бордюр? Или они мне примерещились? А может, постаралась Гликерия? Какой ей расчет? Все. Более об этом не думать. Сегодня – одно лишь восстановление и заставы на рубежах».

– Константиныч, а ты пил с императором? – загремел над ухом Крейсер Грозный.

– Нет. И сегодня, если император придет, я не буду пить с ним, – сказал Шеврикука. – Вы обещали мне чай.

– Царица Морская и папа ее Нептун! – Сергей Андреевич хватил ладонью по лбу. – Сейчас будет!

И принес через пять минут чай, с пряниками и крыжовным вареньем.

– У нас есть император. Пожалуйста, – сказал японец. – У нас в легендах змеи с крыльями. Ваш змей с крыльями?

– С крыльями! – кивнул Свержов. – У него змей с крыльями, с зубами и с яйцами, берите, не прогадаете.

– Насчет змея, Сан Саныч, успокойся, – сказал Крейсер Грозный. – Хочешь, я тебе еще достану привидениев. Они понравились иностранцам. Об этом пишут в газетах. В зарубежных тоже…

– В газетах? – поднял голову Шеврикука.

– Да! И в газетах! – шумно подтвердил Крейсер Грозный. – Сейчас найду. Вот. Заголовок на всю страницу: «Московские привидения – кровь с молоком!» Мнение иностранных специалистов: московские привидения – цветущие, румяные, упитанные… еще что?.. ага, сексапильные. И если, мол, у них такие привидения, то стоит ли завозить в Москву гуманитарные колбасные изделия и яичный порошок? Это они не подумавши. Ну что, Сан Саныч, будешь брать еще одно привидение? А то я отдам другим нуждающимся. Например, в Латинскую Америку или куда-то в Эртиль. Мне визитные карточки надавали, кого я бил. Так. Этот, с черными усами,

картавил. «Сеньор Хуан Ломбардьес Вера-Крус. Торговля каравеллами Колумба». Могу ему. А могу вот этому, который в свитере. Мультимиллионер из Эртиля. Где этот Эртиль, на каком континенте? Я ему свитер порвал. Ага. «Григорий Семенович Скотобойников. Эртиль. Воронежская область. Дом крестьянина „Опустошенный рай“. Фу ты! Этот-то как попал на показ? Ему и свитер порвать мало. Неужто в Эртиле и в Воронеже не хватает привидений? Я понимаю, в Вера-Крусе или у вас, Сан Саныч, в Японии! А в Эртиле-то!

– Разрешите на газеты взглянуть, – попросил Шеврикука.

– Константиныч, сделай одолжение. Да возьми ты их домой. Я себе отобрал. С фотографиями. Которая с неба спустилась особенно там хороша.

– Более всего Александрин! – мечтательно произнес Такеути-сан.

– Александрин! – рассмеялся Крейсер Грозный. – Я бы тебе рассказал про эту Александрин! Но нет, не могу. Не могу. Коммерческая тайна. Хватай ты эту Александрин и увози. Я ее тебе велел выдать, и баста! Потом сам взвоешь… А вот эта, которая спустилась с неба…

– Порой пишут и произносят нечто лишнее, – как бы самому себе сказал Шеврикука. – Сколько у нас всяческих иллюзий…

– Это верно! Это конечно! – охотно согласился Крейсер Грозный. – Возьмем вон этого же Свержова с его фанерой.

Крейсер Грозный обращался и к Свержову, и к нему, Шеврикуке, возвышался рядом, раскаты его голоса стали удаляться и затихать в углах комнаты, Шеврикука снова впал в полудрему. Он глядел в газеты, а слова расползались. Где-то вдалеке, в Чертанове или в Бутове, а то и в Коломне Крейсер Грозный обличал Свержова, басил Такеути-сан, и опять можно было подумать, что он хоть и японец, но вырос в сибирской деревне, так верно было его произношение. Крейсер Грозный держал в руке рогатку и катышами клинкера палил в фанерный щит Свержова, напоминая, что он вырос в мешках клинкера на Михайловском цементном заводе Рязанской области и в четыре года стал кандидатом в мастера спорта по стрельбе из рогатки, теперь пригодилось, теперь и по ночам он ходит по Москве с рогаткой, засунутой под ремень у флотской пряжки, и все хулиганы с обрезами и качки расступаются, его пригласили тренировать привидения, завтра он начнет. Или сегодня. Проявленный Такеути-сан интерес к орудию бытовой самообороны Крейсера Грозного привел к тому, что Сергей Андреевич с жаром и шумом принялся одаривать любознательного гостя разными модификациями рязанско-михайловских рогаток. Тут же рогатки были внесены в список «Велено выдать» вслед за городами Нагасаки, Семилуки, Кулебаки и двумя привидениями.

– Я пойду, – отважился встать Шеврикука.

– Иди, конечно, – одобрил Крейсер Грозный, Уже направляясь к двери, Шеврикука услышал высказанное Крейсером Грозным научное убеждение, что и в их подъезде должно быть свое привидение. Шеврикука насторожился. Но речь пошла не о получердачном бомже, а о Фруктове. Сергей Андреевич напомнил гостям об очистительно-оздоровительной кампании и ее жертве – ошельмованном, запуганном чиновнике Фруктове. Нет, Фруктов пока ни к кому не приходил, но вот-вот придет. А уж если на то пошло, то в таком вместительном доме, как Землескреб, в каждом подъезде обязано проживать по привидению. А то и по два. При нашем потенциале и геополитической мощи, считал Крейсер Грозный, привидения должны были заводиться вообще во всех строениях, не обязательно исторических. Покровский друг Дмитрий, не открывая глаз, стал возражать Крейсеру Грозному, ссылаясь на менталитет евразийской равнины. «Менталитет мы разрушим, – не унимался Крейсер Грозный, – кайлом и зубилом!»

– Я пошел… – пробормотал Шеврикука.

21

Буквы в газетах стали собираться в слова лишь через два часа. Газет лежало перед Шеврикукой много, и все они были независимые. Одна независимей другой. Пробираясь в квартиру Уткиных, Шеврикука выбрал во временное пользование бумажные листы из почтовых ящиков. Года полтора он почти не заглядывал в газеты, надоело, интересующие его сведения добывал из телевизионных новостей и милостей «Маяка». Оказалось, вылезли в последние недели из-под асфальта совершенно новые издания. Впрочем, и на них Шеврикука смотрел вяло и с безразличием. Лишь обнаруженные в «Свекольном вестнике» обширные публицистические рассуждения двух докторов наук В. Добкина и О. Спасского «Волнения домовых?» возбудили в Шеврикуке некий интерес. «Свекольный вестник» Шеврикука отложил.

В остальных же газетах имелись публикации о происшествии на Покровке, а в связи с ним – и о привидениях. Где – краткие, где – пухло-просторные, где – с ехидствами и тычками в бока народоуправителей, где – с успокоениями ученых, а где – и с серьезными попытками ввести привидения в контекст государственных или хотя бы городских проблем. Приводились мнения и соотечественников, и иностранцев, не всегда, кстати, прогрессивно настроенных. Почти все они, и даже не слишком дружелюбные к нам заезжие, сходились на том, что московские привидения действительно – кровь с молоком, в глазах у них – огонь и молодой задор или же пламень и грех, но уж опьяняющий, что они, как правило, цветущие, румяные и редко бледные, скорее упитанные, нежели тощие, умеренно полнотелые, а если даже и неумеренно полнотелые, то все равно крепкие и приятные на вид. Основывались при этом не только на Покровских впечатлениях, но и на множестве прежних наблюдений и случаев, нынче мгновенно припомнившихся. Наблюдения эти подтверждались и фотографиями. Чаще всего, правда, туманными (Совокупеева и Гликерия виделись на них расплывшимися снежными бабами), но именно туманности, потеки, размытости, искажения лиц персонажей и делали снимки документально-достоверными. Появившийся невесть откуда сексуально-мистический листок «Кикимора Лыткаринская» опубликовал скульптурно четкий вид обнаженной дамы с собакой под названием «Привидение с черной пуделью», но в тот же день был разоблачен и освистан кинологическим вестником «Сукин сын». Четкая

дама из «Кикиморы» была не привидение, а громкошипящая певица Мокробосова, гулявшая по эстрадам с песней «Чья бы корова мычала» (на английском), а собака была не черная пудель, а такса-кобель Луис Альберто, получивший на последней выставке в Битце приз упомянутого вестника «Сукин сын». Ясно, что этот мелкий казус никак не мог повлиять на эффект покровских впечатлений. Эти впечатления с пересвистами и переливами отлетели и в дальние страны. В откровенном еженедельнике «Говори да помалкивай» приводилось мнение некоего военного спеца некой примечательной страны, просмотревшего видеопленку с картинами сражения в нижних палатах Тутомлиных. Мнение, правда, официально пока не подтвержденное. Этот спец и чин заявил чуть не с восхищением: «Ну и живучи же, подлецы!» («Не Крейсера ли Грозного он увидел?» – подумал Шеврикука.) Этот спец и чин якобы добавил: «Если у них этакие привидения, то каковы же у них призраки, упыри, вурдалаки, а тем более доселе не известные нам существа» – и потребовал пересмотреть концепцию разоружения и космической обороны. В нескольких изданиях упоминались полпрефекта Кубаринов и Дударев, в гигиенической газете «Обмен веществ» он был назван продюсером, менеджером, картриджем и душеприказчиком. «Да… – остановился Шеврикука. – Насчет картриджа я не знаю, а вот душеприказчиком… Как бы он себе не навредил…» Кубаринов повсюду отвергал досужие домыслы беспринципной оппозиции, пошедших на ее поводу наивных обывателей и заверял, что интересы Москвы, ее жителей никогда и нигде не будут ущемлены и тем более не состоятся неразумные сделки, какие бы унизили честь и достоинство рубля. Что же касается якобы имевших место подачек, то он обещал на публике вывернуть все имеющиеся у него карманы. Не видел Кубаринов никаких угроз государственному имуществу и отечественной культуре, ни одного привидения, утверждал он, мы не уступим, не продадим и не уморим, а на все исторические особи будет заведен каталог, составителем которого решили призвать искусствоведа и реставратора С. В. Ямщикова. Душеприказчик, продюсер и картридж Дударев, давая интервью «Обмену веществ», как бы нехотя и между прочим («Об этом рано говорить, к тому же я суеверный, но…») высказался о грандиозном и долговременном проекте «Образ новой России». Всему дан толчок, никто теперь не винтик, не шестерка и не кухарка, а потому все слои, прослойки и существа наших земель будут участвовать в этом, пусть и дорогостоящем проекте. У нас есть чем гордиться, что показывать, отчего же и приниженных вчера, не имевших голоса привидений не вывозить за рубеж на фестивали и выставки? Если надо, они у нас спляшут. Если надо, выйдут на ринг. На

вопрос «Обмена веществ», все ли покровские привидения были подлинные и не случилось ли подставок, Дударев ответил чуть ли не обиженно, но и решительно: «Все подлинные, и никаких подставок!» Атлетические успехи привидений в женских видах отметили в газете «Кулак и мозоль». И вышли эти успехи не где-нибудь, а на дому, во дворе. В саморазвитии покровских привидений газетой угадывалась веселящая тело перспектива. Сегодня, когда государство хнычет и паникует, а спонсоры или дельцы от спорта вкладывают деньги лишь в коммерческие дисциплины, народ может захиреть, на мускул ослабнуть. А потому с дворовых удач трех обаятельных привидений может начаться новый подъем массового физкультурного движения.

С особой деликатностью Шеврикука рассматривал приложение к журналу «Московский стиль». (Тут мое перо начинает вздрагивать и вконец портить бумагу… Что я вру? Какое перо? Стержень простого шарикового инструмента! Я отношусь к числу шариковых бумагочеркателей. А почему рука и инструмент в ней вздрагивают? Да потому, что этот самый журнал «Московский стиль» редактирует моя жена и весь народ ее гомонит за стеной, дверь открыта, но, впрочем, ладно.) Так вот, в журнале с успехом проживала рубрика «Графиня ценой одного рандеву…» с путеводительным подзаголовком «Как стать богатым». А в сегодняшнем расторопном выпуске приложения появилась подрубрика «к Графине…» – «К ней призрак явился». Естественно, посвященная проблемам привидений. «Московский стиль» был не только журнал мод, но и культурологический, и читателям обещали, что в нем будут публиковаться очерки и исследования с историями московских привидений, с описаниями их привычек, нравов, этических поисков, приключений, драм любви, полезных и вредных дел. Но в первую очередь, конечно, пойдут моды, моды, моды! Все о модах и нарядах привидений. Все, все, все! В каждом номере журнала – двенадцать моделей костюмов с выкройками! Не останутся без внимания привидения и призраки полные и беременные. Вячеслав Михайлович Зайцев готовит специальную коллекцию «Мне призрак явился». Гвоздь нынешнего приложения – боевой Покровский пеньюар-кимоно. «Интересно, дадут ли они модели из бархата?» – подумал Шеврикука.

Но не одной модой жила Москва. Свои озабоченности и фантазии были у юристов, у пожарных, у стоматологов, у банковских воротил, у конструкторов самокатов, у секретных служб, у смотрителей фонтанов, да у кого хочешь, у флейтиста Садовникова, наконец. Они в спектры своих проблем справедливо помещали теперь привидения. И женского пола, и не

столь пока брутально-динамично заявившего о себе пола мужского. Легко взглянув на сетования известного адвоката Михаила Кошелева о бесправном содержании в нашем обществе привидений и сизых призраков (Шеврикука вспомнил, что этот самый Кошелев проживал на Знаменке в квартире Невзоры-Дуняши и Совокупеевой), он посчитал, что хватит, про привидения ему достаточно. И что это за личности такие замечательные – привидения. Будто ничего иного в природе нет. А потому придвинул к себе отложенный до приятной минуты «Свекольный вестник».

Он сразу же сообразил, что авторы публицистических рассуждений «Волнения домовых?» доктора наук В. Добкин и О. Спасский украшают собой институт, где преподает знакомая Шеврикуки по Землескребу Легостаева, Нина Денисовна, она же Дениза. И вот о чем публицистически рассуждали доктора Добкин со Спасским. Им рассказывали про какой-то дом в Грохольском переулке. Люди там в коммунальных квартирах умирали не поймешь от чего. И ни с того ни с сего. То поскользнется кто-то в коридоре на ровном и сухом месте и разобьет голову о разобранный соседом велосипед. То кто-то обрызнет себя дезодорантом, а через три недели умрет от белой горячки. Кто-то совершенно здоровый возьмет и утопнет в ванне, из которой при этом странным образом исчезнет вода. А на кухне то и дело случались глупейшие истории. Брыкались дуршлаги, кособочились сковородки (особенно когда на них жарились морковные котлеты), а потом сами собой выпрямлялись, вырывались из рук половники и опускались на лбы кулинаров, и не обязательно в грозы прокисали борщи. Не перечислишь дурное и комическое, творившееся в том доме. Конечно, все можно было объяснить тридцатью тремя несчастьями, стечением обстоятельств, нервическими и сосудистыми состояниями хозяев. Но даже в милиции таинственно задумывались. Съезжали старые жильцы, въезжали новые, а ничего не менялось. И конечно, по ночам кто-то невидимый бродил по дому, кашлял, матерился, плевал в щели, брякал невидимым ведром, а то и сморкался. «Базаркин! – шептали в помещениях. – Опять быть беде». Базаркина помнили. Базаркин, владевший домом и карамельной фабрикой до октябрьских беспорядков, умер в нищете, а умирая, проклял дом и всех, кто будет проживать в нем в предстоящие годы. В общем, история закончилась тем, что один из отчаянных граждан дом спалил, и о Базаркине более никто ничего не слышал. Далее Добкин со Спасским переносили читателя в пригород Петербурга. Там, при станции, стоял двухэтажный барак, и в нем жил студент путейского техникума Вася Чижов, очень чистый и добрый парень. Из-за несчастной любви он повесился и стал являться соседям в смутном

образе. Смутный образ его, правда, не сразу, а будто приглядевшись, стал вести себя вовсе не добро, а коварно и злонамеренно. Словно мстил всем. Причем, когда его спрашивали, изумляясь: «Неужели это ты, Вася Чижов?», он кивал в ответ: да, это я, Вася Чижов. Словом, много он натворил бед и безобразий, давая, кстати, понять, что он главный в доме. И никакие меры воздействия, даже и с опробованием лазерного хватуна, на смутный образ Васи Чижова не производили впечатления. Опять же кончилось тем, что барак спалили. И еще один сожженный дом упоминался Добкиным со Спасским, теперь уже деревенский. В нем никак не мог успокоиться замученный крестьянин Задоренков, объявленный в двадцать девятом году кулаком. Статья уже была подготовлена к печати, сообщали доктора наук, когда разыгралось происшествие с мордобоем на Покровке, причем все пострадавшие оказались, по их мнению, среди гостей и случайных зрителей. Им поддали. Буйствовал, конечно, покровский домовой, очень может быть вовлекший в свою акцию протеста безобидные. тени трех актрис крепостного театра Тутомлиных. Назывался мимоходом отягощенный кровавыми грехами заводчик Бушмелев. Не его ли была злокозненная затея? Тогда ее можно было бы посчитать пробной…

«Не свежий ли они пожар пророчат? – подумал Шеврикука. – Вроде бы он ни к чему».

Но все это шли случаи и факты. За ними последовали собственно публицистические рассуждения докторов наук. В. Добкин и О. Спасский обращали внимание на то, что домовые на Руси чаще способствовали ладу в доме и уж тем более не допускали порчи имущества. И даже если хозяева их были людьми дурными, несносными, унижали домовых бранью и высокомерием, опечаливали их своими безобразиями, как семейными, так и общественными, своей нравственной низостью, то и тогда они, домовые, не проявляли себя борцами, а просто утихали, прятались где-нибудь, устраняясь от забот и возлагая на хозяев все последствия их образа существования. Естественно, встречались среди домовых и натуры сами по себе подлые, те и вредничали из подлости. Но все это никак не влияло на общий ход событий. «В сущности, вредничанья и мелкие протесты домовых, – заключали доктора наук, – никак не посягали на верховенство и первопричинность людей, а служили средством предостережения». Добкин и Спасский соглашались с мнением ученых умов, считавших домовых некой энергетической субстанцией, вызванной биологическими и прочими полями людей, сменявших друг друга в каком-либо строении. Соглашались они и со сходством этой энергетической субстанции с фантомами-привидениями («Наконец-то эти доктора, – отметил Шеврикука, – доехали

до привидений».), чаще всего обитавшими в домах или дворцах с историей, насыщенных энергией живших здесь людей, их фантазиями, их чувствованиями и их болезнями. Но теперь искажаются поля людей, биологические и прочие, порождая ауру зла, неблагополучия, насилия и неподчинения. Очаги семейные чадят. Потому там и тут происходят взрывы, выбросы недовольства, гордыни, смутьянства, которые приведут к волнению домовых. Оно может получить и вселенский размах. Это в грядущем. А уже теперь следует озаботиться действиями домовых. Вряд ли могут возникнуть сомнения в том, что благодаря раздорам людей именно в местах их супернапряжений случаются вспышки холеры, землетрясения, оползни, взрывы складов корабельных снарядов, поломки реакторов и т. д. Вспомните старый Грохольский дом. Там на кухне буянили дуршлаги, сковородки и половники, и все это происходило в нашем уравновешенном прошлом. И тогда Грохольские фокусы были неприятны. Каких же страстей следует ожидать нынче? В последних строках публикации доктора наук дерзали призвать жителей столицы опомниться, умерить свою ожесточенность и пустую суету, иначе случится невообразимое.

«Интересно, показывали Добкин со Спасским статью Денизе? – задумался Шеврикука, – Но, может, они на разных факультетах и вовсе незнакомы?»

Шеврикука стал прохаживаться по комнате Уткиных от стены к стене и, надо сказать, нервно.

Фитюки и щелкоперы, мыслители! Обиженного, обокраденного домовладельца Базаркина и путейского студента Васю Чижова, того в смутном образе, приписали к домовым! К домовым! Хорошо. Далее. Таких, как он, Шеврикука, объявили энергетическими субстанциями. Кем же (или чем же) они сами-то, эти доктора наук, изволят быть, по их просвещенному разумению, на их естественно-научном диалекте конца так называемого двадцатого столетия? Но что он, Шеврикука, нервничает, что он кипятится, из-за чего? Конечно, ему были досадны восторги, «ахи» и «охи», чуть ли не танцы вокруг привидений, совершенно напрасные преувеличения их заслуг и возможностей. Но он ведь был не мальчик, не честолюбивый отрок, что ему-то теперь капризничать, раздражаться или даже ревновать к чужой славе (да и какой уж тут славе!), ему бы с сострадательной иронией отнестись к завиральной болтовне, к заблуждениям московских простаков и их гостей, у которых, похоже, и Александрин Совокупеева не вызывала подозрений. Да пусть заблуждаются. Пусть им милы сейчас привидения. Его, Шеврикуки, не убудет. Пусть обзывают его «энергетической субстанцией». Разве он сам знает, кто он, чего он и зачем. Впрочем, он

предполагает и чувствует зачем. Он слышит музыку этого зачем.

Хотя бы потому следовало успокоиться. Но успокоиться он никак не мог. Пока его не озарило. Дурман-то прошел! Безразличие ко всему исчезло напрочь! Туман бытия не рассеялся. Он и никогда не рассеется. Но чьи-то чары или чьи-то воздействия иного свойства рассеялись. И многое из случившегося на смотринах дома Тутомлиных он вспомнил, и многое ему стало очевидным. Но не все.

22

Шеврикука отправился в получердачье, но Пэрста-Капсулы не обнаружил. Однако недавнее присутствие Пэрста под крышей Землескреба ощущалось. Разыскивать Пэрста-Капсулу Шеврикука не посчитал нужным, хотя кое-какие ответы получить от него было бы нелишним. Но, видимо, Пэрст сам знал, когда и что ему, Шеврикуке, сообщить или открыть. Хотелось бы так думать… Но можно было допустить и иное. Во всяком случае, позавчера Пэрст-Капсула посещал дом Тутомлиных, с какой целью – ведомо ему (а может, и кому-то другому). Он то и дело оказывался рядом с ним, Шеврикукой, и сопровождал его (или конвоировал!) домой, в Землескреб.

Мельтешили и суетились в нижних палатах прохвост Продольный и двое его приятелей домовых из Останкина, одной породы с ним. Был там и так называемый дядя, бритоголовый боевик. Любохват. А может, только делали вид, что мельтешили? Дядя же чаще выглядел злым, властно-солидным и озабоченным. Какие заботы привели его на Покровку? Вряд ли интерес к его, Шеврикуке, личности. Хотя и такой интерес следует держать в уме. Не Продольный ли выкрикивал: «Бочонок Полуботка! Бочонок Полуботка!» Но как останкинские мелкие пройдохи (исключим Любохвата) вообще посмели суетиться в чужих пределах, как допустили это, не пресекли и не наказали? (Своему присутствию на Покровке Шеврикука как бы и не удивлялся, полагая, что тут случай особый, его собственный, но ведь и его, в конце концов, пытались обуздать и пресечь.) Или Любохват имел городские полномочия, а останкинские пройдохи были приданы ему подручными? А зоркие сычи из Темного Угла, проявлявшиеся в нижних палатах, они что – были сами по себе, по собственной охоте и страсти? Или по чьему-то приватному заказу, при наличных платежах за услуги? Или тоже были посланы в придачу Любохвату? А может, они наблюдали за определенной им (ими) персоной, прихватывая в обзоры своего бдения любые особы, скажем, и его, Шеврикуку?

Ну и пусть! Ну и их сычиное, темное дело!

Ответы на все имеются. А коли они есть, их следует добыть. Не все они будут полезны, не все вразумительны, иные его удивят, расстроят и ослабят. А иные и ужаснут. Ну что же, он сам выбрал себе развлечение.

И уж совершенно необходимо было уяснить, кто старался навести на него дурман или воздействовать, применяя слова просвещенных

специалистов, психотропным оружием, с какой опять же целью – попугать, предостеречь либо произвести над ним увлекательный опыт? Либо вовсе уничтожить в нем сознание? Шеврикука не слишком надеялся выяснить это сразу, но к новым атакам и опытам он был обязан готовиться.

Один ли был на Покровке (орудовал, наблюдал, интересовался, исследовал и пр.) Бордюр или с командой? И отчего они из своего наднаучия не могли обойтись для приобретения сведений приборами, датчиками, или что там у них имеется? Неужели и у них есть потребность в личном участии? И их тянет поглядеть, послушать, а может, и дотронуться до чего-то?

Леночку Клементьеву, узнал теперь Шеврикука, готовили к выходу не день и не два. А прежде долго уговаривали. Перед смотринами последовали запросы о привидении – какого века, какого пола, каких кровей, летает или парит, какова стартовая стоимость, нуждается ли в кормлении и т. д. Некоторые давали понять, что свой интерес к зданию связывают в первую очередь с ценностью привидения. Поначалу Дударев легкомысленно отнесся к подобного рода любителям. Но Кубаринов был категоричен «Вы бросьте эти свои либеральные замашки! Привидение должно быть! Договоритесь с ним!» Дударев пожал плечами и решил полпрефекту не противоречить. Он выезжал на переговоры с привидением, причем обращался к нему (к ней) в разных комнатах, залах, коридорах и даже на лестницах, в дневные и вечерние часы. Ответов не услышал, впрочем, он и не рассчитывал их услышать. Он полагал, что Кубаринов забудет о своей блажи, а если вразумленное им привидение вдруг явится на смотринах, он, Дударев, заявит Кубаринову: «Вот, пожалуйста. Переговоры были трудными, но успешными». И потребует отдельный гонорар. Кубаринов же не только не забыл о своей блажи, но и при утряске протокола церемонии распорядился выход привидения держать особым номером культурной программы. Тогда Дударев и вспомнил о Леночке Клементьевой. Она чахла по Митеньке Мельникову, этому дурошлепу. А значит, была чахлая. Привидение прежде всего должно покорять чахлостью, полагал Дударев, и, как оказалось, ошибался. Конечно, он мог бы нанять какую-нибудь удручающего вида артистку миманса, привыкшую скучать вблизи Жизели, или же, в расчетах сэкономить, мадемуазель из мосфильмовской массовки с нервической натурой. То есть тех, кто знал ремесло и был бы рад зрителям. Но все чужие – болтуны, особенно если им недоплатят. Уговаривать Леночку пришлось долго, но уговорили. С ней занимались, ей подбирали наряды не только в театральных костюмерных, но и в запаснике Новоиерусалимского музея, и все шло вроде бы хорошо.

Невинная пастушка, соблазненная барином, вот кем становилась Леночка Клементьева. Рассеянный гений, кандидат наук Мельников, под дулом дударевской воли вынужденный мудрить в нижних палатах со звуком и светом, и тот иногда, будто просыпаясь, удивленно смотрел на Леночку, видел ее в васильковом поле, и свирель из орешины пела рядом. Дудареву же она казалась фарфоровым изделием, и он отчасти был недоволен, по нему какие-либо выпуклости, округлости и вообще определенности форм для привидения были лишними, в идеале ему следовало быть чахло-плоско-размытым, ну да ладно, утешал себя Дударев, темноту произведем погуще. Леночка маялась, куксилась, капризничала, заявляла, что ей противно ломать комедию. Но вызвавшаяся быть при ней Совокупеева ставила Леночку на место. «А ну-ка к зеркалу! И поправляй ресницы!» – говорила ей Совокупеева Александра Ильинична, она же Саша, она же Сашенька, она же в дальнейшем Александрин. Дударев был экономист, и Совокупеева была экономист. А Клементьева – музыковед и в Департаменте Шмелей, в музыкальном управлении, занималась (в закрытой теме, ну и тем более) биомузыкой, вела и стрекоз, а потому Дударев считал ее натурой артистической, способной при случае лицедействовать и порхать. И вот он ошибся. В звездную минуту выхода Леночка, уже убранная, загримированная, надушенная печалью умирающих камелий, разревелась и отказалась являться. Тогда-то Дударев и бегал от рассерженного Кубаринова в походную гримерную с угрозами и уговорами. Пытались Леночку просто вытолкать, но она оказалась такой мускулистой и цепкой, что и Совокупеева не смогла справиться с ней. «Да что же это! – недоумевала Совокупеева. – А-а! Где наша не пропадала! Сарынь на кичку!» Она моментально сбросила с себя одежды, какие могли бы вызвать недоумения гостей, приказала ассистентам из инфизкультовских птенцов затянуть на ней корсет, добытый для Леночки, что они и произвели с удовольствием и хрустом («Кости-то не ломайте, гвардейцы!»), выбрала что-то из разбросанных там и тут тряпок, примяла свои роскошные волосы париком и шишаком Минервы, не удержалась, мазанула себя у зеркала красками и помадой, ей бы тогда – с гиканьем, да на спине лошади, да на манеж цирка, но пришлось присмиреть и притихнуть, но страдалицей не стала, а поплыла павой… Александрин… Некоторые были довольны. Полпрефекта Кубаринов был чрезвычайно доволен. Этакие ананасы да в его саду. Он служил в бывшем Департаменте Шмелей наверху, среди шмелей самых мохнатых, видел Совокупееву в президиумах, но в привидении ее не признал. Да и сам он был уже не тот, что в Шмелях. Кубаринов и Гликерию с Дуняшей посчитал произросшими

в его саду. Дударев тоже был, конечно, доволен. Правда, появление местных, не столь обязательных уже привидений его вначале смутило. «Вылезли бы вовремя и нас бы не томили». Когда же случилось приключение со вспышкой страстей, смысл которого мало кем был правильно истолкован, Дударев возрадовался. Ну пусть кого-то искалечили, ну пусть кому-то морду побили (и Дударева помяли), и пусть, без этого в Москве нельзя. Старались не зря, не зря накрывали столы, не зря тормошили живописцев, не зря добывали минометный расчет впечатление произведено! Произведено! А с привидениями и вообще делу даден неожиданный ход. Дударев уже сообразил, что сейчас долговременное городить нет смысла, а надо все соображать на ходу. Теперь он охотно разговаривал с репортерами и рекламными дельцами, и получалось, что три явленных привидения с его предприятием связаны контрактами. Есть и другие. У каждой из трех дам – своя судьба, свои коммерческие интересы, и они не разыгрывали интермедию, а стихийно проявили страсти трудового соперничества, по-старому – соревнования. Но их проблемы будут улажены. Так Дударев просвещал. Иногда задумывался: а вдруг эти две чужие бабы – не местные привидения, а бывшие сотрудницы какого-нибудь бывшего Департамента. Скажем, Департамента Дорожных Краж. Тогда дело будет сложнее. Но впрочем, пока мысли Дударева о привидениях были не самые важные…

А ведь Бордюр обещал, что более никогда вблизи меня не возникнет, вспомнилось Шеврикуке. Но взял и возник. И именно в той, поднебесной, а-ля бордюковской оболочке. В беседе с доверительными якобы интонациями Бордюр уверял, что Шеврикука и останкинские домовые находятся вне его задач и проблем, не известно каких, деловых ли, ученых ли, сыскных ли, или лабораторных, они ему даже не сбоку припека. Что ж, Бордюр, выходит, специалист по привидениям? Или его занимает совсем иное? Ладно… Важно было, что Бордюр появился в доме на Покровке и дал себя увидеть.

Не все прояснилось Шеврикуке в действиях (или в бездействиях) покровского домового Пелагеича и изверга Бушмелева. Оставалось ждать проявлений их натур. И не терпелось Шеврикуке посетить лыжную базу.

Шагая тротуаром вдоль Землескреба в направлении Останкинского парка, Шеврикука вспомнил, что в тетрадях и на отдельных листках Петра Арсеньевича выписки из тех или иных текстов сопровождались указаниями на библиотеки исчезнувшие – Я. В. Брюса, М. С. Лопухина и вот на библиотеку Тутомлиных и фонд С. Н. Тутомлина. Не в лабиринте ли, известном теперь Шеврикуке, делал выписки Петр Арсеньевич? Не служил

ли он вообще в какие-либо годы в усадьбе Тутомлиных, если не в главном доме, то хотя бы во флигелях или дворовых корпусах? И видел он, Шеврикука, записи Петра Арсеньевича о Всемирной Свече. Изучать их, правда, не стал. Не забрать ли сейчас у Радлугиных портфель Петра Арсеньевича? Нет. Не надо, решил Шеврикука, нет времени, и далась тебе эта Всемирная Свеча!

– Игорь Константинович, погодите, – окликнули Шеврикуку.

Шеврикука поморщился, остановился.

Нет, не Радлугин окликал его. Дударев.

Дударев, случалось, катался по двору и по Останкину на харьковском дорожном велосипеде. Порой даже озорничал с мальчишками и гонял колесом резиновые мячи. Теперь же он выглядывал из окна сиреневого «Запорожца» с номерным знаком, предположил Шеврикука, малого предприятия.

– Игорь Константинович, вам случайно наш Сергей Андреевич, Крейсер Грозный, не встречался?

– Сегодня нет.

– Вот стервец! И японец с ним пропал. Как бы они не загуляли! И Совокупееву вы не видели?

– Я ее давно не видел, – соврал Шеврикука. – Последний раз я ее видел, когда вы оплакивали Департамент Шмелей. Последний раз и первый. Я тогда с ней и познакомился.

– Вот и надейся на людей!

– У меня создалось впечатление… не так давно… – осторожно сказал Шеврикука, – что Сергей Андреевич вышел из вашего дела. После того как вы решили произвести его в сторожа с колотушкой.

– Вышел, вошел! – сказал Дударев. – Вчера вышел, сегодня снова вошел! Он с утра обещал связать меня с привидениями.

– С какими привидениями? – удивился Шеврикука.

– С какими! С теми! С двумя! С чужими. И пропал, стервец, с японцем! – Дударев негодовал уже громко. – Уверял, стервец, что на Покровке все привидения – его подруги!

– Я вас не понимаю, – сказал Шеврикука.

– Вы что, газеты, что ли, не читаете? И телевизор не смотрите? Два дня назад на Покровке…

– Я читал, – сказал Шеврикука. – Но в газетах мало ли что пишут. Зачем вы так шумите и волнуетесь?

Дударев быстро снял черные очки, посмотрел по сторонам.

– Да-да, вы правы, – Дударев заговорил почти шепотом, а Шеврикука

стоял уже в двух метрах от «Запорожца». – Всюду социальные и экономические завистники! Но Митенька Мельников скоро обезопасит нас от всех ушей, глаз и нюхающих носов. А вы наш. Вы же наш! Сколько я вам обещал платить в последний раз?

– Тысячи две с половиной.

– А сколько я положил вам при первом разговоре в Останкинском парке?

– Пятьсот пятьдесят.

– Вот. Пятьсот пятьдесят, – Дударев был доволен. – Потом две с половиной. А теперь я вам кладу шесть тысяч в месяц. И это ведь вы будете у меня по совместительству?

– По совместительству, – кивнул Шеврикука.

– Чувствуете, как растет ваше благосостояние? Не растет, а скачет!

– Чувствую, – согласился Шеврикука. – Не благосостояние, а Сергей Бубка.

– Я понимаю вашу иронию, – добродушно сказал Дударев. – Но скоро пойдут работы, и мы будем вам платить.

– Появится дом, где потребуется перестилать пол?

– Должен появиться, – произнес со значением Дударев. – Должен. Но в Москве сейчас с этим трудно.

– И всегда было нелегко. Хотя случались и чудеса. На моей памяти один шутник вычихал дом.

– Как это? – заинтересовался Дударев.

– У князя Хованского, Григория Александровича, того самого, что написал: «Я вечор в лугах гуляла, грусть хотела разогнать», – был любимый шут Савельич, большой ловкач и забавник. Этот Савельич на спор вычихал у одного вельможи дом. Обязан был чихнуть на каждой из ста двадцати ступеней парадной лестницы. Чихнул.

– Когда это было? – спросил Дударев.

– При Карамзине. Хованский был приятелем Карамзина.

– Вы сказали: «На моей памяти».

– Я так сказал? – смутился Шеврикука – На моей читательской памяти, видимо. Я начитанный. Время образуется для безделья. Вот Михаила Ивановича Пыляева не» давно читал.

– И я Пыляева недавно читал. Надо было. – Дударев задумался, он молча губами шевелил, положив руки на руль, может, что-то и подсчитывал. Сказал: – Нет, это нынче не пройдет. Чихание не для нас. Хотя…

– А покровский дом кому достанется? Если не секрет.

– Секрет! Секрет! Но не для вас! Тут есть варианты. Есть! И очень заманчивые!

– Вот вы снова и в воодушевлении, – улыбнулся Шеврикука. – А то совсем недавно поминали в сердцах агонию, всеобщую околесицу и жуть, отвергали возможность родовых схваток…

– Были причины, были! – резко сказал Дударев. – Я говорил тогда с вами про мельниковскую лабораторию. О ней – молчок! Это слишком серьезно.

– Я молчу. Я понимаю, – заверил Дударева Шеврикука, полагая при этом, что Дударев прокричал о разгроме лаборатории если не сотне, то уж по крайней мере десяткам человек.

– Вот я к чему пришел, – объяснил Дударев. – Мы отринули все это наше планов громадье. А сами цепляемся за него. Не можем отвыкнуть. Я понял. Нынче нельзя затевать что-либо долговременное. Надо все соображать на ходу. Все менять и выстраивать на ходу! На лету! Кто этого не поймет, тот погибнет! Можно было бы еще три дня назад предположить, какой интерес вызовут привидения? Где этот стервец Грозный? С японцем к тому же! А в нашем доме, как вы считаете, Игорь Константинович, есть привидения?

– Привидения… – растерялся Шеврикука.

– Вы ведь в нашем доме живете? – Некое сомнение прозвучало в вопросе Дударева.

– Да, в Землескребе, – сказал Шеврикука.

– Здесь ведь столько людей понабито… Всех не узнаешь и за сто лет. А привидению-то у нас проползти негде. Или не так?

– Утверждают, что одно завелось. В том самом подъезде, где обитает Митя Мельников.

– Откуда?

– Там один чиновник накушался снотворного. Как раз над квартирой Мельникова. Фруктов по фамилии. Его затравили в пору оздоровительной кампании. Говорят, стал являться.

– Вы точно знаете?

– Я его не наблюдал. Но утверждают. Вот Сергей Андреевич, Крейсер Грозный, и утверждает.

– Ну-у! Это враль! – поморщился Дударев.

– Враль, – согласился Шеврикука. – Враль-то он враль, однако змей-анаконда живет в Останкине. И вы его разыскиваете в надежде с его помощью войти в желанное вами общение.

– Возможно, вы правы, – задумался Дударев. – А коли что узнаете об

этом Фруктове, непременно сообщите нам.

– Дались вам эта привидения! – раздраженно сказал Шеврикука. – Нашли на кого ставить! На весь этот хлам – привидения, призраки! Вот уж где точно симптомы агонии. Впрочем, нет. Когда соображают на ходу, проглатывают на ходу невесть что, случается не агония и не родовые схватки, а хроническое расстройство желудка.

Но Дударев его не слушал. Из кармана пиджака он достал карточку, схожую с визитной, но размером с открытку, и рассматривал ее. Шеврикука почувствовал, что Дударев намерен о чем-то спросить его, но колеблется, стоит ли.

– Вы в каком подъезде живете?

– В том… – неопределенно указал рукой Шеврикука.

– Понятно, – сказал Дударев. – Вам сегодня в почтовый ящик ничего лишнего не бросали?

– А что именно? – спросил Шеврикука.

– Да всякую дрянь бросают! То посоветуют немедленно разослать в двадцать адресов требование купить букет Алле Пугачевой. То этот наш землескребный деятель… как его… Радлугин, что ли… озадачит анкетой по поводу Затмения. Сегодня сунули какую-то странность.

– Я ничего не получал.

– А в вашем подъезде кто-нибудь?

– Не знаю. Не слышал. В нашем подъезде никто.

– Странно, – сказал Дударев и, решившись, протянул Шеврикуке карточку. – Вот поглядите.

Карточка была лакированная, с золотым тиснением, Золотые буквы бежали по ней резво, цепляясь друг за друга лапами и хвостами, ватагами обезьян. В четырех местах росчерки выскакивали вверх и вбок особо длинными и изящными хвостами. Золотом обращались: «Товарищу Дудареву О. С.!» Далее следовали слова знакомые и малоинтересные: «Быстро! Безопасно! Блестящий эффект! Уничтожаем бытовых насекомых, не нарушая уюта вашего дома!», и Шеврикука вернул бы карточку, если бы не скосил глаза на подпись: «Отродье Б. 8783 – 4. Б. Ш. (Фл. Ш.)». Он перечитал золотые слова: «Если подружитесь с привидениями, не жадничайте, свяжитесь с нами, не сочтите за труд, иначе не отвечаем за уют дома. В любой день с 6 до 19 часов по телефону…» Номер был, но его замазали черным. Шеврикука перевернул карточку. И на обороте зачерненные цифры не проступили. Шеврикука пожал плечами, вернул карточку.

– Не знаю, что и сказать. Шутят. Резвятся. Бумага есть. Краски есть.

Некуда девать.

– Странно, – пробормотал Дударев. – И главное – товарищу…

– Ни у кого более не видел, – сказал Шеврикука.

– Что вы слыхали про Отродья?

– Так. Останкинская болтовня.

– Вы сталкивались с ними?

– Нет. Их нет.

– Они есть, – убежденно сказал Дударев.

– Если номер телефона проступит, вы позвоните?

– Нет, – покачал головой Дударев.

– И правильно. Это какие-нибудь богатые шутники озоруют.

– Не уверен, – сказал Дударев. – Но мы и сами с усами. Где же этот стервец Крейсер Грозный? Так вы, Игорь Константинович, если что узнаете про тень Фруктова, дайте знать.

– Теперь вы прямо как Отродье Б. Ш.! Что вы носитесь со всякими этими привидениями, с чепухой этой, досадно даже! – опять не выдержал Шеврикука.

– Вам-то что досадовать! Вот скоро получим дом, надеюсь, без насморков и чиханий, и для вас там будет пол. А увидите Грозного, передайте ему все, что я о нем думаю.

И сиреневый «Запорожец» малого предприятия укатил.

– У меня у самого дела! – бросил ему вдогонку Шеврикука.

23

Впрочем, Шеврикука полагал, что направляется на лыжную базу так, на всякий случай, без особого дела. Вроде бы нет у него никакого интереса, никакой комиссии. День стоял жаркий, два облака нехотя волоклись из Астрахани в Норильск, над Останкином зависли, возможно, размышляя, возможно, любопытствуя. Степенно (наконец-то по-московски степенно!) Шеврикука по асфальтовой тропинке проследовал от главного входа в направлении стадиона и лыжной базы и вдруг стал ощущать, что под ногами у него гудит. И не только гудит, но и нечто содрогается. В этом юго-западном углу парка, расположенного ближе к строениям Кашенкина луга, редко прогуливались, здесь спешили деловые жители, укорачивая парком свою дорогу, и сейчас несколько таких озабоченных прохожих попались навстречу Шеврикуке. Под ноги себе они не смотрели, не останавливались и ничему не удивлялись. И уж тем более не спрашивали Шеврикуку: «Что это? Вы ничего не чувствуете?»

Он чувствовал. Они не чувствовали.

А может быть, и они чувствовали, но в суете жизни не придавали никакого значения всяким гулам и содроганиям. Да мало ли что у нас в Москве нарыто под землей. Мало ли что может там гудеть и содрогаться.

А Шеврикука чем ближе подходил к лыжной базе, тем нервнее ощущал подземные гулы и волнения. Под ним, похоже, не только содрогалось, но и бурлило. Однако асфальт нигде не коробился, не разрывался трещинами, ни одна травинка не вздрагивала, листья тополей, дубов и лип были спокойны, серый кот и тот, лапы раскинув, безунывно спал на скамейке. А в тектоническую предусмотрительность котов Шеврикука верил.

«Что же это?» – растерялся Шеврикука и метрах в пятидесяти от лыжной базы встал. Не предупреждение ли ему? Глупости. Этак выйдет, что в сердцевине всего находится он. Кому он нужен! Гулы и судороги происходили в недрах летнего проживания привидений и призраков. Иное дело, следовало ли ему именно теперь лезть в бурливый котел? Вспомнил он и о том, как недавно нечто давящее и смрадное забирало его в недра Ужаса (то есть он и не забывал об этом, но сейчас физически вспомнил, как его захватывало Чудовище). Ко всему прочему, умельцы воздействовать на его сознание могли находиться и здесь, на днях на Покровке они уже оказывались вблизи привидений, Благоразумие требовало; уймись, охлади

себя и уйди. Или резче: поворачивай оглобли. Но гордость и любопытство возбуждали в Шеврикуке отвагу.

Шеврикука тихонько, теперь уже оглядываясь по сторонам, подобрался к северному боку лыжной базы, отодвинул доску, освобожденную им три года назад от гвоздей, и проскользнул в знакомую щель. Избегать взаимоуважающего соблюдателя Горю Бойса он не был сегодня намерен и сразу дал о себе знать. Я здесь, ваш посетитель, учиняйте расспросы. Однако легкопроходимый боевой стол соблюдателя, прежде всегда поспевавший куда надо, где-то застрял и не надвинулся грозно на Шеврикуку табельным охотником, а еле наполз, погромыхивая в раздражении ящиками тумбочек. Горя Бойс, в валенках, в ватных штанах на подтяжках, тощий, но пухлощекий, был взъерошен, взбудоражен, Шеврикука его не рассердил и не обрадовал. Из кармана расстегнутого френча Гори Бойса торчали фанерные очки, к битью мух они сегодня не принуждались, да и мухи нигде вокруг не парили и не присаживались.

– В Апартаменты? – спросил Горя Бойс. – Или куда еще решили последовать? Или ко мне?

– В Апартаменты, – сказал Шеврикука. – В номер триста двадцать четвертый.

Стол взаимоуважающего соблюдателя начал подпрыгивать, гремел ящиками, звенел шпорами. Горя Бойс, бранясь, принялся удерживать канцелярскую лампу, а она рвалась в выси, Шеврикуку шатало.

– Что это у вас? – спросил Шеврикука.

– Где? Что? – Горя Бойс вцепился в лампу, а она носила его над столом.

– Что это трясется под вами? Что бурлит? Содрогание затихло. Шеврикука выпрямился. Горя Бойс с лампой рухнул на стол.

– Это не под нами… – пробормотал Горя Бойс. – Это в нас… Переполох!.. Большой переполох!

– Из-за них! Из-за этих! – выскользнула из темноты бабка Староханова, взаимоуважающий следитель, она же Лыжная Мазь, она же Смазь. – И из-за этих тоже! Которые в Апартаментах! Которые в нумере триста двадцать четвертом! Теперь покоя не будет! Ты Шеврикуку к ним не пускай, он их еще больше всполошит!

– А может, и порешит, – предположил Горя Бойс.

– А может, и порешит – захихикала бабка Староханова. – А может, и порешит! Порешит и порешит!

– Горя, давай от триста двадцать четвертого, – сказал Шеврикука.

Шеврикука полагал, что Горя Бойс начнет опять для порядка

куражиться, требовать объяснений, почему он явился в неотведенный час и нет ли при нем зараз, лиха и напастей, но нет, соблюдатель протянул Шеврикуке сушеную воронью лапу с алюминиевым ромбом и произнес привычное: – Веди прохладную беседу. Не озорничай. Не шали. Горя бойся!

Следитель Староханова заскользила за Шеврикукой. На этот раз он не отогнал бабку, надеясь услышать от нее злободневные известия. Но Староханова сопела и сморкалась, не вступая в разговор, возможно, лишь наблюдала по должности за путешествием гостя, не натворит ли чего.

– И давно здесь так содрогается и бурлит? – спросил Шеврикука.

– Третий день, – охотно ответила Лыжная Мазь. – Третьего дня поутру тихо так зашелестело, зашевелилось, а потом пошло. И завыло. И закряхтело. И заколобродило.

Бабка вдруг и сама завыла, захныкала.

– Зависть-то до чего доводит! Это что же будет-то! Так мы и до Оранжереи не доживем! Шеврикука! Сыночек миленький! Убереги нас! Пореши ты этих бесстыжих красавиц!

– Что ты, бабка, несешь! – сказал Шеврикука. – Кто я такой? А здесь я и ничего не могу. Здесь я гость и обязан вести прохладные беседы. И в чем виноваты красавицы?

– Цепи рвут! – остановилась следитель Староханова. – О! Слышишь! Цепи грызут! Стучат зубилами! С цепей сорваться хотят! А во снах пребывали смирно. С этих, с этих, апартаментских, все началось! Кабы не вышло роение улья. Сами себя изгрызут, искусают, изжалят!

В подземном гудении слышались звуки разнородные и даже разномузыкальные, среди прочих – и металлические, но выделить из них звяканье или скрежет цепей, удары зубила Шеврикука не мог. Многое здесь знать, видеть или различать ему было не дано. А иное знание вышло бы и погибельным.

– Не хочешь порешить – не ходи! – донеслось до него сзади. Слова Лыжной Мази были сухие, злые: – Сам сгоришь с ними!

– С кем – с ними? – обернулся Шеврикука.

– С нею! С нею!

– Проваливай, бабка! И лучше ходи с насморком, чихай и втирай в ноздри лапландскую мазь, осьмой нумер! Дольше протянешь!

Следитель Староханова, на этот раз не хныча, не юродствуя, не лебезя, не совершая перелетов через плошки с горящим спиртом, сдержанно поклонилась Шеврикуке и шагнула в черноту.

А Шеврикука стоял уже в Апартаментах. Опять трясло и содрогалось.

Не дожидаясь явления Чудовища (но было ли оно?), Шеврикука быстро повесил на гвоздь, вбитый в воздух, сушеную воронью лапу с алюминиевым ромбом и номером «324» и, к удивлению своему, сразу же услышал, пусть и не слишком приветливое:

– Входите!

Вошел.

Вблизи Гликерии снова находилась Невзора-Дуняша. Она же Прилепа. Она же Копоть. Голова ее была при теле.

– Наш бывший обожатель явился! – свидетельствовала Дуняша, поднося ко рту сочную плоть астраханской груши. – Я вам обещала, Гликерия Андреевна? Но вы и сами знали. При своей любознательности он мог ринуться сюда и раньше.

– А прежде, недели три назад или даже месяц назад, – Гликерия обращалась к Дуняше, но взглядывала и на Шеврикуку, – он полагал, что посетил нас в последний раз. Ну в предпоследний… Мог забежать еще по одному делу… мелкому, частному. И вот он опять перед нами. Его стоило бы гнать сразу. Но пусть немного посидит. Если, конечно, пожелает. Теперь, при новых обстоятельствах, он, пожалуй, будет нам полезен.

– Он может оказаться вам полезен, – уточнил Шеврикука.

– Не суть важно, – сказала Гликерия. – Садись, Шеврикука.

Шеврикука сел.

Невзора-Дуняша, с грушей в руке, со смаком слизывая сок южного плода с пальцев, с ладони и с самой груши, отправилась к Гликерии и стала что-то доверительно шептать ей, посетителя при этом явно не имея в виду. У Шеврикуки было время оглядеть Гликерию с Дуняшей и уголок Апартамента №324, в который его сегодня допустили. В прошлый раз Гликерия принимала его в будуаре, Невзора-Дуняша перед завтраком убирала тогда ее голову. Нынче Гликерия, надо полагать, уже позавтракала и теперь сидела на вращающемся стуле у фортепьяно и музицировала. А стало быть, Шеврикуке дозволили войти в гостиную. Сам Шеврикука утопал в мягком кресле, обтянутом светлым штофом. Впрочем, помещение, где находились он и две дамы, было лишь частью гостиной. Если бы возникла нужда, если бы званые гости потекли, отужинав или отобедав, из столовой сюда для приятных и умных бесед, домашнего концерта, чтения стихов из альбома, игры в бридж и прочих удовольствий салона с кофием и ликерами, то сразу бы гостиная возобновилась целиком, со всеми углами, со всеми окнами и со всей мебелью. Но теперь такой нужды не было, и Шеврикука видел перед собой две стены, не в полную их длину, фортепьяно, четыре кресла, канапе и два столика. Тесно, впрочем, не было.

Содрогания и гулы не прекращались, но происходили они будто бы не в Останкине, а в Крылатском. Апартаментам было предписано соблюдение тишины, спокойствия и комфорта. Возможность лишних и посторонних звуков и колебаний предусматривалась, а потому были приготовлены средства охранительного противодействия. На первый взгляд две дамы (барышни, сударыни, донны, синьоры, мадемуазели или – хозяйка салона и ее камеристка, госпожа и служанка, Шеврикука в мыслях и вслух мог называть их как угодно) были одеты несколько легкомысленно для салона и, уж конечно, для музыкальных занятий, даже если на подставке были разложены сейчас ноты «Балета невылупившихся птенцов». Но их оправдывало нынешнее лето. Москвичей не раздражали шорты. И Гликерия сидела у фортепьяно в шортах, в синей блузке с тонкими бретельками, открывающей плечи, и босая. Невзора-Дуняша была в белой майке, теперь – с ниагарским водопадом меж грудей и в коротких пестрых брючках-леггенсах, в Москве называемых лосинами. Крупные ступни свои она пожалела и надела кроссовки. Опять же по причине жары, как и многие их землячки, Гликерия и Дуняша были теперь бронзовотелы и вполне соответствовали мнению иностранных наблюдателей о цветущем виде московских привидений. И не Шеврикуке было дело судить, уместны или не уместны в гостиной вблизи фортепьяно и «Балета невылупившихся птенцов» шорты, леггенсы и топ-блузки. Но у тех, кто был в соседних Апартаментах, кто был в номерах других сотен и уж тем более у тех, из-за чьих усилий, мук и страстей в Доме Привидений гудело и содрогалось, они могли вызвать раздражение, а то и злобу. Не исключено, что Гликерия, а за ней и Дуняша, прикидывая поутру, во что одеться, имели в виду это раздражение и злобу. Переполох шел третий день. Им же, мол, на все наплевать. А Шеврикука чувствовал: Гликерия с Дуняшей – в воодушевлении, готовы к подвигам, но и нервничают.

– Поводом к появлению у нас, Шеврикука, вы могли держать интерес к судьбе двух вещиц, – Гликерия ударила пальцем по клавише.

– Ну хотя бы, – сказал Шеврикука.

– Можете не беспокоиться. Они не утеряны и в хорошем виде.

И Гликерия соизволила повернуться лицом к Шеврикуке, подняла левую руку, на пальце ее Шеврикука увидел перстень, уже предъявленный публике в нижних палатах дома Тутомлиных и золотым ударом чуть было не сжегший там паутинью нить, державшую Шеврикуку. Монету Пэрста-Капсулы вправили в перстень. А фибулу?

– А вторая вещица с лошадиной мордой, – сообщила Гликерия, – подошла к поясу. Через день приходится надевать костюм для верховой

езды.

– Этот перстень – и шорты? – все же не удержался Шеврикука.

Он чуть было не развил свои сомнения: сочетается ли свежее изделие ювелиров со спортивной одеждой, чуть было не поинтересовался, нужда или блажь заставила Гликерию гулять под сводами с веером в руке. Но мысль о суверенности причуд и прихотей Гликерии остановила его. Он разглядел левую бровь Гликерии. Она была рассечена и совсем еще не зажила. И ведь на Покровке текла по щеке Гликерии кровь. Конечно, ко скольким странностям приходилось привыкать. И все же, и все же… На плечах, руках, лицах Дуняши и Гликерии Шеврикука видел следы противостояния на Покровке, для других уже исчезнувшие, они его не трогали, а вот рассеченная бровь озадачивала… Ну ладно. Вглядываться в лицо Гликерии Шеврикука себе запретил, полагая, что на это есть причины. Серые глаза Гликерии были надменно-враждебные, и это Шеврикуку устраивало. При этом он, Шеврикука, был перед ней и его перед ней не было. В глазах Гликерии появилось знакомое Шеврикуке свечение, обещавшее игру молний, движение вихрей, ухарскую езду по вертикальной стене. Гликерия нечто обдумывала. Она, видимо, пришла к решению, а теперь в голове ее возникали подробности затеи с мелкими распутьями, выбрать единственную линию она, наверное, по обыкновению, сразу не могла, готова была нестись по всем тропам, и если он, Шеврикука, признавался сейчас Гликерией реальностью, то только для того, чтобы эту реальность с пользой поместить в свою затею. «Ага, а этот пригодится мне для…» «Пригожусь, как же, пригожусь, – думал Шеврикука. – Но и вы мне пригодитесь…»

– По-моему, вы рискуете, – сказал Шеврикука, имея в виду перстень и улучшенный пояс для верховой езды. – Вам не кажется?

– А вам досадно? – спросила Гликерия. – Или боязно, за себя, естественно? Или вам жалко?

– Мне не боязно и не жалко, – сказал Шеврикука. – И риск я держал в соображении совсем иной.

– Я поняла, – сказала Гликерия. – Кстати, если вам нужны ваши вещицы, то пожалуйста…

– Нет, пока они мне не нужны, – сказал Шеврикука. – Может быть, и вовсе не понадобятся. Может быть, они и никому не понадобятся. В том числе и вам.

– Вот как?

– Не исключено, – сказал Шеврикука.

Невзора-Дуняша взяла новую грушу.

– Он у нас будет проводником, Гликерия Андреевна, – объяснила Дуняша. – Из него выйдет проводник.

– Дуняша, я не просила тебя… – нахмурилась Гликерия.

– Гликерия Андреевна, он ведь долго будет церемониться и делать вид, что ни о чем не знает, – сказала Дуняша. – А я уверена, что такой любознательный и проныра не мог не быть на Покровке.

– Проныра? – спросил Шеврикука. – Или пройдоха?

– И проныра! И пройдоха! Ведь был там?

– Ну был.

– Вот! – обрадовалась Дуняша. – И не слушайте его объяснений, отчего он вздумал туда проникнуть. Он наврет. И Совокупеева его замечательная там геройствовала!

– Это плодотворная мысль – связать меня с Совокупеевой, – попытался улыбнуться Шеврикука, но улыбка его вышла сердитой. – Помнится мне, эта замечательная Совокупеева происходит из квартиры на Знаменке, где шляется по ночам Дама-привидение с отрезанной башкой!

– Да! Шляется! Ну и что! – возмутилась Дуняша. – А Совокупеевой или ее подельщикам, проживающим в Землескребе, дом на Покровке мог показать ты.

– Ага, – согласился Шеврикука. – Я их готовил, я с ними и репетировал. А не разумнее ли предположить, что это красавица Дуняша пригласила с неизвестными мне целями на Покровку свою квартирную приятельницу? Кстати, почему бы не привести туда отставную прокуроршу с ее семнадцатью кошками?

– И с двумя котами! – бросила Дуняша.

– И с котами! В штанах. Эффекту вышло бы больше. Богатые гости стонали бы! Хотя японцу понравилась Александрин. Более других привидений. А у японца есть вкус.

– Александрин – самозванка! – воскликнула гневно Дуняша. – А японец твой дурак!

– Прекратите перебранку, – тихо и твердо сказала Гликерия. – Стыдно и бессмысленно.

– Я молчу. Молчу, Гликерия Андреевна, – сейчас же капитулировала Невзора-Дуняша и лукавыми глазами пообещала стать паинькой. – А ты, Шеврикука, не ехидничай и не задирайся.

– Из всего разговора, – сказал Шеврикука, – я могу вывести следующее: Совокупеева действительно для вас самозванка, в сговоре с ней вы не были. Теперь ваше положение представляется вам выгодным, вы его собираетесь укрепить и использовать для… Умолчим для чего… Зачем-то

вам показалось необходимым, в частности, товарищество с Совокупеевой, но не вышло, дружбы не получилось. И решено для ваших выгод сделать меня проводником.

– Мы вас не звали, – сказала Гликерия. – Вы пришли сами.

– Не звали, – согласился Шеврикука. – Но имели в виду.

– Ох, Шеврикука, то, что ты фантазер, известно всем. А ты еще и много о себе понимаешь! Тоже мне проводник! Иван Сусанин! Дерсу Узала!

– Дуняша! Прекрати! – возмутилась Гликерия. – И вытри сок на подбородке. Как ребенок! Но в том, что вы, Шеврикука, преувеличиваете свое значение, она права. Да, я о вас помнила, но из этого не следует, будто я решилась попросить вас об одолжении.

– Это так, – сказал Шеврикука. – Вы и никого не попросите о каком-либо одолжении. Но вот я появился, и некая боковая мысль обо мне, как о подсобном средстве, вроде весла, или половой щетки, или уздечки, у вас, несомненно, промелькнула.

– Промелькнула, – кивнула Гликерия. – Но теперь улетела. И видимо, навсегда.

– Другая щетка найдется, – успокоил ее Шеврикука.

– Найдется, – сухо подтвердила Гликерия. – Но это уже будет и не щетка, и не весло, и не уздечка.

– Хорошо бы не веер, – не удержался Шеврикука. – Недавно явление веера вызвало у меня мысли о провинциализме и зряшном желании выглядеть богатой.

– Вас дурно воспитывали, – сказала Гликерия.

Губы Гликерии сжались. Она рассердилась, резко крутанув стул, вернулась к клавишам фортепьяно, и не вылупившиеся птенцы стали дергаться, биться в камерах несокрушимой скорлупы. Шеврикуку должны были бы выгнать, но его не гнали. Ему бы встать и уйти, но он не вставал. «Веер, веер! – пришло в голову Шеврикуке. – А сам повязывал бархатный бант!»

– Этак вы пальцы повредите, – сказал Шеврикука. – Или лак с ногтей сковырнете. Вам бы сейчас что-нибудь нежное… тиходостигаемое… Шопен… Дебюсси…

– Шопен! Дебюсси! – Гликерия была само презрение. – Вы, Шеврикука, – музыковед?

Кресло Шеврикуки тут же подскочило, листы нот посыпались на пол, зазвенело стекло не выявленной по ненадобности гостиной люстры, ойкнула Дуняша и поглядела вниз: не расползлась ли у ее ног трещина. Но

трясти перестало. Однако гулы и содрогания, пусть вдали и в глубине, продолжались.

– От всего этого внутри что-нибудь лопнет или оборвется, – сказала Дуняша. – А еще хуже – возьмут и отменят маскарад в Оранжерее!

– Маскарад? – удивился Шеврикука. – Это когда еще выпадет снег и когда откроют елочные базары! Да и не было случая, чтобы отменяли маскарады.

– Знал бы ты, что у нас тут кошеварится! – всплеснула руками Дуняша.

– Слышал, – сказал Шеврикука. – Переполох. Пожар в бане. Роение умов. Рвутся с цепей. Ожили и полезли из каждой щели. И будто бы началось с красавиц из Апартаментов. Кто ожил и кто полез? И при чем красавицы?

– Не по поводу ли переполоха вас и привела к нам ваша любознательность? – поинтересовалась Гликерия.

– Что ж, и линии спины у вас, Гликерия Андреевна, попрежнему изящны и прямы, – заметил Шеврикука, – и сидите вы хорошо, а шея и затылок ваши радуют глаз.

Но и теперь Гликерия не соизволила повернуться к Шеврикуке.

– Да, и по поводу переполоха, – сказал Шеврикука. – Но узнал я о нем полчаса назад. Вам-то, по-моему, надо лишь радоваться. Я возрадовался. Вот, думаю, пойдет потеха!

– У вас своя потеха, у нас – своя, – жестко сказала Гликерия и опустила пальцы на клавиши. И возникла музыка уже неспешная, и будто бы холодная вода струилась по камням, и лишь изредка пугливые рыбины взблескивали в ней, и тихо вздрагивали вверху листья темно-мрачных деревьев.

– Для него потеха! Для него все потеха! – Громкая, возбужденная Дуняша надвигалась на Шеврикуку, и он был уже готов к тому, что эта сумасбродная барышня влепит ему сейчас затрещину, или вцепится в него когтями, или произведет какую-либо еще экзекуцию, Дуняшина ладонь захватила ухо Шеврикуки, но ухо не оторвала, лишь потрепала наставительно, а Шеврикука получил сигнал: «Помолчи! Не приставай к Гликерии. Не раздражай ее! Пусть себе играет…» В воздух Дуняша произнесла еще несколько громкокипящих слов, должных подтвердить ее возмущение недостойным посетителем. Затем она, скинув кроссовки, уселась на пол, а большие крестьянские ступни свои, вытолкав руку Шеврикуки, разместила на подлокотнике кресла. Ступни ее были чистые, опрятные, недавно отпаренные. Доверие оказывалось Шеврикуке, с

возможным разрешением погладить или пощекотать жесткие пятки. Позже Шеврикука гладил и щекотал. Но не часто и лениво. В руке у Дуняши опять оказалась астраханская груша. Гликерия, похоже, импровизировала, забыв обо всем. И вышло так, что Шеврикука с Дуняшей сидели и как бы шушукались. Доверительное это шушуканье и музыкальное забытье Гликерии не могло растрогать Шеврикуку и уж тем более ввести его в заблуждение. Шеврикука догадывался, чего от него хотят и отчего позволяют откровенничать (Дуняша – себе, а госпожа у фортепьяно – Дуняше). Но, скорее всего, обе они еще и не знали толком, чего хотят истинно и какую поклажу стоит взваливать на спину ему, Шеврикуке. Догадывался он и о степени или дозе откровенностей. И все же кое-какие сведения ему доставались.

24

Шевеление шло давно. Не первый, естественно, год. Ворчали, скрипели, дулись, шастали с транспарантами и кистенями. Но все происходило в недрах и касалось положений внутренних. Интриговали из-за масок, рож и ролей на ежезимних маскарадах в Оранжерее. И не одни лишь дамы. Боролись (это уже при либеральных послаблениях) за укорот рабочих сроков общедоступных привидений и призраков. Требовали премий и ценных подарков за вредные дежурства в пострассветные часы. Да мало ли к чему стремились, объявляя порой в пылу борьбы и голодовки. Бузотерила и голодала, помнил Шеврикука, и Дуняша, что вызвало непонимание ее организма, он-то и наложил запрет на ее социальные диеты. Либеральными же послаблениями было дозволено привидениям свободное (но в соответствиях с распорядком дня и исключительно в досужие часы) посещение людей. И вроде бы поленья не горели, и в котле не бурлило. Нечему и не от чего было бурлить. Находились, правда, типы, готовые все крушить. «Почему мы хуже других! – орали они вполголоса. – Почему мы обделены и остужены!» «На нас нет спроса, – отвечали им разумные головы. – Не то столетие. Нас и так держат из сострадания к исторической традиции. Мы живем на подачки. Сидите тихо. Знайте место. Вздыхайте, стоните, обглаживайте собственные претензии. Не буяньте. А то возьмут и всех нас снимут с довольствия!» И не буянили. Шевелились, бурчали, но не буянили.

И вдруг – спрос! Людское столпотворение на Покровке! Фотографии в газетах! Публицистика! Красные буквы в рост бульдога на боках троллейбусов, трамваев, молочных цистерн: «Хотите жить с привидением? Звоните по телефону…». Тут и у умного откроется рот и потечет слюна. А много ли у нас умных-то? Вот и началось всполошение. Вековые амбиции. Восстановить справедливость! Фундаментальный спор «Кто кому является видением: мы им или они нам?», вечно тлевший, воспламенился и задымил. Были вскинуты вверх сравнительные таблицы тонкостей душевной организации «их» и «нас», и стало очевидно, у кого что и насколько тоньше. Естественно, «у нас». «Долой оккупацию суверенных судеб!» – сейчас же прозвучало требование. И все внутренние интриги, амбиции, свары, страсти были выплеснуты из недр вовне, и незамедлительно обнаружилось, что там-то и следует искать причины всех бед, подлостей и недоумений. Но этим, «внешним», временно суетящимся

на Земле, что было до всполошения привидений и призраков? Они его и не ощутили…

И вышло, что возмущенная волна из своей лужи не выплеснулась, бока своей же кадки или кастрюли не поколебав и не пробив, вернулась внутрь, к источникам возмущения, и там взвихрила пляску-потасовку амбиций, интриг, подземельных свар, необоснованных фантазий и упований. При этом и впрямь какие только причудливые хари, давно уже, похоже, списанные или даже вычеркнутые из расписаний, не повылезли из туманов и щелей. Поначалу менее других волновались привидения Умеренных Добродетелей, к каким принадлежали и Гликерия, и Дуняша, и Квашня, и даже Увека Увечная. То есть привидения и призраки общедоступные или общественно доступные. Те, что и в обстоятельствах так называемого просвещенного двадцатого столетия обязаны были являться по долгу службы в урочные часы на глаза (учитывались и иные системы людских восприятий) неблагодарной публике, избалованной зрелищами и способной лишь на ироничные реплики. Дети малые и те швыряли в них обмусоленную жвачку. И все же они являлись. Дабы не порвалась связь времен. Лишь эстеты и элитарные ценители относились к ним с состраданием. И они если и роптали, то невнятно. А получив право свободного посещения людей, и вовсе возрадовались. «Кстати, – поинтересовался Шеврикука, – ты ходила в „Интурист“ и в „Националь“? Я ведь сказал о тебе кое-кому, как ты и просила». «Ходила…» – зевнув, протянула Дуняша. «Ну и каково в путанах?» «А-а-а! – поморщилась Дуняша. – Нет свободы волеизлияния… И скучно…» Потом она сообщила, что в путаны полезли самые банальные привидения, и не так уж это выгодно, вот Квашня… Квашня, еще недавно бравшая У цыган в аренду ребенков, кормившая их при народе сухой, но голой грудью с целью вызвать акции милосердия, бросила это занятие. Теперь она в тапочках с меховой опушкой, в байковом халате, с заспанной мордой, с нечесаными волосами («Только из дома, я здесь своя…»), хозяйкой города, сопровождала по магазинам приезжих добытчиц. Эти добытчицы не ущербнее ее, но хуже знают коммерческую географию. Смотрят они на какой-нибудь кулон ценой в полмиллиона и говорят: «Э-э! Такая дрянь и у нас есть!» И следуют дальше по советам Квашни. Та, коли надо, достает из спущенного чулка московские справки и талоны. Комиссионные гребет отменные. Так вот эти-то труженики будней вовсе не были первыми во всполошении. Интересно, что более всего петушились привидения, по разумению Дуняши, достойные называться консервами. В их числе – привидения Одного Случая. И привидения Приватные, эти могут являться

лишь определенному индивидууму по его вызову или по назначению держателей силы. Но привидения Одного Случая попадались среди особей исторических. Им и так подмигнула фортуна, им бы теперь сидеть в своем музейном благополучии, перечитывать романы, просматривать кинофильмы, где мастерами изображались ужасы их единственного исторического появления. А они принялись скандалить. К тому же среди ветеранов сразу же возникали спорщики и претенденты. Всегда считалось, что призрак, увиденный в тронном зале Летнего дворца в одну из октябрьских ночей 1740 года сначала взводом караула, потом срочно вызванным Бироном и уж затем самой императрицей Анной Иоанновной, сразу же сообразившей, что ей объявлена смерть, и через несколько дней скончавшейся, – один и содержится в Санкт-Петербурге. А уже на второй день всполошения в Останкине обнаружилось три вестника кончины императрицы, причем двое из них – мужского пола. Призванные эксперты напомнили, что призрак, не произнесший, кстати, в роковую ночь ни слова, имел внешность Анны Иоанновны в парадном одеянии, что засвидетельствовано очевидцами, и никак не мог перебраться в Москву в силу многих обстоятельств. В том числе и транспортных. Новоявленных самозванцев выбранили. Но те не сдавались, заявляли, что были переодеты, слов же не произносили, ради мрачности воздействия и чтоб не басить, а в Москву добирались один – на такси, другой – на частнике, склонив при этом водителей к монархическим воззрениям. А вот призраков, явившихся к графине и гневно отчитавших ее за превышение полномочий в использовании секрета трех карт, оказалось сразу двадцать семь, и многие из них добирались до Москвы из тогда еще Ленинграда электричками и без билетов. Иные же утверждали, ссылаясь на литературоведов, что и добираться им никуда не надо было, что секреты трех карт знали несколько графинь и в Москве тоже, и каждой из них посылали своего призрака. Все это были мрачные громилы, они тяжело дышали и чуть что хватали холодное оружие. Но привидения и призраки Одного Случая хоть имели понятия о правилах поведения, знали немецкий и французский или делали вид, что знают, и с ними были возможны осмысленные разговоры. А вот привидения Приватные (По вызову и По назначению) вели себя кое-как, неряшливо, безобразно, по-хамски. Они, необходимые персонажи кошмаров, раскаяний, страхов или тоски, галлюцинаций, приступов белой горячки и прочего, и в служебной практике не слишком уважительно относились к объектам своих явлений, угрюмо шутили над ними, кривлялись, озорничали, кричали и уж никак не подчинялись им. Они были распущенны, истеричны, а замкнутость их в однообразии действий и сутей

рождала преувеличение собственных значений, и теперь они не по заслугам и не по чину многого хотели. (Попадались среди них и вполне добродушные и даже симпатичные личности, вроде епишек или бегемотиков финансиста Моховского, известных нам еще по пивному автомату на Королева, пять, эти бегемотики часто паслись и резвились на Лужайках Отдохновения, и Дуняша любила играть с ними, кормила их с ладоней ячменным зерном.) Но большинство-то этих прыщей принялись проявлять теперь себя наглецами и дуроломами. Красавцев среди них выявилось мало. Все более уродцы, иные хитрованы и жулики, иные полоумные, иные вовсе без соображения, но все – деспоты. Лохматые, шершавые, лысые, в струпьях и гное, с пятачками и копытцами, с волчьими клыками, с бантиками на хвостах и мохнатых пестиках, с шестью мордами и совсем без морд, какие хочешь и какие не хочешь, в страшных снах не приснятся, но уже приснились. Они прыгали, ползали, лаяли, хныкали, норовили вырвать у собеседника глаз, у кого имелся, грызли базальт, рыгали тухлыми яйцами и крысиным пометом, пахли перегаром бочкового вина «Алабашлы», льняным растворителем, дерьмом, блевотиной, спермой, платным туалетом, маковым и конопляным семенем, и все они требовали себе истинного положения в мировом устройстве. Пока, в начальной стадии всполошения, удалось согнать Приватные привидения в единую кучу и держать при ней смотрителей с кнутами и щупами. Но установить порядок в этой куче было нелегко, образы Приватных привидений возникали внутри людей, там же опреде-лялись их характеры и способы поведения, и следовало пересмотреть всю систему управления этой шипящей, прыгающей, корчащей рожи, капризной толпой.

Глухо доходили сведения из мест, где сохранялись фигуры серьезные, там узы и тенета были тяжкие. И из Таинственных Чертогов, и из Чертогов Секретных. Из вместилищ, названия которых не могли быть упомянуты и в мыслях. Но и там свирепело и раскачивалось, и там-то содрогания вышли бы самыми решительными и опасными. Иметь удовольствия от них прежде всего пришлось бы местным персонажам, им, Гликерии с Дуняшей, в частности. Правда, те, кто более других соображал, а не расшатывал камни, какие на охотников расшатывать и повалятся, пустили в оборот словечко «прорыв». И полагали, что и доверить этот «прорыв» разумнее всего было бы Гликерии и при ней – Дуняше. Гордецы, фундаменталисты и существа воздушные, а их хватало, считали, что люди и есть привидения и призраки, навязчиво и плотски вторгающиеся в их духовную суверенность. И что людей, как фантомов, надо ставить чрезвычайно низко, отвергать их искушения, не искать среди них выгоду, а заниматься

усовершенствованием воздушных потоков. Но личности практические заметили: ага, а самозванцы будут пользоваться плодами наших садов! Вон на Покровке! Словом, эти соображения – «прорыв», «спрос», «пользуются плодами» – не могли не взбудоражить натур деятельных и не подтолкнуть их к затеям сиюсекундным и долговременным. При этом Гликерии с Дуняшей многие завидовали и не доверяли. Подпрыгивая и сам себе радуясь, пробежался слушок, мол, Гликерия с Дуняшей куплены и вступили в сговор с полпрефектом Кубариновым и распорядителем смотрин Дударевым. Иначе откуда такая удача со столпотворением московских жителей, иностранцев и фотографии в газетах? Неопределенным было нынче и положение Невзоры-Дуняши. Комиссия соблюдателей распорядка, не вызывая пока Дуняшу к протоколу, обмозговывала, как с ней поступить. Дуняшу, возможно, ждала холодная. В доме на Покровке она не должна была появляться. Но в ее проступке углядывались теперь две добродетели. Во-первых, она бросилась в бой, защищая достоинство отведенной ей в Доме Привидений госпожи (из-за тревог и предчувствий и ринулась на Покровку). Во-вторых, карая самозванку, отстаивала честь сословия и его право на исполнение самостоятельных функций в мироздании. (Все это, естественно, при отсутствии сговора с людскими структурами.) Многое зависело теперь от свободного падения козырных карт на плоскость стола. Если «прорыв», «спрос» лягут поверху, возможно, Дуняше не быть брошенной в холодную. И уж тем более не быть заквашенной с брусникой и смородиновым листом. Но движение происходило за спинами Гликерии и Дуняши. Оттого что многие сторонники «прорыва» и «спроса» подыскивали теперь своих фигуранток и фигурантов, какие могли бы иметь успех без всяких домов на Покровке, случайных Гликерий, Дуняш, самодеятельных самозванок типа Александрин, а подчиняясь требованиям равновесия устройств, Гликерию и Дуняшу следовало оттеснить, чтобы не мешались и уняли претензии, в сырую темень. «Как же, сейчас! – недобро усмехнулась Дуняша. – Обойдутся они без нас! Кто это на них клюнет! Но, может, и ночевать мне завтра в холодной…» Гликерия, странствуя в музыкальных течениях, опустила вдруг пальцы в прохладные струи «Вечерней серенады». Нежное создание была теперь Гликерия…

– Дуняша, платье мое выглажено? – спросила Гликерия.

– И платье, и костюм, – ответила Дуняша. – Как изволили приказать, Гликерия Андреевна.

Дуняша поднималась как бы с ленцой и даже с намерением потянуться и размять свое большое, сильное тело, но не потянулась и не заахала в

удовольствии, однако успела подмигнуть Шеврикуке, как своего поля овощу: мол, сам знаешь этих барынь с их капризами. И пошушукаться не дадут. «Как же, не дадут! – усмехнулся про себя Шеврикука. – Вот сейчас дали». Дали. Сколько посчитали нужным Дуняше выложить, столько она и выложила. Пока протекала вода под темными елями и Шуберт одаривал хозяйку гостиной вечерне-грустным наслаждением.

Опять подпрыгнуло кресло, и зазвенели хрусталины жирандолей на ореховых этажерках. Шеврикуке стало не по себе.

– Этак у вас подхватишь морскую болезнь, – сказал Шеврикука.

– А ты, выходит, какой-то изысканный и слабохарактерный, – сказала Дуняша. – Значит, и впрямь не стоит приглашать тебя в проводники. Подберем другого.

– Подбирайте, – согласился Шеврикука. – Их сколько хочешь валяется. Только не затопчите. Кстати, а зачем вам, Дуняша, проводники, если вас вот-вот сволокут в холодную?

– Но, может быть, и не сволокут, – сказала Гликерия. – Может быть, проявят благоразумие.

– Может, не сволокут, – оживилась Дуняша. – Я ведь героическая и верная служанка. Я ведь не какая-нибудь У века Увечная!

Вышло так, что слова свои Дуняша произнесла не для Гликерии и тем более не для Шеврикуки, а для кого-то иного, способного внимать. И вышло так, что слова эти, как бы игривые, прозвучали нервно, чуть ли не мольбой о помиловании.

– У Увеки Увечной, – Гликерия тихо вызвала пальцем басовый звук, – есть незримые, несовершенные доброжелатели.

– Увека Увечная, – с презрением бросила Дуняша, – из кикимор!

– Эти доброжелатели, – продолжала Гликерия, может, сами пробились из существ, близких к кикиморам. И она им приятна. Но теперь она им не кикимора, и не Увека Увечная, а Векка Вечная. И в делах с ней есть выгода.

– Увека хуже Совокупеевой Александрин! – рассердилась Дуняша. – Она у нас встанет на дороге!

– Или обойдет нас, – согласилась Гликерия. – Но пока она под надзором и в леднике.

– Обойдет! Она у меня обойдет! – совсем разошлась Дуняша. – Она у меня полетит в восьмом отсеке в Америку! Она у меня приводнится в заливе Ванкувер! Как же!

– В каком восьмом отсеке? – спросил Шеврикука. – В какую Америку? В каком заливе?

– А ты-то что? Тебе-то что! – воскликнула Дуняша. – Дезертир!

И все же она выпалила, в каком отсеке, в каком заливе, в какую Америку. Вошли в повседневную жизнь дружеские обеды достойных супружеских пар двух континентов. Конечно, были хороши ароматы московской сборной солянки с каперсами, соком соленых огурцов и вареными языками, но им ни в чем не уступали запахи и пары черепаховых супов по-мерилендски, или же новоорлеанского рубца, или жаркого из опоссумов, да что говорить, увлекательными и далеко манящими были эти запахи. Но накануне, когда столы уже расставлялись в каком-нибудь Сиэтле, Портленде либо в авокадовом Сан-Диего. Вы сами знаете, в тихоокеанские доброприемные воды опадали послания из России, душевные и деловые. Доставлялись они в отсеках летучих изделий тружеников Самары. Изделия эти как раз к обедам возносились в небо в Архангельской губернии, на радость поморам. Что только не возили в их отсеках. А привидений не возили. И вот арестантка Увека Увечная додумалась. Конечно, могли быть у нее подсказчики из числа тех же доброжелателей, но, скорее всего, додумалась она сама. Не смогла прокатиться в Лихтенштейн в портсигаре негоцианта, но не изменила мечте или пагубной страсти. На обрывках молочного пакета карандашом для совершенствования ресниц написала послание-проект, неважно кому, естественно, полуграмотное, но с вкраплениями якобы английских слов, будто готовила себя в ведущие музыкальных развлекательных программ (кто бы ее взял!). Нет, в какие там ведущие! Наглости у Увеки Увечной скопилось столько, что она объявила себя жертвенной особой, готовой отдать все, но способствовать моментальному и историческому переносу привидения из Старого Света в Новый. Она была согласна на все неудобства, на любой отсек, даже на восьмой. Послание Увеки, конечно, перехватили, может, она и сама желала, чтобы его перехватили, а шелест о нем прошел, и если бы даже теперь Увеку решили проткнуть пикой, она свое приобрела. По поводу ее выходки имеют нынче рассуждения, да вдруг возьмут и рассудят доверить этой гнуси «прорыв». Другое дело, как его смогут устроить? Нужны ли обедающим супружеским парам к черепаховым супам и запеченным в раковине устрицам еще и привидения?

– Увека не достойна преимущества и удовольствий, – сказала Гликерия. – Но я ей не судья.

– А я судья! – воскликнула Дуняша. – Мне о ней судить очень просто. Имею основания. Только такую не хватает отправить в Прорыв! Конечно, если этот дезертир Шеврикука…

– Не держи его в голове, – сказала Гликерия.

Она опять вспомнила о «Картинках с выставки», и невылупившиеся

птенцы стали осторожно стучать лапками. Один из них пробил скорлупу.

– Во мне возникает непредвиденное, – сказала Гликерия.

– Опять? – удивился Шеврикука.

– Во мне, Дуняша, возникает непредвиденное! – Гликерия уже пропела, и тема ее могла бы заинтересовать Верди. – Непредвиденное!

– И чем же вы теперь-то хотели бы владеть? – спросил Шеврикука.

– Туманностью Андромеды, – пропела Гликерия.

– Чем-чем?

– Чем? – переспросила Дуняша.

– Туманностью Андромеды, Дуняша! Туманностью! А к Маскараду я бы не отказалась иметь украшения Елены, – сказала Гликерия. – Те, что откопал Шлиман в Малой Азии. Или не откопал.

– Это доступнее, – сказал Шеврикука. – Если он их откопал. Тогда они могут быть и в Москве. Только неизвестно, в каких хранилищах.

– Елены! – не могла поверить Дуняша. – Это же Трубникова усохнет от зависти!

– Может быть, на Волхонке, – предположил Шеврикука. – А может быть, и в Подольске.

– Ты считаешь, Маскарад не отменят? – с надеждой, но и с сомнением спросила Дуняша.

– А какой резон отменять? – сказала Гликерия. – При любых обстоятельствах не будет резона отменять. Только приспособят или усовершенствуют сюжет Маскарада.

– А я уж было пала духом! – рассмеялась Дуняша. – Вдруг возьмут и отменят!

– Другое дело, – сказала Гликерия, – что мы с тобой можем оказаться недопущенными к Маскараду.

– Из-за меня? Из-за того, что я бросилась на Покровку? Или из-за всполошения?

– Из-за всполошения, – сказала Гликерия. – Из-за чужих интересов и зависти. Если мы проиграем…

– Ну нет! – решительно заявила Дуняша. – Нас не одолеют!

– Не должны одолеть, – согласилась Гликерия.

– Андромеда и Елена… – Шеврикука раздумывал вслух. – Здесь ведь есть и несовместимое… Хотя, конечно, как взглянуть. Но для Андромеды понадобится Персей, а для Елены – Парис. Где же вы теперь отыщете Персея с Парисом? Кстати, Персей не убоялся Чудовища… Опять – Чудовище… А может быть, Гликерии Андреевне нужна не Андромеда, а туманность?..

– Ты-то точно не годишься в Персеи и Парисы! – обрадовала Шеврикуку Дуняша. – Экое чучело!

– Я и не рвусь, – сказал Шеврикука.

– А вот в проводники мы все же согласились бы тебя взять!

– Премного благодарен, – Шеврикука прижал руку к груди. – Но я не желаю быть у вас в проводниках.

– Смотрите-ка, Гликерия Андреевна, он нам еще и дерзит!

– Оставь его, Дуняша.

Шеврикука встал.

– Видишь, – сказала Гликерия. – Все нужное ему он разузнал и теперь может идти дальше.

– Все разнюхал!

– Не будь так груба и вульгарна.

– Далеко не все из того, что меня интересовало, я разузнал и разнюхал, – сказал Шеврикука. – Например, мне так и не ясно, как вели себя Пелагеич и изверг Бушмелев и кто наблюдал за вами. Ну и не суть важно. Зато мне открылось, что в Гликерии Андреевне возникает непредвиденное. Уж при этом я быть вблизи нее не желаю.

– Ты, Шеврикука, – трус! – воскликнула Дуняша.

– Может, и трус. А может, у меня иные, нежели у вас, понятия о том, что происходит в нас и вокруг нас.

– Не огорчай его, Дуняша, – сказала Гликерия. – Не вызывай в нем необходимость отвечать. Он быстрее уйдет.

– Я не могу понять вашей деликатности, Гликерия Андреевна!

– Вы, Дуняша, – сказал Шеврикука, – чрезвычайно заблуждаетесь относительно деликатности Гликерии Андреевны.

– Он прав, – подтвердила Гликерия. – Ты заблуждаешься.

Теперь невылупившиеся птенцы, несомненно, знали, что они вырастут, взлетят и что будут они не жаворонки, не мухоловки, не зарянки, а соколы или кордильерские кондоры. Но, похоже, знание этого и тяготило их.

– Он мелок и слаб, – сказала Гликерия.

– Справедливо, – согласился Шеврикука. – И потому зачем мне быть теперь вблизи дамы, связанной дурной клятвой.

– Что ты городишь! – Разгневанная Дуняша подскочила к Шеврикуке. – Что он городит! Он верит в эту сплетню! В эту гадость!

– Отойди от него! – Гликерия была не рассержена, а зла. – И разреши ему нас покинуть!

– Поклон вам, – сказал Шеврикука. – Оставайтесь с туманностями

Андромеды и ценностями спартанской Елены. Кстати, неплохие украшения были и у Клеопатры.

– Все у нас будет! – Обещание Гликерии вышло чуть ли не торжественным. – Подумаем и об украшениях Клеопатры!

Но сразу же в гостиной Гликерии исчез свет и произошло потрясение. Первая мгновенная мысль Шеврикуки была: всполошение сокрушило преграды, стены и потолочные перекрытия и ворвалось в Апартаменты. Но тут же выяснилось: потрясение сейчас происходит не всеобщее, а частное. Свет вернулся, но посреди расширившегося до привычных своих пределов помещения дергалась и стонала исполинская серо-черная фигура. Вид она имела безобразный и лишь отчасти походила на фигуру человеческую. Твердых форм в ней как бы не было, а все состояло либо из газа, либо из странной жидкости. Можно было предположить, что голова (или нечто вроде головы) вторгшегося в гостиную Гликерии существа была укрыта капюшоном или маской. Вокруг тела его (тела ли?) колыхалась хламида или, по понятиям очередного столетия, плащ-палатка, опять же – из газа или из жидкости. Все в незваном фантоме словно бы плыло и переливалось, и все было неприятно. Гликерия с Дуняшей в отличие от Шеврикуки, похоже, поняли, кто он такой и зачем он возник. Но и они не ожидали его появления. Дуняша выглядела ошеломленно-напуганной, Гликерия вскочила с музыкального стула, с силой опустила крышку фортепьяно, скорее и не опустила, грохнула ею, будто желала устрашить гостя. Но не устрашила, а, напротив, вызвала раздражение или гнев. Тело его бугрилось, дергались его руки или то, что можно было назвать руками, и что-то тонкое, прямое возникало в них, способное уколоть, уязвить или даже погубить. Пришелец попрежнему стонал, но теперь к стонам добавились клокотание и хрипы. И некие спазматические, булькающие звуки стали сопровождать его движение. А двигался он к Гликерии, руки его обрели костяные пальцы, вытянулись и были готовы вцепиться в шею или плечи Гликерии. Дуняша прижалась к стене. Гликерия выпрямилась и стояла будто согласная с погибелью, ни о чем не молила и ничем не возмущалась. Шеврикука ринулся на пришельца, но, столкнувшись с ним, попал не в жидкое и не в газовый столп, а ударился о твердое. Его отбросило к ломберному столику, Шеврикука схватил стоявший там подсвечник и подсвечником стал бить серо-черного, разъяренного и ревущего исполина. К удивлению Шеврикуки, враг его (а может, и не враг, но в те мгновения – враг) начал отступать, взвизгнул, издал истерический вопль и пропал. Шеврикука обернулся, взглянул на Гликерию, та без сомнения была напугана, руку с перстнем держала вскинутой, и золото

Пэрстовой вещицы горело, а потом стало тускнеть…

– Он вернется! – закричала Дуняша. – Он вернется! Не уходи, Шеврикука! Он придет со шпагой!

– Ну и что? – сказал Шеврикука и поставил подсвечник на ломберный столик. – Ему положена шпага. А мне не положен и этот подсвечник.

– Вам, Шеврикука, положена кочерга, – сказала Гликерия.

– Да, – сказал Шеврикука. – Мне положена кочерга. И ухват. Но теперь я соглашусь быть у вас проводником.

– Вот теперь, – сказала Гликерия, – ни о какой услуге мы просить у вас не будем.

– Гликерия Андреевна! – воскликнула Дуняша. – Лика!

– Как пожелаете, – сказал Шеврикука. – Найти меня вам будет не сложно.

25

Опять дрожание земли и глубинные гулы ощущал Шеврикука, но уход его из Дома Привидений вышел на странность беспрепятственным, не объявились даже Горя Бойс и бабка Староханова, а могли бы проявить интерес, некому было сдать сушеную воронью лапу, и Шеврикука оставил ее висеть в черном мороке.

Во дворе Землескреба Шеврикуку поджидал Пэрст-Капсула. Был он в ковбойской шляпе, камуфляжном костюме и полусапожках. «Донесения Радлугина», – прошептал Пэрст-Капсула, ничего не протянул Шеврикуке, но за пазухой у того, под джинсовой рубахой, образовались бумаги и стали Шеврикуку угнетать. «Хорошо, хорошо, – быстро и даже недовольно проговорил Шеврикука. – Потом, потом! Совершенно занят. Завтра». Пэрст-Капсула, похоже, расстроился. Он явно жаждал общения, а может, и о чем-то хотел попросить Шеврикуку.

– Ну что еще? – сказал Шеврикука.

– Я хотел бы иметь подругу, – смущаясь, сказал Пэрст-Капсула. – Вы позволите мне завести ее?

– Ты сам себе хозяин! – махнул рукой Шеврикука и помчался в квартиру Уткиных.

«А кругляш-то его, наверное, и впрямь непростой», – подумал Шеврикука, вспомнив, как горел перстень на пальце Гликерии, а потом потускнел.

Среди прочих донесений Радлугина было: «Плод квартиросъемщицы Легостаевой развивается нормально. Упомянутая Лег. попрежнему утверждает, что понесла от Зевса».

И это донесение и иные бумаги Шеврикука отбросил.

Все чего-то хотят. Кто подругу. Кто младенца от Зевса. Кто Туманность. Кто Всемирную Свечу. Чего желает он, Шеврикука? Не нужна ли и ему теперь подруга? Или хотя бы Туманность? Но он и так в туманности. В тумане бытия.

Шеврикука отдышался и нечто придумал. Потом он снова взял бумаги, доставленные Пэрстом-Капсулой. Доброжелательный гражданин Радлугин делился своими наблюдениями над жизнью ответственного квартиросъемщика Дударева О. С. Этот Дударев был во многом хорош и терпим и скорее доброжелателен, нежели подл, хотя порой дребеденил, шумел и водил не постоянных женщин. Но Радлугина обеспокоили ни с

того ни с сего возникшие отношения Дударева О. С. с какими-то неизвестными отродьями, по-видимому, агентами, согласившимися называть себя Отродьями. А так называемое Отродье Б. 8783 – 4. Б. Ш. (Фл. Ш.) в карточке с золотым тиснением недвусмысленно потребовало от Дударева О. С. установить связь с привидениями, якобы проживающими в здешней местности. Но привидений нет в природе, а в здешней местности и в Землескребе их тем более не может быть. А потому под привидениями надо иметь в виду какие-то невыявленные личности, скорее всего, потенциально опасные.

«Сегодня ты узришь привидение! – пообещал Радлугину Шеврикука. – Сегодня к тебе явится тень Фруктова!»

Он сейчас же был готов отправиться в квартиру Радлугиных. Обзавестись привидением в подъезде и немедленно входило теперь в его расчеты. Но он подумал, что визит Фруктова в светлую пору может и не вызвать у Радлугина необходимые впечатления. К тому же засомневался: а обернется ли он тенью Фруктова? Впрочем, опыт и умение у него были. Другое дело, стоило ли ему самому стать подобием Фруктова? Или же следовало лишь вызвать тень доведенного до погибели и ею управлять? Шеврикука колебался. Но потом решил исполнить обе вариации. Тема-то ему была ясна. Начинать можно было с управляемой тени. Ради достоверности, посчитал Шеврикука, создавать ее, пусть и бессловесную, надо было в квартире, где отчаявшийся Фруктов отказал себе в праве на существование. Нынче там проживал бакалейщик Куропятов, склонный к философическим восхождениям.

«А не подняться ли пока к Пэрсту-Капсуле?» – подумал Шеврикука. И поднялся.

– Это тебе знакомо? – спросил Шеврикука, протянув Пэрсту-Капсуле донесения Радлугина об интересе к Дудареву Отродьев с Башни.

– «Б. 8783 – 4. Б. Ш. (Фл. Ш.)», – прочитал Пэрст-Капсула. – Знакомо. Белый Шум. Один из них. Порядковый.

– Это что еще за шум?

– Случается в электронных устройствах… в эпизодах высших температур… включают в список конкурентов, ведущих борьбу за существование… простейшей моделью его могут служить песчаные или снежные лавины… Обвалы…

– Я в этом ничего не понимаю, – поморщился Шеврикука.

– Музыкой поставлен предел объяснению мира, – сказал Пэрст-Капсула.

– При чем тут музыка! – воскликнул Шеврикука. – Меня интересует:

Белый Шум, Б. Ш., хоть бы и порядковый, – это серьезно?

– Серьезно. Это очень серьезно.

– Ну ладно, – заключил Шеврикука, помолчав. – Примем к сведению. А что это ты вспомнил насчет музыки? И в связи с чем?

– Слова не мои, – сказал Пэрст-Капсула. – Я их повторил. Я слышал. Музыкой поставлен предел объяснению мира. И произносили это в связи именно с Белым Шумом.

– Музыкой поставлен предел объяснению мира? Или музыка – предельное объяснение мира?

– Может, и так, – сказал Пэрст-Капсула. – Люди что-то ищут. Полагают, что вот-вот подберутся к истине. Или уже подобрались. И тут – удивительный шум. Обвал шума. Лавина его. Далее музыки идти нельзя.

– Нельзя, значит, и не надо, – согласился Шеврикука. – Мы и не пойдем. А отчего этот Белый Шум, порядковый, попал в Отродья?

– Белые Шумы высокомерны. Человек и его устройства вызывают у них пренебрежение. Или презрение.

– Но порождены-то они именно этими устройствами?

– Возможно. Но они так не считают.

– Среди Отродий они важны?

– Важны. Но положение их незначительно. Их придерживают. Иные из них и на побегушках. Они важны как исполнители. Их ценят, но ценность преуменьшают.

– А они не в обиде?

– Возможно, и в обиде. Но обиду таят в себе. Есть причины.

– В послании к Дудареву какие-то цифры.

– Номер разновидности. Четвертая разновидность. И может быть, номер серии. Или номер поручения. Не знаю.

– Но этим номером можно определить степень серьезности поручения и исполнителя?

– Скорее всего, средней серьезности. Но цифры могут быть и ложными.

– Это понятно, – сказал Шеврикука. – Стало быть, Б. Ш. – высокомерны.

– Да, – кивнул Пэрст-Капсула. – Они и Магнитные Домены.

– Еще и Домены, – вздохнул Шеврикука.

Он помолчал, давая возможность Пэрсту-Капсуле сообщить какие-либо иные сведения или продолжить разговор о заведении подруги, невежливо прерванный накануне. Но Пэрст-Капсула ни слова о подруге не произнес.

– Тогда… в ту ночь… – неуверенно начал Шеврикука, – в доме на Покровке ты оказался случайно или по весомой причине?

– Случайно, – сказал Пэрст-Капсула. – Но и по весомой причине.

– Похоже, я обязан тебе, – сказал Шеврикука. – Я не забуду.

– Стоит ли говорить об этом? Не стоит. Возможно, я имел и свой интерес.

– Ты разглядел перстень… – Шеврикука замялся, – тамошнего привидения?

– Да, – кивнул Пэрст-Капсула. – И понял. Но… вашей знакомой следовало бы впредь относиться к украшениям осторожнее.

– Боюсь, что теперь мне будет непросто вернуть тебе две вещицы…

– Может быть, оно и к лучшему, – сказал Пэрст-Капсула.

– Как знаешь, – сказал Шеврикука.

26

Днем Шеврикука из окон Уткиных наблюдал движение по двору Крейсера Грозного. Обняв за плечи любителя марафонских пробегов Такеути Накаяму, Сергей Андреевич Подмолотов просвещал японца. За ними следовал или, скорее, понуро плелся освобожденный от исторической фанеры бывший соцсоревнователь Свержов. Дударев отсутствовал, а желание узнать, вывел ли Крейсер Грозный Дударева на покровское привидение, у Шеврикуки не возникло.

В половине двенадцатого Шеврикука в квартире бакалейщика Куропятова задумался: а во что тень Фруктова одеть. Он уже забыл, какой у Фруктова был гардероб. Костюм, а может, и два костюма Фруктов, несомненно, имел из-за необходимости ходить в присутствие. Но Радлугина вид Фруктова в костюме и при галстуке, пожалуй, мог ввести в заблуждение: а вдруг успехи отечественной науки таковы, что она и давнего покойника способна поставить на ноги. И другие люди, верящие в ваучер, присоединились бы к такому мнению. А Шеврикуке требовалось именно привидение. В простыню, что ли, его завернуть и снабдить тихим мерцанием? Опять же Радлугин Фруктова в простыне и в тихих мерцаниях мог бы просто не признать. Но ведь был у Фруктова ношеный махровый халат и были стоптанные шлепанцы. Бакалейщик Куропятов уже спал. Шеврикука неслышно прошел к стене, возле которой на несуществующем нынче диване упокоился прежний квартиросъемщик и ради упражнения прикинулся Фруктовым в махровом халате и шлепанцах на босу ногу. Затем он направился в ванную и взглянул в зеркало. Волосы у Фруктова должны быть взлохмачены, посчитал Шеврикука, а щеки неделю небриты. Теперь найденный облик можно было передать тени, самому же невидимым гулять рядом с ней. Но сразу же выяснилось, что самому прикинуться Фруктовым было проще, нежели обрядить тень и тем более управлять ею. Голова тени Фруктова вздрагивала, дергалась, конечности же его – руки и в особенности ноги – еле двигались, халат вот-вот мог свалиться с плеч, и Шеврикука покрепче стянул на животе тени похожий на веревку пояс. «Ну пусть для начала изображение будет смутным», – решил Шеврикука, при этом будто бы делая чему-то уступку. С усилием он подвел тень Фруктова к ложу Куропятова и повелел ей пощекотать травинкой ушную раковину бакалейщику. Куропятов зашевелился, замычал, приподнял голову, потряс ею, желая отогнать муху, открыл глаза, уставился на Фруктова,

пробормотал: «Дробленый рис… Рис дробленый… Мешок… Два мешка…», голову уронил и заснул. Удивило Шеврикуку то, что губы Фруктова вздрогнули и даже был выдавлен звук, а рука тени поднялась к переносице и стала ощупывать ее. Более нарушать забвение Куропятова Шеврикука не стал и сквозь жилище Мити Мельникова опустил тень Фруктова в квартиру Радлугиных.

Супруга Радлугина почивала, а сам Радлугин наблюдал политические дебаты. При свете ламп и скандальном шуме телевизора проходы вблизи Радлугина тени Фруктова не вызвали в добродетельном гражданине никаких Чувств. Раздосадованному Шеврикуке пришлось, хотя это было противу правил, погасить свет и убавить звук телевизора. Он сейчас же учинил громыхание посуды и металлических предметов на кухне и в коридоре, Радлугин вскочил в недоумении, тогда Шеврикука и направил ему навстречу тень Фруктова. Загубленный чиновник в махровом халате трудно, совершая судорожные движения, набрел на Радлугина, рухнувшего в кресло, и спросил: «Где мои очки?» Сначала зашевелились его губы, опять раздалось некое сипение и клокотание, но следом было произнесено внятное: «Где мои очки?» Совершенно неожиданно и для Шеврикуки. О том, что Фруктов носил очки, он, оплошав, забыл. Радлугин взвыл, в испуге глядел на смутно-белое, направленное ему в грудь (руку? палец?), и потом стал стремительно уверять, что он честный, что очки в доме не держит, что чужие очки не брал, не берет и не будет брать. «Где мои очки? – угрюмо повторял Фруктов. – Где мои очки?» В дверном проеме появилась супруга Радлугина в розовой ночной рубашке, и она дрожала. «Отдай ему очки! – попросила Радлугина. – Отдай!» Соединив взглядом жену с существом в халате на голое тело, Радлугин воскликнул: «Он от тебя! Он был у тебя! Он был с тобой!» «Что ты говоришь! – стала всхлипывать супруга. – Это же Фруктов! Ты что, не видишь? Он пришел за очками!» «Очки! Где мои очки?» – настаивал Фруктов.

Шеврикука растерялся. Семейная драма ему была не нужна. Радлугин, похоже, мог не поверить жене, а следовательно, не поверить и в привидение. Удивляло его и то, что тень Фруктова своевольничала и будто не слышала его, Шеврикуки, указаний. «Очки, очки! – ворчал про себя Шеврикука. – Я тебе устрою сейчас очки!» Между тем Радлугин сумел подняться из кресла и, отстраняя от себя докучливого просителя, направился к жене. И он был словами не богаче Фруктова: «Ты с ним? Он у тебя! Как ты могла!» «Как ты можешь! – всхлипывала супруга, но уже и в ней воссоздавалась воительница. – Очнись! Выколоти из себя дурь! Погляди глазами! Это же Фруктов!» «Нет, надо его отсюда уволакивать!» –

сообразил Шеврикука.

Он возвратил свет лампам и звук программе «Новости», но Фруктова сразу не убрал, а сердито провел его между супругами, заставил перед Радлугиным остановиться и постоять в назидательной позе секунды три. Затем Фруктов исчез с глаз Радлугина долой, и громкие недоумения в квартире возобновились.

Уверенности в том, что впечатление произведено, у Шеврикуки не было. Своеволия тени его чрезвычайно раздосадовали, и он чуть ли не прогнал Фруктова еще по нескольким квартирам своих подъездов, преимущественно уже темных. При этом он позволял тени натыкаться на предметы и производить шумы. Допустил он тень Фруктова, между прочим, и в жилища Легостаевой, иначе Денизы, и Крейсера Грозного. Дениза не проснулась, а Крейсер Грозный вскочил с койки, вскричал: «Ба! Да это же Фруктов!» – обнял тень так, что в ней захлюпало, и спросил: «Ты что, сосуд принес? Но уж поздно!» Тень ответила: «Я непьющий. Где мои очки?» Крейсер Грозный сказал: «Вон там валяются чьи-то. Может, и ваши. Я не помню. А может, и японские». Тень бросилась в указанное место, подняла очки, надела их и рассмеялась. «Ну все! – сказала тень Фруктова. – Теперь я этого так не оставлю!» Шеврикука хотел бы знать, чего тень Фруктова не намерена оставить, но ему пришлось лишь выстраивать догадки. Гулянье тени по этажам Шеврикука прекратил. Был в раздражении. «Ослаб, что ли, я? – думал. – Или не выспался?» И повелел себе спать.

27

Утром его удивили. В доме всюду шли разговоры о привидении. Легостаева и та видела Фруктова. Угрюмо молчали Радлугины. «Какой Фруктов? Откуда Фруктов?» А Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный, радовался: «А! Что я говорил! При нашем-то потенциале и геополитическом положении в каждом подъезде по Фруктову! Наш уже и при японских очках. А явится еще раз – получит рогатку!» По словам Крейсера Грозного, успешно развивались его деловые отношения с Такеути Накаямой, и не исключено, что вскоре обрадует народы назревающий японо-останкинский концерн по производству экологически чистого средства бытовой обороны – тех самых рязанско-михайловских рогаток. Дударев посмеивался над предприятием Крейсера Грозного, но, впрочем, деликатным образом. Он подчеркивал, что Сергей Андреевич, хоть и начал торговать в Медведкове мороженым с лотка и из картонной коробки, надеясь сколотить там первоначальные накопления для концерна, попрежнему участвует в Их Деле. Имеются письменные заверения. Согласны перевести его из ночных сторожей в консультанты по работе с привидениями. Или же – если учесть прежнюю должность Сергея Андреевича в Департаменте Шмелей – в инженеры по технике безопасности привидений. Из новых бесед с Крейсером Грозным и Дударевым (тот приезжал к Землескребу уже в вишневой «девятке» и обещал положить Игорю Константиновичу пятнадцать тысяч в месяц) Шеврикука понял, что Крейсер Грозный покровские привидения Дудареву не предоставил, в знакомство с ними не ввел и даже тень Фруктова, давнего своего кореша, будто бы от Дударева укрывает. Глаза у Сергея Андреевича были ужасно хитрые, а держал он себя так, словно теперь от него все зависело. Дударев не то чтобы лебезил перед Крейсером Грозным, нет, он был над ним, наверху, но иногда все же вел себя искательно. И даже предлагал отвезти Грозного на вишневой «девятке» к месту торговли мороженым. «Вот ты дурачишься, ищешь свою выгоду, темнишь и тянешь, – раздражался Дударев, – а мы возьмем и без тебя решим все проблемы с привидениями! Кто такой Митенька Мельников – тебе известно. А мы потихоньку воссоздадим лабораторию. То есть вовсе и не потихоньку. Да, вовсе не потихоньку. Найдем и другие ходы. А ты останешься в дураках при своих знакомствах!» «Не знаю, не знаю, – говорил Крейсер Грозный, – какие такие другие ходы. А только ты

нервничаешь». «И японец не твой, а наш, – настаивал Дударев. – Возьмем и отдадим ему привидение Александрин, если уж оно так ему любезно». «Я ему эту Александрин выдал, – отвечал Крейсер Грозный. – Под расписку. Только он теперь, может быть, увлекся другими привидениями. В особенности той, что спустилась с неба. А она уж точно не ваше привидение. Она моих флотских корешей, Петра и Дмитрия, привидение. И дом не ваш, а их». «Все ты, Грозный, врешь! – возмущался Дударев. – А твоих флотских скоро расселят. Дождешься. Но Фруктова-то тебе отчего жалко? Что ты жадничаешь? Ты хоть Фруктова нам открой!» «Я ему говорил. Он не желает иметь с вами дел, – разъяснил Крейсер Грозный. – Ему рогатка сейчас нужна, и более ничего». «Ну вы послушайте этого стервеца, Игорь Константинович, – обращался Дударев к Шеврикуке как к несомненному союзнику и единомышленнику, – собственное дело завести хочет. Не отколешься! У нас есть твои заявления. Или сотрем в порошок!» «А посмотрим, – хитро улыбался Крейсер Грозный. – Да и куда вы без меня денетесь!»

Стало быть, на Гликерию с Дуняшей или на какую-нибудь Увеку Увечную, сообразил Шеврикука, известные ему личности пока не вышли. Но ведь могли пуститься в схожее предприятие и личности неизвестные. Потом выясним, пообещал себе Шеврикука. А сейчас и безотлагательно надо было разобраться с тенью Фруктова. Слухи о ней ходили уже самые невероятные. Ее видели якобы во всех подъездах Землескреба. А Радлугины о ней молчали. В донесениях добропорядочного гражданина не было даже и намека ни о тени Фруктова, ни о легкомысленных слухах о ней. Шеврикука полагал, что тень у него под надзором, замерла и никуда не ходит. Но вдруг?! Вдруг эта тень приняла и долю свойств его, Шеврикуки, только прикидывается послушной и замершей, а сама в пору его отлучек и невниманий куда-нибудь и шастает? Может, и впрямь ходит к Крейсеру Грозному и выклянчивает рогатку. Все, постановил Шеврикука, дело начато, а теперь следует тень вместе с очками, халатом, шлепанцами развеять. До поры до времени. И развеял. Но вышло так, что не надолго.

Он заставлял себя не думать ни о Гликерии с Дуняшей, ни о большом переполохе. А не мог. И не мог – из гордости! – отправиться снова в Дом Привидений и Призраков. Оставалось одно: преобразить себя во Фруктова или повести на лыжную базу следопытом-информатором управляемую тень погубленного чиновника. Был в нетерпении. Готовился к экспедиции. Но нежданное событие остановило его.

Случился погром музыкальной школы.

Громили школу ночью. В те летние дни школа почти пустовала. А в

злосчастную ночь в ней не было ни людей, ни домовых. Пришедших утром на службу работников школы увиденное ошеломило. И тогда среди прочих горестных восклицаний прозвучало: «Нет, тут что-то нечеловеческое!» Произнесшей это преподавательнице струнного отдела сейчас же возразили: «Человеческое! Теперь это именно человеческое!» «Но кому и зачем понадобился погром?» – гадали работники школы. Не подросткам же с Кашенкина луга. Для них, конечно, не было ничего святого, но им куда интереснее, чем громить фортепьяно и скрипки, было нынче врастать в бизнес. Не имела школа завистливых и зловредных соперников. Кому теперь в культуре, где одни нищие и нагие, завидовать? И из-за чего соперничать? Погромщики и не обогатились, ничего не унесли, а лишь раскрошили. Именно раскрошили! Все, к чему они прикасались – деревянное, металлическое, костяное, пластмассовое, стеклянное, бумажное, – было превращено в мелкие стружки, опилки или даже песок. Призванные милиционеры смотрели на бывшие музыкальные инструменты, столы, стулья, ноты, унитазы и трубы туалета, то есть теперь – на опилки и песок, и недоумевали: что за сила учинила побоище и из-за чего? Похоже, не только ответы, но и какие-либо догадки не приходили им в головы. Варвары не оставили улик и отпечатков пальцев, не валялись на полу окурки, граненые стаканы, гильзы и пули, нигде не пахло дорогими сигаретами и капитанским табаком. Лишь на одной из стен был обнаружен странный рисунок, как будто бы изображавший снежную лавину, и рядом выцарапанные буквы «М. Д.». Может быть, это был фирменный знак обнаглевших негодяев? Более никакими подарками следствие не располагало.

«Отродья! Отродья Башни! – шепотом пошло между останкинскими домовыми, озабоченными или перепуганными. – Началось!» Сразу же было установлено: громили исключительно в тех помещениях, где бывали домовые. В вестибюле, в классах второго этажа, в учительской, в концертном зале и в туалете. То есть там, где происходили и ночные общения, и заседания клуба, и творческие отчеты домовых, и судилища, и деловые посиделки, и встречи по интересам, и кутежи. К тому же пропал домовой Тродескантов, все еще остававшийся по расписанию ночным распорядителем музыкальной школы. После изысканий и разборов пришли к заключению, что стеснительный, но честный Тродескантов был уничтожен или взят в полон именно Отродьями Башни.

До Шеврикуки донеслось: созываются экстренные деловые посиделки. Впрочем, какие уж тут посиделки! Слово требовалось подобрать более уместное. Происходить будут в подвале. В каком – неизвестно. А может, и

уже происходят. Шеврикуку не призвали. «Ладно, – сказал себе Шеврикука. – Не призвали и не призвали». Терпеть он не мог, проник в музыкальную школу, все разглядел и прочувствовал. Стены остались, а полы второго этажа попортили и стекла раскрошили. Рисунок на стене, размером с пачку сигарет, признанный милиционерами подозрительным, Шеврикука рассмотрел. Действительно, лавина будто бы неслась с горы. Или – с Башни? И некие запятые и крючочки опадали там и тут. Может быть, это опадали неведомые нам нотные знаки? «Музыкой поставлен предел объяснению мира…» Так. Снежная лавина, песчаная лавина. Лавина опилок и стружек. Белый Шум. «Белый Шум – это серьезно…» А М. Д., надо полагать, – Магнитный Домен? В случае с исчезновением Петра Арсеньевича и газовым пожаром на Кондратюка, несомненно, действовала иная сила. Теперь Шеврикука пожалел, что прохладно отнесся к подробностям разгрома лаборатории Мити Мельникова. Просто принял к сведению новость и сетования Дударева, а никаких прилежных исследований не затеял. Но там как будто бы курочили, а не крошили. И там – уворовывали. Хотя, конечно, лаборатория, из которой, между прочим, происходили Оранжерейный змей-анаконда и отчасти эксперт по катавасиям Пэрст-Капсула, – не дом для музыкального просвещения детишек и не ночной приют домовых. Наверняка чем-то овладеть из нее Башне было целесообразно. Если не всем. И исполнителей туда могли послать иных.

Ничего ни у кого из домовых Шеврикука не выспрашивал и уж тем более не обращался ни к кому из устроителей экстренных подвальных посиделок. Напротив, к нему стали подбираться, притекать всякие личности, знакомые и неизвестные. И такие ничтожные, как Колюня-Убогий с Ягупкиным, и уважаемые в Останкине Артем Лукич, Велизарий Аркадьевич, старик Иван Борисович, эти уж непременно заседали в подвале. Шеврикука молчал. Его молчание лишь усиливало интерес и старания навязчивых собеседников. Раз молчит – значит, знает. А годами ходило мнение, что Шеврикука разведывал о многом расторопнее других. «Ничего я не знаю. И знать мне ничего не положено, – угрюмо говорил Шеврикука. – Что в моих подъездах – я знаю. И более ничего». «Ну напрасно вы на нас обижаетесь, – вежливо укорял Шеврикуку Велизарий Аркадьевич, по его мнению, целиком состоящий из высокой духовности. – Мы ни при чем. Вас еще призовут. Перед вами извинятся». («А ведь Велизарий-то долго соседствовал и дружил с Петром Арсеньевичем! – сообразил Шеврикука. – Как я запамятовал об этом!») «Неужели вы, Шеврикука, не знаете о том, что…» – начинал старик Иван Борисович. «Ни

о чем я не знаю», – стоял на своем Шеврикука.

А из вопросов и гаданий собеседников он выяснил вот что. Иные считали, что уже началось, вот-вот всех поднимут, напрягут и поставят под кочергу. Иные придерживались мнения, что погром – разведка боем, что Отродья Башни были намерены лишь припугнуть домовых, а в решительный поход пойти на них не отважатся. Тихо и намеками говорили о будто бы предъявленном Отродьями ультиматуме. Кому предъявленном? Неизвестно кому. Кому-то. Можно лишь предполагать кому. И якобы в этом ультиматуме Отродья требовали передать им некое достояние домовых, приобретенное и накопленное ими чуть ли не в столетиях. Иначе, мол, достояние будет отобрано силой и техническими средствами, а домовые опустятся на колени и станут мелкими услужниками Отродий. Что это за достояние такое, какие такие добро, или клады, или сокровища возжелали Отродья, домовые словно бы и не знали. Многие, возможно, и впрямь не знали. Но кто-то ведь знал. Ведь тот же Велизарий Аркадьевич наверняка знал. Хоть кое-что. Но помалкивал. «Двадцать старцев, не скованных и не связанных…» – вспомнилось Шеврикуке. – «…Стережет змей огненный, а под змеем ключ семипудовый… На море на Окияне есть бел-горюч камень Алатырь. Под тем камнем сокрыта сила могучая, а силе нет конца… Двадцать старцев…» Чушь какая! Годится разве что для фольклорных сборников или антологий старинных диковин.

Неспокойно было в те дни в Останкине. Но новые нападения не происходили, домовых пока не поднимали, не напрягали и не ставили под кочергу.

А не связана ли атака Башни со всполошением в Доме Привидений и Призраков, подумалось Шеврикуке. Не повлияло ли всполошение на помыслы и действия Отродий? Опять Шеврикука пожелал возобновить тень Фруктова и отвести ее на лыжную базу. Шеврикука собрался было отправиться в жилище бакалейщика Куропятова, но тут в квартире пенсионеров Уткиных начались преобразования. И стены ее пропали, и будто бы исчез Землескреб, а Шеврикука оказался внутри сполохов северного сияния. Электрические разряды происходили в нем, сыпались искры, и нечто трещало. А потом Шеврикуку втянуло в лавину, снежную или песчаную, летящую из высей, закрутило и поволокло в пропасть. Он ослеп и оглох, не воспринимал никакие внешние шумы, но в нем существовал пронзительный, противный, разрывающий все звук, он оставался единственным ощущением жизни. Звук завершился визгом бензопилы, утих, стены возвратили квартире Уткиных, Землескреб стоял в Останкине. Возле Шеврикуки состоялось движение некой пластины, будто

стальной или платиновой. Пластина двигалась то рывками, то перетекая с места на место, словно подчиняясь правилам компьютерной графики. Над пластиной угадывалась голова посетителя. Она была плоская и резкая, как лезвие. Но, может быть, голова эта примерещилась Шеврикуке.

– В вас, Шеврикука, возникла потребность, – прозвучало металлическое. – Пребывайте в готовности.

Пластина вошла в стену, пропала, а в месте ее исчезновения на обоях остался рисунок, виденный Шеврикукой в музыкальной школе. Подчиняясь возникшему чувству, Шеврикука тут же отправился на кухню, горячей водой намочил тряпку и попробовал рисунок стереть. Обои были моющиеся, и рисунок исчез. «Конечно, будем пребывать – чуть ли не с отвагой (или с вызовом?) пообещал кому-то Шеврикука. – Конечно, будем всегда в готовности!»

Он задумался. Сообщить ли о явлении Белого Шума Пэрсту-Капсуле? Одно дело – лакированная карточка с золотым тиснением, адресованная товарищу Дудареву О. С., другое дело – физическое присутствие Белого Шума в Землескребе (физическое ли? метафизическое? или еще какое?). Кто бы ни был или кем бы ни состоял Пэрст-Капсула, посчитал Шеврикука, его надо оповестить. И оповестил. Пэрст-Капсула, найденный им, был жизнерадостен, хотел о чем-то рассказать Шеврикуке, возможно, о подруге, которой был намерен обзавестись или уже обзавелся, но, услышав о Белом Шуме, стал серьезным.

– Принял к сведению, – сказал Пэрст-Капсула.

– И что же, тебе придется покинуть наш дом? – спросил Шеврикука.

– Не знаю. Еще не понял. Подумаю. Установлю. Я сам себе установление.

– Ну и хорошо, – сказал Шеврикука.

Он спустился из получердачья лифтом и вышел во двор. Тотчас же, будто подстерегали его в стриженых кустах барбариса, к Шеврикуке подбежали Колюня-Убогий и Ягупкин. В руке у Колюни-Убогого была бумажка, он ее Шеврикуке и вручил.

– Уведомление, – сказал Ягупкин. – Мы посыльные. Велено передать. Тебе назначена встреча с Увещевателем. Где и во сколько – указано.

– С малым Увещевателем? Или с очень большим? – Шеврикука хотел пошутить. Но шутка вышла неудачной.

– С большим! – с трудом и будто страшась неминуемой немилости сильных, выговорил Колюня-Убогий. – А может, и с самим. С Великим.

Так. Этого не хватало. Не только не призвали в подвал на экстренные посиделки, но еще и назначили беседу с Увещевателем!

А может, оно и к лучшему?

Но, впрочем, все зависело от того, кого нынче определили в большие Увещеватели.

Шеврикука вздохнул. Предощущение заставило его взглянуть на небо.

Над ним, над Останкином, над Москвой висел Пузырь.

– Что это? – удивился Шеврикука. – Откуда?

– Плюха какая-то, – сказал Ягупкин. – Обосновалась и не движется. Уже часа полтора.

Пузырь был тот самый, что являлся Шеврикуке во сне. Как и во сне, он был исполинский, границ вроде бы не имел, но вроде бы имел и границы. Происходили преобразования его форм и свойств, при этом менялись и его цвета, и внешние – оболочные, и доступные созерцанию внутренние. То они были нежно-серые, то перламутрово-палевые, то бледно-фиолетовые, то тихо-бурые. И будто волны неких колебаний или даже чувств исторгал Пузырь. В наблюдателях (а уже много зевак глазели на небо вблизи Шеврикуки, стояли среди них и Свержов, и давно не виденный Шеврикукой человекобык Бордюков) они вызывали то тихонравие и ожидание благ, то тревогу и нервический зуд. Остановился возле Шеврикуки проходивший к месту жительства после подвижнической торговли мороженым в Медведкове Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный. Подъехал и Дударев, теперь уже в серой «тойоте».

– Дредноут какой-то плавает, – сказал Крейсер Грозный. Потом, подумав, добавил: – Но народ не унывает!

А не встала ли в Останкине и Всемирная Свеча, озаботился Шеврикука. Нет, Всемирная Свеча не встала. Внутри же Пузыря вспыхнули, замерцали таинственные, томящие душу огни, Пузырь словно бы потянулся, выгнул спину, как проснувшийся кот. И сразу успокоился, притих.

– Но народ не унывает! – подтвердил Крейсер Грозный.

Никто ему не возразил.

28

К Увещевателю Шеврикуке следовало отправляться в Китайгород, на Никольскую улицу. Он мог не спеша пройтись туда Первой Мещанской, Сретенкой и Лубянкой, но решил опуститься в глубины метрополитена. И вышло, что в Китай-городе оказался раньше предложенного. Посидел на скамейке возле первопечатника, разжевал плитку не раз спасавшего футболиста Добровольского от истощения шоколада «Сникерс». Услышал: за «Детским миром» при входе в «Савой» стреляли из «Калашникова». Известное дело. Приятного, несомненно, мало. Разборка скоро утихла. Шеврикука стал припоминать, есть ли у него знакомые домовые в «Савое» или «Детском мире». Есть. В «Детском мире» даже двое. Каково им нынче-то на бойких и кипящих местах? Хотя где теперь места тихо-мирные? К тому же всегда находились любители мест именно бузотерных. Шеврикуке самому захотелось заглянуть в «Савой» и, коли знакомец его не дрыхнет и не схоронился от житейских безобразий в простенках, побеседовать с ним. Просто так, для естественного развития. Как им тут, в Белом городе? И как вообще нынче в Белом городе? Пузырь, нависший над Останкином, от первопечатника не был виден.

Однако беседу в «Савое» Шеврикука решил отменить. В следующий раз, пообещал себе. В следующий раз. Если этот следующий раз будет возможен.

От Никольской предстояло передвигаться китайгородскими переулками и дворами, из Большого Черкасского Старопанским подойдя к Богоявленскому монастырю, в соборе которого хор Свешникова, пробивая звуком стены, разучивал теперь «В низенькой светелке» на гастрольных языках, проникать в Ветошный ряд, затем блуждать (или заблуждать кого-то), петлять и то и дело отдаляться от Обиталища Чинов, хотя прямиком ходу до него было минуты две. Будто шпики какие-то тянулись за Шеврикукой. Нет, шпики, похоже, за ним не тянулись. Те, кому надо, о его путешествии знали. И все, у кого была на то нужда, знали, где местится Обиталище Чинов. Но из уважения к преданиям и легендарным случаям вызванному в Обиталище полагалось петлять, терять дорогу и даже прикидываться пьяным, неразумно и неведомо зачем забредшим в Китайгород.

Алкашом Шеврикука стать не пожелал, пусть смирных качает, и петлять как следует не петлял, а все больше заходил в свежие лавки,

преобразовавшие Никольскую улицу. Месяца два Шеврикука не бывал в Китай-городе, и какие тут нынче открывались ему перемены и оживления! Какие изобилия и роскошества во вчерашних конторах с замазанными белилами стеклами! Прямо Париж! Или даже Сингапур! Однако, предположил Шеврикука, не почувствуют ли себя среди этих изобилий и роскошеств останкинские жители именно в Сингапуре с четырьмя копейками в кармане? Впрочем, хорошо ли ему известно, какие у кого в Останкине карманы и какие в них могут обретаться капиталы? Естественно, нет. О карманах и капиталах своих подъездов он имел сведения. Но сведения эти покачивались на окраинах его интересов и в дело не употреблялись. А сейчас он отчего-то пожалел о своей всеостанкинской финансовой неосведомленности. «Нет, нынче надо знать все наличности, – сказал себе Шеврикука, выбираясь из ювелирного магазина в китайгородскую толчею. – И узнаю. Озадачу Радлугина».

А зачем? Зачем? И зачем именно теперь замысливать нечто? Ведь из Обиталища Чинов можно было и не выйти.

Ну и что? Ну и что?

И Шеврикука устремился к Обиталищу, голову и плечи выставив вперед, будто ему мешали идти зловредные течения воздуха, а он был намерен преодолеть их, ворваться в Обиталище, выкликнуть шаляпинским рыком: «Бойцы есть?», всех разнести и навести порядок. Миновал бело-розовые палаты царского изографа Симона Ушакова, Биржу на Карунинской площади, Рыбиным и Хрустальным переулками обошел Старый Гостиный двор, чьи надземные, видимые московскому пешеходу этажи примыслил Кваренги. Кто только не занимал теперь эти этажи, кто только не бездельничал и не жульничал в них! Впрочем, под ними обитали существа не лучше.

В Москве по привычке, исходя из хозяйских выгод, а порой и из почтения к суевериям и предрассудкам, затевая новые строения, редко выламывали подклети, подвалы стоявших здесь прежде палат и хоромин. Свежее дело утверждали на древних основаниях. Пример тому известный нам дом Тутомлиных (или дом Гликерии) на Покровке. А уж в Китай-городе, что ни здание, то с подземельями. Иные из них засыпаны и замурованы, иные никому не известны, и даже следопыты-архитекторы о них не проведали и, понятно, не ввели их в государственный или хотя бы муниципальный учет, а иные, скажем, при погроме Зарядья освободились от наростов столетий и из подвалов превратились в Посольский двор Ивана Грозного и Братский корпус Знаменского монастыря. Под Старым Гостиным укромных мест, и обширных притом, было предостаточно.

Бывшие лавки бывшего когда-то шумно-кипящего московского торга с четырех сторон окружали громадный двор. Туда Шеврикука и последовал. «Исполинское сооружение-то какое! – явилось Шеврикуке при взгляде на непрерывные арки трех этажей Гостиного. – Истинно Колизей. А я обреченный гладиатор. На меня сейчас и натравят оголодавших хищников из Карфагена». Мысль эта тотчас показалась Шеврикуке выспренней, вывернутой к тому же, как перелицованное пальто. Аркады обегали Колизей вовсе не с внутренней стороны, трапеция Китайгородского торга не походила на овал римской арены, а уж сновавшие здесь существа никак не выглядели оголодавшими хищниками. Наверно, имелось во многих из них и звериное, но на него, Шеврикуку, они пока не рычали. Они его и в упор не видели. И то ладно. И главное – обреченный гладиатор! Гладиатор! В самоназначении гладиатором было желание пожалеть себя. Но жалеть себя нынче было опасно.

Поднятый вверх в Колизее большой палец императора оставлял поверженного воина в живых и даровал ему право продолжать смертельные игры. Палец, опущенный вниз, назначал несчастному убиение. Каким будет нынче указующий жест Увещевателя?

Спуститься в Обиталище Чинов в Старом Гостином можно было разными лестницами. Шеврикуке определили спуск номер одиннадцать. Шеврикука вступил под одну из арок, двое мужиков катили перед ним бордовые бочки с завлекательными словами: «Полюбите нас, и вы отдохнете на Мальорке!», он чуть было не наткнулся на бочку, пробормотал «Пардон» и втиснулся в невидимую мужикам щель в белом камне.

При входе в Обиталище, по благочестивому обычаю, следовало снимать шапку, и Шеврикука нечто воздушное с головы стянул и потряс им, выражая почтение и к самому Обиталищу, и к его силам, его чинам и посетителям. Кивком он заменил требуемый традицией поясной поклон, определив, что и кивка достаточно, и стал спускаться в деловые недра винтовой кирпичной лестницей.

Гладиаторские чувства покинули Шеврикуку. Шел он присмиревший. И осмотрительный. И вот он оказался в одном из протяженных коридоров Обиталища. Коридоры эти хоть и напоминали о людских учреждениях или об их ведомственных поликлиниках, все же отражали сословную самостоятельность здешних хозяев. Уместны в них были короткие светильники-лучины (пусть и в стеклянных колпаках) под коробовыми сводами и ковровые дорожки из крашенной луком и крапивой мешковины. При встречах коридоров имелись пространственные расширения для

пересудов ожидающих чего-либо домовых, для меняльных лотков и буфетной торговли. Ремонтов, переездов столов и кресел в последние годы в Обиталище вроде бы не затевали, и Шеврикука предположил, что увещевания и нынче происходят в известных ему кабинетах. Так оно и было. Шеврикука скоро отыскал приемный покой одарившего его своим вниманием Увещевателя и заступил в очередь.

Сидели тихо. В помощники-регистраторы Увещевателю был назначен сухонький субъект всеравнокакого возраста, в очочках волостного писаря, в голубенькой толстовке, с ходиками без кукушки, свисающими с плетеного пояса. А на ногах его в проеме стола Шеврикука углядел бурки. «Вот бы увидел их Пэрст, – подумал Шеврикука, – вот бы порадовался!» Увещеваний ожидали домовые разных свойств, все больше схожие с Шеврикукой во взглядах на красоту тела, практические манеры и стиль жизни, но сидели среди них и карлики, и уроды, и стручки, и шуты гороховые в телогреях из козьих шкур. А судя по ерзанью и скрипам стульев, присутствовали здесь и существа невидимые. От особенно нервно скрипевшего невидимого несло моршанской махоркой. Вызванные были из ближних и дальних московских местностей, знакомых среди них Шеврикука не обнаружил «Хоть не один», – стал успокаивать себя Шеврикука. Вроде бы в очереди его прегрешения, проказы и ошибки сползли с него, раздробились в мелочь и разделились между всеми ожидавшими сурового слова. Узнать, кто и каков нынче Увещеватель и какой оборот принимают с ним беседы, не было возможности. После увещеваний домовые, надо полагать, кто с легким умственным испугом, кто с помрачнением основ, а кто и вовсе пинком в распыл, убирались из кабинета серьезной особы, минуя приемный покой. В строгонравственном городе Берлине, слышал Шеврикука, есть почитаемая народом пивная «Последняя инстанция». Четыре столетия благоухает она ячменным напитком прямо за красным зданием городского суда. Тех, кого оправдывали в красном здании, и тех, кого приговаривали к казни, вели в «Последнюю инстанцию». Предоставляли по две кружки пива. Но это в Берлине. В Китай-городе и полстакана кваса в иссохшую глотку не плеснут. Впрочем, и от пива и от кваса отказался бы теперь Шеврикука, лишь были бы оставлены ему возможности утолять жажду по месту службы в Останкине.

Вот уже трех набедокуривших или имевших склонность бедокурить помощник-регистратор в порядке очереди направил к Увещевателю. Хотя, подумал Шеврикука, необязательно набедокуривших. Увещеваниям подвергались и домовые, впавшие в задумчивость, и ослабшие натурою по

причине чувственных неудач, и обольстившиеся колдовством, и полуграмотно толкующие гадательные книги, и босяки-эпикурейцы, опустившиеся до поедания моренных химией насекомых. Всех не упомнишь. Иных распекали кротко, чуть ли не ласково, они были на счету, от них ожидали расцвета дарований, однако текли десятилетия, менялись уклады, а расцвет не наступал. Но Шеврикуку на счету не держали. Он-то был из тех, кто способен набедокурить. Или хуже того…

А коридором мимо очереди с Шеврикукой прохаживались или сновали домовые, к каким не было сегодня проявлено внимание Увещевателей. Их привели в Обиталище Чинов дела, надо полагать, первостепенные. Одни из них не спешили, возможно, в коридорах и укатывали свои сложности, другие же вертелись волчками или же неслись с разлетом рукавов, будто сейчас же должны были ввинтиться в решение проблем и комиссий. Шеврикука им позавидовал. Но зависть его была мимолетная. Зависть ожидавшего Увещевания. Некоторые пролетевшие или продефилировавшие домовые были Шеврикуке знакомы, и в обычные дни он им не завидовал. Они служили в знатных или сановных домах, а потому и сами считали (и сознавали) себя знатными и сановными. Другие служили в домах суетных и богатых, как те же упомянутые «Савой» и «Детский мир», и многие полагали, что тамошние домовые процветающие и состоятельные. Шеврикука уверял себя и всех, что знатность и состояние его не занимают. Коли бы хотел, он несомненно бы пробился во всякие министерские, торговые, коммерческие здания или в те, где жителей развлекают, поят, кормят осетриной по-монастырски и укладывают в приятную койку под шелковые одеяла. А он не хотел. Его и звали в знатно-сановные, состоятельные места – в прошлом, увы, в прошлом! – а он отказывался (не всегда, случались нарушения житейской доктрины, и не раз, но о них промолчим, о них разговор особый). Он желал быть сам по себе, то есть суть свою сословную проявлять при домашних очагах, а дело иметь с людьми, с жильцами, пусть теперь и квартиросъемщиками. В знатных и богатых зданиях люди не жили, а лишь добывали средства и возможности для сносного человеческого существования. Часто и за счет других. Часто и топча этих других. Либо же подличали, угодничали и раздували мыльную пену. Там были сановники и прихвостни. Там были управители и всякая шваль на побегушках. Короли и блохи. Души с плетьми и в наручниках и колодках… Строг бывал в своих мысленных построениях Шеврикука! Домовых же в те здания набивали с перебором, доверяли им разные мелкие чепуховины, кто из них приглядывал за лифтами, кто за туалетами, кто инспектировал скомканную бумагу в деловых корзинах, они, правда,

считались ответственными работниками, но были попросту челядью. Тоже швалью на побегушках. Часто и с унизительными поручениями. Никогда бы Шеврикука не оказался в положении морильщика мух при кабинете члена коллегии, но и состоять генералом морильщиков или же опекунов розеток и штепселей было неугодно его натуре (При нынешних, отмечу, житейских постановлениях Шеврикуки, при нынешних!)

Дав понять, что все его мускулы удручены неподвижным сидением, Шеврикука потянулся, чуть ли не крякнул, встал и на глазах у очереди посреди приемного покоя стал производить отжимания. При счете «десять» он подпрыгнул и выпрямился, дальнейшую его гимнастику могли признать и наглостью. Помощник-регистратор и теперь глядел на него как на наглеца и негодяя, но, похоже, не знал, какие ему применить меры усмирения. «Сейчас сяду, – успокоил его Шеврикука. – А то все затекло». Но к месту своему он направился кругосветным путем, пройдя мимо стола помощника в бурках. Мимолетным взглядом он рассмотрел на целлулоидной таблице регистратора итоговые отметины уже прошедших увещеваний. Таблица была расчерчена на клеточки, и в них словно бы играли в «морской бой» или в «нолики и крестики». Среди ноликов сегодня имелись два фиолетовых креста. «Стало быть, и третьего не миновать», – подумал Шеврикука.

– Шеврикука! – окликнули его из коридора.

Шеврикука взглянул на помощника-регистратора, тот не произнес ни слова, должно быть, окликавший Шеврикуку был достоин почтительного отношения.

Окликал Шеврикуку полнощекий господин, радикально остриженный, будто был арестант или персонаж жизнеописаний Светония. О Светонии Шеврикука вспомнил и потому, что господин был в сандалиях на босу ногу, с плеч же его спадала пурпурная тога с малиновым окаемом.

«Какой-то римский день, – озадачился Шеврикука. – То Колизей с гладиаторами прибыл в голову, теперь тога и сандалии. К чему бы это?»

Когда было дозволено домовым свободное, в телесном виде, посещение людей, бдящие чины именно из здешнего их Обиталища предлагали тут же ввести единообразные одеяния, дабы они напоминали о соблюдении всеми обязанностей сословия, а надзирающие службы отчетливее могли бы углядывать действия, огорчающие параграфы, и нравственные несовершенства. Но ветры свобод не напрасно веяли. Вольности нельзя было уже укоротить и упихать в униформу. Конечно, рекомендовали одеваться без вызова, без претензий и чудачеств. Но кому в Москве могло бы прийти в голову посчитать чудачеством пурпурную тогу

и сандалии из дорогой кожи?

«Это же Концебалов! – сообразил Шеврикука. – Он же Брожило!» Он подошел к Концебалову. Поздоровались. Концебалов-Брожило был и впрямь весомый сановник, много мелких и расторопных дрожало при его окриках, один из этих мелких наверняка был облагодетельствован должностью сандальничего и в полночь отскребал Концебалову пятки.

– Удивительно! Иду и вижу, Шеврикука прогуливается! – Концебалов будто бы не мог поверить в подарок судьбы.

– Да… – глубокомысленно протянул Шеврикука. – Прогуливаемся…

– Дела привели сюда?

– Да… И дела…

– А я ведь на днях вспоминал о вас, – сказал Концебалов. – Вы мне нужны. Пройдемте-ка отсюда чуть подалее.

Шеврикука обернулся: не подоспела ли его очередь? И тут же усмехнулся: о чем беспокоиться! Позовут. Добудут. В очереди казусы не случаются.

– Вот, – отозвался Концебалов. – Здесь в камнях щелей нет. Проверено. Вы, Шеврикука, мне нужны Если бы я сейчас на вас не наткнулся, я бы вас разыскал.

– И чем же я могу быть вам полезен?

– Совершить одно… Или, скажем, исполнить одно поручение. Деликатное. И рискованное. Конечно, есть и другие способные. Но я вспомнил о вас.

– Мы с вами годы не виделись, – сказал Шеврикука. – Помнится, тогу и сандалии вы не носили.

– В доме, где я теперь, – разъяснил Концебалов, – всегда с вниманием и уважением относились к римскому праву.

Гордость отзвенела в словах Концебалова. Дом этот Шеврикука, естественно, знал. Стоял он в версте от Обиталища Чинов. А то и ближе. По причине государственного предназначения там должны были бы заглядывать в римское право. Но всегда ли заглядывали с вниманием и уважением?

– С домом дело никак не связано, – быстро заговорил Концебалов. – Оно мое, и ничье более. И я могу просить вас лишь о любезности. Вы проворный и проникающий… Я помню.

– За годы наших невстреч я изменился, – сказал Шеврикука.

– Не слишком, – возразил Концебалов. – Я наводил справки.

– Вы могли поверить ложным сведениям. Но дело и не в моих нынешних свойствах. Я не способен сейчас содействовать вам или кому-

либо. Я занят. В занятиях моих наросли осложнения. И это не ракушки на днищах кораблей. Ко всему прочему, возможно, и в Белом городе, и здесь, в Великом Посаде, известно, что происходит за Крестовской заставой, у нас в Останкине. Вот-вот гром грянет.

– Нам известно! – махнул рукой Концебалов. – Уж кто-кто, а мы-то знаем!

«Вы-то знаете! – согласился Шеврикука. – Но вас-то в Останкине нет!»

– К тому же, когда гремит гром, – сказал Концебалов, – не всегда проливается дождь. И уж тем более что-то сжигает молния. Не всегда… И здесь не дремлют. Вас ведь тоже небось вызвали сегодня в говорильню об Отродьях?

– Не совсем, – замялся Шеврикука. Добавил: – И еще над Останкином завис Пузырь.

– Знаю! И про Пузырь знают! За ним наблюдают. Пусть себе висит и висит! – Обнаженная рука Концебалова была по-приятельски возложена на плечо Шеврикуки. – Все это, уважаемый коллега, – и Отродья, и Пузырь, и всякие занятия – никак не могут помешать вам быть милосердным. Это дело моих душевных тонкостей, хрупко-интимное. Хотя отчасти и авантюрное. И вы не беспокойтесь. Без вознаграждения не останетесь. Или без вывода. Помните, при императрице Екатерине Великой гонорар именовали выводом.

– При чем тут вывод! – как бы возмутился Шеврикука.

– Да, да, не беспокойтесь! Вывод обязателен. Каким ему быть, определять вам. Я, конечно, не калмыцкий президент и не фонд Сороса, но…

– Нет, извините, не могу, – решительно заявил Шеврикука.

– Будет огонь и лед. Будет опасно. Будет жутко. Но ведь это вам по нраву. Вам, Шеврикука, придется выйти на Лихорадки. Только и всего.

– Я что – идиот? Или – удрученный? Выходить на Лихорадки! Да хоть бы на одну из них! Нет! Извините!

Ощутив пробуждение интереса, возникшее в Шеврикуке, Концебалов снял приятельскую руку с плеча собеседника и заговорил шепотом убежденного в своей исторической правоте пропагандиста:

– Нужно. Нужно. И будет что вспомнить. Мне ли вам повествовать о Лихорадках. Словно вы с ними не сталкивались! Нужно вернуть одну. Ну, скажем, коллекцию. И уж если вы так нервны или заняты, ограничьте хлопоты одной из Лихорадок. Для начала. А там посмотрите…

«Какой именно одной? Может, Зуботрясной? Или Кишечной?» – чуть было не спросил Шеврикука. Но произнес, отворяя врата твердыни:

– И взялся бы. А не выйдет.

– Я ведь долго служил в доме Тутомлиных на Покровке, – сказал Концебалов. – Хорошо знаю Гликерию Андреевну и некоторые ее обстоятельства.

– Вот как… – сказал Шеврикука. Ему бы сразу вытребовать у нанимателя намек, что же такое интригующе-примечательное или полезно-подстерегающее сможет Концебалов сообщить ему в обмен на услугу, даже и не в обмен, а в доклад к выводу, или чем он способен будет удручить ему, Шеврикуке, жизнь в случае его отказа. Но промолчал.

– Да, служил, – протянул Концебалов. – И знаю…

– Но вроде бы, – сказал Шеврикука, – там домовой – Пелагеич.

– Пелагеич! – рассмеялся Концебалов. – Это теперь он в доме один. А в барскую пору нас было шестеро. Пелагеича мы обязаны были почитать. Но что он значил – зимняя полудохлая муха!

– Я подумаю, – сказал Шеврикука.

– В деле есть срочность! Срочность! – Сандалии китайгородского римлянина чуть ли не оторвались от ковровой дорожки.

– Если есть срочность, вам следует сегодня же обмыслить иные способы разрешения забот. Перебрать колоду Других, как вы выразились, способных.

– Концебалов! Брожило! А при нем и Шеврикука! И вы здесь!

Шеврикука было обрадовался, что их с Концебаловым разговору случилась помеха, но нарушителем беседы оказался буян и мошенник Кышмаров, сытно служивший в домах с магазинами, трактирами, меблированными комнатами и углами любви. Нынче он имел вид замоскворецкого купца, способного возместить ущерб за побитие зеркал, кудри его были расчесаны на прямой пробор, золотая цепочка на брюхе свидетельствовала о том, что Кышмаров – при швейцарских учетчиках времени, а сапоги радовали любителей балчугским скрипом и несокрушимым ароматом ваксы.

– Хорош! – одобрил Концебалова Кышмаров. – Москва – Третий Рим! Или – Первый? Во! Москва – Первый Рим! Патриций Концебалов-Брожило! Я же без зла! Я же шучу! Я бы на твоем месте вызвал сейчас рабов с носилками и заставил их нести меня в бани. Еще и зонтик кто-нибудь надо мной держал бы! А уж в баню были бы приглашены рабыни! Или мальчики? А? Мальчики?

Концебалов тонкогубо поморщился. Кышмаров был ему не ровня. Но в ссоре с ним не возникло бы выгод.

– Шеврикука! Вот уж кого давно не наблюдал! Шеврикука! Висит над

вашим Останкином Пузырь?

– Висит, – хмуро сказал Шеврикука.

– И хорошо. Ты на него поглядывай. И своего не упусти. Но и про меня не забудь.

– Ваши интересы внутри вас, – сказал Шеврикука.

– Не торопись! – загундосил Кышмаров. – Не торопись, Шеврикука. За тобой должок.

– Какой еще должок? – удивился Шеврикука.

– А такой! Очень ягодный! Очень вкусный! Можно сказать, что карточный. А можно сказать, что бильярдный. Но не тот и не этот. А ты вроде бы и запамятовал? И я забыл. Но это из-за широты натуры. А теперь увидел тебя и вспомнил. Я великодушный, но люблю, когда все цифры сходятся.

– Иные путают широту натуры с шириной штанов, – сказал Шеврикука. – А никакого должка вам за мной не числится.

– Не раздражай и не зли! Я ведь могу и счетчик включить, хотя это и дурной тон. Я ведь дотянусь, куда хочешь и до кого хочешь. Я загляну к тебе в Останкино. Или пришли сорванцов, каких следует. Пока Пузырь висит. Я объявил. Понял?

– Концебалов, он воспитанный, – сказал Шеврикука. – Он может и не отвечать на ваши шутки о Первом Риме и банях. А я невоспитанный. Если вы вспомнили о каком-то должке, то вспомните и еще о чем-то.

Возможно, Кышмаров вспомнил. Он заставил себя утихнуть и даже заулыбаться.

– Да, да, эти коридоры не для подобных разговоров. В нашей неразберихе иногда ляпнешь что-либо, а потом сам не знаешь зачем. Хотя, конечно, должок был, был, но ладно, не надо о нем теперь. Вас тоже, что ли, вызвали на дискуссию о Неразберихе?

– Какую дискуссию? – спросил Концебалов. – О какой Неразберихе?

– Ну как же! О всеобщей Неразберихе И всеобщей Лихорадке. Создавать или не создавать. Безотлагательно или как. Управление Неразберихи и Лихорадки. Или Приказ с дьяками. Или Комиссию. Или Фронт. Или Окоп. Или Летучую эскадрилью. А я полагаю, при всеобщих Неразберихе и Лихорадке возможен и Самозванец.

И будто Кышмарова объял страх.

– И Лихорадки? – В голосе Концебалова было уже волнение. – Какой именно Лихорадки? При чем тут Лихорадки?

– Я же говорю – всеобщей Лихорадки! Вы разыгрываете меня, что ли? И вас небось вытребовали на дискуссию бумажкой с пунктами. А ты-то,

Концебалов, из-за одного своего адреса обязан знать обо всем безотлагательном, таинственном и оперативном.

– Да, конечно, – с достоинством просвещенного сановника согласился Концебалов. – Я знаю обо всем. Но я-то прибыл по вопросу более важному. Обстановка накалена, Кышмаров, накалена. Отродья Башни. Да, они. Вот и Шеврикука отозван в Китайгород. Почти что с линии огня.

В мгновения нападок на Шеврикуку гундосого мошенника Кышмарова мраморно-благородный Концебалов ни звука не втиснул в разговор о должке, но участием своих глаз, ресниц, губ он как бы давал знать, что держит сторону Шеврикуки, а по поводу слов Кышмарова лишь надменно недоумевает. Теперь же он открыто проявлял симпатию к Шеврикуке, рекомендуя его чуть ли не героем с линии огня. И Шеврикука должен был это оценить.

– Я не отозван, – мрачно сказал Шеврикука. – А вызван. Желто-серой повесткой.

– К кому? – насторожился Концебалов.

– К Увещевателю, – сказал Шеврикука.

– Наконец-то! – захохотал Кышмаров. – Поделом плуту! Да небось тебе не впервые дерут уши! К какому номеру Увещевателю-то?

А Концебалов уже отступил от Шеврикуки на шаг.

Шеврикука назвал номер.

– Ну… К этому! – протянул Кышмаров, гаерская улыбка его стекла с лица, а сапоги заскрипели. – Эдак тебя! И что же, будут отстирывать? Или вразумлять? Или вздергивать? Или враздрызг? Должок-то как?

– Вздергивать, – сказал Шеврикука. – И враздрызг. Враздрызг. В распыл. И в рассев.

Подол пурпурной тоги с малиновой каймой колыхнулся, Концебалов уже не отходил, а отпрыгивал от Шеврикуки, спеша при этом произнести:

– Я не имею возможности вам помочь. И вы зря остановили меня. Я не понял сути ваших прошений. И я уже не помню ваших слов. И вы мне не сможете ничего приписать даже в ваших фантазиях!

– Не потеряйте сандалии, – сказал Шеврикука и пошагал в свою очередь.

– Пропадет должок-то? – За спиной его Кышмаров, видно, искал понимания у китайгородско-римского патриция. – И наследников у него небось не отыщется. Или определят конфискацию. А? Или как?

29

Еще два сидельца в приемном покое были впереди Шеврикуки. «Назначили бы время, – ворчал про себя Шеврикука. – Как у людей на бормашину!» Но вот повлекли в кабинет Увещевателя и его.

Указали сесть на табурет и оставили в одиночестве. Увещеватель или убыл по необходимости сквозь стены, или был рядом и всюду, неслышный, незримый, но чуткий. Кышмаров не ошибся, да и не мог ошибиться, Шеврикуке приходилось выслушивать увещевания, и не раз. Но о всех прошлых случаях он однажды приказал себе забыть. Память о них и впрямь не держал в голове и во всей натуре. Но теперь, вопреки его постановлениям, воспоминания о неких частностях прежних случаев стали в нем возникать. Без явленного Шеврикуке Увещевателя лучины вокруг горели кротко и тихо, а может, и неохотно, и в полумраке стало Шеврикуке казаться, что он и не в Обиталище Чинов под Гостиным двором, а в чьем-либо логове или пещере. Метрах в трех перед ним лежал на полу или на земле лютый зверь, злыдень, волк, или рысь, или медведь, с соображением, что от него требуется, собеседники Увещевателей были ясны ему насквозь. Шеврикука задержал дыхание, ни единая мышца в нем не имела теперь свободы. Но вскоре он понял, что зверя живого к нему не приставили, а лежит перед ним медвежья шкура. Но и она могла ожить. То ли глаза Шеврикуки попривыкли, то ли подрос огонь лучины, но некоторые подробности наряда кабинета (конечно, не логова и не пещеры) он смог рассмотреть. Угадывались четыре стены или хотя бы панели, а прямо перед Шеврикукой, за медвежьей шкурой, и некий проем, то ли ниша, то ли углубление для трона или кафедры, то ли зев камина, то ли еще что. Прояснились и предметы, украшавшие парадную, как предположил Шеврикука, стену кабинета. А возможно, и не украшавшие, а служившие гербовыми знаками Важной Особы. Справа от проема на выбеленных холстах крепились три кочерги, слева – три печных ухвата. Над ними на полках либо на выходах досок из стен – чугуны для щей и каш, самовар и сбитенник. Возникла и некая мерцающая полоса, и в ней стало передвигаться смутное, серебристо-серое, изредка со взблесками разноцветья, похожее и на чашу, и на ендову, и на братину. Но сейчас же соображениям Шеврикуки о смутном, серебристо-сером положило предел явление Увещевателя.

Шеврикуке показалось, что Увещеватель выехал из темного проема, но

вряд ли так случилось в действительности. Сидел Увещеватель сейчас в кресле перед медвежьей шкурой и перед Шеврикукой. Лучинам была прибавлена яркость, но светом управляли, и Увещеватель остался сидеть во мраке и неразличимости. Зато очевидным стало для Шеврикуки, что за спиной Увещевателя не было ни проема, ни каминного зева, а стояла белая широкоплечая русская печь, способная держать тепло в доме о трех покоях и возить на себе по воду к говорящей щуке пятерых Емель. «Со скольких таких печей я сваливал дремлющих нерадивых хозяев-балбесов», – пришло в голову Шеврикуке. Ничего глупее вспомнить он не мог.

А на медвежьей шкуре лежали теперь вилы, топор, пила и наточенный кухонный нож.

– Ну-с, братец, – произнес Увещеватель. И замолчал. Молчал он долго.

Шеврикуке почудилось, что на печи нечто возвышается. И он знал, что там и впрямь нечто возвышается. Однако увидеть это нечто он не мог. Его коробила, мяла, мучила мысль о том, что он догадывается о назначении этого нечто, и о том, что оно сцеплено сутью с чрезвычайно важным и для него и для всех, почти что догадывается, и вот-вот догадается и отыщет название или имя, но его догадки и муки ускользали в никуда, оставляя его с ощущениями бессилия, немощи, незнания и невозможности знания.

– Ну-с, братец, – опять произнес Увещеватель. И опять замолчал.

Можно было подумать: он просматривал историю существования Шеврикуки (для него – историю болезни, нравственной и дисциплинарной, останкинского домового-двухстолбового), все, что копилось об этом бестолковом упрямце в коробах и дубовых колодах. («Копится, копится, неизвестно где! Но копится». Как же, известно где!) И вот это накопленное, собранное пчелками-шишами когда по полглоточку, когда по глоточку, когда по ушату, когда по вороху, было сейчас слито, склеено, сдавлено и подано для скорейшего ознакомления его Значительности, Важной Особе, возможно, утомленной повседневными подвижническими занятиями. «Утомленной, ладно, – подумалось Шеврикуке. – Главное, чтобы не удрученной и не раздраженной… А то, что листает наспех, это, может, и к лучшему». Но Увещеватель ничего не листал. Высветленные на мгновения руки его были пусты и спокойны. И это не были руки старца. Лицо же его показалось Шеврикуке старческим. То есть именно показалось или старческим соткалось в воображении, увидеть лицо Увещевателя Шеврикуке не было дано. Глаз его ему точно не открыли ни разу. В секундных перетеканиях световых пятен возникали лишь космы или лохмы бледно-серых волос (а может, и седых?), космы же бровей, нос картофелиной, большой рот в кущах усов и бороды, острые, без мочек уши.

Увещеватель был, несомненно, заросший. Что-то в нем есть от льва, вообразилось Шеврикуке. Световое пятно повело взгляд Шеврикуки вниз. «Неужели в бурках?» – чуть было не обрадовался Шеврикука. Нет, на ногах Увещевателя были тапочки. Войлочные, не первого сорта, подшитые сукном или байкой, без задников, с тесемками, стягивающими подъем. Такими тапочками снаряжали в путешествие по останкинским паркетам посетителей славного музея творчества крепостных. На босу ли ногу, на вязаные ли носки, а может, все же и на бурки были натянуты тапочки, Шеврикука разглядеть не мог. Зато он сообразил, что левый тапок завершает правую ногу Увещевателя, а правый соответственно левую. «Это же лешие так фасонят! – удивился Шеврикука. – Неужели он выбился из леших?»

– Ну-с, братец, – в третий раз произнес Увещеватель и словно бы отодвинул от себя бумаги, в коих отпала нужда. Но никаких бумаг не было.

Теперь он заговорил. И надолго. Шеврикука был готов к тому, что услышит стенобитный глас (может, и с хрипотой от состоявшихся уже увещеваний), глас разгневанного, аки льва, начальника, призванного вразумлять, стыдить и взыскивать. А Увещеватель заговорил сонно и как бы с ленцой. И будто бы он страдал астмой, трудно дышал и сдерживал кашель. И уж совсем в противоречии с направлением собеседования в кабинете то и дело звучал смешок Увещевателя. Иногда приглушенный, иногда словно вызванный цирковой репризой. Услышав хихиканье Увещевателя, Шеврикука взбодрился. Важная Особа-то, видно, успела сегодня заскучать и теперь пожелала вести разговор на веселый лад. Но огорчительно быстро Шеврикука понял, что смешок никак не соответствует сути произносимых Увещевателем текстов и не окрашивает их, а скорее всего, имеет происхождение нервическое. Или в нем, Шеврикуке, содержались аллергены (по-людски), вызывавшие трудное дыхание и нервический смешок. Пока он все это соображал, увещевание продвинулось от общесословных ценностей и достижений к истинным правилам твердости и вот-вот должно было, соединившись с вразумлением и бичеванием, обрушиться на отдельную, изъятую из всецелого благоприличия, личность. На него, Шеврикуку. Шеврикука напрягся, тормошил в себе адвоката, пытался в себе же отыскать или разбудить благосклонных к нему присяжных заседателей. Но ожидаемого обвала яри на его, Шеврикуки, личность все никак не происходило. «…Терпение растягивается на десятилетия, – уже бубнил Увещеватель, – в ожидании, не откроются ли наконец в том или ином доможиле дарования, не смягчатся ли нравы, не воспоют ли добродетели…» Эта катаемая из года в год фраза

могла быть применима к любому домовому. Действительно, по давним установлениям полагалось не спешить, увещевать без сдирания шкур, до пяти раз, в надежде, что дарование раскроется, а посредине шершавых листьев лопуха засияют васильки. Но терпение истреплется, напомнил Увещеватель, буде окажется детина непобедимой дурнонамеренности, свирепый до драки, скорый на скандалы, охочий до авантюр и безобразных помыслов, для которого увещевания, что пряник вяземский. Шеврикука нисколько не обиделся на детину, детина так детина, и все слова, приложенные к детине, его не напугали, ими опять же корили многих, а следствием их опять же могло быть лишь умеренное наказание. Либо назидательное попечительство благонравного. Либо временное сидение на месте службы без права выхода за пределы. Или, пошло говоря, – домашний арест. «Это ладно!» – заблагодушествовал Шеврикука. Но тут же и встрепенулся: а возьмут и назначат ему в попечители и опекуны прохиндея Продольного, он теперь в благонравных! Нет, уж этого не надо! Придется писать протесты и челобитные!.. Увещеватель продолжал неукоснительно тянуть льняную нить устыжения не оправдавшего надежд. Подхихикивал. Тогда слова его будто прыгали. «А ведь голос-то его знакомый… – стало являться Шеврикуке. – Если бы не эти подхихикивания и кашель, я, может, и отгадал бы его…» Увещеватель между тем дотянул до неустанных, вечных и благонаправленных трудов, коим не способствует упомянутый детина. Пошли слова о всяческих грехах и слабостях, свойственных, впрочем, не одному лишь нашему детине. О пронырстве, в частности, ложно развитой любознательности, вынуждающей совать нос, уши, глаза, руки и еще что не надо в запреты и в зазамочья, о неуважении ко многим, расположенным над ним, об увлечениях сладкими страстями (тут звуки снова запрыгали в хихиканья, Шеврикука даже отчасти обиделся, в смешке заросшего Увещевателя, пусть и нервическом, ему учудилось ехидное сомнение), об удручающих связях с неположенными предметами, существами и воздушными образованиями. Конечно, все это может быть вызвано, заметил Увещеватель, чужими наущениями, кознями незримых и бессовестных врагов, но… «Пошел бы он подальше! Надоел! – осерчал Шеврикука. – Этак он спровадит меня в блудные дети, а там уже пахнет не только попечительством и домашним сидением! Нет, хватит! Надо прекратить его слушать!..» И он опустил веки. А вскоре пребывал и в полудреме. Тем более что сегодняшнее увещевание можно было признать и добросовестной колыбельной. Пассаж Увещевателя о нарушениях заветов предоставленных предков вызвал в Шеврикуке лишь вялое движение мысли. Обычно же эти канонические слова взвинчивали его. Что это за

предоставленные предки? Кто их предоставил? И зачем? Или тут вцепилась ошибка, какую никто не вправе истребить? Может, не «предков», а «предками»? Может, не предков предоставили, а предки сами предоставили заветы? Хотя опять же как это – предоставить заветы? Недоумения Шеврикуки натыкались лишь на невнятные ответы и на кивки в адрес каких-то ученых мудрствований с комментариями. А кто-то посоветовал Шеврикуке зашить рот или хотя бы держать между губ палец. А теперь после знакомого пассажа Увещевателя Шеврикука задремал глуше.

Разбудило его слово «предосудительно».

– Предосудительно ли совершать… – размышлял Увещеватель. – Многие могут назвать эти деяния предосудительными…

«Что, что предосудительно?» – взволновался Шеврикука. А он уже сообразил: колыбельная отзвучала. Голос Увещевателя его более не укачивал.

– Предосудительно ли возомнить себя неким творцом или хотя бы начинателем и новоделом, создать тень-привидение утомленного жизнью чиновника Фруктова и заставить ее гулять по зданию…

«Не возомнил я! Мне и в голову не приходило возомнить! Я так… Пошутил…» – готов был начать защитительную речь Шеврикука. Но Увещевателю, оказалось, не нужны были его оправдания и объяснения, или пока не нужны, он продолжил:

– Интерес к привидениям в рассматриваемом случае вообще чрезмерен. А не вреден ли он? Не пагубен ли? И не была ли безрассудным нарушением приличий пролаза на смотрины дома Тутомлиных, расположенного, заметим, в историческом отдалении от Останкина?..

– Тут любопытство… – принялся бормотать Шеврикука. – Именно ложно развитая любознательность…

Но Увещеватель не пожелал слушать его бормотания.

– А история с Тродескантовым. Гибель или исчезновение честного и трудолюбивого домового Тродескантова при исполнении тем, обратим внимание, дежурных занятий… Не предосудительно ли в ответственную пору угрозы со стороны наглых зломыслителей…

– При чем я и Тродескантов? – искренне удивился Шеврикука. – Я тут ни с какого бока ни при чем!

– А потакание безоглядной похоти ученой дамы Легостаевой, направившее женщину в известное положение?.. Хорошо ли это? Праведно ли? Или противоестественно? И нет ли тут легкомысленного выхода из круга оправданных полномочий?..

– Я же по Перечню услуг. Я ее не вынуждал, а по ее заявке… И если возникнет младенец, то он от Зевса. Или от следователя из крепости… Или еще от кого…

– И можно ли назвать прилежным и соблюдающим радетельные нормы труженика домосодержания, если он обижает своего же квартиранта Радлугина и даже издевается над ним, в частности, из-за того, что тот норовит проявить себя добродетельным гражданином? И не печально ли становится оттого, что некто, как бы прикинувшись представителем уважаемых структур, обременяет солидного человека дилетантскими поручениями, да еще и заводит странное «дупло» из странного существа подозрительного происхождения, с дурной легендой и раздражающим именем?..

«Так… – протянул про себя Шеврикука. – Приехали и к Пэрсту-Капсуле…»

– А приступы безрассудства и честолюбия или гордыни, подтолкнувшие к доверитетьным отношениям с Отродьями Башни, и одним из самых ловких, назвавшимся Бордюром, и опасными исполнителями типа Б. Ш. или М. Д.?.. И это в пору, о какой лучше не говорить…

«Так… – только и мог повторять теперь Шеврикука. – Так…»

– При этом очевидно и стремление пробиться в коммерческие дела под видом якобы паркетчика, и уже обещаны за заслуги месячный оклад в сорок пять тысяч с индексацией и катание к местам якобы паркетных настилов в автомобилях иностранных пород…

«Мало ли чего наврет Дударев! И не слышал я пока о сорока пяти тысячах и катаниях!» – хотел было заявить Шеврикука, но сразу понял, что в возражениях его нет смысла. Не слышал («пока»!) и никогда не услышит.

– Коммерции и добывание пустых средств можно было бы объяснить пагубным влечением к известной особе, но вроде бы подарки, побрякушки и цветы более не нужны, вроде бы с известной особой происходит разрыв… Не так ли? А? Значит, страсти и пороки могут устремиться и к иной, не менее пагубной цели…

«Пожалуй, хватит. Можно ведь и оглашать конец. Что далее утруждать себя. Все ясно…» – уныло, обреченно думал Шеврикука. Выходило, что он был не готов к этакому протеканию разговора. Самонадеянным растяпой отправился в Китайгород. Но если бы и был готов к разговору, что бы изменилось? Ему бы теперь горевать о себе, а он начал досадовать о том, что не отладил неисправные контакты в светильнике Бабякиных на пятом этаже И может случиться замыкание. Обещал отладить и не отладил. И

Пэрст-Капсула потеряет без него кров. Хотя Пэрст небось не пропадет…

– Шеврикука… Шеврикука… Имя-то откуда возникло?.. Ах да, помним… Лет полтораста назад в Капельском переулке между Мещанскими, Первой и Второй, стояло деревянное строение в один покой, проживал в нем землемер Шеврикука Николай Андреевич с домочадцами. Был там, естественно, домовой. Имел право называться Шеврикукой, коли б захотел, отменив прежние имена… Или вот. В полесских землях в мокрых местах водятся куки. Кукиш изобрели вовсе не они, не они… И появлялись там иногда, утверждают иные, шеврикуки… Будто бы домовые, может, на кого-то обиженные, может, на хозяев или еще на кого-то, и вот будто бы ушедшие погулять рядом с куками… А? Возможно и такое, почему нет? Погуляют, насладятся, обиды в них угаснут, и опять – домой, к делам… А? Или не так?

Если бы Увещеватель и ждал теперь слов Шеврикуки, Шеврикука разъяснять ему что-либо не стал бы. Но Увещеватель опять говорил сам с собой.

– Кука… Кука… Или скука? А? А может быть, и скука… Наша участь – бесконечность повторений сходных происшествий… Не это ли рождает скуку и хандру?.. А? Н-да…

Увещеватель вздохнул. И замолчал. И его участью, что Ли, была бесконечность повторений сходных происшествий? Слова он произнес Шеврикуке знакомые. Они звучали не так давно на Звездном бульваре. Но соображения о чьей участи – своей собственной или его, Шеврикуки, – вызвали вздохи Увещевателя? Уж коли у самих хандра, то, пожалуйста, вздыхайте и нервически подхихикивайте! А его увольте от вздохов! Сострадания и жалости чинов ему не нужны! Не растягивайте свои удовольствия и приступайте к должному! Казните! Вздергивайте! Посылайте враздрызг! В распыл! Рассейте! Развейте над городскими свалками!

– Обол… обол… да… Обол… – Протянул Увещеватель, будто очнувшись от печалей. – Тот желтый кружочек-то с ликом правителя на аверсе… Он и впрямь служит как обол? Но обод был пропуском в царство мертвых. А туда пропуска давно отменены. Стало быть, этот кружочек – пропуск еще куда-то?.. Так ли? Возможно, что и так… Это интересно. Это важно… А?

Шеврикука был не здесь. Его уже сокрушал гром наказания. Однако он смог расслышать:

– Так где же искомая доверенность? Я вас спрашиваю, Шеврикука, где она?

– Какая доверенность? – Шеврикука словно бы выползал из небытия.

– Искомая. Разыскиваемая. Таинственно исчезнувшая. Пропавшая грамота.

– Какая доверенность? – повторил Шеврикука.

– Всеобъемлющая. Основополагающая. Или, как выводят нынешние нотариусы, – генеральная.

– И кто же в ней кому и что доверяет?

– А вам неизвестно?

– Неизвестно.

– Ладно. Примем вашу игру. Предполагается, что в ней домовой Петр Арсеньевич доверяет нечто домовому Шеврикуке.

– Неужели у Петра Арсеньевича было нечто, чтобы доверить?

– Предполагается, было… А в случае доверенности генеральной домовой Шеврикука должен стать душеприказчиком Петра Арсеньевича. Если, конечно, у него была душа. Или что-то за душой…

– У Петра Арсеньевича была душа.

– Посчитаем, что была.

– Но у меня нет никакой доверенности, – сказал Шеврикука. – Я говорю правду. Я не видел ее.

– И не держали ее в руках?

– И не держал в руках, – неуверенно сказал Шеврикука.

– Более вы ни о чем не заявите?

– Ни о чем. Вы меня озадачили, но я…

– Как пожелаете. Ваше право. Мы осведомлены обо всем. Но нет сейчас необходимости напоминать обо всем.

Свет лучин стал утихать. Увещеватель же опять, к удивлению Шеврикуки, затянул колыбельную. А может, песнь утомленного зимней степной дорогой ямщика. Послышались: «…не предосудительно ли… остается взвесить, надежен или не надежен… не водятся ли в нем какие сумнения… не объясняется ли злонамеренность детины видениями задумчивости или приступами меленхолии…» Вот как! «Сумнения», «меленхолия»! Не достанут ли теперь и крашеную семеновскую ложку из-за голенища хромового сапога? Но и сапог не было, а были войлочные тапочки. Тут опять голос Увещевателя показался Шеврикуке знакомым. Где он звучал и когда? Когда-то! Когда-то! Но когда? И будто бы нечто высветилось в полумраке над пропавшей в черноте печью, замерцало, потекло куда-то и не открыло Шеврикуке сути своей и недоступной взгляду наружности. Радость и тоску испытывал теперь Шеврикука. Снова он ощутил близость коренной догадки, но глаза и уста ее были сомкнуты

«Зачем же так? Откройте…» – взмолился было Шеврикука. Однако его приподняли и выволокли в опре-делительно-выхлопной покой, расположенный за кабинетом Увещевателя. У балясин ограды стояли два силовых наблюдателя с шестоперами в руках. За столом же восседал выводной регистратор, вполне возможно, кузен регистратора приемного.

– Грамоту! Что там у вас?! – потребовал регистратор. – Что вы мямлите! Голова-то с ушами не откручена? Предъявляйте!

Бумажка образовалась в руке Шеврикуки.

Выводной регистратор принял, изучил, выяснил, как и предписывалось ему, что в ней имелось между букв и между строк, и уставился на Шеврикуку. Возможно, указанные странности любопытствовал обнаружить в нем.

«Не определили ли все же меня в блудные дети? – обеспокоился Шеврикука. – Не приписали ли мне именно сумнения, меленхолию, задумчивость и видения? С таким постановлением – выпадешь в осадок…»

О чем обеспокоился?

– Ага, – сказал выводной регистратор, – так и запишем в приказную книгу… У… Н… У… И печать. Все… Все, держите. Техосмотр пройден. Техническо-профилактический. С вас бы пошлину! Да купоросом! Да в большой бутыли!

Регистратор рассмеялся. Шестоперы принялись одобряюще покачиваться.

В бумажке было выведено: «У-Н-У. Упрежцающе-нази-дательное Увещевание проведено». Дата, подпись, печать.

– Не забудьте показать по месту службы, – напомнил регистратор. – И будьте вольны в передвижениях.

Миновав оградительные балясины и наблюдателей с шестоперами, Шеврикука пришел в себя и решил прогуляться коридорами Обиталища Чинов. Для полного освоения вольностей в передвижениях. Не прошло и минуты, как он оказался на перекрестке обиталищных дорог с пространством для пересудов. Все же он засиделся в кабинете Увещевателя, в чрезвычайных говорильнях по поводу Неразберихи, Лихорадок, Сутолоки и жарких дел в Останкине страстям предоставили отдых, и достойнейшие из домовых беседовали теперь в кулуарах. Прямо по ходу следования Шеврикуки стояли пятеро, и среди них были Концебалов-Брожило, Кышмаров и бритоголовый уполномоченный, известный в Останкине как Любохват.

Шеврикуке сразу же захотелось изменить направление путешествия, но натура не позволила ему сделать это. Как он шел, так и продолжил путь.

Любохват, бросив взгляд на Шеврикуку, что-то сказал собеседникам, обратив и их внимание на приближающегося путника, сам же, посмотрев на часы, как бы заахал и поспешил куда-то. Шеврикука был намерен миновать оживленное перекрестье, не произнеся ни звука, но благоухающий ваксой мошенник Кышмаров схватил его руку и стал прощупывать пульс.

– Ба! Дышит! Живой! Не вздернули и не рассеяли! Но хоть просвещен и наказан?

– Может, наказан. А может, поощрен, – невежливо ответил Шеврикука. – Смотря какой угол зрения избрать.

– Значит, должок за тобой, за тобой! – обрадовался Кышмаров, и сапоги его с кудрями вместе чуть ли не принялись откалывать барыню. – Нагряну к тебе за должком! Сейчас, сам видишь, дела. Лихорадки, Неразбериха и Сутолока. Управление или Приказ. Но вскорости и нагряну!

– Ага! Милости просим к нам на линию огня. Навестите нас в бронетранспортере.

– Ну не сам я… Вдруг дела… Молодцов пришлю за должком-то! Сорванцов! Счетчик заработает.

– Хоть бы и сорванцов! Но не тешьте себя иллюзиями. И не ставьте себя в неловкое положение рассказами о каком-то несуществующем должке. А то ведь можно и осерчать.

И Шеврикука последовал дальше.

– Ишь ты, прыткий какой! – неслось ему вслед кышмаровское. – Да я тебя где хочешь достану!

Прогуливаться коридорами Обиталища Чинов Шеврикука более уже не желал и пошагал к выходу в московский день. Кто-то догонял его. Шеврикука не оборачивался. Не обернулся он и когда рука догонявшего коснулась его плеча.

– Шеврикука… – взмолился догонявший.

Теперь Шеврикука остановился.

Сановный домовой Концебалов пыхтел, полы его пурпурной с малиновой каймой тоги разлетелись.

– Экий вы и впрямь прыткий. И себя уважающий. На меня-то, уж прошу, не дуйтесь. Я тогда… при этом крикуне и буяне Кышмарове, при его низости… не захотел о деле… Оно мое, и ничье более… Тонко-интимное, извинительно-личное… И вам произойдет выгода. Я уж не повторяю про вывод по-екатеринински.

– Я удивлен вашим обращением ко мне, – сказал Шеврикука. – Вам должен быть полезен кто-то другой.

– Вы же имели дело с Лихорадками.

– Ну… Возможно, когда-то и имел.

– И с Блуждающим Нервом.

Шеврикука заглянул в глубину зрачков Концебалова.

– Да, – помолчав в раздумье, согласился он. – Мне известен и Блуждающий Нерв.

– Ну вот… Вы подумайте, я вас не тороплю. Хотя дело и спешное… Вот вам моя визитная карточка… На всякий случай… Она не служебная… Это предприятие души…

На визитной карточке Шеврикука прочитал: «Совместное Упование. „Москва – Первый Рим“. Концебалов-Блистоний. Всадник-оптимат. Член-учредитель. С полномочиями и колесницей».

Шеврикука посмотрел на сандалии Концебалова. Сказал:

– Не уверен, что чем-либо могу помочь вам…

30

«Наизнанку и навыворот! Навыворот и наизнанку! – твердил себе Шеврикука. – Разговор со мной вели навыворот и наизнанку! Да! Навыворот и наизнанку!»

Вспомнились Шеврикуке его предгибельные печали о неисправностях в светильниках Бабякиных на пятом этаже и возможном коротком замыкании. Вернувшись в Землескреб, он сразу же отладил бабякинские светильники (гэдээровские, естественно, о трех и пяти рожках), выяснил, что и розетки в квартире нехороши, и розетки облагородил. В его печалях вблизи Увещевателя возникал Пэрст-Капсула, но разыскивать его Шеврикука не стал.

Опустился в малахитовую вазу стариков Уткиных.

По наблюдениям внимательных жителей Северной Великороссии. Ярославского Пошехонья, в частности, у леших непременно левая пола кафтана обязана быть запахнута за правую, а лапти перепутаны: правый – на левой ноге и т. д. Такая у них житейская и практическая мода. «Прет-а-порте», как уточнили бы в журнале «Московский стиль». Опять же необходимости сосуществования тех же великороссов хотя бы и с лешими и вековой опыт изысканий и процветаний подсказывали: чтобы отчураться от хулиганств озорного лешего, порой и неоправданно злых, следовало сейчас же вывернуть наизнанку что-либо из одежды, переместить обувь и рукавицы. Средство отведения беды было сильнейшее и безотказное.

Увещеватель не явил Шеврикуке лица. Но явил войлочные тапочки. Они перепутали ноги. И наверняка их высветили намеренно. Возможно, что и штаны Увещевателя либо рубашка его под кафтаном, или свитером, или френчем были надеты наизнанку. Шеврикука этого не знал. Но на обувь Увещевателя его внимание обратили. Естественно, вряд ли Увещеватель при свидании с Шеврикукой трепетал, бормотал в ужасе: «Чур меня! Чур!» – и был намерен рассеянностью обуви (но явно не своей собственной) оберечь себя от злодейской силы или наследства буйных леших из сосновых боров, предположительно запертого в Шеврикуке. Чушь это была бы и глупость! И использовать теперь опыт непросвещенных телевидением фантазеров Ярославского Пошехонья или, скажем, яхромчан Дмитровского уезда было бы делом наивным и неловким.

Ему, Шеврикуке, давали знак.

И все ухваты, пилы, чугуны, самовары, квасники, миски, плошки, поварешки, да и белая плечистая печь за спиной Увещевателя были лишь оснащением этого знака.

А знак такой.

Разговор идет наизнанку и навыворот. Подсказок и намеков не жди. Соображай сам, что, из-за чего и к чему.

Никакого увещевания, никаких вразумлений и бичеваний не происходило. Все укачивающие слова по поводу несовершенств злонамеренного детины, чье дарование так и не расцвело, следовало вывести за пределы разговора. И за пределы Обиталища Чинов. Не для здешних дьяков и стряпчих было это занятие! Увещеватель прибыл из Обиталища более существенного. Словами о детине лишь соблюдались правила приличия. Вполне возможно, что и ради соблюдения приличий и видимости привычного хода дел создали и очередь к Увещевателю. Впрочем, как знать…

Из всего увиденного и услышанного Шеврикукой вытекали две очевидности. Хотя бы две.

Одна из них. О нем все известно. Все, все, все. И даже более того, что он знает о себе сам. В рассуждениях об этом Шеврикука даже дотронулся до левого уха и чуть ли не принялся выяснять, не сидит ли в нем кто посторонний. Стал вспоминать, не звенело ли недавно у него в левом ухе. Опять же по вековым представлениям не осчастливленных еще электронным образованием тех же пошехонских и яхромских великороссов, в левом ухе каждого существа мог селиться непрошеный постоялец – ушкарь, бдить, все запоминать, ловить и не выговоренные слова, и не названные мысли, и дуновения желаний, а потом летать по вызовам с донесениями куда следует. При возвращении же ушкаря к месту бдения в левом ухе обычно звенело. Шеврикука усглехнулся. Темнота и дикость. Нынче могли обойтись, и не утруждая ушкарей…

Известно все… Но все ли? Существует правило. Коли ты наблюдательный, сметливый, вхожий, куда не пускают, умеющий видеть то, что скрывают, проявляй себя менее осведомленным, нежели ты есть на самом деле. (А Шеврикука порой из-за бахвальства, фанфаронства или просто сгоряча давал понять – и лишним! – что ему ведомо то, что ему не было ведомо, и себе же вредил.) Но на этот раз не пожелали ли некоторые показаться более осведомленными, чем к тому имели основания? Могло быть и такое. Оставалось ублажать себя надеждой.

Но про приход к Отродьям, про обещания с Бордюром, с Белым Шумом, с Пэрстом-Капсулой несомненно знали… Н-да…

Ладно. Отодвинем пока это в сторону, постановил Шеврикука. И рассмотрим вторую очевидность.

От него, Шеврикуки, что-то ждали. И теперь ждут. И не просто ждут. А нестерпимо и неотложно ждут.

Ждут и желают.

В серединном разговоре, начатом якобы недоумением: «Не предосудительно ли…» и тем же недоумением оборванном, Увещеватель не столько недоумевал, сколько ставил Шеврикуку в известность, размышлял вслух как бы сам с собой и задавал вопросы, но и себе не отвечал, и не требовал от Шеврикуки ни разъяснений, ни оправданий. Да, вся суета Шеврикуки у кого надо на виду, пресечь или прижечь ее можно и сейчас же, но спешить не будут. Два интереса вопрошавшего (или вопрошавших) были скорее личных свойств, разрешение их вышло бы не слишком важным для дела. Не утомление ли участью («бесконечность повторений схожих происшествий») вызывало хлопоты или забавы Шеврикуки? Утомление, или не утомление, или какие взбрыки Шеврикуки – для дела это не имело значения. Возможно, Увещеватель впрямь сам вдруг задумался о собственной участи и своих состояниях в бесконечности схожих происшествий. И завздыхал отчего-то. Наверное, были причины для вздохов. Что же касается желтого кружочка с ликом властителя, то разузнать, пропуск ли это и, если пропуск, то куда, можно было бы и доступными приемами, Шеврикуке же показалось, что Увещеватель заинтересовался монетой скорее как частное лицо, не исключено, что он был нумизмат. Но вот что волновало Увещевателя всерьез и о чем было открыто Шеврикуке, хотя как бы и между прочим, это – существующая в действительности или гипотетическая доверенность домового Петра Арсеньевича. Из-за этой доверенности его, Шеврикуку, и вызывали в Обиталище Чинов. Причем не терзали, а давали повод для рассуждений. Рассуждения же Шеврикуки, им и это было известно, приводили к действиям. Порой и к самым несуразным. Теперь от Шеврикуки ждали действий.

«На-кось, выкусите!» – пообещал Шеврикука ожидающим.

Можно было предположить, что в случае с доверенностью мухомора с улицы Кондратюка, гулявшего по Звездному бульвару в чесучовом костюме и с инкрустированной тростью, определенности, дающей основания душевного равновесия, у них не было. Но они определенно ведали, что Петру Арсеньевичу было что доверять, завещать, хранить в убежищах и что доверенность или даже завещание были им составлены. Однако то, что доверял или завещал Петр Арсеньевич, неожиданно оказалось для них

барышней в парандже. Это Шеврикука чувствовал. И не зря вырвалось слово «душеприказчик». Душеприказчик Петра Арсеньевича был для ожидающих его, Шеврикуки, действий либо любезен и необходим, либо опасен. Опасен и при этом вооружен документом.

Кстати, во всем «срединном» разговоре Увещеватель непременно держал в мыслях Петра Арсеньевича. Ведь это Петр Арсеньевич назвал монету или жетон оболом и пропуском куда-то. И он же произнес слова: «Наша участь – бесконечность повторений схожих происшествий». При этом назвал и произнес, обращаясь к нему, Шеврикуке. И ни к кому более. И об этом вызнали. Опять же ладно. Но получалось так, что Петр Арсеньевич, в предчувствиях ли каких, либо исполняя неведомую миссию, либо обставленный капканами, стремился выйти именно на Шеврикуку. То ли имел располагающие к тому сведения, то ли просто наугад, наудачу, то ли доверившись предуведомлениям души. И получалось так, что он и вправду был одинок. Одинок в деле. Прежние свои заключения о взрыве и пожаре на улице Кондратюка, о силах, вызвавших исчезновение Петра Арсеньевича, Шеврикуке пришлось отменить. Значит, все было не так, как представил себе Шеврикука. А как? Но стоило ли сейчас строить об этом догадки? Снова вышло бы воздушное гадание. Что искал в нем Петр Арсеньевич – оплот, опору, вспомогателя или некое промежуточное средство? И об этом гадать имело смысл, лишь зная о пожеланиях Петра Арсеньевича. Коли его не обманули. А если не обманули, то и Увещеватель мог не ведать о решении и секрете Петра Арсеньевича.

Вот и спускали его с поводка на розыски «генеральной доверенности». Ныряй за ней в болото и волоки ее к нам в пасти. А там поглядим, как с тобой быть. Положение, в какое его поставили, нельзя было не признать сомнительным. Увещеватель и иже с ним его ни к чему не подталкивали и не поощряли. Хотя, конечно, и подталкивали. Но какие упреки можно было бы им потом предъявить? Войлочные тапочки, нарушившие бытовую географию, ввели в заблуждение? Да, они были. Но мало ли что могло прийти в голову Шеврикуке. Известному, в пределах Останкина, конечно, сумасброду и пустобреху И все же они подталкивали и наводили. И весь этот явленный реквизит в кабинете Увещевателя из предметов домашнего обихода крестьянина-великоросса, и мерцающее нечто над печью, так взволновавшее Шеврикуку, направляли его мысли к Бордюру, к Отродьям Башни. И как бы предлагалось Шеврикуке продолжить с Бордюром общение, а может, и подтвердить Отродьям знанием просвещенного: да, то, чем они желают обладать, есть.

Вы со мной навыворот и наизнанку, ну и я подпояшусь велосипедным

колесом!

И ни в каком случае нельзя было вытягивать портфель Петра Арсеньевича из-за томов Мопассана. Ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра!

А не терпелось…

Потерпишь, повелел себе Шеврикука. И они потерпят. Ко всему прочему, можно было посчитать, что и не один он – на подозрении. Наверняка есть и иные предполагаемые кандидаты в душеприказчики. И те, возможно, сидели в очереди. У нас ведь без списков не обойдутся.

Теперь Концебалов-Брожило, уповающий процветать на холмах Третьего Рима, простите, Рима Первого, всадником-оптиматом Блистонием с полномочиями и колесницей. Он-то что возник? Он был приготовлен и до сигнального свистка ожидал за углом в коридоре или его столкнул с Шеврикукой случай? Помнилось, Концебалов и прежде был спесив, нынче же он подчеркивал, что он домовой не только сановный, но и светский. Вхожий в круги. Однако перед уходом Шеврикуки из Обиталища он, пожалуй, слишком расстарался. Карточку протягивал, забыв о светских манерах. Блистоний! Всадник и оптимат! Придется заглядывать в «Словарь античности» из собрания флейтиста Садовникова. Странно, но Шеврикука поверил в интимные и даже лирические интересы Концебалова. Могли, могли – и это чувствовалось – быть лирические интересы. Хотя… Дело как будто бы торопило, в мыслях о нем Концебалов думал о Шеврикуке, а обратился к нему лишь при случайной встрече. Конечно, и такое бывает. Но противоречия и вранье (пусть даже и милое вранье любящего приукрасить себя) были рассыпаны в словах Концебалова. Он, служащий в т-а-к-о-м доме, да и сам по себе, без дома, обо всем и вовремя наслышанный, удивился, узнав, что привело Шеврикуку в Обиталище Чинов. А номер Увещевателя его и вовсе испугал. Но кончилось все чуть ли не мольбами и искательно протянутой визитной карточкой. Намеков на что-либо Шеврикука в ней пока не •разгадал.

Но этот Блистоний, этот всадник и оптимат, несомненно взгорячил Шеврикуку. Как ни опасны были общения (употребим термин Увещевателя) с Лихорадками, а вместе с ними и с Блуждающим Нервом – канат над Ниагарой, и шест держать в руках не позволят, а то еще и глаза завяжут, – Шеврикуку и теперь поманило пройтись по канату. Он не мог не признаться себе в этом. И о Гликерии, и доме на Покровке Концебалов напомнил не без толка. Он мог открыть Шеврикуке нечто важное. «Зачем, зачем мне эти Лихорадки, Блуждающий Нерв, Гликерия!» – чуть ли не вскричал Шеврикука. Но знал: «зачем?» не имеет никакого значения, а он

не удержится и ринется…

Но от него-то как раз и хотели, чтобы он не удержался и ринулся. Сначала на поиски доверенности Петра Арсеньевича, а потом и в иные подсказанные ему углы и пещеры.

Удержимся, постановил Шеврикука, и не ринемся.

Да. Там был еще мошенник и потрошитель Кышмаров. И вспоминал про должок. Был или оказался? (Кстати, о говорильне, куда якобы удостоили приглашением Кышмарова, осведомленный Концебалов ранее не слышал. А говорить – и чрезвычайно! – собирались о Неразберихе, Лихорадке и Сутолоке. Пусть даже и не о той Лихорадке, вблизи которой протекал интимный интерес Концебалова, а всепроникающей.) Шеврикука задумался. Конечно, он был не мармелад и не бодайбинский самородок, чье место в государственном хранилище. Можно было посчитать, взирая из палаты образцов, что он пребывал в долгах и грехах. Так порой он себя понимал. И стоил самобичеваний. Но ни об одном долге, свойства коего имели бы отношения к увлечениям и стилю жизни Кышмарова, запамятовать он не мог. Тем более, если Кышмаров имел право включить счетчик. А вдруг? Последний раз бытие сталкивало их с Кышмаровым лет двадцать пять назад. Подробностей этого столкновения Шеврикука не держал в голове. Теперь он стал вызывать из прошлого сюжеты прежних своих приключений. Или игровых злоказ. Но быстро прекратил усердия, опасаясь увязнуть в воспоминаниях. Если Кышмаров не шутил, не блефовал и не дурачился на публику, он возникнет вновь. Или сам. Или направит к Шеврикуке дрессированных и хватких молодцов. Вот тогда и прояснится, был ли должок и какой, тогда и последуют действия. Пока же напрягать себя из-за кудряша Кышмарова с наваксенными, поющими сапогами нет нужды.

И уполномоченный Любохват, стало быть, свой в Обиталище Чинов. На какое же экстренное заседание приглашали его? И не Любохватов ли ушкарь посиживает в тепле возле левой барабанной перепонки Шеврикуки? Как же! Коли бы оказался героем-следопытом ушкарь, можно было бы и не особо нервничать. Но простые способы не были теперь в чести. К ним относились с высокомерием образованного хитроумия.

Однако – а история с географией войлочных тапок? Она-то что же? Но что тебе дались эти «наизнанку и навыворот»! Опять же если и впрямь ему, Шеврикуке, давали знак, в случае с обувью Увещевателя, пожалуй, мудрили. При этом между собой и Шеврикукой, брошенным в одиночество, располагали стены из валунов, водяные рвы, пустыню недоверия. Ты – сам по себе. Мы – вдали. Прегрешения твои ведомы и объявлены, и при

неблагополучных расположениях к тебе светил будешь скрытно раздавлен и развеян. Для этого и одного твоего прегрешения довольно. Поручений тебе не даем, и ты нас ничем не замараешь. А вдруг и принесешь пользу.

Не важно, держат ли его они (а может быть, и Концебалов, сам по себе, а вероятно, по соглашению с ними или даже по их разработке) в простаках или же признают натурой осмотрительной и недоверчивой. Он пригодится им и такой и эдакий. Им важно, что он у них (не у Концебалова, конечно) в руках, под гнетом и присмотром и что он, по наблюдениям и исследованиям, таков, что из-за любознательности и страсти к легкомысленным побуждениям долго сидеть на цепи своей воли не станет, а разохотится, наделает дел себе без выгоды, а для них выполнит то, что они ожидают. А сами не могут. После же его или придержат, или прихлопнут. Что и случится.

От этих соображений Шеврикука загрустил.

Тошно ему стало.

Не загулять ли, подумал в грусти он. Не пуститься ли самому в распыл. Не отправиться ли городским транспортом в Сокольники, к приятному душе знакомцу, свирепому Малохолу?

Или взять и, вспомнив обычаи стариков, умевших усмирять трепет и отгонять влажные туманы печалей, а с ними ломоту в суставах и мигрени, взять да и пропасть и замереть. Если не выдержит надолго, то хотя бы на пять дней. С бумагой о проведении упреждающе-назидательного Увещевания он мог бы пять дней не являться никому на глаза, шалить и бездельничать, а позже оправдаться очередью в Обиталище Чинов.

Но шалить не хотелось. И не захотелось пропасть и замереть. Оно и не вышло бы.

Кожа Шеврикуки стала зудеть. Требовалось непременно смыть с себя все, что осело на нем в Обиталище Чинов. В ванной Уткиных горячая вода не потекла. «Ну да, – вспомнилось Шеврикуке, – вчера ведь внизу приклеили бумажку…» В связи с разрешением топливно-энергетических проблем горячая вода была отправлена в очередной отпуск. Шеврикука мог совершить омовение холодной водой, мог возобновить в трубах пятого этажа ток воды горячей, мог, наконец, предпринять поход в баню. Но он понял: ход обстоятельств подталкивает его отправиться в Сокольники, к Малохолу.

31

У бока парка пригрелся приятный профилакторий, не для нищих и не для блаженных, и в нем служил Малохол. Он же Непотреба. Малохол происходил из домовых-банников, или баенников, дело свое уважал, в профилактории, хотя и был здесь старшим, держался при водных процедурах – стало быть, при грязевых и хвойных ваннах, при восходящих душах, при сауне, при турецкой бане, при бане по-черному, при бассейнах с цветомузыкой и выпуском в воду рыбы шпроты на закуску для особо утомленных тружеников.

Шеврикука вытерпел дорогу в трамваях и только у забора профилактория задумался: а на месте ли Малохол? Малохол тоже был непоседа. Шеврикука знал его давно. Необходимости сельской жизни требовали, чтобы домовому-доможилу в хозяйстве помогали, находясь у него в приказе, домовые меньших значений – дворовые, полевые, овинники, банники-баенники. Все эти якобы помощники слыли ворчунами, существами заносчивыми, озорниками, ругателями, а то и скандалистами. Малохол мягким нравом не располагал. Он не был выходцем из деревенской бани, а завелся в Москве. Известно, московскому люду по нраву производить естественные и потребные здоровью действия на миру. Толпами мужики стриглись в Заяузье под известной горкой, облагородив ее именем Вшивая (теперь деликатно называется Швивая). И жители обоих полов толпами же охотно в теплые дни, с весельями и шумами мылись на реке Неглинной, на Москве-реке и Яузе. Особенно славились Серебрянские бани на Яузе. Но, конечно, в Москве на огородах всюду стояли бани по-черному. В одной из них, в нижних переулках Сретенки, сбегавших к самой Неглинке, и хозяйничал когда-то Малохол-Непотреба.

Мысленные обращения Шеврикуки к Малохолу остались без ответа. Даже если его нет, решил Шеврикука, проберусь к водоемам, не ехать же обратно. Хотя водоемы могли оказаться и сухими, года два не посещал Шеврикука профилакторий, и мало ли какие вдруг здесь случались преобразования и засухи.

Но Малохол уже поспешал к воротам.

– А-а! Нечистая принесла! – угрюмо выразил Малохол одобрение визиту Шеврикуки.

Слова были произнесены привычные, банные, может быть, преобразования коренными здесь не оказались.

– Что ждать заставил? – на всякий случай проворчал Шеврикука. – Или меня не слышал?

– В бильярд играл, – сказал Малохол. – Шары громко стучат.

– Пар есть? – спросил Шеврикука.

– Припоздал. С ленцой, видно, сдружился. Шестая очередь пара пошла. А наша смена…

– А наша смена четвертая, – согласился Шеврикука.

– У турок пока еще тепло, – смилостивился Малохол.

И повел Шеврикуку к водному павильону. Был он в шортах, в желтой майке с ликом актера Караченцова и словами «Московская недвижимость всегда в цене», в кроссовках «Рибок» на босу ногу В турецкой мыльне, располагавшей к дружеским беседам в короткой компании, действительно еще остался жар, и камни грели хорошо. Шеврикуку отчасти раздражал мрамор пола, по нему приходилось не ходить, а скользить. Был случай, однажды Шеврикука растянулся на белом мраморе, ткнувшись носом в серную воду. Но мало ли где и отчего он падал и тыкался носом.

– Отдыхай. Смывай трудовой пот, – Малохол поощрил к подвигам Шеврикуку. И предложил: – Может, помять тебя и подавить?

– Не надо, – буркнул Шеврикука, он уже сидел в раздумьях в мраморной нише, и капли текли по его лицу. Позже Малохол все же подобрался к нему и пальцами сретенского знахаря и костоправа мял и давил его тело, вызывая покряхтывания Шеврикуки и повсеместное в нем облегчение. Шеврикука нырял в прохладу малого бассейна, снова млел в мраморной нише, а потом, прикрывшись простыней и опустив ноги в воду, сидел в благодушии.

– Какие еще назначите удовольствия? – спросил Малохол.

– А римские термы вы не завели? – поинтересовался Шеврикука, вспомнив о Концебалове, в чаемом грядущем – Блистонии.

– Не пожелали.

– Напрасно… Тогда попить бы чего…

– Квасу у нас теперь не держат. Новые поколения. Провинция! – с презрением сказал Малохол. – Но привычное сыщется. Ушат чего-нибудь преподнесем. Видеть тебя никто не должен?

– Отчего же, – сказал Шеврикука. – В сокрытии нет нужды.

– Тогда пошли к нам в каморку.

Каморка оказалась удобовместительной. Вполне возможно, в годы многоячеистых вечерних политических сетей в ней размещался красный уголок. Теперь, понятно, люди от нее шарахались. В каморке Шеврикука увидел трех грубиянов и удальцов из команды Малохола. В домовые при

Малохоле они выбились из иных состояний. Один из них был когда-то овинником (или гуменником), другой – лешим, третий – водяным, и все существовали от Москвы на отшибе. Бывшего овинника прозывали Лютым, лешего – Раменем, или Раменским, водяного – Печенкиным. В каморке они сейчас удачно проводили досужее время. Играли в карты, курили и употребляли самодельные жидкости. При явлении Шеврикуки они привстали и приложили руки – Лютый и Раменский к вискам, Печенкин – к капитанской фуражке.

– Вольно! – сказал Малохол. – А к Шеврикуке не приставайте. Он изнуренный и задерганный.

– Оно и видно, – согласился Раменский. – Что пить-то будем?

Принимать самогон Шеврикука решительно отказался, а вот к брусничному напитку он был расположен. Отказался он и играть в подкидного, разъяснив, что игрок он, игрок, но настольные игры не уважает. Его мнение желали опротестовать, обратив внимание на то, что карты бросают нынче не на стол, а на перевернутую пивную бочку. Но Шеврикука был стоек. К тому же его разморило. На него махнули рукой и продолжили занятия. Играли трое. Малохол читал газету «Труд» и покуривал «Беломор». Раменский курил сигару. Печенкин – трубку с капитанским, надо полагать, табаком. Лютый – махорочную козюльку. Одеты они, в отличие от предводителя, были в вольные тренировочные костюмы и походили на физкультурников, чье штатное дело – выводить отдыхающих на зарядку, на матчи пионербола и следить, чтобы не случилось утопленников. Лютый с Раменским могли бы сойти и за телохранителей кого-либо, пусть даже и Печенкина. Хотя тело у того было махонькое, усохшее, требующее охраны, однако вид Печенкин имел такой, будто изо дня в день носил кейсы с валютой. Лютый и Раменский были здоровы, даже огромны, причем Раменский, казалось, весь был составлен из шишек корабельных сосен. (Случалось, Раменский лениво вспоминал, как водил под Елабугой бородатого Шишкина в корабельные рощи, а медведей по просьбе живописца заставлял мученически сидеть на деревьях.) Печенкин же вдали от родных вод выглядел не только иссохшим, но и вяленым, его порой обзывали белозерским снетком и уговаривали ради достижений отечественной кухни хоть раз в год становиться вкусовым составным суточных щей. Иные даже и обращались к нему: «Снеток!» Печенкин обижался, изменений в документах и ведомостях он не желал. Отчего он звался Печенкиным? Об этом мало кто знал. Может быть, в одном из водоемов пребывания нынешнего сотрудника Малохола утоп по пьяни какой-нибудь мужик Печенкин и водоем этот стал

Печенкиным прудом. Или сам пруд находился в усадьбе отставного поручика Печенкина. Ну и так далее. Не обо всех историях своей жизни Печенкин рассказывал, а лишние и невежливые вопросы задают лишь дураки и шпионы. Печенкин и Печенкин. С охотой повествовал Печенкин, как его зазывали на только что расплескавшееся Рыбинское водохранилище, соблазняли, говоря, что это и не водохранилище, а море и он будет не водяной, а морской царь. Но он отказался. Будучи теперь домовым, он оставался и в профилактории при водяных течениях в трубах. Бывший леший четвертой статьи Раменский приглядывал за клумбами, отдельными деревьями и кустами среди асфальтов профилактория и за зимними садами (один из них был висячий). У Лютого же, не допускавшего или допускавшего когда-то пожары в овинах, имелись сейчас в поле зрения огнетушители, пожарные гидранты и инструкция под стеклом с рекомендациями, кому и куда бежать в случае нечаянного воспламенения. Пожаров, угаров, проигрышей воды пока не случалось.

Печенкину же когда-то выигрыши и проигрыши воды, всякой живности, что в ней водилась и размножалась, и даже мокрых растений с белыми и желтыми кувшинками были делом привычным. Омуты азарта его затягивали. Бывали и конфузы. И о них он, вызывая сострадательные усмешки слушателей, рассказывал с удовольствием. И были подтверждения, что не врал. А если и врал, то не окаянно. Был случай, когда Печенкин, а проживал он тогда в незаслуженно малом пруду, увлекшись и горлопаня, проиграл князю-адмиралу Плещеева озера не только всю свою чистую воду, не только зеркальных карпов, но и самого себя. Полтора года он был в работниках на Плещеевом озере, не раз драил и отскребал ботик императора Петра Алексеевича, князь-адмирал признал его труды достойными поощрения, даровал ему вольную и вернул воду в опустевшие берега, а с нею и зеркальных карпов с приплодом. Жаль, что местный помещик, заводивший карпов, залечивал в ту пору свои нервные огорчения в одном из немецких Баденов. В другом случае Печенкину так опостылели окрестные поселяне, что он увел от них свою воду за четыре с половиной версты прямо к железнодорожному полотну и там основал озеро. Дело это оказалось нелегким, поток, который гнал Печенкин, никак не мог одолеть холм, заросший шиповником, в сердцах Печенкин поволок за собой и холм, тот стал на его озере островом. Позже озеро обступили дачи, и барышни, читавшие в гамаках романы Боборыкина, произвели холм-путешественник в Остров Любви. Всем этим барышням Печенкин в охотку щекотал бы их гладкие тела. Но не все они отваживались купаться. А жил он в то время благодушным. Порой же он безобразничал и так

чудил, что народ вблизи его берегов ходил перепуганный и готов был дарить Печенкину черного козла и черную курицу чуть ли не каждую неделю. Он, ночуя под корягами или под мельничным колесом, а еще лучше – в омутах с дырами студеных родников, ломал жернова, калечил плотины, затягивал к себе дармовых работников, кого перемывать песок, кого переливать воду, кого выгуливать раков, а сам катался на усачах сомах и матерился на всю округу. Приписывали ему способности оборачиваться пудовыми щуками, теми же разбойниками-сомами или свиньей с черным пятаком. И щук, и сомов, и в особенности свинью Печенкин отрицал. Прежних своих проказ он нисколько не стыдился, память о них была ему мила. «Ну и сидел бы ты лучше теперь в Рыбинском море, – пеняли ему, – был бы на троне царь-адмирал, завел бы из приличия парламент». «Может, вы и правы, – задумывался Печенкин. – Хотя меня там сразу стало выворачивать. Как от морской болезни. А в Череповце тогда еще и домны не стояли». Помимо всего прочего, Печенкина при перепроизводстве в домовые обязали удалить перепонки на нижних и верхних конечностях, что он, после душевных содроганий, и позволил сделать, и теперь его возврат в водяные вышел бы затруднительным. О прошлом Печенкин порой тосковал, но в профилактории (и в Москве!) жил он, похоже, неплохо. А Малохол был им доволен.

Рамень, или Раменский, имел свои привычки. Лешие, как известно, складные. Нужно – они схоронятся под листом земляники, а ростом будут с гриб рыжик, нужно – восстанут, сравняются с высоченными соснами или дубами, а то и примут на плечи облака ходячие. Раменскому нравилось пребывать именно великаном, да еще и обросшим мхами и лишайниками, да еще и укутанным сизыми туманами. При этом он любил шуметь, ухать, перекрикивать северные ветры, металлические звуки на ближних станциях и заводах, и петь, пусть и не внятно, но громоподобно и страшно, в особенности он почитал «На диком бреге Иртыша». Порой и теперь, переехав в город и переписавшись в домовые, Раменский позволял себе буянить, лезть в драки и швырять на пол пивной в Столешниковом переулке кружки, залоговая цена которых поднялась до тысячи рублей. В Столешниковом я его встречал. Но эти капризы Раменского были теперь краткими, он корил себя за них, а перед Малохолом оправдывался: «Леший попутал». Когда-то в управлении Раменского были все звери и все птицы его лесов, все муравьи и все комары, любая ягода и любой гриб. Гаркнет: «Смирно! И с уважением!» – они – во фрунт! Сколько зайцев, сколько росомах, сколько белок он проиграл! И сколько выиграл! Конечно, знамениты были выигрыши при больших ставках, скажем, лет сто

пятьдесят назад, сдавшись в великом карточном сражении уральским лешим, лешие енисейские вынуждены были гнать в Ирбит и Верхотурье проигранных зайцев и белок. Подобными баталиями Раменский похвастаться не мог, но и у него в прошлом были славные случаи. А уж сколько девок красных хаживало в его чаши по ягоды и грибы… На грубые насмешки опекуна огнетушителей Лютого и на его уколы: мол, зачем же ты из вольной гульбы приволокся в Москву, Раменский угрюмо и горестно отвечал: обстоятельства вынудили. Обстоятельства эпохи и обстоятельства личной жизни. Из-за этих обстоятельств ему, от природы корноухому, пришлось наращивать правое ухо, менять стиль одежды и привыкать ко всякой московской кулинарной дряни. Впрочем, напитки и в Москве были хорошие и откровенные. И самим удавалось с помощью трав гнать и варить совершенные произведения. Тем более что в хозяйстве доверенного им профилактория многое тому способствовало.

И теперь в присутствии разомлевшего Шеврикуки Лютый, Раменский и Печенкин играли на воды, рыбу, зайцев, рухлядь и зерно. Иное дело: выигрыши выдавались не натурою, а бумажными карточками, впрочем, очень аккуратно и красиво оформленными. Поначалу, учреждая правила выплат, а также призовых фондов, спорили, поднося к физиономиям и кулаки. Скажем, как считать зайцев в карточках: штуками или единицами веса? Лютый, не располагавший, кроме зерна (главным образом ржи, ячменя, овса и редко когда пшеницы), никакими иными ценностями, склонялся к единицам веса. Ему были милы пуды. Зайцев же, белок, бурундуков пудами измерять было неловко, могли бы возникнуть поводы для платежных лукавств и ухищрений. Договорились употреблять при счете, при сложных, но справедливых бухгалтериях, и пуды, и килограммы, и штуки, и кубометры, жидкие и древесные, и отдельные ручейки, рощи, муравейники, ягодные поляны и черные омуты. Лютый и взялся разрисовывать картинки карточек цветными карандашами, косоглазые были на них живые, ерши хоть сейчас были готовы заложить основу тройной ухи, а пятипудовые мешки с толокном выглядели как семипудовые. Рисовальщика поощрили. Ему разрешили играть не только на зерно, но еще и на картофель, на кормовые корнеплоды, а также на курей, гусей, уток и мелкий рогатый скот, хотя птице и скотине полагалось быть в подчинении вовсе не у овинника, а у домового-дворового. Впрочем, произведения Лютого так и оставались красивыми бумажками, реальными зверями, рыбами, глухарями, березовыми рощами обеспечить их, увы, не было возможности. Проигрыши и выигрыши выходили воображаемыми. На деньги же Малохол дозволял играть лишь в дни профессиональных

праздников. И то далеко не всех.

– Говоришь, брезгуешь, Шеврикука, – не отрывая глаз от бочки и не вынимая сигареты изо рта, протянул Раменский, – а у самого просто мошна пуста. И на кон выставить неча. Одно казенное имущество. Но разве пойдет твой сливной бачок против моих кедров. Да еще и с полными шишками.

– А у него привидения есть! – рассмеялся Печенкин. – Злые и колючие! Целый мешок привидений!

– Печенкин! – строго сказал Малохол.

– А я что? Я против привидений ничего не имею. Я их не умаляю. Тем более что сейчас они в чести. Пожалуйста, я готов выставить своих русалок против его привидений.

– У тебя русалки забитые, – сказал Лютый. – И тем более у тебя их теперь нет. И баборыбы у тебя нет и не было. Читал на днях в газете? На одном из пляжей под Бостоном обнаружили баборыбу. Шестьдесят свидетелей. Метр пятьдесят в длину. До талии – тело и морда морской форели. В чешуе. А ниже талии – дамские ноги. Голые. Но в душистом вазелине. От раздражений океанической воды. У тебя баборыбы нет. А хорошо бы и ее занести на карточки.

– Махорку ты не в ту газету завернул? – поинтересовался Печенкин. – Не от баборыбы ли и от ее вазелинов воняет?

При этих словах в каморку Малохола вошло создание женского пола, известное Шеврикуке с чужих слов. Стиша. Как будто бы подруга Раменского, во всяком случае, по его совету выписанная из дмитровских лесов для хлопот при кухне профилактория. Можно посчитать – из лешачих. Можно посчитать – из лесных дев. Стиша принесла на коромысле шесть алюминиевых судков. Принялась расставлять посуду. Стол, ею украшаемый, наверняка прежде покрывали одухотворенным красным сукном в предвкушении вразумительных бесед, теперь же он служил презренным трапезам. Угощения предлагались не обеденные и не вечерние, а так, попутно-развлекательные: малосольные и соленые огурцы, сушеный горох, соленые грузди, видно, что сибирские – голубые и каждый с тарелку, а к ним – сметана, квашеная капуста, караси с золотой коркой, «яко семечки», рябчики, тушенные в брусничном отваре, но холодные. К напиткам же, понял Шеврикука, каждый из сотрапезников доступ имел свободный. Впрочем, ему, как гостю, Стиша поднесла ковш с чуть желтоватой жидкостью, поклонилась, сказала сладко, но и как бы с ленцой:

– Будьте благосклонны, примите медовуху.

Шеврикука принял. Подцепил вилкой голубой груздь и долго с

уважением вкушал его, не давая сметане стечь на пол.

– Это Шеврикука, – сообщил Стише, оторвавшись глазами от газеты «Труд», Малохол.

– Тот самый Шеврикука? Неужели? – будто бы радостно изумилась Стиша. – Как же, как же, наслышаны!

Не притворным ли было ее изумление? Шеврикуке сейчас же показалось, что и в облике Стиши есть нечто притворное или декоративное. Нет, не так. Стиша выглядела словно бы хористкой или, скорей, плясуньей удачливого (оттого и костюмы свежие) фольклорного ансамбля, чьи добычи и успехи были достижимее где-нибудь в Кордильерах или на Виргинских островах, нежели в местных Липецках и Омсках. Мягкие волосы ее (коса до пояса, естественная светло-русая или, если хотите, пшеничная) обегал поверху чуть кокетливо сдвинутый набок венок из ромашек, васильков, львиного зева, колокольчиков. Нынче в подобном венке можно было признать претензию и нарочитость. Но, рассмотрев шелковую, кадрильную блузку Стиши, гладкую, со множеством пуговиц, поднимавшую и саму по себе высокую грудь и доказывающую зрителям, что у барышни все есть и там и тут, юбку протяжную, почти до сапожек (всплеснет – и какие виды!), и легкие, красные сафьяновые сапожки, рассмотрев все это (что Шеврикука и сделал), можно было заключить: «А что? Стильно! Есть стиль и есть линия. Пусть и с претензией!» Да и отчего же не сплетать и в Москве венки в нынешние летние дни бывшей лесной деве?

– Я потом вам скажу, от кого я о вас наслышана, – шепнула Стиша Шеврикуке. – От одной… От одной известной вам особы… Ага…

Нет, мила, мила, отметил Шеврикука. И глаза ее хороши и лукавы…

– Это что у вас там за шуры-муры! – загремел Раменский, и видно было, что он сердит. В глазах же его злился зеленый огонь.

Стригли и брили Раменского с усердиями, и сам он старался облагородить себя, выдирал кусты из бровей, однако и даже находясь под предводительством Малохола, он попрежнему оставался жестко-лохматым. И, несмотря на все вращения судьбы со взгодами и невзгодами, волосы его не потеряли оттенки лесного происхождения. Нет-нет, а проглядывалось в них зеленое. А уж зеленый огонь из его глаз не исчезал никогда.

– Рамень, – спросил Шеврикука, – а ты Кышмарова знаешь?

– А то?! – буркнул Раменский.

– Он тоже тявкает, как и ты. И тоже не по делу.

– Рамень нынче в ущербе, – сказал Печенкин. – А? Или нет? Уже проиграл мне с Лютым двух барсуков и четверть березового колка под электропередачей! Фрязино-Ивантеевка. На него не дуйте. Вспыхнет! А

Кышмарова все знают. И лучше бы не знали.

Ставки в играх на бочке или даже на бывшем красном столе в целях удержания натур от падения допускались теперь малые. Чтоб избежать обид и расстройств, приняли вместо «малые» выражение «по средствам времени», но средств не было, достойных, естественно, средств, отсутствие же их падало коршуном вины исключительно на время и его обстоятельства. Но проигрыш двух барсуков и четверти березового колка под электропередачей можно было приравнять к гусарскому проигрышу, требующему выстрела в висок. Шеврикука испытал сострадание к Раменскому.

– А что, надо осадить Кышмарова? – поинтересовался Лютый.

– Нет, я так… – поспешил ответить Шеврикука. – Всякие странности приходят в голову после медовухи. На днях я, правда, встречал Кышмарова. В сапогах со скрипом…

– Это что за топот? – поднял голову Малохол.

– Восходители разминаются, – пропела Стиша.

– Опять? Я же их отгонял!

– У них восхождение на днях. Небесный забег.

– Дорожку эту стоило бы взорвать. Или затопить. Или искромсать корнями дуба. Но на что рассчитывать с этими вот отдыхающими! – осерчал Малохол.

– Тогда здесь, по пересеченной местности, станут устраивать кроссы, – предположил Печенкин.

– Прекрати ехидства! – крикнул Малохол.

Он отбросил издание трудящихся масс и выскочил во двор. За Малохолом, волнуя всплесками свободной юбки, последовала Стиша. Лютый, Печенкин и Раменский переглянулись и остались при бочке. А Шеврикуку потянуло на воздух. Вдоль забора профилактория протекала в деревьях асфальтовая дорожка, способная облагодетельствовать и легкие автомобили. По ней неслась толпа сосредоточенных мужчин.

– Куда это они? – удивился Шеврикука.

– В Останкино. К вам. На Башню. К столикам «Седьмого неба».

– Прямо отсюда?

– Нет. Здесь они разминаются.

– Я узнаю, – зло пообещал Малохол, – кто их сюда определил. Какая вражина.

Мужчин неслось, пожалуй, не меньше сотни. Все они были спортсмены, даже те, что несомненно пережили отмену золотых червонцев с изображением императора Николая. Лишь один бегун забыл или не успел

переодеться к старту, он был в вечернем (назовем так) костюме и при галстуке. Именно он остановился, рассмотрел зрителей из профилактория и закричал:

– Игорь Константинович, и вы здесь! Я сейчас!

Это был Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный.

Он бросился вдогонку за одним из спортсменов, коренастым, в цветастых трусах, наговорил ему что-то на бегу и тотчас же вернулся к забору профилактория, похожему на ограждение стадиона в Петровском парке, просунул голову в проем меж железных палок:

– Уморили! Укатали! Попить дайте, братцы!

Малохол не выразил сочувствия к заморенному бегом братцу, он и на Шеврикуку поглядел строго, будто осуждал его за неприличное знакомство и предупреждал о чем-то. А Стиша взяла и вынесла страдальцу чашу с напитком. Крейсер Грозный, видимо, так был обезвожен, что в мгновение перебрался, не повредив штаны, через железные трехметровые палки, а они были увенчаны наконечниками копий.

– Уважила, красавица! Спасла! – отфыркивался Крейсер Грозный. – Но еще бы. И чуть-чуть посидеть! Ноги отбил.

– У вас занятия, – Малохол явно призывал гостя, проявив выдержку и силу воли, продолжить забег.

– Э-э! – легкомысленно махнул рукой Крейсер Грозный. – Я уже спешился. И это не мое занятие. Это занятие Сан Саныча, Такеути Накаямы, моего лучшего друга. Это он марафонец и побежит в Башню! А я его сопровождаю. Сейчас у них будет круг, а у меня, значит, полчаса. Налейте что-нибудь еще и позвольте посидеть.

И Крейсер Грозный, не обращая внимания на недовольства Малохола, двинулся к помещению, где можно было выпить и посидеть. Отбитые ради удач японского друга и марафонца Сан Саныча ноги Крейсера Грозного сразу же привели его не куда-нибудь, а в укромную каморку Малохола.

– О! И тут флотские! – обрадовался Крейсер Грозный, обнаружив капитанскую фуражку заседателя при бочке Печенкина. – Что ж ты мне, Игорь Константинович, не рассказывал о таких героях. По этому поводу надо сейчас же бы и непременно!

– Флотский! – загоготал Лютый. – Знаменитый флотоводец! Адмирал головастиков и водомерок!

– Глупые шутки сейчас лишние! – предупредил Малохол.

– Да, да, конечно, – спохватился Лютый. И погрустнел.

А Крейсер Грозный мятым жестяным боком заполненной пахучим напитком кружки уже приветствовал нежно-тонкий стакан Печенкина.

– У вас картишки, – сообразил Крейсер Грозный, – а у меня полчаса!

– Только при наличии живности, лесопосадок или водоемов, – недружественно, взглядом вытесняя гостя за пределы профилактория, просипел Раменский.

– Что-что, а живность у меня есть! – рассмеялся Крейсер Грозный.

– Какая? И сколько штук?

– Штука одна. Пока. Но в ней одиннадцать погонных метров. Змей Анаконда.

– Чем подтвердите?

– Весь город знает. О змее был сюжет в «Московском телетайпе». Игорь Константинович не даст соврать.

– Змей есть, – кивнул Шеврикука.

– А если вам штуки… Так у моего друга Сан Саныча, который японец и сейчас бежит, много штук змеев. Опять же Игорь Константинович не даст мне соврать.

– Есть и штуки, – согласился Шеврикука.

Конечно, змеи у друга Сан Саныча водились в Японии бумажные, но кто знает, может быть, в полетах они были живее змеев из кожи и мяса.

– Ладно, бери табуретку, – сказал Лютый. – Сейчас нарисуем и змеев.

Малохол тем временем вернулся к облагораживающему чтению, но он как будто бы нервничал и нет-нет, а взглядывал на свои часы. Игра с появлением гостя стала шумной и балаганной, Малохола она явно раздражала. А Шеврикука, хотя прибытие Крейсера Грозного его никак не обрадовало и он был намерен спровадить сейчас же останкинского громобоя на асфальтовую дорожку, ничего не предпринимал, а сидел после медовухи разомлевший и тихий.

– И от кого я наслышана-то о вас, вы не догадались? – Нежная рука Стиши легла на плечо Шеврикуки, а потом Стиша присела рядом с ним на корточки, и коса ее коснулась пола. – А? Не догадались?

– Нет, – лениво протянул Шеврикука. – От кого же?

– Какой вы не сообразительный! И не чувствуете! – Стиша лукаво пальчиком укорила Шеврикукуи зашептала заговорщически: – От Увеки…

– От кого? – удивился Шеврикука.

– От нее… Прежде она звалась Увека Увечная, а теперь она Векка Вечная… Или вы ее не знаете?.

– Нет, знаю… Как же… – сказал Шеврикука с расположением к Стише, но без всякого расположения к Увеке-Векке. – Слышал… И видел как-то ее… Приходилось сталкиваться…

– Мои-то с ней тропинки пробегали рядом, – сказала Стиша. – А то и

сливались в одну…

– А мы вашу даму козырной десяткой! – воскликнул Крейсер Грозный. – И три очка «Спартаку»!

– Но ведь она, Увека-то, говорят, определена в холодную, – вспомнил Шеврикука.

– Сегодня она в холодной, – улыбнулась Стиша, – а завтра, глядишь, будет в тепле на канарском пляже…

– Может быть, – вяло согласился Шеврикука. – Может выйти и так…

– А я думала, вас обрадую Увекой-то, – Стиша была чуть ли не разочарована. – Она-то на вас ох как смотрит!.. Да вы, видно, и стоите того. А, Шеврикука? У Увеки-то есть и надежды на вас, я знаю! Может, я говорю лишнее. А может, и нет…

– Стиша! – словно бы с высоты, с гранитной скалы властно прозвучал голос Малохола. – Не время ли тебе вспомнить о своих заботах! Не время ли поднести жаждущим чаши!

– Это верно! Это справедливо! – поддержал Малохола Крейсер Грозный. – А то ведь минут через пятнадцать притопочут обратно наши бегуны.

– Это как же они будут вздыматься на Башню? – поинтересовался Печенкин.

– Приезжайте к нам, увидите.

– Ну да, – покачал головой Печенкин. – Над вами в Останкине неизвестно что висит.

– Экая беда! – сказал Крейсер Грозный. – Висит себе и висит. Над каждым из нас все время что-нибудь да и висит. А из этого дредноута, что в Останкине, вчера пролилось. И ничего, живые.

– Что пролилось? – спросил Лютый.

– А леший его знает, – сказал Крейсер Грозный. – Не успел попробовать. Недолго лилось. Сосед слизнул с балконной ограды, говорит – хорошо! И запах стоял вкусный. Не иначе как борща по-флотски. Вот и Игорь Константинович подтвердит.

– Я отсутствовал в ту пору в Останкине, – сказал Шеврикука.

– Ну и не расстраивайтесь, – успокоил его Крейсер Грозный. – Еще закапает, А чтой-то вы карты не сдаете?

– Хватит! – резко заявил Раменский.

– Проигрываешь – и не злись, – сказал Лютый. – Сдавай или оплачивай проигрыш. Сколько зайчатины должно пойти ихнему змею? Анаконде, что ли?

– Анаконде, – подтвердил Крейсер Грозный.

– Ихняя живность, – сказал Раменский, – может, и липовая.

– А вот вы подавайте змею ваших зайцев, – предложил Крейсер Грозный. – Мы и проверим. Да и двух барсуков тоже! Красавица милая… Зовут-то вас как?

– Стиша.

– Стиша. Не сделаете ли одолжение, пока решаются животноводческие проблемы, выглянуть и посмотреть, не бегут ли обратно, огольцы?

– Бегут, – вернувшись, сообщила Стиша.

– И уже видны? – ужаснулся Крейсер Грозный.

– Нет. Я прикладывала ухо к земле. Слышен топот.

– Вот и хорошо! Вот и спасибо! Сожалею, что заставил ваше бесценное ухо быть приложенным к грунту. За ухо это и тем более за косу самое время теперь осушить чашу.

– Поднеси ему! – распорядился Раменский. – И пусть проваливает!

– Моряки никуда не проваливают! – гордо заявил Крейсер Грозный. – Но исключительно с вашими зайцами…

– И что это ты выступаешь здесь командиром? – обратилась к Раменскому Стиша.

– Хватит! Все! – молвил Малохол.

И замолчали.

Минут семь еще шла игра. Крейсер Грозный ликовал, готов был нечто выкрикнуть или пропеть, но и без оглядки на Малохола останкинский гость помнил о нем и никаких звуков не издавал. А потом, взглянув на часы, он вскочил, не потребовав и лаврового венка победителя, а лишь принял из рук Лютого раскрашенные бумажки, поблагодарил всех за гостеприимство, пообещал не забывать и долго не пропадать, красавицу Стишу расцеловал в обе щеки, сообщив: «За мной рогатка!» – тут же спохватился: «Да что же это я? Чтобы хозяев не обидеть! На посошок-то!» – запустил черпак в ушат с приятственной жидкостью, осушил его, крякнул и был таков.

Последовавшие за ним во двор профилактория Шеврикука, Малохол, Стиша и три карточных заседателя могли лишь засвидетельствовать, что Крейсер Грозный ловко и вовремя преодолел забор из металлических палок с наконечниками копий, был дружелюбно встречен толпой настоящих мужчин, гармонично вписался в их сообщество и даже вызвал долгий, облегчающий душу вздох поощрения.

– Да не злись ты! Проиграл и проиграл! – сдерживал Лютый (и Печенкин помогал ему) раззадорившегося Раменского, рвавшегося к забору. – Я тебе еще нарисую. И барсуков, и росомах!

А Шеврикука почувствовал, что к нему прижалась пшеничнокосая

Стиша.

– Шеврикука! Можно тебя на секунду? – сказал Малохол.

– Пожалуйста.

Они отошли.

– Вот что, – сказал Малохол. Глядел он будто бы в спины бегунам. – Более ты нас не посещай.

Шеврикука рот раскрыл в намерении попросить у Малохола объяснений, но произнес лишь:

– Как скажешь! И услышал:

– А я уже сказал.

В глаза Шеврикуке Малохол так и не взглянул.

32

В Землескребе Шеврикука посчитал, что пришла пора повидать Пэрста-Капсулу.

Но в доме Пэрст-Капсула отсутствовал. Может, гулял где-то. Может, был в делах. Он ведь заверил Шеврикуку, что не заскучает. И что у него есть уже остропривлекательное занятие. В получердачье Шеврикука ощутил свежий для пристанища подселенца запах. Он был еле уловимый. Зацепился где-то за Пэрста-Капсулу и был принесен им в Землескреб. Пэрст-Капсула собирался завести подругу, о чем поставил Шеврикуку в известность. Возможно, что и завел. И возможно, появлявшийся в Землескребе высокомерный исполнитель Б. Ш. (Белый Шум) понудил Пэрста-Капсулу к скорым поступкам. Духи, учуянные нынче Шеврикукой, были, по его разумению, дешевыми и даже вульгарными, не запаниковал ли Пэрст-Капсула, не бросился ли заводить дружбу с какой-нибудь лимитчицей, имеющей слабую натуру? Да хоть бы и с лимитчицей, ему-то, Шеврикуке, какая разница? К тому же все эти его соображения, в особенности с привлечением запаха якобы вульгарных духов, выходили постыдно-поверхностными. И может быть, у Пэрста-Капсулы вовсе не было причин опасаться Б. Ш. или любого из Отродий Башни.

Однако после объявления Белым Шумом обязательной потребности в нем, Шеврикуке, проистекло уже пять дней. А никаких действий не последовало. В нем включили напряжение и пропали. Ну и ладно. И ладно. И пусть. Ему теперь не надо разыскивать Пэрста-Капсулу и задавать вопросы. И не надо нервничать по поводу затишья Отродий. Сейчас не его ход. Сейчас ход тех, кто повел с ним во что-то игру. Или посчитал выгодным включить его в свои игры.

Но из-за чего осердился Малохол? И осердился ли? Чем было вызвано воспрещение прогулок Шеврикуки в бани и бассейны Малохола? Этому Шеврикука искал теперь объяснения, но все они его не удовлетворяли. Могло донестись до Малохола нечто из перечисленного в укорах Увещевателя и прийтись ему не по нраву. Но, впрочем, Малохол всегда проявлял себя самостоятельным в оценках и поступках, а уж то, что произносилось или утверждалось в Обиталище Чинов, было для него несомненным дерьмом и бледной поганью. Вторжение Крейсера Грозного? Тут были поводы для досады. Но досады на полчаса. Или хотя бы на день. Не стал бы Малохол из-за неудобств и нарушений, вызванных

останкинским мореходом, а виноват в них был он, Шеврикука, делать столь решительное заявление. Развеяли бы досады шутками. Стиша? Из-за Стиши? Здесь, конечно, могло что-то быть. В хозяйстве Малохола Шеврикука, и из-за собственных настроений, и после турецкого тепла и медовухи, был и впрямь рассеянный, разомлевший и не вцеплялся вниманием во все ежесекундные тонкости отношений собравшихся в каморке. Но кое-что, естественно, заметил. Напряжения из-за Стиши возникали, но в них неожиданно для Шеврикуки, и к его удивлению, скрещивались интересы Малохола и смотрителя деревьев, кустарников, клумб и зимних садов Раменского. Два года назад никакой Стиши в профилактории он не видел. Совсем иная дева, не из лесных, приглядывала за кухней. Как будто бы Стишу, ей на замену, привлекли по представлению Раменского. А Малохол, стало быть, положил на нее глаз? Но он-то, Шеврикука, здесь при чем? Он с ней даже не любезничал. Любезничал со Стишей Крейсер Грозный, но без всяких помыслов, а просто как истинный флотский кавалер, благодарный, ко всему прочему, за подносимые чаши. Он же, Шеврикука, ее как следует и не рассмотрел в рассеянности и послебанной истоме. Поставил ее в ряд фольклорных плясуний и успокоился. А она ходила в приятельницах с Увекой Увечной. Может, даже росла и воспитывалась вместе с Увекой. Что-то в ней было, вспоминал теперь Шеврикука. Что? Лукавство и некое знание, насмешничала она над ним, пропевая «Неужели тот самый Шеврикука? Как же, как же, наслышаны…» Верхняя губа Стиши была чуть вздернута, обнажала белые зубы. Принято относить имеющих вздернутую верхнюю губу к особам вздорным и капризным (Впрочем, и оттянутая нижняя губа тоже как будто свидетельствует о капризах.) Не ахти какие психо-физиономические справедливости! А имя? Стиша? Производное от Устиньи? Вряд ли. Бывшая лесная дева, Шеврикука это почувствовал, была способна стихомирить буянов. Стихомирить и сразу. (Могла, наверное, и утихомирить, и утишить, могла утешить и утешать. Могла, значит, быть и Утехой. Стиша – Утеха?) Тихий мир и вздор? Тихий мир и каприз? Вздор и капризы были свойственны Увеке Увечной. Но был ли в ней и тихий мир? Похоже, Гликерия и Дуняша-Невзора отказывали ей в этом.

Но все эти его сегодняшние гадания сами показались Шеврикуке вздором. Однако Стиша несомненно озадачила его. Она явно направляла на него некое свое усердие. Одной ли ее это была затея или она способствовала кому-то, Шеврикука судить не мог. «Постой! – сказал себе Шеврикука. – А когда она прижималась ко мне…» Да, случились мгновения, когда Стиша прижалась к нему, а Крейсер Грозный вместе с

отважными бегунами уносился под сень берез и лип. Шеврикука опустил пальцы в карман джинсов и в одном из них, заднем, запертом «молнией», обнаружил бумажный листок, скрученный в трубочку. Такие трубочки с посланиями, вспомнилось Шеврикуке, называли цидульками. И вот что он прочел на листочке, выведенное детскими печатными буквами: «Д. Шеврикука! Прошу! Ожидаю в Ботаническом саду у маньчжурского ореха в одну из сред в три часа дня. Очень прошу! В. В.». О надеждах Увеки Увечной, связанных с ним, Шеврикукой, шептала Стиша. «Д. Шеврикука» – это как понимать? «Дорогой», «Достопочтенный», «Достаточно уважаемый» или даже «Доктор»? А «В. В.»? «Векка Вечная» или «Ваша Векка»? Не хватало еще «Ц»! Но откуда Увека Увечная, ко всему прочему находящаяся теперь как будто бы в холодной, могла узнать о времени услад Шеврикуки в турецкой мыльне, если он сам о них не догадывался? Или это пшеничнокосая Стиша с хитрыми зелеными глазами накорябала приглашение к маньчжурскому ореху? Да и произрастают ли у нас в Ботаническом саду маньчжурские орехи? «В одну из сред в три часа дня…» «Как же! Сейчас и побегу!» – мрачно пообещал кому-то Шеврикука.

Нет, решил Шеврикука, из-за Стиши, даже если Малохол и наблюдал за ее затеями и подсовываниями бумажки, а сам не был к этому подготовлен, он не мог потерять рассудительность. Но вдруг за два года Малохол стал не тот? Опять же вряд ли. Не доносилось об этом ни сведений, ни слухов. Впрочем, нынче все меняется в мгновения, Шеврикука не знал, в какие предприятия потянуло, скажем, встрять Малохола. Неужели Малохол посчитал общения с ним, Шеврикукой, опасными для себя? Это было бы удивительно… Так или иначе, о профилактории в Сокольниках предстояло забыть. И не думать о нем как о возможном укрытии. А порой Шеврикуку успокаивала мысль о том, что у него есть место, где можно уберечься. Именно замереть и пропасть. Или хотя бы загулять. В Китай-городе ему дали понять, что пропажа двухстолбового домового Шеврикуки будет сейчас же обнаружена. А загулять? Да гуляй себе с кем хочешь, сколько хочешь и где хочешь.

Но на Малохола Шеврикука обиделся. Все принимал во внимание и допускал даже (при двух вариантах понимания ситуации) разумность решения Малохола, но истребить в себе обиду не мог. «Да пусть он теперь ко мне когда-нибудь сунется!» – обещал Шеврикука. Опять же неизвестно кому.

Он пропылесосил квартиру пенсионеров Уткиных. Уткины недавно приезжали с дачи в Москву за продовольствием и радовались чистоте комнат, половиков, кастрюль, запонок, занавесей, постельного белья в

шкафу. И конечно, малахитовой вазы. И семейной гордости, печки Чуда, из довоенных годов, а может быть, и из прошлого мирно-просвещенного столетия. Супруга Уткина пожелала приготовить в Чуде пироги с вишней, яблоками и крыжовником. Чудо и уехало на дачу. Успокоило и удивило Уткиных примирительное состояние цифр расходов и оплат в книжке коммунальных платежей. Как бы ни бесились, кусая банкноты, носители энергий, как бы ни дурели в брызгах и пене их погоняльщики, Шеврикука находил способы не затруднять ответственных съемщиков квартир, в каких он позволял себе отдыхать.

«Нет, надо было ответить Малохолу!» – Опять ропот возник в Шеврикуке. И сейчас же последовал ответ: «Сиди! Сиди! И именно отдыхай…»

Вспомнилось Шеврикуке. Ну, определим сейчас: не сам слышал. А скажем: читал. Хотя и не читал. Барин, при случае простец, при случае оригинал, граф Федор Григорьевич Орлов, бывавший и на Покровке, в доме Тутомлиных, и несомненно известный Гликерии, привнес в обиход науку «фифиологию», какая учила пользоваться особенностями людей, превратностями и шутками житейских обстоятельств. По «фифиологии» Ф. Г. Орлова, наивысшим из искусств было искусство – терпеливо сидеть в засаде и хватать случай за шиворот. Да, согласился Шеврикука, ему нужно теперь терпеливо сидеть, но вовсе не в засаде, а в охороне, чтоб самому не быть схваченным за шиворот.

И вот, пребывая в крепости служебных приложений сил и имея в кармане почти что охранную грамоту – бумагу о проведенном с ним упреждающе-назидательном Увещевании (а не листочек, подсунутый ему, можно посчитать, интриганкой Стишей, раздразнившей Малохола; трубочку-цидульку ее с приглашением к маньчжурскому ореху Шеврикука сжег), он в квартире Уткиных включил телевизор. Нырнул в московскую программу. И ему сразу же пообещали показать прямой репортаж. Но на экранах и так Шеврикуке все виделось выпрямленным. Сейчас же, как выяснилось, требовался вертикально-прямой репортаж. Настоящие мужчины штурмовали Останкинскую башню. На Башню их и заманивали словами: «Только здесь вы проявите себя настоящими мужчинами». Толпа, топотавшая на днях в сопровождении Сергея Андреевича Подмолотова вблизи профилактория, оказывается, уже сегодня днем рвалась к наслаждениям «Седьмого неба». Стало быть, репортаж был никакой не прямой, а записанный на пленку и успевший превратиться в консервное изделие, бланшированное в масле. Прямой наводкой телекамер смогли показать лишь победителей жизнеутверждающего забега за столиками

поднебесного ресторана. Они либо обменивались мнениями в ожидании официанток и блюд, либо молчали, приглашая телезрителей в глубины миросозерцаний. Естественно, за столиками победителей (Шеврикука расстроился бы, коли б вышло иначе) сидели Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный, и его японский друг Такеути Накаяма. Очаровательная дама в вечернем туалете Тамара Ракита, хозяйка культурно-эротических программ ресторана, поздравила победителей с чудесным обретением мест в надмосковных высотах. Не одна лишь сокольническая толпа, виденная Шеврикукой, высокой страстью была ввергнута в соперничество. Всего к Башне с разной степенью скорости принеслось шесть тысяч бегунов. Иные из них прибыли на троллейбусах, а кто и на попутном ветре. Не всем им было суждено втиснуться в финальную часть забега. Так, из показанных кадров следовало, что не сумел втиснуться флейтист из Землескреба Садовников, его грубо отшвырнули, чуть ли не растоптав ему тонкие переплетения достоинства. Всего лишь пятьдесят семь соискателей добились удовольствия быть допущенными на лестницу, взлетающую к трехсоттридцатисемиметровой отметке. Крейсер Грозный доказывал, что он никому не конкурент, а просто приглядывает, чтобы с нашим японским гостем не случилось ничего дурного. Сергею Андреевичу предъявили три лифта, запрягайте любой из них, и вы будете где надо через сорок восемь секунд, зачем утруждать мышцы ног, да и всего туловища. Но сибаритское путешествие сопровождающего лица в лифте, по мнению Крейсера Грозного, могло снизить уровень исконного останкинского гостеприимства. Старания Сергея Андреевича и флотская выучка, хоть был он и не в черноморских клешах, помогли ему вознестись на шесть ступеней выше японского марафонца, и истинным московским хозяином подать Такеути-сан руку на финишной черте, приглашая его на полированные плиты черного мрамора, устлавшие пол ресторанного вестибюля. Электронный хронометр признал время Такеути Накаямы четвертым. А главный приз – чугунный утюг-паровоз с вместилищем для углей, срамивший электричество еще в десятом году, а экологически – почти чистый, – добыл двадцатитрехлетний пекарь из Долгопрудного Александр Алешкин, поклонник группы «Дюна». Известному нам японцу Сан Санычу вручили музыкальный набор деревянных ложек фирмы «Зубарики», этими ложками, выделывая, предположим, камаринского, в картузе и плисовых штанах, можно было ударять по собственным плечам, локтям, коленям, подметкам сапог и вызывать особенный звук, совершая зубовные переборы. («А в кабинете Увещевателя, – пришло в голову Шеврикуке, – не было, между прочим, ни

Чудо-печи, ни чугунного утюга, ни музыкальных ложек…») Очаровательная дама Тамара Ракита попросила японского гостя в знак интеллектуального и мускульного собеседования двух культур опробовать ложки. Накаяма-сан хотел было произвести ложками дружественные звуки, но застеснялся. «Эх, нам бы да плечи пошире!» – крякнул Сергей Андреевич Подмолотов и, как бы принимая в себя невоплощенный порыв застеснявшегося Такеути, схватил ложки, сотворил ими двухминутную виртуозную пьесу с ударами и перелетами ложек, при этом пускался вприсядку и лепил чечетку. Взгремел оркестр, но играл юн, естественно, не камаринского, а «Яблочко» и всемирный (если верить кроссвордам) танец матросов «Матлот».

Среди десяти ловцов удачи, усаженных за столики в Бажовском зале «Седьмого неба», оказался и молодой скалолаз, обративший на себя внимание Шеврикуки в доме Тутомлиных. И его представили зрителям. Скалолаз простодушно заулыбался и, возбуждая в народе зуд к восхождениям, потряс альпенштоком. Из-за спины скалолаза выглядывал рюкзак, в котором вполне мог лежать разобранный «Запорожец». Очаровательная хозяйка Тамара Ракита признала присутствие на банкете победителей японского марафонца и человека с альпенштоком обнадеживающим и одновременно символичным. Во-первых, останкинские забеги становятся международными. Во-вторых, разве предел настоящим мужчинам высота в триста тридцать семь метров? Конечно нет! Если не сегодня и не завтра, то хотя бы через две недели можно будет проводить забеги и выше, к самому ретивому флагу, реющему, как известно, на высоте пятьсот тридцать три метра. Кто побежит – имея в руках альпеншток, кто – привязавшись к Башне веревкой, кто – и надев специальную обувь с шипами и присосками. А рюкзак молодого скалолаза, продолжила Тамара Ракита, наводит на мысль о том, что мужикам нашим очень скоро станет стыдно возноситься в выси духа и тела порожняком и наверняка озабоченные головы сообразят, чем целесообразнее нагружать соискателей ради совершенствования дел в стране. Последовало чтение поздравительных телеграмм. Их Шеврикука слушал рассеянно. Оживился лишь раз, когда упомянули флейтиста Садовникова. Садовникова обидели наглецы и дикобразы, его отшвырнули и чуть не затоптали, однако он остался бодр, великодушен, съел на ужин котлету и телеграфировал на Башню: «Даешь выше! И на Пузырь! И в путешествие по облакам!» Тамара Ракита стала говорить о Пузыре, но звук сразу же пропал, изображение порвалось, и клочья его словно бы желали влететь в квартиру Уткиных, затем они исчезли, и секунд через двадцать из серого выплыла ушастая

физиономия черного небритого мужика, рот его открылся и произнес: «От синего поворота третья клеть… Четвертый бирюзовый камень на рукояти чаши…» Тут рот мужика скривило, он исчез. Лишь когда на экране забасила жизнестойкая реклама московской недвижимости, можно было уже подумать, что некая неожиданная сила успокоилась и позволила телевизионному центру служить обществу и далее.

«Неужели Пузырь посчитал необходимым попечительствовать над текстом телеграммы флейтиста Садовникова из Землескреба и вдохновенным словом очаровательной хозяйки? – удивился Шеврикука. – Или кто иной?» Впрочем, эта мысль недолго занимала Шеврикуку. Мало ли какие помехи и безобразия могут возникнуть и без всяких попечительств! Но вот ушастая небритая физиономия или даже рожа никак не пропадала из соображений Шеврикуки. Сама эта рожа была (или могла быть) глупостью, технической помаркой, обрезком чьей-то ошибки. Тем не менее слова мужика Шеврикуку озадачили. «Какой синий поворот?.. Какая такая у чаши бывает рукоять? – думал Шеврикука. – И что это за чаша с бирюзовым камнем?..»

33

А через день Пузырь тихо проявил себя.

Что-то пролилось в Останкине, заставив жителей поднять глаза к небу. А небо было невинно-чистое. Пузырь же, по сложившемуся установлению останкинцев, небу не принадлежал. Известно – среди двух московских граждан непременно отыщутся три спорщика. Но сейчас серьезных дискуссий не случилось. Пролилось из Пузыря – это как бы само собой разумелось. И не могло рано или поздно не пролиться. Иначе пустое времяпровождение в здешних воздухах неизвестного объекта должно было показаться останкинцам бессмысленным, обидным или даже безнравственным.

Иное дело – что пролилось? Тут произошли не только споры, но и перепалки. Правда, без доводов кулаков и огнестрельного оружия. Хотя, казалось бы, выяснить, «что пролилось», было куда доступнее, нежели понять, «откуда пролилось». Рассуждения «откуда» и «что это за Пузырь такой» были умозрительными, их вообще могло отнести ветром в хранилища воздушных страхов и надежд. А – «что»? Здесь имелись и запахи, совершенно ощутимые, и густая жидкость, исходившая еще паром. Немало мисок, кастрюль, чайников, детских ванн, ведер, оцинкованных корыт, в мгновения выставленных на балконах, тротуарах и на крышах, приняли в себя неспешные, чуть желтоватые струи. Шеврикука емкости не выносил, а лишь взял для исследований большую ложку и произвел дегустацию кое из каких посудин. Облизнув ложку в четвертый раз, он отправил ее за брючный ремень, в убеждении, что более хлебать нет нужды. Вряд ли ложка добудет ему нечто непохожее на гороховый суп. Гороховые супы, особенно с сырокопченым окороком, Шеврикука уважал, но протертые супы терпеть не мог. Нынешний же был не только протертый, но, по всей вероятности, приготовленный из концентрата. И большинство жителей Землескреба сходились на том, что их угостили гороховым супом. Если даже и не гороховым, то, во всяком случае, со вкусовой основой из бобовых. Некоторые были убеждены, что на них пролилась чечевичная похлебка. Иные уверяли, что им достались куски копченой грудинки, и победно размахивали обглоданными костями. С ними не спорили. А спорили с несколькими упрямцами и фантазерами, которые якобы были облагодетельствованы блюдами, совершенно непохожими на гороховый суп. Эти индивидуалисты требовали верить им на слово, предъявить на

предмет идентификации они ничего не могли, потому как все приобретения пустили сразу в ход, потакая слабостям организмов. Гремел посреди тротуара, но стоял на якоре своей правоты Сергей Андреевич Подмолотов. Крейсер Грозный. Он успел вынести на балкон два котелка, приткнул их рядом. В одном из котелков оказался горячий севастопольский борщ с чесноком, шкварками и пампушками, во втором – макароны по-флотски, эти, к сожалению, чуть остывшие. Испытывая непрерывный ностальгический голод по всему военно-морскому, Сергей Андреевич незамедлительно оприходовал первое и второе. Теперь и экспертиза с Петровки не могла бы определить, что находилось в котелках. Из уважения к коку Крейсер Грозный усердствовал так, что вылизал и отпечатки языка. «Никогда не вру! Нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах! – гремел Крейсер Грозный. – Вот и Игорь Константинович не даст соврать! Хотел было угостить японского друга Сан Саныча! Но не смог! Не удержался! Осрамился!»

И остальные инаконакормленные с яростью отстаивали свои вкусовые ощущения. Но все они главным образом имели дело с киселями, кашами и супами. Кисели, якобы пролившиеся, были из ревеня, из черной смородины, из одуванчиков, из арбузных корок, из лепестков казанлыкских роз, из мухмяной крупы, да мало ли из чего. И каши случились самые разнообразные. А вот двоим достался шашлык. Двоим – эти были выходцами из Сергача и навещали мечеть на улице Дурова, – конская колбаса казы. Одной – неочищенный кокосовый орех и ломоть швейцарского сыра со слезой. И так далее. Ко всему прочему, некоторые не только полакомились, но и пострадали. Гражданин с 1-й Ново-Останкинской из интереса к атмосферным осадкам хлебнул стакан жидкого гуталина. Дама с сумкой на колесах опрокинула в себя плошку клубничного конфитюра, а в том оказалось сорок граммов толченого стекла.

В прежние времена большинство, ради справедливого размещения в природе предметов и суждений или уж хотя бы ради сохранения всеобщего душевного благоденствия в Останкине, конечно бы всем этим инакопокушавшим дало бы гневный отпор, поставило бы их на место или в угол, и они несомненно бы признали, кроме, возможно, двух-трех особенно нервных, что ели, глотали, пили единственно гороховый суп. А никак не шашлык и не гуталин. Ну, в случае с Сергеем Андреевичем Подмолотовым, как исключение, допустили бы макароны по-флотски. И все. Теперь же погорячились, пооскорбляли друг друга – но больше из-за радости человеческого общения, и остыли. Отчего же, кисели так кисели.

Казанлыкские розы так казанлыкские. Арбузные корки – пожалуйста. Вызывала сомнение лишь мухмяная крупа, никто не мог припомнить, что это за крупа, из чего и откуда, легитимна ли, имеет ли харизму. Ну, пусть будет и мухмяная крупа. В конце концов, мы обладаем свободой мировосприятия и свободой сознаний, и в этих свободных сознаниях гороховый суп одного вполне может быть тождествен шоколадному торту или гуталину другого.

На этом бы разойтись, а не расходились. И Шеврикука, находя свое пребывание во дворе бессмысленным, в квартиры не шел. Двое никак не могли успокоиться и снова дергали толпу. Один из них, неуравновешенный мужчина лет пятидесяти по фамилии Желонкин, уверял, что возмущен и испуган и что заявляет это он как санитарный врач, но отсутствие на нем халата, желательно белого, делало его профессионально уязвимым. Он и часа два назад носился по двору, уговаривал каждого не принимать внутрь пролитого сверху. При этом он запугивал простодушное население. Будто бы от этого неизвестно чего, пролившегося неизвестно откуда, все непременно отравятся и окочурятся. «Как же! Отравимся! – отвечали ему. – А чего мы пьем и едим изо дня в день?» Отвечали чаще сердито, иные могли и прибить. Будто бы в Желонкине и содержалась причина, по какой они день изо дня пили и ели то, что пили и ели. А не нечто замечательное. К тому же во многих и впрямь вспыхивали страхи: «А вдруг отравимся?» Желонкин же давал этим страхам медицинские основания. И он просто мешал. Но теперь, когда все они стояли перед Желонкиным живые и не ощущали расстройств, влекущих в известные места (даже покушавший гуталина и тот повеселел), когда страхи опали и была подтверждена жизнестойкость останкинских граждан, они смотрели на Желонкина с состраданием и посмеивались над ним, но по-доброму. И даже наивные просьбы Желонкина не употреблять жидкость более, а незамедлительно сдать ее на анализы, если не ради здоровья, то хотя бы ради чистой науки, вызывали лишь смех, дружный, но беззлобный.

Вторым подстрекателем разговоров был высокомерный малый лет двадцати семи, вышедший к людям в предзимнем сероклетчатом пальто с поднятым воротником и в клетчатой же кепке. Во рту он держал трубку, но не дымил. Его сейчас же произвели в инспектора Варнике. От всяких стран и народов в московскую торговлю приплывали теперь наряды для разных мирских нужд, доселе как будто бы здесь и неизвестных. Добытчики денег хватали их, не всегда установив, к чему и для каких надобностей. Охотно выходили в свет в легких одеждах и туфлях хороших фирм, предназначенных, правда, как вдруг выяснялось, лишь для единственной

кладбищенской церемонии. Случайно ли вырядился наш малый в теплый день так кинодетективно образно или он и впрямь содержал в себе сыщика, публике оставалось лишь гадать. Но проявлял себя малый вовсе не инспектором Варнике, а знатоком проблем и интересов высших цивилизаций. Иногда он, сужая глаза, давал понять, что и сам он, может быть, оттуда, но до поры до времени… и не это главное. Естественно, Пузырь был внеземного происхождения. Пусть для кого-то будет Пузырь, для кого-то Дредноут, снисходительно допускал инспектор Варнике, но на самом деле это… не будем сейчас называть, дабы не вызвать спазмы человеческого разумения. И если санитарный врач Желонкин умолял пожертвовать приобретения и принести их на алтарь романтической науки, инспектор Варнике, даже и не осаживая Желонкина, предлагал всем откушавшим следить за собой и записывать, что с кем произойдет в дальнейшем: кто получит валютное наследство из Ивано-Франковска, кто вернется в дзэн-буддизм, кто приватизирует столовую возле платформы Северянин, кто влюбится в певицу Бичевскую, кто обретет чувство полета, у кого отрастет вторая голова. И тому подобное. Конечно, все будет фиксироваться и в Пузыре, но частные хроники хода опытов также важны. «Опыты! Какие над нами еще такие опыты! Не допустят! Да мы тебя!» – кричали на малого с трубкой, особенно яро – гражданки. «Ну вот! Опять! – как бы даже и расстраивался малый. – Отчего вы не можете привыкнуть к тому, что Земля всего лишь плантация. Человеческая плантация!» – «Какая еще плантация!» – «Обыкновенная, – с терпением миссионера разъяснял инспектор Варнике. – Бывают плантации кофе. Бывают плантации кукурузы. Бывают плантации опийного мака. А Землю выбрали для плантации человеческой. Сюда опустили рассаду человеков. Кто выбрал и опустил? Вам потом скажут. А может, и нет». – «И что же, и сегодня лилось ради опыта?» – «Несомненно! – уверял инспектор Варнике. – И наверняка задачи ставились как глобальные, так и узкие. Кто-нибудь ощутил вкус картофеля? А? Ни единый подопытный! А всем известно – Россия не выжила бы в войну без картошки. Нынче же картофель не был включен в рацион кормления. Возможно, изучалась жизненная приспособленность останкинских желудков». Упоминание картофеля отчего-то особенно возбудило спорщиков, они стали надвигаться на малого с трубкой, требуя, чтобы тот немедленно отказался от признания Земли плантацией. Двое чернокожаных разнополых рокеров на ижевском громоходе не разпытались сдвинуть дискутантов с тротуара, теперь они приехали снова, отделили инспектора Варнике, все еще следовавшего снисходительному просветительству, от наседавших, при этом девица радостно выкрикнула:

«Да на вас Пузырь просто помочился! Терпел, терпел и пустил струю! Или справил большую нужду! А вы всю свою посуду выставили и довольны!» Эти удивительно деликатные, будто из изящного прошлого, слова были незамедлительно переведены на современный московский язык гоготом приятеля девицы. «Молодое дурье! – бросили им вслед. – Титомиры! Гулькины! А хоть бы и помочился!» Толпа опять надвинулась на инспектора Варнике, приписывая ему воспитание на человеческой плантации подобных Титомиров и Гулькиных. Лишь те, что поблагоразумнее, стали расспрашивать предзимнего малого, а так ли уж плохи выделения Пузыря и нет ли в них все-таки и чего-то полезного?

Суждения посвященного во внеземные секреты сейчас не слишком волновали Шеврикуку. Сам же малый его отчасти заинтересовал. Шеврикука еще побродил бы неподалеку от спорщиков, как бы находясь в раздумьях или в воспоминаниях о былом, но ему надоел добродетельный гражданин Радлугин. Радлугин, хотя и был оратор и авторитет, в присутствии Шеврикуки слов сегодня не произносил, а только слушал. Иногда рот его открывался и правая рука вздымалась, но тут же Радлугин взглядывал на Шеврикуку и застывал. И порой Радлугин будто хотел подать знак Шеврикуке. Шеврикука догадывался о чем. Радлугин мог его спросить: «Куда подевалось „дупло“?» «На задании», – ответил бы Шеврикука. Но отвечать не хотел. Он понимал, что долгое его присутствие вблизи спорщиков может быть истолковано Радлугиным превратно и дать свежайшее направление усердиям доброхота. Это пусть. Но Радлугин мог и посчитать, что Шеврикука заинтересовался мелкими явлениями, а потому, возможно, и сам не столь значителен. Такое недоумение Шеврикука возбудить в Радлугине отчего-то теперь не пожелал и ушел с улицы.

34

Уже у Уткиных Шеврикука отругал себя. И хорошо, что Радлугин маялся, жаждал беседы с ним и тем самым заставил уйти. А то ведь чуть ли не вступил в полемику с инспектором Варнике после высказанных тем картофельных соображений. Чуть было не сделал заявление. «А без картошки мы не жили, что ли?» Конечно, поклон картофелю! Поклон Христофору Колумбу! Поклон земле американской! Поклон землеумельцам страны инков! И нашим отечественным агрономам поклон, неизвестно, правда, кому, ну хотя бы Андрею Тимофеевичу Болотову! Но ведь жили и без картошки, и сколько веков! Как же можно было забыть про репу, в разных видах и прелестях, пареную, прежде всего, про тыкву, про брюкву, про все наши каши! Или, может, этот малый с трубкой, этот инспектор Варнике, этот знаток плантаций, о пареной репе и вообще ничего не слыхал? Хорош гусь… Вот что чуть было не наговорил сгоряча Шеврикука. Какой стыд испытывал бы он теперь. Постановил же: ни во что самому не ввязываться!

Но ведь и не ввязался. Не ввязался! Ну и молодец! Ну и сиди дома.

Сидел. Исполнял мелкие будничные обязанности по привычке и от скуки. Листал альбомы и книги с картами, цветными картинками (на одной из таких в Малой энциклопедии были собраны все примечательные водяные жители, будто в аквариуме, и местный наш истринский пескарь грустил там на щупальцах бискайского кальмара), в богатых квартирах вызывал звучание компакт-дисков. Удивительно, никто его не искал. Может, из Обиталища Чинов пришла в Останкино депеша, чернильная или воздушная, с распоряжением от него отстать? Или вдруг всех останкинских домовых уже полонили Отродья Башни? Такого не могло быть. Однажды, когда Шеврикука выслушивал старую запись «Дон Карлоса» с Марией Каллас, Тито Гобби, Борисом Христовым, в нем возникло никак не связанное ни с музыкой, ни с судьбами пиренейских несчастливцев томление, сменившееся вскоре тоской, тоска же обернулась стремлением вскочить и сейчас же нестись куда-то на юг. Будто где-то, невдалеке от Останкина, происходило нечто, требовавшее его непременного присутствия. «Обойдутся», – тяжело остановил себя Шеврикука и продолжил выслушивать жалобы короля Филиппа.

Дня через два, попрыгав взглядом по заголовкам двух городских газет и одной – космических значений, Шеврикука вернулся к расслабляюще-

сладостному чтению книги «Птицы Подмосковья», сейчас как раз шли описания красногрудой горихвостки обыкновенной. «Нет, что-то там мелькнуло…» – не мог рассматривать горихвостку Шеврикука. Пододвинул к себе городскую газету. Вот, вот что репьем вцепилось в его внимание. Заметка в сорок строк и слова над ней: «Троя в Марьиной Роще». Узнать из заметки в точности, что происходило на самом деле, не было возможности, но сюжетные частности все же проступали. В Марьиной Роще, надо полагать, севернее театра «Сати-рикон», но южнее путепроводов, по правой стороне, если смотреть от Кремля, улицы Шереметьевской, метрах в ста двадцати на восток от тротуара произвели раскопки. Упоминалось предполагаемое время начала раскопок, и это было то самое время, когда посреди океана Верди Шеврикуку забрало томление. Копали четверо в темно-зеленых халатах и резиновых масках якобы от пыли и древесной трухи. Скорее, и не копали, а разрывали. В руках у четверых были не лопаты, а сложные, возможно, конверсионные землеуглубительные инструменты. Они могли грызть асфальт, крушить кирпичи и дерево. Часа через два к раскопу потекли зеваки, им объяснили, что да, испытывают для коммунальных нужд достижения конверсии. Зеваки успокоились, так и стояли бы молча, если бы не утверждение подгулявшего старожила, занесенного к раскопу ветром: «А-а! И тут клад ищут! А что! Молодцы! – поощрил работников подгулявший. – В Марьиной Роще клады не все откопаны. Это у нас тут какая проходит линия, какой проезд? Ага, понятно… Ба, да тут же небось стояла Дуськина малина! Она самая, как сейчас вижу!» С этими словами старожил удалился в иные пространства рублевой зоны. Оживившиеся зеваки сразу же стали давать советы, как и в каком углу искать клад. Но работники то ли смутились, то ли обиделись, присмирили испытываемые инструменты и, не сказав ни слова, ушли. Ранним утром следующего дня собаки, прогуливавшие хозяев, открыли новую для себя яму с отвалами желто-бурой земли вокруг. Яма, как промерили позже, была длиной в двенадцать метров, шириной – в семь и глубиной – в девять. Милиция посчитала: надо вызывать археологов. Бревна, торчавшие внизу ямы, вполне могли быть свидетелями или соучастниками преступлений, на раскрытие тайн которых у сегодняшних сыщиков не было полномочий. Археологи понаехали из двух институтов и из манежных ям, где в ту пору, как помните, устраивали подземный Гараж Тысячелетия. Археологи понаехали и потребовали установить забор вокруг марьинорощинской ямы. И Марьину Рощу и Останкино сейчас же ужалило соображение, что и в их пределах задумали устроить Гараж Тысячелетия, а с ними ни центом не поделятся. Из новостей московского канала

Шеврикука узнал о первых находках археологов. Глубины ямы они пока не исследовали, зато перекопали свежие отвалы. Находки (предметы кухонной утвари, искореженные детали швейной машины и коломенского патефона, в том числе гнутая ручка завода пружины, фрагменты кровати стиля модерн, осколки трехстворчатого зеркала, флаконы из-под духов, набор пуговиц, наперстки, некоторые интимные вещи и т. д.) по большей части относились к двадцатому столетию, к предвоенной и даже к послевоенной поре (пример тому – запись «на костях» песни Петра Лещенко «Зачем, зачем любить, зачем, зачем страдать…», сделанная именно в сороковые годы), и, с известной долей вероятности, их можно связать с легендарной марьинорощинской щеголихой Дуськой. Были ли в Дуськином особняке, снесенном в пятидесятые годы, или под ним схоронения богатого добра? Кто знает. Кладоискатели, вырывшие яму, утекли. Может, они и отыскали схоронения, а может, и нет. Если они и нашли клад, то вряд ли перевяжут его лентой и отправят в детский дом. Сколько у нас развелось варваров, грабителей и наглецов и сколько расцветает вокруг остолопов и ораторов. Впрочем, Дуськины сокровища археологов не волнуют. А культурные слои московской земли в раскопе были прорезаны. И кое-что открылось там просвещенному взору. Но об этом преждевременно говорить. Вот, скажем, в отвалах обнаружен пивной котел странных форм. Пустой, к сожалению, пустой. Использовался ли он Дуськой и ее сожителями или же служил людям иных временных пластов? Ответить на это удастся лишь после месяцев, да, месяцев скрупулезнейших исследований. А известно: поселения вятичей на землях Марьиной Рощи возникли в девятом столетии. Или раньше. А потому возможны открытия в раскопе остатков каких-либо древних жилых построек или же мастерских ремесленников. И кто знает, а вдруг именно здесь и явится из земли с волнением ожидаемая первая московская берестяная грамота.

«А не одарить ли москвичей собственной берестяной грамотой?! – возбудился Шеврикука. – Чем мы хуже новгородцев, псковичей или старорусичей?» Укрыть в раскопе до поры до времени кусок бересты с нацарапанным на нем посланием или даже осколок глиняной таблички с облитой и обожженной распиской о получении долга, дабы показать, каков был уровень грамотности посадского и слободского московского населения в четырнадцатом веке? Были случаи, Шеврикука проказничал и нет-нет, а одаривал столичную науку преподношениями. Но сейчас-то зачем он думает о глупостях? Дурачить он пытается самого себя. Желает забыть о чертеже из портфеля Петра Арсеньевича. А не может. Чертеж тот был сделан черной тушью на карточке из плотной бумаги, под ним следовали

слова: «Малина. 11 проезд Марьиной Рощи. Подпол. Четыре спуска».

Возобновить тень Фруктова и ночью послать ее к марьинорощинской яме, постановил Шеврикука. Не ночью, а сейчас же. И чтобы Фруктов по крупинке провеял все, что попало в отвалы из того подпола и четырех спусков. Вздор! Вздор! Никак нельзя было отправлять тень Фруктова из дома с археологическим поручением. Никак! Отставить! Прекратить! Забыть о чертеже Дуськиного дома! Забыть о портфеле Петра Арсеньевича! Забыть о самом Петре Арсеньевиче! Шеврикука даже глаза закрывал с намерением выгнать из памяти светло-бежевую карточку с линиями черной туши. Но при опущенных веках карточка с чертежом превращалась в плотную реальность, и в этой реальности возникали смутные фигуры, вроде бы темно-зеленые и в масках, они стояли, обступив некий предмет, а потом с усилиями поднимали его и стремились куда-то унести. Шеврикука открывал глаза и приказывал себе: сиди и ни о чем не думай!

Но, может быть, объявился Пэрст-Капсула?

Установление нарушать не потребовалось. Из дома Шеврикука не вышел. Пэрст-Капсула спал на раскладушке в получердачье. Шеврикука неожиданно обрадовался: ну наконец-то! Словно бы некое близкое ему существо исчезало и надо было уже объявлять розыск. «Вот еще! – осадил себя Шеврикука. – Может, еще и нюни распустить? Какие тут могли быть поводы для беспокойств!» Присутствовал в получердачье четырехслойный запах, составили его дешево-тягостные духи «Алиса», вьетнамские сигареты, губная помада и крем для усыхающей кожи «Жасмин» из цыганских парфюмерий.

– Ну ладно, спи, – произнес Шеврикука.

Но Пэрст сейчас же открыл глаза, и ноги его через секунду уже были на полу. Вид он имел виновато-радостный, готов был вытянуться перед Шеврикукой, но Шеврикука движением руки предложил ему сидеть.

– Примите извинения! Вы отсутствовали, не смог отпроситься, – заговорил Пэрст-Капсула. – Если достоин наказания за неповиновение властям, накажите!

– Ты что! – удивился Шеврикука. – Где тут власти? И какие такие неповиновения? Ты от… от подруги, что ли?

– От нее. Сверловщица. С тормозного завода. Общежитие на Кашенкином лугу. Но переходит в коммерческие структуры, – Пэрст-Капсула был словно осчастливленный судьбой. – Вот фотокарточка. Взгляните.

– Смышленое лицо, – пробормотал Шеврикука и вернул кавалеру

реликвию.

– Вы чем-то озабочены? – сообразил Пэрст-Капсула.

– Не так чтобы очень… – протянул Шеврикука. – Но… – И он рассказал о раскопе в Марьиной Роще. О чертеже Петра Арсеньевича и словах, сообщающих о подполе и четырех спусках, упоминать не счел нужным. Свой интерес к раскопу он обосновал уважением к московской старине и давним увлечением археологией.

– Вдруг и берестяную грамоту там наконец отыщут, – заключил он с интонацией энтузиаста. И сам себе стал неприятен. Сразу же смутившись, он проговорил неясные слова о том, что, может быть, клад искали там, где некогда служил его приятель, и не без пользы было бы узнать, не осталось ли чего от приятеля.

Пэрст-Капсула уверил Шеврикуку в том, что его променады с подругой и разнообразные диалоги с ней ничего не расстроили в нем, а, напротив, вызвали приток энергетических поступлений и он хоть сейчас готов произвести углубленные исследования.

– Ночью, – посоветовал Шеврикука. – Ночью.

Утром Шеврикуке было доложено о ночных наблюдениях и открытиях. Пэрст-Капсула и к трудам археологов отнесся с вниманием, но о них он полагал рассказать, если возникнет необходимость, и в последнюю очередь. Б. Ш., Белый Шум, или Белые Шумы, или кто-либо из их компании, если это для Шеврикуки существенно, яму в Марьиной Роще не рыли. Ничего не искали и ничего не крошили. А те, кто рыл, те искали. Возможно, что и нашли. Среди прочего трясли и колотили пивной котел, предмет довольно громоздкий. Клад или схороненное добро могли упрятать и в котел. Кто были те четверо в халатах, посчитаем, маскировочных, и резиновых масках, сказать трудно, но кое-какие мелочи для предположений имеются. Не исключено, что среди четверых или хотя бы вблизи раскопа находился хорошо понимаемый Шеврикукой домовой из Землескреба Продольный. К этой мысли Пэрста-Капсулу привели интуитивные соображения и косвенные улики. Примечательно, что в ночь раскопок исчез домовой с улицы Цандера Большеземов, более известный по прозвищу Фартук. Тихая, но тяжелая молва, какая и бывает отголоском истинного знания, признала это исчезновение серьезным и связанным с кладоисканием. Будто бы Большеземов-Фартук нежился, нежился, как обычно, но вдруг вскочил и понесся в направлении Марьиной Рощи. А знали, Большеземов-Фартук водил хороводы с Продольным и шушукался с ним о делах. Пэрст-Капсула провеял в отвалах всю землю, явно времен беспокойной и шальной Дуськиной (Евдокии Игнатьевны Полтьевой)

жизни, кое-какие примечательные вещицы обнаружил, например, шкатулку с бумажными деньгами – лик Екатерины на них, золотой червонец и всякие другие вещицы более позднего происхождения, они сложены теперь в фанерный ящик, укрыты невдалеке, и если Шеврикука их востребует, они сейчас же будут ему доставлены.

– Хорошо, – кивнул Шеврикука.

– Если бы у меня был перечень разыскиваемого или предполагаемого… – произнес Пэрст-Капсула, как бы выражая сожаление об очевидном, взглянул на Шеврикуку и тут же отвел глаза.

– Я не мог представить тебе такой перечень, – сказал Шеврикука.

Возникла двусмыслица. Пэрст-Капсула мог обидеться или оставить на хранение в уме нечто малоприятное Шеврикуке.

– Я сам не знаю, что следует разыскивать и что предполагать, – тускло выговорил Шеврикука. Он ждал, Пэрст-Капсула выскажет ему недоумение. Порядочно ли давать поручения или вынуждать к действиям существо, какому не доверяешь и какое держишь в неведении? Но услышал от временного жителя получердачья иное:

– Может быть, вот это осталось от вашего приятеля? – Шеврикуке Пэрст-Капсула протянул две металлические фигурки, перочинный нож и стеклянный шарик. На костяной ручке ножа когда-то выцарапали «ПА», стеклянный шарик, размером с грецкий орех, был полупрозрачный, с лилово-оранжевыми переливами и хранил в себе холод ямы и ночи. Фигурки (металл их красили коричневым) были из тех, что ставили на письменных столах у чернильных приборов. Два коричневых странника (в еловую шишку ростом), в коричневых балахонах, близнецы, но один держал посох в правой руке, другой – в левой, примечательными у них были головы, голые, с ушами, ртами, носами, глазами, но состоящие как бы лишь изо лбов, покатых, уходящих в поднебесье. Не с Востока ли прибрели эти большелобые путники иди мудрецы?

– Отчего ты решил, что они остались от моего приятеля? – спросил Шеврикука.

– Мне так показалось… – сказал Пэрст-Капсула и опять отвел глаза.

– Ну ладно… – пробормотал Шеврикука.

– Вы же сами просили отыскать что-нибудь… – сказал Пэрст-Капсула, стараясь облегчить положение Шеврикуки, – я так, на всякий случай… Еще взял копилку. Фарфорового бульдога. В нем что-то звенит. Сюда, правда, не принес. Принесу… Был бы, конечно, перечень…

– Ну ладно, – повторил Шеврикука. – Некультурный Дуськин слой можно более не трогать. А культурными слоями пусть занимаются

археологи. Ты спи, гуляй, только ради приличия не забывай о Радлугине. Если не пропало желание…

Стеклянный шарик, перочинный нож, большеголовых коричневых путников Шеврикука был намерен отправить в мусоропровод. Но не отправил. Нож и шарик положил в карманы, а металлических людей (впрочем, может быть, и вовсе не людей) разместил (пока) на ореховом серванте пенсионеров Уткиных.

Так, размышлял Шеврикука. Сначала Петр Арсеньевич. Потом Тродескантов. Теперь Большеэемов-Фартук с улицы Цандера. Большеземова Шеврикука знал плохо, не поинтересовался при мимолетных разговорах о нем, за какие заслуги и привязанности Большеземова наградили Фартуком. Как и Продольный, Большеземов был из привозных и пробивающихся. Судачили об одной из его причуд. Этот Большеземов был изобретатель. В своих квартирах установил собственные кустарные поделки, те издавали звуки: храпы, стоны, зевки, покряхтывания, повизгивания, смешки с прищелкиваниями, зубовные стуки. Возникали эти звуки не каждый день, а после тихих выдержек, и успокаивали квартиросъемщиков, убеждая их в том, что они не хуже других, не обделены и у них есть домовой, он с ними и трудится. И надзиратели Большеземова не имели оснований быть недовольными его службой. В квартиры Большеземов не заглядывал, а лишь нежился, слушал пение Марии Мордасовой, предавался греховным мыслям, полоскал горло и шастал по Москве в поисках дурных привычек. И вот после марьинорощинских раскопок он исчез. И коли теперь он был поставлен в ряд с Петром Арсеньевичем и Тродескантовым, значит, он не просто исчез, а, выражаясь изысками балбеса Ягупкина, сгиб.

35

«Надо поговорить с Велизарием Аркадьевичем», – подумал Шеврикука. Он посчитал, что пришла пора отнести бумагу из Обиталища Чинов в присутствие. После погрома в музыкальной школе останкинское присутствие сначала перебралось в секретное помещение, то есть неизвестно куда. В последние же успокоенные ночи служебные рвения добростарателей присутствия стали осуществляться на улице Королева в овощном магазине. Возобновились, как услышал Шеврикука, и ночные дружеские общения домовых, и встречи по интересам, и облегченно-просветительские заседания клуба, правда, без кутежей. Возобновились в известной домовым Большой Утробе, героическом объекте гражданской обороны, в годы корейской войны – недостижимом вражьим налетам останкинском бомбоубежище.

В овощном присутствии кто-то скрипел, кто-то стучал одним пальцем по клавишам пишущей машинки, кто-то грыз тыквенные семечки и слушал в безделье оптимистическую рок-трагедию «МММ накормит вас». Из квартальных верховодов Шеврикука встретил лишь домового четвертой степени Поликратова. Взор Поликратов имел пламенный, щеки аскета прорезали вертикальные впадины морщин, на плечи верховод набросил желтовато-зеленый бушлат для окопных сидений, выслушивая Шеврикуку, пил кипяток из жестяной кружки и вполне выглядел полевым командиром. К бумаге от Увещевателя Шеврикука относился с иронией и снисходительным высокомерием, но полагал, что в Останкине ей удивятся и примутся отгадывать и выводить смыслы, из бумаги намеренно извлеченные. Верховод Поликратов ни слова не произнес, а сунул бумагу в латунный ларь, раздосадовав Шеврикуку или даже обидев его. Глядел он в историю и, похоже, был готов, кратко упомянув об остроте оперативной обстановки, послать Шеврикуку возводить надолбы. Но и этого не случилось. Был бы в присутствии иной верховод, Шеврикука – и громко! – потребовал бы разъяснений, является ли он действительным членом деловых посиделок или не является, и если является, то когда и кем будут принесены ему извинения. Потребовал хотя бы для того, чтобы из ответов личностей, основы сберегающих, узнать, где он подвешен нынче или на каком суку сидит и кем его признают, наводя на него увеличительное стекло. Лишь поинтересовался, не отдается ли теперь в связи с простудами музыкальной школы и новосельем в Большой Утробе предпочтение – при

дружеских общениях – какой-либо форме одежды. Мог услышать: «А вам воспрещено! Какие такие могут быть для вас формы одежды!» Но полевой командир только привел в движение морщины аскета: «Даже и без протокола!»

То есть приходи в чем хочешь. Такое, пусть и временное, падение культуры общения было неприятно и Шеврикуке. Хотя он, как известно, по отношению к диктатам был скорее оппозиционер или даже бунтовщик, нежели педант или джентльмен. Не всегда, например, надевал клубный пиджак. Позволял себе и такое. Теперь же он отправился в Большую Утробу в клубном пиджаке.

Увидеть он хотел многих. Но прежде всего Велизария Аркадьевича и наглеца Продольного. На Продольного Шеврикуке достаточно было взглянуть. С Велизарием Аркадьевичем следовало поговорить.

В Большую Утробу Шеврикука был допущен. Чувствовал он себя скверно. Нервничал. Будто на самом деле все приобрели морские бинокли и смотрели на него. И будто бы шепот шел о нем. Или хуже того. Из соображений безопасности было отдано распоряжение в случае чего в него, Шеврикуку, стрелять. «Хватит! – успокаивал себя Шеврикука. – Я все время держу в голове разговор с Увещевателем. Но о нем здесь не знают!» И действительно, все были заняты своим, никаких проявлений недружества или даже враждебности Шеврикука не ощутил. И он потихоньку успокоился.

Продольного он не встретил. Случилось бы чрезвычайное свинство, если бы Продольного допустили в клуб. «Но – вдруг!» – думал Шеврикука, направляясь в Большую Утробу… Надо было искать Продольного в ином месте. А Велизарий Аркадьевич, по собственному представлению состоявший целиком из высокой духовности и некогда носивший тунику от Айседоры Дункан, присутствовал. Играл со стариком Иваном Борисовичем в стоклеточные шашки. Подойти к ним сразу Шеврикука не смог. Вспоминал, как после погрома в музыкальной школе нагрубил и Велизарию Аркадьевичу и Ивану Борисовичу. Старики с воздушной деликатностью подходили к нему, стараясь вызнать от Шеврикуки сведения, которыми якобы он располагал, жизненно существенные для останкинских патриотов, и даже, может быть, подвигнуть его на участие в предупредительных героических действиях, а он отвечал им резко и с капризами. Теперь же он мог оказаться просителем или хотя бы зависимым от настроения, жеманств или возможностей Велизария Аркадьевича. А знался ли Иван Борисович с Петром Арсеньевичем, это еще предстояло выяснить.

– Не помешаю? – не только искательно, но и робко произнес Шеврикука, остановившись возле стариков с видом несомненно заинтересованного почитателя игры в шашки.

– Не помешаете, – бросил Иван Борисович, сейчас же возвращаясь взглядом к доске.

А Велизарий Аркадьевич ничего не сказал. Но было очевидно, что стариков он не раздражает.

Велизарий Аркадьевич явился в клуб в будто надутом костюме из толстой светло-зеленой мешковины и походных бутсах британского завоевателя. А Иван Борисович сидел в ватнике, словно бы его поутру должны были везти в лес заготовлять дрова. Месяца полтора Шеврикука не посещал клуб, и нынешние наряды знакомцев удивили его, а отчасти и позабавили. Ватники, штормовки, прорезиненные тужурки, свитера водолазов, френчи. Будто отдыхать и общаться пришли не домовые, а то ли трудармейцы, то ли землепроходцы, то ли партизаны или ополченцы. К Шеврикуке пришло опасение: не признают ли его клубный пиджак вызовом, не посчитают ли знаком иронии или даже несоответствия общим и обязательным настроениям. Не ходит ли он пустым, безответственным вертопрахом среди отчаянных защитников останкинских преданий и обыкновений, почти уже мобилизовавших себя на борьбу с Отродьями Башни? Но вроде бы никто вокруг не затягивал наводящее кураж песнопение о последнем параде, а все развлекались, как в прежние милые дни миролюбий. И на клубный пиджак Шеврикуки взглядывали без всяких подозрений и неприязни.

Разговор с Велизарием Аркадьевичем Шеврикука никак не мог завести, пока Иван Борисович не прошествовал в буфетную. Закусить и выпить. И Шеврикука отправился бы в буфетную, если бы и у Велизария Аркадьевича возникло к тому желание. Но Велизарий Аркадьевич лишь достал жестяную коробку из-под ландрина («1908 годъ» – углядел Шеврикука на цветастой крышке), высыпал на ладонь мягкие таблетки, пожелал угостить Шеврикуку, но тот от леденцов отказался.

– Велизарий Аркадьевич, – начал Шеврикука, – соблаговолите помиловать меня за прошлые грубости и недоразумения. Я был излишне и без причин нервен в ту пору…

– Ах, что вы! – доброжелательно заулыбался Велизарий Аркадьевич. – И вспоминать не стоит! Экая ерундовина! Вы были нервны, и все были нервны, особенно после варварского разорения наших очагов. А вас еще и обидели. Свои же и обидели. И хорошо, что вы пришли сегодня. И хорошо, что вспомнили про клубный пиджак. А то ведь мы как босяки какие-то!

Как Челкаши! Вы видите, какой мешок я на себя водрузил? Конечно, имея в виду наглеющих Отродий, необходимо поддерживать оборонное состояние духа. Но духовность! Она-то при этом утекает! Взгляните на эти телогрейки, козьи безрукавки, энцефалитные куртки!.. Вы хотите меня о чем-то спросить? – неожиданно закончил Велизарий Аркадьевич.

– Да, – сказал Шеврикука, посчитав, что Велизарий Аркадьевич догадался, в чем его интерес, и поощряет к самым острым или деликатным вопросам. – Да, мне давно хотелось побеседовать с вами, досточтимый Велизарий Аркадьевич, о Петре Арсеньевиче. А теперь возникла и явная нужда. Мне говорили, что вы были с ним дружны

– Я… Вы… Я не знаю никакого Петра Арсеньевича! – чуть ли не взвизгнул интеллигентнейший Велизарий Аркадьевич.

– Ну как же… – растерявшись, принялся помогать Велизарию Аркадьевичу Шеврикука. – Петр Арсеньевич, домовой с Кондратюка, как же вы его не знали? Но если не сейчас, то, может быть, прежде вы были с ним дружны?..

– Я не знал никакого Петра Арсеньевича! Я никогда не был с ним дружен! Более ничего не выпытывайте у меня о нем! Во мне воспалятся болезни! – Велизарий Аркадьевич уже всхлипывал, но все же сообразил нечто важное, стал оглядываться по сторонам и утих.

– Хорошо, – резко сказал Шеврикука. – Извините. И разрешите оставить вашу компанию.

Шеврикука пробыл в клубе еще полчаса. Перекидывался словами, порой и беспечными, с телогрейками и тулупами бойцов охраны, послушал игроков в буриме и даже выпил стакан можжевеловой. Покинув отсеки Большой Утробы, или убежища от бомб, отведенные клубу, он двинулся к выходу мимо отсеков иных. В зале потешных ристалищ шли добровольческие занятия защитников. Отвыкшие или ленивые в отрочестве учились идти наперевес с ухватами, колоть вилами, устраивать повал врагов городошной битой, орудовать и крушить кочергой, швырять в супостата горшки с кипящим отваром куриной слепоты, подставлять ко лбу супостата же раскаленный портновский утюг. Осваивали и стрельбу из рогаток. Дверь одного из отсеков была как будто бы предусмотрительно и со знанием дела задраена, но из щелей шел тяжелый воздух. Возможно, за дверью бодрствовал в умственных и бдительных усердиях Темный Угол. А у самого выхода из Большой Утробы Шеврикука столкнулся с Продольным. Наглец Продольный, естественно, с серьгой в ухе и в тельняшке сокрушителя кирпичей, тянул из банки иноземный бамбуковый соус «Анкл Бенс» и хохотал, возможно, вдогонку чьей-нибудь срамной

остроте.

Все в жизни Продольного, по-видимому, проистекало превосходно.

36

Шеврикука посчитал необходимым уяснить свое нынешнее правовое положение.

В овощном присутствии он опять наткнулся на изможденного тревогами верховода Поликратова. Поликратов попрежнему сидел, накинув на плечи бушлат полевого командира, и подносил к губам кружку с холодным чаем. Шеврикука не стал расталкивать тревоги Поликратова, а обратился к кроткому стряпчему, быстро убравшему под стул тарелку с тыквенными семечками. Говорил он небрежно, будто спохватился, брел уже домой, и вот пришло в голову спросить. На всякий случай.

– Был занят. Упустил. Не назначены ли на завтра деловые посиделки?.. Или теперь уже не посиделки…

Стряпчий разглядел Шеврикуку, полистал конторскую книгу, опять взглянул на Шеврикуку.

– Нет, – сказал стряпчий. – В ближайшие дни посиделки проводиться не будут. Но через три дня вас оповестят. Или повесткой. Или сигналом по линии. О вас помнят. Ну а если что чрезвычайное, тогда уж как надлежит…

– Хорошо, – кивнул Шеврикука.

Из этого следовало вывести, что он, Шеврикука, как и прежде, является действительным членом деловых посиделок. Уязвленный ли он удалением с посиделок, а теперь восстановленный, или прошлое происшествие было случайным, вызванным прихотью уполномоченного Любохвата и как бы единоразовым, Шеврикука выяснять не стал. Определенность хотя бы поверхностного слоя событий должна была бы потребовать от Шеврикуки поступков. А они вышли бы сейчас лишними. Вот изменятся обстоятельства, положил Шеврикука, тогда и произведем шум, тогда и потребуем извинений.

Ощутив себя вновь действительным членом посиделок, Шеврикука позволил себе задержаться в присутствии. Никаких дел он не имел, кроме пустяшных, бытовых, от своих двух подъездов, но ходил он по присутствию с выражением лица строгим, будто нечто значительное утверждал или учреждал. Любохват на глаза ему не попался (или он не попался на глаза Любохвату?). И никого не увидел он ни из Китай-города, ни из Обиталища Чинов, ни тем более от вершинных управителей. Ни силовых посланцев, ни скороходов с поручениями. А ведь в Обиталище Чинов раздавалось: в Останкине, мол, грозовая обстановка, чуть ли не

линия огня… Ну да, ну конечно, самим-то вершителям какой резон было устремляться туда, где якобы обнаружилась линия огня, но посылать-то удальцов в пекло, да еще и с отеческими напутствиями всегда было для них делом обязательным. А может, и послали. А удальцы рассеялись на бастионах. Но не исключено, что все успокоилось. В присутствии, как и ранее в клубе, ни суеты, ни мрачно-жертвенных предчувствий и приготовлений не ощутил. Поволновались, судьбе вверились, кто в страхе, а кто и с гонором пышноусых кавалеров из польского акта оперы Глинки, и его, Шеврикуку, обиженного и удалившегося от всех, теребили, а потом, не дождавшись новых атак и разгромов, пришли, видимо, к мнению, что Отродья в силе лишь попугать, что у них кишка тонка, компьютеры протекают насморками и завели носовые платки и что дальше-то дрожать и тыкать в небо скалками! О, как хорошо были знакомы Шеврикуке беспечность сословия и неопадаемая, с вечно трепещущими листьями надежда на то, что все само собой и в наилучшем виде образуется. Ко всему прочему – и по доктрине, и по сложившейся оперативной обстановке, – домовые не собирались нападать. Их дело было держать оборону. Но и на них никто пока не нападал.

Значит, они успокоились. Ну ходили в ватниках, бушлатах, опорках и британских бутсах времен бурской войны, но ведь и от переодеваний можно получать удовольствия. А по его, Шеврикуки, поводу в Останкине вообще мало кто волновался. Что же, и теперь он держит в клетке и на цепях свою натуру?! Наглец Продольный хохочет и пожирает банки бамбукового соуса нуворишей, а уполномоченный Любохват, возможно, уложил добычу в сундук. Благо, если в казенный. А он притих, забинтовался запрещениями и не позволяет себе добыть хотя бы перечень предметов гипотетического марьинорощинского схоронения!

А не оробел ли он? Нет, уверил себя Шеврикука, не оробел. Хотя именно сейчас не повредит ему и осмотрительность. Осмотрительность и вынудила Шеврикуку снова вспомнить о тени убиенного чиновника Фруктова. Да, яркое желание послать тень Фруктова к раскопу было глупостью, а вот отправиться с поручением в квартиру Радлугиных она имела чистое право. О стараниях Продольного и Любохвата установить в туалете примерных супругов предмет жизненной необходимости, наверняка со специальной технической начинкой, Шеврикука не забывал. Прилежные бдения Шеврикуки после случая с унитазом, а иногда и его целенаправленные изыскания как будто бы были полезны. Ничего от Продольного и Любохвата в своих подъездах он более не обнаруживал. Но вдруг в дни утихомиренного походом в Обиталище Чинов Шеврикуки

прохиндеи исхитрились, просунулись в его территории и урвали кусок лакомого?

Оправданно объявившееся в Землескребе привидение или тень Фруктова Шеврикука был намерен спустить в отсутствие Радлугина к книжному шкафу и томам Мопассана с пожеланием проинспектировать известный портфель, но легко, на глазок, и без полномочий разыскивать так называемую генеральную доверенность Петра Арсеньевича.

Волевые, а потом и умственные напряжения Шеврикуки не вызвали требуемой тени. «Препятствует ли кто? Во мне ли что иссякло? Или тень и даже идея тени сами по себе рассеялись? – недоумевал Шеврикука. – А может, снова начать в квартире Куропятова?» Когда Шеврикука, невидимый, проник в жилище Куропятова, годы назад ютившее Фруктова, он чуть было не рухнул на пол. В гостиной Куропятова в креслах напротив друг друга сидели Куропятов и Фруктов, попивали кофе из чашек и беседовали. На столике с колесиками вблизи Куропятова была воздвигнута и бутылка ликера «Амаретто». Вот оно что, понял Шеврикука. Сразу же после известия о раскопе он сгоряча пожелал возобновить тень Фруктова. Стало быть, и возобновил. А потом, остудив себя и отыскав Пэрста-Капсулу, он о Фруктове забыл. И тень рассыпать забыл! И выходит, тень уже три дня сама по себе пребывала в бывшей своей квартире в гостях у Куропятова. Экий случился конфуз! С ним, Шеврикукой, а вовсе не с Куропятовым и с Пост-Фруктовым. Куропятов не только терпел гостя, он, похоже, оценил в нем собеседника и предоставил ему раскладную кровать.

Бакалейщик Куропятов, мужчина в возрасте, протертый щетками и наждаками экономических политик, но жизнестойкий, если помните, был склонен к философическим восхождениям. Все его удивляло. Случись в Антарктиде падеж королевских пингвинов, он сейчас же должен был обсудить это непредвиденное явление. Ну а если бы кто-нибудь захворал в Конституционном суде? Или обанкротился банк «Гермес»? Или эротика вступила бы в сражение с сексом? Или же на балкон Куропятова залетела бы открытая некогда оголодавшими испанскими конкистадорами птица индейка? Все это требовало словесного разбирательства с привлечением разнообразных способов мышления. Сейчас в руке Куропятова был синий том Василия Осиповича Ключевского. Оба собеседника восседали в халатах и домашних туфлях. Шеврикуке при взгляде на них стало стыдно за себя и за своего Фруктова. Жалок был обшарпанный, махровый когда-то халат Фруктова! А его стоптанные домашние шлепанцы? Разве шли они в сравнение со стеганным где-нибудь в Осаке узбекским халатом и темно-коричневыми с золотыми разводами султанскими туфлями Куропятова? На

бакалейщике был наряд холостяка, допускавшего в свое домашнее расположение и приличных дам. Но при этом, к тайной гордости Шеврикуки, сам Фруктов не выглядел жалким. И он имел вид ученого человека. Возможно, из-за очков, презентованных ему Крейсером Грозным. А главное, ощущалось в нем чувство превосходства, обеспеченное тайной знания, рано иди поздно должное воплотиться в слова: «Какую чепуху вы несете! И как вам не надоело?»

– Значит, уважаемый Анатолий Федорович (Анатолий Федорович, отметил Шеврикука, надо запомнить), – Куропятов радостно выдвинул синий том вперед и вверх, – вы и с этим наблюдением историка не согласны?

Фруктов не заговорил, лишь нижнюю губу подтянул вверх, но по нему было видно: да, не согласен, ну и что?

– А я зачитаю! Зачитаю! – еще более радостно заявил Куропятов. – Вот, пожалуйста! Мы с вами имеем в виду времена Смуты. Уже сгинули самозванцы. Уже избрали Михаила. И вот что пишет историк. О России, конечно, о России! «…Печальная выгода тревожных времен: они отнимают у людей спокойствие и довольство и взамен дают опыты и идеи». А? Опыты и идеи! И вы, стало быть, с этим не согласны?

Опять было очевидно, что Фруктов из великодушия не желает что-либо оспаривать или даже однословно оценивать. «Как же! Опыты и идеи! – проворчал про себя Шеврикука. – Это в какой-нибудь добространательной или благорасположенной стране, где на каждом углу пиво и копченые сардельки, да за нормальную плату, хороши опыты и идеи, они там благоразумные и добавят к съеденной сардельке две свежие, да еще и с горчицей и с маринованной спаржей, а у нас идеи будут непременно вселенские, несуразные и взбалмошные, а уж опыты, коли начнутся…» Тут Фруктов как бы хмыкнул, демонстрируя свой скептицизм, и заставил Шеврикуку насторожиться.

– Вот! Вот! Вечно вы скептик! – воскликнул Куропятов. – К опытам и идеям мы еще вернемся. Да, вы скептик, и ворчите, и многим недовольны. Но это все не только проявление особенностей вашей натуры и шевелящихся в ней генов, но и следствия Смуты. Вот опять Ключевский. По мнению историка, тревоги Смутного времени разрушительно подействовали на политическую выправку общества, все только и жаловались на свое обеднение, разорение, злоупотребления властей, на то, от чего страдали и прежде, но о чем терпеливо молчали. Читаю текст: «Недовольство становится и до конца века остается господствующей нотой в настроении народных масс. Из бурь Смутного времени народ вышел

гораздо впечатлительнее и раздражительнее, чем был прежде, утратил ту политическую выносливость, какой удивлялись в нем иноземные наблюдатели XVI в., был уже далеко не прежним безропотным и послушным орудием в руках правительства». Что же, уважаемый Афанасий Федорович, вы не признаете справедливость и этого наблюдения? Вот вы теперь ворчун и скептик, а раньше, в благодушные времена, были, говорят, смирный, именно безропотный и послушный.

– Кто говорит? – хрипло вырвалось вдруг из Фруктова.

«Вот тебе раз!» – опять насторожился Шеврикука.

– Ну мало ли кто… Я это так, – Куропятов махнул рукой, том Ключевского ею был уже отпущен. – Вы мне как раз и приятны тем, что ворчун и скептик. Ваш сосуд с ликером уже пуст? Нет? Ну что ж, тогда будем.

И собеседники испили удивительный ликер. «Он как будто бы дамский», – вспомнил Шеврикука.

– А вот вы, Афанасий Федорович, смогли бы стать Самозванцем? – спросил Куропятов.

Фруктов промычал невнятное.

– Я понимаю, – сказал Куропятов, – такое предложение вам довольно неожиданное. Но ведь и заманчивое. Эх, да погулять, да прогреметь, да еще и с Мариной Мнишек! А? Каково!

«А потом и стать распотрошенной куклой, – чуть было не вступил в разговор Шеврикука. – А Марина-то была и страшна, и стерва».

– Положим, – продолжил Куропятов, – самозванцы теперь не так нужны, а может, и невыгодны. Иное время. Тогда пресеклась династия, Григорию Отрепьеву надо было лишь объявить себя царевичем Дмитрием и тем самым династию, а она-то дадена от Небес, возобновить. Нынче династия как будто бы не пресекалась. Ее просто нет.

Фруктов промычал.

– Ах, вы имеете в виду март дурного года, – сообразил Куропятов. – Но это так далеко от нас.

Фруктов теперь хмыкнул, а правая его нога, водруженная на левую, подскочила, будто по ней ударил молоток невропатолога, и произвела качательное движение, то ли скептическое, то ли назидательное. Позорящий Шеврикуку шлепанец еле удержался на пальцах Фруктова.

– Я понял вас, Афанасий Федорович, – воодушевился Куропятов. – И на наших глазах попытались прекратить династию, только особенную. И вроде бы прекратили. Но теперь-то уж как будто и совсем нет нужды в Самозванцах. Ага, я вижу, вижу, вы улавливаете противоречие в моих

словах. Я только возбуждаю в вас желание стать Самозванцем, а сам…

– Я знаю, – четко и даже торжественно произнес Фруктов, – кто мог бы стать Самозванцем.

– Да? – растерялся Куропятов.

– Он в нашем доме, – заключил Фруктов.

И взглянул туда, где невидимый стоял Шеврикука. Но, может быть, Шеврикуке это померещилось. А Фруктов (тень Фруктова, тень, объяснил себе Шеврикука) уже тянул бокал в направлении бутылки с ликером. Напиток был Фруктову уважительно предоставлен и тотчас же выпит, но теперь уже без церемоний, глотком.

Беспокойство ощутил Шеврикука. Тень Фруктова опять вела себя несносно, стала неприятна Шеврикуке, и когда мямлила нечто, и когда хмыкала, мычала и уж тем более когда произносила внятные слова. При этом Шеврикуке казалось, что из него вытягивало что-то и это что-то уходило, остужая его, явно к Фруктову, в него же притекало чужое, прежде никак не свойственное. Однажды Шеврикука почувствовал, что нижняя губа его потянулась вверх, а пальцы стали трогать переносицу, проверяя, на месте ли очки. Сразу же Шеврикуке вспомнилось знакомое привидение. В озорстве оно заняло чужую личину и не могло вернуться в свою собственную…

– Но обратимся к мыслям об опытах и идеях, вызываемых тревожными временами, – предложил Куропятов.

– Российские идеи в тревожные времена всегда вселенские, несуразные и взбалмошные! – без запинки выстрелил Фруктов. – А уж наши опыты, коли…

Но Шеврикука его речь прекратил. Рывком уволок Фруктова сквозь стены и в межстенье существование привидения прервал до поры до времени, пообещав себе, а может быть, и Фруктову, к кому сразу же испытал и сострадание: до поры до времени, до поры до времени. В руке Шеврикуки трофеем остался бокал из буфетных богатств Куропятова, и он посчитал необходимым вернуть хрусталь бакалейщику. Пропажу собеседника Куропятов, похоже, не заметил, он заполнил свой бокал и бокал, ему явленный, и предложил креслу исчезнувшего Фруктова обсудить возможности карьеры Самозванца в нынешний сезон, но теперь уже совместив эту карьеру с превратностями налоговой и таможенной политики.

37

«Коли завел привидение, то изволь за ним приглядывать. И уж умей с ним совладать!» – отчитывал себя Шеврикука. Но ярь в нем не угасала. Напротив, разгоралось желание действовать и рисковать. Хватит, посидел кротким, благопослушным паинькой с пушистым, ласковым мехом. Но уберегся ли, укрылся ли от чего-либо? Не стоит обольщаться! Хватит! Страдать, в конце концов, придется ему, а не кому-либо. Шеврикуке стали являться слова, доводы, какими хотя бы для самого себя можно было оснастить, обосновать оправдания его приближающихся решений, и, наверное, эти слова ненадолго успокоили бы его, но благоразумия ему не придали бы. Но он уже и не мог сидеть в одиночной камере благоразумия.

Но все же осмотрительность положил не отменять. Вынужден был за неимением временно отстраненной от дел за проказы и самодовольство тени Фруктова портфель Петра Арсеньевича исследовать сам. Но именно как бы бегом и на глазок. Частично, на ощупь. За Мопассановым укрытием портфель как стоял, так и стоял. И лежало в нем то, что лежало прежде. Наглец Продольный в него не проникал. Исследование на этом было прекращено. Замок защелкнут. «А что же ты не стал искать доверенность, бравый удалец?» – спросил себя Шеврикука. Тут он и принялся отпускать комплименты осмотрительности. А сам загонял в угол немоты мысль о том, что он теперь жаждет отыскать странное распоряжение Петра Арсеньевича и страшится отыскать его. Как бы не открылось в том распоряжении, или завещании, или доверенности нечто такое, что коренным образом изменило бы его, Шеврикуки, положение и побудило бы к поступкам, к каким он не был готов.

К облегчению Шеврикуки, его отвлек сигнал Пэрста-Капсулы. При свидании эксперт по катавасиям и связник в цепочке Радлугин – Шеврикука, забывший по причине легкомысленных увлечений или же собственного остропривлекательного занятия исполнить в прошлый четверг в девятнадцать ноль три роль «дупла» у ресторана «Звездный», нынче доставил Шеврикуке два донесения доброжелательного наблюдателя. Ни единого упоминания о хождениях по Землескребу привидения в листах Радлугина опять не было. Но, скорее всего, строптивец Фруктов и впрямь лишь собеседовал с Куропятовым и распивал ликеры. Оно и хорошо. С удовольствием описывал Радлугин гороховый суп и сокрушался по поводу того, что более из Пузыря не протекали ни супы,

ни кисели. Сокрушения его были вызваны отсутствием причин и обстоятельств для дальнейших наблюдений за тем, как добродетельно или же, напротив, граждански безобразно останкинские жители вели бы себя в условиях протекания т. н. Пузыря. Но он, Радлугин, начеку, авось Пузырь протечет еще хоть однажды. Исчез из Останкина, впрочем, он и прежде вблизи Землескреба не появлялся, подозрительный субъект в пальто с поднятым воротником, кепке и о трубкой во рту, поверхностно и, скорее всего, ошибочно признанный жителями инспектором Варнике. И этот якобы Варнике, если опять осуществится вблизи, будет непременно взят под опеку. В деликатной приписке к последнему донесению содержались запросы личного свойства. Радлугин спрашивал, целесообразно ли ему и его супруге перейти служить из государственного банка в коммерческий банк «Сцилла и Харибда», не корысти ради, а для усовершенствований жизни (напомню, супруга Радлугина трудилась контролером в сберкассе, сам же Радлугин чинил счетные аппараты). И целесообразно ли Землескребу втягиваться в приватизацию жилья или это затея фарисеев и колонизаторов?

– Целесообразно! Передай Радлугину: целесообразно! – сказал Шеврикука Пэрсту-Капсуле.

Сказал, как швырнул. А швырять не было причин.

Пэрст-Капсула стоял.

– Желаете о чем-либо спросить?

– У меня томление, – сказал Пэрст-Капсула.

– Сверловщица с тормозного завода?

– Нет, – покачал головой Пэрст-Капсула. – У меня томление всей сути.

– Это как же?.. Всей сути?..

– Да. Именно так. Но вы не в состоянии выслушать. Поэтому я не буду сегодня говорить, – сказал Пэрст.

– Как считаешь нужным.

– Об одном обязан сообщить. Но оно, скорее всего, не связано с томлением.

– Сообщи.

– Проросла капсула.

– Какая капсула?

– Та, в которой должен был сидеть я. В основании Оптического центра.

– Его построили?

– Нет. Его и не начали строить. Идет свара. Кому строить и владеть. Но капсула проросла. Независимо от свары.

– Как и чем?

– Железные побеги и на них железные листья. Похоже, в рост пошли пробки от пивных бутылок. Отправленные подарком грядущим поколениям.

– Зачем пивным пробкам-то расти? – удивился Шеврикука.

– Их тогда с досады хорошо унавозили неразумные строители, полагавшие найти в закладочной капсуле валюту или драгоценности.

– Ах, ну да, конечно, – вспомнил Шеврикука, – Ну и что?

– Неприятно.

– Это чем-либо чревато для тебя? Могут возникнуть осложнения?

– Пока не знаю.

– Узнай, – сказал Шеврикука. – Или не бери в голову. Мало ли у нас что и чем расцветает.

– И все-таки неприятно.

– Б. Ш., Белый Шум, более в Землескреб не врывался, – сказал Шеврикука. – Ты вернулся потому, что не ждешь нового появления Белого Шума? Или выяснил, что его появления для тебя не опасны?

– А вот это вы не берите в голову, – сказал Пэрст-Капсула и тут же осекся, возможно заметив, что Шеврикука удивился резкости тона подселенца, и продолжил: – То есть не берите в голову мои состояния. Я сумею себя сохранить. Я буду и здесь. И у подруг. А Б. Ш., может быть, появится в Землескребе нескоро…

– Даже так?

– Появится кто-то другой… Возможно, Тысла…

– Это что еще за Тысла?

– Вот увидите сами.

– Ты что-то знаешь?

– Я могу лишь предположить… Я вам нужен? Или я пойду?

Движения Пэрста-Капсулы были суетливыми, нервными, будто полуфаб куда-то опаздывал. Но при этом Шеврикука чувствовал, что Пэрст-Капсула ожидает его вопросов. «Нет, спрашивать его сейчас я ни о чем не буду», – решил Шеврикука.

– Иди, – сказал он.

В спину уходящему глядел, досадуя на самого себя. Их отношения с Пэрстом-Капсулой изначально сложились так, будто он, Шеврикука, был всадником на белом коне, а Пэрст-Капсула состоял при нем либо оруженосцем, либо стремянным. А то и просто мелким услужителем. Шеврикука находился как бы выше Пэрста-Капсулы и словно бы покровительствовал ему, а уж обхождение его с Пэрстом было часто

высокомерно-снисходительным. Конечно, имелись причины, по каким между ними, полагал Шеврикука, было необходимо расстояние. А возможно, и стеклянная преграда. И это расстояние устанавливалось тем, что они с Пэрстом-Капсулой будто бы находились на разных высотах существования, при которых уместными и приемлемыми для Пэрста-Капсулы оказались покровительство Шеврикуки и его высокомерно-снисходительные действия и слова. Так все само собой вышло по установлению Пэрста-Капсулы, с тем он и возник вблизи Шеврикуки, и это положение, наверное, отвечало необходимостям его жизни или игры, но оно и Шеврикукой было признано удобным и необременительным. Он к нему привык. А потому изменения интонаций вроде нынешнего: «А вот это вы не берите в голову», – нарушающие этикет отношений, казались Шеврикуке резкостью не по чину. А то и дерзостью. Некие же вздохи Пэрста – сначала о бурках, затем о подругах, теперь о томлении всей сути и проросшей капсуле – могли восприниматься неоправданными попытками Пэрста-Капсулы изменить отмеренное им же расстояние и перевести Шеврикуку из покровителя в сопереживателя, а потом, глядишь, и в душевного, а то и в закадычного друга. Такое Шеврикуке не могло понравиться. Но не был ли он несправедлив и своим невниманием, намеренным нежеланием в суете выслушать прибившееся к нему существо, пожалеть его или пособить ему в чем-либо, хотя бы словом, не вызывал ли он у Пэрста-Капсулы чувства досады, боли или тоски? Конечно, обстоятельства вынуждали Шеврикуку быть с Пэрстом-Капсулой настороже, и все же… И все же. Нехорошо выходило, нехорошо…

И теперь получилось так, что он Пэрста-Капсулу отогнал, а ведь тот будто бы хотел сообщить ему сведения хотя бы о ретивом исполнителе Б. Ш. и свежей фигуре – Тысле, неважно как добытые, но несомненно для Шеврикуки нелишние…

38

Надо отправиться на улицу, толкнуло Шеврикуку желание, и побродить. И подумать. При этом ему померещилось, что желание это отчасти и не его собственное, что он получил приглашение выбраться на прогулку, а с приглашением даже и намек – будто для сегодняшней прогулки будут особенно приятны тропинки Звездного бульвара у поворота на проезд Ольминского. Приглашение и намек должны были бы вызвать протест или неприятие Шеврикуки, но он предположил: не приглашает ли его новоявленная (или новоявленный?) Тысла?

Нет, приглашение было направлено не Тыслой.

На тропинках Звездного бульвара Шеврикуку поджидала дама в мантилье. Она не то чтобы поджидала, она как бы прохаживалась, пребывая в тихой грезе или в элегических настроениях, вызванных синими влажными сумерками, и никого вокруг не видела. А может быть, и не элегии звучали в ней теперь, а привели ее к проезду Ольминского печаль и неотложное горькое дело. Дама была в темных, закрытых одеждах, плотных, пожалуй, слишком теплых и для ночей на берегах Гвадалквивира, и для сумерек нынешнего московского лета. Конечно, и гипотетическая Тысла могла выйти к Шеврикуке, вдруг она родилась в мантилье или же ее воспитывали в темных одеждах. Но Шеврикука очень скоро сообразил, что поджидает его Дуняша-Невзора.

– Отчего мантилья? Отчего такие строгие линии? Отчего все мрачное? Будто какая драма! – начал было он тоном легким и ироническим. Но вдруг выпалил всерьез: – Что-нибудь случилось с Гликерией?

– Почему с Гликерией? – поинтересовалась Дуняша. – Почему не со мной?

– Не знаю, – смутился Шеврикука. – Взял и подумал о Гликерии. И ляпнул! Экая глупость! Самому странно.

– Значит, ты о ней все время думаешь, – уверила его Дуняша. – Противна она тебе или прелестна, но ты о ней думаешь. Ты сейчас просто испугался.

– Ну конечно! Вам показалось, – возразил Шеврикука. – У вас к этому расположены мысли.

– Ты предлагаешь вести разговор на «вы»? – удивилась Дуняша-Невзора. – На «вы» так на «вы». Эко вы растерялись из-за своего испуга и даже, видимо, рассердились на себя. Это пройдет.

– Уже прошло, – согласился Шеврикука. – Так что у вас за драма?
– Драмы нет. Есть осложнение обстоятельств, и более ничего.
– Надо понимать, в холодную вас не отправили…
– Пока нет.
– Не завели ли вы в приложение к мантилье еще и кастаньеты?
– Если и завела, то взять их с собой сегодня повода не было.
– Стало быть, приглашение меня на прогулку было исключительно деловое.
– Разве приглашение? Так, робкое, тихое воздыхание о деле. Или напоминание о нем. Вы же согласились стать проводником.
– Было произнесено: «Ни о какой услуге просить мы у вас не будем».
– Произнесено сгоряча.
– Возможно, что и я именно сгоряча вызвался быть проводником. А теперь пыл пропал. И у меня произошло осложнение обстоятельств.
– Шеврикука, ты ведь и сам знаешь, что ввяжешься в наши дела.
– Не вижу никакой корысти. И никакой выгоды.
– А тебе и не нужна корысть. А все равно ввяжешься.
– Я полагаю, придумано и дело, в числе прочих, в связи с ним госпожа и направила ко мне барышню-служанку, – сказал Шеврикука.
– Да, – согласилась Дуняша. – Есть и частное дело. Добыть для Гликерии Андреевны некий предмет. Или даже два предмета. Но сначала один. В известном доме на Покровке.
– Это дом Гликерии. Она в нем хозяйка.
– Кабы так. Ей не все доступно. И не все разрешено. А многое и запрещено. Нарушения запретов вызовут кары. Случайное же лицо может коснуться того, что теперь необходимо Гликерии. С этим делом госпожа ни к кому не направляла служанку.
– Так, – кивнул Шеврикука. – Еще что?
– Один из предметов – бинокль.
– Бинокль?
– Бинокль. Театральный.
– Отчего же не с броненосцев? Отчего же не для наблюдений за эскадрой Нельсона?
– Театральный, – сказала Дуняша. – Успокойся. Театральный. Перламутр, кость, медь. Наблюдали сквозь него за трагедиями Озерова и танцами Истоминой.
– А второй предмет?
– Сразу тебе знать и второй, как же!
– Ясно. Первый – крючок с червяком.

– А ты его уже и проглотил.

– Предположим. Но он не впился мне в губу. Я его могу откусить. Могу даже и переварить.

– Дело твое.

– Хорошо, – сказал Шеврикука. – Бинокль Гликерии Андреевне я добуду.

– Благодетель ты наш! Я ли в тебе сомневалась!

– Дальше что?

– Между прочим, на тебя положила глаз Увека Увечная.

– Один глаз? Два, три? Сколько у нее теперь вообще глаз? Я ее давно не видел. Толком и не знаю, какая она.

– Увидишь, – сказала Дуняша-Невзора. – Как бы мы этого ни не хотели, но ты ее увидишь. У нее два глаза. Как у меня. Как у тебя. Как у Гликерии.

– Увижу так увижу, – сказал Шеврикука. – А вам что, будет неприятно, если я ее увижу?

– Нам все равно. И не станем же мы хватать ее за платье. И может, какой толк выйдет для нас из вашего с ней свидания.

– Это где же?

– Есть сведения, что под маньчжурским орехом.

– Даже так? Ладно… И, стало быть, нынешний разговор со мной предпринят без всяких просьб и пожеланий Гликерии Андреевны?

– Если она узнает о нем и поручении добыть бинокль, она может и прогнать меня. Она в обиде на тебя, Шеврикука. Зачем надо было дразнить ее напоминанием о дурной клятве?

– Но клятва была.

– Была или не была, кто знает. И клятва ли? Может, некое вынужденное обещание. Или обязательство, вырванное обманом, страхом, болью, боязнью принести беды другим. Или вызванное несуразностями обстоятельств жизни.

– Всему нужно найти оправдания.

– Но великодушно ли было с твоей стороны напоминать женщине о ее… о тяготящих ее обстоятельствах?

– А может, я тогда самому себе напоминал о дурной клятве, чтобы не втравиться в совершенно ненужную мне затею…

– И все же втравишься, втравишься!

– И клятва та уже приводила к действиям, добру не служившим…

– Не клятва! Это не клятва!

– Ну, пусть даже и обязательство… У меня иные житейские правила, и

я не хочу…

– А если Гликерия Андреевна желает освободиться от этого обязательства, оно ее тяготит, оно ее губит, но сейчас есть возможность освободиться от него, отчего же ты, Шеврикука, не хочешь помочь ей в этом?

– Не верю я в то, что она сама желала и теперь желает…

– А ты поверь! Ты несправедлив, ты неправ, Шеврикука, и ты сам понимаешь это!

– У Гликерии Андреевны – свое. У меня – свое.

– Ведь ты же думаешь о ней! И не перестаешь думать!

– Бинокль я для нее добуду. Если такой бинокль есть. И все.

Шеврикука замолчал. Он знал Дуняшу-Невзору и полагал, что она не выдержит и сразу же примется говорить и о втором предмете. Но молчала и Дуняша.

– У вас там все попрежнему бурлит и клокочет? – спросил Шеврикука. – Крушат казематы и с цепей срываются?

– Да. Бурлит и клокочет. Но не попрежнему, а куда круче.

– Мрачные непрошеные гости в ваши Апартаменты более не являлись?

– Пока не являлись. Однако все это – наше. Но – не твое! – резко сказала Дуняша.

– Именно так, – согласился Шеврикука. – А потому, если нет еще каких дел, можно и разойтись.

– Да, – кивнула Дуняша. – И разойдемся.

– Когда добуду бинокль, не знаю. Вдруг и завтра. А то уйдет и неделя.

– Не тяни.

– Вы явитесь за ним? Или мне дать весть?

– Дай ты.

– Хорошо.

И разошлись.

– Погоди! – остановила Шеврикуку Дуняша. – Увека Увечная рвется в Самозванки. В Марины Мнишек! Имей в виду!

– Мне-то что? – холодно сказал Шеврикука. Хотел было поинтересоваться, не носили ли мантильи в Венеции на известных маскарадах, все скрывавших и всех уравнивавших, и не пригодится ли мантилья и зимой в Оранжерее. Но раздражать Дуняшу не стал.

«Бинокль добудет Пэрст-Капсула, – решил Шеврикука. – Если бинокль и впрямь есть».

Утром о бинокле было сказано Пэрсту-Капсуле. Пэрст выслушал Шеврикуку с вниманием, кивнул, мол, буду прилежным. О томлении всей

своей сути он не счел нужным напоминать Шеврикуке, а может быть, томление временно не тяготило полуфаба или было отменено поручением. Шеврикука туманно намекнул на то, что в доме Тутомлиных на Покровке возможны и занимательные прогулки для любопытного, конечно, существуют сложности и опасности, а потому отваге и зоркому глазу там должно сопутствовать хладнокровие. Пэрст-Капсула опять кивнул: да, понял, буду прилежным.

В одиннадцать вечера бинокль был доставлен Шеврикуке.

Милая штучка, думал Шеврикука, разглядывая бинокль, конец восемнадцатого, светло-палевый перламутр с переливами, бронза (или латунь?), винт – не из платины ли, а поставишь на стол – будто две башни с мостами, два донжона. Откуда его привезли? Из Германии? Из Франции? Из Голландии? Наверное, из Франции, раз донжоны. Именно для трагедий Озерова и танцев Истоминой. Милая штучка, милая…

– Внутри него нечто есть, – сказал Пэрст-Капсула.

– Ты его разбирал?

– Нет. Но внутри него есть нечто. Я вижу это.

– Бинокль лишь футляр?

– Нет. Бинокль и есть бинокль. С ним можно идти в театр и теперь. Но внутри него помещено нечто, не имеющее к нему отношения. Оно твердое, и я могу…

– Не надо, – быстро сказал Шеврикука. – Это не моя вещь. Я лишь оказываю с твоей помощью мелкую услугу знакомым.

Произнеся слова о мелкой услуге, Шеврикука почувствовал неловкость. Не обидел ли он и сейчас Пэрста-Капсулу небрежным унижением степени важности услуги, не признал ли тем самым его мальчонкой на побегушках?

– Полагаю, что поиски предмета не были легкими, – ответственно выговорил Шеврикука, – а потому прошу принять мои признательность и благодарность…

– Да, легкими не были, – согласился Пэрст-Капсула. – Прятавший знал, куда положить бинокль. Но я не жалею о прогулках по дому. Хотя, как вы знаете, я был там не впервые. Но в прошлый раз было не до прогулок.

– Я догадываюсь, – кивнул Шеврикука.

– Вы были правы. Любопытному и умеющему проникать там доступны занимательные открытия.

Было очевидно, что занимательные открытия Пэрстом-Капсулой совершены, он не прочь, коли возникнет в этом нужда, Шеврикуке о них поведать, но готов и помолчать. Шеврикука чуть было не принялся

расспрашивать следопыта и добытчика антикварно-исторических вещей и потрепанных портфелей о покровских открытиях, но сообразил, что проявит себя личностью неосведомленной, малосведущей, возможно, потеряет в глазах Пэрста-Капсулы лицо, да и все, связанное с Гликерией, он желал от себя отдалить, а потому лишь спросил, и то как бы между прочим:

– И по лабиринту Федора Тутомлина погулял?

– Был и в лабиринте. Бинокль не из лабиринта. Лабиринт шутейный. Для глупых. И не умеющих считать. Паутина, сплетенная лишь с тремя подвохами.

– Так оно и есть, – важно, как бы подтверждая знания Пэрста-Капсулы, согласился Шеврикука.

На память ему пришел заросший щетиной ушастый мужик, преподнесенный на днях телевидением и пробормотавший: «От синего поворота третья клеть… Четвертый бирюзовый камень на рукояти чаши…» Не увиделись ли Пэрстом-Капсулой синий поворот и бирюзовый камень? Но сейчас же ушастого мужика отогнало от Шеврикуки иное соображение.

– А ведь у Петра Арсеньевича была палка… – прошептал Шеврикука. – Я его всегда видел с палкой. Или с посохом. Или с тростью.

На посохи опирались коричневые странники, добытые Пэрстом-Капсулой в марьинорощинском раскопе. «Трость» – Шеврикука вписал вчера в клеточки кроссворда, уважив вопрос: «Оружие истинных джентльменов».

– У Петра Арсеньевича… была палка… – говорил Шеврикука вслух сам себе. Но добавил и для Пэрста-Капсулы: – У знакомца моего… того, что на Кондратюка… чей портфель ты… У него была палка… Набалдашник с инкрустацией… А ведь он мог держать что-нибудь в набалдашнике. Или в самой палке… Как в покровском бинокле…

– Мне начать поиски? – спросил Пэрст-Капсула.

– Нет, это я так… – неуверенно сказал Шеврикука. – Просто размышляю…

Он замолчал, понимая, что лукавит. Просить, а уж тем более приказывать поискать палку Петра Арсеньевича он не стал, но вот если бы Пэрст-Капсула ощутил его необъявленное желание и отважился предпринять что-либо сам, поводов для досады у Шеврикуки не возникло бы.

– Да ладно с ней, с палкой-то этой, – сказал Шеврикука. – И с набалдашником.

И отпустил Пэрста-Капсулу, пожелав тому удачливо отдыхать и развлекаться.

Обегая вниманием почтовые ящики жильцов, не тлеет ли где среди газет чья-нибудь злодейская сигарета, в одном из них Шеврикука углядел свернутую в трубочку бумагу. Вроде той цидульки, что вместила в его карман ловкая рука пшеничнокосой Стиши. И на этой бумаге опять же детскими печатными буквами обращались к нему: «Д. Шеврикука! Прошу! Умоляю! В Ботаническом саду. Под маньчжурским орехом. В одну из сред. В три часа дня. Очень прошу! В. В.».

А нынче был вторник.

Как же, пообещал то ли бывшей лесной деве Стише, то ли положившей на него глаз В. В. Шеврикука, завтра же с утра понесусь в Ботанический сад. А сейчас примусь разбегаться.

Шеврикука достал из кармана перламутровый бинокль и неожиданно для самого себя стал потряхивать его. Будто надеялся, что нечто, известное Пэрсту-Капсуле, издаст звук, хотя бы звякнет, и по звуку этому он догадается, что в бинокле скрыто. Словно ребенок! Никаких звуков он, естественно, не услышал. А подмывало его все же исследовать бинокль и обнаружить нечто, оказавшееся столь важным теперь для Гликерии. Нет, никаких исследований, приказал себе Шеврикука. Но решил: подавать сейчас же сигнал в Дом Привидений не станет, а подержит бинокль при себе, глядишь, и выяснится степень необходимости вещи для Гликерии и степень нетерпения Дуняши.

Явилось опять: «…четвертый бирюзовый камень на рукояти чаши…» Бывают Чаши Терпения. Стало быть, бывают и Чаши Нетерпения? Но что думать сейчас об этих сосудах! Может, он вспомнит еще и о Чаше Грааля, волновавшей почитателя средневекового рыцарства Петра Арсеньевича? Или опять вообразит, что доверенность, генеральная, на его, Шеврикуки, имя была сокрыта в палке, в посохе, в трости истинного джентльмена, скорее всего пропавшей.

Все. Хватит. Об этом более ни мысли, ни слова!

А в среду утром Шеврикука осознал, что желает он этого или не желает, но в половине третьего он непременно направится в Ботанический сад к маньчжурскому ореху. А он не желал. Но и желал. Однако желание, с ходом времени обострявшееся, будто бы кто-то навязывал ему, и Шеврикука этому кому-то противился. Впрочем, противился вяло, растолковывая самому себе: «А отчего же и не сходить сегодня? Все равно ведь В. В. будет допекать и дальше. Можно и сходить. Посмотреть, разузнать, кто и что затевает». К двум часам желание побывать у маньчжурского ореха стало совершенно нестерпимым, Шеврикуку оно уже тяготило и раздражало. Раздражение возбудило ропот и протест.

Направиться-то направится к ореху, решил Шеврикука, но невидимым, себя не обнаружит, а именно поглядит.

Без пяти три бабочкой-капустницей он расположился на зеленом листе липы, стоявшей метрах в двадцати от маньчжурского ореха. Прежде он изучил все слова на ученой табличке, подтверждавшей, что здесь произрастает именно маньчжурский орех. Мог бы и не изучать. Дерево это не было для Останкина диковиной. Художники ландшафтных искусств сажали в здешних дворах и маньчжурский орех. Дерево Шеврикуке нравилось. Оно было светлое и свободное. И будто перистое. Люди у ореха останавливались, но ненадолго. И им он, наверное, был знаком. Уходили от него, возможно, в поисках нездешних секвой и эвкалиптов. А вот одна барышня вблизи маньчжурского ореха терпеливо-ожидающе прогуливалась, и видно было, что прогуливалась она здесь уже не пять и не пятнадцать минут. Была она тонкая, стройная, прилично одетая, и личико имела приятное. «Это и не личико, а мордашка, – подумал Шеврикука ласково. – И премилая». Из разговоров же Гликерии с Дуняшей выходило, что Увека Увечная – злодейская уродина, калека, кособокая, с вороньим носом, может, и лысая. А Шеврикука почувствовал, что прогуливается вблизи ореха Увека Увечная. Вспомнились Дуняшины предупреждения: «Увека рвется в Самозванки! В Марины Мнишек!» Какая уж тут гуляла Марина Мнишек! Иногда Увека взглядывала в сторону липы, в его, Шеврикуки, сторону, и Шеврикуке казалось, что ему видится в ее глазах смирение, тревога и даже мольба о помощи. И будто бы надежды не было у барышни на то, что ожидаемое ею сегодня произойдет.

Нет, надо сейчас же слететь с липы, выбраться из бабочки-капустницы, перестать томить бедняжку, разволновался Шеврикука, подойти к ней с цветами, да – и с цветами, утешить и ублажить ее. В нем возбуждались приязнь и жалость к Увеке Увечной. Он было и слетел с липы, но его остановило явившееся подозрение: «А не опоила ли меня распрекрасная Стиша после турецкой бани приворотным зельем?»

И он увидел. Желтой дорожкой спешил, почти несся Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный, с букетом гвоздик в руке. Он остановился возле Увеки Увечной, поклонился ей, приложил руку к сердцу, норовил вручить гвоздики барышне. Увека, похоже, была удивлена приходом кавалера с цветами. Она ждала другого. Впрочем, кто знает…

А ведь и Сергея Андреевича, Крейсера Грозного, вспомнил Шеврикука, лукавая Стиша угощала вкусными напитками, и прохладительными и свирепыми…

39

В четверг утром с небес на Останкино не пролилось ни единой дождинки. Но именно в то утро опустился на останкинские земли Пузырь.

Разлегся он на двух бульварах, Звездном и Ракетном, вытянувшись от путепроводов над Ржевской железной дорогой и до улицы Бориса Галушкина. То есть от Марьиной Рощи и почти до Сокольников. Оказалось, что Пузырь и не так огромен. Спина его вздымалась не выше девятиэтажных домов. С крыш и балконов более долговязых строений можно было поглядывать на Пузырь свысока. Людям, знавшим Москву военной поры, приходили на ум аэростаты воздушного заграждения. Иные же сравнивали тело, разлегшееся на бульварах, где некогда протекала речка Копытовка, с ливерной колбасой. Впрочем, и аэростаты называли в войну колбасами. Но какие бы ни возникали мнения, какие бы ни происходили имясотворения, на языке и в мыслях большинства утвердилось: Пузырь. Пузырь и Пузырь.

Сразу же взволновались: а не вызвал ли Пузырь своим перемещением из воздуха на грунт какие-либо притеснения или ущербы городскому хозяйству? Не перекрыл ли он пути сообщения, не искалечил ли мачты линии высоковольтной электропередачи, шагавшие именно по Звездному, будто по сельской местности, к улице Кибальчича? Но нет, как выяснилось, впрочем, позже, особых безобразий не случилось. Более других, пожалуй, пострадали останкинские псы и их хозяева, им пришлось искать новые места для общения с природой. Мачты, деревья, фонарные столбы и прочие коммунальные ценности Пузырь не искалечил, а изгибами своего живота (живота ли? Но коли названа «спина», отчего же не употребить «живот»? Ну, может, «брюхо»…) как бы обтекал их. Не затруднил он и жизнь транспортным средствам, арками выгнулся над Ярославским шоссе, проездами и даже мелкими асфальтовыми тропами, троллейбусы, автобусы, трамваи, лимузины, велосипеды могли перемещать под ними москвичей без всяких страхов и напряжений. В местах же, где не было ни насаждений, ни мачт, ни дорог, Пузырь слился с Землей, а может быть, и пустил в ее глубины корни.

Было очевидно, что Пузырь, если не просто воспитанный и деликатный, то умный.

Однако иные полагали, что он коварный и хитрый. Успокоил, обнадежил, приручил останкинских жителей гороховым супом, а потом и

возьмет их, ручных-то, голыми руками.

Свидетелями приземления Пузыря были многие. Утром, в половине четвертого, в Останкине возникло предощущение скорого стихийного события. Метались в аквариумах неоны, гуппи и меченосцы, отказывались принимать мясо, «вискасы» из фиолетовых коробок и нервно бродили из угла в угол квартир чувствительные коты, устремлялись под радиаторы водяного отопления степные черепахи, вздыхали и печалились собаки. Потом дошло и до людей. Сначала, как полагается, до музыкантов, затем до особ бдительных (Радлугины сейчас же стали укладывать документы и ценности в походную суму), затем – и до обыкновенно отдыхающих граждан. Дошло даже и до тех, кто накануне хорошо кутил и не брезговал и должен был бы без видений пребывать на диване до обеда. Эти, правда, ни в каком стихийном событии нужды не ощутили, а посчитали, что пришла пора испить для поправки натур. Поднятые же предощущениями при этом задирали головы вверх, смотрели в потолки и окна. То есть, еще ничего толком не осознав, они все же ожидали прихода стихии с высот. Если бы предстояло впечатляющее сотрясение, то трясти должно было начать наверняка не внизу, а вверху. А уже выскакивали на улицу, на крыши, на балконы взбудораженные граждане, многие – с ведрами и корытами, приготовленными в ожидании нового пролития Пузыря. Но, увы, ничто не пролилось в ведра и корыта, в отличие от останкинцев Пузырь спал. И спал, казалось, мертвым сном. Не вздрагивал, не вздыхал, не происходило в нем никаких мерцаний, а оболочка его стала словно бы металлической. Или костяной.

Лишь без десяти пять Пузырь покачнулся и начал тихое приземление.

Висел он, если помните, над улицей Королева, и удобнее ему или проще было бы и опуститься на Королева, на Поле Дураков. Однако Пузырь будто бы стало сносить к югу. Наблюдатели встревожились: а не подкуплены ли воздушные течения, не уволокут ли они их, останкинский, Пузырь куда-нибудь за Садовое кольцо иди даже к китайгородским пирогам. Но тут Пузырь дал понять, что воздушные течения ему не хозяева и он сам знает, где ему далее быть. Опускаясь, он проплыл над рестораном «Звездный» уже не слишком высоко, дав основания предположить, что за Садовое кольцо не отправится, а, чтобы не доставить москвичам беспокойств, местом поселения назначил себе не улицу Королева, но менее оживленный, скорее, даже захолустный, почти автомобильно-непроточный Звездный бульвар. А уже над улицей Цандера Пузырь стал, не худея в боках, вытягиваться в направлении Сокольников, что и позволило ему через семь минут занять не только Звездный бульвар, но и бульвар

Ракетный.

Посадка его вышла даже и не мягкой. Она вышла нежной. Пузырь будто бы хотел понравиться Земле, он, казалось, желал приласкать ее или сам нуждался в ее ласке. Создавалось впечатление, что в последние секунды посадки он словно бы гладил Землю или даже пытался облобызать ее. Но, впрочем, такое впечатление создавалось в умах романтических. Или сентиментальных. Трезвые же и протрезвевшие умы посчитали, что механическая или какая там исполинская скотина вцепилась в Землю и принялась ее грызть, высушивать, втягивая в себя все, как благотворные, так и подлые, московские жизненные соки.

Тут я привожу две крайние разности восприятий взволнованных приземлением Пузыря наблюдателей. Сам я признал посадку деликатной. Или корректной. Известно мне, что такой же воспринял ее Шеврикука. Но это не имеет никакого значения. Соединившись с Землей, Пузырь замер. И долгое время лежал мертвым. Забегая вперед, скажу: лежал мертвым четыре дня. Даже более того. До понедельника. Видимо, были у него к тому основания.

В какие-то мгновения оболочка Пузыря представилась нам снизу металлической (а кому и костяной), но эти впечатления оказались ложными. То, что создавало форму Пузыря (или поддерживало ее), было не металлом и уж тем более не костью. И по всей вероятности – не кожей. Это был, наверное, особый материал, широкой публике в Москве неизвестный, без меха, без шерсти, без ворса, плотно-серый, темнее шкуры слона, чуть блестящий. Он не имел морщин и находился в напряжении, будто покрышка футбольного мяча, допущенного арбитрами к играм на первенство города Камышина. У любознательных или отчаянных, возможно, и возникало желание проткнуть оболочку вязальной спицей, но никто из них не попытался осуществить свое желание.

Московская публика известно какая. Стреляют, пушки палят из танковых башен, черные дымы ползут по белым камням сановных зданий; в благонравных, культурных странах и городах люди бы попрятались, в ванных комнатах закрылись бы на замки, под кровати забились бы в своих крепостях. А у нас нет. Извините! Тысячи зевак тут же объявятся возле танков. Детишки будут прыгать «в классики» на асфальтах среди бронетранспортеров. Дама в леопардовом паланкине выйдет выгуливать ньюфаундленда Аполлона туда, где она и вчера его выгуливала. Ну, стреляют, ну, палят, ну, бомбы падают. Пожалуйста. Их дело. Экая важность! К чему мы только не привыкли. Чего мы только не видели. А среди зевак и не все будут стоять с отвисшими челюстями. Многие выждут

момент, когда и самим удастся броситься в полыхающее здание, чтобы поглядеть на все вблизи, а то и добыть сувенир или дать кому-либо в морду. А то и просто так.

Но в случае с Пузырем останкинские жители повели себя исключительно пристойно. На первых порах. Они не только не протыкали его вязальными спицами, не орали на него и не обзывали дурными словами, но и вообще не трогали Пузырь и даже будто стеснялись быть назойливыми. То ли деликатное и тихое приземление Пузыря понуждало их к деликатности и тихонравию. То ли, несмотря на уверенность, что рано или поздно Пузырь нечто совершит, теперь они до того были удивлены его посадкой, что и не знали, как быть. Или посчитали его московским гостем, какому следовало оказывать гостеприимство. А может, тайна Пузыря охраняла его и позволяла ему пребывать в безопасности и в спокойствии.

Словом, толпа не бросилась на Пузырь, не стала его терзать, щупать, кромсать или просто обижать, а лишь смотрела на него и соображала. Дети не вытащили из чуланов санки с намерением кататься по его склонам, а тоже пребывали в удивлении. Даже разнополые рокеры на ижевском громоходе, разъяснявшие неделю назад жителям Землескреба, что Пузырь справил на них нужду, малую или большую, не важно какую, уж на что наглые, и те проехали под аркой Пузыря от улицы Цандера к проезду Ольминского чрезвычайно кротко, пожалуй, и уважительно и почти беззвучно. Пузырь их не тронул, и дороги под ним были открыты.

Шеврикука был, естественно, не менее чуток к явлениям природы, нежели аквариумные рыбы, коты и музыканты. Пузырь не вздрагивал, не покачивался и даже еще не вызывал смущение душ, а Шеврикука уже понял, что Пузырь сядет, и не на улицу Королева. Прежде он несколько беспечно относился к присутствию Пузыря, во всяком случае, не думал всерьез о причинах и происхождении Пузыря. Теперь Шеврикука обеспокоился.

Причины и происхождение могли быть и такие, что не давали никакой возможности толковать или называть их. И тут уж ни люди, ни домовые не были вольны что-либо поделать. Или предпринять нечто путное. Но вдруг обстоятельства выпали попроще? Скажем, изготовили и явили Пузырь Отродья Башни? Или умельцы и гении вроде Митеньки Мельникова из Землескреба. Зная об этом наверняка, можно было бы дать направления мыслям и действиям. Одно ясно, соображал Шеврикука: спешить с Пузырем нельзя. К нему, приземлившемуся, надо привыкнуть.

Но соображал не один лишь Шеврикука, а, видимо, многие здравомыслящие останкинские жители. И не только останкинские жители.

В день, когда Пузырь повис над улицей Королева, происходили преобразования форм и свойств Пузыря, при этом менялись его цвета, и оболочные, и внутренние, то они были тихо-бурые, то бледно-фиолетовые, то нежно-серые, то перламутрово-палевые, и будто волны неких колебаний или даже чувств исторгал Пузырь. Тогда эти волны вызывали в наблюдателях то тихонравие и ожидание благ, то тревогу и нервический зуд.

Теперь Пузырь застыл. Внутри него ничто не жило и не могло жить. И если в минуты приземления Пузыря в Останкине многие испытали несомненный энтузиастский порыв, а при воспоминаниях о пролитых прежде киселях и супах возникали именно и ожидания благ, то через несколько часов даже и недавние энтузиасты ощутили беспокойство и нервический зуд.

Пузыря опасались. Посчитали: внутри него нет добра. Не к добру он разлегся на бульварах, не к добру. «Да это же мыльный пузырь! – успокаивали оптимисты. – Лопнет, и следа от него не останется!» «Кабы мыльный! – оспаривали их суждение угрюмые. – Если этот лопнет, то, может, и от Останкина следа не останется». Сразу же потекли слухи о возможной эвакуации жителей Останкина то ли в Лобню, то ли в Талдом, то ли в Вербилки. Отчего-то на ум судачившим приходило именно савеловское направление. На власти не надеялись, потому как и лед в Останкине теперь по зимам никто не скалывал и не солил. Впрочем, санитарный врач Желонкин, нынче в должностном халате, бегал по тротуару Звездного бульвара, не захваченному Пузырем, и упрашивал зрителей ничего от сорного объекта в пищу не заготовлять. Поджидали прибытия высокомерного малого в предзимнем клетчатом пальто с трубкой во рту, прозванного инспектором Варнике, сейчас бы, пожалуй, без прежних стремлений дать негодяю отпор выслушали и его рассуждения о Земле как о человеческой плантации. Но инспектор Варнике не прибывал.

Конечно, с ходом времени нашлись и невоспитанные юнцы, находящиеся еще и в дошкольной неразумности. Эти начали швырять в Пузырь камни. Но камни и прочие снаряды озорников до Пузыря словно бы не долетали. И ни одна птица на глазах Шеврикуки на Пузырь не опустилась. А много каркало в Останкине нагло-вороватых ворон и галок. Похоже, ни камней, ни птиц Пузырь к себе не допускал. И выходило: вряд ли до него вообще можно было дотронуться.

В годы, известные благополучием граждан и отсутствием неприятных и тем более чрезвычайных происшествий, сделали бы вид, что никакого Пузыря нет, и упоминать о нем не стали бы ни слова. И Пузырь, возможно,

исчез бы сам по себе. Растаял бы. Заплесневел бы от людского невнимания. Или усох от тоски. Сейчас к нему, конечно, явилось множество людей гласных, осведомленных, с отменной и красивой аппаратурой. Но и они были в смущении. (А Шеврикука уже чувствовал себя угнетенным.)

Вопреки суждениям угрюмых граждан, часа через три приехал к бульварам и кое-кто из городских управителей. А за ними последовали и военные, и из служб порядка, и ученые, на вид мужи. Явились люди с собаками, дозиметрами, щупами, миноискателями. Собаки тоже были на вид ученые, некоторые из них имели наружность специалистов, чующих наркотики. Принялся со вниманием облетывать приземлившееся тело известный в городе сине-белый воздушный корабль («Америка России подарила вертолет…»). Никаких обращений к жителям при этом не прозвучало, призывы «разойтись» также не произносились. А некоторых, естественно, ждали дела, хозяйственные и коммерческие заботы, глазеть на Пузырь и на его исследователей они более не могли. Потихоньку и без всяких призывов публика стала расходиться. К вечеру вернемся, полагали иные, а на боках Пузыря напишут белым: «Проверено. Мин нет».

Шеврикука еще немного потолкался среди наблюдателей. Но он чувствовал: ничего примечательного более не произойдет. Посадка совершена, и все на сегодня. Хватит. А там что-нибудь и случится. В толпе Шеврикука видел Дударева, Радлугина, бакалейщика Куропятова, Сергея Андреевича Подмолотова, Крейсера Грозного, его японского друга Сан Саныча, но вступать с кем-либо в беседы не стал. В получердачье отдыхал эксперт-полуфаб, специалист по катавасиям Пэрст-Капсула. Его Шеврикука спросил:

– Приземление наблюдал?

– Видел.

– Пузырь не от Отродий Башни?

– Не знаю. Не думаю. Вряд ли.

– Ну ладно. Не от Отродий так не от Отродий.

– Вы озабочены Пузырем?

– Пожалуй, озабочен, – сказал Шеврикука. – Так ты говоришь, ко мне может явиться Тысла?

– Скорее всего, Тысла. А с Тыслой и Мульду.

– Мульду?

– Да. Потомок Мульду. Тысла и Мульду – порождения гуманитариев.

– То есть?

– Материализованные. Или осуществленные. Тысла – Тыльная Сторона Ладони. А Мульду, или Потомок, – из кинематографа. Или из

кинопроката.

Пэрст-Капсула рассказал Шеврикуке о Тысле и Мульду то, что знал, или то, что посчитал возможным рассказать. О тыльной стороне ладони и я кое-что могу добавить. И Шеврикуке, почитателю детективов и крутых романов, тыльная сторона ладони несомненно была известна. Тыльной стороны ладони нет. И быть не может. Однако она есть. Во множестве сочинений. В особенности в боевиках, украсивших лотки развалов на московских тротуарах. Какие только действия не производит в них тыльная сторона ладони. И сокрушает челюсти, и кромсает цепи, и пробивает кирпичные стены, и вытирает мокроты под носом страдающего простудой, и смахивает со щеки скупую слезу морского волка. Шеврикука мог представить, каким существом вышла материализованная Тысла. Относительно Мульду версия Пэрстом-Капсулой была выговорена такая. Мульду происходил из города Ачинска Красноярского края. Лет двадцать назад, а то и больше, люди ходили в кинотеатры и смотрели в них фильмы. В одном из них, в частности, наши разведчики во вражеском тылу боролись с матерым подлецом, фашистским шпионом Дункелем. Фильм назывался «По тонкому льду». Однажды из енисейского метрополя позвонили в город Ачинск местным кинофикаторам и сообщили, что скоро к ним прибудут коробки с лентой про Дункеля. То ли телефонный аппарат барахлил, то ли ачинский кинофикатор оказался романтиком, но через день город оклеили афишами с приглашением посмотреть фильм «Потомок Мульду». Этот Потомок Мульду был изображен таким свирепым и гнусным, что сам себя не вынес, испарился с картонных листов и унесся в таежные небеса. Но и его прибрали в хозяйство Отродья Башни. Из рассказа Пэрста-Капсулы следовало, что хотя большинство Отродий произошло от технарей и естественников, есть среди них или рядом с ними произведения гуманитариев – те же Тысла и Мульду, и канцеляристов – скажем, Коррожь (корректирующая жидкость), и пищевой индустрии – подруга как раз Коррожи Жразь (осуществилась из жевательной резинки), и, конечно, шоу-бизнеса.

Отчего-то эти Коррожи и Жрази разочаровали Шеврикуку. Будто бы он об Отродьях Башни был лучшего мнения. Хотя, конечно, взглянуть на Тыслу и на Потомка Мульду было интересно. Впрочем, как и на Коррожь с Жразью. Еще, возможно, наглядится.

Рассказывал и отвечал на расспросы Шеврикуки эксперт по катавасиям вяло, порой и зевая. Видно было, что он утомился. И похоже, приземление Пузыря и сам Пузырь Пэрста-Капсулу не слишком взволновали и озадачили. Пожелав Пэрсту сладких дремот, Шеврикука

отправился в квартиру Уткиных.

40

В телевизионных новостях Пузырю уделили секунд двадцать, признав его разновидностью атмосферного явления, особо не ехидничали и сразу же перешли от Пузыря к пожарам в австралийском штате Новый Южный Уэльс, где в эвкалиптовых лесах, возможно, пострадают сумчатые медведи коала. Кстати, как выяснил вечером Шеврикука, к Пузырю пригнали десятка два пожарных машин с лестницами и водяными орудиями и расположили их на отдых, но в состоянии непременной готовности. Поговаривали, что будет выставлено оцепление, но Пузырь не оцепили, лишь выделили для наблюдения за ним специальные патрули, а в местах транспортных пересечений поставили людей в пятнистых куртках и штанах. Опять же поговаривали, что, несмотря на пожарных, патрули, пятнистые куртки, ночью или на рассвете Пузырь безусловно уворуют и завтра же, в особенности если в нем есть цветные металлы и редкоземельные элементы, он обнаружится в какой-нибудь прибалтийской супердержаве. И это мнение оказалось ошибочным. Ни ночью, ни на рассвете Пузырь не пропал. И в пятницу, и в субботу, и в воскресенье он лежал на Звездном и Ракетном бульварах.

Но лежал неживой.

Тем временем к нему привыкли. Ученые мужи и специалисты по чрезвычайным происшествиям объявили, что природа явления исследуется и, когда суть прояснится, обо всем будет доложено населению. Паниковать нет никакой нужды, но и беспечные позевывания вредны. И не надо возить к нему из дальних префектур и пригородов детей на просмотры, словно к белым медведям в зоопарк. Что же касается слухов относительно того, что Пузырь будут раздавать, то они беспочвенны. Лежит себе Пузырь и пусть пока лежит.

Так он и лежал до понедельника.

А в понедельник, в два часа дня, в нем случились шевеления. То там, то тут оболочка Пузыря вздрагивала, и под ней что-то перетекало. Можно было подумать, что Пузырь одолела почесуха и он старается облегчить свое состояние. Или какие-то невидимые оводы и слепни садились на него с невежливыми намерениями, а он за неимением хвостов не мог их отогнать и потому вынужден был нервно подрагивать оболочкой или шкурой. Во всяком случае, он опять привлек к себе внимание и показал, что жизненное наполнение, нам неведомое, в нем есть и останкинским

гражданам следует ожидать новых его проявлений.

А в четыре часа дня по улицам и домам разнеслось: «Пузырь угощает!»

Очевидцы утверждали, что перед тем в недрах Пузыря снова, как и в небесную пору его существования, случились мерцания и будто бы бульканья и всхлипы, а потом из него изверглось. Они же утверждали, что никаких разрывов оболочки Пузыря не происходило, никакие люки, двери, окна, въезды, туннели не открывались, а явленное Пузырем словно бы проступило сквозь его шкуру и свалилось на Землю (очень аккуратно свалилось, надо полагать, без повреждений) в десяти метрах, как вымерили позже, от тела Пузыря.

К этому явленному сразу же направили укутанных в оборонные костюмы бойцов с чувствительными приборами в руках, и они никаких опасностей, подвохов и коварных намерений Пузыря не учуяли. И даже если ответственные и предусмотрительные люди пожелали бы открытое разведчиками поместить в герметический сосуд государственного секрета, тайна все равно была бы разгадана пытливыми останкинскими умами. А умам этим пошли бы в подмогу подсказки обоняний и физиологических потребностей натур. Потому очень скоро в Останкине снова зазвучало: «Гороховый суп!»

Пакеты с супами-концентратами! Коробки с гороховыми супами! Тюки! Контейнеры! Вот что выдавил из себя Пузырь!

И опять замер. Мерцания, бульканья в нем прекратились. Невидимые слепни и оводы от него отлетели. И почесуха более не томила его. Совершенно спокойно Пузырь отнесся к тому, что явленное им с предосторожностями было погружено в фургоны продуктовых грузовиков. И никак не препятствовал отъезду автомобилей. А те понеслись, скорее всего, к местам исследовательских интересов и служб.

Конечно, возникли досады. Нате вам. Опущенное на здешние земли взяли, забрали и увезли. А от людей, вооруженных на крышах и балконах биноклями, подзорными трубами и видеокамерами, моментально стало известно, что Пузырь одарил останкинцев не только гороховыми супами с копченостями. Супы в пакетах были на любые вкусы: и куриные с лапшой, и рыбные с ароматами Охотского моря, и капустно-морковные, и с профитролями, и изысканно-парижские луковые, какие хочешь. Вывалились из Пузыря произведения и отечественной пищевой индустрии, и от Кнорра, и от дядюшки Бенса. Да разве одни супы был способен предоставить гражданам Пузырь? Естественно, не одни. В подзорные трубы (имелись к тому же у здешних астрономов и четыре телескопа)

разглядели и коробки конфет, и плитки шоколада, и упаковки макарон, и лекарственные препараты, и предметы сангигиены, и банки печени трески, и вещи, смысл и назначение которых понять пока не удалось.

Телефонными разговорами с приятелями, обитающими во всех концах Москвы, сразу же выяснили, что нигде более никакие Пузыри не висели и, естественно, не приземлялись. Стало быть, в продуктовых грузовиках неизвестно куда увезли пусть мелкие и чаще всего консервированные, но именно останкинские приобретения. Возник и ропот. «Надо было потребовать, – рассуждали теперь раздосадованные, – у тех, которые увозили, предъявить удостоверения!» «Да сейчас какие хочешь удостоверения можно завести или купить!» – урезонивали нервных.

И опять покатилось мнение о том, что Пузырь будут раздавать. Каждому и справедливо определят долю и выдадут под расписку. А потому и нечего сейчас беспокоиться.

В ту пору снова прибыл в Останкино высокомерный малый, прозванный инспектором Варнике. Воротник его предзимнего пальто был попрежнему поднят, а серая клетчатая кепка надвинута на левое ухо, будто оно у него мерзло. И хотя малый старался, как и раньше, говорить тоном посвященного или миссионера, бросалось в глаза, что он растерян. Одно дело было, когда Пузырь висел в воздушных струях, а вот на скорое приземление его инспектор Варнике, возможно, и не рассчитывал. Он повторял соображения о Земле как о плантации, куда в свою пору завезли рассаду человека, но, похоже, не понимал, зачем Пузырю надо было опускаться на презренные московские бульвары, задачи собственные он мог решить и находясь в высоте. Надежды на неизбежную и всеобщую раздачу Пузыря он, вынимая трубку изо рта, называл варварскими, бредовыми и решительно утверждал, что и опустившийся Пузырь не позволит никому делить его или уворовывать. Слова малого, естественно, раздражали энтузиастов и вызывали требование гнать Варнике из Останкина в шею. Однако не прогнали.

Но мнение о том, что Пузырь необходимо раздать, набухало, тяжелело и принимало форму народной резолюции. Будет, будет раздача. А как же! Непременно произойдет раздача Пузыря. С установленными льготами. «Раздача! Разбор! Расхлеб! Разжев! Раздрызг!» – звучало всюду.

– Во! Народ не унывает! – заявил Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный, доставив на Звездный бульвар своего японского друга и компаньона Такеути Накаяму. – А иначе как, Сан Саныч? Хорош, хорош лежит. Почти как мой змей Анаконда. А шкура этого дредноута вполне может пойти нам на рогатки.

– Да. Конечно. Народ не унывает, – поддержал Сергея Андреевича Такеути-сан. – Да. Анаконда! Пожалуйста. Я давно мечтаю познакомиться со змеем Анакондой.

– Не теперь! Змей сейчас занят! – спохватился Крейсер Грозный и срочно обрадовался стоявшему невдалеке Шеврикуке. – Ба! Игорь Константинович! И вы здесь прогуливаетесь!

– Недавно я видел, как вы прогуливались с букетом гвоздик. Вы так спешили, что меня и не заметили, – сказал Шеврикука.

Будто кто-то вынудил его произнести бестактное. Да еще и приврать при этом.

– Это я… – смутился Крейсер Грозный, что случалось с ним редко, и добавил шепотом: – Это я как раз нес змею. На деликатес… Любит, стервец… Хлебом не корми…

Шеврикука смог удержать себя от каких-либо вопросов. Он вспомнил, как спал змей Анаконда в теплице Ботанического сада, называемой здесь ласково «болотом», во влажных московских тропиках под листами виктории. Неужели змей проснулся? Но уж чего-чего, а цветов в Оранжерее хватало! (Могу подтвердить, был приглашен в нынешнем марте в Оранжерею на цветение азалий.) А вдруг Крейсер Грозный и впрямь нес гвоздики змею с трогательным намерением поддержать силы и дух сотрудника, но под маньчжурским орехом нечаянно наткнулся на Увеку Увечную? Опять почувствовал Шеврикука симпатию и жалость к Увеке и понял, что в среду непременно отправится в Ботанический сад. Но что, если в его содействиях барышня более не нуждается? Что, если она заменила его в своих затеях Сергеем Андреевичем Подмолотовым, Крейсером Грозным, принявшим дозу, и немалую, Стишиного приворотного зелья? Но и в этом случае, ощутил Шеврикука, он все равно пойдет к маньчжурскому ореху.

Экая негодяйка прелестная лесная дева Стиша!

Часа через два интерес к Пузырю обострился. Накануне уверенность в том, что Пузырь уворуют, была уверенностью одиночек. Теперь с их мнением соглашались многие. Кто уворует – неважно. Опытов хватало. Либо какой-нибудь ошалелый авантюрист, либо одна из преступных группировок, либо любители-уфологи, либо военно-промышленный комплекс. А вдруг и прилетит немецкий юноша на спортивном самолете с крючком, подцепит им наш Пузырь и уволочет его. Нет, требовалось охранение Пузыря, требовалось. Хотя можно ли теперь доверять охранникам? А уже сновали по Звездному и Ракетному нетерпеливые и проголодавшиеся. Шеврикука видел, в частности, знакомого ему по дому

на Покровке и марафонскому забегу на Останкинскую башню молодого скалолаза с рюкзаком на спине и альпенштоком. В глазах у того был пожар. Отважный летун, и вовсе не из германской страны, а с Воробьевых гор ринулся на дельтаплане в парение с надеждой опуститься на Пузырь. Но уже при подлете его к Пузырю дельтаплан закрутило, сдунуло в выси и отнесло к городу Харовску Вологодской области, где он и утих на льняном поле. Из этого следовало, что шутить с Пузырем не стоит и, видимо, предположения инспектора Варнике справедливы. Однако после выдачи супов-концентратов и обретения воздушных надежд на раздел и раздачу Пузыря среди останкинских жителей все менее оставалось благоразумных и все более становилось безрассудных.

Идей и соображений рождалось множество. Уже определились сторонники тех или иных направлений, готовых создать кружки или сообщества с неотложной выработкой самостоятельных программ. Одни призывали к действиям с применением кулаков, локтей, трубных выкриков и ломов-ледоколов. Другие готовы были обратиться с упованиями к космическим стихиям. Иные, а среди них громко и деятельно, не стесняясь Шеврикуки, проявлял себя благонамеренный гражданин Радлугин, сочиняли петиции в префектуру, в мэрию, к президенту и в Европейский парламент с пожеланием хотя бы на этот раз соблюсти права человека. Присутствие Шеврикуки не смущало Радлугина, потому как сейчас он не сострадал государственным интересам, а, вынуждаемый природой и нравами эпохи, озаботился по поводу жизненно необходимых добыч. Но и государственные интересы, естественно, не были вымыты из него. На роликовых досках катили в Останкино, проезжая по ногам прохожих, гомонящие семиклассники. С четырех сторон явились к Пузырю кришнаиты с песнопениями и ритмическими танцами. Но сейчас же в разные стороны и удалились. Несомненно, прибывали к Пузырю и представители сексуальных меньшинств, но те вели себя тихо. Впрочем, Дударев позже утверждал, что почти не одарили вниманием Пузырь феминистки, им, видите ли, он, растянувшийся на бульварах, напоминал неприятную принадлежность особей вражеского пола.

Ощутимым было в ту пору возбужденно-нервное состояние останкинских жителей и их гостей. Все ждали немедленных решений и событий. И будто собирались стоять на бульварах и ночью.

Но их попросили разойтись. Тем более что охранение Пузыря и впрямь было усилено. И они разошлись. А Пузырь лежал неживой.

41

Утром во вторник к Шеврикуке явилась Тысла. Ее сопровождал Потомок Мульду.

Шеврикука из квартиры Бабякиных сквозь стены проходил в квартиру Уткиных. Во внутристенье Тысла и втиснулась. Шеврикука сразу посчитал, что Тысла, эта детективно-уважаемая Тыльная Сторона Ладони, – тварь, мерзкая и наглая. Впрочем, может быть, он и ошибался. Но глядеть на нее было ему неприятно. Ростом метра в полтора, гибкая, будто каучуковая, она имела пять верхних конечностей (или голов?), по ходу собеседования дергалась, то растопыривалась веером, то сжималась и становилась великаньей боксерской перчаткой, то кособочилась и взлетала вверх, норовя проломить стены или вытереть чьи-либо мокроты. Потомок Мульду выглядел ее телохранителем или преданным почитателем, родитель его в городе Ачинске Красноярского края, возможно, посчитал, что Мульду и все его вероятные потомки должны походить на свирепых индейцев, а потому сопроводитель Тыслы стоял в трех метрах от Шеврикуки краснoликий, в кожаных штанах, с перьями в голове и с томагавком. Во внутристенье ему было тесно.

– Мы от Бордюра, – просипела Тысла. – Сегодня свидание. У лодочной станции. На пруду. Просьба – не повязывать черный бант. Исключительной важности просьба – не повязывать черный бархатный бант.

– Какой черный бархатный бант? – растерялся Шеврикука.

Но он был вынужден отвлечься от разговора. С девятого этажа до него донеслись неприятные звуки.

– Подождите, – строго сказал Шеврикука. – Я вернусь. Вызов по делу. Я сейчас на службе.

А ему и минут пятнадцать назад показалось, что в квартире Быкадоровых происходит нехорошее.

И верно. Старушка Быкадорова лежала связанная бандитами, надо полагать, с кляпом во рту. Два накачанных малых в масках на рожах изымали ценности Быкадоровых. На столе временно лежал автомат Калашникова.

– Извините. У меня мало времени, – Шеврикука пришел из кухни со сковородкой в руке. – Непорядок. Гости некормленые. Яичница. Четыре яйца. Но – глазунья. Нет нынче бекона.

Грабители повернулись, взглянули на Шеврикуку. Можно

предположить, с удивлением. Один из них не спеша двинулся к автомату.

– На работе не закусываем и не пьем! – загоготал второй. – Да не бери ты ствол! Такого можно вырубить кулаком или ногой.

– Мне неважно, что вам положено на работе, а что нет, – сказал Шеврикука. – Мое дело обслужить гостей.

Гости, и гоготавший, и с автоматом, между тем приблизились к Шеврикуке. Но им пришлось рухнуть. Сковорода с кухни Быкадоровой была старомодная, чугунная, с рукояткой, а кисть Шеврикуки – ловкой, двумя ударами он вывел посетителей отведенных ему судьбой подъездов из сознательного состояния. Шеврикука знал, где лежат у Быкадоровых бельевые веревки, выбрал какие покрепче, спеленал гостей. Кабы оказался рядом Крейсер Грозный, он мог бы оценить умение Шеврикуки вязать и морские узлы. Старушку Быкадорову Шеврикука освободил от пут, уложил на диван, принялся возвращать к реальной действительности. Старушка застонала, открыла глаза, Шеврикука протянул ей таблетку валидола, чашку с водой и стал невидимым. Стянул маски посетителей, превратил их в кляпы. Бандитские рожи были ему незнакомы. По очереди он отволок грабителей в ванную, запер их. Набрал 02, взволнованным голосом старушки сообщил о происшествии. «Сейчас выедем, – пообещали ему. – Какой они наружности? Кавказской?» «Не знаю, – сказал Шеврикука. – Может, и кавказской. А может, и пригородной».

И он вернулся во внутристенье к Тысле и Потомку Мульду. Те стояли угрюмые. Но молчали.

– Была необходимость вмешаться. Мне бы не простили служебной оплошности, – сказал Шеврикука.

Верхние конечности (или все же головы?) Тыслы чуть-чуть наклонились. Будто кивнули. Мол, понимаем. Хотя это и не наше дело.

– Хорошо, – сказал Шеврикука. – Значит, свидание. С Бордюром. У пруда. У лодочной станции. Во сколько?

– Тринадцать часов двадцать семь минут, – произнесла (или произнес?) Тысла.

– Ладно. Буду, – сказал Шеврикука. – Но при чем тут какой-то черный бархатный бант? Что это за просьба исключительной важности?

– Исключительной важности просьба – не повязывать черный бархатный бант, – в тональности автоответчика повторила Тысла.

– А почему? – спросил Шеврикука.

– Не знаю. Велено передать. И более ничего, – сказала Тысла. – Мы дело сделали. Уходим.

И Тысла со свирепым Потомком Мульду исчезли.

«А я ведь почти забыл о том случае, – подумал Шеврикука. – Зачем я тогда повязал бархатный бант? И чем он так досадил в разговоре Бордюру? Отчего он так маялся, стараясь развязать его? И ведь развязал…»

Объяснений той маеты Бордюра Шеврикука не мог найти и теперь.

С Пузырем и вокруг него ничего примечательного не произошло. Зевак, правда, прибавилось. Иных из них привозили и в интуристовских автобусах.

Милиционеры слово сдержали и посетили квартиру на девятом этаже. Геройские действия старушки Быкадоровой их обрадовали и удивили. А Шеврикука успокоился.

В тринадцать двадцать семь Бордюр уже стоял у Останкинского пруда в ожидании Шеврикуки. Был он приветливый, улыбался, предложил Шеврикуке погулять в парке. Если уважаемый Шеврикука, конечно, не спешит.

– Там и поговорим.

– Хорошо, – кивнул Шеврикука.

Сегодня Бордюр надел светлый чесучовый костюм, а правой рукой держал деревянную палку с инкрустированным янтарем набалдашником. Шагая к воротам парка, Шеврикука то и дело взглядывал на палку и пришел к заключению: нет, Петру Арсеньевичу она не принадлежала.

– Похожий костюм носил один мой знакомец, – сказал Шеврикука уже в парке. – Нынче такие наряды – редкость…

– Плохо сидит? Старомоден? – озаботился Бордюр.

– Отчего же… Хорошо сидит… И палка соответствует вашей значительности… Но можно увидеть в вашем нынешнем костюме и палке знак. Или намек.

– Можно увидеть, можно, – согласился Бордюр. – Но смотря на что намек? Во всяком случае, сувенирами от Петра Арсеньевича или какими-либо бумагами его с подписями и печатями мы не располагаем.

– Тогда на что же намек?

– Не знаю, не знаю, не знаю! – быстро произнес Бордюр. И будто бы это незнание было ему приятно. – Вы-то позволили себе в прошлый раз повязать черный бархатный бант!

– Кстати, чем он вас тогда взволновал? – спросил Шеврикука. – Я не понял. И сейчас не понимаю.

– Как-нибудь объясню. Но не теперь.

Прошли мимо шашлычной, вблизи которой Шеврикука услышал от Крейсера Грозного историю похода его героического и непотопляемого корабля Амазонкой из Эфиопии в Парагвай и обретения им змея Анаконды.

Здесь Шеврикука познакомился с Пэрстом-Капсулой.

– Хочу вас предупредить, – сказал Бордюр, – разговор у нас должен пойти в иной тональности, нежели там, наверху, в летающем вагончике. Прежде мы к вам приглядывались. А теперь пригляделись. Считайте, что мы с вами равноправные собеседники, ничем не связанные, никак друг от друга или еще от чего-либо не зависящие.

– Равноправные? У нас с вами разные чины.

– Ой ли? – усмехнулся Бордюр. – А вдруг я более проницательный, чем вам кажется?

– Вы находитесь в заблуждении, – пробурчал Шеврикука.

– Ладно, ладно! – согласился Бордюр. – Стойте на своем. Это ничего не меняет. Вы свободны от каких-либо обязательств перед нами. Вы их и не подписывали. Мы не можем и не будем принуждать вас к чему-либо, требовать от вас каких-то действий. Мы можем лишь просить вас о неких услугах или даже советах. А вы станете соблюдать свои интересы. Может, и от нас добудете пользу. Договорились?

– Я перевариваю ваши слова, – сказал Шеврикука.

– На это не уйдет много времени, – сказал Бордюр. – Вас вызывали к Увещевателю…

– Да, вызывали, – Шеврикука поглядел в глаза Бордюру. Синие-синие.

– И что?

– Там известно о моих общениях… с вами.

– С Отродьями Башни, вы хотели сказать? Не стесняйтесь, не стесняйтесь! – подбодрил Шеврикуку Бордюр. – Нас нисколько не обидит.

– Хорошо известно. Со многими подробностями. Все мне, естественно, не открывали…

– Мы догадывались об этом. И мы знаем об этом. Вот потому-то, в частности, и решили считать вас свободным от всяких обязательств перед нами…

– И было дадено мне понять: «То, чем хотят овладеть Отродья Башни, у домовых есть». Скорее всего, для передачи вам.

– А то вы об этом не знали? – удивился Бордюр.

– Знание мое было смутное, – сказал Шеврикука.

– Отчего вы не предпринимаете поиски доверенности Петра Арсеньевича? – спросил Бордюр.

Шеврикука опять взглянул в глаза собеседника.

– Да-да, – закивал Бордюр. – Мы тоже о многом осведомлены. О многом. И более того…

Тут он замолчал.

– У меня нет желания, – сказал Шеврикука.

– Другие отыщут! – разволновался Бордюр. – Другие!

– И пусть отыщут, – сказал Шеврикука. – Кстати, если вы так осведомлены обо всем, не поделитесь ли со мной знанием? Зачем мне обретать эту доверенность, что в ней такого важного, чтобы я ринулся ее отыскивать?

– Ну… Нам, конечно, не все известно… – смутился Бордюр. – Но о сути мы догадываемся. Однако если я вам сообщу… Словом, надо ли рассказывать спешащему в кинотеатр содержание фильма?

– Я вас понял, – кивнул Шеврикука. – Но я никуда не спешу и спешить не собираюсь.

– Хорошо, – поразмыслив, рассудил Бордюр. – Оставим в стороне историю с Петром Арсеньевичем… Я понимаю… Вы – сами по себе… Или сам по себе… И таким желаете пребывать дальше… Вы – одинокий наездник…

– Домовые наездниками быть не могут. – сказал Шеврикука.

– Ну… одинокий охотник…

– Ни за чем сейчас охотиться не намерен.

– Экий вы сегодня привередливый, – подосадовал Бордюр. – И определения вам не подберешь…

– А Пузырю, или тому, что спустилось на бульвары, какие вами подобраны определения? – спросил Шеврикука.

– Есть технические… Вам они вряд ли о чем поведают… – сказал Бордюр. – А в обиходе мы стали именовать его Пузырем. Как и все.

– Он не от вас?

– Нет, – покачал головой Бордюр. – Не от нас.

– И природа его вам не ясна? – удивился Шеврикука.

– Не совсем ясна… – не сразу выговорил Бордюр.

И было видно, что он в смущении. Или в растерянности.

– У вас в Землескребе появилось привидение, – помолчав, сказал Бордюр. – Известно, что и не без вашего соучастия…

– Ну, это… Назовем так: условное привидение, – уклончиво протянул Шеврикука.

– Хорошо. Условное. А с безусловными привидениями, опять же известно, вы поддерживаете отношения. Вы к ним вхожи…

– Случается… Или, вернее, случалось…

– Нельзя ли бы было с вашей помощью войти в отношения с привидениями и призраками и нам?

– А вы сами что… – теперь Шеврикука удивился искренне.

– Не слишком пока получается, – замялся Бордюр.

– И это для вас важно? – спросил Шеврикука.

– Важно, – кивнул Бордюр.

– Хорошо, – сказал Шеврикука. – Это можно устроить. Как скоро?

– В ближайшие дни. Впрочем, спешка не нужна. И нам придется кое-что обсудить.

– Дадите знать.

– Сейчас такая пора, – сказал Бордюр, – когда возможны Самозванцы…

– Я уже слышал подобные слова…

– Вы не хотели бы стать Самозванцем?

– Каким это и где?

– Хотя бы в вашем… сословии…

– Нет, – сказал Шеврикука, – не хотел бы.

– Отчего же так? Вы личность рисковая. А тут и власть, и приключения. И Марина Мнишек. Вот бы наворочали дел!

– Из-за Марины Мнишек в первую очередь не следует идти в Самозванцы, – сказал Шеврикука.

– Ну, насчет Марины Мнишек я пошутил, – как бы уступил Бордюр, – и вы пошутили. Но если всерьез? А то ведь бесконечность повторений схожих ситуаций. Вам не скучно?

– А что, вам вышла бы выгода, если бы я стал Самозванцем? – спросил Шеврикука.

Вежливый нынче Бордюр нахмурился. Но сейчас же к нему вернулась доброжелательность.

– Это я так, для самого себя… Чтобы лучше понять вашу личность… Но ведь кто-то непременно рванется в Самозванцы.

– Может быть, – согласился Шеврикука. – Но не я.

– Вы имели разговор с неким Концебаловым, желающим ощутить себя всадником-оптиматом с полномочиями и колесницей?

Теперь помрачнел Шеврикука:

– Да, имел. Но почему какие-то частные мои беседы должны интересовать вас?

– Нас интересуют Лихорадки и Блуждающий Нерв.

– Я не дал согласия выполнить просьбу Концебалова.

– Но вам знакомы Лихорадки и Блуждающий Нерв…

– Давно держусь подалее от них.

– Видите ли… Опять же мы можем лишь просить вас…

– Что вам так дались Лихорадки-то?

– Их ведь немало. И они разные…

– Изначально завелось двенадцать больших Лихорадок, – согласился Шеврикука. – По одному списку – Гнетея, Трясея, Скорчея, Знобея и прочие. По другому списку – Озноба, Ражога, Зевота, Блевота, Костоломка, Вазья Дорька, ну и так далее. Позже они, конечно, получили более надменные и научные имена. Потом к ним добавились и иные.

– Среди тех, что добавились в последние десятилетия, некоторые имеют отношение не только к людям, но и к нам…

– У вас с ними затруднения? – спросил Шеврикука.

– Пожалуй, да… – кивнул Бордюр.

После этих слов лицо собеседника Шеврикуки стало корежить, будто некие молнии принялись терзать кожу (или оболочку?) Бордюра, а тело его затрясло. И так продолжалось с полминуты.

«Эко его прихватило!» – удивился Шеврикука.

Бордюр стоял удрученный, молчал, будто боялся заговорить, в ожидании более жестоких сокрушений и трясок.

– Извините, – все же произнес он. Корежить его снова не стало, и он продолжил, но осторожно, как бы имея в виду невидимых и, возможно, далеких недоброжелателей. – Вы, наверное, слышали о болезнях компьютеров, о вирусах, эпидемиях и прочем…

– Слышал.

– Стало быть, можете предположить, пусть и приблизительно, пусть и в примитивном варианте, я нисколько не хочу обидеть вас, но это так, что я имею в виду…

– Могу.

– Ну и?.. – Бордюр смотрел на Шеврикуку искательно.

– Нет, – сказал Шеврикука твердо, так, чтобы Бордюр и все, кто стояли за ним, почувствовали эту твердость. – К Лихорадкам я соваться не буду.

– Ну что ж, ну что ж, – посуровел Бордюр. – Мы, конечно, и сами сумеем устранить помехи и затруднения. А на вас мы смотрели как на некую несущественную частность.

– И правильно делали. От моего проникновения к Лихорадкам никакого толка не вышло бы, – как бы желая смягчить Бордюра, произнес Шеврикука. – Подалее от них, подалее!

– Полагаю, что они сами к вам приблизятся, – сказал Бордюр. – И очень скоро. И полагаю, что они явятся к Пузырю. И Лихорадки. Я имею в виду, конечно, не Ознобу с Вазьей Дорькой. И Лихорадки. И Блуждающий Нерв.

– Зачем им Пузырь-то? – обеспокоился Шеврикука.

– А там и откроется, – пообещал Бордюр.

Шеврикука ощутил, что собеседованию наступает конец.

– Значит, мы договорились об одном, – сказал Бордюр.

– Да, – согласился Шеврикука. – С привидениями и призраками я вас познакомлю. С кем и когда – вы решите сами. Впрочем, контакта на высоком уровне я вам не обещаю.

С тем они и расстались. Бордюр уходил значительный, палку с набалдашником, инкрустированным янтарем, выбрасывал вперед движением богатого британца, отправившегося развлечься в клуб почитателей юридических казусов. Хотя в тот клуб вряд ли бы впустили личность в чесучовом костюме. Впрочем, может быть, впустили бы и в чесучовом… Опять Шеврикуке подавали знак.

Возвращаться в Землескреб Шеврикука не спешил, присел на скамью невдалеке от детского пруда. Был бы курильщиком – задымил бы. Значит, у них затруднения. Экие приятельские отношения возникли вдруг между барином-начальником из летающего вагончика и мелким домовым, перебежчиком к тому же, каким его, несомненно, числили Отродья Башни. Или могли числить… Затруднения. Так, стало быть, ими, возможно, и объяснялось затишье в Останкине. Вот-вот Отродья намерены были открыть боевые действия, грозовые тучи набухали, производились и атаки с погромом музыкальной школы, и вдруг линия огня сама по себе как бы исчезла. Надолго ли? Вряд ли надолго. Шеврикука не сомневался в этом. Не сомневался и в том, что Отродья с компьютерными или какими там Лихорадками и вирусами разберутся и без его участия. Кстати, не прихворнул ли Б. Ш., Белый Шум, не оттого ли его заменили Тыслой и Потомком Мульду? Оплошным созданиям гуманитариев всякие Лихорадки и Блуждающие Нервы, видимо, были нипочем. Впрочем, что Белый Шум! В больших играх и затеях и он, как Шеврикука, наверняка был «несущественной частностью».

Однако растерянность, а с ней и усталость порой и впрямь угадывались в словах и интонациях Бордюра. И разлегшийся на бульварах Пузырь их обеспокоил. Но может быть, проявления растерянности и усталости были показные, обманные, и предназначались они ему, Шеврикуке, для дальнейших толкований и рассмотрений. А потом и для ложных сведений. Но за кого сегодня держали его Отродья Башни? Теперь-то к нему приглядевшиеся. Причем, как и Увещеватель в Обиталище Чинов, Бордюр давал понять, что и они о всех подробностях жизни Шеврикуки осведомлены. К тому же сам себя Бордюр аттестовал проницательным. Пусть будет и проницательным.

Ни слова при этом, отметил Шеврикука, ни слова не было произнесено о полуфабрикате Пэрсте-Капсуле, специалисте по катавасиям. И будто бы Отродий вовсе не занимала судьба (или простое движение) двух вешиц, переданных Пэрстом Шеврикуке.

Подавай им, видите ли, привидения и призраки. Коли надо, подадим. Подадим.

А к Пузырю, стало быть» скоро приблизятся Лихорадки и Блуждающий Нерв…

42

Флейтиста Садовникова не было дома, и Шеврикука посчитал возможным заглянуть в «Словарь античности». Так… всадники… в Древнем Риме… Ага… «Второе после сенаторов сословие с имущественным цензом 400 тысяч сестерциев»… А сестерций? Это что еще за ценность? Оказалось, самая мелкая римская серебряная монета. Но и на четыреста тысяч мелких серебряных монет, наверно, можно было жить. Тем более что занимались всадники прежде всего крупной торговлей и откупом налогов с провинций. Эким дальновидным мечтателем проявлял себя нынче Концебалов-Брожило! А – оптимат? Так, от слова «лучший». Но выходило, что оптиматами, самым знаменитым из них слыл Сулла, могли быть лишь сенаторы. Впрочем, что Концебалову правила и установления какого-то Древнего Рима с его жалкими семью холмами, у нас в Москве холмов торчало (когда-то) куда больше! Дерзай, дерзай, Концебалов-Брожило, в грядущем – Блистоний! А вот сведения об оболе Шеврикуку разочаровали. Или удивили. Эта греческая монета весила меньше грамма, чеканили ее из серебра или меди. Обол клали в рот умершим как плату перевозчику Харону при переправе в подземное царство Аида. Этакий символический денежный взнос. А кругляш, добытый Пэрстом-Капсулой и вправленный позже Гликерией в перстень, весил куда больше грамма и был (на вид) золотой. Но, впрочем, Петр Арсеньевич и не утверждал, что это именно обол, он говорил, что кругляш вроде бы обол, то есть пропуск куда-то или во что-то, нам неизвестное. Возможно, пока – неизвестное. Но не исключено, что это пропуск и в ловушку.

«Что это Дуняша не является за покровским биноклем?» – подумал Шеврикука.

И он послал сигнал в сторону лыжной базы, предназначенный Дуняше-Невзоре. Ровный сигнал, сдержанный. Не было в нем волнения и призыва немедленно явиться. Просто Шеврикука напоминал о том, что согласился исполнить поручение Дуняши, а уж они там как хотят…

Никакого ответа он не ощутил.

«Ну, их дело», – посчитал Шеврикука.

Однако пришло к нему и чувство досады. Совсем, что ли, не заинтересованы в нем Дуняша и в особенности Гликерия? А хотя бы и совсем не заинтересованы! Что ему? Стало быть, пребывают в

благополучии и нечего о них беспокоиться. Не следовало ему стараться и отправлять в розыскную экспедицию на Покровку Пэрста-Капсулу.

Так досадовал Шеврикука на Дуняшу и Гликерию, а сам понимал, что готовит себя к завтрашнему походу под маньчжурский орех.

Вечером в томлении, душевном и плотском, а потому и в рассеянности, Шеврикука бродил асфальтовыми тропами неподалеку от Землескреба и чуть было не столкнулся с правильным гражданином Радлугиным. Радлугин несся возбужденный, возможно, искал Шеврикуку с неизбывным желанием собеседования. Остановились. Поздоровались. И тут Радлугин смутился, будто забыл, о чем был намерен говорить. И все же начал:

– А не кажется ли вам, уважаемый Игорь Константинович, что наш… этот… Пузырь – попечительский?

«Не кажется ли» было произнесено явно из деликатности, конечно, по понятиям Радлугина, уважаемый Игорь Константинович все до решающих тонкостей знал о Пузыре, и теперь Радлугин полагал, что и ему (и по заслугам) могли быть открыты хоть крохи большого знания. Пусть и намеками.

– Да… Попечительский… – повторил Радлугин.

– То есть? – Брови Шеврикуки строго и начальственно опустились.

– Попечительский… Прислан и опущен с целью опекать Останкино. Кормить, снабжать, успокаивать умы, содержать в чистоте. А его хотят разделить. Или вовсе забрать от нас. Мы создали кружок… или сообщество… с самостоятельной программой… Мы уже послали манифесты и петиции в разные места… И в Страсбург, в Европарламент… О соблюдении прав потребителя и человека… Хотя бы на этот раз… И мы желали бы чуть-чуть, сколько дозволено, знать о Пузыре, чтобы выстроить план соучастия…

– По-моему, вы еще не до конца разобрались с затмениями, – укоризненно произнес Шеврикука.

– Да, да, но мы разбираемся и разберемся! Это тем более важно теперь, чтобы было учтено, если вдруг пойдет дележ Пузыря, кто и как вел себя во время затмения, а потому и доля каждому была бы определена по справедливости и гражданской ценности…

– Давайте сегодня более не будем говорить о Пузыре, – указал Шеврикука.

– Ах… что? – растерялся Радлугин. – Все. Я понял… Но еще об одном… Если у вас есть минута времени… Вы и вправду не в раздражении от того, что я и супруга решили перейти из государственной службы в

коммерческую? Я в муках. Не противоречит этот переход чему-либо?

– Не противоречит, – мрачно сказал Шеврикука.

«Катился бы ты отсюда в сей же момент на коммерческую службу!» – пожелал Шеврикука. Собеседник ему надоел. Но Радлугин и не собирался катиться куда-либо в сей же момент. Он стал уверять Шеврикуку, что переходит в коммерческую службу из высоких соображений, а не корысти ради, не из эгоистических или животных желаний разбогатеть. Хотя что плохого в богатых? Если каждый из нас разбогатеет, то и Отечество станет богатым. Нет, ничего такого он не имел в виду, Отечество у нас и теперь, конечно, богатое… Да, можно бы жить сытно и плотнее прильнуть к культуре, с воодушевлением рассуждал Радлугин. А какое удовольствие богатому человеку стать покровителем шикарной женщины…

– Что-что? – спросил Шеврикука.

– Ну… – смутился Радлугин. – Это я к слову и теоретически… Уж конечно, не про себя… Я лишь предположил… Богатый человек может позволить себе покровительствовать шикарной женщине… Как произведению искусства. Или природы… И морально… И советами… И вообще…

«Как же! Не про себя!» – подумал Шеврикука. Сказал:

– И где же они обнаружатся, шикарные-то женщины? Что-то их не видно вокруг. И у нас в Землескребе их нет.

– В Землескребе есть, – убежденно сказал Радлугин.

– Это кто же?

– Неважно… – Радлугин, возможно, хотел укрыть от Шеврикуки имя прельстившей его женщины, но не выдержал, видимо, произнести ее имя было ему приятно: – Ну вот хотя бы Легостаева Нина Денисовна…

– Кто-кто? – Брови Шеврикуки теперь взлетели вверх.

– Нина Денисовна Легостаева…

– Это которая по общественным наукам? И в очках?

– Иногда она снимает очки…

– Вот как? Но она же, как помнится из ваших сообщений, понесла от Зевса?

– Она так уверяет. Но это не имеет никакого значения. … – Действительно, это не имеет никакого значения, – согласился Шеврикука. – Что же, желаю вам разбогатеть. А за Пузырем наблюдайте.

«Жаль, что в Землескребе не проживает Совокупеева Александра Ильинична, Александрин, – подумал Шеврикука в квартире пенсионеров Уткиных. – Она уж точно бы приглянулась будущему покровителю шикарных женщин. Эко его изнудила супруга-то!» Вспоминать все

подробности Совокупеевой было Шеврикуке сладко. Но он сразу же понял, что, вспоминая Совокупееву, старается отвести от себя мысли об Увеке Увечной. Хорошим зельем угостила его в профилактории Малохола улыбчивая Стиша. Томление плоти испытывал теперь Шеврикука. В этом не было ничего приятного или благообещающего. Конечно, Шеврикука мог напомнить себе известное: вся наша жизнь на Земле является томлением души, плоти и разума. Но стало ли ему от этого легче? Совсем недавно он высокомерно-прохладно отнесся к вздохам подселенца Пэрста-Капсулы о томлении всей его сути. Пэрст же, наверное, тогда страдал. Сейчас маялся он, Шеврикука.

«А не подняться ли мне к Денизе? – пришло в голову Шеврикуке. – К Нине Денисовне Легостаевой, столь любезной Радлугину? Оказывается, она и очки стала снимать». Пожалуй, давно Шеврикука, невидимым, но осязаемым и ощутимым, не появлялся в квартире Легостаевой. Да и от Денизы чувственные вызовы к нему не поступали. Шеврикука набрал известный номер, трубку подняли, Шеврикука подышал тяжело и взволнованно, ожидал услышать привычное: «Это ты, милый?.. Приходи… Умоляю… Приходи…» Однако трубку, не слишком, правда, решительно, положили на место. Минут через пять Шеврикука звонок повторил, опять трубку подняли, но теперь Шеврикука понял: сделала это мужская рука. «Чего вы там дышите? У вас астма, что ли? – услышал он невежливое. – Вам кого?» «Сторожа консерватории! – грубо сказал Шеврикука. „Здесь квартира“. – „Не валяйте дурака, здесь всегда была консерватория!“ На этом общение с квартирой Легостаевой прекратилось.

Шеврикука был чуток к звукам. Но сейчас он так взволновался, что не мог сказать определенно, радлугинский голос он слышал или нет. Шеврикука колебался. Конечно, если Денизу посещал приятный ей кавалер, соваться теперь в ее квартиру было делом неприличным. Но вдруг там пребывал гость незваный, может, даже насильственно вломившийся? Или, скажем, врач, приглашенный внезапно захворавшей Денизой? Тогда он, Шеврикука, был обязан по службе хоть на мгновение заглянуть в квартиру Легостаевой.

И заглянул.

Радлугин украшал собой жилище Нины Денисовны, Радлугин! Легостаева, и впрямь позволившая себе снять окуляры-директивы, сидела в кресле, а Радлугин на коленях стоял у ее ног. Весь он был – упоение и страсть. Виделся он Шеврикуке оголодавшим самцом, освободившимся от оков общественно-государственных добродетелей и благоприличий. Расслышал Шеврикука заверения Радлугина отвезти прекрасную Нину

Денисовну через год, нет, через полгода на пляжи Балеарских островов Легостаева смотрела на него удивленно-обеспокоенная, но с глаз долой не гнала. «Да способен ли такой Радлугин, – думал Шеврикука, – на гражданские подвиги? Вряд ли уже способен. Этакий натворит дел. Или что-нибудь разворует! Надо будет со строгостью через Пэрста-Капсулу напомнить ему об общественном долге!»

И Шеврикука удалился из квартиры Легостаевой.

Подругой своей Легостаеву Шеврикука никак не мог считать. Хотя и относился к ней с приязнью. И уж тем более не мог считать ее своей собственностью. Стало быть, ему следовало пожелать Денизе и Радлугину взаимных удовольствий, если их интересы и тела сблизятся. И пусть младенец, воображенный Денизой (и Радлугина Нина Денисовна попросит называть ее Денизой?), пусть младенец этот случится не от Зевса. Совет им да любовь. И пляжи Балеарских островов. Однако Шеврикука был раздосадован и раздражен. Будто ему изменили. Или будто его обокрали. Или просто оставили в дураках. И все же Шеврикука уговорил себя не быть мелочным и никаких препятствий сближению Радлугина и Легостаевой не устраивать. Тем более что у Радлугина, может, ничего и не возгорится. Может быть, Дениза с презрением относится к пляжам Балеарских островов и попрежнему питает слабость к казематам Петропавловской крепости.

Одно было замечательно. Раздражение Шеврикуки и его досады отменили томление его плоти. Значит, на зелья Стиши имелись и противоядия.

Впрочем, под маньчжурский орех Шеврикука намерен был отправиться.

И в среду он совершил поход в Ботанический сад.

Увека ждала его.

– Здравствуйте, – сказал Шеврикука. – Это вы в двух записках просили меня о встрече? Подпись стояла «В. В.».

– Здравствуйте. Очень признательна. Да, это я. Векка Вечная. Конечно, в этом имени есть претензия. Но так теперь меня называют.

– Чем могу быть полезен вам? Чем вообще вызван ваш интерес ко мне?

– Я давно наслышана о вас. Я знаю вас. Пусть и издалека. Я, может быть, влюблена в вас…

– Оставим разговор об этом, – нахмурился Шеврикука.

– Хорошо… Оставим… – Барышня растерялась. Замолчала. Губы ее дрожали.

Увека, или Векка, похоже, не знала, как вести разговор с Шеврикукой. Шеврикуке же нечего было сказать ей. Так они и стояли. Теперь Шеврикука мог разглядеть просительницу внимательнее, нежели бабочкой с ветки липы. Со слов Гликерии и в особенности Дуняши и по иным сведениям, Шеврикуке было известно, что Увека Увечная, пробившаяся в мещанские привидения тридцать шестой сотни из кикимор, а по весне объявившая себя Веккой Вечной, слыла бойкой, неугомонной, развязной, лезла во все дыры и во всякие приключения. Никакие благопристойности для нее не существовали. Она, будто и не обращая внимания на свое малое значение в сословии, беспутно искала богатств и фавора. Пробивалась в путаны, в фотомодели, в мисс и в миссис, имела удачи. Попыталась даже перебраться в места со сладкой жизнью, для начала хотя бы в Лихтенштейн, но была задержана и отправлена в холодную. Однако и из холодной, стало быть, сумела вырваться, раз по средам могла позволить себе прогулки в Ботаническом саду.

Выходило, что свидание Шеврикуке назначила несомненная княжна Тараканова, распутная и злокозненная. Но стояла перед Шеврикукой вовсе не княжна Тараканова, а хрупкая, худенькая старшеклассница, возможно, и ни разу не целовавшаяся с парнями. Лицо у нее было почти детское, светлое, а серые глаза – лучисто-искренние. Как и в прошлую среду, оделась Увека скромно, недорого – темная юбка до колен, бледно-голубая вязаная кофта. Такую барышню следовало опекать, жалеть и лелеять. Руки Шеврикуки подались вперед, будто он вознамерился поднять барышню и носить ее, легкую, нежную, под редкими иноземными деревьями. А то, может, и воспарить с ней…

«Э нет! – охладил себя Шеврикука. – Этак я растаю и рассироплюсь. Для меня сейчас в этом нет никакой нужды!» И он снова подавил в себе действие Стишиного зелья. Но, может, Стиша и не угощала зельем, а были в ее чашах именно благородно-бодрящие напитки?

– Вот что, – сказал Шеврикука. – У меня мало времени и хватает дел. Для лирических прогулок и бесед у нас нет простора. О какой помощи вы хотели бы просить меня? Какое у вас ко мне дело? Я многого не могу обещать вам. То есть я вообще ничего не могу вам обещать. Я вас плохо знаю.

– Вы можете узнать меня лучше, – подняла глаза Увека-Векка, они попрежнему были влажными.

– Пока не вижу в этом необходимости.

– Я хотела бы стать сподвижницей Шеврикуки в его делах. Исполнять все, что укажет или прикажет.

– Вот тебе раз! – удивился Шеврикука. – И какие же такие нынче дела у Шеврикуки, сделайте одолжение, проясните.

– Вы знаете сами какие. А мне известно кое-что. Мне известно направление ваших дел.

– Вы ошибаетесь.

– Я не ошибаюсь, – убежденно сказала Увека-Векка. – Я хочу служить вам.

– Спасибо за предложение услуг. И давайте закончим на этом разговор.

– Вы одиноки… – с печалью и будто сострадая Шеврикуке, произнесла Увека-Векка. – А теперь, когда вы и Отродья Башни…

– У вас есть интерес к Отродьям Башни? – быстро спросил Шеврикука.

– Да! Есть! Интерес! – в волнении выдохнула Увека-Векка. И в глазах ее безусловно проявился интерес к Отродьям.

– Знаете что… – задумался Шеврикука. – А не хотели бы вы, чтобы я познакомил вас с кем-либо из Отродий?

– Хотела бы! – выпалила Увека.

– Ладно. Через неделю, но не в три, а в два часа они отыщут вас здесь. Если у вас, конечно, случится время для прогулки.

– Случится!

– И отлично. А там посмотрим.

«Вот пусть Бордюр и выходит на Векку-Увеку, – подумал Шеврикука. – И пусть налаживает с ней отношения. Коли им нужны привидения и призраки». Был повод потереть руки.

– Теперь я, пожалуй, пойду, – сказал Шеврикука. – Ваши слова я принял к сведению. Но ждут служебные хлопоты. До свидания.

Уходил он неторопливо, даже непривычно для себя степенно. Но в мыслях он от маньчжурского ореха бежал. Побыстрее отсюда и подальше! «И надо же было произнести дурацкое „до свидания“! – бранил себя Шеврикука. – Какие еще могут быть у нас с ней свидания! И все-таки она меня зацепила… Или сумела зацепиться за меня…»

А навстречу ему несся Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный с букетом гвоздик в руке. Пролететь мимо Шеврикуки он не мог, остановился и принялся будто бы оправдываться:

– Игорь Константинович, вы извините, что в прошлый раз не заметил вас здесь… Спешил… И сейчас спешу… В Оранжерею… К змею моему… Анаконде… Любит, стервец, гвоздики… На десерт…

– Ну и бегите, – поощрил его Шеврикука. – А то ведь бедняга расстроится.

Шеврикука прошагал метров десять. Не выдержал. Обернулся. Теперь тело Векки-Увеки не показалось ему хрупким. Напротив, эта барышня вполне могла бы вызвать у любителей горячие чувства.

Крейсер Грозный подскочил к ней, поклонился, преподнес гвоздики. Увека приняла их.

Змей Анаконда опять остался без десерта.

43

Через три дня в Останкине, да и во всей первопрестольной, стало доподлинно известно, что Пузырь будут раздавать. Принято постановление. Конечно, последуют еще дебаты и голосования, не исключено, что и с мордобоями. Но Пузырь будут непременно раздавать. И всем должно достаться. Неизвестно, правда, по скольку. Просочились сведения о том, что Пузырь соизволил впустить в себя представителей, уполномоченную комиссию и специалистов разных свойств. И будто бы оказалось: все эти супы-концентраты, упаковки с макаронами и с аспиринами были лишь мелким преподношением Пузыря. Или мелким его баловством. Чего только не обнаружилось в открытых, пусть пока и избранным, недрах Пузыря! Будто там и автомобили крутились, сверкая боками, на подвижных стендах, и плавали яхты, какие люди с капиталами из Воронежа или Куртамыша Курганской губернии могли держать на своих причалах в гаванях анатолийского побережья Турции. Конечно, не исключено, что сведения расползались ложно обнадеживающие или из голов возбужденных фантазеров, но им хотелось верить. В недрах Пузыря будто бы никакие неземные голоса не звучали, а если Пузырь на что-то указывал или к чему-то призывал, то эти указания и призывы мгновенно воспринимались мозгами, а то и чувствами ответственных и догадливых гостей. К тому же в сусеках Пузыря (если были в нем сусеки или отсеки) имелись инструкции на русском языке – и без всяких опечаток или грамматических вывихов – с разъяснениями, что делать, что и откуда брать и к чему стремиться. И якобы в инструкциях содержалось требование: все явленное раздать гражданам, имеющим постоянную прописку, иначе добро Пузыря отправится восвояси.

Что-что, а всегда у нас на Руси доставляли удовольствия населению чаяния Белых Вод.

Понятно, что Останкино было теперь особенно возбуждено. И не только Останкино. Не охлаждало пыл энтузиастов и мнение угрюмых о том, что никакие лимузины и яхты отпускать не будут, а выдадут по спискам талоны, ими потом и дыру на обоях не заклеить. Но у всех были свои грезы и интересы. Известный критик и литературовед Вадим Евгеньевич Ковский уверял меня в коридоре Литинститута, что одаривать станут одними носовыми платками. Преимущественно темно-синими – чтобы реже можно было стирать. А не менее известный литературовед и

критик Владимир Павлович Смирнов, тверской по происхождению, мечтательно говорил, что выдавать будут исключительно просмоленную дратву для подшития калязинских валенок, а в приклад к ней деревянные гвозди – эти для крепления на уже подшитых валенках кожаных пяток. А помолчав, он с приязнью стал вспоминать о Лейпцигском университете и мягких тамошних складных диванах. Похоже, что и лейпцигские университетские диваны оказались бы теперь нелишними.

В пору всеобщего в Останкине возбуждения и томления душ подала наконец Шеврикуке сигнал вызова на свидание Дуняша-Невзора. Там, где они встречались в прошлый раз, лежал Пузырь, и Дуняша пригласила Шеврикуку к табачному киоску на улице Королева. Пребывала она нынче не в печали и не в тревоге, а в деловом оживлении. Мантилью оставила в шкафу, нарядилась в джинсовый костюм.

– Принес? – спросила Дуняша.

– Примите, пожалуйста, – Шеврикука протянул Дуняше бинокль.

– Вот и спасибо, – сказала Дуняша. И будто бы была намерена сейчас же куда-то бежать.

– Что-то вы не торопились забрать бинокль?

– Много хлопот и деловых устройств.

– А второй предмет?

– Пока он нам не надобен.

– Ну, смотрите.

И опять, неожиданно для Шеврикуки, движениями своими и взглядами Дуняша-Невзора давала понять, что беседовать ей с Шеврикукой не о чем, добыл он им бинокль, и ладно.

– Ты о чем-то хочешь меня спросить? – поинтересовалась все же она.

– О Совокупеевой, Александре Ильиничне, – пришло на ум Шеврикуке. – Ты сражалась с ней в нижних палатах Тутомлиных. А тебе по ночам приходится являться и в ее квартире на Знаменке. Не деретесь более-то?

– Мы с ней почти сдружились! Она со мной и Гликерией Андреевной вошла в одно дело.

– Это какое же?

– Устраивают Мастерскую… или Ателье… Или Агентство… Колдунов, ведьм и привидений. Может быть, именно на Покровке. И мы – там…

– Что за услуги вы будете оказывать населению?

– Самые разнообразные! – с воодушевлением заявила Дуняша. – Снимать порчи, сглазы, наговоры, а коли нужно – отменять проклятия.

Вызывать духов. Проверять подлинность деловых документов, определять надежность партнеров в бизнесе, давать финансовые прогнозы. Гадать на кочерыжке. Много всяких услуг.

– Как я понимаю, вам теперь не нужен проводник?

– Проводник нужен. Но обойдемся без тебя.

– А отчего же вы… Ваше Агентство… при таких талантах и возможностях не освободите Гликерию Андреевну от ее… от тяготящих ее обязательств?

– Не твое дело! – резко сказала Дуняша.

– Не мое, – согласился Шеврикука.

– Не ехидничай, Шеврикука! Сам ты не перестаешь думать о Гликерии. А она в тебе не нуждается. У нас все хорошо!

– С чем я вас и поздравляю.

– А ты пожалеешь, что связался с Увекой Увечной! Конечно, она теперь малышка и милашка. Но смотри…

– Хватит об этом! – оборвал Дуняшино предупреждение Шеврикука. – Дел у тебя ко мне более нет. А потому я отправляюсь в свои квартиры.

«Странно, что Дуняша, служанка предприимчивой и рискованной госпожи, не выказала никакого интереса к Пузырю и к тому, что его будут раздавать, – подумал Шеврикука. – Наверняка и они подбираются к Пузырю, но неизвестным мне манером…»

А интерес к Пузырю и грядущей его раздаче, естественно, проявляли не одни лишь люди. Воробьи и те озабоченно переговаривались вблизи боков Пузыря в надежде урвать крошки. Несомненно, в напряжении находились Отродья Башни. И домовые не желали чего-либо проморгать или упустить. Шеврикуку эстафетой оповестили, как непременного и действительного члена, что он обязан посетить ближайшие деловые посиделки в Большой Утробе. Можно было предположить, о чем пойдет речь на посиделках. Конечно же о том, чтобы никто из квартиросъемщиков, ответственных и рядовых, не оказался в убытке или потерпевшим. А коли добро, хоть какое, пусть и неестественного происхождения, прибудет в поднадзорные жилища, стало быть, возникнет повод для удовлетворений и домовым. А потому надо приглядывать за бумагами и списками в коммунальных конторах, дабы ни один из имеющих право не выпал и не убыл из ценных списков, а обладающие льготами не были забыты. Ясно, что все держали бы в голове мысль о том, что и им, домовым, из Пузыря хоть по малостям, но что-нибудь да и отсыплется. Такой наглец, как Продольный, ни при каких обстоятельствах не упустил бы своего. И чужого.

Радлугин все еще считал Пузырь попечительским. Но он, похоже, смирился с тем, что попечительский Пузырь будут раздавать. И не одним лишь останкинцам. Он, возможно забыв на время о шикарной женщине и Балеарских островах, со своим сообществом и в соответствии с их самостоятельной программой яро хлопотал о присуждении льгот и призов всем, кто благонамеренно проявил себя во время Солнечного Затмения. Но прокатились слухи о том, что льготы будут предоставлены прежде всего Фондам. В этом же уверил Шеврикуку прикативший к Землескребу в синем «форде» отечественный предприниматель Дударев (если помните, неделями назад он ездил в серой «тойоте», а весной – всего лишь на велосипеде). Оказывается, Дударев улетел загорать на Аляску, но, узнав о раздаче Пузыря, вынужден был прервать отпуск. Вчера – все бумаги подписаны и упечатаны – был создан Фонд защиты и поощрения Привидений. Служебными ручьями поплыли и другие бумаги. Как только они доплывут, куда надо, возникнет концерн «Анаконда» с участием (на первых порах) японского капитала. О названии и эмблеме концерна спорили. Иные (Свержов и Бордюков в их числе) предлагали дать ему имя «Шмель» – в память о незабвенном, но отмененном историей Департаменте Шмелей. Они же с укором напоминали о существовавшем когда-то в Америке злодейском концерне-монополисте «Анаконда», бессовестно грабившем простых, но честных тружеников. И все же победили анакондисты. Тем более что имелся живой символ концерна – амазонский змей, дрыхнувший пока в Оранжерее. Но змею уже определена зарплата, а во дворе (или на усадьбе) Тутомлиных вскорости и безвозмездно ему построят крытый бассейн с илистым дном и порхающими тропическими мухоловками. Погонщиком и научным смотрителем змея утвержден (по совместительству) Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный.

«Ага, – подумал Шеврикука. – Он его откормит гвоздиками».

– А размещаться мозговой центр концерна и Фонд Привидений, – сказал Дударев, – будут, скорее всего, в доме Тутомлиных на Покровке. Сдавать в аренду мы его не станем. Так что готовьтесь, Игорь Константинович. Скоро там начнутся паркетные работы. Мы вам и ставку повысили.

– А сколько же я раньше получал? – поинтересовался Шеврикука.

– Ну-ну, не дуйтесь! – Дударев по-дружески похлопал Шеврикуку по плечу. – Важно, что теперь вы будете получать в месяц тысячу швейцарских франков.

– Франками?

– Нет. В эквиваленте.

– В каком эквиваленте?

– В рублевом, в рублевом! – обрадовал Шеврикуку Дударев. – А вы небось испугались, что в долларовом? Шутник вы, Игорь Константинович!

Однажды вблизи Пузыря в толпе любопытствующих Шеврикука углядел сановного домового Концебалова. Концебалов-Брожило, в грядущем – Блистоний, совсем не походил сегодня на римлянина. Не было на нем сандалий и тоги, а были кроссовки и оранжевая роба ремонтника дорожных покрытий. Из-за какого резона Концебалов пожелал выглядеть ремонтником, Шеврикука узнавать не стал.

– Да… Махина… – произнес Концебалов. Потом резко повернулся к Шеврикуке. – А ведь, пожалуй, скоро сюда нагрянут Лихорадки… Не все, конечно…

– И Блуждающий Нерв?

– И Блуждающий Нерв…

Шеврикука ожидал продолжения разговора, затеянного Концебаловым в коридоре Китайгородского Обиталища Чинов. Но Концебалов долго молчал. Взирал на Пузырь. Молча достал из кармана робы фотографию. На ней был засвидетельствован незнакомый Шеврикуке предмет, похожий то ли на ромовую бабу, то ли на большой наперсток.

– Вот ведь что я хочу добыть у одной из Лихорадок, – сказал Концебалов. – Точнее будет сказать – вернуть… Уступил как-то в ходе одной истории… Были там и другие вещи… Но этот для меня сейчас важен…

– Что это? – спросил Шеврикука.

– Омфал, – сказал Концебалов. – Вещь, правда, не римская, а греческая… Но все равно… Копия того, что стоял в Дельфах… Уменьшенная, естественно… Но хорошая копия, старая…

Фотографию Концебалов убрал в карман и более не произнес ни слова. И позже разговор с Шеврикукой у них не возобновился. Но очевидно было, что Концебалов прибыл в Останкино не в последний раз.

Пришлось Шеврикуке снова листать «Словарь античности». Вот что он прочел. «ОМФАЛ (греч. пуп) др. культовый объект в Дельфах, считавшийся центром („пупом“) Земли (представляли, что существует и „пуп моря“). Этот посвящ. Аполлону камень хранился в его храме, имел вид монолитной глыбы и находился в целле».

Шеврикука вернул словарь на место. Долго стоял у окна в квартире Садовниковых. Вот тебе и Концебалов! Пуп Земли! Но понял: и Концебалов сумел зацепить его. Слабая он, Шеврикука, натура…

Вскоре Шеврикука почувствовал, что с ним желает говорить Пэрст-Капсула.

Шеврикука поднялся в получердачье. Эксперт по катавасиям молча, но торжественно протянул Шеврикуке деревянную палку с набалдашником, инкрустированным янтарем.

Шеврикука чуть было не принялся откручивать набалдашник. Но не сделал этого.

– Попытался, – сказал Пэрст-Капсула. – И нашел. На Кондратюка. В доме вашего знакомца… Петра Арсеньевича… Обнаружились прежде не замеченные мной полости в плитах перекрытия…

Но Петра ли Арсеньевича была эта палка? Трость… Посох…

– Спасибо, – сказал Шеврикука. – Укрой ее где-нибудь… На время…

44

Прошла неделя, и в субботу в полдень Пузырь впустил в себя четыре грузовика-рефрижератора. С прицепами. Дебаты и голосования вышли благопристойными и скорыми. Видно, и голосовавших подгоняло нетерпение. К тому же, как известно, им полагалось разойтись на каникулы. Плетеные корзинки с клубникой, напоминавшей о том, что не за горами яблочный Спас (а прежде Илья Пророк примется прохлаждать воду в прудах, морях и океанах) и надо будет готовить сани, стояли теперь у многих законосозидателей как раз рядом с клавишами для волеизъявлений. И клавиши сработали. Но наверняка иные избранники и на каникулах желали быть в пределах досягаемости Пузыря. Хотя бы из чувства ответственности перед народами своих земель. Или из любопытства.

Но и их это было дело…

Пронеслось мнение, высказанное и с трибуны, что – при бдениях уполномоченных наблюдателей и недреманного ока – грезы каждого Пузырем будут осуществлены. Но мнение это тотчас было признано популистским и рассчитанным на немедленные суетные прибыли. Однако выразители мнения, обещавшие к тому же всяческую поддержку Пузырю, несомненно, многим запомнились.

«Осуществятся грезы… – размышлял Шеврикука. – Ну-ну… Концебалов-Брожило откроет глаза, протянет руки к Пузырю, и на ладонях у него восстанет Омфал, родственник дельфийского Пупа Земли… А может быть, греза у Брожилы такая страстная, что незамедлительно состоится возведение Концебалова, минуя достоинства всадника и оптимата, прямо в Пупы Земли…»

Сразу же Шеврикука вспомнил, что домовых ни в какие списки не внесут, а грезу Концебалова, пусть и самую страстную, принимать во внимание никто не станет.

Но вскоре разговором с домовыми Ягупкиным и Колюней-Убогим размышлениям Шеврикуки был дан совершенно иной ход. Повстречались они вблизи музыкальной школы. Там, как слышал Шеврикука, проводили теперь ремонт. С ленцой и с денежными страданиями. Шеврикука намеревался кивнуть Колюне с Ягупкиным, но в беседу не вступать. Безумные нынче глаза свои Колюня-Убогий таращил в небеса, из приоткрытого рта его вот-вот, похоже, могла потечь слюна. Ягупкин шагал без костылей, двумя ногами, харя неопрятного бездельника была

попрежнему заросшая рыжим волосом и опухшая. Шеврикука понял, что дерзить ему Ягупкин не будет и бузотерить не будет, его, как, видимо, и Колюню-Убогого, словно бы ошарашили некой новостью, и привыкнуть к ней он был не в силах.

– Слушай, Шеврикука, – остановился Ягупкин. – Это как же такое? Это что же с Продольным-то?

– А что с Продольным? – встал и Шеврикука.

– Паспорт выправил! – с ужасом выговорил Ягупкин. – И будто прописан в Землескребе. В отделении милиции поставили печати! Что же это?

– Слухи? – спросил Шеврикука. – Болтовня? Или ты видел паспорт Продольного?

– Я не видел, – покачал головой Ягупкин. – Другие видели. Он хвастался. Показывал. Там его фотография. И печати. Велизарий Аркадьевич видел. Иван Борисович. И вот Колюня видел.

Продолжая таращить безумные глаза в небеса, Колюня-Убогий закивал меленько и быстро, прохрипел нечто, выражающее смятение чувств его натуры.

– Наглость ведь какая! – не мог успокоиться Ягупкин. – Устроить себе людской паспорт!.. Это… Это… Этого не должно быть… Тут покушение на основы… И все для того, чтобы пробиться к Пузырю! Как быть-то нам?

Похоже, немытый бездельник и бузотер Ягупкин, даже он, усмотрел в нынешней наглости Продольного чрезвычайное безобразие с покушением на основы и был возмущен и растерян. А Колюня-Убогий, не исключено, мог и разрыдаться теперь от нечаянной печали.

– Ничего не могу вам сказать, – помолчав, произнес Шеврикука. – Спешу. От вас впервые услышал. Надо выяснить с подробностями, а потом уж и выстраивать соображения.

Но в квартире Уткиных Шеврикука постановил, что и выяснять ничего не надо.

На всяческие основы, предания и приличия наглецу Продольному, пробившемуся в Москву из погоревших и помятых мест хлебать кисели, было всемилостиво наплевать с больших высот. А вблизи Пузыря и не имея возможности попасть в полноправные списки, Продольный страдал, истекал желудочным соком и, естественно, должен был броситься добывать, выторговывать, выцарапывать, устраивать себе людской паспорт, натуральный, может быть, лишь по наружности. (А командир Продольного уполномоченный Любохват – тот небось уже держал в карманах и зарубежную ксиву со штемпелями ОВИРа? Да пусть!)

Но отчего же он, Шеврикука, должен был оказаться в проигрыше Продольному? Ни в коем случае!

Выправить паспорт Шеврикука решил поручить Пэрсту-Капсуле. Конечно, существо, сотворенное или недосотворенное при изучении Проблем энергетического развития судеб (транспортно-биологических), много чего умеющее, могло испечь любые удостоверения личности. Да и сам Шеврикука в нетерпении был способен выгрести бумаги с гербами из воздуха. Но он пожелал иметь документ подлинный. Подлинный. Равноценный и равносильный тем, что при надобностях предъявляли супруги Уткины или Радлугины, поплававший бы по всем канцелярским протокам из клея и чернил, прежде чем на него была бы опущена последняя надлежащая печать. Такая посетила Шеврикуку блажь.

«Можно, – кивнул Пэрст-Капсула. – Можно и подлинный. Но ваши фотографии… Бумаги, справки, какие надо, я достану. А с фотографиями выйдут затруднения…» Шеврикука сходил в дом №19 по 3-й Ново-Останкинской, там в очереди к мастеру срочных портретов стояли четверо. Через день Шеврикука фотографии получил. А еще через день Игорь Константинович Шеврикука был любезно приглашен в паспортный стол, где он и вывел в обязательных местах личную подпись.

Теперь он был не только домовой Шеврикука, но и гражданин Игорь Константинович Шеврикука.

Накануне Шеврикука пребывал в сомнениях. А не украсить ли документ какой-либо курчаво-благородной фамилией? Или, напротив, не укрыться ли ему за тихим, неспособным раздражать чувствительных псевдонимом? Но упрямство, как известно, свойственно Шеврикуке, да и к вызовам судьбе он склонен. Он был теперь Шеврикука, Шеврикукой пока и останется! Пусть кому-то его фамилия и покажется смешной и странной. Впрочем, почему она должна показаться смешной и странной? Полтора века назад в Капельском переулке проживал землемер Николай Андреевич Шеврикука, о нем без иронии недавно вспоминал Увещеватель. Да и в прошлом над землемером никто не похихикивал. В тридцатые годы наш Шеврикука, по долгу службы домовым, знавал почтенную преподавательницу французского языка Ирину Сергеевну Шеврикуку, отменно варившую джемы из белой сливы; ее и ее джемы уважали. А лет десять назад в отчетах «Советского спорта» упоминался полузащитник Альберт Шеврикука из мамадышского «Продуктмаша», забивший четыре гола в игре с мантуровской «Лесосекой». Таким Шеврикукой следовало гордиться!

Не сразу определил Шеврикука квартиру, какая могла оказаться

пристойным и малобеспокойным местом его прописки. Не размещать же себя в чертогах Радлугиных, лишний жилец сейчас бы и обнаружился, пусть и в бумагах, и разгорелись бы скандалы и баталии. И никому Шеврикука не желал создавать поводы для тревог и недоумений. Разумнее было бы подселиться к рассеянным. Рассеянных проживало в подъездах Шеврикуки двое. Гений и колдун Митенька Мельников и предполагавшая родить от Зевса Нина Денисовна Легостаева. За квартирой Митеньки Мельникова наблюдали. Телескопами из трех обсерваторий. По меньшей мере – из трех. В конце концов Шеврикука приглядел квартиру Легостаевой. И теперь он был в ней прописан. Разыскивать Игоря Константиновича Шеврикуку здесь стали бы лишь в двух случаях: при переписи населения и в избирательную кампанию. Перепись населения пока не производилась, считать пришлось бы убывших. Люди же из избирательных комиссий по квартирам не ходили, никому не докучали, не то что шалевшие от подстегиваний государственными кнутами агитаторы прежних лет. Станут, правда, бросать в почтовый ящик Денизы открытки на имя И. К. Шеврикуки с приглашениями изъявить волю. Но мало ли в Москве путаников, да и завлекающие открытки всегда можно будет перехватить.

«Это что же, я теперь – избиратель? – пришло при этом в голову Шеврикуке. – На кой ляд мне все это надо?» Да, узнав о пронырстве наглеца Продольного, он разволновался. Но теперь, когда он листал документ гражданина Игоря Константиновича Шеврикуки, прописанного в Землескребе, с фотографией и печатями, его чуть ли не затошнило с досады на самого себя. Экое мальчишество! Да разве мальчишество? Дурь и безмерная дерзость! И прав был Ягупкин, пусть бездельник и бузотер, называя пронырство Продольного безобразием и покушением на основы. И главное, ему, Шеврикуке, совершенно не нужен был выправленный документ. «Исключительно для того, чтобы суметь отстаивать интересы квартиросъемщиков при раздаче Пузыря. Переусердствовал, но не корысти ради…» – придется объяснять Шеврикуке – и, может быть, в скором времени – тому же Китайгородскому Увещевателю. И выйдет вранье. Шеврикука вздохнул.

– Что-нибудь не так? – услышал Шеврикука голос Пэрста-Капсулы.

Пэрст-Капсула, чьими усердиями был добыт паспорт, стоял рядом, а Шеврикука о нем будто забыл.

– Что? – спохватился Шеврикука. – Нет, все в порядке. Благодарю за услугу. Удивляюсь быстроте, с какой она оказана.

– Самому интересно было пройти лабиринт быстро, – сказал Пэрст-

Капсула. – Есть способы ускорения канцелярской поспешности. Один из них я опробовал. Получил удовольствие.

Шеврикука знал единственный способ ускорения канцелярской поспешности. Но вряд ли Пэрст-Капсула ублажал лиц при конторских книгах и сейфах пачками денег или хотя бы коньяками и шоколадами.

– Да, – сказал Пэрст-Капсула. – Способы есть чисто технологические, в них нет нарушения этики, а есть замена керосина лазерным лучом.

– Я рад, что ты получил удовольствие, – пробормотал Шеврикука.

Опять он почувствовал, что выглядит барином, высокомерно-снисходительно-пустыми словами одобряющим проворного слугу. Ощущение это было ему неприятно. Пустые слова произнес он, пустой случилась его затея.

– Я не знаю… Надо ли об этом ставить вас в известность, – неуверенно начал Пэрст-Капсула. – Но я все же об этом скажу… Среди прочих готовых к выдаче документов я видел паспорт на имя Гликерии Андреевны Тутомлиной…

– Вот как? – удивился Шеврикука. И тут же сообразил: а что удивляться-то? Впрочем, одна странность была: отчего паспорт Гликерии Андреевны Тутомлиной (что ж, Гликерия имела право назвать себя и Тутомлиной) был намечен (видимо – ею) к осуществлению именно в Останкине? Не логичнее было бы Гликерии получить прописку в иной префектуре, на Покровке, в доме Тутомлиных? Или останкинская прописка давала ей больше выгод и выходов к Пузырю? В этом следовало разобраться…

– А… – начал было Шеврикука.

– Нет, – сказал Пэрст-Капсула. – На всякий случай я заглядывал в бумаги. В Останкине ни одна из интересующих вас особ документ не заказала… Ни дама, приходившая к вам в мантилье, ни просительница, объявлявшаяся под маньчжурским орехом… Может быть, они пожелали в других местах… Или у них нет возможности…

– Может быть… – рассеянно сказал Шеврикука. – Может быть…

– Есть мне еще какие-либо поручения? – спросил Пэрст-Капсула.

– Нет. Никаких более поручений нет. Еще раз спасибо, – сказал Шеврикука. – Да… Вот что… Я был бы очень удивлен, если бы Гликерию Андреевну Тутомлину прописали в Землескребе…

– Нет, – сказал Пэрст-Капсула. – Ее прописали в строении, расположенном от Землескреба в семистах двадцати метрах…

– И то ладно… – пробормотал Шеврикука, отпуская взглядом покидавшего его Пэрста-Капсулу.

Известие о паспорте и останкинской прописке Гликерии успокоило Шеврикуку. Отчасти даже развеселило его. Более он себя не бранил, не обзывал безрассудным прохвостом. Паспорт в любой миг можно было разорвать в клочья, а упоминание Игоря Константиновича Шеврикуки в казенных бумагах истребить. Но пока этого не стоило делать.

«А сам-то Пэрст, – задумался Шеврикука, – не соизволил и себе завести паспорт? А хоть бы и соизволил…»

45

Оживление страждущих вблизи Пузыря (нельзя сомневаться что и в местах от Останкина отдаленных) нарастало. Конечно, у каждого, повторюсь, были свои, может, не объявленные даже самим себе из суеверия или боязни, что уворуют идею или мечту, интересы и упования. Но иных уже высказанные интересы и упования стягивали веревками взаимных расположений в новые Сообщества, Комитеты и Союзы. Очень шумно и целенапряженно заявила о себе Лига Облапошенных. Охотников присоединиться к Лиге Облапошенных поначалу сыскалось мало. С неудачниками и раззявами викторий не добудешь. Ни под Нарвой, ни под Полтавой шведа не одолеешь. Но вскоре явились поводы для удивлений. Учредители Лиги полагали себя облапошенными при разделе Пузыря. Позвольте, говорили им, раздача Пузыря еще и не начиналась. На днях начнется, произносилось в ответ, и тогда нас непременно одурачат, облапошат, а мы потребуем компенсаций за морально-эстетические поражения и вещественные убытки. То есть глупое, на взгляд простодушных, дело оказывалось вовсе не глупым, а напротив – чрезвычайно грядуще-выгодным. Все сразу же вспомнили, что и они не менее других облапошенные, обманутые и одураченные. И не раз. При этом – обманутые и одураченные не уголовно наказуемыми мошенниками, каких можно изловить и вздернуть, а историческими стихиями – прогибами эпохи, государственными затеями, переустройствами общих судеб и прочим. Мало кто признавал и себя виноватым в том, что поддался одури, смалодушничал или струсил, – это все были простофили или тонкоустроенные натуры. Большинство же и не сомневалось в том, что ими крутила лихая и неодолимая сила. Да и приятно, умилительно даже было опять ощутить себя жертвой стихий и обстоятельств, слезу пустить вниз по щеке, помня досады прежних лет, а в грядущее направить бранные слова, в порывах же отваги – и обещания навести в грядущем порядок. Что и говорить, уместным показалось теперь многим появление Лиги Облапошенных.

Посыпались туда заявления, но принимали в Лигу далеко не всех. Признавали достойными лишь крепко одураченных или одураченных в особо впечатляющих размерах. Шеврикука ощутил, что добродетельно усердствующий Радлугин, верный идеалам собственного Сообщества выхода на Пузырь и никак не желающий быть в чем-либо обделенным, тем

не менее чуть ли не с завистью поглядывает в сторону облапошенных (среди тех уже ораторствовал бывший чиновник и соцсоревнователь бывшего Департамента Шмелей Сверзков, не вписавшийся, если помните, в исторический поворот). «Вот и хорошо, – подумал Шеврикука. – Вот пусть он за Лигой и присмотрит…» И при встрече таинственно-диктующим шепотом Шеврикука намекнул Радлугину о том, что его не прочь были бы видеть они в рядах Лиги, надеемся, что и у Радлугина имеется достаточная степень одураченности и он сможет пройти конкурсный прием в Лигу… Радлугин так обрадовался поручению, что в приступе пылкости готов был обнять уважаемого Игоря Константиновича. Но местоположение их в структурах ни на шаг не позволило Радлугину приблизиться к Игорю Константиновичу. «Сведения передавайте прежним способом. В „дупло“, – заключил беседу Шеврикука.

Отечественного предпринимателя Дударева Шеврикука увидел выходящим теперь уже из темно-серого «мерседеса».

– Игорь Константинович! – обрадовался Шеврикуке Дударев. – Вы, конечно, наблюдаете за Пузырем?

– Держу его в поле зрения, – сказал Шеврикука. – Хотя для меня он и не столь важен.

– Вот и держите! Держите! – поощрил Дударев Шеврикуку к неусыпным бдениям. – А то мы все в бегах, в разъездах, в телефаксах и в сотовой сети! Сами понимаете. И концерн наш «Анаконда»! И Фонд защиты и поощрения Привидений! И прочее! И прочее! А вы все время вблизи Пузыря. Конечно, и у нас есть свои связи и каналы. И поверху. И в глубинах. Но вдруг что-нибудь пропустим впопыхах. А вы – рядом. Если выйдет какая непредвиденность, вы нам сразу о ней…

– Будем рады стараться! – Шеврикука выразил готовность встать перед предприятиями Дударева во фрунт.

– Да нет, я вас вовсе не неволю… – Дударев, похоже, смутился. – Но ведь вы наш? Наш!.. Мы вам очередную индексацию зарплаты произвели… Скоро станут завозить и паркеты…

– А сколько же мне теперь приходится?

– Не суть важно. Много! – быстро сказал Дударев. – Скоро ощутите. Поверьте мне. Я давно уже ощущаю!

– Я вам верю, – Шеврикука скосил глаза на темно-серый «мерседес».

– Вам, как лицу заинтересованному, я отважусь показать кое-какие картинки, таинственные пока, из нашего… с вами… будущего… – И Дударев, открыв «дипломат», извлек из него картонки, украшенные акварельными рисунками.

Рисунков было три, и на всех в главные персонажи был возведен останкинский змей Анаконда.

– Это эскизы эмблемы, – пояснил Дударев. – Это первичные и легкие наброски… Надо думать и думать! И вы, Игорь Константинович, может, что и надумаете. Вы не специалист в геральдике?

– Нет, – сказал Шеврикука. – Не специалист.

– Нет? Жаль! Жаль! – Дударев словно бы расстроился искренне. – А на вид вы вполне специалист. Мы бы вам и к ставке добавили…

Дударев сразу же и замолчал.

Смысл изобретаемых эмблем остался Шеврикуке недоступным. То есть смысл, такой ли, эдакий ли, из рисунков (искусных, замечу, художника приглашали дорогого) вывести можно было. Но что эмблемы сообщали о концерне, чем обязаны были возбудить обожателей концерна, этого Шеврикука как раз и не уразумел. Один из рисунков имел библейское основание. Змей Анаконда в саду наслаждений кольцами обтекал фруктовое дерево с фиолетовыми плодами, похожими на большие капли. Искушал ли он мужчину и даму, стоявших под деревом, или, напротив, хотел уберечь их от бед, или же был намерен предложить увлекшейся паре нечто спасительное и целесообразное взамен неразумного отравления грехом, Шеврикука разъяснить бы не взялся. На секунду Шеврикуке показалось, что мужчину художник писал с него, а даму – с Совокупеевой, Александрин, но не было среди знакомых Шеврикуки ни одного искусного акварелиста, а пустые мысли Шеврикуки могли быть вызваны эгоцентрическим произволом его натуры. На втором рисунке поза змея и среда его обитания были позаимствованы из медицинских легенд и установлений. Змей Анаконда находился здесь при чаше. Но в самой чаше отчего-то восседал рыже-черный петушок, в удивлении склонивший голову набок. На третьем рисунке змей Анаконда имел перепончатые лапы и крылья и, по всей вероятности, находился в полете, над ним парили два яркоцветных, пятнистых бумажных змея, соединенных с туловом Анаконды то ли узкими стропами, то ли шелковыми лентами. Либо Анаконда волок в воздухе за собой японских бумажных партнеров, либо те сами были восспособствующими ему силами.

– Ну как? – спросил Дударев.

– Интересно… – деликатно протянул Шеврикука. – А вот у нас в городе… на гербе… рыцарь протыкает змея копьем… Или в северной столице… Там конь царственного всадника тяжелым копытом придавил опять же змея… Те сюжеты ваш эмблематист и знаток геральдики не принимал во внимание?

На минуту Дударев озаботился, стоял, будто что-то прошептывая в уме, компьютер неслышно попискивал в нем.

– Нет, – сказал Дударев. – Наш змей из других рук. К злодействам он не расположен. И не даст поводов протыкать себя копьем. Даже рыцарям и от Юрия Долгорукого.

– А отчего, – поинтересовался Шеврикука, – ни на одном из рисунков нет пусть даже и малюсенькой, пусть даже и в уголке, фигурки столь ответственного лица, каким является научный смотритель и погонщик змея Анаконды Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный? Он ведь тоже может вызвать сюжет и какой…

– Ах, Игорь Константинович, – сокрушенно и укоряюще воскликнул Дударев. – Не хотите вы серьезно отнестись к делу. Или у вас сегодня игривое настроение. Давайте сюда рисунки. Конечно, это пробные варианты, ведь возможны самые разные ответвления деятельности концерна со своими моторами и неводами. И вам бы с вашим пытливым умом что-нибудь изобрести, а вы посмеиваетесь…

– Я не посмеиваюсь, – нахмурился Шеврикука. – И не знаю я, что такое пытливый ум.

– Будут, будут у нас самые разные ответвления! – не обратив внимания на слова Шеврикуки, с воодушевлением продолжил Дударев. – И акции! Акции! Акции! И вы, Игорь Константинович, сможете приобрести акции со змеем Анакондой. Или с привидениями. И вы станете рантье!

– Я? Рантье? – с трудом выговорил Шеврикука.

– Ну а что же? Проще простого.

Будучи заинтересованным в деле и в скором времени рантье, Шеврикука не мог не сообщить собеседнику о звонкошумящей поблизости от Пузыря Лиге Облапошенных и о том, что один из заправил облапошенных – известный Дудареву соцсоревнователь Свержов.

– Облапошенные? Свержов? – Новость явно удивила Дударева и вызвала в нем прилив соображений. – Свержов и у нас околачивается. И у нас колобродит. Этого Свержова хоть наголо обрей, а он все равно будет лохмат и взъерошен! Нет, надо брать этих облапошенных в оборот!..

В какой оборот Дударев пожелал взять облапошенных и Свержова, Шеврикука не узнал, потому как пришла пора Дудареву снова садиться в «мерседес» и мчаться по делам.

В семь вечера в Большой Утробе началось толковище деловых посиделок. Впервые после конфуза в музыкальной школе Шеврикука действительным членом опустился под непременные лучины на лавку в конференц-отсеке посиделок. Вместо пропавшего или сгибшего

Тродескантова распорядителем нынче был назначен известный в Останкине домовой Артем Лукич, последние два года живший удивительно тихо. Помимо прочего Артем Лукич славился тем, что на плече его был наколот портрет пастуха-воспитателя народов с трубкой во рту, а под той трубкой синели слова: «Рабочее жилтоварищество – наша крепость». Шеврикука видел эти произведения искусства, не раз парился с Артемом Лукичом в Зубаревских и Марьинских банях. Против Артема Лукича Шеврикука ничего не имел. Домовой он был относительно справедливый. Правда, слишком горластый. Да и поучительными, первоисточниковыми цитатами ему следовало докучать слушателям реже. Теперь в них и вовсе отпала нужда. За столом распорядителя рядом с Артемом Лукичом на табурете восседал напоминанием о том, что воинственные козни Отродий Башни лишь притихли, один из квартальных верховодов, домовой четвертой статьи Поликратов. Как и в прежние дни, на плечи его был наброшен желтовато-зеленый бушлат, и опять изможденный бдениями верховод выглядел полевым командиром, готовым сейчас же повести за собой воинов в окопы. Поликратов пил резкими глотками чай из мятой жестяной кружки, а в случаях опустошения посуды Колюня-Убогий согнутым китайским служкой подносил верховоду чайник.

Речи Артема Лукича и пересуды коллег из Землескреба – и соседних зданий Шеврикука слушал в четверть уха. Слова их, назначенные в высказывания, были ему известны заранее. Да, Пузырь. Да, интересы жильцов. Да, постарайтесь. Все для человека. Да, постараемся. Да, все для него. Об Отродьях и их намерениях забывать никак нельзя. Они прикинулись уставшими и больными, а сами пекут план за планом, одного «Барбароссу» за другим. А потому каждый обязан держать кочергу в боевой саже. Ну и прочее. И прочее. Догадывался Шеврикука и о том, кто о чем помалкивает и что у кого упрятано в мыслях. Сам Шеврикука в ораторы сегодня не записывался. Он появился вновь действительным членом, ощутил, кто как к нему отнесся. И достаточно. Интересовало его лишь вот что: сидят ли на толковище (оно вовсе не получалось нынче деловым) другие, кроме него, умельцы, постаравшиеся выправить себе паспорта. А может, все взяли и выправили? Даже слюнявый Колюня-Убогий. А потому никто и не требует разобраться с дерзкими безобразниками, осквернителями преданий, вроде Продольного, и призвать их к ответу. В начале посиделок, в особенности когда распорядителем Шеврикука увидел сурового Артема Лукича, он даже взволновался: а не знают ли о его проделке и усердиях Пэрста-Капсулы ускорить поспешность делопрохождений? (Увещеватель-то и в своем Китай-городе непременно

должен был обо всем узнать.) Так вот, не раскричатся ли на посиделках, не назначат ли наряд с полномочиями удостовериться и взыскать? Нет, ни о каких людских документах речь не завели. Но уверенность в том, что не один он нынче при удостоверении личности, Шеврикуку не покинула. Наверняка на толковище в Большой Утробе восседали теперь списочные граждане, возможные избиратели и рантье. А если постарались отважные и расторопные из привидений, то вряд ли от них и домовых пожелали бы отстать высоко ценившие себя Отродья Башни. Хотя именно оттого, что они ставили себя выше людей, им могла показаться унизительной мысль об использовании коммунальных документов. Но кто знает? Со временем прояснится… А вот Велизарий Аркадьевич, подумал Шеврикука, в обморок бы обрушился, если бы ему стали предлагать паспорт с милицейскими печатями…

Велизарий Аркадьевич сидел справа от Шеврикуки, через две лавки, рядом со стариком Иваном Борисовичем. При последнем их разговоре Велизарий Аркадьевич одобрял клубный пиджак Шеврикуки, себя же корил за то, что поддался всеобщему в Останкине в пору Отродьевых угроз отступлению от высокой духовности. Тогда – и это в клубе-то! – Иван Борисович был в ватнике, будто отъезжал на лесоповал, а Велизарий Аркадьевич – в костюме из светло-зеленой мешковины и походных бутсах британского завоевателя. Корил-то корил себя Велизарий Аркадьевич, но и на посиделках он присутствовал в мешковине и бутсах. А Иван Борисович прибыл в Утробу в ватнике, по плечам и рукавам обсыпанном опилками. Предъявлялось кому следует: оба они – нравопослушные, установлениям верны, о каверзах Отродий помнят и поддерживают в себе оборонное состояние духа. Какие уж тут могли быть фотографии и паспортные столы! И наряды не одних лишь Ивана Борисовича с Велизарием Аркадьевичем наверняка благоуспокоили полевого командира Поликратова. Оборонный дух, пусть и при обледеневшей линии огня, в домовых не иссяк. Но Шеврикука понимал, и другие понимали, что волнует домовых нынче Пузырь, а не Отродья Башни. И если волнуют и Отродья, то именно в связи с Пузырем. Не выкинут ли чего? Не примутся ли разбойничать? Не установят ли с Пузырем двухсторонние и доверительные отношения?

«Перейдем к разделу „разное“, – пробасил Артем Лукич.

Шеврикука не возражал бы против оглашения бумаги из Обиталища Чинов. Однако сообщили о всякой чепухе, вроде пропажи в хозяйстве домового Гранд-Сараева рассекателя горячих и холодных струй, а о его, Шеврикуки, походе к Увещевателю даже и не намекнули. Шеврикука вдруг опечалился и обиделся на Артема Лукича.

«Выходит, я ерундовее рассекателя!» – досадовал Шеврикука.

Расходились вялые, говорили, направляясь к дверям, тихо, даже перешептывались, явно в напряжении и тревоге, будто не радости и попечения Пузыря ждали их впереди, а несуразности поколебленных устройств. Но, может, причиной тому были бетоны бомбоубежища, в недрах их не год и не два копились страхи и черные ожидания, они сползали теперь со сводов и обтекали забредшие в Утробу натуры.

«Шеврикука…» – послышалось сзади. Шеврикука обернулся. Нет, его не окликали. О нем говорили. Бритоголовый боевик, уполномоченный Любохват, на толковище не сидевший, что-то быстро и зло высказывал Артему Лукичу. «Нет, нет, – отвечал Артем Лукич. – У Шеврикуки своя голова на плечах…»

Вслушиваться в слова собеседников Шеврикука не стал, продолжил движение к выходу.

– Голова! Голова! – догнал Шеврикуку верткий нынче Колюня-Убогий и принялся приплясывать в шаге от него справа. – Голова! Голова! Никакой головы на плечах! На плечах! Набалдашник! Один набалдашник! Шеврикуки один на плечах!

– Утихни! – цыкнул на Колюню Шеврикука.

– Набалдашник! Один набалдашник! – рассмеялся Колюня-Убогий, пустился вприсядку, а потом понесся к дверям.

46

В Землескребе мрачный Шеврикука вызвал Пэрста-Капсулу и указал ему принести палку Петра Арсеньевича.

Пэрст-Капсула молча кивнул, а вручив через полчаса Шеврикуке палку, в мгновение из квартиры Уткиных исчез.

Шеврикука, не думая о том, наблюдают ли сейчас за ним или нет, и если наблюдают, то кто и каким манером, и какие при этом корчат рожи, принялся откручивать набалдашник. Руки у Шеврикуки были сильные, но ни малейших движений набалдашника вызвать они не смогли. Шеврикука брал на кухне тряпки в надежде, что они помогут его пальцам в житейском усердии, но и тряпки удачам Шеврикуки не способствовали. Да и с чего он, Шеврикука, взял, что набалдашник обязан отделиться от палки, трости, посоха Петра Арсеньевича? Выкрики Колюни-Убогого взвинтили Шеврикуку, злые взгляды уполномоченного Любохвата возбудили в нем нетерпение. Но мало ли какой бред мог прийти в голову Колюни Дурнева, Колюни-Убогого, и все ли смысловые совпадения должны были нарушать душевное равновесие Шеврикуки? И уж тем более не имел он права волнением отвечать на взгляды и слова Любохвата, наверняка и произнесенные для того, чтобы Шеврикуку взбудоражить и взъерошить.

Но и при этих охлаждающих рассуждениях Шеврикука не выпускал палку Петра Арсеньевича из рук.

«А не наложил ли Петр Арсеньевич чары на свой тайник? – подумал Шеврикука. – Если он, конечно, что-то укрывал в палке. Если это не одно лишь мое горячечное предположение…»

Сам же он понимал, что здесь – не предположение. Здесь – предчувствие. Или даже – ощущение отосланного ему кем-то предуведомления.

Но как снять чары Петра Арсеньевича, если тот и вправду обвил палку оберегами и воздушными замками? Может быть, Шеврикука и сумел бы снять чары, но на его усилия, исследования и отмену чар ушло бы время. Возможно, и месяцы. А Шеврикука желал вызнать секреты палки сегодня же.

Опять вспомнился небритый мужик, бормотавший с экрана телевизора: «От синего поворота третья клеть… четвертый бирюзовый камень на рукояти чаши…» А в углубления набалдашника палки Петра Арсеньевича были втиснуты капли янтаря.

Шеврикука, призвав себя к спокойствию, решил попробовать открыть тайник янтарными вкраплениями. А вдруг? Скорее всего, янтарины были именно украшениями, и более ничем, но вдруг?.. Он полагал, что уже опомнился, вышел из возбуждения, вызванного криками-приплясами Колюни-Убогого и взглядами Любохвата. Палку можно было бы вернуть в укрытие Пэрста-Капсулы. А уж коли приспичило откручивать набалдашник, то делать это следовало не спеша. Как бы между прочим. Истребив в себе нетерпение. И Шеврикука листал книги, включал телевизор, но нет-нет, а подходил к палке, ощупывал набалдашник, янтарины чуть ли не ласкал пальцами. А иногда нажимал на них. На одну. На другую. На две, на три, на четыре сразу. Советы, инструменты и пальцы взломщика сейфов Шеврикуке вряд ли помогли бы. Коли имелось здесь секретное устройство, оно было особенное и наверняка не поддалось бы руке посторонней или корыстной. Оставалось уповать на случай. На то, что пальцы Шеврикуки нечаянно охватят чудесное сочетание желтых вкраплений, без зла и нежно нажмут на янтарины, и тайник откроется. Всего янтарин было пятнадцать.

Часа полтора Шеврикука обхаживал палку Петра Арсеньевича. Однажды чуть было не сорвался. Пожелал ножницами или мелкой отверткой сейчас же выковырнуть капельки янтаря, вдруг за ними в углублениях искомое и обнаружится. Но опомнился. Тут случай и был подарен ему. Лишь три пальца Шеврикуки ощутили и запомнили, каких янтарин они коснулись в этот раз. Набалдашник, словно ожившие пружины вытолкнули его, подскочил и упал на пол. И был звук, будто лопнула хлопушка. И пошел дым. Но никакие видимые пружины, никакие пиротехнические устройства не открылись. Из узкого углубления в палке торчала маленькая бумажка, свернутая в трубочку. По виду она напоминала послания с приглашением явиться под маньчжурский орех.

Трепета Шеврикуки бумажка не вызвала. Возможно, это была фабричная инструкция с указаниями, что палке при ходьбе противопоказано, а что нет. Но когда Шеврикука раскатал трубочку, первое, что он углядел, было торжественно выведенное слово «Возложение». Под «Возложением» следовали другие, указующие слова: «Грамота Безусловная с единственным направлением и исходом».

Теперь в руках Шеврикуки был лист плотной бумаги с цветными украшениями в углах. Подобные бумаги годы назад выдавали в случаях поощрения. Но на листе, явившемся из палки Петра Арсеньевича, ни о каких доблестных поступках и наградах речь не шла. На Шеврикуку – что вытекало из текста «Грамоты Безусловной» – возлагалось. Титулы –

«Возложение», «Грамота» – были подсвечены орнаментом с переплетением листьев, лепестков, стеблей; орнаментом – растительным. Слова же самой грамоты вывели фиолетовыми чернилами, почерку писца порадовались бы учителя правописания. Если бы не вымерли.

«Пользуясь отведенным мне значением, передаю двухстолбовому домовому, прозываемому теперь Шеврикукой, на случай моего безвозвратного исчезновения или воздушного убытия из Останкина, свои привилегии и обязанности. Возложенные некогда на меня, они плавно и скользя перейдут к упомянутому Шеврикуке, и более ни к кому, с предоставлением последнему прав всенепременно пользоваться ими при сословных или исторических необходимостях. Указания о приемах, средствах и линиях возможных действий любезно дадены в тайнопредохранительных приложениях, кои предстоит рассмотреть в п.п. хлюст – 247Ш, 4918УГ, ч. с. 7718Кр…»

И далее следовали буквы, цифры, латинские и арабские, а потом, похоже, иероглифы, но не с тихоокеанских побережий, а, скорее всего, изобретенные в Москве или где-нибудь поблизости в российских недрах, и крючки, напоминающие о знаках рунических писем. Кончалось «Возложение» подписью Петра Арсеньевича и свидетельством несомненно существенно значимого лица: «Доподлинно верно. Сим подтверждаю руку и правомочную волю дом. Петра Арсеньевича (ул. Кондратюка, 2)». И еще виднелась чья-то подпись. Силу «Возложения» укрепляли желтые оттиски литографского камня. Русская печь и ухват должны были убедить Шеврикуку в том, что документ им добыт из набалдашника решительный и серьезный.

«Э нет! – пытался было протестовать, Шеврикука. – Мне это ни к чему!»

Однако не кого-нибудь, а его потянуло откручивать набалдашник.

«Вынудили, возбудили, опять возожгли во мне нетерпение!»

Но сам понимал, что лукавит.

Пока он читал «Возложение» Петра Арсеньевича, тяжесть налегала на него, потихоньку, потихоньку, от строки к строке, до самых крайних циферок, иероглифов и крюков, налегала, придавливала его к креслу, к полу, к московским суглинкам. Будто прежде он пребывал в невесомости, парил, а теперь его возвращали к природным земным обстоятельствам с их условными физическими законами. А ноша при этом отпускалась ему, Шеврикуке, беспредельная.

Шеврикука попытался подняться, думал, что не сможет и встать, однако встал, принялся двигать плечами, спиной с намерением сбросить

тяжести. Не сбросил.

47

– Спасибо этому мухомору Петру Арсеньевичу за возложение! – пробормотал Шеврикука.

На вид и на ощупь бумага казалась ему вечно нерушимой, ни смять, ни порвать ее наверняка не имелось возможности. Но когда Шеврикука все же рискнул согнуть бумагу и дернуть ее пальцами, она поддалась и позволила отодрать от себя клочок. Сейчас же в Шеврикуке взъярилось остервенение, он стал чуть ли не с рычанием рвать приобретение, кромсать, уродовать, крошить его. Выскочил в коридор, сдунул в мусоропровод обреченное крошево.

«Так-то! – победителем повторял про себя Шеврикука. – Вот так-то! Именно так!»

«Решать буду не по закону, а по усмотрению!» – вспомнились Шеврикуке слова, произносимые – по легенде – Иваном Васильевичем Грозным.

Да! Именно не по закону, а по собственному усмотрению!

Набалдашник был водружен на место, пальцы, запомнившие тайноподобающее расположение избранных янтарин, нажали на них, набалдашник слился с тростью.

Но беспокойство и возбуждение дали Шеврикуке отпуск лишь на полчаса. А через полчаса Шеврикука, желая подавить мерзкий нервический зуд и даже унизить его, чуть ли не со злорадством разрешил себе отнять от палки набалдашник, дабы убедиться: укрытие попрежнему пустое.

Ан нет! Бумагу опять словно бы выстрелили невидимой пружиной. И это было все то же «Возложение» Петра Арсеньевича, целехонькое, без единой вмятины и прочих пороков, как неразменный рубль.

Значит, бумагу надо было не рвать, а жечь! Жечь, палить, дымом отправить в небо!

Несмотря на установления и походы судебных исполнителей, в презираемых углах останкинских дворов и проездов все еще стояли гаражи, как будто бы давно разобранные. В один из таких гаражей Шеврикука и отправился. Хозяйство было ему знакомое. В железную бочку он плеснул бензин из канистры – на два пальца, спичкой поджег бумагу Петра Арсеньевича, швырнул в бочку. Полыхнуло. Столб огня вырвался из бочки, ударил в потолок гаража. Лишь доможильские инстинкты и неподвластные сиюминутному безрассудству Шеврикуки его же

охранительские старания не дали погибнуть трофейному «опель-капитану», усердному – вот уже полсотни лет! – катальщику по Москве. Помешали сожжению гаража, а может быть, и всеобщему останкинскому пожару. Пламень был сбит, дым унесся в продувные щели, от зловредной бумаги не осталось ни золы, ни пепла. Днище бочки было сухим и пустынным.

«Чур меня! Все! – сказал себе Шеврикука. – Более набалдашник от палки отымать не буду!»

Однако не прошло и пятнадцати минут, как набалдашник был отделен от палки, и «Возложение» Петра Арсеньевича снова обнаружилось под ним.

Опять Шеврикуке явились мысли о чарах, заговорах, заклинаниях. Заклинания у домовых в употреблении случались, но к ним издревле относились с осторожностью, а то и с опаской. Да и требовали они от исполнителей тончайших умений и разумно охоронных сил. Он, Шеврикука, заклинаний по возможности избегал. Неужели Петр Арсеньевич все же заклинаниями обволок, обвел пеленой неразрушимости свое «Возложение»? Но ведь на это были нужны энергии основательные, мягко сказать. Откуда им взяться у домового, лишь однажды из вечных сидельцев-резервистов в прихожей облагодетельствованного приглашением в зал посиделок?.. Но мог обратиться к чарам и заговорам Петр Арсеньевич, мохом обросший, из-за своей привязанности к обычаям старины, мог. Вспомнились Шеврикуке листочки с выписками из портфеля Петра Арсеньевича. Там были советы по поводу кости-невидимки, какую следовало добыть, отваривая черную кошку, без единого другого волоса, и выбирая перед зеркалом ее кости. Там были чары на лягушку. Заговор на посажение пчел в улей. Заговор от ужаления козюлькой. Соображения о непоколебимости цветущего кочедыжника перед дурной силой. И прочее. И прочее. И прочее. Несерьезное и отнесенное ходом времени к простодушию незрелых умов. Но, может быть, Петр Арсеньевич полагал, что никакого хода времени не происходит, да и никакого времени вообще нет, а цветущий кочедыжник, если его заговорить, обязательно непоколебим?

Так было или не так, но теперь Шеврикуке предстояло отменить, порушить, развеять оборонительные чары или заговоры Петра Арсеньевича. Попробовать отменить. Но какие чары и какие заговоры? Откуда было знать Шеврикуке. Опять же, как и в поисках благоприятных сочетаний янтарин, оставалось уповать на случай. Авось и произойдет чудесное для Шеврикуки совпадение.

И маялся Шеврикука. И будто находился в сражении неизвестно с чем. Клочья древних простодушии возбуждались его памятью, но не сцеплялись друг с другом, не становились способными услужить ему, Шеврикуке. Как много он забыл! Как много оставлял невостребованным из-за лени и высокомерия благодушных заблуждений! А Петр Арсеньевич наверняка помнил все и позволил себе взять мелкую мелкость, пустяковину, вроде того же цветущего кочедыжника, укрытую от воздействий и опасностей из-за забывчивости тысяч Шеврикук, взять ее и возвести в крепость, какую ни сокрушить, ни обойти. Шеврикука попытался на всякий случай поколебать именно цветущий кочедыжник, но бумага не вздрогнула, кочедыжник был ни при чем. Вновь отчаялся Шеврикука. По всей вероятности, надо было охватывать или накрывать усилиями некое объемно-наполненное явление, в уголке которого могли поместиться мелкости Петра Арсеньевича. Но тут же ему пришло в голову: «А не одолеть ли неразменный рубль?» Шеврикука совсем недавно вспоминал о неразменном рубле. Он был уверен, что Петр Арсеньевич при своих заговорах, если они и вправду были, не имел в виду неразменный рубль. К желаемому результату он, Шеврикука, мог прийти лишь в случае действия или, скажем, противодействия чарам Петра Арсеньевича, – по подобию. Наугад, но – по подобию. И сейчас же предчувствие подсказало ему: к сокрушению неразменного рубля – именно для искомого благоприятного сочетания – надо добавить как раз пустяковины, скажем, заговор на иссушение августовской малины и заговор на таяние ноздреватого льда. Лишь только Шеврикука стал сосредоточиваться, связывать три луча, один в палец толщиной и два – нитяные, его тряхнуло, и кресло с ним отволокло назад, на метр от стола с бумагой Петра Арсеньевича. «Попал! Угадал!» – обрадовался Шеврикука. Но радость его искоркой мелькнула внутри сосредоточений и погасла. Теперь дело пошло всерьез, его могло испепелить, но он не желал отступать и прекращать действия. Все, что он был способен сейчас собрать в себе, в своих силовых полях и линиях, все, что имел право по уложениям и в пределах создавшегося случая привлечь из тайнообтекаемых сфер во вспоможение, он должен был пустить в ход. Ярость, страстно-неразумное возбуждение снова гнали его к сокрушению бумаги из посоха Петра Арсеньевича. Его опять трясло, кресло дергалось под ним, стонало, вот-вот готово было рассыпаться или провалиться вместе с Шеврикукой в подвалы подсобок. За окнами, казалось Шеврикуке, стало черно, ветры гнули верхушки тополей и сгоняли с них галдящих в страхе ворон, молнии вызревали где-то, назначенные поразить ошалевшего наследника. Но выдержал Шеврикука, одолел встречные силовые потоки,

разорвал обережную пелену. Бумага Петра Арсеньевича стала корчиться, съежилась, иссушилась до спичечной головки, подскочила и растаяла в воздухе.

Шеврикука взмок, но не мог остановиться, продолжал бормотать лишние теперь и уносящиеся опять в погреба памяти обрывки заклинаний, обессиленный, закрыл глаза, тяжело задремал.

Ночной испуг заставил его выскочить из кресла. «Что? Зачем? Где?» Но вспомнил. Включил свет. На столе бумага Петра Арсеньевича не лежала. Не было ее и в палке Петра Арсеньевича. Нигде ее не было.

«И нигде ее нет. И нигде не будет!» – уверил себя Шеврикука.

Волоча ноги, он прибрел к креслу. Не имел сил успокоиться в малахитовой вазе. В кресле без снов проспал до утра. А утром на столе Уткиных увидел «Возложение» останкинского мухомора.

Одолеть неразменный рубль было можно, а бумагу Петра Арсеньевича нельзя.

«Неизбежность! – прозвучало в Шеврикуке. – Неизбежность!»

Но и теперь Шеврикука не желал смириться с неизбежностью.

Готов был ринуться в квартиру умельца Кашеварова на третьем этаже. Тот в одной из комнат учредил столярную и слесарную мастерские. Палку Петра Арсеньевича с набалдашником и упокоенной под ним бумагой можно было – из вредности и чтобы выказать беспредельное нерасположение к насильственно навязываемому предмету – раскурочить ножами и зубьями самым паскудным и обидным образом.

Но она возобновится, уныло подумал Шеврикука, она еще более обидно и паскудно возобновится.

И истекли из него сейчас всякие силы.

В кресле Уткиных опять забытье пришло к Шеврикуке. Но теперь оно не было провальным. Порой в нем возникали цветовые пятна, поначалу – бледные или тусклобезразличные. Раздавались и звуки, то шуршание, то скрежет.

И охватило Шеврикуку томление, схожее с тем, что он испытал в Обиталище Чинов в кабинете Увещевателя. В том томлении была радость и тревога, над печью вблизи Увещевателя высветилось нечто, о назначении чего он догадывался, чрезвычайно важное и для него, и для всех, но оно утекло куда-то, не открыв Шеврикуке своей сути и доступной взгляду наружности. Тогда он ощутил возможность коренной догадки, но глаза и уста ее были сомкнуты. И Шеврикуку оставили в унынии бессилья, немощи и незнания. Сейчас уныние, казалось, отпускало Шеврикуку. Предчувствие видения обнадеживало его. Но видение не вышло

достоверно-ясным. Из ползучих туманов, или из паров горячих вод в скалах, или из неспокойных облаков, подталкиваемых сиверкой, проступала чаша, то ли каменная, то ли кованная из неведомых металлов с острова Алатыря… а может, и не чаша… очертания ее все время менялись, то она расширялась и становилась будто ладья, готовая плыть в небесах или в волнах, то бока ее сужались, вздымались ввысь, и их накрывал шлем богатыря… Но и ладья уплывала, и шлем пропадал, а исходил из чаши огонь, и не буйный, грозящий сжечь и испалить, а ровный, несуетный, какому положено греть, светить и оберегать жизнь… Радость и тревога Шеврикуки тоже стали ровными, но утихомиренность эту нарушило новое видение: крошечная женская фигурка в белом, с золотой диадемой, все же различимой, металась под чашей, будто призывая кого-то помочь ей или спасти ее…

Пробуждение Шеврикуки вышло тяжким, словно похмельным.

Он вызвал Пэрста-Капсулу. Сказал мрачно, протягивая ему палку Петра Арсеньевича:

– Где она у тебя лежала, пусть и лежит.

48

Нечто неотгаданно-постороннее бродило в стенах и помещениях доверенных Шеврикуке подъездов.

«А-а-а! Пусть бродит! – решил Шеврикука. – Коли у него есть причина, само объяснится…»

Но несомненно что-то нервически-колющее содержалось в этом бродящем в пределах Шеврикуки посетителе Землескреба.

«Ну что, успокоился наконец, бестолочь останкинская! Ишь, как вчера взъярился!» – отчитывал себя Шеврикука. Вспоминать об усердиях с попытками истребить бумагу и палку Петра Арсеньевича было ему противно.

«Не по закону, а по усмотрению…» Даже если и вышло не по закону, то уж, во всяком случае, и не по его, Шеврикуки, усмотрению…

Ладно. Так было вчера. А там ведь можно будет при благоприятных обстоятельствах и обтекать чужое усмотрение. Ему не привыкать. И впредь он не откажет себе в подобных удовольствиях. Его пастухам об этом ведомо, и они, естественно, за ним присмотрят и на выпасах позволят ему пощипать травку, какая и им принесет пользу. Возможно, вчерашние его взбрыкивания были им приятны и вполне отвечали их установлениям. А взъярился он сам. Если его и подтолкнули к безрассудству, то легонько, локотком, да еще и деликатно укутанным ватным рукавом. Он долго сжимал в себе нетерпение проведать о так называемой генеральной доверенности Петра Арсеньевича, был властен над нетерпением, но все же оно набухло и прорвалось. И он проведал. И убедился. И пастухи его, друг с другом несхожие, проведали, надо полагать, и убедились. Генеральная доверенность есть. То есть не доверенность, а «Возложение». Возложение забот. Ноша свалена на плечи домового-двухстолбового из Землескреба, однако упрямец этот ношу волочить не желает. Не согласен с ней. Даже если она и объявлена неизбежностью, проявлять прыть он не намерен. Но вроде бы и нет пока никакой необходимости проявлять прыть. Нет необходимости забирать из квартиры Радлугина известный портфель, разгадывать смыслы циферок, крюков, рунических клиньев, чтобы ознакомиться с «любезно даденными» указаниями о приемах, способах и направлениях возможных действий. Пусть портфель полеживает за томами Мопассана, а палка Петра Арсеньевича сохраняется в укрытии полуфабриката Пэрста-Капсулы…

Нечто неотгаданно-постороннее бродило в подъездах Шеврикуки странным образом. Будто бы путешествия его были бесцельными. Или оно не имело разума. Однако ни в какие иные подъезды, Шеврикуке неподведомственные, посетитель не перетекал.

Колотье вдруг возбудилось в Шеврикуке.

Зачем возникало в нем видение чаши и страдающей в ее подножиях женщины в белом?

Возникало? Или видение это в нем вызывали?

Нечто прохлаждающееся в его подъездах, определил Шеврикука, не было ни от своих, ни от Отродий, ни от инспекторских сил.

Оно – из Дома Призраков и Привидений, почудилось Шеврикуке.

Но кто и с какой стати или с какой целью мог с лыжной базы таинственно, не объявляя себя, проникнуть в Землескреб?

Шеврикука посчитал должным отправиться на поиски посетителя. Или устроить тому засаду. Он учуял чужака между пятым и шестым этажом. Заблудшее нечто было сине-серым пятном, почти плоским, высотой с газовую плиту. В надвершье пятна иногда случалось свечение. «Прихлопнуть, что ли, его? Или оприходовать в простыню?» – задумался Шеврикука. Но вдруг гулявший был все же от Отродий или из лаборатории Мити Мельникова, и не привели бы насилия над ним к нежелательностям и ущербам в подъездах?

– Ну и в чем дело? – грозно поинтересовался Шеврикука. – Тайное поручение?

– Регистратор, – ответило пятно, и будто задвигались валики механического пианино. – Необходимо зарегистрировать привидение.

– Какой еще регистратор? – возмутился Шеврикука. – Какое еще привидение?

– Проживающее в вашем подъезде.

– В наших подъездах привидения не проживают.

– Неправда! – Свечение пятна усилилось. – В ваших подъездах бродит тень чиновника Фруктова. И она должна быть зарегистрирована.

Дерзость визитера рассердила Шеврикуку.

– Я тебя сейчас так зарегистрирую! – вскричал он.

– Напрасно вы горячитесь, – заявило пятно. – И напрасно вы мне угрожаете. Следует соблюдать правила проживания и учета привидений.

Служебное состояние Шеврикуки вполне позволяло ему выдворить визитера из Землескреба. Что он и намеревался произвести с грохотом и скандально. Но была в заблудшем визитере загадка, волновавшая Шеврикуку, была!

– Вы, стало быть, регистратор? – спросил Шеврикука, утихомиривая себя. – И мандаты есть?

– Будут предъявлены по мере надобности. Но возможно, что и не вам.

– А предъявить тень чиновника Фруктова вы мне сумеете? – спросил Шеврикука.

– Вы ее могли упрятать.

– Обшарьте все мои сусеки, все мои углы и закоулки и сыщите ее.

– Вы ее могли упрятать в себе.

– Все же я вас попрошу из Землескреба, – угрюмо сказал Шеврикука. – Кем бы вы ни были и кого бы ни представляли.

Вежливости или сдержанности своей Шеврикука удивился. Гнать ведь действительно следовало визитера. Но не желал уже Шеврикука гнать. Повод направить в Землескреб регистратора, если разобраться, был. Правда, и сплыл. На время. Тень Фруктова понадобилась Шеврикуке как вспоможение в мелких делах. О дальних последствиях затеи Шеврикука не думал. Теперь подумал. Какие выгоды и какие невыгоды могла приносить тень чиновника Фруктова в предприятиях серьезных, если ее возобновить? Или возобновлять? Нужна ли вообще она Шеврикуке при наличии вблизи него – опять же до поры до времени – расторопного полуфаба (полуфабриката ли?) Пэрста-Капсулы?

– Привидение должно быть зарегистрировано, – опять же механически-шарнирным голосом повторило пятно.

– Не нудите, – поморщился Шеврикука. – Я не лгу. Привидения и вправду нет в Землескребе.

– Но существует возможность его возобновления.

– А что, вы регистрируете и возможности появления привидений? – спросил Шеврикука.

– Это наше дело.

– Ну уж конечно! Ваше! – возмутился Шеврикука. – Как же! А если это фантом Отродий Башни? Или создание секретной лаборатории?

– Здесь иной случай…

– Ну-ну! Попробуйте зарегистрировать Отродий! – не мог удержаться Шеврикука. – Всех до одного! Объявите их привидениями и введите над ними управление! Валяйте!

– При чем тут Отродья? Тень Фруктова заводили вы.

– Ладно. Пойдем на маловероятное допущение, – сказал Шеврикука. – Этого не может быть, но вдруг я и впрямь завел бы какую-либо тень. Но вы-то при чем? Это было бы мое имущество. Или мой инструмент. Захотел бы, я ее-его зарегистрировал бы. При себе. Не захотел бы – опять же мое

дело. Вы-то здесь с какого бока? Кстати, вы лишь учетчик и регистратор или у вас есть и иное назначение в природе?

– Вас это не касается.

– В здешних подъездах меня все касается. И давайте разойдемся, – предложил Шеврикука. – Я вас не трону.

Пятно чуть было не запламенело. Но сразу же и угасло. Возможно, возмутилось. Или рассмеялось. А потом опечалилось.

– Я не могу не выполнить должностную обязанность.

– До чего же вы надоедливое, – проворчал Шеврикука. – Я и так неизвестно почему терплю разговор с вами.

Но сам-то понимал почему. Чувствовал, что перед ним не пятно и не регистратор, и по любознательности своей желал вызнать ответы на загадки. К тому же стоило выяснить, не грозит ли явление визитера какой-либо опасностью ему, Шеврикуке, и жильцам его подъездов. Хотя нынешний собеседник произносил слова голосом подземного объявителя остановок, нечто знакомое Шеврикука ощущал в иных оборотах речи, и в этом смутно знакомом, но не угаданном звучало (или жило) беспокойство. Либо даже тревога и боль. И сам визитер, похоже, мог привнести в Землескреб тревогу и боль.

– Примите вид, более способный выразить вашу сущность, – предложил Шеврикука. – Если желаете, чтобы разговор был продолжен и из него вышел толк.

– Вид у меня надлежащий распоряжениям, – вымолвило пятно.

– Зря упрямитесь, – сказал Шеврикука. – Зря валяете дурака… Или дуру…

Он тотчас и замолчал. Некая догадка проталкивалась к нему. «А почему бы и нет?» – подумал Шеврикука. Он •часто имел дело с бабами настырными, упрямыми и авантюрными. Но вроде бы никому из них он не пробалтывался о тени Фруктова и тем более не хвастался своими умениями. Но вдруг тень Фруктова в минуты его, Шеврикуки, легкомыслий и невниманий все же выбиралась из Землескреба и путешествовала на лыжную базу?

– А может, вы сами чья-то тень? – поинтересовался Шеврикука. – А что, если вас потрясти? Вдруг из вас что-нибудь высыплется… Или прольется.

И Шеврикука шагнул к пятну.

Пятно стало нервно подскакивать, свечение, то резкое, то мгновенно стихавшее, будто при переменах напряжения в сети, выражало, видимо, возмущения и испуги визитера.

– Не подходите! – выкрикивало пятно. – Не протягивайте ко мне руки! Если вы дотронетесь до меня, я вас…

Прорвалось! Вопль предупредительный был несомненно женский.

– Я полагаю, вы меня непременно исцарапаете или укусите! – рассмеялся Шеврикука.

Но кто (или чья тень? или чье опережающе приложенное осуществление?) была перед ним? Гликерия? Дуняша-Невзора? Увека Увечная, она же Векка Вечная? Или пышнокосая Стиша из окружения Малохола?

Схваченное руками Шеврикуки, пятно не растаяло, не уплыло туманом, не умялось, а было будто плотью, билось, дергалось, норовя высвободить себя. Вскрикнуло снова, и теперь рассекретила себя Гликерия.

Шеврикука опустил руки.

– Гордыня помешала явиться вам просто так? – спросил он. – Или вы готовитесь к зимнему маскараду в Оранжерее?

Ни звука в ответ.

– А может, вы посчитали выгодным напасть на меня, чтобы к чему-либо вынудить?

Опять тишина.

– Гликерия Андреевна, – сказал Шеврикука, – будьте добры, воплотитесь в саму себя. Позвольте поглядеть, какие на вас теперь наряды.

Наряды оказались вполне подходящими для нынешних деловых передвижений по московским улицам, офисам и магазинам. Узкие, в обтяжку, брюки, фиалковая блузка и бордовый пиджак. С плеча на ремне спускалась кожаная сумка, возможно, с деньгами, косметикой, сигаретами и существенными бумагами. Русые сегодня волосы Гликерии, ничем не украшенные, густо и ровно лились на бордовые плечи. А на среднем пальце ее левой руки имелся перстень с золотой монетой, или оболом, из приобретений Пэрста-Капсулы. Надо полагать, что и вторую вещицу Пэрста-Капсулы – фибулу, или пряжку с лошадиной мордой, Гликерия Андреевна не утратила. И не перстень ли, между прочим, вызывал свечение пятна-регистратора?

– Шутки с тенью Фруктова, – спросил Шеврикука, – повод для вашего появления в Землескребе?

– Отчасти да, – согласилась Гликерия. – Но и зарегистрировать тень мне сегодня нужно.

– Чтобы оправдаться перед кем-то, – предположил Шеврикука. – Или, может быть, необходимо алиби?

– Хотя бы и так, – кивнула Гликерия.

– Но от тени остались лишь обывательские домыслы и ложные видения.

– Важно, чтоб был подписан протокол об отсутствии или присутствии привидения, – сказала Гликерия. – У меня есть бланк, а печать вы поставите, приложив к нему большой палец.

– Послюнявив его? – поинтересовался Шеврикука. – Или окунув в крем для бритья? Или в подсолнечное масло?

– Можете и в касторовое.

– Тогда опущу в гуталин, – решил Шеврикука. – Подавайте бланк.

Гликерия сняла с плеча сумку, произвела замками удивительно музыкальные звуки, протянула Шеврикуке бумагу, расчерченную канцеляристами вдоль и поперек. Пунктами опросного интереса были – «Год явления», «Место явления», «Плотность формы, степени с 3-й по 8-ю», «Размытость формы, степени с 9-й по 17-ю», «Способность к саморазвитию», «Благородность, срединность, низость происхождения (имеющееся подчеркнуть)», «Степень вредности (по шкале Блестючего)», «Особенности вида», «Способность к выделениям» и прочая ерунда. «У нас Радлугин, – подумал Шеврикука, – попытал бы вопросами куда увлекательнее и бдительнее». Но один пункт опросного учета его все же насторожил: «Носит ли очки?»

– Этак неделю просидишь с вашими занудствами, – поморщился Шеврикука.

– Стало быть, есть привидение-то! – стремительно заявила Гликерия и словно обрадовалась горестям Шеврикуки.

– Ну уж нет! – сказал Шеврикука. – Я лишь прочерки поставлю. За неимением объекта.

Прилетевшей ручкой Шеврикука в пустотах бланка учета с удовольствием провел черточки, расписался, не забыв укрепить имя должностью, и, не пожелав отправиться за гуталином или касторовым маслом, послюнявил рекомендованный палец и поставил печать.

– Время укажите, – хмуро сказала Гликерия. – Век, год, месяц, час, минута. И ниже опять печать.

– Пожалуйста! – обрадовался Шеврикука. – Значит, есть нужда и в алиби!

– Это дело второстепенное, – не глядя на Шеврикуку, произнесла Гликерия.

– Я так и понял, – кивнул Шеврикука. – Иное привело вас в Землескреб. Но зачем были нужны эти долговременные подходы и маскарады? Отчего нельзя было выложить свои побуждения сразу? При

ваших-то способностях брать быка за рога?

Огонь был в глазах Гликерии, пламя могло опалить Шеврикуку.

– Конечно, вы вольны допускать сейчас насмешки и издевки, – сказала она. – Вы сейчас при силе.

– При какой силе? – удивился Шеврикука.

– При доверенности.

– При какой доверенности?

– При генеральной.

– Вот тебе раз… – пробормотал Шеврикука. И слова более произнести не смог. – Надо же… – сказал он наконец. – Неужели вы укротили гордыню и явились сюда из-за нелепых слухов? Неужели так? Вы меня огорчили, Гликерия Андреевна…

Гликерия промолчала.

– От кого и что вы узнали про доверенность? – спросил Шеврикука. – И что это за сила, которую она якобы дает?

– О доверенности известно многим, – выговорила Гликерия, опять же не глядя в глаза Шеврикуке. И сразу же уточнила: – Уже многим…

– Это как раз объяснимо, – сказал Шеврикука. – Слухами выстрелить нетрудно, и даже можно предположить – с какими целями. Но вот что за силы-то? Что вы о них слышали?

– Шеврикука, это лишнее…

– Я не фальшивлю, поверьте мне. Какие такие силы могли быть у мухомора Петра Арсеньевича и отчего они не спасли его? Именно не спасли… Да и не доверенность это вовсе, а…

– А… – Гликерия напряглась, будто бы прыгнуть желала к Шеврикуке с намерением вытрясти из него секреты. – А что?!

– Не имеет значения, – сухо сказал Шеврикука. – Но не доверенность. Был бы очень признателен, если бы вы посвятили меня в суть того, что известно многим.

– Слышала, – Гликерия говорила уже холодно и высокомерно, – что вы получили особенное наследство. Более ничего не ведаю. Как не ведаете, если верить вам. и вы…

– Я вас не обманываю, – подтвердил Шеврикука. – Но я из-за дурноты своей натуры, заранее прошу извинений, могу подумать, что именно слухи подтолкнули вас к походу в Землескреб, либо – на разведку, а либо и с надеждами, что некие силы, якобы доставшиеся мне, окажутся нелишними в ваших предприятиях.

– Вы искажаете мои слова, – гордо заявила Гликерия. – И опять позволяете себе насмешки и издевки. Никакого интереса к вашим силам у

меня нет.

– В это, раз вы здесь, – сказал Шеврикука, – я не могу поверить.

– Хорошо, – не без колебаний согласилась Гликерия. – Интересы есть. Думайте обо мне что хотите.

– Вы говорите так, будто сейчас происходит наше с вами знакомство, – заметил Шеврикука. – Или передо мной сегодня совершенно новая Гликерия Андреевна?

– Я всегда прежняя и всегда новая. Но что вы знаете и обо мне прежней-то?

– Ваши слова резонны. Но откройте мне ваши интересы. А я смогу предположить, на какие силы вы желаете опереться и, стало быть, в чем суть, пусть и частичная суть, бумаг Петра Арсеньевича.

– Мы с вами сейчас не на равных, – опечаленно произнесла Гликерия. – И вы снова насмешничаете. Жаль. Это досадно.

– Гликерия Андреевна, но ведь я могу ощущать нынче и раздражения. Или скажем мягче – недоумения. Вы получили бинокль?

– Получила, – сказала Гликерия.

– Значит, Дуняшины свидания со мной не секрет. И Дуняша, надо полагать, выволочек от вас не претерпела. Неделями назад мысль об обращении ко мне с просьбой о чем-либо была для вас отвратительна. И я могу вас понять. И Дуняша действовала как бы против вашей воли, хотя и служила вашим необходимостям. И это я тоже могу понять. Но сегодняшний ваш визит, да еще с переодеваниями, да еще и сразу же после того, как я нечто открыл, а вы будто за углом стояли, и вызвал мои… недоумения. Я нервен сейчас, и мои слова вам придется вытерпеть.

– Что-то я вытерплю, – сказала Гликерия. – Но не все. А за углом я не стояла.

– И на том спасибо. Но кто-то, выходит, стоял. И этот кто-то мог бы вас известить, что как только я нечто открыл или отрыл, так тотчас же и зарыл. И при мне ничего нет.

– Я ли вас не знаю, – грустно улыбнулась Гликерия. – Вчера вы зарыли, а завтра отроете.

– Вы меня желаете раззадорить. Или даже разъярить… – тихо произнес Шеврикука. – Я нервен сейчас, но благоразумен.

– Я вовсе не хочу разъярять вас. Какая мне от этого выгода? – Гликерия снова улыбнулась, но теперь в ее улыбке было лукавство, а пожалуй, и кураж. – Я хочу разбудить в вас игрока, каким вы были в удачливые дни.

– Ага. Игрока. Понятно. Но игра-то идет или будет идти ваша. А я-то в ней при чем? Или при ком?

– У вас пойдет своя игра! – Гликерия будто рассердилась.

– Ваш интерес не с Пузырем связан? – спросил Шеврикука.

– Не с Пузырем! – отрезала Гликерия.

– Но паспорт-то вы наверняка выправили в связи с Пузырем, – предположил Шеврикука.

– Паспорт? – смутилась Гликерия. – Что за паспорт?..

– Обыкновенный. Правда, старого образца. Без двуглавого. Еще предстоит менять. Опять будут затруднения…

– Паспорт вас пускай не заботит… Это так, забава…

– Он меня и не заботит, – согласился Шеврикука. – Меня занимает одно. Отчего местом прописки вы назначили себе Останкино, а не Покровку, как того требовали бы обстоятельства вашей жизни? Впрочем, это домашнее и мелочное любопытство. И ответ ваш не нужен. Я просто, опять же по дурноте и мелочности натуры, подумал: а как же Пузырь, списки и прочее и прочее? На Покровке нет Пузыря…

– Шеврикука, – Гликерия выглядела расстроенной, – вы вольны сегодня прикидываться дурным и мелочным. Да, отчасти добытый паспорт связан с Пузырем. Но отчасти. Да, вышла для меня и забава. Вы ведь небось и сами выправили себе паспорт?

– Выправил, выправил! – закивал Шеврикука. – Оттого что глупый и легкомысленный!

– Вот и я увлеклась, – призналась Гликерия. – Без разумной мысли…

«Вроде бы и умилиться нам сейчас следует, – подумал Шеврикука, – по поводу сходства наших неразумностей, а потому и сходства наших натур и судеб, и шагнуть друг другу навстречу, и… Но не выйдет… И не надо».

– Но, может быть, они и понадобятся. И мне, и вам, – сказала Гликерия чуть ли не доверительно, чуть ли не душевному другу.

Этой якобы доверительности Шеврикука сразу же захотел установить цену.

– А если я вам сегодня не открою, – спросила Гликерия, – ради чего я желаю опереться на ваши… на ваши возможности?

– Значит, все нынешние хлопоты пройдут без пользы для вас. Или уже прошли без пользы.

– Но если я дам слово, что вы ни в чем не будете ущемлены, что вы не подвергнетесь никаким неудобствам и уж тем более опасностям и ничего не утеряете, а возможно, и приобретете, даже и тогда вы не согласитесь оказать мне услугу?

– Гликерия Андреевна, Гликерия Андреевна… – вздохнул Шеврикука.

– Вы не верите моему слову?

– Своему ли слову, вашему ли слову… – развел руками Шеврикука.

– Опять вы не желаете говорить со мной всерьез! – осерчала Гликерия. Потом все же осадила себя и продолжила: – Возможно, вам и вовсе не придется заглядывать в свои сундуки и арсеналы. Скорее всего, дело обойдется и без ваших подсобий. Но я хотела бы сегодня, теперь же знать, какие у меня могут быть резервы и вспоможения. Оттого я и унижаюсь перед вами. Но, похоже, мои унижения вам приятны. А я и предполагала, что они будут вам приятны. И все же, глупая и безрассудная, явилась в Землескреб.

– Ваши унижения, если это и впрямь вынужденные унижения, – сказал Шеврикука, – мне приятны и неприятны. Сами знаете почему. Относительно же вашей безрассудности позвольте выразить сомнения.

– Вы хозяин положения, – сказала Гликерия.

– Как регистратор вы удовлетворены заполненным мною бланком? – спросил Шеврикука.

– Как регистратор я не удовлетворена бланком, – сказала Гликерия. – В нем – обман. Но тень Фруктова мало кого сейчас волнует. А слова ваши я должна признать любезным пожеланием пойти вон, не так ли?

– Гликерия Андреевна, – сказал Шеврикука, – или вы открываете мне ваши интересы и суть вашего свежего приключения, или говорить нам более не о чем.

– Сегодня я не готова открыть вам… – твердо сказала Гликерия. Но слезы появились в ее глазах.

– Дайте хоть намек… – начал было проявлять слабость Шеврикука.

– Шеврикука, – волнение Гликерии, казалось, было искренним, да и страсть, разгорающуюся в ней, Шеврикука ощущал, – я бы на колени встала перед тобой, но это не по мне, ты это знаешь… Ты говорил о дурной клятве и тем меня обидел или даже оскорбил… Но сейчас есть случай освободить себя от гнетущих обязательств. Навсегда. Или они погубят меня. И дадут ненавистному и уродливому движение к делам мерзким и злым… Я ведь знаю, каким ты бывал милосердным…

– Успокойся, успокойся, Гликерия! – взволновался и Шеврикука, шаг сделал к Гликерии, но та взмахом руки повелела ему остаться на месте. – Если я в силах сделать что-то, я сделаю…

– Все, – Гликерия снова была твердой и надменной. – Это секундная слабость. Забудьте о ней, Шеврикука. И о всех бабьих горестях и побуждениях. Я вас, похоже, разжалобила. А это скверно. И не из-за собственных тягот и обязательств я сюда явилась. Я намеревалась просить вас о сотрудничестве. Там вас ждали бы выгоды, а не затруднения и

жертвы.

– Назовите суть и способы сотрудничества, – сказал Шеврикука.

– Увы, – покачала головой Гликерия. – Оказалось, что сегодня я не готова к разговору. Лишь преодолела нечто в себе, и все…

– Когда решитесь, – сказал Шеврикука, – дайте об этом знать. Или назначьте встречу и место ее, какое не будет вам неприятным.

– Если решусь, то в ближайшие дни. Но скорее всего, я не стану вас затруднять, – заявила Гликерия. – Извините за беспокойство.

И она исчезла.

49

Минут сорок Шеврикука бродил в серых междустеньях своих подъездов, не мог успокоиться.

«В пекло она желает меня втянуть! – повторял он себе. – В пекло!» Сама же будет полеживать, обдуваемая влажным ветром, на гальке феодосийского пляжа и ожидать.

Понимал, что несправедлив и пристрастен. Так про Гликерию думать было нехорошо. Уж если бы возникла потребность устремиться в пекло, в огненную топку Земли, она туда бы устремилась. Иное дело: многие там бы и сгорели, а Гликерия могла сыскать способ и не сгореть.

На разведку она приходила, размышлял Шеврикука, или и впрямь не отважилась назвать словами затеянное ею и вынужденно предстоящее ей? Могло быть и то и другое. Во всяком случае, следовало уяснить, играла ли теперь Гликерия перед Шеврикукой и еще кем-то, дурачила его и еще кого-то, Шеврикуке неизвестного (или неизвестных), либо от скуки, либо по бабьему капризу, или же она, смяв гордыню и готовая к унижению, явилась к нему, вытолкнутая из укрытий объявленного ими неприятия друг друга колющей необходимостью. Чем была вызвана эта необходимость – стремительно-шальной авантюрой Гликерии или обострением гнета тяжких обязательств, – не имело значения.

Она говорила о доверенности Петра Арсеньевича. А не о «Возложении». Опять же это не имело значения. Была, правда, одна пустячность. Выходило, что никто из-за угла за подвигами Шеврикуки в маете с набалдашником не подглядывал. А если кто и подглядывал, то не от него Гликерия проведала о приобретенных Шеврикукой по наследству силах. Кому-кому, а ей нередко открывались секреты, запечатанные не одними лишь сургучами. Имела дар. И не следовало удивляться, что визит в Землескреб она нанесла сразу же после отыскания Шеврикукой бумаги Петра Арсеньевича. Возможно, из-за нетерпения и спешки и оказалась она не готовой к разговору. Но не исключено, что в Землескреб – опять же из-за нетерпения, но и по розмыслу – Гликерия отправилась лишь на разведку. И коли так – желаемого добилась. Вынудила Шеврикуку признать, что некий документ (пусть и не доверенность) на него свалился, ощутила, что его можно разжалобить, а разжалобив и усмирив, увлечь в полон своих устремлений, а можно и раззадорить, разъярив в нем игрока, и подтолкнуть к гусарствам.

«Ох, и лукавая вы дама, Гликерия Андреевна!» – безгласно укорил Шеврикука бывшую приятельницу. Но бывшую ли?

«Ты о ней все время думаешь, – уверила его на Звездном бульваре, тогда еще не осчастливленном Пузырем, Невзора-Дуняша. – Противна она тебе или прелестна, но ты о ней думаешь. А раз думаешь, значит, ты…»

Думает, думает…

И Гликерия думает о нем, сомневаться в этом не приходилось, не важно, что думает и при каких обстоятельствах, пусть даже порой высоконадменно, а то и с презрением барыни, но думает.

«Чуть ли опять не перешли на „ты“! Надо же! – как бы дивился Шеврикука. – На колени, мол, я перед тобой бы встала! Это Гликерия-то Андреевна!» Никогда ни перед кем Гликерия на колени не вставала и никогда ни перед кем не встанет. Сами просительные слова ее были для Гликерии наверняка болезненно-непроизносимыми (в них будто бы допускалась возможность великого унижения и предательства своих житейских установлений), но она их произнесла. Из-за того, что у него, Шеврикуки, якобы объявились некие замечательные силы!

Страдала ли сегодня Гликерия в Землескребе или же лицедействовала и наслаждалась лицедейством?

Все могло быть.

Вряд ли она, конечно, наслаждалась, тут Шеврикука признавал несправедливость в мыслях, наслаждение женщине приносит, скажем, месть, мстить же Гликерии не было как будто бы причин. Но лукавить и дурачить его она была способна, хотя и осторожничая, с опасениями рассердить собеседника, навредить своим устремлениям к удачам или добычам. «В пекле! В пекле ее удачи и добычи!» – опять взыграло в Шеврикуке. Так или иначе, появление Гликерии завтра или послезавтра или ее вызов на свидание были вполне вероятными, и ему, Шеврикуке, успокоенным рассудком предстояло постановить: какой образ действий избрать.

Можно было отдалить ее от себя (или отдалиться от нее) навсегда. Что Шеврикука и старался сделать в последние месяцы. Кабы он перестал о ней думать… И сегодня слезы ее были вроде бы истинны. За годы их отношений она не лгала и не врала Шеврикуке, не та натура, только что вводила в заблуждения – и не раз, или мелко обманывала, но без корысти, а в шутку или ради розыгрыша, конечно, нередко и умалчивала о существенном, это уж в собственных интересах; так вот, даже если теперь она вводила его в заблуждение, слова о гнете тяжких обязательств и влагу в глазах Гликерии он, Шеврикука, все же должен был принять всерьез. И ему

хотелось убедить себя в том, что Гликерия приходила к нему нынче не коварная и злонамеренная, а именно принужденная обстоятельствами, именно страдающая, если и не во всем искренняя, то опять же из-за обстоятельств, из-за своей гордыни, из-за кривосложностей их с Шеврикукой отношений.

Да, надо было убедить себя в этом! И с тем жить дальше. Разговоры же с Гликерией Шеврикука полагал вести морожено-дипломатические, не допуская срывов в патоку дружелюбия или опасной душевной тонкости, подобно нынешнему с возвращением к «ты».

Пусть будет так, постановил Шеврикука.

А если его одурачат, если он угодит в яму со зловониями или в пекло, ему придется винить себя. Случится еще один урок, возможно, последний.

Но нельзя допустить, чтобы его стараниями добыли удачи вселенской дряни.

«Какие пошли пафосы и красоты! – поморщился Шеврикука. – Вселенская дрянь! Экий я исполин и герой, решивший не посрамить рыцарство!»

И было упомянуто слово «милосердный». К милосердию призывали Шеврикуку, к милосердию! Как тут не воспарить чувствами! Впрочем, если бы к милосердию его стал бы призывать, скажем, добродетельный гражданин Радлугин, Шеврикука драматически и вразумляюще выразился бы. Но его призывала к милосердию Гликерия!

А если бы принялась умолять о милосердии Увека Увечная, Векка Вечная?

Сейчас же посоветовал себе Шеврикука взять Увеку Увечную за мелодические бока и отодвинуть ее в угол молчания. До поры до времени.

Ладно. Его подмога Гликерии допустима. И если Гликерия угостила его сегодня зельем, то ее зелье – воздушно-цветовое, а может – и музыкальное, в отличие от жидкостей сокольнической Стиши. (Между прочим, Гликерия, подумалось Шеврикуке, призывала его в сотрудники. Векка-Увека же упрашивала назначить ее сподвижницей, чуть ли не жертвенной, чуть ли не Жанной д’Арк. И возможно, она уже осуществляла себя Жанной д’Арк при останкинском громобое Сергее Андреевиче Подмолотове, Крейсере Грозном, и амазонском змее Анаконде. Кстати, состоялось ли у Векки-Увеки свидание с Отродьями Башни? И не Тысла ли со свирепым Потомком Мульду были направлены курьерами к маньчжурскому ореху?.. Впрочем, мысли об этом взблеснули стрекозиными крыльями и унеслись к озерной прохладе.)

Успокоенный Шеврикука впал в мечтания. Ощутил себя и впрямь

кавалером или даже рыцарем из грез и упований Петра Арсеньевича, способным облагодетельствовать хрупкие женские натуры. Теперь он был согласен устраивать изумрудную судьбу Гликерии, добывать ей к маскараду золотые удовольствия гомерово-оффенбаховской Елены, откопанные Шлиманом в Малой турецкой Азии, а ныне опущенные на цепях в глубины государственных секретов, отводить от Гликерии все беды, заставить содрогнуться, взвыть и покрыться струпьями всех ее злыдней и татей и… И еще что-то совершить, не дожидаясь ни взглядов, ни слов благодарности. Разъяснять себе или уточнять это предполагаемое «что-то» Шеврикука не стал, приливы горних устремлений повлекли его далее, облагодетельствования его готовы были распространиться и на доблестную воительницу Дуняшу-Невзору, громившую на Покровке обидчиков Гликерии, и на признанную Радлугиным шикарной женщиной Нину Денисовну Легостаеву, или Денизу, и на несомненно требующую опеки нежную девушку Векку-Увеку, и на томно-упоительную, обильную желаниями и телом Совокупееву Александрин, и на кроткую мечтательницу с музыковедческим образованием Леночку Клементьеву, чающую с воздыханиями полета к ней большого шмеля – гения Мити Мельникова, и даже на проказницу и искусительницу Стишу… Всех их, всех Шеврикука готов был сейчас облагодетельствовать, уберечь от житейских притеснений, утешить и приголубить. Всем им слезы утереть…

«Да что со мной! – опомнился Шеврикука. – В кого я себя возвожу! О чем грежу?»

И ради кого? Они же все – бабы, стервы и интриганки! Хищницы и охотницы. И Гликерия – охотница! А он решил утереть им слезы, облагодетельствовать их и приголубить!

Клоун, обозвал себя Шеврикука, Карандаш! Притом и жалкий. Лишь комплексами недотепы и неудачника можно было объяснить внезапно обволокшие его мечтания. Какими такими подарками природы и судьбы он обладал теперь, чтобы кого-либо облагодетельствовать и наградить процветанием?

Ах, ну да, усмехнулся Шеврикука, а сила-то бумаг Петра Арсеньевича? Как же! Как же!

Как же! Нет, нельзя было давать – хотя бы умолчанием – и песчиночных надежд Гликерии. Опущено на него «Возложение Забот», а не мешок с рождественскими подношениями. А взять на себя тягость возложенных забот Гликерия вряд ли отважится (Векка-Увека, возможно, и отважится). А сил у него нет! Нет! Но если они и приданы к «Возложению Забот», то, конечно, не для его, Шеврикуки, личных блажей. К тому же он

от них устранился и распаковывать их не стал. Это Гликерия Андреевна должна принять к сведению. Для этого Шеврикуке еще предстояло поставить Гликерию в известность о своих богатствах и рудных жилах. То есть об отсутствии их.

Как там написано в «Возложении», принялся вспоминать Шеврикука. Переданы ему привилегии и обязанности Петра Арсеньевича. Да, будем считать – и привилегии. Далее вроде бы разъяснено: «Указания о приемах, средствах и линиях возможных действий любезно дадены в тайно предоставленных приложениях…» Пользоваться этими приемами и средствами разрешалось (или рекомендовалось) лишь при сословных или исторических необходимостях. Не пожелав заглянуть в приложения, ради оправданий Шеврикука посчитал, в частности, что сословных и исторических необходимостей пока нет. Степь не горит. А уж если бы вспыхнули в степи костры и пожары, Шеврикуке бы открылось.

Но поручили бы подать знак об этом вовсе не Гликерии Андреевне Тутомлиной.

50

Упросив себя больше не томиться мыслями о приходе Гликерии, о своих чувствах к ней и в особенности не томиться мыслями о наследстве Петра Арсеньевича и соблюдать благоразумие, Шеврикука отправился в пешее и бездумное путешествие по останкинским достопримечательностям, не имея в голове деловых интересов.

Прибрел на Звездный бульвар. Пузырь, похоже, сегодня почивал, лежал бездушно, был заперт и зашнурован, никого в себя не впускал, ни с кем не общался, движения или хотя бы вздрагивания в нем не происходили.

И вокруг Пузыря было тихо. Дневные городские звуки, естественно, не исчерпались и не утихомирились. Но Пузыря они не раздражали. А вот звуки скандальные и общественно-народного наполнения, видимо, из уважения к Пузырю, к праву его на отдых со сновидениями, а может быть, из-за смиренно-корыстных опасений немилостей Пузыря отодвинулись на Поле Дураков и к парадному, со снопами изобилий, входу на Выставку Достижений. Скандалили громче других желающие пробиться в Лигу Облапошенных, а стало быть, и в соискатели грядущих компенсаций. Эти желающие прибывали в Останкино из самыхразных обездоленных земель, даже и от диких кочевых народов, о чем свидетельствовали бытовавшие теперь на Поле Дураков верблюды, бактрианы и дромадеры, страусы-скороходы, ездовые кенгуры и собачьи упряжки. Корабли пустыни удивляли гостеприимных и жалостливых останкинцев гордыми натурами, хлеб, мясо и рыбу не кушали, а принимали из рук лишь сушеную каракумскую колючку.

Скандалисты Шеврикуку не волновали. Они были до того бестолковы и себялюбиво-наглы, что не могли даже добиться статуса облапошенных. Впрочем, и они не пропадут, полагал Шеврикука, а кого-нибудь и сами обдурят. Правда, без пользы для себя.

Собеседователи же общественно-народного наполнения сбивались в говорильни, но сейчас как будто бы напряжения в них не было, не колотили дамы галошами по стиральным доскам, не лезли на кафедры или кузовы автомобилей истину чующие, не призывали штурмовать водопровод – беседы всюду проходили степенно-благоразумные, в них растекались надежды и не слышалось озверения.

Слова о Пузыре до Шеврикуки не донеслись.

В одной из говорилен Шеврикука углядел распаренного поворотами и

полезностями дискуссии Радлугина, но подойти к нему не пожелал. Тем более что к месту пребывания Шеврикуки на асфальте подкатил «мерседес» и вблизи Шеврикуки замер. Отворилась дверь иномарки, и в собеседники Шеврикуки шагнул известный уже в Москве предприниматель Олег Сергеевич Дударев, один из столпов известного уже в деловых кругах Тайбэя (Тайвань), Хоннара (Соломоновы острова), Анкориджа (штат Аляска) и пр. концерна «Анаконда». Днями раньше Дударев приплыл к Землескребу в темно-сером «мерседесе», видно, что поношенном, и сам управлял средством передвижения. Теперь его «мерседес» имел цвет вишневый, и было ясно, что лимузин предпринимателя – новорожденный и только что растаможенный. У руля же сидел крепыш Дубовое Полено в наводящих трепет зловеще-тонированных очках, под малиновым пиджаком, предположил Шеврикука, у него наверняка оттопыривался табельный предмет.

– Игорь Константинович! Дорогой вы наш! – шумно приветствовал Шеврикуку Дударев. – Рад видеть вас! Несказанно рад!

– И я рад, – чуть наклонил голову Шеврикука.

– Наблюдаете?

– Наблюдаю, – сказал Шеврикука. – Как и договорились.

– Как и договорились! Как и договорились! Вот и славно! – возрадовался Дударев, будто на плечо ему уселась птица лирохвост, а в клюве принесла кредитную карточку. И перешел на шепот: – На днях!.. На днях с Пузырем все начнется! Случится нечто грандиозное, но и… И заварушки всякие возможны, и катавасии, нас ведь хлебом не корми… Тут ко всему придется быть готовым…

– Я догадываюсь, – сказал Шеврикука. – Я внимательный…

– И хорошо! И хорошо! – одобрил Дударев. – Ба! Да я совсем забыл поздравить вас!

– С чем это?

– С премией.

– С какой премией? – удивился Шеврикука.

– Ну как же! С премией! Или чем там вас наградили? Все говорят. А молва знает о том, о чем и газеты не напечатают.

– Не получал я никаких премий, – хмуро выговорил Шеврикука.

– Ну не получали! Не получали! – принялся его успокаивать Дударев. – Скромничайте, коли не желаете говорить о премии, тем более если она с печатями на лбу. Только все знают… Молва, она, сами понимаете…

Шеврикука был готов всерьез убеждать Дударева в том, что никто не

производил его в лауреаты, а молва – дура и нет ничего глупее ее превратных суждений, но понял, что возражения лишь возрадуют Дударева и укрепят его мнение: была премия, была. И вдруг до Шеврикуки дошло, откуда и из-за чего мог возникнуть возвышающий его слух. Он растерялся.

– В премии главное-то не бумажка из кассы, – просветил его Дударев, – а диплом и звание. Новая степень уважения… Кстати, зарплату вашу мы опять индексировали. И крепко. А получать ее вы будете теперь в долларовом эквиваленте. Да! Мы на это уже способны.

– А… – Вопрос некий собрался задать Шеврикука. Но замолчал.

– Я вас понял! Понял! – заторопился Дударев. – Да, задержки. Да, неплатежи. Но получите, получите! И паркетные работы скоро начнутся. Паспорт, я надеюсь, у вас есть?

– То есть… – смутился Шеврикука. – При чем мой паспорт?

– Я имею в виду заграничный, – сказал Дударев. Заграничный паспорт.

– Нет у меня заграничного паспорта! – решительно заявил Шеврикука.

– Жаль, конечно, жаль… Но это мы быстро устроим… Для нас в ОВИРах и МИДах нет блиндажей и укрепрайонов. В концерне мы завели иностранную комиссию. Вы скоренько принесите фотографии, сами знаете какие, и мы вмиг все оформим.

– А зачем мне заграничный паспорт? – надменно спросил Шеврикука.

– Понадобится, Игорь Константинович, понадобится, – заверил его Дударев. – Вот, скажем, паркет. Годится ли наш паркет для дома на Покровке? Как же! Это дрянь что за паркет! Тьфу! А вот в Северной Италии, на границе с Австрией, – чудо что за паркет. Из альпийских елей. Из них и страдиварии делают. Туда вы, как мастер и дока, и отправитесь за цветными и фигурными плашками.

– Куда мне… – пробормотал Шеврикука. – У меня здесь дел хватает…

– Какие у вас в Москве могут быть дела! – возмутился Дударев. – Съездите на две недели. Отдохнете. Совершите восхождение на вершины. Обмоете премию тирольскими винами,

– Ну, если только в грузчики вы мне отпишете Сергея Андреевича, Крейсера Грозного, – сказал Шеврикука.

– Это надо обсудить, – задумался предприниматель. – Это если его змей отпустит.

– Конечно, – согласился Шеврикука. – А то кто же будет носить ему на десерт гвоздики…

– Какие гвоздики? Какой десерт? – не понял Дударев. Но сейчас же десерты амазонского змея Анаконды перестали занимать Олега Сергеевича Дударева. Он взял Шеврикуку под руку и по-приятельски увлек его на

прогулку по улице Королева в направлении Останкинской башни. И заговорил секретным шепотом в старании, чтобы его не услышали ни земляки-пешеходы, ни Отродья Башни, ни крепыш Дубовое Полено, занятый у штурвала чтением мужской газеты с картинами услаждений.

– А потом, Игорь Константинович, – доверял Шеврикуке Дударев, – случится попросить вас настелить паркет где-нибудь на острове вроде Канар, Флорида хороша, но уж больно далека, в домике махоньком о двух покоях и трех спальнях, с павлиньим пением во дворе. И чтоб в приятных помещениях на видных местах фамильный герб был выложен. С вензелями О. Д. Герб цветной с вензелями вы выложить сможете?

– Смогу, – вздохнул Шеврикука.

– Ну и чудесно, – заулыбался Дударев. – Только это все между нами. Тсс-с! Никому ни словечка, прошу вас. В особенности этому горлопану и бездельнику Крейсеру Грозному. Он и наврет в сто коробов!

– А привидений из Москвы в тот махонький домик вы не выпишете? – спросил Шеврикука.

– Если заскучаем, то и выпишем. Отчегр же и не выписать?

– Монплезир… Монкураж… Но ведь им тоже, наверное, потребуются заграничные паспорта, – предположил Шеврикука.

– Какие проблемы! – махнул рукой Дударев. Но тут же и спохватился: – Кому паспорта? Привидениям? Мы их провезем как сувениры. Впрочем, все выясним. Это ведь не сейчас. Это ведь и не послезавтра. Это ведь к зиме… А теперь уж, с вашего милостивого разрешения, Игорь Константинович, повернем к моей колымаге. Меня небось заждались.

И они повернули к колымаге.

А через полчаса возле входа на Выставку Достижений Шеврикука повстречал сановного домового из Китай-города Концебалова-Брожило, в грядущем – Блистония, всадника и оптимата.

Как и в прошлое посещение Останкина, Концебалова опять украшала оранжевая роба ремонтника дорожных покрытий, но на этот раз ступни его от беспокойств и колющих мелочей земной поверхности отделяли не изделия массовой культуры на манер кроссовок «Трейнинг», а пахнущие животным миром римские сандалии дорогой кожи.

– Шеврикука, – спросил после обмена взаимоуважительными приветствиями Концебалов-Брожило, – вы слышите, они кричат: «Отрешить!» Кому они назначают отрешение?

– Мне-то не все ли равно, – сказал Шеврикука. – Какому-нибудь прохвосту. А может быть, дураку. Не будем судить, кто они сами.

Если покажется занимательным, кому грозят отрешением и кто

сравнялся судьбой с бедолагой Никсоном, подумал Шеврикука, всенепременно узнаю у Радлугина, хотя бы и через «дупло» Пэрста-Капсулу. Но что уж могло быть этакого занимательного во всяких отрешениях?

И Концебалов-Брожило, будто распознав умонастроение Шеврикуки, более никаких слов об отрешениях не произносил. Грядущий Блистоний был сегодня чрезвычайно деликатен, а на Шеврикуку то и дело остро взглядывал, словно бы желая открыть в знакомце нечто, ему дотоле неведомое, но на днях кем-то обнаруженное. Что же он, заинтересовался и сам Шеврикука, прежде во мне не рассмотрел и не исследовал? И ради чего он прибыл нынче в Останкино? Ради Пузыря? Или ради Омфала из якобы утерянной коллекции, который теперь, если верить Концебалову, ему не терпелось по жизненной необходимости обрести вновь?

Но ни про Пузырь, ни про Омфал, Лихорадки и Блуждающий Нерв Концебалов-Брожило не произнес ни слова, а стоял или прогуливался вместе с Шеврикукой безгласно и тем Шеврикуку удручал.

– Листал я на днях «Словарь античности», – не выдержал Шеврикука.

Концебалов будто и не расслышал его слов.

– Текст ученый, немецкий, а отпечатано в Можайске, иллюстрации неважнецкие, и дельфийский Омфал выглядит там смутно, – не мог остановиться Шеврикука, а уже понял, что говорить более не стоит, он и так уже оказался в положении глупейшем.

Концебалов взглянул на него как бы в удивлении.

– Неужели при ваших теперешних заботах и интересах у вас находится время брать в руки «Словарь античности», книгу столь отдаленную от этих забот и интересов? – спросил он.

То ли Концебалов иронизировал, то ли он произнес сложную для восприятия Шеврикуки китайгородскую светско-гипюровую тонкость.

– Отчего же мне не взять в руки «Словарь античности»? – поинтересовался Шеврикука. – И какие такие у меня теперь особенные интересы и заботы?

– Ну как же! Как же! Выйдут особенные! – произнес Концебалов, сведенные ладони протянул к Шеврикуке, словно на них обязан был появиться пирог со слоеным смыслом. – Наслышаны-с! Наслышаны о том, что вы получили!

«И этот, что ли, поздравит меня с премией?» – подумал Шеврикука.

– А что я получил?

– Ну не кокетничайте, Шеврикука, – укоряюще покачал радикально постриженной головой Концебалов, и носок римской сандалии его катанул

по асфальту камешек. – Я ведь служу в осведомленном доме.

– Я не забыл, – кивнул Шеврикука. – А потому хотел бы у вас узнать, что же такое я получил?

– Полагаю, что простодушно-наивные мотивы в нашем с вами разговоре неуместны, – сказал Концебалов.

– Возможно, я допустил бестактность, упомянув о невнятном изображении дельфийского Омфала, конечно, тут легчайшее совпадение – ваша коллекционная вещица и античный Пуп Земли… И я бормочу сейчас невнятное… Просто я, памятуя о том, что вы служите в осведомленном доме и сами изо дня в день осведомляетесь, подумал, будто вы могли внести поправки в свои пожелания… Иные считают, что я нечто получил. Я же знаю, что на меня нечто возложено. И это возложенное вряд ли может помочь в каких-либо деловых предприятиях, в частности, и в приобретении античных сувениров.

«Фу ты! – вздохнул Шеврикука. – Экую я тягомотину выговорил! И зачем?»

– Спасибо за разъяснения, любезный Шеврикука, – сухо произнес Концебалов. – Я и не рассчитывал на то, что вы сейчас же броситесь выполнять мою хрупко-интимную просьбу, даже если бы я втрое утяжелил приз, то бишь гонорар, то бишь – как было при государыне Екатерине – вывод. Я опасался, что вы при вашем новом… значении, так скажем… заважничаете и про всякие омфалы забудете… А ведь теперь вам будут доступны всякие удивительные ходы и приемы…

– Давайте оставим в воздухе неведомые мне значения, ходы, приемы, важничанья, – резко заявил Шеврикука. – Дом у вас осведомленный, но, видимо, порой сведения к вам приплывают искаженные. А если придется мне столкнуться с Лихорадками и Блуждающим Нервом, то это будет обыкновенный Шеврикука, каким он был всегда.

– Каким он был всегда! – рассмеялся Концебалов. – А каким он был всегда? Кто знает об этом? Впрочем, иные знают. А иные догадываются. С Пузырем вот-вот все начнется. И уж кто только сюда не нагрянет. Вас это развлечет. Будет жутко. И будет опасно. Именно это вам и угодно. И я чрезвычайно рад, что вы решили поддержать меня. А за мной не пропадет. Раз вы отважились, и вывод получите, и многое откроется вам про Гликерию Андреевну, про нынешнюю тоже…

– Вовсе я еще ничего не решил, – сердито (серчая и на самого себя) выговорил Шеврикука.

– Решились! Решились! Отважились! – радостно зашумел Концебалов-Брожило. – Ждите меня здесь же дня через два-три. Я вас сыщу. Сообщу

все подробности, имена, номера автомобилей и пейджеров. Заранее благодарен. А сейчас спешу в Китайгород, в подневольные службы.

Вполне возможно, что и сановный домовой Концебалов-Брожило не менее Дударева был достоин «мерседеса», но вольготнее ему было умчаться в китайгородское подневолье с северным, от Холмогор, усмешливым воздушным потоком. Видимо, так он и сделал.

И тотчас к Шеврикуке прибыл добропорядочный и готовый соответствовать гражданин Землескреба Радлугин.

И раньше, в минуты общения с Дударевым и Концебаловым, Шеврикука ощущал энергию сегодняшнего интереса к нему Радлугина, потоки ее были куда почтительнее и уважаемо-преданнее прежних. Оказавшись рядом с Шеврикукой, Радлугин застыл в полупоклонном свидетельстве усердия и прилежания, будто Шеврикука восседал перед ним за столом с клумбой разноцветно-переговорных устройств. А ведь в последние дни в своих устремлениях разбогатеть, стать покровителем шикарной женщины (Нины Денисовны Легостаевой, или Денизы), с привилегиями заслуженного участника Солнечного Затмения пробиться к Пузырю, казалось, Радлугин был уже не способен к гражданским подвигам и с пренебрежением начал относиться к общественному долгу, жрецом которого, в его глазах, был несомненно Игорь Константинович.

Нет, к радости останкинского населения, не иссяк Радлугин как гражданин, не сбили его с панталыку и не развратили клокотания натуры, он и впредь был намерен служить общественному долгу и просвещению.

Все это докладывала Шеврикуке благонамеренно-вытянутая физиономия Радлугина. Да и весь Радлугин был парадно вытянут.

«Вот и хорошо. Вот и замечательно», – отметил про себя Шеврикука. Но никаких слов не произнес. И Радлугин стеснительно молчал.

– Будут ремонтировать подъездные дороги? – спросил наконец Радлугин.

– Какие подъездные дороги?

– А к Пузырю… – просветил Радлугин. – Вот вы беседовали с ремонтным рабочим… Оранжевым…

– А-а… – протянул Шеврикука. – Нет, мы говорили не про Пузырь… И тот в оранжевом жилете – не ремонтный рабочий… А подъезды к Пузырю, возможно, облагородят.

Следовало ли удостаивать Радлугина сведениями о его, Шеврикуки, собеседниках? Или угощать его надеждами на обустройство подъездов к Пузырю? А-а-а, пусть внимает! О вишневом «мерседесе» Радлугин умолчал в почтении. О чем уж тут спрашивать? Да и по чину ли?

А Радлугин наверняка сейчас соображал, что ему по чину, а что не по чину.

Суждения Радлугина об Игоре Константиновиче и прежде были излишне романтизированными. Имел Радлугин свои представления о структурах. Эти представления приносили ему усладу и цельность душевных устремлений. По этим представлениям Радлугин и Игорь Константинович были в структурах необходимы друг другу, но волею судеб разместились в разных кабинах Колеса обозрения. И если кабина Радлугина осталась там, где «зависла», кабина Игоря Константиновича поднялась ой-ой-ой куда.

Такие мысли бродили сейчас в Радлугине. И Шеврикука это чувствовал.

Ему даже стало неловко. «И этот туда же! А он-то что и от кого услышал?» Секундное сострадание Шеврикука ощутил к Радлугину и вынудил себя поощрить очарованного гражданина продолжением разговора. Спросил вельможно:

– И кому требовали отрешение? Кого собрались импичментовать?

– Бордюкова! – обрадованно ответил Радлугин. – Бордюкова!

– Бордюкова? – удивился Шеврикука.

– Бордюкова! Он живет в нашем доме. Бывшая важная особа в бывшем Департаменте Шмелей. С кадрами решал все. Глаз. Нюх. Слух. Дух. Чутье. Лопата и щуп. Но скандалист! Ругатель! Когда их Департамент разогнали, они гуляли в нашем подъезде. Он напился и буянил. Требовал всем умереть в борьбе… За это… Вы его, возможно, помните… То есть вы его, конечно, помните! – закончил со значением Радлугин.

– Помню, – сказал Шеврикука. – И что же нынче этот Бордюков?

– После разгона Департамента запил. Пил и во время Солнечного Затмения, – тут Радлугин голос утишил. – Но без лозунгов и портретов. Подавался в фермеры, на свою историческую родину, в пензенские земли. Выплыл в Москве монархистом, раздавал титулы, поместья, шубы и ордена. Искал рекомендателей в масоны, нашел двух, третьего ему не было дано…

– Я знаю. Знаю, – сказал Шеврикука. – Я про отрешение.

– После масонов с ним было одно приключение, – не мог остановиться Радлугин.

Шеврикука поморщился.

– Ах, простите, Игорь Константинович, – заторопился Радлугин. – Я забываю про вашу осведомленность… Про отрешение… Я боюсь быть неточным. У нашего Сообщества с движением Бордюкова разные причины

и методы действий. Мы с ними почти не соперничаем и не соприкасаемся. И к Пузырю они намерены выходить со стороны Ракетного бульвара через Мазутный проезд.

– Я вас понял, – сказал Шеврикука.

– Я слышал – «отрешить!», но у нас шли свои дебаты, – расстроенно произнес Радлугин.

– Ну и ладно. Не печальтесь.

– Я все выясню! Все! – Радлугин жаждал, чтобы Игорь Константинович швырнул в траву Поля Дураков булку или кость, он сейчас же бы принес хозяину вещь в зубах. – Я вас разыщу!

– Передайте суть в донесении через «дупло», – распорядился Шеврикука.

– Непременно! – чуть ли не подскочил в усердии Радлугин.

«Домой! Домой! Сейчас же домой!» – приказал себе Шеврикука.

В Землескреб и отправился. И увидел шагах в сорока от себя буяна и мошенника Кышмарова. Сдержал Кышмаров обещание, соизволил посетить Останкино. Как и в Обиталище Чинов, имел он вид замоскворецкого купца, кудри с утра расчесал на прямой пробор, золотая цепочка ползла по его брюху в карман штанов, и за сорок шагов послышались Шеврикуке балчугские скрипы сапог Кышмарова и донеслись до него ароматы свежайшей ваксы. Окружали Кышмарова четверо молодцов, возможно, что и в бронированном нижнем белье. И они были в нарядах замоскворецких приказчиков. Или купчиков. И сапоги купчиков-приказчиков, прибывших в Останкино, скрипели и благоароматили ваксой, и головы сорванцов были не выбриты, а радовали кудрями. Всё сорванцы-молодцы Кышмарова вокруг видели, но будто отдыхали, а заняты были одним: с ленцой, но артистично отправляли в пасти каленые семечки и выплевывали шелуху в траву и на асфальт.

«За должком, что ли, прибыл Кышмаров? – обеспокоенно подумал Шеврикука. – И обещанных сорванцов решил представить? Как прибыл, так и убудет. Убыл бы и если бы числился за мной должок на самом деле. А должка-то никакого нет!»

Но появление в Останкине мошенника и потрошителя Кышмарова и его кучерявых молодцов с золотыми цепочками Шеврикуку не обрадовало. Будто забыл он о Кышмарове, посчитал его пустозвоном, а сам, пожалуй, не способен был дать ему сейчас отпор.

«Это мы еще посмотрим! – храбрился Шеврикука. – Да и не сунется он в Землескреб…»

А Кышмаров, выходило, и не думал идти на него в наступление.

Напротив, он улыбался Шеврикуке и будто бы готов был отправить ему с надлежащим движением ветра воздушный поцелуй. Но нет, не отправил. А головой одобрительно или даже восторженно покивал и поднял вверх большой палец. Что явно означало: «Ну ты молодец, Шеврикука!» Или: «Ну ты даешь, Шеврикука!»

Кышмаров стал нечто растолковывать сорванцам-молодцам, купчикам-приказчикам, и те принялись глазеть на Шеврикуку, и глазели они с почтением и любопытством, будто Шеврикука был музейный экспонат. Дельфийский Омфал. Восковая персона. Чучело динозавра. «Вот, детки, это тот самый знаменитый Шеврикука». Рты сорванцов оставались открытыми, семечки не залетали в них, лушпеюшки не выплевывались к яловым сапогам.

Шеврикука небрежно, чуть ли не покровительственно кивнул Кышмарову, не замедлив движения к Землескребу.

Экий уважительно-негромкий оказался нынче буян Кышмаров. И к Шеврикуке приблизиться не посмел, а лишь рукой помахал с пожеланием благополучий. Посмел или не посмел – неизвестно. «Не посмел» – так предположил Шеврикука.

А когда Шеврикука втиснулся в Землескреб и вместился в кресло в квартире Уткиных, он вдруг ощутил сожаление оттого, что сегодня не явился из Сокольников полюбопытствовать на него бывший приятель Малохол, он же Непотреба, или хотя бы кто-нибудь из его профилакторских сотрудников – Лютый, или Раменский, или Печенкин в капитанской фуражке, или пышнокосо-коварная Стиша. Лучше бы не Кышмаров, а пусть бы Печенкин помахал ему издалека рукой.

«Да на кой мне Малохол с командой! – тут же посетовал Шеврикука. – Пусть себе лакают медовуху в Сокольниках и играют в карты на пушнину и водоемы!»

51

Гликерия. Дударев. Концебалов-Брожило, без тоги, но в сандалиях. Радлугин навытяжку. Ухарь-купец Кышмаров со товарищами в кудрях. Кабы еще Малохол и его водяные сотрудники. Кабы еще Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный, верхом на змее Анаконде, откормленном гвоздиками, и при нем Векка Вечная с ветвью маньчжурского ореха и японский друг Сан Саныч.

Такие расстегаи с томленой стерлядью.

Силы. Премия. Новые значения. Штаны с лампасами. Что еще? Кышмаров сам, похоже, готов заплатить должок. Какой? Неважно. Придумает. И ваксой до блеска должок отчернит.

Что еще?

Еще следует идти на 3-ю Ново-Останкинскую в очередь к мастеру срочных портретов. И на вишневом «мерседесе» концерна «Анаконда» крепыш Дубовое Полено доставит Игорю Константиновичу Шеврикуке заграничный паспорт. Нет, скорее всего, доставит сам Олег Сергеевич Дударев.

Что ж, нанесем визит и фотографу, объявил себе Шеврикука, отчего же не нанести?

Отчего же не съездить и на острова. Пройтись там по пляжу и кивнуть разомлевшим от услад Радлугину и Нине Денисовне Легостаевой, Денизе? Впрочем, Дениза в лицо его не ведает. Ну что же, кивнет хотя бы и Радлугину. Тот пребыванию Игоря Константиновича на островах вряд ли удивится.

Никто из Отродий Башни сегодня никак себя не проявил. Да и зачем им, с их техническими приспособлениями, себя проявлять? Небось им и так известно, что доступный их вниманию домовой из Землескреба пока и сам не знает, какие ему приданы силы, сшиты ли ему штаны с лампасами и какие он приобрел (если приобрел) новые значения.

Ведомо все про Шеврикуку наверняка и Китайгородскому Увещевателю, озабоченному «генеральной доверенностью», его соратникам и старальцам. Если не все, то многое.

Кстати, а не Увещеватель ли с соратниками, не Отродья ли и пустили в толпу слухи о переменах в состоянии Шеврикуки, чтобы тот, услышав подметные слухи о нем, с бумажными цветами фантазий и предположений, возжелал узнать, что с ним происходит или должно произойти? А он

возжелал. Но, может быть, и совсем иные личности вводили в заблуждение Гликерию, Дударева, Концебалова-Брожило, прочих… Имело ли сейчас это значение? Нет, для Шеврикуки, пожалуй, не имело.

«Наизнанку и навыворот!..» Разговор в Обиталище Чинов, важнейшим в котором оказались слова о генеральной доверенности Петра Арсеньевича, с ним вели наизнанку и навыворот. Должно было и сегодня держать это в голове.

И не забывать про чашу.

В недавних его видениях из туманов, или из горячих паров, или из неспокойных облаков проступала чаша, то ли каменная, то ли кованная из неведомых металлов с острова Алатыря, а может быть, и не чаша… Крошечная женская фигурка в белом, с золотой диадемой, скорее угадываемой, нежели различимой, женщина металась под чашей, будто призывала кого-то помочь ей или спасти ее…

Это видение казалось сейчас важным Шеврикуке.

Призывала кого-то… Ясно, что его, Шеврикуку. И ясно, что призывала Гликерия. Гликерия в квартире Уткиных видение чаши и мечущейся возле нее женщины не могла ни устроить, ни сотворить. Знак подавали ему иные силы. Или его собственные предчувствия и знания.

Но ведь и какая-нибудь Увека Увечная могла молить Шеврикуку стать ее оплотом и спасением.

Нет. То была Гликерия, стоял на своем Шеврикука. Увека же Увечная, Векка Вечная, успокаивал он себя, в оплоты и спасители наверняка определила удальца и мореплавателя Сергея Андреевича Подмолотова, Крейсера Грозного. Он мог осыпать ее гвоздиками и содержать в теле флотскими борщами.

То есть нынешние слова и просьбы Гликерии ничего не меняли и не ставили под сомнение то, что Шеврикуке было указано видением о чаше.

Глупости! Все это глупости, объявил себе Шеврикука, и не надо сейчас думать о них. А надо взять в руки «Возложение» и, признав его неизбежностью, в спокойствии, благоразумии и даже добродушии исследовать заново и истолковать бумагу. А потом обмозговать, стоит ли и наступило ли время заглядывать в потайные ходы, щели и укрытия и отмыкать указующими циферками и якобы руническими крюками секретные замки.

Но палка Петра Арсеньевича находилась под надзором Пэрста-Капсулы.

Призванный повелительным сигналом пред очи Шеврикуки, Пэрст-Капсула не явился. Не был он обнаружен и в своем спальном получердачье.

«Экий разгильдяй!» – отругал полуфабриката и специалиста по катавасиям Шеврикука, будто бы Пэрст-Капсула находился у него в услужении, а временные свободы его были окованы вахтенными расписаниями. Нет, Пэрст-Капсула гулял по пространствам, как вольный и серый сибирский кот. Но теперь он не только ворчал на Пэрста, но и дулся, признавая справедливость собственной обиды на полуфабриката. Сегодняшнее отсутствие Пэрста-Капсулы начинало казаться Шеврикуке ехидно-подозрительным. Все, все (уже все!) обратили внимание на новые (по слухам, ну пусть и по слухам) значения Шеврикуки, проявили интересы и корысти, один лишь Пэрст-Капсула остался к ним лениво нелюбопытен. Впрочем, почему один? И Увещеватель в Китай-городе с соратниками, и Отродья Башни, да, и они были к нему якобы лениво нелюбопытны. Вот именно, внушал себе Шеврикука, вот в том-то и есть ехидство Пэрста, в том-то и есть подозрительность его отсутствия, что и ему все существенное о Шеврикуке ведомо, и к новостям ему спешить не надо, сами поспешат… Так кто же он, этот Пэрст-Капсула, от кого, и откуда, и зачем он здесь в Землескребе при Шеврикуке?..

И все же Шеврикука заставил себя посчитать, что он теперь глуп и безрассуден. Вздувая нагретым воздухом интересы к нему Гликерии, Дударева, Концебалова-Брожило, вознося в поднебесья претензии к загулявшему полуфабрикату, он и свою личность возводил в дельфийский Омфал, в базальтовый Пуп Земли! Да кому он нужен? Кому нужны якобы новые его значения? И что меняется от того, приставлен к нему Пэрст-Капсула или не приставлен?

«А что ждать-то? – подумал Шеврикука. – В „Возложении“ и слов-то было меньше чем на страницу. Можно их, наверное, и вспомнить…»

Стал вспоминать. А вспоминая, выводил слова на салфетке, взятой из орехового серванта Уткиных.

«Возложение. Грамота Безусловная с единственным направлением и исходом», – записал Шеврикука. Для кого безусловная? Для него. И для всех. Пусть будет так. А дальше что?

А дальше возвратился в Землескреб Пэрст-Капсула. Будто ожидал в прохладной укромности начала серьезных исследований Шеврикукой смутных текстов. И готов был составить исследователю компанию, проявив дарования криптографа, шифровальщика и чтеца междустрочных пустот.

Нет, Шеврикука повелел исключительно себе быть криптографом, шифровальщиком и разгадывателем упрятанных в никуда подтекстов, а Пэрста-Капсулу уполномочил лишь доставить ему предмет обихода Петра Арсеньевича. Салфетку не скомкал, а оставил для доверительных знаков.

Не так уж, стало быть, приблизительно-темен был нынче Концебалов, употребив осторожное: «при вашем новом значении…» Свои привилегии и возможности Петр Арсеньевич передавал, «пользуясь отведенным мне значением…». И если грамота была не шутейной и не ложной, то Петр Арсеньевич, несомненно, располагал значением, скрытым или до поры до времени для публики утраченным, будто фреска со славными ликами, замазанная слоями побелок. Возложенные на Петра Арсеньевича привилегии и возможности (а с ними, надо полагать, и значение) должны были «плавно и скользя» перейти к «упомянутому Шеврикуке». И далее следовало то, от чего Шеврикука днями назад отпихивался, отбивался, полагая никогда не ступать в трясину тайн, от близости к которым и сгинул Петр Арсеньевич. В грамоте предполагаемая (и вполне возможная) погибель его именовалась «безвозвратным исчезновением» или «воздушным убытием из Останкина», но делали ли эти небесно-подъемные слова погибель праздником души? (Впрочем, погоди, пришло в голову Шеврикуке, а может, «воздушное убытие» и впрямь не погибель и не изъятие, а нечто временное и поправимое?) А в «Возложении» следовало: «Указания о приемах, средствах и линиях возможных действий любезно дадены в тайнопредохранительных приложениях, кои предстоит рассмотреть в п.п. хлюст – 247Ш, 4918УГ, ч. с. 7718Кр.». И прочее. И др.

Супруги Радлугины находились сейчас в местах, где их усердия одухотворялись платежными ведомостями и премиальными фондами. И Шеврикука, тихонько потревожив Мопассана, вытянул из шкафа портфель Петра Арсеньевича. В квартире Уткиных из портфеля хорошей кожи, первобытно – красно-бурого, теперь – почти повсеместно – темно-коричневого, потертого и с щелями, Шеврикука достал бумаги и реликвии Петра Арсеньевича. Все было на месте. И Сокольнический список собственноручных записок феи Т., в составе мекленбургского посольства посещавшей Москву в 1673 году, и чей-то клык, и шелковая лиловая лента (от девичьих локонов?), и пучок засушенной травки, и четыре замусоленных валета. Много чего. Ничто, казалось, не исчезло, ничто вроде бы не было уворовано. Реликвии Шеврикука на этот раз из портфеля не вытряхивал, не швырял с раздражением и недоумениями первого знакомства, а относился к ним настороженно и с вниманием. И на валетах могли открыться не одни лишь шулерские крапинки, а и путеуказующие метины, в каких сыскались бы и подсказки к решению ребусов и загадок. А иные предметы могли заключать в себе и уберегать непознанную пока силу. Гордея, так, что ли, звали в Риме божество дверных запоров? Вот бы сейчас призвать в помощники Гордею…

Да, все реликвии были на месте, а бумаг-то прибавилось! Глаз домового управителя не мог не ощутить приращения имущества. Оно всегда было для Шеврикуки желанным. Но не вышло ли приращение в портфеле Петра Арсеньевича умышленным? Зловредители или даже проказники, скажем, взяли и напихали в портфель исписанные листы, обрывки писем и ресторанных счетов, коммунальные квитанции, способные смутить исследователя, ложными дорогами подвести его к заманным камням на распутье. «Направо пойдешь, налево пойдешь…» А то и вовсе столкнуть его в бездонные провалы. Нет, посчитал Шеврикука, никто ничего не напихал и не подсовывал. И он был начеку. И датчики слежения злонамеренностей не отметили, но и не проворонили их. Прежние бумаги расслоились и обросли, а новые при них образовались именно по сюжетам действия «Возложения», вступающего в силу. В таком толковании приращения бумаг уверил себя Шеврикука. Позже подтвердилось – он не ошибся.

52

Три дня просидел Шеврикука в квартире Уткиных. Лишь иногда выходил из Землескреба в дворовые заросли будто бы раскурить в раздумьях сигарету. Но курящим он не был. Землетрясения, сражения в Большом театре, угрозы террористов взорвать вентиляторный завод, окаянные заговоры против московского «Спартака», закрытие народной пивной в Столешниковом переулке, нагло проданной торговцам испанской крапивой, всхлипы и позевывания Пузыря его не занимали. Мир для него не существовал.

Поначалу он не то чтобы расстраивался. Он был в отчаянии. Ощущал себя бездарным и бессильным. Ну и хорошо, растолковывал себе Шеврикука, бестревожнее жить тупицей и непосвященным, полем, не вспаханным и не оплодотворенным, если со временем призовут и спросят, найдутся, стало быть, оправдания и отговорки.

Однако он уже не мог подавить в себе желание узнать предназначенное.

Оно возникло, наконец, слово – «предназначенное», и успокоило Шеврикуку. Ему и прежде давали понять: истребляй, не истребляй Бумагу Петра Арсеньевича, она возродится. И еще было в грамоте: «плавно и скользя перейдут к упомянутому Шеврикуке, и более ни к кому…» Плавно и скользя! И откроется. Неизбежность!

Но сидеть или гулять в ожидании того, что некто, не выдержав его бездарности и безделий, скривившись и выругавшись, из-за той же неизбежности, сдунет на него знание, было бы Шеврикуке противно.

И он заставлял себя добывать знание.

Прежде Шеврикуке приходили в голову мысли: не набивал ли Петр Арсеньевич в портфель бумажки с заговорами, с полезными советами о гадании на ногтях, прозываемом онихмантией, или о тенях растений, предсказывающих раздоры и худые помыслы, не добавлял ли к ним и свой, скажем, рыцарский архив именно для того, чтобы дурачить простофиль и отвлекать корысти любопытствующих? Нет, понимал теперь Шеврикука, все эти бумажки с рецептами, с составами чар, с грезами о рыцарстве, клыки, ленты, засушенные цветы были Петру Арсеньевичу дороги и благи, расставаться с ними он не желал. Простофили бы в портфеле искать ничего не стали. А корыстно-любопытствующие сообразили бы, что здесь – к чему и зачем. Но вряд ли бы они смогли добыть им не принадлежащее. Или,

вернее, им не предназначенное. Как бы они ни тужились и ни свирепели от неудач.

А случайно? Ведь кому-то люк в тайник с алмазами и золотой посудой мог открыться и случайно. «Сим-сим!» – и пожалуйста! Ведь его, Шеврикуки, три пальца случайно обнаружили чудесное сочетание янтарных вкраплений, и набалдашник отлетел, явив Бумагу Петра Арсеньевича. Нет, не случайно. Янтарины к касаниям его пальцев были расположены. Они ждали их! Уже тогда Шеврикука понял это.

Но и он был расположен теперь принять знание. Он не сопротивлялся ему. Не отторгал его. При этом был готов уже принять его не со смирением и отчаянием, как принимают несчастье. Хотя, конечно, неизбежность стесняла его, и если не обряжала в черепаший панцирь, то уж непременно одаривала его ремнями, удилами, а то и хомутом. В увлечениях разгадками он радовался мелким шажкам открытий, но с ходом времени мрачнел, а то и становился угрюмым. То, чего он опасался, отстраняясь от наследства Петра Арсеньевича из предощущений, возможно, и печально-поэтических, превращалось в льдистость названного явно.

Циферки, латинские и арабские, иероглифы, надо полагать, московских изобретателей, нотные знаки и знаки крюкового письма, символы зодиакальные и обозначения единиц измерения и элементов земной натуры, замороки из тайных рунических посланий, священные образы автомобильной инспекции, запретительные предупреждения электрических столбов, звуки, возникающие при касаниях мизинцем папиросной бумаги, запахи, восходящие от библиотечных карточек, точки-проколы скоросшивателей, да еще много чего, дотоле Шеврикуке неизвестного, – все это соединялось друг с другом, кишело, сталкивалось, будто бранилось и оборонялось, стонало, дробилось, сцеплялось осколками, опилками и отрубями, склеивалось и выдавливало, выталкивало из себя чистые, как мытые огурцы, слова и очевидные смыслы.

Чистые слова и очевидные смыслы возникали в голове Шеврикуки и оседали в его сознании. Их можно было стереть, их можно было забыть, но потом восстановить и востребовать для разумной работы. Ни пытки, ни насильственные действия, ни технологические ухищрения не могли их изъять или скопировать. Лишь по доброму и самостоятельному движению натуры Шеврикука был способен передать кому-либо крохи возложенного на него знания.

Многое было на него возложено. Но не все открыто. Или, вернее, Шеврикука сам не пожелал все допустимое узнать. Разъяснив себе самому (и кому-то), что он готов лишь для начальных действенных знаний. В

частности, не захотел носить в себе соображения о том, на чье имя ему, Шеврикуке, в случае его «безвозвратного исчезновения» или «воздушного убытия из Останкина», переписать или генерально передоверить «Возложение». Хотя бы потому, что, коли бы узнал, на кого следует переписать, тут же, по слабости и лености натуры, исхитрился бы, издурачился бы, даже и разыграл бы безрассудного, слюни пустил изо рта и в бубен стал бы стучать, как Колюня-Убогий, и свалил бы на «упомянутого» или «упомянутых» свои заботы. Но это было бы, как полагал теперь Шеврикука, дурно.

Терпи, не скули и неси свои тяготы.

Но вдруг Петр Арсеньевич был именно чесучовый мухомор, не выдержавший напряжений в плечах и спине, сам устроивший жильцам на Кондратюка газовый взрыв и пожар, а себе – воздушное убытие?

Нет, убеждал себя Шеврикука, его погубили. Меня же охотники пусть попробуют погубить. Петра Арсеньевича на скамейке Звездного бульвара он, помнится, вопрошал: не из старцев ли Петр Арсеньевич, тех самых, по простодушному преданию, «не скованных и не связанных», коим выпало бодрствовать и оберегать? «Вы ошибаетесь», – кротко ответил Петр Арсеньевич. Кротко отрекся от оберегателей. Слукавил? Или побоялся нарушить запрет разглашать? Его, Шеврикуку, «Возложение» в бодрствующие старцы не производило. И ладно. В разговоре том Петр Арсеньевич нечаянно выронил слова (а может – и не нечаянно) о своем дальнем знакомце, угодившем в секретные узники, тут же перепугался и обозвал свои слова оговоркой. А не случилось ли воздушное убытие из Останкина Петра Арсеньевича подконвойным полетом в секретные казематы? Не грозит ли и ему, Шеврикуке, примирившемуся с неизбежностью «Возложения», воздушное убытие, баланда и вериги секретного узника?

«А хоть бы и грозило? – бросал Шеврикука в отваге вызов опять же кому-то. – А там посмотрим!» Куражился, словно требуя, чтобы ему сейчас же подавали дыбы, цепи, плети, пыточные колеса, баланду и вериги! Похоже, состояние наследника Петра Арсеньевича ему начинало нравиться, будто бы он именно приобрел теперь новое значение в сословии, а «Возложением» – не отягощен, но удостоен или даже пожалован.

«Перестань! – охлаждал себя Шеврикука. – Нашел чему радоваться! Вспомни, кто ты есть истинный. Или кем должен быть».

Вспоминал. И вновь становился угрюмым.

Многое сходилось из того, чему не обязательно было сойтись. Скажем,

находки Пэрста-Капсулы в марьинорощинском раскопе оказались нелишними. А посему можно было посчитать нерешительную просьбу Пэрста-Капсулы показать ему перечень предметов Петра Арсеньевича, предполагаемо заваленных временем и землей в 11-м проезде Марьиной Рощи, справедливой и следственно – оправданной. А перечня Шеврикука не обнаружил. Может быть, были у Петра Арсеньевича в доме на Кондратюка и еще тайники, но их опустошили до стараний Шеврикуки и Пэрста-Капсулы? В портфеле Петра Арсеньевича лежала лишь карточка с чертежом и словами: «Малина. 11 проезд Марьиной Рощи. Подпол. Четыре спуска». Недавние кладоискатели в темно-зеленых маскировочных халатах на месте порушенного дома Евдокии Игнатьевны Полтьевой, в просторечии именовавшегося Дуськиной малиной, вырыли яму. Добытчик и склонный к изыскательским экспедициям подселенец Пэрст-Капсула, исполняя поручение или прихоть Шеврикуки, после трудов кладоискателей и отряженных властями археологов инспектировал раскоп и доставил Шеврикуке несколько вещичек. Упоминал Пэрст-Капсула и о других своих открытиях и наблюдениях. Откопал он еще золотой червонец, бумажные деньги с ликами императрицы Екатерины, фарфорового бульдога, видимо копилку, под ушами бульдога что-то брякало. Червонец, деньги, копилку Пэрст-Капсула Шеврикуке не донес, не желая засорять деятельную личность хламом, а хранил приобретения в фанерной коробке. На всякий случай. Из наблюдений же Пэрста-Капсулы и из его логических сопоставлений следовало, что среди кладоискателей действовал домовой из Землескреба, стервец Продольный. Сгинул в ту ночь домовой Большеземов, он же Фартук, приятель Продольного, бросившийся к марьинорощинскому раскопу. Очень может быть – то, что потрошители искали, они и нашли. И Пэрстом-Капсулой, и в газетах упоминался громоздкий пивной котел, его трясли и колотили, вдруг что и вытрясли. А может, и не в пивном котле полеживали интересные Продольному, Большеземову-Фартуку и уж наверняка бритоголовому уполномоченному Любохвату предметы.

Но что утеряно, то утеряно. А вот темно-коричневые фигурки либо путников, либо мудрецов-созерцателей оказались очень уместными. Без их присутствия, без их облика, без их посохов и без оленей, прильнувших к сидящим путникам, одну из загадок Шеврикука мог бы и не решить. Но точно ли марьинорощинское происхождение имели странники и мудрецы? Не были они словесно приписаны к раскопу и его культурным слоям экспедитором Пэрстом-Капсулой, а отлили их и покрасили хитроумные умельцы в мастерских Отродий Башни, дабы растяпа и простак

Шеврикука, встрявший (или намеренно включенный) в чужие игры, помог кому-то своими открытиями и действиями произвести должный ход?

Возникало у Шеврикуки желание сейчас же повести с подселенцем разговор. Но случилась бы от разговора польза? Вряд ли. Герои или злодеи редко вступают в беседы с теми, кто оказываются у них «хвостами», и уж никогда не лезут им в души. К тому же вдруг Пэрст-Капсула был все же невинен и благороден помыслами? Ничего, кроме оскорблений и обид, от беседы с ним не вышло бы.

«Может, его хоть о фарфоровом бульдоге расспросить? – раздумывал Шеврикука. – Что там внутри копилки звякает или гремит?» Однако по поводу фарфорового бульдога вызывать Пэрста-Капсулу Шеврикука себе запретил. Пусть Пэрст сам учует его сегодняшние заботы и именно сам явится к Шеврикуке с разговором.

Ко всему прочему, и без фарфорового бульдога для Шеврикуки достаточно сошлось и открылось. Возможно, открылось и нечто лишнее. Возможно, открылось и то, в употреблении чего не было никакой надобности.

Но пока и вообще никакой надобности употреблять возложенные на Шеврикуку привилегии и обязанности не существовало.

«И прекрасно!» – заключил Шеврикука.

При этих его мыслях (и как выяснил позже Шеврикука:

совершенно не в связи с его умственными напряжениями, а по собственным эгоистическим причинам) в Останкино залетела почти позабытая здесь сила. Чуть ли не искорежила Землескреб, вызвала скрежет утвари и битье стекол, Шеврикуку же между левым ухом и глазом укусила пчела, боль не осталась у глаза, а принялась метаться по Шеврикуке где уколами, где ударами, где секундными, но протяженными движениями, заставлявшими Шеврикуку вскрикивать и стонать. Он испытывал боли (с переходами и возвращениями их) в голове (зубные, в ушах, и веки его подергивались), в бронхах (кашель), в легких, в сердце, в печени, в пищеводе и кишках, а следом взнывали подагрически суставы больших пальцев ног. Так продолжалось минуты четыре. Потом, пчелиным жалом продрав правую пятку Шеврикуки, боль вынеслась из него.

Землескреб уже не корежило. Мебель вернулась в углы предназначений. Стекла блестели почти без ран, лишь кое-где на них остались мелкие трещины. Шеврикука обязан был их убрать. Дыхание его стало ровнее. Боли, при отсутствии их, забылись. На время.

«Так! Та-а-ак, – соображал Шеврикука. – Так! Посетил Останкино Блуждающий Нерв. Что и было обещано. Напомнил о себе возобновлением

знакомства…»

53

Дело случилось серьезное. Следом прибудут Лихорадки. Блуждающий Нерв их по привычке опередил. Слова о возможных прогулках в Останкино Лихорадок и Блуждающего Нерва были одно, а начальное воспроизведение их реальностью Шеврикуку встревожило. Если не напугало.

Однако портфель Петра Арсеньевича, его бумаги и реликвии лежали перед Шеврикукой. Да, боли минутной давности забылись. Но испуги – нет, они не пропали. А они и былые воспоминания Шеврикуки могли возбудить в нем страхи. Или хуже того – Страх.

Значит, надо было возвратить себя к бумагам Петра Арсеньевича. Будто пчела и не ужалила Шеврикуку…

Выходило, что права обладателя «Возложения» были ограничены или сужены возможностями (либо условиями) их применения. «…При сословных или исторических необходимостях…» Но что, если его сужением прав неволили? А приневолив – соблазняли? Ехидничали и посмеивались: вот ты с новыми значениями, а ничего не можешь! А ты не терпи, не терпи, нарушь определенное тебе, нарушь!

И подмывало уже Шеврикуку поддаться соблазнам. И нарушить. Кстати, а что именно нарушить? Как определить, что выйдет сословной или исторической необходимостью? И обязательно ли ему ждать подсказов, сигналов по линии или прямо внутрь его сознания пробивающегося знака, чтобы понять – сословные или исторические надобности возникли и наступила пора исполнять «Возложение»? Вдруг и не предусмотрено никаких знаков и подсказов, а ему самому суждено решать, как быть?

(От Отродий Башни указания ему доставят молниеносный и высокомерный исполнитель Б. Ш., Белый Шум, коли избавится от хворей, или Тысла со свирепым Потомком Мульду. Если выйдет нужда доставить…)

Объявился Блуждающий Нерв. Как быть в случае с ним озабоченному «Возложением»? Оставим сейчас же Блуждающий Нерв, приказал себе Шеврикука, у тебя ли, или у кого из Останкина, или у кого-нибудь из Китай-города найдутся ли управы на Блуждающий Нерв или Лихорадки? То-то и оно… И Отродья, не имеющие мифологических предрассудков и уж тем более заблуждений простодушных умов, с их суперсуперархиоснащениями и пониманиями устройств мироздания, выходит, что и они оробели перед Лихорадками… (Или они уже отыскали

противодействия им, и Блуждающий Нерв слетел на Останкино, ими прирученный и на их поводке?)

Забудь, забудь про Блуждающий Нерв. Пока. Коллекционный Омфал, копию дельфийского, пусть добывает сам Концебалов-Брожило.

Но вот случай с марьинорощинским раскопом. Не случилось ли тогда нарушения сословных интересов? Как должен был вести себя Шеврикука, если бы в ту пору он имел на руках «Возложение Забот»?

Что у него было против четверых кладоискателей в масках? Даже если среди них пыхтел с землеуглубительным инструментом пройдоха Продольный? Кого они обидели, кому досадили, у кого уворовали? И уворовали ли? Какие у него доказательства предосудительных действий землекопов, кроме косвенных улик, якобы обнаруженных Пэрстом-Капсулой и его же интуитивных соображений? Никаких… Но нет, возражал себе Шеврикука, его в пору раскопа забирало томление и гнало в Марьину Рощу. А позже и при закрытых его глазах виделись ему смутные фигуры, вроде бы темно-зеленые и в масках, они поднимали какой-то тяжелый предмет и волокли его куда-то…

Тут-то бы Шеврикуке ощутить себя юридическим докой, районным судьей или даже придирой-прокурором и рассмеяться по поводу интуитивных соображений Пэрста-Капсулы и собственных туманных видений. А он отгонял от себя судью, прокурора, а с ними – следователя. Да, выкопали. Да, уволокли. Да, был Продольный. И еще кто похлеще его. Может, и удальцы из Темного Угла. Да, не обошлось без уполномоченного Любохвата. А выкопали и уволокли несомненную ценность. И вряд ли, как и прежде считал Шеврикука, ценность перевязали умилительной лентой и с цветами отправили в детский дом. Правда, слово «уворовали» Шеврикука не решался употреблять. То есть уворовать они были намерены. Но вряд ли им позволили это сделать. Предприятие их получило огласку. И, наверное, откопанное в подполе Дуськиной малины доброразумные или хотя бы законопогоняемые сберегатели определили в казенные кладовые. На это оставалось надеяться.

Но все же, видимо, не зря в портфеле Петра Арсеньевича хранилась карточка с чертежом Дуськиной малины, с упоминанием подпола и четырех спусков. И теперь Шеврикука был убежден в том, что тайники в доме на Кондратюка были прочищены Любохватом и его прихвостнями и что им и прежде было нечто известно про Петра Арсеньевича. Возможно, они пытались войти с ним в сделку или даже в долю, а потом, осердившись, устроили охоту на него и его секреты. Но опять же не все тайны были намерены им разверзнуться. Схоронения, из которых были добыты

портфель Петра Арсеньевича и палка с набалдашником, надо понимать, не допустили их в себя.

Теперь Шеврикуке должно было не упустить ни единой пустяковины из бумаг и реликвий Петра Арсеньевича, каким могли быть даны разъяснения (с наводками) в документах, присвоенных Любохватом и командой. Чтобы не повторились удачливые марьинорощинские кладоискания. И по делу о взрыве с пожаром (со злостными ущербами жильцам) на Кондратюка, два, с разорением имущества Петра Арсеньевича, о ковырянии в подземном наследстве Евдокии Игнатьевны Полтьевой Шеврикука и полагал произвести доследование.

При этом о силах «Возложения» забыть.

Прежде всего потому, что сам Петр Арсеньевич, обложенный охотниками и живодерами, возможностями «отведенного ему значения» пользоваться не стал. Или они ему не помогли. К тому же неизвестно было, кто и по какой причине выписал лицензию на охоту за Петром Арсеньевичем, на воздушное убытие с Кондратюка и кто лицензии добился. Или был ею удостоен. Может быть, и не один Любохват с Продольным. Может быть, и иные заслуженно-доверенные личности. А может быть, и охотники, и кладоискатели служили сословным или историческим на-добностям. Неспроста, наверное, бритоголовый боевик Любохват, ложный, то ли тамбовский, то ли липецкий дядя, объявился в коридорах Обиталища Чинов и в ночных мраках в звании уполномоченного.

Но вряд ли, подумал Шеврикука, охоту на Петра Арсеньевича затевал Китайгородский Увещеватель (или сказавшийся Увещевателем). Или его соратники. Или те, в чьем управлении пребывал Увещеватель. Какая им выгода и отрада? Флажки вокруг Петра Арсеньевича развешивал кто-то иной. Хотя как знать…

А ведь Петр Арсеньевич, уже метавшийся в облавных флажках и слышавший: «Ату! Ату его!» – пытался тихонравно высказать нечто Шеврикуке. Или он только начинал чуять приближение егерей и псов?

«Вот мы и узнаем все! – раззадоривал себя Шеврикука. – Вот мы и проверим, кто такие Любохват и Продольный, чью они лапу лижут и кому спину трут! Проверим и разберемся! И…»

Почудилось Шеврикуке: сейчас его снова ужалит пчела. Взлетела рука к левому уху. Нет, пчелы не было.

«А не вонзался ли сегодня жалом Блуждающий Нерв в шкуру Пузыря? – подумалось Шеврикуке. – Не пропорол ли ее?»

Надо было выйти на Звездный бульвар и выяснить.

«Не из-за собственных ли намерений разобраться с марьинорощинским кладом и воздушным убытием Петра Арсеньевича я вздрагиваю в ожидании новых пчелиных укусов? Ну уж нет, меня не остановишь!» – таков был сейчас упрямец Шеврикука.

Пузырь, предположим, и потревоженный Блуждающим Нервом, вряд ли куда улетел. А вот посетить Пэрста-Капсулу Шеврикука посчитал теперь делом важнейшим. Недавние свои установления отбросил, намерен был задать полуфабрикату два или три вопроса (впрочем, все же ожидал и проявления интереса Пэрста к «новым значениям»).

Пэрст-Капсула в получердачье лежал на раскладушке, будто в лечебном доме на больничной койке. Он был неспокоен, в малярийном поту, руки его натягивали драный плащ бедовавшего здесь некогда бомжа на лицо, стараясь укрыть голову, но рванина доставала лишь до глаз, испугавших Шеврикуку затуханием разума.

– Пэрст, Пэрст! – чуть ли не вскричал Шеврикука. – Ты меня видишь? Ответь мне!

Веки Пэрста-Капсулы приподнялись, смысл увиделся в его взгляде. Сам он попытался привстать.

– Лежи! Лежи! – приказал ему Шеврикука. – Что с тобой?

– Мне нехорошо, – прошептал Пэрст. – Но пройдет…

– Дать тебе что-либо охоронное? В таблетках. Или микстуру? Я найду. Или травы? Я сейчас же…

– Не надо, – покачал головой Пэрст. – Ни химию. Ни травы. Они не для меня.

– Может, что-либо у Мельникова? Ты же отчасти создание его лаборатории…

– Ни в коем случае! – скривился Пэрст. – Пройдет само…

– Приболел? – осторожно спросил Шеврикука. – Или… ранен?..

– Исход энергии, – выдохнул Пэрст-Капсула. – Томление всей сути…

– Опять?

– Опять…

– Но все-таки что-нибудь надо принять… для поправки здоровья…

– У меня не здоровье… – чуть ли не обиженно прошептал Пэрст-Капсула. – Я говорил вам… У меня состояние… Оно удручено… Но все пройдет само… Вы идите… У вас дела… Но сегодня я не сумею вам пособить… Я в сентябре… Нет, в октябре… Или вы хотели о чем-то спросить меня?

– Я хотел… Но это пустяк… Возобновится состояние, спрошу. А скорее всего – забуду… Но тебе-то надо помочь. – Теперь Шеврикука

говорил строго. – Непорядок, если в моих подъездах кто-то хворает… Мне не по себе… Может, чаю горячего с малиновым вареньем? Или с медом?

– Не обижайтесь… Я не капризничаю… Я справлюсь сам… А те две вещицы… Нет! Нет! Ничего! Ничего…

– Ничего так ничего, – сказал Шеврикука и покинул получердачье.

Свидание с недужным опечалило его. Но печаль эта тут же вызвала и недовольство Шеврикуки – экий он чувствительный и сострадательный. Вид Пэрста-Капсулы и вправду был нехорош. В останкинской своей жизни полуфаб и подселенец, специалист по катавасиям и добычам реликвий позволял себе быть и щеголем. То франтил в жару в бурках, отделанных кожей, то украшал себя камуфляжными нарядами, ковбойскими сапожками и фетровой шляпой. Благоухал одеколонами «Полет», «Шипр», а в особо календарные дни и «Тройным», проявил себя чистюлей, яро вспоминая об осквернении закладочной капсулы тремя грубыми и вонючими строительными мужиками. В получердачье же сегодня он походил на ночлежника с Хитрова рынка или на сахалинского колодника. Лежал лохматый, заросший бледно-русой щетиной (а прежде он вроде бы на щеках и подбородке ее не имел), белье же его виднелось из-под рванины плаща-покрывала – нестираное, в дырах, несвежее. И совершенно удивило Шеврикуку то, что Пэрст-Капсула носил кальсоны. Вид Пэрста удручил Шеврикуку, разжалобил его, вызвал чувство вины перед существом, несомненно, лишенным важного в жизни, по признанию самого Пэрста, недосо-творенным или сотворенным «не так», – породил желание отнести страдальца к целителям. Или хотя бы пропарить его и напоить водкой с перцем. Однако Пэрст-Капсула остановил его или даже осадил его, проявив, возможно, высокомерие и гордость. И снова были произнесены слова о томлении всей сути, некогда вызвавшие иронию Шеврикуки или хотя бы его улыбку снисхождения, ныне же прозвучавшие с ощутимой высоты, Шеврикуке как бы и недоступной. Беззвучно прошелестели и слова: «Вам этого не понять. Вам этого не дано…»

«Ну не понять и не понять. Не дано и не дано! – ворчал про себя Шеврикука. – Стало быть, без наших отваров и микстур восстановит силы. Прекратит исход энергии и ублажит всю свою суть, отменив в ней томление».

А не валяет ли Пэрст дурака? Не валяет ли дурака с ним, Шеврикукой? Не мнимый ли больной полуфаб-подселенец? Не разыгрывает ли он из себя опасно воспаленного, не с презрительной ли гримасой натягивал он арестантские кальсоны с немытыми завязками, чтобы комедия выглядела убедительнее?

И не привинчивали ли набалдашник с янтарными вкраплениями в летающих палатах Бордюра, не сам ли Бордюр сочинял-мастерил «Возложение»?

Нет, сомнения пусть остаются, убеждал себя Шеврикука, а «Возложение» – не изделие Отродий Башни. С этим он и будет жить.

И не стоило подниматься в получердачье. Сам же уговаривал себя держать Пэрста-Капсулу в отдалении. И поплелся вверх. И не поплелся, а поспешил. Вот и благодари себя…

«Вы идите… У вас дела… Но я сегодня не сумею вам пособить…» не сумеет. И замечательно! А поднимался он, Шеврикука (не рассчитывая, впрочем, на то, что Пэрст-Капсула будет непременно ожидать его посещений, а не пожелает кушать мороженое в компании сверловщицы со смышленым лицом), чтобы все же спросить полуфабриката о… Не спросил.

Теперь знал. Пэрст-Капсула догадался, о чем его хотел спросить Шеврикука. Но отвечать на непроизнесенный вопрос намерений не проявил.

А не Блуждающий ли Нерв «ужалил» Пэрста-Капсулу и произвел в нем томление всей сути? Лихорадки и Блуждающий Нерв очень беспокоили или даже пугали Бордюра. Похоже, и досаждали Отродьям. Молниеносный исполнитель Б. Ш., Белый Шум, полагал Шеврикука, при знакомстве с Лихорадками мог потерять (хотя бы на время) боевой пыл. Но, судя по одеяниям Пэрста-Капсулы и его щетине, интересующий Шеврикуку немощный и неподъемный улегся на раскладушку до прилета в Землескреб Блуждающего Нерва. А не видел Пэрста-Капсулу Шеврикука дня три. Если не больше.

54

И четыре дня, а может, и неделю не было знаков от Гликерии.

О двух вещицах вспоминал Пэрст-Капсула, но будто опускаясь в забытье. Видимо, о тех самых вещицах, что были отданы на сохранение Гликерии. О фибуле – лошадиной морде, украсившей пряжку ремня светской наездницы. И о монете (по Петру Арсеньевичу – оболу, пропуску куда-то), вправленной в перстень. Но сразу же в получердачье раздалось «Нет! Нет!», равноценное «Чур! Чур их!». После отказа «пособить» Пэрст-Капсула шептал что-то про сентябрь или октябрь. Может, что и важное, но оставшееся Шеврикуке неизвестным. Да и стоило ли сейчас думать о сентябре или тем более октябре, если еще не прогремел и не пролился Ильин день?

А вот о Гликерии Шеврикука снова думал.

Гликерия при их с Шеврикукой расставании обещала подать о себе знак через день, через два. Ну – в ближайшие дни. Если решится просить Шеврикуку о вспоможении ей. Если посчитает себя готовой открыть ему обстоятельства, причины и условия их предположительно-полезного взаимосотрудничества. Не исключалось, что она, все заново умножив, поделив, вычтя и вынеся за скобки, сочтет приемлемым обойтись и без него, Шеврикуки.

Но и тогда, полагал Шеврикука, памятуя, как и с чем посещала Землескреб Гликерия, она непременно уведомила бы его о потере интереса к нему и его силам. Охота охотой, игра игрой, выгоды выгодами, а соблюсти приличия Гликерия постаралась бы. Тем более что случай тут был без забав, эротов и психей, без вздрагивания лепестков камелий, а созидательно-деловой.

Что ж, подождем уведомлений от Гликерии, положил Шеврикука. Торопить ее не следовало. И вряд ли ее угораздило на манер Пэрста-Капсулы чрезвычайным образом занедужить. Скорее всего, Гликерия уважительно ожидает, когда он, Шеврикука, закончит или приостановит свои ответственные изыскания.

Теперь Шеврикуке стало казаться, что и не одна Гликерия уважительно не тревожит его, не мешает его истинно научной сосредоточенности, а и многие иные личности и существа, до чьих ушей донеслись пущенные с умыслом слухи о якобы новых значениях Шеврикуки. Кто при этом угощает себя надеждами, кто злорадствует, кто потирает руки. Однако

сунуться к нему ни с просьбами, ни с ехидствами позволить себе не смеют. Ни-ни!

Эко ты важничаешь, укорял себя Шеврикука, эко раздуваешься! Дали тебе дни на работу, лишние дни, с накладом, оценив твои способности. И не пристают. И ни о чем не забыли. А потом пристанут. И взыщут. Чему ты и сам вряд ли будешь рад.

Но хотелось теперь Шеврикуке важничать и раздуваться!

Свидетельством же того, что о нем не забыли, явилась депеша, доставленная в Землескреб по линии одним из служилых стручков, похожим на сушеный экземпляр саранчи. Депеша призывала действительного члена Шеврикуку во вторник, в Макриды, принять участие в трудах деловых посиделок. «Прибуду!» – обнадежил Шеврикука служилого стручка, заковылявшего эстафетой дальше.

«Смотри осень по Макридам», – вспомнилось Шеврикуке. Солнце в Макриды обещало сухую осень. А за Макридами как раз и следовал Илья Пророк.

При мысли об Илье Пророке, коему полагалось не только громыхать в небесах колесницей, но и охлаждать в начале августа воды в прудах, ручьях, морях и океанах, восстановилось в Шеврикуке сожаление о раздоре с Малохолом-Непотребой, смотрителем омовений в Сокольнических банях и бассейнах. Опять пожелалось, чтобы Малохол или кто-то из его команды трамваем приехал в Останкино. Хотя бы поглазеть на Пузырь.

Но на бульварах вблизи Пузыря никого – ни от Малохола, ни тем более его самого – не было.

Пузырь лежал смирный, неживой. Никаких следов взаимосоприкосновений Блуждающего Нерва с Пузырем Шеврикука не углядел. Даже если в мгновения, когда Блуждающий корежил Землескреб, неоправданно отвлекая Шеврикуку от раздумий, даже если он, Блуждающий, соизволил прожалить оболочку Пузыря и ввинтиться в его недра, явных повреждений и проколов от него не осталось, нервные тики линий Пузыря не искажали. Как выяснил Шеврикука, и в прошлые дни Пузырь не стонал и не дергался. Впрочем, иные наблюдатели утверждали, что дергался, и еще как.

Дней десять назад случилось желанное – Пузырь впустил в себя четыре грузовика-рефрижератора. Через полчаса пионеров-экспедиторов выпустил, на глаз видно – гружеными. Тотчас же в него, в пять отверзшихся проездов, въехало сто девятнадцать «КамАЗов», имеющих за спинами космической емкости рюкзаки. И пошло.

Но шло недолго. На третий день то, что отверзлось, то и заросло. В

бока Пузыря можно было биться лучшими лбами Москвы, но и при всем уважении к ним Пузырь распахивать себя, пожалуй, более не желал.

Он замер. И Шеврикука склонен был считать, что возможные покалывания или наскоки Блуждающего Нерва вряд ли бы заставили Пузырь подергиваться. Тем более что Блуждающий Нерв еще не взъярился. Похоже, он и принесся в Останкино без понятия и цели. А так, на собачий лай.

Удивительным образом отнеслись останкинские жители, да и все чающие раздач и тем более имевшие права на получение к затворению Пузырем ворот. То есть, конечно, неразумные сразу же рассвирепели и готовы были разнести обидчика в клочья, зубами его разорвать. Ведь есть же указ:

«Раздать!» И какой указ – после поименного волеизъявления! И какие изливались (излиялись?) имена и вопли! И на тебе! Даже после постановления этот Пузырь кобенится!

Но большинство, изумляясь самим себе, Пузырь не бранило, даже отчасти оправдывало его, придя к мнению:

«Не готовы. Не дозрели». Полагая при этом, что дозреют и готовы будут через неделю. Ну через две. Никак не позже. Уж больно неловкой сразу же вышла выемка предназначенных населению и государственным амбарам внутренностей Пузыря. Уже на подъездах к отверзшимся проемам Пузыря начались раздоры, толкотня, путаницы и подделки накладных, стрельба и просто тихие мордобои. Предложено было во избежание неловкостей и толкотни проложить к проемам Пузыря железнодорожные ветки, линию метрополитена, а со стороны Сокольников прокопать и водяной канал для движения яузских буксиров и барж. Один проем, с надеждой на то, что Пузырь пойдет навстречу и растворит себя ввысь, предполагалось назначить воздушным флотам.

Всех этих наукотранспортных и глубиннодобычных посягательств, не обеспеченных совершенством техники и сопровождавшихся отсутствием много чего (почему-то досады вызывали не только нехватка землечерпалок и восходящих насосов, это еще можно было понять, но и временные затруднения в Москве с накидками из выхухоли, бутылками емкостью 0, 33 л со спартаковским духом, обычным ботиночным кремом в ассирийских палатках), всех этих посягательств и бестолковщины Пузырь не выдержал, затворился и замер.

И справедливо, судили. И поделом нам.

Не готовы. Не созрели.

Но созреем.

И Пузырь устыдится. И разверзнется. И явит даже то, чего в нем нет. И чего в нем не может быть. От стыда и из чувства всемирной ответственности расстарается.

Постановление же как есть, как было, так и останется в силе поименного волеизлияния.

55

При таком тишайше-ангельском расположении граждан Ракетный и Звездный бульвары превратились в прогулочные места с хождением по тротуарам умозрящих особ, бродячих музыкантов, наемных гувернанток с колясками, украшенными воздушными шарами, на которых были изображены тонкие физиономии желающих обрести неприкосновенность.

– По этим рожам да из рогаток! – выразил пожелание возникший перед Шеврикукой Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный. – Вы со мной согласны, Игорь Константинович?

– Ну… возможно, – неуверенно произнес Шеврикука.

– А иначе как! – Крейсер Грозный оздоровительно похлопал Игоря Константиновича по плечу. – И народ не унывает!

– Не унывает… – то ли усомнился, то ли согласился Шеврикука.

– Народ не унывает! – энтузиастски воскликнул японский друг Крейсера Грозного, предприниматель и марафонец, скоростной восходитель на Останкинскую башню Такеути Накаяма, Сан Саныч, сокрушенный в нижних палатах Тутомлиных на Покровке Дуняшей-Невзорой, но живостойкий и поклонник привидения Александрин. – Народ не унывает, Игорь Константинович!

– Не унывает… – вздохнул Шеврикука. – Куда ему деваться…

Сергей Андреевич, Крейсер Грозный, прогуливал по асфальтам бульваров неожиданное для здешних мест и, похоже, для самого останкинского мореплавателя сооружение на колесах. Неосведомленный или недальновидный наблюдатель мог бы предположить, что Сергей Андреевич прокатывает вблизи Пузыря ванну раза в четыре объемнее ванны для мытья младенцев. Но что-то в предмете, катаемом Сергеем Андреевичем (при ассистировании штурвальному – подсказками и выкриками одобрения – японским другом Сан Санычем), напоминало и торпеду. Или хотя бы давало надежду на то, что предмет на колесах (сейчас он застыл перед Шеврикукой) при необходимости может стать и амфибией. Досадно было бы, если б сооружение оказалось всего лишь средством для передвижения к месту торговли сливочного и фруктового мороженого. Как известно, капитал для учреждения русско-японского предприятия по производству Михайловских рогаток Крейсер Грозный накапливал, подвижнически торгуя мороженым в Медведкове.

– С холодильником? – осторожно спросил Шеврикука.

– Напротив! С подогревом воды! – возрадовался Крейсер Грозный. – Амазонский змей, хоть с Москвой и ужился, прохлаждаться от занятий предпочитает в теплой воде.

– Это для змея? Для Анаконды?

– Для него самого! Для мальца-сорванца! Прогулочный экипаж! Пробный экземпляр! Но только никому ни-ни! И ты, Сан Саныч, про змея молчи! Сам понимаешь!

– Понимаю! Я понимаю! – закивал Такеути-сан. – Пожалуйста. Про змея ни-ни!

«А про Векку-Увеку? – подумал Шеврикука. – Про цветы гвоздики? Про них-то как? Про маньчжурский орех?»

– Там, на Покровке, во дворе, где концерн «Анаконда», – сказал Крейсер Грозный, – турки построят змею бассейн с фонтанами, а в прогулочные дни змей будет выезжать вот в этой посудине. Украсят ее, естественно, ростру укрепят в виде головы, еще неизвестно чьей, и все такое. Может, и винты приделают. А может, и без винтов станет ходить по водоемам. Митя Мельников, он все сумеет.

– А как же ваши друзья, флотские? – спросил Шеврикука. – Их выселили с Покровки?

– Пока нет. Но за пределы Садового не выселят, – уверил Крейсер Грозный. – Они теперь тоже в команде «Анаконды». На полубаке.

– А сейчас-то змей где? В Оранжерее?

– В Оранжерее, – кивнул Крейсер Грозный. И таинственно зашептал: – Желали выкрасть. Но мы на страже! Да змей и сам не даст себя выкрасть.

– И что за храбрецы нашлись?

– Будто бы наши. Останкинские. И чуть ли не из Землескреба.

– У нас тут есть умельцы… – сказал Шеврикука. А на память ему пришли наглец Продольный и названый дядя Любохват.

– Пожалеть придется этих храбрецов и умельцев, – сказал Крейсер Грозный. – И сапоги их не отыщешь.

А уполномоченный боевик Любохват надевал иногда и сапоги.

– Может, оно выйдет и так, – поддержал Шеврикука Сергея Андреевича. И тут же поинтересовался: – А как же мороженое? И рогатки?

– Мороженое в прошлом. А рогатки – в будущем. Главное теперь для меня – надзор за змеем и дальнейшее просвещение его в традициях московской школы, – чуть ли не торжественно сообщил Крейсер Грозный. – И как смотритель змея, и как его научный руководитель я совершу все, чтобы змей процветал, а мне за мои старания и труды воздадутся достойные вознаграждения.

И было видно, что смотритель змея накормит, и напоит, и вознаграждения на него посыплются.

Впрочем, относительно воздач Сергею Андреевичу за труды и надзоры у Шеврикуки имелись поводы для сомнений.

И другие сомнения сразу же зашевелились в нем. Шеврикука не стерпел и опять, как в прежние дни, допустил бестактность. Но он вроде бы желал предотвратить возможные ущемления интересов и аппетитов змея.

– Надеюсь, что и гвоздики, – сказал Шеврикука, – попрежнему будут составлять десерт животного?

– Гвоздики? – заинтересовался замолчавший было Такеути-сан. – Гвоздики? И рогатки?

– Гвоздики? – удивился Крейсер Грозный. – Ах, гвоздики… Да, да! Гвоздики! Десерт! Конечно! Завалим! Гвоздиками! Проведем по смете! И как премиальные… Гвоздики… – это цветы, Сан Саныч. Не беспокойся. Поганец этот, Анаконда, страсть как любит цветы, гвоздики эти, на десерт… Завалим и гвоздиками!

– Пожалуйста! – обрадовался Такеути-сан. – Гвоздиками завалим! И сакурой…

– Сакурой его разнежишь и испортишь! – возразил Крейсер Грозный. – А он достоин сурового природного воспитания.

– А листья или плоды маньчжурского ореха змей не употребляет? – спросил Шеврикука.

– Кого? – Шея Сергея Андреевича, останкинского Громобоя, еще более удлинилась, а пальцы его выпустили штурвал пробного экземпляра прогулочной посудины. – Кого?

– Это я так, пошутил… – смутился Шеврикука.

– Ах, Игорь Константинович, Игорь Константинович! А вы-то сами… – и Крейсер Грозный пальцем попенял Шеврикуке. Но без зла и раздражения. Глаза его стали хитро-веселыми, и отражения неких удовольствий и тайн промелькнули в них. – Шалун вы, Игорь Константинович, шалун! Вы ведь и сами у… ореха побывали. Только… Ну да ладно…

– У маньчжурского ореха? – пожелал уточнить Такеути-сан.

– У ореха, – сказал Крейсер Грозный. – У ореха. Не беспокой себя, Сан Саныч, понапрасну. Это у нас с Игорем Константиновичем есть одна такая маленькая подковырка. К геополитике и инвестициям она не имеет никакого отношения. Игорь Константинович не даст соврать.

– Не дам, – согласился Шеврикука.

– Но в рацион змею, чтобы вы, Игорь Константинович, знали, вписаны теперь овсы и овсяные напитки, – сообщил Крейсер Грозный. – А мне ветеринаром и зоотехником придан известный лошадник Алексей Юрьевич Савкин. Он сейчас пасет в Сальских степях табуны зебр. Но скоро прибудет. Я вас с ним непременно познакомлю.

– Заранее благодарен, – сказал Шеврикука. – А приятельница какая-либо в бассейне на Покровке вашему змею не будет вписана или придана?

– Это какая же?

– Ну хотя бы баборыба.

– Что еще за баборыба? – озаботился Крейсер Грозный.

– Сам не видел. Но слышал по «Маяку». На пляже под Бостоном отловили особь. Метр пятьдесят в длину. До талии – тело и морда морской форели. В чешуе. А ниже талии – дамские ноги. Голые.

Сведения о баборыбе Шеврикука получил не от «Маяка», а от бывшего гуменника Лютого, ныне надзирателя пожарной безопасности в профилактории Малохола. И получил минут за двадцать до того, как красавица Стиша принялась угощать Крейсера Грозного, в ту пору – утомившегося бегуна, коварными напитками. А не могут ли Стишины зелья подействовать хотя бы косвенным образом на змея и возбудить в нем душевное благорасположение к баборыбе? Тем более что змей был некогда важнейшей принадлежностью черноморского флотовода, пусть и отъемной, он и теперь, возможно, принимал в себя потоки энергий и сознания Сергея Андреевича Подмолотова, положением – сухопутного, но уложениями и тягами натуры, а также военным билетом – воднообязанного.

Сергей Андреевич как озаботился, так и стоял озабоченный.

– А ведь если особь баборыбы нашли где-то на задрипанном пляже под Бостоном, – размечтался Шеврикука, – то другая особь вполне и с охотой может обнаружиться в Серебряном Бору.

– Всего-то полтора метра… – в сомнениях произнес Крейсер Грозный. – Это ведь нашему змею… Все равно что уссурийскому тифу в подругу самку енота… Засмеют…

– Вы не правы, Сергей Андреевич, не правы! К тому же особь в Серебряном Бору наверняка будет куда крупнее бостонской! – с воодушевлением заверил Крейсера Грозного Шеврикука.

– Ну, не знаю, не знаю…

Но было очевидно, что сомнения сомнениями, а баборыба из воображения Сергея Андреевича теперь уже далеко и тем более в морские пучины не уплывет.

– Да что там в Серебряном Бору! – не мог остановиться Шеврикука. –

А если попросить Митю Мельникова, он вам особь и в десять метров приготовит… Да я сам, коли надо…

Шеврикука сейчас же замолчал, затолкал вылетевшие слова себе в глотку. Но Крейсер Грозный будто и не услышал их, пробормотал, впрочем, еще в сомнениях:

– Ну, если разве Митя Мельников…

– Баборыба? – оживился Такеути-сан. – Митя Мельников? Что такое баборыба?

– Тише! Тише, Сан Саныч! – встревожился Крейсер Грозный. – Видишь, сколько тут любопытных. Думаешь, им одного Пузыря хватит? Они Пузырь проглотят и тут же пасть раззявят и на нашего змея, и на нашу баборыбу…

– Как это – раззявят?

– Вот так вот и раззявят! Кто-кто, а ты-то, Сан Саныч, должен знать! Пойдем отсюда, я тебе потом объясню. Вы уж извините, Игорь Константинович, но нам надо надлежащим фарватером и…

Сергей Андреевич, Крейсер Грозный, судя по огням в его глазах и раздувающимся ноздрям носа трубой, готов был нестись куда-то, дабы дать волю и простор возникающим в нем соображениям, похоже, и не надлежащим фарватером, а секретным. Колеса пробного экземпляра, числом восемь, одобряя его нетерпение, сами по себе принялись вертеться.

– А чем ваш змей хуже слона? – из вредности спросил Шеврикука.

– Наш змей не хуже слона! – решительно возразил Крейсер Грозный.

– Наш змей не хуже слона! – чуть ли не угрозой поддержал его Такеути-сан.

Шеврикука поспешил заверить Крейсера Грозного и его японского компаньона в том, что он вовсе не хотел обидеть либо даже унизить их и, естественно, достопочтенного амазонского змея. Просто ему показалось, что льгот, привилегий, чисто человеческого тепла и уж тем более провианта змею Анаконде выделено недостаточно, будто заслуг перед населением у змея меньше, нежели у персидского слона.

– У какого персидского слона? – нахмурился Крейсер Грозный.

– У того, на которого лаяла Моська, – объяснил Шеврикука.

– Какая Моська? – нахмурился и обычно доброжелательный Такеути-сан, хотя и басил, как сибирский мужик.

– Обожди, Сан Саныч, – сказал Крейсер Грозный. – Тут вопрос исторический и государственный. Так в чем, Игорь Константинович, нам урезаны льготы и провианты?

– Ваш змей будет кушать овсы и гвоздики, – сказал Шеврикука. – А

что подавали упомянутому мной слону?

– Что подавали? – спросили Крейсер Грозный и Сан Саныч.

– Тот слон проживал в Петербурге при императрице Елизавете. Я слышал, что он… – произнес было Шеврикука, но тут же и спохватился. – Я читал о нем… Так вот. Я уж и не перечислю все продовольствие, какое доставляли слону из царских амбаров. Отмечу только, что в год, среди прочего харча – а там и тростники, и ананасы, и мускатные орехи, и сахар, и шафран, – полагалось для процветания выдавать слону сорок ведер виноградного вина и шестьдесят ведер водки. Лучшего вина и лучшей водки. Слоновщик-персиянин Аги-Садык мог позволить себе писать рекламации. Скажем, такую… Кабы не соврать… ну, если и совру… Раз Аги-Садык доносил: «К удовольствию слона водка неудобна, понеже явилась с пригарью и некрепка». А у вас овсы…

– Сан Саныч, доставай компьютер и стрекочи, – возбудился Крейсер Грозный. – Игорь Константинович, диктуйте формулировку рекламации.

– «К удовольствию змея водка неудобна, понеже явилась с пригарью и некрепка», – проговорил Шеврикука.

– К удовольствию змея? – засомневался Такеути-сан. – Вы сказали – змея?

– Да хоть бы и змея! – махнул рукой Крейсер Грозный. – Надо нестись! Надо фарватером! А то нам овсы и гвоздики!

– Кстати, – заметил Шеврикука, – за свои-то радения и невзгоды, к нынешним должностям вы обязаны потребовать и должность погонщика змея. При этом финансовыми расчетами возместить награды за неусыпный риск и непрестанные бдения.

Крейсер Грозный, как бы смутившись, поморщился и рукой произвел жест укоряющий: что это вы, Игорь Константинович, насмешничаете и будто бы предполагаете во флотских корысть и сребролюбие.

А японский друг Сан Саныч, похоже, учитывая должность погонщика, сейчас же произвел перерасчеты.

– И с баборыбой без погонщика не обойтись, – сообразил Шеврикука.

– Ах, увольте, увольте, Игорь Константинович! Сан Саныч, поспешим, поспешим!

Но компьютер тотчас переварил и баборыбу, до талии в чешуе – и с дамскими ногами.

56

Унеслись от Шеврикуки и Пузыря возбужденные Сергей Андреевич, Крейсер Грозный, и его японский компаньон Такеути-сан, прошуршали по останкинскому асфальту колесами четырехосного прогулочного экипажа, унеслись в воодушевлении и надеждах.

«Экая у них телега несусветная! – подумал Шеврикука. – Впрочем, экземпляр опытный. Переоденут, переобуют. Научат летать, плавать и ходить под землей».

И тут же обругал себя: «Несусветный – это ты!» Что он приставал к Сергею Андреевичу? Что он насмешничал над ним? Что он припоминал слона, баборыбу и рекламации слоновщика-персиянина Аги-Садыка?

Из-за Векки-Увеки? Из-за нее?

И что он важничал? Что он хвастался? Чуть было не заявил: да что там Митя Мельников, да я сам, если надо…

Что он сам? Что он этакое может? Что он фанфаронит? Из-за чего?

Опять же из-за Векки-Увеки и букетов гвоздик?

Полноте, Шеврикука! Не стыдно ли нам?

Стыдно.

Две среды свиданий под маньчжурским орехом были отданы ветру и посторонним силам. В позапрошлую среду, по договоренности с Шеврикукой и при яростном ее желании, нежная девушка Векка-Увека согласилась (напросилась) иметь ознакомительное общение с кем-либо из Отродий Башни. К Векке-Увеке под маньчжурский орех должен был подойти (мог подойти) порученец. Бордюра (не сам же Бордюр?). В том, что ему станет известно, случилось ли свидание удачным (и для кого удачным), Шеврикука не сомневался. А повидать Векку-Увеку, при любых поворотах ее жизнеустановлений, Шеврикука был намерен.

Не может быть, чтобы и до Увеки не донеслось о его новых значениях, а потому, несмотря на свои добычи (тут тебе и цветы гвоздики, и девятый черноморский вал, и занимательное знакомство с одним из Отродий), она вряд ли бы пожелала упустить из виду и из своих перспектив его, Шеврикуку.

Стало быть, он и перед Веккой-Увекой желал теперь важничать и форсить?

Да, признался себе Шеврикука. И перед Увекой,

И он уверил себя в том, что его расположение важничать, хотя бы и

перед самим собой, нынче – оправданное и не постыдное. Произведя открытия, он ощутил себя мастеровым, исполнившим дело, к какому прежде побоялся бы подступиться (прежде он и боялся подступиться). Дело, на какое мало кто был способен из знакомых ему личностей. Естественно, он не уподабливал себя Даниле-мастеру, одолевшему камень. Но если бы он был тем самым полотчиком-паркетчиком, кого считал нанятым российский предприниматель Дударев, и выложил бы полы, какие не выкладывали и в Шереметевском дворце, с вензелями, цветными разводами, гербами, изгибами эмблеморавного змея Анаконды в углах, разве не имел бы он тоща право возгордиться или хотя бы возрадоваться, а затем уж и заважничать?

Имел! Имел!

И пусть думают о нем, что хотят (ему-то казалось, что думают уважительно, а иные смотрят на него и с опаской).

Таким прогуливал себя Шеврикука к Землескребу после собеседования с Крейсером Грозным и Такеути-сан.

Таким он существовал еще два календарных дня.

Таким он явился во вторник, в день Макрид, на деловые посиделки домовых, имевшие место в Большой Утробе. Явился непременным действительным членом.

Похоже, к Большой Утробе привыкли. Тем более что она была заброшена, как Мангазея. Ни овощехранители, ни попечители гражданских оборон ее не посещали и домовых не тревожили. Искания просвещенного приватизаторства к почившему бомбоубежищу пока никого не подвели. А если бы и подвели, то на тропинках искателей были бы выставлены лешие, тем и прежде нравилось уводить в буреломы купцов и предпринимателей. О музыкальной школе вспоминали между прочим. То ли починят ее к сентябрю, то ли не успеют. Вроде бы принимая во внимание июньский разбойный погром, за ущербы и на починки школе будет выдано от Пузыря. Но откроется ли сам Пузырь к сентябрю? Кто ведает… Завтра вон уже Илья Пророк. Можно было перезимовать и в Большой Утробе. Другое дело, что, собираясь в музыкальной школе на посиделки и ради ночных толковищ и развлечений, они, домовые, находились при культуре. Теперь они при ком? При людских убежищах, несброшенных бомбах, страхах, прикаменевших к бетонным перекрытиям, сдавленном воздухе отчаяния и вражды? «Э-э! – говорили терпеливые. – Не пустяки ли? Или всюду в городе воздухи лучше? Перебьемся. Здесь оборонный дух. А те, кто учинили погром музыкальной школы, сюда не совались и не сунутся».

По привычке Шеврикука не направился сразу в залу заседаний, где

уже горели обязательные лучины. А определенный нынче расписанием в привратники-глашатаи Колюня Дурнев, Колюня-Убогий, зазывал его. В посиделочных сенях прохаживались курившие домовые, а на лавках у стен местились резервисты, такие же непременные для соблюдения церемониала и традиций, как и лучины. Шеврикуке вспомнился Петр Арсеньевич на последних посиделках в музыкальной школе. И он жался на лавке у стены, зная свое место в чиноположении, а вид имел совестливо-робкий и печально-ответственный. А его взяли и пригласили замещать Шеврикуку.

В ожидании звонкопригласительного колокольчика глашатая говорили все более о погоде. Нынче были Макриды, но ни капли не пролилось, облака плелись ленивые, осени полагалось быть сухой. «Как же, как же! Макриды, они случаются лукавые… – услышалось Шеврикуке. – Вот, помню, в тридцатом году…» «Богатства-то свои пересчитывали?» – поинтересовались за спиной Шеврикуки. Было установлено природой и ходом разнообразных жизней, что наиболее верными расчеты прибылей и достатков выходят в Ильин день. Впрочем, как и разорений и убытков. Удачливым и в пору снегов, и в пору ледоходов предназначалось восторженное или враждебно-завистливое: «Богат, как в Ильин день!» Сейчас же в сенях посиделок принялись обсуждать: чьи добычи и убытки полагается учитывать им, домовым? Их собственные? Или же заглядывать в бумажники, карманы и загашники определенных им в опеку квартиросъемщиков и их домашних? Склоняться стали к тому, что при нынешних положениях и относительных сословных послаблениях полезнее и исторически оправданнее шарить в собственных карманах и мусорных ведрах, а не соваться в чужие капиталы, давая им самостоятельное свободное развитие. «Лукавят, лукавят, – думал Шеврикука. – Сами-то хотя бы из любопытства непременно знают, у кого в квартирах копейки, а у кого голландские кредитные карточки…»

– …И у нас не одни бедняки. Вот к нынешнему Ильину дню, говорят, Шеврикука богат, – услышал Шеврикука.

– Что? – обернулся он.

– Шучу, шучу! – поспешил заулыбаться домовой с Цандера, вислоухий Феденяпин. – Но так говорят. Да и что же плохого, что Шеврикука богат в Ильин день? Пусть не чеками, не недвижимостью, но, может, чем и познатнее… – И вислоухий Феденяпин уважительно поклонился Шеврикуке. И замолчавшие было домовые почтительно поклонились Шеврикуке.

– Да мало ли что говорят… – смутившись, пробормотал Шеврикука. –

Чушь говорят!..

– Но как же! А наследство-то! Наследство…

– Какое наследство?.. – вопрошал Шеврикука теперь будто бы в удивлении и с досадой.

Но тут зазвенел пригласительный колокольчик привратника-глашатая Колюни-Убогого. Действительные члены проследовали в конференц-отсек, резервисты остались исполнять свое сословное назначение в прихожей.

Бункер был важен, вместителен и угрюм. На председательском месте утвердился возвративший себя к посильной деятельности громкогласный Артем Лукич. Справа от него сидел утомленный в оборонных бдениях полевой командир Поликратов, квартальный верховод и домовой четвертой статьи, попрежнему в темно-зеленом бушлате, наброшенном на плечи. А вот рядом с ним был усажен персонаж в Останкино лрибывший или доставленный. Он имел вид лектора или законотолкователя. В нем угадывалось присутствие знания, тонкости и глубины которого он мог открыть не во всех аудиториях. При этом казалось, что лектор или законотолкователь где-то служит, выглядел он чиновником из новых, коим рекомендовано носить очки в квадратной оправе и серые тройки с синими галстуками. Впрочем, на него взглянули и отвлеклись. Ясно: будет докладывать про Пузырь и мобилизовывать. А началась регистрация действительных членов. С шумом и бестолковщиной.

Шеврикука сидел молча, полагая, что его учуют и без выкриков. Был скромен и задумчив. И будто бы в задумчивости никого не видел. Но всех видел. И его все видели. И многие, похоже, как и шутники в прихожей, поглядывали на него с почтением. «Богат, как в Ильин день! – усмехнулся про себя Шеврикука. – Как же!» Почувствовал Шеврикука и взгляды стариков – Велизария Аркадьевича и Ивана Борисовича. Тепловой столб Москву не покинул, но оба старика, на манер аскета и верховода Поликратова, себя не щадили и поддерживали нарядами оборонное состояние духа. Иван Борисович снова был в ватнике, а Велизарий Аркадьевич, существо тонкое, почти кружевное, – в костюме из мешковины и бутсах британского победителя буров. И еще в конференц-отсеке пребывали домовые во френчах, болотных сапогах, штормовках и черкесках. Во взглядах Велизария Аркадьевича, к нему обращенных, Шеврикуке виделись извинительная улыбка и желание сообщить нечто. И, как и две недели назад, Шеврикука был готов услышать от Велизария Аркадьевича важное о Петре Арсеньевиче. Не то что был готов услышать, он жаждал услышать. Но понимал, что он, после недавних чуть ли не истерических вскриков Велизария Аркадьевича: «Не знал я никакого Петра

Арсеньевича!» – к старику не подойдет. Но, может быть, теперь, узнав о новых значениях Шеврикуки, Велизарий Аркадьевич сам отважится на откровенности?

– Коллеги! – поднялся над столом Артем Лукич. – Нынешняя встреча вызвана особенным поводом. Заранее мы не назначали повестку дня. И словопрений не предстоит. Нам что-то сообщат. А мы это сообщение обязаны принять к сведению. Потом быстро проштемпелюем мелкие разности. Предоставляю слово Гостю-разъяснителю. Имя его называть нет обязательной нужды. Да, он оттуда.

И был кивок, несомненно, в сторону Китай-города.

Ничего интересного от Гостя-разъяснителя, укрывшего имя во мраке, а потому как бы и значительного, не услышали. Во всяком случае, не услышал Шеврикука. Служивый чин, возможно, из Обиталища, которого не только нечем занять, решил Шеврикука, но который, что хуже, и сам не знает, чем себя занять. Вот его и погнали по окраинным местам с сеансами вразумлений.

Гостю во вспоможение выдвигали грифельную доску с мелками и указкой, сам он показывал слайды и видеокартинки в подтверждение своих слов, а было скучно. Будто бы инкассаторам, собравшимся в выходные на охоту, показывали схемы производства смородиновой карамели. «Про Пузырь не будет сказано ни слова. И вы про Пузырь забудьте. И о нем, и о характере ваших действий вблизи него. Вам будут отпущены указания в надлежащую пору», – распорядителем останкинской жизни начал свое сообщение Гость. Суета вокруг Пузыря, ложные хлопоты и надежды, по его мнению, отвлекали останкинских домовых от их первонасущной задачи. Они посмирели, заблагодушничали, повернули носы к запахам гороховых супов, забыв о том, что существуют на линии огня. Всяческие концентраты им и так будут выданы в пакетах сухого пайка.

На грифельной доске воссоздавалась цветными мелками линия огня и наносились стреловидные направления предполагаемых ударов противников, вычерчивались и бастионы обороны. На слайдах же и в видеокадрах возникали затуманенные, а то рвущиеся и лопающиеся фигуры удивительных форм, цветов и линий, их бакалейщик Куропятов и тень чиновника Фруктова несомненно признала бы неопознанными объектами. Раздавались и звуки, и их Куропятов и Пост-Фруктов признали бы неопознанными. Впрочем, тень могла и не признать, проявив присущий ей научный скептицизм. На самом же деле Гость-разъяснитель демонстрировал запечатленные отдельные личности Отродий Башни. И даже отдельные эти личности были жуткие.

Да, в Останкине ведут сладкую жизнь, делят Пузырь, настаивал Гость, а враг не дремлет. Он лишь притаился, он как бы тоже занят приготовлениями к раздаче Пузыря, при этом распространяет слухи о том, что его якобы удручают Простуды и Лихорадки, сам же стремится к штурмам, а в худшем для него случае – к осадам.

Благодушия останкинских домовых неприятель несомненно добился.

А где проходит рубеж их обороны, на осыпающихся бастионах которой дремлют жующие в снах ломти Пузыря охранители? Здесь! (Указка ткнула в цветные линии на грифельной доске.) Северо-западное направление! Напротив Башни! Нет печальнее заблуждения! Но заблуждаются здесь, в Останкине. Конечно, не все. Там (опять кивок указки на юг, за Садовое кольцо, за Бульварное, в Китайгород) заблуждений нет и быть не может. А потому ошибки учтены и исправлены. Но в сознание останкинских домовых втемяшилось, что Отродья завелись на Башне, там расплодились, там проживают, там содержат удовольствия и размещают штаб. Столь превратное мнение, известно в Обиталище Чинов, разделяют даже действительные члены, что уж говорить о сидельцах на резервных лавках, или о дворовых, или о подъездных домовых? Будто не коснулось их Просвещение! Средние века! Домострой!

На самом деле так называемые Отродья заводились вовсе не в Останкине. Башня их приманила, для них на то были причины, и они устроили в ней служебные помещения для себя. И только. Они ставят себя выше всего и всех, а потому и объяснимо их желание расселить себя, хотя бы часть себя, в сооружении, наиболее в Москве поднятом над уровнем низких мест. Ко всему прочему, по понятиям Отродий, ими не скрываемым, именно в Останкине предполагается быть Пупу Земли. Или хотя бы – Москвы. Вы улыбаетесь, а некоторые из вас и смеются. Рад, что некоторых развеселил. Но Отродья не смеются. То есть если и смеются, то над нашим пониманием природных и исторических явлений. Пуп Земли – это, естественно, условность. У них мнения ученые, по их соображениям, нам недоступные. Они разумеют то, чего не можем разуметь не только мы, но и люди, их породившие. Происхождение от людей Отродья, правда, решительно и с издевками отрицают. Так вот, они считают, что всяким сложением – космическим, геоцентрическим, духообразующим, тектоническим и прочим – в Останкине есть то, что соответствует их самоутверждению и возвышению их в мироздании.

«Самое грозовое место в Москве – Останкино!» – с гордостью напомнил председательствующий Артем Лукич. Гость-разъяенитель его слов будто бы не расслышал, но на секунды задумался. Злодеев наших,

продолжил он, по привычке мы называем духами, или Отродьями Башни. Некоторые из несведущих полагают, что они чуть ли не телевидийные дитяти. Увы, нет. А Духами, или Отродьями Башни, коли такие прозвища прижились, мы будем называть их и впредь. Даже если они и оставят помещения Башни. Их уже ввели в раздражение марафонские забеги к ресторану «Седьмое небо», с топотом, гиканьем, застольными размолвками, отбиванием матросской чечетки и звукомузыкой деревянных ложек. Хотя они и желают подчинить себе людей, гонор у них есть, а сил пока для этого нет, и даже угомонить высотных марафонцев они сейчас не смогут. Но уж если они и пожелают покинуть свои каморки в Башне, то переселятся куда-нибудь ввысь, их огорчило приземление Пузыря, они готовы были освоить и его. («А не посягнут ли они на Всемирную Свечу?» – пришло в голову Шеврикуке. Но Свеча в Останкине пока не воздвигалась…) Из Останкина, по достоверным наблюдениям, Отродья уходить не намерены. Им важно вобрать в себя чужие ресурсы и богатства. Домовые, они убеждены, им по зубам. И соблазнительно, ослабляя человека, проглотить и разжевать охранителей домашних очагов или же превратить их в своих мелких служек. А достояние же домовых, накопленное и сбереженное в веках, добыть и впитать в себя. По убеждению же Отродий достояние это, обладающее уже и чрезвычайными свойствами, в таинственном виде сохраняется именно в Останкине.

Шум сейчас же возник в бетонном бункере. «Где? Где в Останкине?!» – звучали выкрики.

Гость-разъяснитель язвительно усмехнулся. При этом ироническое чувство его предназначалось, скорее всего, не действительным членам посиделок, а поисковым агентам Отродий, и будто бы не исключалось присутствие их лазутчика в Большой Утробе. И еще можно было заключить, что Гость имеет допуск к трепетным сведениям и знает, что вековое сословное достояние в таинственном виде сберегается вовсе не в Останкине. Слушателям же, несколько оживившимся, он высказал предположение, что Отродья в своих предпочтениях Останкину опять исходят из неких теорий, по которым Останкино если не Пуп Земли, то непременно особенное место, или, может, котел планеты, или еще что, со сгустками энергетических, магнитных, световых, психических переплетений и бантами времени и пространства. «Но это, не надо заканчивать университетов, сами понимаете, мистика!» – заключил Гость-разъяснитель.

Он опять задумался и молча стоял минуты две. И тишина была, будто в черноте планетария.

Спохватившись, Гость принялся говорить о том, ради чего он прибыл. «Да, да!» – разволновался он. Указка снова ткнула в творения цветных мелков. Линия огня, линия обороны вьется исключительно против Останкинской башни. Это безрассудно. Это безграмотно и безрассудно! Если не сказать резче. Отродья лишь символически присутствуют на Башне. Они всюду! Они – во всем! Они – во всех! Они – в человеке! Они – в нас! Они, заявил Гость, и в уважаемом Артеме Лукиче, пусть Артем Лукич милостиво не обижается, они – в привратнике-глашатае, хотя тот и полуграмотный, они в нем самом – и Гость трагически ударил перстом себя в грудь. Поэтому держать оборону исключительно супротив Башни – дурь. С дурью разберутся. Его же миссия – взорвать благодушие, истребить примирительское отношение к разговорам о слабости злодеев и во всех востребовать к ответу оборонный дух. Да, он знает об утомлениях полевого командира Поликратова, да, он видит, что, судя по обмундированию, экипировке и телосложениям, многие предпочитают гибель, но не позорный плен. Тем не менее он обязан возбудить в действительных членах, не подавив в них дух оборонный, возбудить в них дух воинственный и победный. Их сословие узаконено и канонизировано, а Отродья и есть Отродья.

При этих словах Гость-разъяснитель пропал. Не было в бункере Большой Утробы ни грифельной доски, ни белых экранов или простыней, на чьих пространствах отразились указующие уколы и смутные видения неопознанных объектов.

57

Артем Лукич, неспособный моргать и иметь волевые расслабления, похоже, растерялся. С минуту он сидел, не размыкая губ, и будто бы надеялся, что Гость-разъяснитель вот-вот снова возникнет в Большой Утробе, пусть даже и не отчетливый обликом. Нет, Гость исчез без возврата, возможно, отправился с вразумлениями в сокольническое пограничье Ракетного бульвара. А то – в Ростокино. Или в Марьину Рощу. Сообразно предписанию в путевом листе, выданном ему в Обиталище Чинов.

– Ну что? Положение обрисовано, – поднялся Артем Лукич, загремев табуретом. – Но я должен заметить, я бы сделал это и в присутствии докладчика, но, увы, его нет, так вот я должен заметить, безобразия наши преувеличены. Вовсе у нас не одна линия обороны. И смотрим мы не на одну лишь Башню. И достойные поощрений бойцы всегда на страже, – при этом было указано на мобилизационно экипированных молодцов, в их числе и на обладателя британских походных бутс Велизария Аркадьевича. – Слова мои подтвердит и верховод Поликратов, надзирающий за укреплением в Останкине оборонного духа. – Поликратов подтвердительно кивнул. – Но полагаю, что встреча с осведомленным гостем вышла полезной. Нас надо то и дело стращать и припугивать, чтоб мы не позевывали и не ковыряли в ухе шилом. Отродья, знать, существа злые и свирепые, раз так напоганили в музыкальной школе. С нами церемониться они не станут, никаких добродетельных конвенций они не подписывали, а чтобы дать им отпор, должно жить в напряжении чувств и физических сил.

Далее Артем Лукич наказал собравшимся на посиделки донести до всех останкинских домовых, даже самых пустячных и придурковатых, суть нынешних начальственных напоминаний, чтобы бдели и стирали портянки. И чтобы до поры до времени, до Китайгородских указаний ходили по Звездному и Ракетному бульварам, на Пузырь не глядя. А если и глядя, то предмет не видя. Никаких секретных сведений Гость-разъяснитель, это он оговорил накануне посиделок, не сообщал, а потому его слова можно разглашать все до единого. Об Останкине помнят, кознями и блицпланами Отродий в Китай-городе заняты стратеги с подзорными трубами и тактики с электрическими глушителями, но и в самом Останкине требуется усиление бдений. А потому создается комиссия дозорных с полномочиями

из пяти дееударных членов.

Шеврикука не слишком стремился оказаться усилителем бдений, но, когда его имя не назвали в числе отряженных для героических подвигов и начальствования в Останкине дозорных, он ощутил досаду. Стало быть, вот как его уважают! Но кого выделили, отрядили и снабдили полномочиями? Старика Ивана Борисовича. Ну этого ладно, этого по ветеранской линии, для поддерживания рифм и мелодики в преданиях и укрепления связи времен. Хотя проку от Ивана Борисовича будет, как от британских бутс Велизария Аркадьевича. А за что и зачем определили в дозорные домового из Хованского проезда – то ли Помпидуева, то ли Помпидошина? По тихой, но непроверенной молве этот Помпидуев или Помпидошин недолгое время служил домовым на Якиманке во французском посольстве. Или будто бы даже доможительствовал в нашем представительстве торговли в Париже. Был он тучен, глуп, спесив, слова произносил исключительно на языке Вольтера и Брижжит Бардо, с провансальским, по его утверждению, выговором. В связи с чем и получил в Останкине титул Майонез. Так что же этому Помпидушину-Майонезу можно было поручить в дозоре? Если только международные политесы и уловки дипломатических протоколов. Да поедание устриц. Но способен ли был Помпидушин-Майонез к политесам и уловкам, если не смог удержаться в посольстве и представительстве, а оказался спроваженным в дом с коммунальными жильцами? Вряд ли…

Однако сейчас же Шеврикука был вынужден забыть про Ивана Борисовича и Помпидошина, а досады его сменились недоумениями и яростью. В помощь делу были назначены товарищи дозорных, и среди них председательствующий Артем Лукич назвал имя канальи Продольного.

– Но как же! По какому праву?! – вскричал Шеврикука. – Продольный не имеет чести состоять действительным членом посиделок! Он сюда не допущен по причине низости положения!

Шеврикука сразу же понял, что выкрики его вышли делом некрасивым, мелочным и пошлым. К тому же получалось, что он занимается предложением себя или хотя бы своих услуг (кого вы назначаете и о ком вы забыли? и не стыдно ли вам?), а это было чрезвычайным неприличием.

– Вы, к сожалению, не о всем осведомлены, Шеврикука, – начальственно, а стало быть, и чуть устало произнес Артем Лукич. – Ваши повседневные заботы в подъездах, вероятно, отвлекают вас от широких просторов останкинской жизни. Довожу до вашего сведения. Трудолюбивый и предприимчивый домовой Продольный, пусть и не

имеющий традиционных московских корней, утвержден действительным членом посиделок на опустевшее место, увы, покинувшего нас Тродескантова. И сюда он допущен. И если его здесь сейчас нет, стало быть, ему позволительно отсутствовать. Потому как он в бегах по неотложному делу.

– А что же нас не спросили, кому сидеть на опустевшем месте Тродескантова? – не мог угомониться Шеврикука.

– А вот и не спросили, – ответствовал Артем Лукич, И более он Шеврикуку будто бы и не видел.

«Молчи – приказывал себе Шеврикука. – Сиди и молчи!» Но то, что он был нехорош, это он понимал. Однако он все еще надеялся на то, что и других возмутит карьера Продольного. И будет оспорено утверждение действительным членом этого стервеца, темным или наглым образом проникшего в Москву. И держал в себе надежду, вовсе пустую, на то, что хоть единый заседатель, пусть даже и вислоухий Феденяпин, поднимется и выскажет недоумение: «А как же Шеврикука-то? Отчего же Шеврикуке-то не поручают оборону и бдения?»

Но никто не поднялся. И никто не возмущался карьерным движением по жизни оптимиста Продольного.

А тут появился и сам Продольный.

В камуфляжном костюме, в рваной и немытой тельняшке, с серьгой в ухе, с растрепанным ветром или невежливыми руками чубом первого парня. И было видно, что делами он занимался действительно неотложными, наверное, рискованными и, судя по его наглой ухмылке, с делами он справился.

Причем появился он не из парадного проема, закрываемого крепостной убежищной дверью, а из некой невидимой дотоле щели в боку бункера. Возможно, к щели под» водил подземный ход, и наверняка доступ к подземному ходу и щели могли получить лишь лица, пользующиеся доверием. «Это Продольный-то – уже Лицо! – проскрипел про себя Шеврикука. – Домовой с будущим. Действительный член. Товарищ дозорного с полномочиями!» Шеврикука никак не мог смириться с развитием останкинских обстоятельств.

А то, что он лицо, пользующееся доверием, Продольный сейчас же подтвердил обществу, захватив, ни на кого не глядя, пустой табурет справа от Артема Лукича и приблизив к уху председательствующего толстые губы. Что он – доверительно! – принялся шептать Артему Лукичу, не услышал даже верховод Поликратов. Поликратов подъехал было на табурете к собеседникам, но отгоняющими взмахами рук – сначала Продольного, а

потом и поддержавшего его Артема Лукича – был отдален от сути доставленных Продольным сведений. Внимая Продольному, Артем Лукич мрачнел, вот-вот был готов выплеснуть в публику несвойственные посиделкам облегчающие натуру слова, но укротил себя. Следом в глазах его отразился испуг, Артем Лукич тяжело заерзал на табурете. Но что-то в шепоте совершавшего неотложное дело все же обнадежило его, он будто успокоился и пожал Продольному руку.

Теперь шепот Артема Лукича выслушивал Продольный. Утомленному в оборонных бдениях Поликратову обидеться бы, сбросить с плеч полевой бушлат, удалиться в тылы и обозы, а он сидел, терпел и даже не требовал от Колюни-Убогого мятую жестяную кружку с холодным чаем. В одно из мгновений слушатель Артема Лукича оживился, остро взглянул на Шеврикуку, физиономия его скривилась, губы дернулись, возможно, он произнес нечто нелестное о нем, Шеврикуке, а возможно, в соответствии со своей натурой пообещал разобраться. Шеврикука удивился председательствующему, он никогда не держал раздражения на Артема Лукича, напротив, часто находил его справедливым. Неужели Артем Лукич обрел взаимопонимание или даже благорасположение с бритоголовым боевиком и уполномоченным Любохватом, будто бы липецким дядей Продольного?

Хоть бы и обрел. Что тебе-то?

И Продольный, возможно, истинный защитник и ревнитель сословных интересов, и лишь нерасположение к нему, усиленное отчасти высокомерием коренного москвича к прибившемуся, лимитчику, вынудило его, Шеврикуку, создать в своих представлениях и чувствах превратно искаженный образ расторопного и дельного домового. А подозрительные, опять же по его понятиям, действия Продольного могли иметь совершенно добродетельные причины.

Так уговаривал себя Шеврикука, призывая обратиться к благоразумию. А сам не мог забыть, что выкриками своими допустил неприличие. И даже нарушил требования чести. И особенно было неприятно Шеврикуке то, что вел он себя некрасиво.

Между тем Продольный, выслушанный и одобренный, был направлен Артемом Лукичом обратно в щель. Надо полагать, неотложные дела продолжались. Артем Лукич с Продольным снизошли до того, что минуту-две уделили разговору с верховодом Поликратовым. Их слова Поликратов одобрил кивками угрюмого понимания.

Обещанные мелкие разности Артем Лукич вынести на обсуждение забыл, а предложил действительным членам продолжить посильные рвения

на местах прохождения служб. Расходились молча, в напряжении чувств и с несомненными недоумениями. Гость-разъяснитель из Обиталища Чинов многими словами опечалил и устрашил. Но он, несомненно, исполнял задачи оперативного просвещения, страхи как будто бы и не нагонял, а скорее успокаивал Хотя и развеивал благодушие. И он уверял, что не секретничает и в меру откровенен, и действительных членов призывал не секретничать, а все как есть донести и до самых ничтожных и никчемных домовых. Лишь внезапно-безвозвратная пропажа Гостя заставила посиделки удивиться и вздрогнуть. Но ненадолго. Эпизод с недовольствами Шеврикуки, похоже, иных развлек. Но вот таинственные перешептывания Артема Лукича с участником или свидетелем каких-то, возможно, экстренных событий вызывали теперь у разбредавшихся действительных членов уныние. А у кого и нервическую дрожь.

Шеврикука полагал, что напуганные, либо удрученные, либо недовольные тем, что их посчитали пустыми сиденьями лавок, созрели до ворчаний, а то и до взмахов кулаками, с восклицаниями: «Ужо вам, надменные властители!» Ожидания его были эгоистическими, а если говорить истинно – то и ребячьими. Он все еще надеялся, что кто-нибудь выскажет сочувствие ему. Или даже поощрит его как радетеля справедливости. Но никто не сказал ему ни слова. Велизарий Аркадьевич, нелепый в своем оборонно-походном одеянии (куда поход-то будет? или побежим в елабужские боры?), взглянул на Шеврикуку с укоризной и будто бы устыдил его. А еще час назад Шеврикука ждал от Велизария Аркадьевича повинных слов и любезно открытых сведений о жизни и натуре Петра Арсеньевича.

И никто ни о чем не принялся Шеврикуку расспрашивать. Прежде, когда в Останкине возникали тайны и случалась паника, к Шеврикуке, подозревая в нем следопыта и умеющего разведывать обо всем расторопнее прочих, тотчас же подступали с расспросами, иногда и совершенно глупыми, взволнованные и любопытствующие. Он был унижен удалением с посиделок в музыкальной школе, а и тогда подбирались к нему многие в надежде добыть от него хоть намеки о грядущих в Останкине событиях.

Сейчас он в выходе разбредавшихся будто бы и не присутствовал.

Происходящее разумно, объяснил себе Шеврикука. Он разбух и раздулся. Возомнил о себе, а ничего не стоил. И никому не было дела до него. Всем было дело до самих себя. До своих беспокойств и страхов.

И тут движение действительных членов приостановил ухарь-наглец Продольный, явившийся невесть откуда. Расставив ноги, стоял он, шумный, развеселый, в бузотерском состоянии духа, будто ему, оценив

удалое разрешение неотложных дел, поднесли жбан с бальзамной настойкой мухоморов. И будто бы одарили за боевые деяния – с плеч Продольного по камуфляжным пятнам спускались пулеметные ленты с патронами, не иначе как Продольный брал Перекоп и сбрасывал в черно-синее море Врангеля.

– Ба! – заорал Продольный. – Плетутся! Стадо униженных и оскорбленных! Мелко дрожащих! И с ними дядька Шеврикука! Всесильный и крутой Шеврикука! Всесильный следопыт Шеврикука!

И Продольный захохотал.

– Кыш, Шеврикука! – снова заорал он. – Кыш!

58

Уяснив, что Куропятова нет дома, Шеврикука поднялся в жилище бакалейщика.

В квартире Уткиных и тем более в их малахитовой вазе Шеврикука чаще проводил минуты, а то и часы отдохновений и удовольствий, нынче же для дремот и приятственных созерцаний причин не было.

У Куропятова Шеврикука угрюмо уселся в кресло, какое хозяин предоставлял для скептического собеседника Фруктова в часы их философствований и наслаждений ликером «Амаретто».

Он и есть Фруктов, решил Шеврикука. Он и есть тень Фруктова. Он и есть тень.

Он, Шеврикука, стал теперь тенью и на посиделках, и в Останкине.

«Желанием честей размучен…» – вспомнилось Шеврикуке.

Желанием чести размучен! В экие высоты занесло его, Шеврикуку, в экие гордыни или бездны переживаний! Слова, возобновленные его памятью, пришли в голову Гавриле Романовичу, опечаленному кончиной князя Мещерского. Гаврилу Романовича Шеврикука чрезвычайно почитал. Но какое он-то имел отношение, какое, хотя бы и легчайшее, хотя бы травинкой касательство к чувствам Гаврилы Романовича? Было сказано стихотворцем: «Не столько я благополучен; Желанием честей размучен, Зовет, я слышу, славы шум».

Отчего вспомнились теперь ему, Шеврикуке, эти слова? Шум славы он не слышит. Не слышал. И впредь не расположен слышать. Когда-то, может быть, и желал услышать шум славы, по дурости, и был наказан. И главное, сам, кажется, ощутил никчемность барабанного шума славы. И тщеславие – в холодных размышлениях – ему смешно и противу его натуры.

Желанием честей размучен…

Над Пэрстом-Капсулой, объявившим томление всей сути и будто бы занемогшим от этого, иронизировал, а сам размучен желанием честей?

Да, размучен. Выходит так.

Можно все называть иначе. Но память явила слова Державина…

Слово «честь» нынче малоупотребительное. Но даже когда Шеврикука думал о собственном непонимании случая с Продольным, в голове имел выражения «неприлично» и «некрасиво». Свои выкрики обозвал неприличными и некрасивыми. А приличия и красота для Шеврикуки были понятия главнодержащие.

Что уж говорить о чести…

А он суетился.

Отродья – порождение людского суемудрия.

И он сейчас суемудр. Нет, глупо, плохо, он именно Просто обидчиво-суетлив. Он досадовал. Он обиделся. Может, и прежде из-за своего суемудрия он и путешествовал на Башню к Отродьям. Теперь из-за чего он досадовал и обиделся? Опять же из-за своей дурости. Он возомнил о себе. А его не оценили. То есть оценили по его свойствам и состояниям. «Богат, как в Ильин день» Феденяпина – скоморошичий ответ на опрокинутые в публику слухи.

Гликерия не давала о себе знать более недели.

Ну и что? Кыш, Гликерия! Кыш, Шеврикука!

Без Гликерии существовать ему было скучно. Вот что! Хороша она ему или противна, важности не имеет. Без нее ему скучно. И беспокойно. Она сама вызвалась явиться к нему с объявлением, нужны ли ей его, Шеврикуки, услуги и вспоможения, в ближайшие дни. Они прошли.

Желанием честей размучен…

Не честей. Почестей. Почестей, имел в виду Гаврила Романович.

Славы и почестей Шеврикука сейчас не желал. Но – честь… О чести Шеврикука думал. О чести вообще и о чести собственной. Всегда, даже и когда в суете он забывал о ней думать, натура его, не обращаясь к словам, имела в виду честь. Слова «некрасиво» и «неприлично», по его уложениям, частностями или окраской сущностного входили в его понятие чести. Выкрики в Большой Утробе были нехороши. Но в случае с Продольным и кукловодами были решительно нарушены приличия. Ни о какой чести здесь речи не шло. Но была или есть нужда соотносить свою честь с явленным неприличием? Нужда есть, решил Шеврикука. Но в Большой Утробе публичное, видимое проявление своего понимания приличий оказалось малоосмысленным и ничего не изменившим. Стало быть, сиди, помалкивай, а действия, какие желаешь произвести, производи. Но не впустую.

После этого постановления в мыслях его случился некий поворот. Теперь ему стало казаться, что его обиды и досады были отчасти справедливы. За кого все же его держат? Конечно, его ущемило бы и возведение его в ранг товарища дозорного. Тогда он, может быть, еще пуще шумел бы и возмущался. Если бы его произвели в дозорные, он бы не удивился и, скорее всего, как бы нехотя с поручением согласился. Но его явно не принимали во внимание как полезную и обороноспособную личность. И это при обстоятельствах, когда в Останкине все, даже и

последние сушеные крючки из домовых, слышали о новых значениях Шеврикуки.

Но вдруг именно из-за «Возложения» Петра Арсеньевича, из-за сил, якобы ему приданных, его и упрятывают в тень? Или укрывают, будто в засаде. Как полк Боброка.

Вот уж глупость! Главное – в тени и в засаде! Им просто-напросто пренебрегают.

Или ему не доверяют.

К чему могут иметь основания.

Он словно бы забыл разговор при лучинах с Увещевателем в Обиталище Чинов. Он словно бы забыл про общения с Бордюром. Он словно бы запамятовал о Темном Угле И Недреманных Оках. Он словно бы…

Ни о чем он не забыл. И забывать не может. И теперь (не в горячности посиделок, а во фруктовском кресле в жилище бакалейщика Куропятова) держал собственные жизненные обстоятельства в своих разумениях.

И все же роптал.

Доверяют они ему или не доверяют и кем признают в бумагах, в умах, в компьютерных учетах – не суть важно. Но видимые проявления их отношений к нему казались сейчас Шеврикуке существенными. Взгодными или невзгодными.

Он им сейчас не нужен. Он не ощущает их потребности в нем.

Или он нужен им – одинокий в действиях.

«Вы одинокий наездник», – услышано было, и не так давно, Шеврикукой от провозгласившего себя Бордюром. Шеврикука напомнил Бордюру, что наездниками домовым по уставам их сословных соответствий быть не дано. Поправляя себя, Бордюр назвал Шеврикуку одиноким охотником. Но и охотником Шеврикука считаться не пожелал. Никакая охота его в ту пору не неволила. И в прилегающие дни он как будто бы не был расположен к охоте.

Но теперь его влекло к действиям. Неизвестно к каким, но влекло. И действовать он полагал сам по себе. Если бы пошло на поправку энергетическое состояние подселенца Пэрста-Капсулы, Шеврикука позволил бы себе привлечь полуфабриката и специалиста по катавасиям к исполнению частных поручений. И достаточно. Коли он, Шеврикука, никому не нужен в Останкине и тем более в Китай-городе, мест, где сыскалось бы поприще для затей и предприятий, в Москве и окрестных выселках было предостаточно. Хлопоты и надежды, связанные с Пузырем, совершенно перестали интересовать Шеврикуку.

Но прежде надо было выяснить, отчего не давала о себе знать Гликерия.

В сомнениях Шеврикука был недолго и с воздушными поклонами вызвал на свидание Дуняшу-Невзору. Дуняша-Невзора вполне могла не знать, что ее госпожа и повелительница, барышня-крестьянка, посещающая уроки корейского языка (пусанский диалект) и верховой езды, пятном-регистратором неродившихся привидений проникала в Землескреб ради разговора с ним, Шеврикукой. Встреча Шеврикуки и Дуняши с передачей ей покровского бинокля, добытого Пэрстом-Капсулой для Гликерии без ее якобы ведома, вышла летуче-прохладной, и теперь Шеврикука не был уверен в том, что Дуняша мгновенно отзовется на его воздушные поклоны. Она и не отозвалась.

«Не отзовется вовсе, – посчитал Шеврикука, – сам ее разыщу».

И поднялся в получердачье с намерением посетить прихворавшего.

Пэрст-Капсула лежал на раскладушке. Шеврикука сразу же понял, что он не первый, кто наносил визит больному товарищу. На тумбочке, поставленной рядом с раскладушкой, в стеклянной банке из-под соленых маслят голубели цветы цикория. За раскладушкой же к углу получердачья приткнулся платяной шкаф из тех, что увозят в огородные бунгало или выносят к мусорным ящикам. Возможно, в шкафу содержались теперь бурки, столь любезные Пэрсту, его ковбойские сапожки, пятнистые штаны, куртка и фетровая шляпа от Буффало Джонса. А может, Пэрст обзавелся и новыми украшениями гардероба. Ковровая дорожка, приглашавшая посетителя приблизиться к раскладушке, отчасти удивила Шеврикуку. Одеяло укрывало полуфабриката верблюжье и не имело прорех. Щеки его были выбриты. Все это возбуждало надежды Шеврикуки на то, что белье у Пэрста-Капсулы чистое и не из армейских употреблений.

Но Пэрст-Капсула дремал. Если не находился в забытьи.

Шеврикука исследовал запахи получердачья, среди них, несомненно, ощущались ароматы женские или те, что могли сопровождать женщину, но, смешиваясь с ними, присутствовали здесь запахи неведомых Шеврикуке назначений и природы, и он не имел права судить определенно: какие случались у Пэрста-Капсулы посетители. («А Тысла женщиной пахла или нет?» – подумалось вдруг Шеврикуке. Он не помнил этого. Да и запахи Тыслы могли быть пересилены запахами свирепого Потомка Мульду.)

Пэрст-Капсула открыл глаза. В них не было малярийного блеска и неразумия. Тревога Шеврикуки утихла. Успокоенный, он мог высказать Пэрсту-Капсуле и досады. Досадовать, впрочем, он должен был и на самого себя. Без его согласия, без его ведома, но при его пренебрежении к

присмотру за неприкасаемостью территории в его подъезды проникали не учуянные им посетители и была доставлена мебель вместе с верблюжьими и ковровыми предметами быта. Пэрст-Капсула обживался! А он обязан был испросить хотя бы разрешения Шеврикуки на допуск в получердачье визитеров и на мебельное усовершенствование жизни.

Впрочем, Шеврикука поднимался в получердачье не ради досад и разносов.

– А, это вы, Шеврикука… – пробормотал Пэрст-Капсула.

И он закрыл глаза. Оправдываться он, похоже, не собирался.

– Да, это я, – подтвердил Шеврикука. И более он не знал, что сказать.

– Сигаретами пахнет? – спросил Пэрст-Капсула.

– «Кэмелом», – сказал Шеврикука.

– Просил же не курить, – проворчал Пэрст. – Тем более «Кэмел». Он же поддельный…

– Ну, не знаю… – растерянно произнес Шеврикука.

Будто бы он и курил, будто бы он был перед Пэрстом-Капсулой виноватый и ему уготовили разнос. И Шеврикука, сам к тому не стремясь, стал тереть об пол ботинки, дабы не запачкать ковровую дорожку.

– Я почему пришел… – начал было Шеврикука.

– Мне ведомо, – оборвал его Пэрст-Капсула.

– Что ведомо? – нахмурился Шеврикука.

– Не для того вы пришли, чтобы отчитать меня и вышвырнуть мебель, – сказал Пэрст-Капсула. – А для того, чтобы узнать, не прекратился ли я вовсе, и, если нет, поинтересоваться, не нуждаюсь ли я в какой-либо помощи.

– Ну и… – чуть ли не обиженно произнес Шеврикука.

– Мне холодно, – Пэрст-Капсула снова поднял веки. – Мне холодно. Протяните мне головной убор. Он в тумбочке.

Шеврикука приоткрыл дверцу тумбочки – одной, видно, со шкафом казенно-сиротской судьбы, но фартового происхождения. В пустоте ее, не имея соседей, лежал головной убор. Или стоял. Шеврикуке сразу же пришли на память звездочеты, венецианские весельчаки пульчинеллы, а еще и железные дровосеки. Конус с козырьком головного убора Пэрста-Капсулы был недолгий, мастерили его (или отливали, или отжимали пресс-формой) из жесткого темно-коричневого материала, снабдив для удобства ношения наушниками и ремешком с кнопками. А может быть, наушникам и кнопкам назначено было служить приемниками и передатчиками звуковых волн и мысленных образов («Предположение на уровне линейного существа, – представилась Шеврикуке усмешка Бордюра. – То есть на моем

уровне…»)

– Вот, держи, пожалуйста, – Шеврикука протянул Пэрсту-Капсуле конус с козырьком.

– Наденьте на меня, – сказал Пэрст-Капсула. – И застегните ремешок под подбородком.

То ли он оценил взгляд Шеврикуки, то ли вспомнил его «пожалуйста», но добавил все же:

– Будьте добры.

Защелкнув кнопки, Шеврикука, будто дядькой-наставником готовя новичка в небесное странствие, проверил, надежным ли вышло сцепление, и заметил:

– Вроде бы нормально. – И сразу же спросил: – Лихорадка-то более не бьет?

– Меня не била лихорадка, – решительно заявил Пэрст-Капсула и даже голову попытался приподнять, будто бы в намерении возмутиться или протестовать. – Меня никогда не била лихорадка! Меня не может бить никакая лихорадка!

– Ну, не била и не била, – сказал Шеврикука. – Ну, не может, значит, не может, успокойся…

– Меня не может бить никакая лихорадка… – бормотал Пэрст-Капсула, слабея и закрывая глаза.

«А кого может?» – хотел было спросить Шеврикука. Но не спросил. Знал кого. И предполагал, что ответил бы ему подселенец. Месяца полтора назад, в самую жару, вспомнилось Шеврикуке, заведение бурок, какие хороши на полярниках, Пэрст объяснял тем, что у него мерзнут ноги. Объяснение это Шеврикуке показалось тогда мечтательским. Но, может, и мерзли. Сейчас что мерзнет у Пэрста? Голова, коей понадобился убор? Или вся суть полуфабриката, чье томление, увы, не было дано прочувствовать Шеврикуке?

– Не надо, Шеврикука, не надо… – пробормотал Пэрст-Капсула. – Не надо сейчас… Сейчас у вас не выйдет… Следует обождать и пересидеть… И я не могу… Я не возобновлен… Лишь при сословных или исторических необходимостях… А сейчас… От синего поворота третья клеть… А бирюзового камня на рукояти чаши там нет… Нет!.. Оставьте пока, Шеврикука…

– Что?! – воскликнул Шеврикука.

– Что? – приподнялся на локтях Пэрст-Капсула. И было очевидно, бред или дремота его оборвались, а пребывает он в ясностях мыслей. – Что с Мельниковым и Клементьевой? – спросил Пэрст-Капсула требовательно,

будто недовольный тем, что Шеврикука вовремя не представил ему отчета.

– С кем? – удивился Шеврикука.

– С Мельниковым и Клементьевой.

– Это с какой Клементьевой?

– С той, что из Департамента Шмелей.

– Ах, с этой… С Леночкой… – вспомнил Шеврикука. – Мне мало что о них известно. Мельникова я иногда встречаю во дворе. А про Леночку… Хорошо, я разузнаю про Мельникова…

– Существенно, что у них двоих! У них вместе! Вы поняли меня! Узнайте! – В голосе Пэрста-Капсулы был каприз повелителя.

– Но… – замялся Шеврикука.

– Идите! – Рука Пэрста-Капсулы властно указала вниз. – Узнайте!

Тут же глаза его закрылись, голова упала на лежанку. Спасибо Шеврикуке: верно сцепленные кнопки ремешка не дали скатиться на пол конусу с козырьком.

Задерживаться сиделкой при обессилевшем подселенце Шеврикука не посчитал нужным и поспешил удалиться из получердачья. Одной из причин этой поспешности была такая. Уже при разговоре о лихорадках Шеврикука ощутил, что к нему пробивается чей-то мысленный (или чувственный?) вызов, но пробиться не может. Неизвестно, какие своеобычные поля способны были возникать вблизи Пэрста-Капсулы и чему они становились проводниками, а чему препятствием. Их следовало покинуть. А сигналы и отклики на свой сигнал он ждал.

Стало быть, волнует полуфабриката (именующего себя полуфабрикатом) лирическое расположение и нерасположение душ кандидата наук и гения Мити Мельникова и музыковеда Леночки Клементьевой, исследовавшей в Департаменте мелодии полетов шмелей, серенады и трудовые песни стрекоз. Отчасти, признавался некогда Пэрст, он произведение лаборатории Мити Мельникова. Тема работы – проблемы энергетического развития судеб (трансбиологические). ПЭРСТ. Полуфаб, признавался опять же подселенец, промежуточная стадия, недосотворенный. Или не так сотворенный и брошенный. А не сотрудничала ли в ту пору в лаборатории своего же Департамента чудесницей и Леночка Клементьева? Даже если не сотрудничала, то наверняка заходила в лабораторию и рассеивала внимание ее гениального заведующего. Но, может, заведующий ее и не замечал. В застолье прощального бала по поводу разгона Департамента Шмелей, вспомнилось Шеврикуке, Леночка не сводила с Мельникова черных глазищ, восторженных и жалеющих, и все видели, что она влюблена. И на

смотринах дома на Покровке в смутных своих хождениях при общей перепалке Шеврикука наткнулся на рыдавшую перед зеркальной створкой Леночку. По причине хрупкости, белизны щек и плечей ее назначили привидением. Она согласилась исключительно из любви к Мите Мельникову. И оконфузилась. Но из-за любви к Мите. А тот, похоже, этой любви не замечал…

Не существуют ли какие связи между энергетическими истощениями Пэрста-Капсулы, томлением всей его сути и состоянием душ заведующего лабораторией и специалистки по биомузыке? Мысль, конечно, дурная. В ней упрощения («линейного существа…»). Но Шеврикуке разузнать о том, что и как нынче у собственного квартиросъемщика Мельникова и мечтательно-влюбленной Леночки, следовало. И самому интересно. И прихворавший просил.

Просил. Повелевал!

Вот ведь как получилось. И нельзя сказать, чтобы каприз повелителя («Идите!.. Узнайте! Идите!») доставил Шеврикуке приятности. Но не бывал ли он сам именно таким капризным повелителем в прежних случаях их отношений с Пэрстом-Капсулой? Бывал. И если не капризным повелителем, то уж начальственно-высокомерным распорядителем полуфабриката бывал наверняка. И не раз. И коли преподан ему сейчас урок, то урок – полезный. Однако что за перемены произошли в подселенце? Отчего он так взъерепенился, завел себе мебель, принимал не оговоренных заранее посетителей и отважился командовать Шеврикукой? Одни ли последствия болезни тому причиной, отчасти оправдывающие капризы, или же Пэрст-Капсула начинает объявлять, кто он есть на самом деле?

А кто он есть?

«А бирюзового камня на рукояти чаши там нет… Нет!» И про синий поворот, и про третью клеть, и про бирюзовый камень он, Шеврикука, сам мог наговорить Пэрсту-Капсуле, а тот был способен принять его фантазии всерьез или исказить их, а потому и бормотал сегодня всяческую ерунду. Но бредил при этом или предупреждал?

А хотя бы и предупреждал! Важно то, что в помощники он не годился или даже прикинулся больным, изнуренным жизнью именно для того, чтобы не сгодиться в помощники. «Обойдемся без него! – раздосадованно думал Шеврикука. – А потом и разберемся, допустима ли мебель под крышами наших подъездов или не допустима!»

Уже на шестом этаже Шеврикука почувствовал освобождение воздухов от полей Пэрста-Капсулы и сразу же ощутил здоровый и бойкий

сигнал. Дуняша-Невзора, откликаясь на его вызов, приглашала Шеврикуку хоть сейчас же на свидание в Останкинский парк к Девушке с Лещом.

59

По здешнему сентиментально-романтическому преданию гипсовая Грета, она же Девушка с Лещом, некогда была подругой домового Григория Николаевича, выведенного из Останкина из-за хронических инфлюэнций и скверностей натуры. А этот Григорий Николаевич, вспомнилось Шеврикуке, в клубные дни играл в стоклеточные шашки с Иваном Борисовичем, Велизарием Аркадьевичем и Петром Арсеньевичем. Иногда на пятаки.

Ну играл и играл…

Дуняша-Невзора, стоявшая возле Девушки с Лещом, изъяла из соображений Шеврикуки историю Греты и шмыгавшего мокрым носом Григория Николаевича. На Звездный бульвар с прошением о бинокле она явилась к Шеврикуке, несмотря на жару, в мантилье и в строгих темных одеждах, заставивших Шеврикуку заподозрить недоброе, возможно, и драму, происшедшую с Гликерией. Теперь же Дуняша была рабфаковка тридцатых годов, в дневные часы, вполне возможно, – вагоновожатая трамвая семнадцатого маршрута или же сборщица будильников напротив Белорусского вокзала. На ней были футболка в обтяжку (черные вертикальные полосы на белом), на крутых бедрах суконная юбка до колен, фильдеперсовые чулки, туфли на малом каблуке, удобные для передвижений по булыжным мостовым. Из-под берета опадал и возносился под берет же русый локон, наверняка сотворенный терпением бигуди. Футболку могли бы украшать значки, свидетельствовавшие о заслугах в делах Осоавиахима и ворошиловской стрельбы, но и без значков Дуняша выглядела крепкой и ко всему готовой, как ручная граната.

– То вырядилась в мантилью, – сказал Шеврикука. – А сегодня – будто довоенная Лидия Смирнова.

– Ну и что? – с вызовом произнесла Дуняша.

– Ничего, – сказал Шеврикука. – Мне-то что. Словно я забываю, что передо мной сударыня с вывертом.

– А кто нынче не с вывертом? – спросила Дуняша.

– И то правда, – согласился Шеврикука.

Действительно, кто из его знакомых сударынь осуществлял себя без вывертов? Если только гипсовая Грета с Лещом. Но и у той случались приключения.

У ребячьего пруда Дуняша предложила угостить ее фруктовым

мороженым с палочкой, что Шеврикука и вынужден был исполнить. Разговор Шеврикука не начинал, он не ведал о степени сегодняшней осведомленности Дуняши и уж тем более о степени ее полномочий, полагая, что Дуняша догадается (или уже догадывается) о его затруднениях и облегчит или даже направит ход их беседы. Так оно и вышло.

– Да, – сказала Дуняша серьезно и, как показалось Шеврикуке, печально. – Мне известно… Я слышала… Гликерия была у тебя в Землескребе…

– Все известно?

– Что известно, то известно! – резко сказала Дуняша.

– Не горячись, – нахмурился Шеврикука. – Меня не интересует, знаешь ли ты, каким манером Гликерия проникла в Землескреб. А вот о сути разговора тебе известно?

– Я знаю то, что мне определено знать, – сказала Дуняша.

– Ну ладно. Ну хорошо, – кивнул Шеврикука. – А сегодня ты вышла с ее ведома?

– Да, – сказала Дуняша, – но без всяких полномочий.

– Что же Гликерия так тянет? – выказал недоумение Шеврикука. – Ко мне она являлась в самом что ни на есть нетерпении.

– Ты у меня об этом спрашиваешь? Или в воздух – для Гликерии Андреевны?

– У тебя, – сказал Шеврикука. – Гликерия обещала дать о себе знать через день. Через два. Тогда бы я задал вопросы ей. Она молчит, и было бы нелепо, если бы я в нынешнем случае пошел к ней. Не мне тебе объяснять. Но меня о чем-то просили. Ты сейчас без полномочий о чем-то договариваться со мной. Но ты с полномочиями нечто выведать у меня. Выведывай. Но сначала извести меня кое о чем. Почему Гликерия просто не уведомила меня: мол, так и так?

– Знаешь… – начала Дуняша, и в глазах ее Шеврикуке почудилась надменность. – Знаешь…

– Значит, во мне отпала потребность, ты это хочешь сказать?

– Нет… я так не собиралась говорить… – Дуняша будто растерялась. – Но сам посуди…

– Что произошло этакое, из-за чего Гликерия якобы перестала торопиться? Или какую силу обрела она себе в подмогу?

– Я не уполномочена сообщать тебе что-либо…

– Я уже слышал, – сказал Шеврикука. – Тогда зачем ты, да еще с ведома Гликерии, пригласила меня сюда?

– Я пригласила? – Синие глаза Дуняши-Невзоры сделались круглыми,

и ресницы ее – лепестки васильков – захлопали. – Это ты направил ко мне сигнал, я из вежливости и откликнулась. Была в городе по делам, проезжала мимо Землескреба на троллейбусе, вспомнила о твоей просьбе, дай, думаю, выясню, чего он хочет…

– Вот, значит, как… – сказал Шеврикука. – И по Каким же это делам?

– По многим. Ох, Шеврикука, если бы ты знал, по многим. И книжку покупала Гликерии Андреевне. Она ей срочно понадобилась.

– Какую книжку? – поинтересовался Шеврикука. – Если это не библиотечный секрет…

– А вот… – Левая рука Дуняши прижала к футболке плоскую сумку, способную, впрочем, вмещать в себя и предметы макияжа, и учебники, и деловые бумаги, и газовое оружие. Дуняша развела зубья полости и достала из, сумки книжку. – А вот…

Обложка была не для лоточных развалов – бумажная, всего лишь двухцветная, но хоть глянцевая. Анна Суворова. «Затворницы и куртизанки». Судя по тексту и изображениям в нем, затворницы и куртизанки проживали в восемнадцатом и девятнадцатом столетиях на северо-востоке Хиндустана в знатном слонами, боевыми петухами, дынями, набобами (навабами) и гаремами городе Лакхнау и говорили исключительно на языке урду. Нисколько не противореча привлекательному и даже благоухающему названию, сочинение А. Суворовой было востоковедчески-научное, с соблюдением роскошеств академического церемониального общения. Шеврикука, листая страницы, углядел в них слова «условные критерии дифференциации двух школ», «женская вещность», «стандартная коннотация элементов лексикона газели», «интеллектуальная изощренность бариками», и в нем возникло удивление нынешними читательскими интересами Гликерии. Но, может быть, Гликерия посчитала ради светских и служебных успехов вместе с пусанским диалектом корейского изучить и лакхнауское совершенство урду? Такое не исключалось.

Однако Дуняша позволяла ему книгу листать и рассматривать, терпеливо тратя время на его любопытство, и это обстоятельство дало удивлениям Шеврикуки иной поворот.

– По номиналу? – поинтересовался Шеврикука. – Или с переплатой?

– С переплатой, – вздохнула Дуняша.

– Так что же, – спросил Шеврикука, – Гликерия Андреевна нынче затворница?

– Затворница? Ты что!.. Какую чепуху ты несешь! С чего ты взял! – заговорила Дуняша, словно взволновавшись. Но было очевидно, что слова

Шеврикуки не стали для нее неожиданностью. Да и не могли ею быть.

– Не затворница – и замечательно. – И Шеврикука протянул Дуняше книгу о тяжкой и благоароматной жизни красавиц Востока.

– Это ты из-за книги, что ли? Так, может быть, Гликерия Андреевна не только затворница, но и куртизанка? – И Дуняша рассмеялась.

Но смех ее получился несомненно нервический.

– Хорошо, – сказал Шеврикука, – она не затворница, ее интеллектуальная изощренность позволяет ей уделять внимание проблемам урду, ты без полномочий, а потому промолчим о Гликерии…

– Надо же! Затворница! И придет же в голову! – все еще восклицала Дуняша. И не убирала книгу в сумку.

– Как ваше Ателье?.. Или Агентство?.. Или Салон?.. Ведьм, колдунов и привидений… Или кого там… Ты рассказывала… Как оно-то? – спросил Шеврикука.

– О! Оно-то! Все кипит и бурлит! – воодушевилась Дуняша. – Вот-вот откроют… Именно на Покровке… Дударев обещает. Кубаринов, полпрефекта, перережет ленточку. И будьте милостивы!

– Дударев обещает… – задумался Шеврикука. – Он вам и ставки обещает?

– И ставки, и гонорары, и творческие подношения. В долларовой равноценности!

– Это замечательно, – порадовался Шеврикука за Дуняшу. – Сам бы побыл привидением. Но не просите… И Совокупеева Александрин кипит и бурлит?

– И она! Естественно! Твоя Совокупеева-то! Ох, и ловелас ты, Шеврикука! – И Дуняша пригрозила Шеврикуке пальцем. – Хотя у тебя теперь интерес к этой пройдохе Увечной Увеке…

– А Леночка Клементьева?

– Что Леночка Клементьева? – Дуняша отчего-то нахмурилась.

– Она ведь тоже самозванкой являлась на смотрины в дом Тутомлиных…

– Ходит, ходит. Совокупеева ее держит в руках. Но больно томная и меланхолическая. Царевна Несмеяна. Клиентов отпугнет. Или они у нее прокиснут. Однако говорят, и Несмеяны нужны.

– Что с ней? Несчастная любовь? Как у нее с Митей Мельниковым?

– А мне-то почем знать? – строго сказала Дуняша. – И тебе-то что?

– Да я так… – смутился Шеврикука. Но сейчас же и он стал строг. – Мельников квартирует в моих подъездах. Имею право любопытствовать о его затруднениях и душевных невзгодах.

Возразить чем-либо на это Дуняша не могла, но не было у нее ни лакомств, ни протухших овощей для угощений оголодавшего, но разъясненного любопытства Шеврикуки.

– А что Гликерии отведено в Агентстве? Или в Салоне? – спросил Шеврикука.

– Гликерия… Она… Она пока… – замялась Дуняша. И опять нахмурилась. Книгу о затворницах и куртизанках наконец решилась запереть в сумке. – Она, может быть, там сама по себе… У нее самостоятельная программа… Ты должен понять…

– Я понимаю, – кивнул Шеврикука.

– Что ты понимаешь! Что ты киваешь со значениями! – снова разволновалась Дуняша. – Что ты можешь понимать!.. Она… Гликерия Андреевна… Она…

И замолчала.

Скомканный стаканчик из-под фруктового мороженого она швырнула в урну, сама же резко отвернулась от Шеврикуки, будто не желала, чтобы он видел ее лицо и, возможно, повлажневшие глаза.

В пионерском пруду озорничала и безобразничала детвора, лишенная лагерного детства, шли на абордаж лодки и водяные велосипеды, но не было у берегов ни волн, ни ряби. И листья деревьев проживали в благонравии безветрия. А ногам Шеврикуки и телу его передались вдруг подземные гулы и содрогания горных пород. Но тут же они и стихли. Бурление страстей призраков и привидений Шеврикука ощутил в прошлый раз лишь на подходе к лыжной базе. От пионерского же пруда до лыжной базы пролегало версты две. Бурление страстей расползалось, а возможно, вздымалось и из глубин. Не расползется ли оно до Звездного бульвара и не потревожит, не огорчит ли Пузырь?

Впрочем, что ему, Шеврикуке, беспокоиться о нервных и нравственно-сейсмических состояниях Пузыря?

Женщина в его видениях, с золотой диадемой, в белых одеяниях, стояла в тоске (или в отчаянии) перед громадой чаши и молила о чем-то, Шеврикуке недоступном и неизвестном. Это он помнил.

– Клокотание котла у вас, мне известно, продолжается, – сказал Шеврикука. – Или это сплетни и преувеличения?

– Нет, – сказала Дуняша. – Не преувеличения.

Глаза ее снова были видны Шеврикуке. Они были сухи.

– Оно не захлестнуло волнами Апартаменты?

– Какие и захлестнуло. А наши… то есть Гликерии Андреевны… и те, что вокруг, пока нет…

– Вас все это увлекает, возбуждает или вы готовы бежать?

– Все, что наше, оно в нас.

– Хорошо. В вас, – согласился Шеврикука. – Тот монстр, врывавшийся к вам при мне, но не обремененный тогда формой или, напротив, удрученный тем, что форма ему не возвращена, я предполагаю, кто это, – он не докучает вам?

– Не говори о нем! Не называй его! – вскричала Дуняша.

– Я никого не называю, – сказал Шеврикука. – Ты все назовешь. Ты для этого и пришла сюда.

– Нет! Ты ошибаешься! Я никого не назову! ни о чемЯ ни о чем нене уполномочена сообщать! – Дуняша-Невзора говорила страстно и чуть ли не с подвижническим пафосом, будто ее склоняли уберечься от огня в раскольничьем скиту, а она была непреклонна, или будто ей грозили пытками, а она никого не намерена была выдать.

– Тот монстр докучает вам? – проявлял настойчивость Шеврикука. – Он осаждает Гликерию и неволит ее?

– Не спрашивай меня! Я не отвечу!

– Ладно. Я все разведаю сам, – мрачно сказал Шеврикука. – Не надо было откликаться на мой вызов. Впрочем, и я хорош.

Страсти оставили Дуняшу-Невзору. Похоже, рабфаковка-сударыня не отказалась бы и еще от одного фруктово-мороженого подношения. И похоже, она ждала от Шеврикуки заявлений или успокаивающих деклараций.

– Я пошел, – сказал Шеврикука. – Счастливого бытия. И поклон Гликерии Андреевне.

Он повернулся и двинулся было к парковым воротам, но Дуняша чуть ли не прыжок к нему совершила, пальцы ее обхватили руку Шеврикуки. Пальцы ее были горячие, она заговорила торопясь:

– Шеврикука, голубчик ты мой, не обижайся! Не обижайся на нас! И на меня, грешную и лукавую, не обижайся! И на Гликерию Андреевну! Худо там, худо! Поверь, голубчик ты мой, Шеврикука!.. А теперь иди!

Получив установление «идти», Шеврикука остался стоять, а в путь – к содроганиям среды, амбиций и обстоятельств – отправилась Дуняша-Невзора. Минуты две Шеврикука смотрел ей вслед и, как ценитель, нередко увлекающийся, не мог не отметить, что сударыня, пусть и с вывертами, даже и в вывертах своих умеет показывать свои природные примечательности. И футболка, и юбка хорошо выявляли ее линии и возвышенности. Походка кариоки, видимо, показалась сейчас Дуняше неуместной, но все же кое-какие частности ее Дуняша проявила. «Ба! А

туфли-то у нее стоптанные!» – расстроился Шеврикука. Впрочем, крупные ноги Дуняши, вспомнил он, всегда доставляли ей огорчения, утруждая и самую терпеливую обувь.

Разговор с Дуняшей Шеврикуку хоть и раздосадовал, но не удивил. Шеврикука знал Дуняшу всякой. Сама ли она установила себе задачи (с ведома или без ведома Гликерии) или же именно Гликерия указала, как ей себя вести и что говорить, она, можно было предположить, выложила то, что намеревалась выложить. То есть почти ничего определенного. Но она кое-что дала Шеврикуке понять. Улыбчивого задора, какого следовало бы ожидать из-за наряда удачливо-спортивной энтузиастки предвоенных лет («Эх, Андрюша, нам ли быть в печали!..»), выказано не было, кроме как в словах о грядущем процветании Агентства, или Салона, или Студии на Покровке, а контрапунктом к наряду и облику ощущались в Дуняше напряжение и тревога. Может, и страх. Эти напряжение и тревога были в ней и естественными, и нарочитыми. Нарочитыми – по его, Шеврикуки, разумению. Возможно, он и ошибался. И был тем перед Дуняшей и Гликерией виноват. Но во всяком случае, книга А. Суворовой, якобы крайне необходимая читательнице из Апартаментов, была доверена любознательности Шеврикуки с очевидной охотой. Случалось, в куртизанки возводила Гликерию молва недоброжелателей и недоброжелательниц. Гликерия (при свидетельствах Шеврикуки) к шершавому шепоту этой молвы была холодна. «Затворницы и куртизанки». Даже если бы слово такое не произносилось и Гликерия имела видимые свободы, среди прочих и свободу передвижений, ее вполне могли упечь в затворницы. Шеврикуке были дадены намек и одно (коли намек правдив) из объяснений, почему Гликерия, посетив Землескреб, не давала о себе знать. Но будем считать – именно одно из возможных объяснений. О Чудовище-монстре, врывавшемся в присутствии Шеврикуки в Апартаменты и желавшем погубить Гликерию, Дуняша запретила говорить чуть ли не заклинающими вскриками. Но и в этом запрете для разумного была подсказка. Стало быть, монстр никуда не пропал и, скорее всего, усилился или даже укрепился в правах, а Гликерию осаждает и страшит. И под конец – выплеснуто: «Худо там! Худо! Поверь!»

Поверь! Призыв не напрасный! И нелишний.

И было произнесено: «Голубчик ты мой, Шеврикука!» Еще бы мгновение – и, не исключено, вырвалось бы: «Заступник ты наш, Шеврикука! Спасатель ты наш родимый!»

Но Дуняша, грешная и лукавая, знала, как и когда следует притушить фитиль.

Да так, чтобы завтра он воспылал вновь. А затем и вовсе бы разгорелся.

«Но стоптанные туфли, стоптанные туфли… Каблуки-то малые, а туфли стоптанные… Стоптанными туфлями она ведь никак не могла лукавить…» – подумал Шеврикука. И тут же явилось совсем косноумное: «А у тебя бархатный бант развязался!»

Что бы у них ни происходило и во что бы ни желали его сейчас вовлечь, ему, вне зависимости от всего, должно было непременно вызнать, какие нынче новости в усадьбе Тутомлиных на Покровке и на лыжной базе – месте летнего обитания призраков и привидений.

Слишком отвлекли Шеврикуку в последние дни от всемирных дел останкинские частности и сидения с бумажками Петра Арсеньевича.

Начать он решил с дома на Покровке.

60

«Как там было провозглашено на обложке „Затворниц и куртизанок“?» – подумал Шеврикука. Ради рыночных достижений под названием наверняка заслуженно научной работы А. Суворовой на глянце обложки как бы красными чернилами вывели слова: «Эротика по-лакхнауски». И ниже: «Сексуальное востоковедение. 44 с половиной способа интеллектуальной любви». И еще ниже: «Пикантные огурцы».

Относительно пикантных огурцов Шеврикука не мог составить определенное мнение. Что же касается эротики и секса, подчас и именно ориентальных, они, несомненно, имели место в доме на Покровке. И случались там затворницы и куртизанки. Милейшие, а кто – и с острым соусом ехидств – известные Москве. Но никто из них вроде бы не говорил на урду. Тем более с лакхнаускими сладкозвучиями…

До сознания Шеврикуки дошло, что после визита в Китайгород, в Обиталище Чинов, и поездки трамваями в надеждах на целительное воздействие жидкостей к окраине Сокольнического парка он в Москве более не был, а тупел в Останкине. Да и профилакторий Малохола существовал от реалий московской жизни на отшибе.

Экое обделенное движением бытия существование вел Шеврикука! Как он отстал в своих местнических ковыряниях от пленительно громкокипящей толкотни родимого города.

Оттого его ошеломила и чуть ли не ввергла в сон Покровка. Он уже в Китай-городе на Никольской улице ощутил свою окраинную ограниченность. Но там он был в заводе винительного визита к Увещевателю, и воздействия городской среды его не портили. Теперь же от скоросозидательных переустройств Покровки, долгие годы служившей лишь проезжей магистралью, и он принялся зевать. Соней, как известно, Шеврикука не был, и внезапные зевоты всегда свидетельствовали о влияниях на его организм непредвиденных явлений природы.

«Меня это не касается, – постановил Шеврикука. – То есть сейчас не касается… Меня должен занимать дом Тутомлиных и все, с ним связанное. Более ничто. Дом Тутомлиных. Дом Гликерии. Дом Концебалова-Брожило. Дом Пелагеича. Дом негодяя Бушмелева. Дом, где мне обещаны паркетные работы. Москву я рассмотрю в созерцательные часы. Устрою прогулку с развлечениями и рассмотрю…»

Именно дома Тутомлиных на вид никакие переустройства не

коснулись. Не углядел Шеврикука на стенах здания и его флигелей эмблем концерна «Анаконда». И не наткнулся на вывески Агентства ли, Ателье ли, Студии ли ведьм, колдунов и привидений, в коем (в коей) ожидалась взаимоодобрительная практика с процветаниями Совокупеевой Александрин, Леночки Клементьевой, Гликерии, Дуняши-Невзоры и разных прочих (может, и Стиши с Веккой-Увекой? И кого предполагалось нанимать в колдуны и ведьмы?). Старосветски провинциальными оставались окна и двери памятника истории и культуры. Перед входами в дом не появились мраморные вымостки с зелеными мохнатыми коврами. В рамах окон деревяшки захолустья не заменили никелированными или серебряными пластинами, и двери дома в сравнениях с блеском улучшенных богатствами покровских офисно-купецких зданий, и озолоченных, и озеркаленных, и обрешеченных» выглядели совершенным убожеством. Какие уж тут концерны «Анаконда», какие уж туг Тутомлины? Не селились ли тут прежде московские родичи помещицы Коробочки?

К удивлению Шеврикуки, в доме еще проживали коммунальные граждане. Кто-то из дома, может, и съехал, но многие еще оставались. И реставраторы, похоже, в дом более не заглядывали. В нижних палатах Тутомлиных под Коробовыми и сомкнутыми сводами из белого камня располагались все те же мусор, грязь и свидетельства трапез и досугов забредавших в палаты москвичей и гостей столицы. На втором этаже в парадных залах, где Дударев устраивал смотрины здания, было пусто, сыро и печально. «Да и начнутся ли здесь когда-либо паркетные работы?» – затосковал Шеврикука.

И уж совсем было странно, что в доме нигде не меняли валюту.

Создавалось впечатление, будто в высотах, и скорее всего в высотах именно вторых этажей, не все плодородные деньги были вложены в дружественно-приемные руки. А потому овсы и не взошли.

Лишь на усадебных пространствах Тутомлиных между северным и западным флигелями дворовых служб Шеврикуке открылись следы произведенных работ. Была вырыта яма. И вместительная. Шеврикуке, естественно, вспомнились обнародованные Крейсером Грозным проекты одаривания амазонского змея, живого и плещущегося символа концерна «Анаконда», бассейном во дворе дома Тутомлиных. Со стеклянной крышей, с проточной, но подогретой водой, с илом, куда при желании и по привычке предков (или по капризу природы) змей мог окунать морду. С лотосами, с круглолистной викторией, с порхающими в пальмах птицами колибри. (Где-то полагалось, если верить Сергею Андреевичу Подмолотову, устроить и вольер для проживания личной зебры лошадника

Алексея Юрьевича Савкина, назначенного при смотрителе змея ветеринаром и зоотехником.)

Коли б яма обещала стать вместилищем именно змея, не было бы досадно. Но совсем недавно четверо в темно-зеленых халатах и резиновых масках рыли яму в Марьиной Роще. А уж где-где, а в усадьбе Тутомлиных кладоискателям было не меньше оснований устраивать глубинные поиски.

Иметь дело с Пелагеичем и пытаться узнать от него покровские новости было бы неблагоразумием. Ко всему прочему, предполагалось, что здешний домовой, уже во времена императора Павла гревшийся якобы в дряхлости в чулке кухарки Пелагеи, нынче полеживает где-нибудь засохшей и глухонемой закорючкой. Иные считали, что Пелагеич, известный некогда своей вредностью, мог прикинуться неживой закорючкой на время российских перемен и невзгод. Догадался о сроках и замер. Так или иначе, в день смотрин дома Тутомлпных в своих исследовательских прогулках по зданию Шеврикука не ощутил ни засад Пелагеича, ни его интересов, ни даже запахов его дыхания. При его-то, Шеврикуки, чуткости. И Пэрст-Капсула, добытчик перламутрового бинокля, с Пелагеичем, похоже, не сталкивался. Но коли б даже у Пелагеича защекотало в ноздре и он очнулся, какой резон был ему доброжелательно и без подозрений отнестись к любопытствующему чужанину?

Никакого.

Конечно, служили в зданиях на Покровке, в Армянском, Старосадском, Сверчковом и ближних к ним переулках знакомые Шеврикуке домовые. Иные из них проворные, иные из них прохвосты. Стало быть, обо всем, что происходило в округе, слышали. И разумное, и глупости. Шеврикука после ожога в профилактории Малохола расположен был дуть на воду. Унижения и ехидства могли вывести его из себя. Но Малохол был Шеврикуке приятель, а здешние домовые приходились ему знакомцами отдаленно-случайными, будто выпивали с ним когда-то кружки две пива, и не более, иные и не ведали толком, кто он и откуда, а потому к грубостям или непониманию Шеврикука положил относиться с терпением. Если, конечно, не был разослан по префектурам и кварталам, и на Литовскую границу его словесный портрет с постановлением: «Проходимец и самозванец» и предписанием быть начеку.

Все эти опасения Шеврикуки оказались напрасными и смешными. И никто из покровских или Старосадских не разглядывал его щеки и лоб с надеждой (или опаской) отыскать на них бородавки, после чего, естественно, надлежало изловить и повесить, никто не ехидничал, а все

выговаривали то, что знали. Шеврикука выказывал себя удивленным простаком, не способным из своей останкинской глуши оценить по справедливости покровские преображения, и расспрашивал о всякой ерундовине.

Сознавая себя серединными в московской державности, покровские снисходили и к подробностям останкинского бытия. Конечно, их занимал Пузырь. И по их понятиям и интересам Пузырь был не останкинский, а всеобщий. Шеврикука же проявлял себя чуть ли не пузыреведом. Из болтовни знакомцев Шеврикука почти ничего удивительного о доме на Покровке не узнал. Из-за смотринного шума и триумфа привидений многие относились к дому с досадой зависти. Да, говорили, мятежных бедолаг выселят, да, будет там концерн «Анаконда» с фигурными паркетными полами. Вышел, правда, пока затор. Но его уладят. Затор же случился оттого, что в карманах у кого-то уже зазеленело, а после премьеры с привидениями зеленые могли и расцвести, но наши отечественные хваты опомнились и стали осаживать возвышенно-взволнованных иностранцев. И, слышно, почти совсем осадили. Да, будет в доме и Агентство, или Ателье, или Студия, дамочки там собирались уже не раз, почти все дамочки – видные, разодетые и деловые. Есть и скромницы. Последовало описание Леночки Клементьевой. Последовало описание и еще одной особы, громкой, настырной и заносчивой («она, кстати, ваша, останкинская»), эта являлась с хахалем, и желали они служить в Агентстве соответственно ведьмой и колдуном. Пожалуй, одно лишь это известие и удивило Шеврикуку. Из описания выходило, что в ведьмы нанималась хорошо известная Шеврикуке супруга Радлугина. Кто был при ней хахаль и колдун, Шеврикука выяснить не смог. Относительно ямы в усадебном дворе мнения расходились. Большинство ожидало поселения змея. Злонамеренных кладоискателей здесь бы почуяли. К тому же все, что было в доме Тутомлиных привлекательного, пожалуй, уже давно промотали, конфисковали, разграбили, раздарили. А бочонок Полуботка с золотом, как доказано, Мазепа сюда не привозил. Бочонок Полуботка в британских сейфах. Пелагеича, более легендарного, нежели реального, давно никто не видел, его как бы и нет, и все несуразности, происходящие со зданием, скорее всего, и связаны с тем, что в нем отсутствует люботщательный домовой.

«Где они теперь, люботщательные-то домовые? Да и в них ли дело?» – вздохнул Шеврикука. Но возражать собеседникам не стал.

Возбуждение Шеврикуки вызвали лишь слова домового из Сверчкова переулка Псютьева. Псютьев считался бузотером и любителем нашатырных

возлияний, волосяным же покровом, нарядами и запахами он походил на бомжа.

– Проще порванной наволочки! – разъяснил он Шеврикуке. – Никак не могут подыскать, кого будут замуровывать. Вот вам и все оладьи!

– То есть? – не понял Шеврикука.

– Ну что ты прямо! – поморщился Псютьев, огорченный несообразительностью Шеврикуки. – У Тутомлиных всегда эдак. Строили ли, перестраивали ли, ремонт ли капитальный затевали, непременно замуровывали. С кровью ли, без крови ли, с временным ли изведением сознания, с дурманными ли уговорами, но обязательно живого. Или живую. Атлета какого. Или красавицу. Красавицу-то – надежнее. И теперь вот ничего у них не выйдет или все пойдет наперекосяк, пока не замуруют. И вроде бы слухи идут: есть кто на примете, да никак к ней не подберутся.

– К ней? – быстро спросил Шеврикука.

– Ну, не знаю. Врать не буду. Может, к ней. А может, к нему, – подумав, сказал Псютьев. – Но баба-то полезней, сам знаешь. В бабе-то больше клею. Для держания камней. Мужик – он все равно что морковь или огурец. А баба – она будто яичный желток. И белок тоже…

– И когда пошли слухи? – спросил Шеврикука.

– А когда пробудился и дом начал трясти изверг здешний… Бушмелев… – Сейчас же Псютьев прикрыл рот рукой и стал оборачиваться по сторонам.

– Когда он пробудился и начал трясти? – в волнении придвинулся Шеврикука к Псютьеву.

– Отыдь от меня! – Тот чуть ли не взревел. – Ни про кого я не говорил, никого я не называл! Мало ли что треплют!

– Тебя в детстве, что ли, пугали Бушмелевым? – сказал Шеврикука. – Успокойся! Именно треплют, а ты не верь. А что Пелагеич?

– А что Пелагеич? Что Пелагеич? – растерялся Псютьев. – Пелагеич – жулик. Когда-то извергу он не перечил. И теперь, треплют, он…

– Что теперь? – не мог утерпеть Шеврикука.

– Руки свои от меня отдали! Освободи меня от разговора! – запричитал Псютьев. – Я никого не называл.

– Не называл. И не упоминал ни о чем, про что треплют. А я ничего не слышал, – согласился Шеврикука. – Но про необходимость замуровать кого-то ради процветания дома на Покровке сказал ты.

– Это я говорил, – признал Псютьев. – Это – да. Это и целые народы замуровывают ради процветания. А то как же? Это надо, замуровывать с муками и иссушением любви, с паучьим выпиванием ее. Страдание и муки

всему дают серьезность и основание. Не страдавшие и не любившие или любившие легко – и сами пусты и некрепки. И ветерок разметет их хижины. А тут замуровать, причиняя страдания отторжением всего, требуется кого-то, познавшего любовь и основательного.

Псютьев замолчал. А потом, вздохнув, произнес:

– Не меня…

– И не меня, – кивнул Шеврикука.

– Ой ли? – встрепенулся Псютьев, и лукавина промелькнула в его взгляде. – Отчего же и не тебя-то? Тебя-то именно и в самый раз!

– С чего бы вдруг меня? – Шеврикука попытался усмехнуться иронически.

– Ас того! – резко сказал Псютьев. – Думаешь, я лохмат, небрит, невычищен и дурак?! Думаешь, я не догадался, кто ты таков и с чем явился?

И разговор их был окончен.

Шеврикука и прежде беседы с Псютьевым, ощущая малость открывшегося ему на Покровке, полагал побродить в доме Тутомлиных, особенно в нижних его помещениях. Недолго. Однако колебался, стоит ли. Но переданные Псютьевым перетолки о Бушмелеве и Пелагеиче подтолкнули его отправиться в путешествие под каменные своды. Памятуя опыты своих прежних проникновении следопытом, он преобразился в муху-дрозофилу.

В день смотрин в нечаянных (не захотелось слушать речь полпрефекта Кубаринова) исследовательских прогулках Шеврикуке удалось рассмотреть не все. На иное не хватило ни времени, ни отваги. Да и прогулки те были как бы экскурсионно-бесцельные. Увиделись Шеврикуке или были им ощущаемы заколоченные двери и заложенные камнем переходы. Всякий приличный барский дом в Москве имел легенды о подземельях и секретных ходах, устроенных с загадками, устрашениями, погибельными для злодеев препонами и выводящих чуть ли не к Кремлю и к Москве-реке (от Тутомлиных до Кремля было всего-то версты две). Да мало ли на какие внутристенные и подземельные хитрости были способны затейники из рода Тутомлиных!

Поначалу прогулка Шеврикуки выходила беспрепятствен ной и чуть ли не развлекательной. В нижних палатах Тутомлиных он с удовольствием вспомнил подробности поединка воинственных тогда привидений Совокупеевой Александрин и Дуняши-Невзоры. Потом на память ему пришли эпизоды всеобщей катавасии и мордобоя. Как увлеченно-победительно дубасил японского гостя древком Андреевского стяга Сергей

Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный! Увидел Шеврикука у восточной стены нижних палат фанерную выгородку, со дня смотрин не разломанную и не выброшенную. Именно за ней, понял теперь Шеврикука, и устраивали для лжепривидений гримуборную, и именно там он и наткнулся на зареванную Леночку Клементьеву. Ему стало тревожно. В тот вечер он наткнулся на Клементьеву в минуты возобновления в нем сознания. На него наводили дурман с не разгаданными до сих пор Шеврикукой намерениями. Не начнутся ли в нем и теперь провалы сознания? Беспричинными эти беспамятства было назвать нельзя. Шеврикука предвидел возможность охоты за ним. Но его вдруг стала угнетать тоска, к объяснимым беспокойствам не имевшая отношения. И получердачный хворый подселенец возник в воображении. «…Бирюзового камня на рукояти чаши там нет… Следует обождать и пересидеть…» – вспомнилось остережение Пэрста-Капсулы.

«Ну уж нет! Мало что он мог набредить!» Упрямство взыграло в Шеврикуке. Щелями, продувными трубами, а где и сквозясь в межстеньях, Шеврикука несся в подземное укрытие графа Федора Тутомлина, прежде им лишь обнаруженное, полагая отыскать кабинет одиночеств графа, когда-то с библиотекой и коллекцией восточных диковин. В полете пришли ему на ум слова все того же Пэрста-Капсулы: «Лабиринт шутейный. Для глупых и не умеющих считать. Паутина, сплетенная лишь с тремя подвохами». Шеврикука тогда со словами Пэрста (тот доставил из дома на Покровке перламутровый бинокль) соизволил согласиться, будто бы со знанием дела. Сам же он далее приемных устройств лабиринта не проникал. И теперь он осознал, что его нынешняя уверенность – «во все пробьюсь или пролезу!» – суть простая наглость, не обеспеченная возможностями. Лабиринт его в себя не пускал. Лабиринт! Глупое соображение! Некто его не пускал в лабиринт! Некто начал обволакивать его сопротивлением!

Да и к чему ему были теперь места укрытий утомленного московского повесы? Укрытий от кредиторов, судебных исполнителей и крикливых гуляк, места его молчаливого любования восточными диковинами? Шеврикуке бы после слов взлохмаченного Псютьева устремиться в покои миллионщика Бушмелева, душегуба и деспота, сыскать и помещение, где изверг якобы до смерти был заеден насекомыми, почуять, откуда смог бы восстать и вновь осуществиться в людских раздорах его разбойный дух. Что же он туда-то не бросился? Или оробел? Пожалуй, что и оробел…

Рассудив так, он ринулся на поиски свидетельств Бушмелева. Но сопротивление, испытанное им в подземельях Федора Тутомлина,

мгновенно возобновилось, и было оно круче, зловреднее прежнего. В лабиринт его просто не пускали. Теперь же его стали тормошить, сжимать, колошматить в бока, волочь к стенам и ударять о них, и боли он ощущал не как муха-дрозофила, а как несомненный большой Шеврикука. И гнусный хохот теперь сопровождал его. И будто ледяные ветры принялись вертеть Шеврикуку. И началось то, чего Шеврикука опасался. Ощущение Ужаса забирало его, недра Чудовища втягивали, всасывали его, он возвратил себе человечье обличье, но положение свое не облегчил, вовсе не росянка пожирала его, убивая в нем и сознание, вовсе не росянка…

И тут Шеврикуку сквозь камни вышвырнуло на проезжую часть улицы Покровки. Японский джип балашихинских гаражей ударил потерявшего совесть пешехода всей своей сверкающей престижностью, отчего Шеврикука пустился в полет к дальнему от дома Тутомлиных тротуару, а ущербы бампера и передней престижности джипа сейчас же были прочувствованы компьютером, обнародовавшим долларовую стоимость ремонта. Случилось дорожное происшествие. Визжали тормоза, стонали металлы, орали зеваки, выли сирены, мигали надкрышные огни, водитель джипа, сокрушив расстроивший его компьютер чешским автоматом и выйдя из машины, грозил, сплевывая сквозь зубы: «Шпинделю это так не пройдет! Шпинделю…»

Шеврикука не думал о дорожном происшествии.

Он стоял на тротуаре и думал о том, как с ним обошлись в доме Тутомлиных.

«Не расстраивайся и успокойся! – уговаривал себя Шеврикука. – Ничего неожиданного. Силы я не включал. Я был простым посетителем. И все. Силы я не использовал…»

Но успокоиться он не мог.

Следовало отвлечься от пережитого естественным житейским образом. Поинтересоваться у прохожего, как сыскать Лялин переулок и не возобновились ли в нем угощения пивом. Или прогуляться к шумящему затору и узнать, чем грозят какому-то Шпинделю и что это за Шпиндель такой. Или же попытаться найти в карманах расческу. Или же рассмотреть витрину магазина, возле которого он оказался, и насладиться видом милых безделушек или, скажем, угандийского дамского белья.

И он взглянул на витрину.

Серебряные буквы, хозяйски вставшие на черном стекле витрины, сообщали московскому гражданину:

«Табаки и цветные металлы А. Продольного».

61

«Надо посетить Иллариона», – посоветовал себе Шеврикука.

Следовало тут же рассмеяться. А сочтет ли нужным созерцатель Илларион уважить намерение Шеврикуки?

Но Шеврикука не рассмеялся.

На Покровке задерживаться далее было бессмысленно.

«Если Продольный выправил паспорт, – соображал Шеврикука. – то отчего бы ему не заиметь и лицензию?»

Но именно ли А. Продольный был останкинский Продольный?

Да хоть бы какой!

К Иллариону нужно было постучаться. Иные способы коммуникаций с ним выходили сложными или ненадежными. И неизвестно, в каком круге пребывал ныне Илларион.

«Барышням вашего круга надо приличия знать…»

Но было предостережение – Малохол.

Илларион в житейских местах располагался десятью этажами выше Малохола.

Тем более обидным случился бы его отказ от общения.

«Барышням вашего круга надо приличия знать…»

Какого круга был Илларион? И какого круга был он, Шеврикука?

Впрочем, Илларион умел и позволял себе проживать в разных кругах, и высокобеспорочных, и унизительных. Не только умел, но и любил перебираться (переселяться?) из круга в круг. В каких свойствах и облачениях он выказывал себя теперь?

Все равно в каких, решил Шеврикука. Но он заробел. Комплекс уязвления Малохолом он так и не смог истребить в себе. Но и прыть свою он не желал сейчас усмирять. Хотя и не представлял толком, что дадут ему встреча с Илларионом, если она произойдет, и разговор с ним.

Что дадут, то и дадут!

И принялся стучать в двери и стены разные. В иные для самого Шеврикуки и загадочные. А в одну из дверей колошматил и ногой. Надеясь при этом, что личности, им, Шеврикукой, интересующиеся, стуков его не услышат. А коли и услышат, окажутся неспособными догадаться, каков их источник. При условии, если Илларион примет сигналы Шеврикуки и укроет их в себе.

Похоже, принял. И не ответил отвержением. А пригласил. Движением

руки Илларион предложил переступить порог. Оно представилось Шеврикуке учтивым. Но учтивость свидетельствовала только о том, что нынче Илларион проявляет себя натурой воспитанной. Впрочем, движение руки Шеврикука не мог наблюдать, до него лишь донеслось дуновение жеста Иллариона.

Однако не важно было для Шеврикуки, учтив сегодня Илларион или нет. Важно, что Илларион обнаружился и согласился на беседу с ним.

– Входи, – услышал Шеврикука.

И увидел Иллариона, его руку, именно предлагающую переступить порог. Но никакого порога не было, а Шеврикука уже стоял в пределах Иллариона.

«Как к нему обращаться? – соображал Шеврикука. – На „ты“ или на „вы“? И как его именовать?»

– На «ты», на «ты»! – будто с укоризной произнес Илларион. – И я для тебя Илларион.

«Сегодня – Илларион…» – подумал Шеврикука.

– Хорошо, сегодня, – согласился Илларион. – Что думать о вчерашнем и завтрашнем?

А получалось, что «сегодня» Иллариона происходило во дни императора Павла Петровича и, судя по грубоотесанным пудостским камням сводов галереи, куда шагнул Шеврикука, – в Гатчинском замке. В левую руку Иллариона опустился факел, и Шеврикуке было предложено винтом лестницы направиться в черный подземный ход. ведущий к Гроту «Эхо» и берегам Серебряного озера. «Как же, как же, – вспомнилось Шеврикуке, – именно этой дорогой уходил от казаков и комиссаров Александр Федорович Керенский…» Много чего случалось в этих камнях, а вот в голову Шеврикуке пришел Главковерх временный… Но и сам Павел Петрович вышел временный… При чем тут это?.. Ни при чем, ни при чем, убедил себя Шеврикука. Илларион, рослый, худой, факел пронося торжественно, с какой-либо целью или по настроению (темнота не помешала бы ни ему, ни Шеврикуке), в черном плаще до отворотов ботфортов, в прусском напудренном парике с косицей, вел Шеврикуку к гроту. Шаги их распространялись в прошлом и в будущем. Тени становились великаньими.

«И вовсе мне не нужен разговор с Илларионом», – понял Шеврикука.

– Присядем здесь, – остановился Илларион.

Факел был водружен в металлическое кольцо, выскочившее из стены, а на полу образовались два походных седалища – то ли барабаны, то ли бочонки с порохом – и между ними раздвижной столик. Присели. По

привычке в новом для себя или полузабытом им месте Шеврикука огляделся. Все было как было. Лишь рядом с факелом Шеврикука увидел выведенные мелом слова: «Свет. Тьма».

– Для посетителей музея, – сказал Илларион – – В этом месте они испытывают легкие тревоги. Экскурсовод ведет вниз, к воде. И вдруг гаснут лампы. Охи, страхи, дамы прижимаются к кавалерам. Свет вспыхивает. Все довольны.

– Легкие покалывания историей…

– Ты по делу? – спросил Илларион. Но будто бы и не спросил, а предложил сейчас же и выговорить суть дела.

– Так думал, – сказал Шеврикука. – Но вижу, нет ни дела, ни необходимости. Так… По капризу… По слабости натуры…

– Ладно, пусть по капризу, – кивнул Илларион. – Но все же ты отчего-то вспомнил именно обо мне… Может, посчитал, что я осведомленный?

– Может быть…

– Я осведомленный… Но не до такой степени осведомленный, чтобы удовлетворить все твои интересы. А кое о чем полагаю необходимым и умолчать. Для твоей же пользы и самостоятельности.

– Но я уже ни о чем не намерен спрашивать! – хмуро сказал Шеврикука. – Вот ведь глупость какая! Извини, Илларион. И вломление мое к тебе вышло зряшное!

– Может, и не зряшное. Можно и просто посидеть. Время у тебя еще есть. Хотя его и немного. Но посидим. Мы так редко видим и слышим друг друга, будто нас нет вовсе.

– Выходит, так, – сказал Шеврикука.

– Что подать? – спросил Илларион. – Мальвазию с острова Мадейра? Спотыкач? Боярскую полусладкую? Горилку с окаянным перцем? Шотландский напиток, но не на два пальца? Или пиво из солодовен Пафнутия Боровского? Что приличествует нынешнему случаю? И не воспрепятствует пусть и минутному единению натур?

– Весь твой перечень хорош, – сказал Шеврикука. – Все в нем может исключительно приличествовать и ничто не воспрепятствует. Перечень можно и продолжить.

– Потом и продолжишь, – кивнул Илларион. – А пока предлагаю по стопке «Тамбовской губернской».

На столике воздвиглась бутылка «Тамбовской губернской». Стопки вблизи нее встали серебряные. Собравшись снять с сосуда крышку, Илларион чуть было не оконфузился. Ногти его, облагороженные пилкой, а возможно, и усердиями художника от маникюра, не могли одолеть

упрямство ломкого металла. «Дай-ка я ее зубами!» – хотел предложить Шеврикука. Но Илларион, осердившись, саданул ладонью по дну бутылки.

– За нас с тобой! – поднял Илларион стопку.

В закуску он отчего-то определил сыр камамбер.

– А что? Пошла «Губернская-то тамбовская»! – заявил Илларион. – Бывали мы в Тамбове в присутственных местах и на балах у губернатора.

Шеврикука чуть было не позволил себе съехидничать по поводу губернаторских жен и дочек, но сдержался. Илларион бывал и воином, и царедворцем, но в чиновники он совершенно не годился. Представить его в присутственных местах, да еще и за казенным столом, Шеврикука не мог. Даже и в ревизоры с имперскими полномочиями Илларион вряд ли бы разрешил себя назначить. А водка пошла – и ладно. И хорошо, что на боках бутылки не было лысой или лохматой рожи предприимчивого господина, наверняка претендующего и на место с кнопками. Другое дело, отчего-то на водочной картинке Тамбовскую губернию представляли три васнецовских богатыря. Но не Шеврикуке было теперь заниматься разгадыванием этой странности. Или причуды.

– Партию в фараон ты не желаешь со мной провести? – спросил Илларион.

– Нет, – сказал Шеврикука. Его удивило предложение Иллариона.

– А может, в бильярд сыграем? Хотя бы в американку?

– Нет! Нет! – произнес Шеврикука чуть ли не в испуге. Но чего стоило пугаться?

– Оно и верно, – сказал Илларион. – А потому подымем стопки!

Подняли и опорожнили их. Теперь закуской на картонных кружочках явились вяленые белозерские снетки. «Их бы к пиву», – предощутил Шеврикука. И сразу же, создав на столе тесноту, волнуясь пеной, прибыли к исполнению желаний пивные кружки.

– Из монастырских солодовен, – сообщил Илларион.

По житейским наблюдениям Шеврикуки, монастырские ячменные напитки неискоренимо отдавали бражкой, а предоставленное Илларионом пиво было бесстрастно-чистое, будто созревало в усовершенствованных емкостях завода «Балтика».

– В меру охлажденное, – одобрительно заметил Илларион. – А помнишь, как мы с тобой однажды столкнулись в пивной на углу Больничного и Первой Мещанской, деревянной, зеленой такой, и заказали по сто пятьдесят с прицепом? Помнишь?

– Помню, – неуверенно пробормотал Шеврикука.

– Ну как же! Как же! Возле нас еще суетился Мелетяев! Все пытался

угостить нас бутербродами с красной икрой!

– Помню, помню! – оживился Шеврикука. Сначала он вспомнил Мелетяева и свои недоумения: как этот низкородный растрепай позволяет себе лезть со своими бутербродами и хуже того – с пошлыми шутками к Иллариону, будто они ровня (а сам-то он, Шеврикука, высокородный, что ли?). Потом воспроизвелся в его памяти Илларион, мрачноватый, бравый, сухой, со всегдашней осанкой конногвардейца, тогда – в форме капитана бронетанковых войск, с орденскими планками на груди и нашивками ранений. О чем они говорили с Илларионом? Этого Шеврикука вспомнить не мог. Но они стояли в пивной и после того, как Мелетяев, ощутив брезгливость и серый холод в глазах Иллариона, маленькими шажками твари дрожащей, спиной, спиной к двери, отбыл на улицу.

– Стало быть, – вывел Илларион, – надо опрокинуть по стопке, чтобы и теперь образовались сто пятьдесят с прицепом.

И опрокинули.

– Тебя интересует Бушмелев? – спросил Илларион.

– И Бушмелев тоже, – кивнул Шеврикука.

– Ты боишься Бушмелева?

– Мы далеки друг от друга. И – сами по себе, – сказал Шеврикука. – У меня нет нужды сталкиваться с ним или входить с ним в какие-либо взаимоотношения. Если он, конечно, существует. Или если он ожил.

– Ты боишься за кого-то другого?

– Может быть… Может быть, и так… – сказал Шеврикука. – Но если я признаю, что боюсь за кого-то, выйдет упрощение…

– Лукавишь, Шеврикука, лукавишь! – рассмеялся Илларион. Но сейчас же стал серьезным. – Бушмелев существует. И он ожил.

– Ну и опять окажется на цепи…

– Ой ли? – Илларион покачал головой. – Кстати, однажды я побывал в Лакхнау. Досужим путешественником, порой качавшимся на спине слона… Прелестное место. Не отказывался от многих услад, яств и приключений, иных и со сверканием клинков. Но кое-что в Лакхнау мне надо было рассмотреть внимательно. Я и рассмотрел…

– При чем тут Лакхнау? – удивился Шеврикука.

– Ни при чем, – сказал Илларион. – Но ведь ты же на днях держал в руках книгу о Лакхнау, «Затворницы и куртизанки», так она называется, если я не ошибаюсь?

– Значит, Гликерия все же затворница? – спросил Шеврикука.

– Да, – кивнул Илларион. – Но с послаблениями. Домашнее вынуждение. И дозволено испрашивать житейские свободы и удобства. В

разумных установлениях. Могу назвать причины затвора, коли пожелаешь…

– Не пожелаю.

– Я так и предполагал, – снова кивнул Илларион, – что ты сам отправишься на лыжную базу…

– Не отправлюсь, – хмуро сказал Шеврикука.

– Ну-ну…

Замолчали. Гатчинский подземный ход замечателен для возбуждений в нем эха. Сейчас же Шеврикука ощущал, что звуки его с Илларионом разговора нигде, ни справа, ни слева, не искажались, нигде не бились о стены, не дробились, воссозданные камнями вновь, не тревожили и не возбуждали нижнее замковое пространство. Эхо было временно отменено. Или отключено. Не возникала и тяга воздуха к северу, к Гроту и водам озер, а потому и пламя факела стояло ровное, лишь иногда слегка вздрагивало и перекашивалось, и то будто бы от собственных на то причин. В глазах Иллариона Шеврикука увидел грусть. Тонкое, чуть смуглое, не испорченное шрамом на лбу и щеке (падение с лошади), лицо Иллариона сейчас было скорбное. «А выбрито оно идеально», – пришло в голову Шеврикуке.

– Брадобрей нынче при тебе? – спросил Шеврикука.

– При мне, – сказал Илларион. – Понадобился, выписан и прибыл.

Было известно: в случаях меланхолий Иллариона его развлекал Брадобрей.

– Да, – сказал Илларион. – Возникли поводы для меланхолий. Но они за пределами нашей с тобой встречи… – Он махнул рукой. – До меня, между прочим, дошли разговоры о ваших останкинских натурализациях. Домовые и привидения готовы перевестись в людей, иные же люди, напротив, – выйти из социума… И у всех свои выгоды и поводы… И иллюзии… Забавно…

– Но это же попрание вековых установлений!

– Вековых, но не вечных, – сказал Илларион. – И не попрание, а вызванный обстоятельствами жизни пересмотр. Кстати, и ты ведь выправил себе паспорт.

– Из-за Пузыря! По горячности! – разволновался Шеврикука.

– Ну ладно. Что там будет впереди, мы не знаем, – сказал Илларион.

«Ты-то знаешь!» – чуть было не вырвалось у Шеврикуки.

– А если бы и знали, – сказал Илларион, – есть в мире столько сил, что действия их, нас, возможно, и совершенно не имеющие в виду, могут сделать наше знание бессмысленным или обреченным на несовпадение с

тем, что возьмет вдруг и произойдет завтра. Что вот ты, например, знаешь о Гликерии?

– Многое, – сказал Шеврикука.

– Мно-огое! – протянул Илларион, как бы передразнивая Шеврикуку. – А вот ты знаешь, что Гликерия, может быть, вовсе и не привидение?

– Служит она привидением. – Шеврикука стал мрачен.

– Мало ли кто кем служит! Гликерия прежде всего женщина! – Слова эти, показалось Шеврикуке, выразили волнение.

– Ну женщина и женщина, – проворчал Шеврикука.

– Ничего более ты о ней не хочешь услышать? И даже всякие мелочи тебя не интересуют, бинокль, добытый тобой и твоим оруженосцем, например? Что он и зачем?

– Почему оруженосцем? – удивился Шеврикука.

– Не оруженосцем. Так называемым полуфабрикатом, прикомандированным Отродьями Башни в Капсулу. Я оговорился.

– И о бинокле не спрошу. А твои суждения о Гликерии не могут быть объективными!

– Да ты что! Вот тебе раз! – чуть ли не с восторгом произнес Илларион.

– Да, не могут! – стоял на своем Шеврикука.

– Ну хорошо, хорошо, успокойся! – быстро заговорил Илларион. – И вернемся к застолью. К водке вот – малосольные огурцы. К пиву пойдут сушеные кальмары. Можно бы пригласить в закуски раки или на худой конец карибские креветки, но мы насорим, а он рассердится.

И Илларион повел глазами вверх, давая понять, где он, способный рассердиться, теперь обретается.

– Не горячусь я… И бинокль, и она, и они – пошли все… – бормотал Шеврикука.

– Но Бушмелев тебя интересует, – сказал Илларион. – Это-то я не придумал.

– Мне ничего от тебя не надо. Вот сидим, и хорошо.

– На застолье с тобой у меня осталось мало времени, – сказал Илларион, и в интонациях его явными были холод и скука.

– Я покину тебя, – встал Шеврикука. – И спасибо… тебе… И снова прошу принять извинения…

– Садись! – приказал Илларион.

62

Шеврикука, сам себе удивляясь, намерен был заартачиться, но подчинился Иллариону.

– Досадно и вздорно все получается, – сказал Илларион. – Я согласился с тобой встретиться. По-твоему, соизволил. Да, соизволил. Да, и от скуки. Да, отчасти и из любопытства. Но ты меня разочаровываешь, Шеврикука, – поморщился Илларион. – Я редко о чем-либо жалею. Но теперь…

Илларион начал грассировать, монокль мог бы сейчас же оснастить его правый глаз. «Неужели я уравнялся с Мелетяевым?» – растерялся Шеврикука. Уходить! Уходить! Но немедленный его уход вышел бы бегством. Да и отпустил бы его Илларион, не принялся бы зануду посетителя размазывать по пудостским камням, тем более что Иллариона одолела скука и его развлекал Брадобрей? Можно было пригласить сейчас в подземелье и Брадобрея.

– Ладно, – сказал Илларион. Достал из кармана плаща золотую табакерку. Табакерка была и музыкальной. Отщелкнутая крышка ее позволила клавесину Рамо галантными звуками подвигнуть хозяина к пользованию вест-индским табаком. Илларион изящно снабдил табаком обе ноздри, прочихался звучно, вытер глаза платком и притих, как будто бы умиротворенный.

– Речь буду вести, – сказал Илларион, уже не грассируя, – без всякого сюжета. Вразброс… Отродья Башни и привидения… Обрати внимание на особенности этого случая… Отродьям привидения, несомненно, ближе, нежели домовые, и они полагают, что смогут их приручить. Они и домовых желали бы приручить, но не выходит. А с привидениями, Отродья уверены, выйдет. И Отродьям очевидны возможности воздействий привидений и призраков на людей. В особенности привидений Приватных, то есть глюков, персональных видений и почесываний, бегемотиков белой горячки и прочих епишек. Бушмелев же может и не пойти с ними. Но коли обретет утверждение и телесные формы, он будет нехорош и у себя, на Покровке, и, при его желании, для публики, в российских землях прожигающей.

– И для тебя?

– Вопрос неуместный! Останется без ответа.

– Извини, – сказал Шеврикука. И предположил: – Начнет мстить он, естественно, с насекомых.

– Каких насекомых? – замер Илларион.

– Всяких. В доме на Покровке. Они же там, по легенде, загрызли его, дряхлого, до смерти, – сказал Шеврикука.

– Я помню! Я знаю. Все покровские легенды я знаю. Я всегда был вхож в дом Тутомлиных, – раздраженно заговорил Илларион, будто Шеврикука упоминанием насекомых допустил бестактность, поставив под сомнение степень его, Иллариона, осведомленности. – Да, милостивый государь, я все знаю и про насекомых, и про Пелагеича, и про Гликерию Андреевну. Мстить бы этот делец и заводчик пожелал начать вовсе не с насекомых…

Илларион слова «делец», «заводчик» произнес с презрением аристократа, в смысловые сути слов этих будто бы вмешались холодная медузья слизь и запахи платного отхожего места в Столешниковом переулке.

– Впрочем, не мне, грешному, судить тех, кто блудит и попирает, – сказал Илларион. – Хотя с Бушмелевым я бы… Но оставим… Что же касается Гликерии Андреевны Тутомлиной, то дело тут темное, колодезное. Клятва ли, обязательство ли, слово ли, данное сгоряча или из безысходности, о чем существует молва, все это, если бы оно было связано лишь с негодяем Бушмелевым, могло бы и не угнетать Гликерию Андреевну. Но коли угнетает и сковывает, стало быть, не в одном Бушмелеве тут закавыка. У Бушмелева на Гликерию виды, и, несомненно, досады его Гликерия вызывала не раз, так что для нее он опасен.

– Опасен всерьез? – спросил Шеврикука.

– А тебе что? – развеселился Илларион. – Аж задрожал весь. Хоть бы и всерьез. Но ты-то ведь не из тех, кто нюни распускает или за шпагу хватается, услышав о бабьих затруднениях или даже несчастьях. Впрочем, шпаги у тебя нет. А против Бушмелева или против закавыки шпага тебе необходима серебряная.

– У тебя она сыскалась бы? – спросил Шеврикука.

– У меня сыскалась бы… – произнес Илларион, для себя произнес, а не для Шеврикуки. Шеврикука словно бы уже и не сидел за раздвижным столиком в Гатчинском замке. И не было предложено: возьми, если случится надобность.

У меня-то есть, да не про вашу честь.

– А вообще ты не раз давал себе обещания держаться подальше от лукавых баб, – сказал Илларион.

– Это ты к чему? – спросил Шеврикука.

– А так, ни к чему.

– Это ты про Гликерию?

– Могу ли я что-либо неуважительное к Гликерии Андреевне иметь в себе? – удивился Илларион. – И по поводу тебя я не ехидничаю, потому как уважаю и твои странности. Мне вообще милы всякие странности. Тебе известно: до императора Павла Петровича Гатчинской мызой владел граф Григорий Григорьевич Орлов. Для кого Григорий Григорьевич, для кого Гриша. Прекрасный, между прочим, танцор. Мы с ним в Кенигсберге при губернаторе Николае Андреевиче Корфе не скучали на балах. Ну да ладно. Я от скуки призвал нынче Брадобрея. А Григорий Григорьевич надумал однажды, а именно в декабре шестьдесят шестого года пригласить в Гатчину для безбедного проживания Жан Жака Руссо. И начал он письмо, помню его хорошо, к женевскому философу и моралисту словами: «Милостивый государь, Вы не удивитесь, что я пишу к Вам, зная, что люди склонны к странностям. У Вас есть свои, у меня мои: это в порядке вещей…»

– И что же Жан Жак?

– Не воспользовался приглашением.

– Но хоть ответил?

– Похоже, и не ответил. Я не слышал о его письме. Но, возможно, я и запамятовал. А ведь так сердечно прельщал граф Григорий Григорьевич ожидаемого гостя. Вот, извольте: «…Мне вздумалось сказать Вам, у меня есть поместье, где воздух здоров, вода удивительна, пригорки, окружающие озера, образуют уголки, приятные для прогулок и возбуждающие к мечтательности. Местные жители не понимают ни по-английски, ни по-французски, еще менее по-гречески и латыни. Священник не знает ни дискутировать, ни проповедовать, а паства, сделав крестное знамение, добродушно думает, что сделано все». Ну не чудный ли уголок предлагался для уединения автору «Элоизы»? Обещаны ему были и охота, и рыбная ловля. Но не приехал. А я вот здесь проживаю. Иногда. Сейчас и с Брадобреем.

Под плащом, будто в недрах Иллариона, перезвонами напомнили о себе часы. Возможно, часы были музыкальными родственниками золотой табакерки. И видимо, они напомнили не только о себе. Илларион встал.

– Я сейчас, – Илларион озаботился. – Минут на пять отойду и вернусь.

Илларион унес факел, и Шеврикука притих в темноте. По расчетам Шеврикуки, Илларион уже поднимался по винтовой лестнице (куда – неважно), и тут камни метрах в трех перед ним раздвинулись, и из щели вылезло косматое существо, замерло в световом пятне. Существо было овальной формы, исполинское яйцо или кокосовый орех, все в шерсти. И

оно, несомненно, имело голову. То ли медведь. То ли человек из снегов, прирученный йетти. «Эй, подь суды!» – подозвало Шеврикуку существо и подгребающее к себе движение произвело. То ли рукой, то ли лапой, то ли плавником. Шеврикука подошел сюды. Существо обхватило его лапами, глаза же существа обшаривали все подробности гостя. «А-а! Шеврикука!..» – наконец-то произнесло существо, явно успокаиваясь. «Ну ты и небритый! – выказал свое удивление Шеврикука. И спросил: – А ты кто?» «Я-то? Я-то?! – закашлялось в смехе существо, возможно пораженное простотой Шеврикуки. – Ну ты даешь! Я же – Ухо!» Лапы Уха ощутимо – пальцами и когтями – тотчас же обыскали Шеврикуку и не обнаружили при нем ни пистолетов, ни ножей, ни боеприпасов. «Посиди, посиди еще тут! – указало Ухо. – А я пойду прилягу». Именно ухо напоминал силуэт гатчинского старожила, а не яйцо или кокосовый орех. Хотя яйцо и вытянутый орех – тоже. «А морда-то его на кого-то похожая…» – думал Шеврикука и не мог вспомнить на кого.

Возвратившегося и будто бы удрученного чем-то Иллариона Шеврикука спросил, что это за существо такое небритое являлось к нему.

– Небритое? – задумался Илларион. – Ощупывало тебя? Оно и неудивительно. Это Ухо. Ухо для Надзора…

– Большо-о-ое Ухо… – протянул Шеврикука.

– Значит, предстоит обход, – прошептал Илларион.

– Какой об… – начал было Шеврикука, но сейчас же к губам его был приставлен палец. То ли сам Шеврикука оказался догадлив, то ли кто-то произвел усилие и протянул его руку ко рту.

Со столика исчезли сосуды, картонные тарелки, крошки и капли. Со стороны дворца послышались шаги. Они были короткие и с металлическими позвякиваниями. Шеврикука вскочил, встал рядом с Илларионом. Движением руки Илларион отодвинул его к стене. И опять палец нажал на губы Шеврикуки. «Молчу, молчу!» – промычал Шеврикука. Знал, кто приближается, стоял так, будто у его ног дробил камень отбойный молоток.

Совершавший обход был мал ростом, свет факела уже дрожал на его треуголке.

– Граф Илларион? – то ли удивившись, то ли обрадовавшись, остановился обходящий.

– Он самый, ваше императорское величество! – выпалил Илларион и склонил голову.

– Отчего без шляпы? – спросил Павел.

«Сейчас заорет: „В Сибирь!“ – предположил Шеврикука.

– Вот уже час, как предчувствую появление вашего императорского величества, – радостно доложил Илларион, – а потому заранее снял головной убор, дабы выразить вам почтение и преданность, что никак не противоречит уставу и предписаниям.

– Ну, коли не противоречит уставу, – улыбнулся император, – то и ладно. А ты все такой же плут и озорник.

– Рад соответствовать вашим чаяниям, ваше императорское величество! – загремел Илларион.

– Ну будет, будет, – утишил его Павел. – Табакерка-то при тебе? Не потерял? Не пропил? Не проиграл? Не заложил?

– Как же можно, ваше величество, Павел Петрович? Конечно, при мне. Вот она. И служит исправно.

– И хорошо. Ух, озорник! Женить бы тебя. Да на ком? Не на ком. А это кто рядом с тобой? Ну-ка посвети.

– Это Шеврикука, – сказал Илларион.

– А-а… – всмотрелся в Шеврикуку император. – И вправду Шеврикука. Ну продолжайте, продолжайте, озорники… А я последую в Приорат…

– Да мы уж закончили, – сказал Илларион. – Если только на посошок.

– На посошок-то оно самое неотвратимое и неизбежное, – поощрил Павел.

– Бесспорно, – согласился Илларион с суждением императора.

И предложил Шеврикуке исполнить пожелание совершавшего обход. Однако Шеврикука посчитал приличным оставаться на ногах, пока Павел Петрович не достигнет конца туннеля и не скроется с глаз. Теперь можно было оценить акустические возможности лещадных плиток пола и строгласие здешнего эха. Но тут император обернулся и бросил на лету:

– Илларион, береги табакерку-то! Она тебе еще сыщет пользу! Нежданно-негаданно. А ты, Шеврикука, шали-шали, но не забывай про санитарные нормы.

И был таков.

– Рады стараться, ваше императорское величество! – выкрикнул Шеврикука, выпятив грудь.

Уже сидя и поднимая стопку, он спросил:

– Это какие такие санитарные нормы?

– А я откуда знаю. Сам думай, – сказал Илларион. – Тебе виднее. И государю виднее. Он, Павел Петрович, дотошный и умом не тупее матушки своей, забавницы, в догадках – меткий, иное дело – мечтатель, рыцарь и неудачник.

– Я слышал, – сказал Шеврикука. – Бедный северный Гамлет.

– Мало чего ты слышал! – осерчал вдруг на Шеврикуку Илларион. – От недальновидных людей. А он нас предупредил. И меня. И тебя.

Илларион снова достал золотую табакерку, музыкой ее обрадовал пустоты туннеля, вмял в ноздри табак, не расчихался теперь, а словно бы растворил в себе сущность рыжих крошек, в задумчивости или в забытьи рассматривал крышку табакерки, рисунок, вытисненный на золоте ее. Пробормотал:

– Нормы, значит, есть, какими тебе нельзя пренебрегать. Не лезть куда не надо. Тем более из-за прекрасных глаз. А ты горазд. Да, горазд… От синего поворота третья клеть… Четвертый бирюзовый камень на рукояти чаши…

– Что? Что? – взволновался Шеврикука. – Что ты бормочешь? Какая такая чаша?

– А такая… – пропел Илларион сам себе, о Шеврикуке он будто бы опять забыл. – Она есть.

– Откуда ты знаешь?

– Откуда! Откуда! Будто Федька Тутомлин не ходил у меня в должниках. Будто он не проводил меня лабиринтом к своим кальянам!

– А чем же открывается та чаша?

– А бинокль? Про бинокль перламутровый ты забыл? Ты что? Ты что ко мне пристал? Что ты из меня выпытываешь? А ну брысь! – Илларион словно выходил из забытья. – Все. Кончили. Еще раз выпьем на посошок – и разошлись. А то вдруг он передумает рыться в Приорате в своих мальтийских реликвиях и возвратится. Будет во гневе. Это я от табака разнежился.

Илларион защелкнул золотую табакерку, упрятал ее под плащом.

Но снова со стороны замка послышались шаги. Эти были быстрые и тяжелые. Кто-то бежал. Бежал так, словно за ним кто-то другой гнался. Или другие. Освещенное место в туннеле бегун увидеть наверняка никак не ожидал и уж тем более не ожидал обнаружить здесь сосуды и закуски на раздвижном столике. То ли удивление, то ли желание проявить себя перед незнакомцами личностью бесстрашной или хотя бы мужественной заставило бегуна утишить скорость и перейти на пеший шаг. Но, похоже, его никто и не преследовал. Злые овчарки не лаяли. И из пищалей в спину не стреляли. Возле Иллариона и Шеврикуки бегун-ходок не остановился, не кивнул им, хотя бы на всякий случай, а последовал дальше, прибавив в движении. Это был моряк, на вид – крепыш, покрупнее императора, в свежих клешах и матроске, в автомобильных очках, название корабля на

ленточке бескозырки Шеврикука не успел прочитать.

– Ни с какого он не корабля, – шепнул Илларион. – Александр Федорович…

– Александр Федорович?

– Он самый. Керенский. Интересно, он-то почему решил опять отправиться в бега? И кто его выпустил?

Илларион с проявленным подозрением покосился на то самое место, откуда протискивалось в подземный ход косматое существо Ухо для Надзора. Камни там лежали плотно, свет из щелей не сочился, запахи чьего-либо дыхания или чьей-либо некошеной бороды оттуда не доходили.

– Вот выйдет история, если наш матрос в парке или на пристани столкнется с императором, – Илларион позволил себе улыбнуться.

– Бывали случаи? – спросил Шеврикука.

– Все! Шеврикука! Все! – спохватился Илларион. – Пьем посошок и уходим! Наливай «Тамбовскую губернскую» хоть в пивную кружку. И пошли. А то и с нами выйдет история.

Теперь предписание императора было исполнено добросовестно и в соответствии с традициями прадеда, Петра Алексеевича.

Стол и сиденья исчезли.

Положив Шеврикуке руку на плечо, Илларион повлек его к нижнему выходу из туннеля, хотя именно там и могла произойти нежелательная встреча с императором. Ступая по наклону лещадных плит, Илларион стремительно говорил Шеврикуке о неспрошенном и необъявленном. Опять о Гликерии, о Бушмелеве, о Продольном, о Пузыре, о Пэрсте-Капсуле, о Любохвате, о Концебалове-Брожило, о Векке-Увеке, о змее Анаконде и его погонщиках, о Лихорадках с Блуждающим Нервом, о сгибнувшем домовом Петре Арсеньевиче. О многом сказанном Илларионом Шеврикука потом забыл, но кое о чем вспомнил. Позже ему стало казаться, что в туннеле Илларион ни слова и не произнес. А просто шел и постукивал ему по плечу пальцами. Этими-то постукиваниями, вполне вероятно, Илларион и вбивал, вминал в него разнообразные сведения и чувства, иные – полезные, иные – пустые, не будучи, возможно, уверенным в том, какие из них понадобятся Шеврикуке, а какие – нет. Некоторые из них поразили Шеврикуку. О них он и забыл в первую очередь. Как забывают поутру о смутном, испугавшем сне, не в силах отделаться от зряшно-дурных видений предпобудочной дремы. Потом и о них забывают…

Вышли в темно-синюю сырость парка. Илларион снял руку с плеча Шеврикуки.

Кабриолет из реквизита «Мосфильма» стоял метрах в ста от Грота «Эхо». Кожаная фуражка шофера казалась застывшей.

– А где же Александр Федорович? – обеспокоился Илларион. – Эдак и красные подоспеют… А-а-а… Вон они, вон! До чего же Александр Федорович беспечный!

– Где они? Где? – зашептал Шеврикука. – Кто они?

– Тише ты! Тише! Вон видишь – дуб. И фонарь.

Уже за автомобилем, ближе к городским воротам и, наверное, по дороге к Приорату – земляному замку-игуменству Мальтийского рыцаря, на берегу озера, под дубом, в свете фонаря, облегчающего променады ночным гатчинцам, увиделись двое. Император держал в руках бескозырку и автомобильные очки, матрос замер перед ним – руки по швам (должны, убеждал себя Шеврикука, должны были балтийские клеши иметь швы).

– Что там у них? – спросил Шеврикука.

– Император отчитывает Александра Федоровича за нарушение формы и этикета. А после перейдет на государственные просчеты.

Матрос принялся размахивать руками, потом затеребил волосы, будто был готов их истребить.

– Оправдывается, – разъяснил Илларион. – Говорит, что народу до того знаком его облик, что он вынужден был накрыть голову бескозыркой, лишь бы укрыть бобрик. Лучше бы надел парик с косицей. Павла Петровича не разжалобишь. Очки он сейчас разнесет вдребезги. Странный этот Александр Федорович, знает, к чему все придет, а каждый раз несется объясняться с императором. Тянет его… Вот что, Шеврикука. Все. Поговорили. И все. Убывай. Убывай в Останкино. К своим санитарным нормам.

– Конечно, конечно, – заспешил Шеврикука.

Шеврикука резкое движение сделал, желая выразить Иллариону признательность и обнять его на прощание. Но Илларион, словно бы удивившись порыву гостя, отступил на шаг и руку вскинул, то ли отстраняя Шеврикуку, то ли отталкивая его. И холод увидел Шеврикука в глазах Иллариона, а возможно, и иронию. Не им, Шеврикукой, был занят сейчас Илларион.

– Убывай, Шеврикука, убывай!

63

Шеврикука бранил себя, стоя в квартире пенсионеров Уткиных. Еще и обниматься полез. Обнаглел.

Нечто лишнее находилось сейчас в его джинсах. При осмотре карманов Шеврикука добыл визитную карточку. Косматое Ухо для Надзора, ощупывая его на предмет изыскания оружия, вполне могло запустить ему в штаны прямоугольник лощеной бумаги. Текст был такой: «Семен Камильевич Брадобреев. Генеральный директор увеселительного аттракциона „Эхо“ (Гатчинский дворец-музей) с выпуском императора Павла Петровича, графа Г. Г. Орлова, легендарного графа Ил. В., А. Ф. Керенского, Ж. Ж. Руссо и других любезных посетителям личностей. Двести четырнадцатый отопительный сезон. Заказы возможны предварительные».

Вот, значит, как.

Хозяин Гатчинской мызы Григорий Григорьевич Орлов пожелал выписать в собеседники Жан Жака Руссо. Илларион – Брадобрея. Он – по причине меланхолии. А его, Шеврикуку, допустили от скуки? Да, было произнесено: отчасти и от скуки. Отчасти – из любопытства. Но настоящий ли Илларион принимал его, не развлекался ли с ним в замковом, некогда тайном ходе самозванец, личность поддельная?

Были поводы у Шеврикуки для сомнений. Были. Для недоумений уж точно были.

Во-первых, почему – Гатчина? С чего бы Иллариону усладу меланхолии вычерпывать в компании с Брадобреем именно в Гатчине, да еще и в наблюдениях за призраком императора Павла Петровича? (Почему призраком? Может, вовсе и не призраком?) Ну ладно, императора можно объяснить золотой табакеркой. Подвиг с табакеркой приписывался Константину Тутомлину. О чем в день смотрин дома на Покровке напомнил публике распорядитель действа Дударев. Но, как справедливо посчитал тогда Шеврикука, где один подвиг – там десять легенд и двадцать героев. По легенде, преподнесенной Дударевым, Константин Петрович Тутомлин держал пари. Пообещал понюхать императорский табак. Ночью дежурил во дворце. Утром подошел к полотняной походной кровати спящего Павла. Взял его табакерку, зафыркал со смаком, приглашая государя проснуться. Естественно: высочайший крик, гнев. Проказник сказал, что вдохнуть табаку ему необходимо, дабы после восьми часов бдений отогнать сон: «Я

полагаю, что лучше провиниться перед этикетом, чем перед служебной обязанностью». Последовало заключение императора: «Ты совершенно прав, но так как эта табакерка мала для двоих, то возьми ее себе». У рассказчика – Дударева – была корысть: все доблести и геройства приписать дому и роду Тутомлиных ради начальной аукционной цены. А Шеврикука знал о вертопрахе Константине. И по его беспристрастным представлениям Иллариону куда увлекательнее и привычнее было бы объявить пари вблизи капризов Павла и пари это непременно выиграть. Ну и что? Неужели, кроме Гатчины, нет у нас Дмитрова, Кирово-Чепецка, Кологрива, Приморско-Ахтарска или Пьянского Перевоза? Ну ладно, пусть и на Гатчину у Иллариона есть резон. А потому помолчим.

А вот стал бы хлебать настоящий Илларион «Тамбовскую губернскую»? Опять же мало ли произошло в годы неведомого Шеврикуке существования Иллариона, прежде порой брезговавшего и каплей тончайшего бенедиктина, мало ли произошло такого, что заставило его привыкнуть и к «Тамбовской губернской»?

Но что же насторожило Шеврикуку? Или хотя бы – что смущало его теперь? Холод или даже ирония в глазах Иллариона? Но неужели он ждал от Иллариона братских объятий? Нет. Они с Илларионом не братья. И нечего досадовать на то, что Илларион потребовал незамедлительного убытия Шеврикуки. Шеврикука стал помехой занятиям Иллариона. Иллариона увлекли встреча и разговор двоих под дубом. Возможно, ему не терпелось увидеть, как будет покидать компанию Павла Петровича гордец Александр Федорович. По протоколу уходить от императора полагалось только пятясь. Каким манером главковерх отправился на этот раз к поджидавшему его автомобилю, позволил ли себе снова надеть бескозырку и шоферские очки и какие слова он, воитель с монархией, смог напоследок произнести императору? В маленькой фигурке Павла Петровича мощи и энергии ощущалось больше, нежели в балтийском матросе. А он, Шеврикука, приставал к Иллариону со своими…

С чем он приставал? Да ни с чем!

Когда понял, что зря постучался к Иллариону, надо было и убывать. А он остался в Гатчине. (Кстати, вспомнилось Шеврикуке, Илларион ведь в начале века года два пребывал в Гатчине в первой российской авиашколе, слыл летуном лихим, но, как отмечалось, не без хулиганских замашек, дважды портившим строй синим кирасирам августейшей Марии Федоровны. Так что Гатчина имела еще одно объяснение.) Стучался Шеврикука вовсе не в Гатчину. Туда его занесло. Но нечего лукавить. Встретиться с Илларионом возникла охота. Охота же, в частности, была

вызвана желанием самоутверждения («Я никому не нужен? А вот экий у меня приятель. И принял. И не прогнал… А прогнал!»), подновления душевного равновесия после «кышей» Продольного. И корысть: вызнать хоть крохи полезного для себя у многоведающего.

Однако пастухи Шеврикуки могли уловить его желания и корысть. А уловив, устроить ему мнимого Иллариона. В доверительной же беседе с глотанием «Тамбовской губернской» тихонько выяснить намерения Шеврикуки, объекты и способы его ожидаемых действий. Но сразу же ход размышлений Шеврикуки, успокаивая его, оборвало одно соображение. Илларион не мог бы не ощутить сотворение своего дубликата, муляжа, макета, куклы, умеющей пить и закусывать, извлекать звуки из гортани и выпытывать для кого-то мелкие тайны. Ощутив такое, Илларион, несомненно, рассвирепел бы, а устроители подмены наверняка должны были бы знать о его силах и связях, зачем и ради чего лезть им на рожон? При этом они еще и нарушили бы конвенцию о нерасторжимых цельностях, за что уж точно были бы наказаны.

Хорошо, посчитаем: Илларион был подлинный. Но что он валял дурака с этим своим заросшим Ухом для Надзора? Да, известно: Илларион склонен к хулиганским замашкам. Но одно дело, оглушая непросвещенных лошадей треском «фармана», чуть ли не задевая колесами острия пик, перелетая с аэродрома на военное поле, дразнить кирасир, обращая их внимание на то, какой нынче век. И иное дело ехидничать над ним, Шеврикукой, и без того растерянным, сбитым с панталыку, раззадоривая его словами о бирюзовом камне на рукояти чаши, о перламутровом бинокле и т. д. Не эта ли небритая рожа возникала в памятный день забега на Останкинскую башню в телевизорах с заявлением: «От синего поворота третья клеть»? Еще в Гатчине Ухо для Надзора показалось Шеврикуке знакомым. Несомненно, в его облике было что-то и от самого Иллариона. Но теперь визитная карточка разъяснила: Семен Камильевич Брадобреев. Из этого следует вывести: прием в Гатчине Шеврикуки – один из эпизодов службы развлечений Брадобрея. Так, что ли? Если так, выходит, Шеврикука сам напросился в историю, для себя досадную и унизительную. И тут сказано: «Кыш, Шеврикука!»? А посошок-то? С закусками и свежим пивом в кружках. Основательный посошок. Какое уж тут «кыш»! А провести церемонию посошка повелел император. Позвольте. Посох, посошок… Известно: Павел редко расставался со своей тростью-дубинкой. А нынче (нынче!) прогуливался без нее. Отчего так, узнавать было уже не у кого. Оставил в замке из деликатности, из боязни, как бы не отдубасить в сердцах матроса Александра Федоровича? Что за глупости лезут ему,

Шеврикуке, в голову? Что ему либерал из Симбирска и бедный северный Гамлет?

А Илларион мог развлекаться и бездумно, не предполагая заранее, какие повороты сюжетов возникнут в его изначально бессмысленных сочетаниях обстоятельств, мест и персонажей. Выдавил из Павла Петровича, пусть вышедшего в парк без трости, обещание нечаянных польз от табакерки, Шеврикуке же указали на необходимость соблюдения санитарных норм. И теперь Шеврикуке следовало не удивляться и расстраиваться, а разгадывать мелочи их с Илларионом общения и толковать их применительно к своим заботам и предстоящим действиям. Илларион, конечно, с ним забавлялся, но наверняка запрятал в пазухи своих забав подсказки Шеврикуке и предостережения. И нечего было Шеврикуке обижаться на Иллариона и досадовать на него, а себя считать ходом встречи униженным.

И он перестал обижаться и досадовать.

И решил сегодня же проникнуть на лыжную базу. И вот, пожалуйста, одна из подсказок, рассыпанных Илларионом, всплыла и покачивалась сейчас перед Шеврикукой. Прозвучала она в словах о влиянии привидений Приватных (глюков, бегемотиков белой горячки, прочих епишек) на те или иные личности. У Бушмелева, без сомнения, должен был быть именной епишка. Бушмелев и напивался, случалось, до чертиков, и видения его посещали, а в конце жизни его угнетали кошмары. Надо было отыскать епишку Бушмелева, если он, конечно, сохранился, найти к нему подходы и склонить к душевному расположению. Или хотя бы к историческому единению. Наверняка в канцелярском столе или в компьютерной картотеке взаимоуважающего соблюдателя Гори Бойса сведения о епишке Бушмелева Должны были неистребимо сохраняться.

Помимо всего прочего, к походу на лыжную базу его подталкивала тоска. Происхождение ее он объяснить себе не мог. Или не желал делать это. Без сомнения, с тоской он вернулся из Гатчины в квартиру Уткиных. И это была именно тоска, а не меланхолия Иллариона. «На Острове Тоски двадцать две стальных доски…» Меланхолия Иллариона не требовала поступков, а требовала забав. Но может быть, Шеврикука и ошибался.

64

Не успел Шеврикука известным ему ходом просквозиться в недра лыжной базы в Останкинском парке, или места летнего обитания призраков и привидений, как на него с грохотом надвинулся боевой, о двух тумбочках, стол взаимоуважающего соблюдателя Гори Бойса.

– А-а! Пролаза Шеврикука! Заявился, не поленился! – загромыхал и сам Горя Бойс. – А зачем? Давно не видали и видеть не желаем!

Очки, какие Горя Бойс смастерил из фанеры для убиений мух, были вскинуты вверх, словно бы Шеврикука был приравнен соблюдателем к крылатым насекомым и заслуживал свирепой казни.

– Не шуми и не грози! – скучно произнес Шеврикука.

И Горя Бойс успокоился.

– Я к тому, – сказал Горя Бойс, – что в Апартаменте нумер триста двадцать четвертом никто вас не ждет.

– Тебе ли судить, где меня ждут, а где нет! – рассердился Шеврикука.

– Там просто никого нет.

– То есть как? – растерялся Шеврикука. – И Дуняши-Невзоры нет?

– Ни барыни, ни прислуги, – кивнул соблюдатель Горя Бойс, и можно было подумать, миролюбиво кивнул, с сочувствием.

– А не гуляют ли они где-то? Не ведут ли беседы в гостях в номерах четвертой сотни?

– В просторах четвертой сотни их нет.

– А где же они?

– Не могем знать-с. А если бы и знали-с, не имели бы права вас, сударь, одарять знаниями. А если бы и имели право, то все равно вам, сударь…

– Замолчи, – цыкнул Шеврикука. – Мне эти барыни и прислуги сегодня нужны, как… Ты вот что. Лучше скажи, был ли у Бушмелева личный епишка?

– Вот ты что! – покачал головой Горя Бойс. – На Бушмелева, значит, выйти хочешь! Гордец и бестолочь! Горя бойся!

– Ты отвечай! Был личный епишка?

– Ну, был…

– Был? Или он и теперь есть?

– Ну, есть… – протянул Горя Бойс.

– Засунь клешню в картотеку и добудь оттуда его формуляры.

– Как же! Сейчас! А может, ты от Отродий Башни? Проваливай. А то возьму и включу авральную систему! Что с тобой сделают при наших-то нынешних непотребствах!

– Не пугай. И подумай. У тебя носков дырявых двадцать пар. А новые откуда? Айвового варенья не ел полгода. Бабка Староханова, что ли, тебе его купит? Смазь то есть. А вдруг на тебя опустятся посильные вознаграждения?

– Откуда? – хмыкнул Горя Бойс. – Из Пузыря, что ли? Или – еще лучше! Не из тебя ли?

Тут уж взаимоуважающий соблюдатель расхохотался.

– Ну а почему же и не из меня? – чуть ли не оскорбленный, сказал Шеврикука.

– Подкуп при исполнении кадровых бдений! – взвыл Горя Бойс. – Миллионы лет непорочных сидений за доверенным столом. В минуту и все порушить? Ну уж нет! Полиция! Милиция! Понятые! Свидетели! Взаимоуважающая следительница Староханова! Караул! Вербуют!

– А ну замолчи! – Шеврикука перепугался, не хватало еще, чтобы на крики командира, причитая, кликушей явилась пропахшая лыжной мазью следительница бабка Староханова или кто другой; он бросился к тощему соблюдателю, зажал ему рукой рот.

Горя Бойс дергался, мычал, ногой пытался достать до секретной кнопки вызова внутристенных бойцов, но потом замер, без всяких усилий отвел руку Шеврикуки, сплюнул и сказал:

– Вот что, Шеврикука. Твое счастье, что и у меня к этому Бушмелеву… Если ты ему насолишь, я порадуюсь. А так греметь бы тебе сейчас в кандалах. Или еще что похуже. Ишь ты, учудил! Миллионы лет беспорочного сидения, и на тебе – подкуп! Про подкуп-то ты, конечно, не забудь, ради своего душевного просветления… Про посильный-то… Не забудешь?

– Не забуду, – шепотом пообещал Шеврикука. – А ты поищи, что у вас там в компьютерах на бушмелевского епишку.

– Что искать уже отысканное. Вот! Не зевай! – Горя Бойс стукнул кулаком по столу, один из ящиков выдвинулся с треском, выстрелил серой папкой с лиловыми тесемками. Горя Бойс подпрыгнул, изловчился поймать папку, протянул ее Шеврикуке. – Держи. Там и фотографии, и дактилоскопия, и состав слюны, и размеры, и прочее. Здесь не смотри, а где-нибудь один, в тихом углу…

– Быстро вы! – восхитился Шеврикука.

– А чего уж быстро, – скромно произнес Горя Бойс, – я уж три дня

знал, что ты придешь и зачем придешь…

Взаимоуважающий соблюдатель спохватился и замолк.

Шеврикука в волнении не успел осмыслить и уразуметь суть слов Гори Бойса, а уже услышал:

– Барыню, что из триста двадцать четвертого нумера, не ищи. Ты ее сейчас не отыщешь. А вот служанка ее без головы… или с головой… прости ее грехи и чудеса… может обнаружиться в Лавандовом саду… может… а может и не обнаружиться… и эта… тоже чудесная… Увека-Векка… там лепестки, случается, нюхает…

И опять Шеврикуку забрала тоска. Не гатчинскими ли водами омывается остров Тоски? Тоска, хорошо знакомая Шеврикуке. В ней удручало однообразие тихой боли разума, замком затворявшей действия и решения. Впрочем, сегодня никакие замки Шеврикуку ни в чем не стесняли. Шеврикуке захотелось поинтересоваться у Гори Бойса, а тот глядел на него с умилением, отчего же Гликерии нет нигде поблизости, ведь ей определено всего лишь домашнее содержание, да еще и с послаблениями. Или изменился режим содержания? Но проще было бы вызнать об этом у Дуняши-Невзоры, если она повстречается. А спросил он вот о чем:

– Неужели у вас не прекратились гуляния в садах? При ваших-то клокотаниях?

– Вот именно при клокотаниях! – согласился Горя Бойс. – А у нас и еще одна забота вспухла. Но в садах гуляют.

– Какая забота?

– А бомжи, – сказал Горя Бойс.

– Какие бомжи?

– Ты, Шеврикука, «Дважды два» не смотришь? Бомжам ночлег предоставляют…

– Ну слышал. Смотрел. Предоставляют… Но ведь в бомбоубежищах. Бывших.

– В бомбоубежищах, – подтвердил Горя Бойс. – Но это где? А у нас им отдают лыжную базу и лыжный образ жизни. Здесь, мол, сам воздух нравственно целительный. А нам-то куда деваться летом?

И взаимоуважающий соблюдатель Горя Бойс зарыдал. Впрочем, сначала он выругался, произнеся: «Блендамед!» – а уж потом зарыдал.

Шеврикука стоял озабоченный.

Когда он выскочил из Землескреба в направлении лыжной базы, он увидел Радлугина. Тот прикнопливал на стенд деловых объявлений прокламацию. Прокламация была ксерокопией, текст ее начинался

плакатно: «Всем! Всем! Всем! Декрет!»

– Разве это декрет? – заметил Шеврикука. – По жанру это скорее воззвание. И что это за исполнительный комитет? Это вы, что ли?

– Я хотел посоветоваться с вами. – Губы Радлугина обиженно сжались. – Но связи нет.

– Нет, – строго сказал Шеврикука. – «Дупло» в потусторонних делах.

– Ах так, – успокоился Радлутин и будто бы обрадовался потусторонним делам связного,

А Шеврикука пообещал себе сегодня же проведать спальню Пэрста-Капсулы и не допустить, чтобы в получердачье возникли какие-либо поводы для вмешательств Радлугина. Радлугин непременно должен был ринуться в преследование бомжей. Если уже не ринулся.

– Пусть будет и воззвание, – согласился Радлугин. – Но нельзя, чтобы наше бомбоубежище отдали бомжам. Тут речь идет и о боеспособности державы. И о том, какие лужи и кучи вонючие, извините, появятся во дворах возле Цандера. И там рядом – детская музыкальная школа.

– Мне это известно, – сказал Шеврикука.

Действительно, он то ли читал, то ли слышал о намерении чиновных разумников разместить в пустующих бомбоубежищах ночлежки им. МХАТа им. Горького для имеющих московскую прописку бомжей. Но известие это его не задело всерьез. Как и мало кого в Москве. Повторялись лишь расхожие шутки. Как теперь будут называть стратегические объекты гражданской обороны – бомжеубежища, или бомжехранилища, или бомжележбища, или бомжеложи, или просто ложи бомжей? Перекатывались с газетных страниц в зрительные информационные пространства рассудительные мечтания о нарождении новой жизнестойкой человеческой цивилизации. Понажимают все же нервные идиоты на кнопки или АЭСы поломаются, ничего, многие передохнут, оно и к лучшему, но после ядерной зимы ворота бомжеубежищ распахнутся, и на свет весенний выйдут бодрые морозоустойчивые экземпляры. Обросшие, но цельные. «Только бы потопа не случилось!» – нудили пессимисты. «Наши бомжи из любого потопа выйдут сухими!» – отвечали патриоты. Шутки шутками, а ведь домовые могли остаться без среды обитания и клубных помещений в Большой Утробе. А теперь новость – бомжи претендуют и на лыжную базу.

– Ты что, Шеврикука? Заснул, никак? – поинтересовался Горя Бойс. Он уже не рыдал. И мог снова произнести: «Блендамед!»

– Я думаю, – смутился Шеврикука. – Я соображаю. Говорили, что как только все выберут из Пузыря и разделят, так в его пустую оболочку всех

бомжей и поместят. Наверняка и тех, что отписаны к вам, на лыжную базу, туда умнут.

– Я, Шеврикука, думал, что ты умнее. Когда это твой Пузырь будут делить и выскребывать? А-а-а! Ты бы что-нибудь придумал, чтобы отвести от нас бомжей. А то прогадаешь… Клокотание клокотанием, а сейчас, похоже, многие сбились в кучу. Общий интерес. Общая оборона. А Бушмелева, из-за его натуры и удали, готовы произвести в воеводы. И произведут. Вот тогда мы и запляшем!

– Ладно, – сказал Шеврикука. – Отправлюсь-ка я в Лавандовый сад.

В Лавандовый сад и в другие оздоровительные места, с подогревом и подсветкой воздуха, с романтическими посадками, родниками и тихоструйными ручьями, Шеврикуке надо было бы спускаться в кабине лифта или в шахтном подъемнике. Но он решил спланировать вниз сам, раскинув крылья душевности и свойственной ему прыти. Но в самом начале вольного спуска был схвачен за рукав куртки костлявой лапой взаимоуважающей следительницы бабки Старохановой. Та словно бы не желала нарушать церемонию вхождения в недра лыжной базы, изловила его и зашептала:

– Красавец ты наш писаный, рыцарь золотая мозоль, дело ты свое исполняй, но Векку-то нашу, Увекочку, не прогляди, она ведь теперь как персик, как Лиза Минельева, она даже лучше Лизаветы-то, а ножки-то у нее, ножки-то, она не для бомжей, ты уж ее, барин ты наш ненаглядный, в обиду не давай!

– А ну проваливай, бабка! – взревел Шеврикука. – Когти свои убери, а то лапу изувечу!

– Фу, грубиян, фулиганье! Бандюган! – прошипела бабка Староханова и принялась вдогонку Шеврикуке скорострельно чихать.

65

А Шеврикука уже опустился на черноземы Лавандового сада. Или на красноземы. Избалованные зимними погодами и зарослями в Оранжерее (лучшая в стране, Главный Ботанический сад, Академия наук, бывшие теплицы Геринга, две тысячи одних только кактусов, а сколько орхидей, кокосы на пальме, цветение азалий), привидения и призраки годами бутетенили, выговаривая себе летние компенсации. Над ними сжалились и, принимая во внимание их ночные изнурения, одарили их местами оздоровительных променадов с Лужайками Отдохновений. В частности, и Лавандовым садом. Лаванда росла тут то ли на грядках, то ли на клумбах, то ли в кринах-горшочках, Шеврикука не знал, огородник и садовник он был скверный. Ботаник – тем более никакой. Спускаясь к ароматам лаванды, Шеврикука увидел на лужайках сада, друг от друга отдаленных, и Дуняшу-Невзору, и Векку-Увеку. Дуняша кого-то кормила, рассыпая орешки, а Увека с кем-то кокетничала. Пускай кормят и кокетничают, решил Шеврикука, а он посидит на лавочке под желтой сливой и подумает кое о чем.

Бушмелева, стало быть, норовят поставить воеводой. Что ж, именно такой воин мог быть теперь и пригож. На смотринах дома Тутомлиных Дударев, тогда приказчик-искуситель, связывал с Бушмелевым мрачные готические драмы и тайны, какие всегда придавали историческим зданиям особый шарм, а стало быть, и укрепляли им цену. Этот грешник и изверг, человек необузданного нрава и опасных страстей, был миллионщиком, сибирским и окским заводчиком, чье предложение, к несчастью, приняла одна из графинь Тутомлиных. Известен был как деспот, душегуб и синяя борода. Графиню затравил. Сыновей пережил, изломав им судьбы. Невдалеке от окских заводов держал в муромских лесах разбойников. Мог – и не только своих работников – в назидание другим сбросить в колодец или уморить голодом. Справлялся и с дворянами, в особенности с мужьями приглянувшихся красавиц, не пожелавшими предоставить жен для утех Афанасия Макаровича. Одного погубил, огнем уничтожив его усадьбу, другого заманил на завод и приказал швырнуть его в расплавленный чугун. Теперь воспрянул и рвется в воеводы. Скорее всего, и пройдет…

Да, и еще была у него, между прочим, история с Гликерией. Ну, это случай особенный, и пусть пока подремлет в стороне.

Да. И проклятие. Будто бы он проклял Москву, покровскую местность,

земли родные, что было действием неприличным, и неоправданным, и опять же греховным.

Ладно. Кого же кормила на Лужайке Отдохновений Дуняша-Невзора и чем? Очень может быть, что и бегемотиков. Дуняша бегемотикам, особенно тихо являвшимся когда-то в пивном автомате на Королева, пять, финансисту Моховскому, симпатизировала. А бегемотики были из епишек.

Папка, коей облагодетельствовал его Горя Бойс, размещалась теперь под легким свитером Шеврикуки и ремнем джинсов. В Лавандовом саду был заведен купальный пруд для мелких особей. В одну из раздевальных кабин и направился Шеврикука, хотя и не имел для того никакой пляжной надобности.

Надобность была вызвана интересом к епишке изверга Бушмелева. Сознавая, что долго в кабине ему торчать не позволят, Шеврикука чуть было не оторвал от папки тесемки и был вынужден ловить документы, планировавшие на песчаный пол. Звали приватное привидение почтительно Епифан. На рожу Епифана, анфас и в профиль, Шеврикука взглянул мельком. А вот фотографии татуировок епишки Шеврикуке захотелось рассмотреть внимательнее. Плечи Епифана украшали голые бабы, но отчего-то – на лыжах и до бедер – в ватниках. В кружевной технике были исполнены изображения каких-то производственных сооружений, возможно плавильных печей. И охранял Епифана со спины злодейский молодец с кистенем в руке, по всему виду – разбойник из муромских лесов. Шеврикука, торопясь, стал листать бумаги с текстами (на одной из них объект именовался не Епифаном, а Герасимом), но в дверь забарабанили. Папка полезла под ремень, Шеврикука открыл дверь и, отстраняя торопыгу-купальщика рукой и словами: «Пардон, пардон, пардон!» – поспешил к Дуняше-Невзоре.

Но прежде чем он достиг Дуняши, на асфальтовой тропинке он столкнулся с Увекой Увечной, или Веккой Вечной. Он бы пронесся мимо нее, если бы она сама не остановила его, произнеся нежно-томно: «Ах, Шеврикука, милый… милый… Куда же вы несетесь, несносный?..» – и этак деликатно, явно не для пожатия, протянула ему руку, ладонью вниз, что Шеврикука се сгоряча расцеловал, но тут же и пробормотал: «С вашего позволения». В недавно виденном фильме влюбленному офицеру напомнили о том, что прилично целовать руки только замужних дам. Сейчас же офицер с дамами выбыли из головы Шеврикуки. Он сообразил, почему сам не остановился. Он несся и успел подумать: «Надо же! И Лайзы Миннелли тут даже разгуливают…» Подумал с удивлением и иронией. Понятно, что натуральная дочка Джуди Гарленд в Останкине, на

лыжной базе, в Лавандовом саду разгуливать никак не могла. Разгуливало подражание ей. А подражание чаще всего вызывает у нас улыбку. Или ехидство иронии. Но Векка-Увека, пожалуй, не заслуживала ехидства или язвительности. Совсем недурно выглядела барышня. В Ботаническом саду, под маньчжурским орехом она имела короткий, прямой нос, ныне же он, видоизменившийся, набухший сливой, забавный, ее не портил. И прелестной стала удлинившаяся шея в вырезе летней блузки. А наивные, удивляющиеся миру глазища! А, извините, пупок в свободном пространстве между блузкой и пуговицей юбки («неприкрытая реальность», как написала бы моя жена в журнале мод)! А новая пластика Векки-Увеки, готовность ее рук, шеи, плеч, возможно, и пупка («Не знаю, не видел, – признался себе Шеврикука, – как обстоит у Миннелли…»), но уж и ног и бедер сотворить такой танец, от какого бы прекратилось движение в Лавандовом саду.

Так, вспомнил Шеврикука. Сегодня бабка Староханова посчитала нужным сообщить, как о случае радостном («наша-то лучше Лизаветы той, ножки-то…»), об увлечении Векки-Увеки Лайзой Миннелли. У каждого из осведомленных свои водопроводы знания. Что же еще кольнуло нынче Шеврикуку там, наверху, в словах Гори Бойса? Что-то насторожило его. Что? Надо будет вспомнить. «Потом вспомню, – пообещал себе Шеврикука. – Горя Бойс, Горя Бойс, что же он сказал и что я забыл?..»

– А я издалека вас видел, – сказал Шеврикука. – Вы вели с кем-то светский разговор. Может, вы и теперь спешили к разговору, что же было вас задерживать?

– Ох, лукавый Шеврикука! – погрозила ему Увека пальчиком. – Какие у меня могут быть еще разговоры и дела, если вы здесь? Как и прежде, я хочу быть помощницей в ваших делах. Возможно, вы завтра будете рисковать и можете погибнуть. Вам нужны помощники. У вас никого нет. Вы одиноки.

– Все это трогательно, – нахмурился Шеврикука. – Но давайте не будем говорить о гибелях и одиночестве.

– Вы мне не доверяете, – опустила голову Увека. – Я вас сегодня рассмешила…

– Чем же? – удивился Шеврикука. – А-а-а… Этим… Нет, нисколько… И мне вообще симпатичны женщины с забавиной… А к увлечению яркостью я отношусь с пониманием. И возраст у вас юный, впечатлительный… Главное, не обезьянничать… Две-три подробности, ну четыре… А так носить все свое. И на себе, и в себе… Вы от своего куньего хвоста небось не отказались?

– Какого хвоста? Какого куньего хвоста? – заговорила Векка-Увека будто в испуге, глазища вытаращила и явно готова была сбежать от собеседника. – Что вы, Шеврикука, помилуйте! Что же вы обо мне думаете?

– Но я… – Шеврикука смутился. Действительно, получилась неловкость. Из слов недоброжелательниц Увеки, Шеврикукой слышанных, выходило: в мещанские привидения тридцать шестой сотни она пробилась из кикимор, но и пробившись, могла являться лишь тенью, скрюченной тенью, с горбом и в чепце, сбитом на ухо. И все же она сумела преобразоваться и добыла на это права осуществления. В рассказах о бесстыдствах Увеки, ее распутствах и авантюрных вывертах упоминался и куний хвост. Будто бы Увека была одной из тех, кто на гаданиях, оборачиваясь к бане голой задницей, просил протянуть по ней куньим хвостом и, уверив себя, что почувствовал мохнатое, ожидал богатства и фавора. И выходило так, словно бы Увека и впрямь жила под опекой куньего хвоста. Но стоило ли упоминать куний хвост в связи с новыми преобразованиями Увеки-Векки? А может быть, именно и стоило, решил Шеврикука.

– Словом, извините, – сказал Шеврикука. – Вы ходили к маньчжурскому ореху, как мы договаривались?

– Вот! Наконец-то! – обрадовалась Увека и отняла руки от лица. – Я уж думала, что вы пошутили со мной и забыли. Да, ходила.

– И познакомились?

– И познакомилась.

– И что?

– А вот они отчего-то велели мне обо всем молчать и дело иметь исключительно с ними.

– Уже не промолчали.

– Об этом-то условии я как раз должна была вас информировать. И они просили передать: вам они благодарны.

– Ну и замечательно. Вы-то не жалеете, что вышли на Отродий?

– Нисколько! Напротив!

– Рад, что хоть в чем-то оказался вам полезен. И вовсе не нужно вам оберегать меня от моих злосчастий.

– В моих чувствах к вам перемены нет, – сказала Увека. – А вы не можете отнестись ко мне всерьез. Более навязываться к вам в помощники я не стану.

Она повернулась, готовая бежать, на этот случай не пожаловав Шеврикуку к руке, но тут же и охнула:

– Совсем забыла! Ведь мне велели передать вам…

– Велено под маньчжурским орехом?

– Да, да! И там!

Увека подала Шеврикуке соску для умиротворений и ложных удовольствий младенцев. Но Шеврикука тут же понял, что это не соска, а резиновая затычка, с колечком, для запирания чего-то.

– Зачем это?

– Ухо закрыть! Правое ухо! Они так и сказали: только правое! А не левое! – заторопилась Увека. – Ни в коем случае не левое. Когда спуститесь в помещение, куда вам не нужно спускаться, завтра или послезавтра, вам лучше знать, заткните правое ухо! Запомнили?

– Запомнил…

– Ну, я побежала. Я буду волноваться за вас!

– Спасибо… – пробормотал Шеврикука.

Он не стал сообщать Увеке, что затыкать ничего не будет; коли бы имели Отродья соображения, они бы передали их с Бордюром, а не опустились бы до поручений поддельной Лайзе Миннелли. Над ним изволили шутить шутки. Шеврикука пожелал вышвырнуть соску-затычку. Но сунул ее в карман.

А бежала Векка-Увека красиво. И не топорщился под се лаконичной юбкой куний хвост.

По слабости натуры Шеврикука стоял минуты три и следил за пластикой движений недавней кикиморы, недавней скрюченной тени, недавней застенчивой барышни, лишь когда кавалер обнял динамичную простушку с метровыми ресницами, Шеврикука стыдливым скромником опустил глаза. Разглядывать кавалера не стал. А зря. Но не мог же, скажем, погонщик амазонского змея Анаконды Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный, преподносить гвоздики интересной даме в Лавандовом саду. Однако знал ли он, Шеврикука, как следует Сергея Андреевича? То-то и оно… Но нужен ли был теперь Увеке Крейсер Грозный?

А Дуняша-Невзора все угощала своих любимцев.

Шеврикука приблизился к Лужайке Отдохновений.

– Привет, – сказал он. – Чем ты их тут кормишь? И что – это одни лишь бегемотики?

– А-а-а, это ты, Шеврикука. – Дуняша даже не обернулась. – Намиловался с мордашкой-то прелестной, с нашей Лизаветой Кикиморовной? А? Поласкала она небось твое самолюбие. А ты уж и раскис! Из-за твоего незнания света получишь ты с Увекой затруднительные состояния.

– Ладно, – сказал Шеврикука. – Я спросил: это одни лишь бегемотики?

– Нет, – сказала Дуняша. – Есть и другие мелкие епишки. Которые не злые и не наглые.

– И кто из них Епифан-Герасим?

Теперь Дуняша обернулась. Минуты две молча смотрела на Шеврикуку.

– Значит, ты желаешь выйти на Афанасия Макаровича Бушмелева? – Дуняша глядела на Шеврикуку прищурившись, то ли сердито, то ли с интересом, в надежде распознать в сегодняшнем Шеврикуке нечто путное и, уж во всяком случае, – для нее и для ее госпожи – не совсем бесполезное.

– Не твое дело. Скажи лучше, кто из них Епифан-Герасим?

– Никто. А Герасима здесь нет. Он на спортивной площадке.

– Там же громилы! – удивился Шеврикука.

– Не с этими же малышами ему играть в горелки и в ручеек. Кроме того, там есть особы женского пола. Сразу туда пойдешь? Или тут постоишь чуть-чуть?

– Здесь постою, – сказал Шеврикука. – То-то я смотрю, никто из твоих не соответствует его фотографии. А потом – у него татуировки…

– Татуировки и у наших есть. Только ты их не разглядишь… Ну, комарье, ну, деловые! Ну, налетай!.. У одного на спине с переходом на ноги наколота конституция… То ли Монако, то ли Иордании, то ли Литвы… На ихнем языке… Я сквозь лупу увидела ихнюю восьмую статью…

Из кисета, вышитого по канве несомненно самой Дуняшей, она стала бросать в бетонные лотки ячменные зерна, крошки мускатного ореха и толченой пробки.

В фаворе у Дуняши – и давно – были наиболее добродушные или, можно сказать, наиболее безобидные и вызывающие хоть малое сострадание личности из Приватных привидений. Как известно, Приватные привидения (по вызову и по назначению) были необходимыми персонажами кошмаров, раскаяний, страхов, тоски (не приватным ли привидением Шеврикука являлся в Гатчину Иллариону по вызову или по чьему-то назначению?), галлюцинаций, приступов белой горячки (епишки, бегемотики) и прочего. Когда в Доме Привидений и Призраков заколобродило, недра стали трястись, именно Приватные привидения повели себя скандальнее прочих, большинство этих прыщей проявили себя наглецами и дуроломами. Их урезонили, сбили в кучу, приставили к ним смотрителей с кнутами и щупами. Но вот теперь посчитали возможным наиболее присмиревших, добродетельных и наверняка усердных в служебных бдениях поощрить удовольствиями в Лавандовом саду, зерном

и крошками из кисета Дуняши-Невзоры. Или даже позволили погонять мячи.

– Бинокль пускали в дело? – спросил Шеврикука.

– Тебе-то какие заботы? – сказала Дуняша и одарила зерном епишку, похожего на крохотного зеленого бельчонка.

– А вдруг биноклю мои руки нужны…

– Учтем!.. Кушай, Петюля, кушай…

– Ничего себе Петюля!

– Этот Петюля, между прочим, приятель Епифана-Герасима. А Герасим, может, тебя к себе и вовсе не подпустит. Он капризный.

– Посмотрим… Обойдемся и без Герасима… – сказал Шеврикука.

– Капризный и злой. И заспанный. Как заели Бушмелева и отринули, был без дела. Каково столько лет бездельничать? Существовать без надобности.

– А сейчас он при надобности?

– Не знаю, – сказала Дуняша. – Захочешь – узнаешь.

– А где наша затворница? – спросил Шеврикука. – Отчего, если на нее наложен домашний арест, ее нет дома? Или хотя бы здесь?

– Тише, тише! Давай на секунду отойдем от вольера… Нет, они без вреда, но все же… Плохо, Шеврикука! Все очень плохо! Ей грозит… И она содержится теперь… Не могу… Если есть желание, приходи завтра в это же время сюда. Я сумею провести тебя к ней. Времени мало, и ничто не может ей помочь… Придешь? Тут большой риск… Но… И бинокль я тебе добуду… Придешь?

– Приду, – сказал Шеврикука.

– Вот и хорошо! И спасибо! А уж Гликерия-то как тебе обрадуется! – И Дуняша прижалась к Шеврикуке, голову уткнула ему в грудь. Потом резко отстранила его от себя, сказала: – Иди, куда собирался! Да, возьми-ка с собой Петюлю, может, тебе в его присутствии удастся поговорить с Герасимом доверительнее. То есть вообще поговорить.

Она поспешила к перильцам вольера, изловила в бетонном лотке зеленого бельчонка, оглядела Шеврикуку, расстроилась:

– Ба, да у тебя просторного кармана нет. Я посажу Петюлю в кисет, только посматривай, чтоб он не задохнулся и не зашибся. Да, еще. Ты, если выйдет, пригласи Герасима с Петюлей в трактир и угости их…

– «Тамбовской губернской», – подсказал Шеврикука.

– Ну, можешь и «Тамбовской»… – удивилась Дуняша. – Откуда ты знаешь?

– Да так, – сказал Шеврикука. – Догадался.

– Петюлю не напои! Капельку ему! Иди, иди.

«Иду, иду. С мальчиком-с-пальчик в кисете», – заулыбался Шеврикука. Но улыбка его моментально погасла. Опять подступила тоска. Гнетущая, неодолимая. Теперь Шеврикуке казалось, что тоска впилась в него в мгновения Дуняшиных прощальных прикосновений. «На Острове Тоски…» От кого-то он слышал: «Я подвергался даже меланхолии оттого, что не имел средства и удобства, чтобы употреблен быть в войне или в каком-либо отличном поручении». От Иллариона? Нет, кажется, не от Иллариона. Какой войны, какого отличного поручения недоставало сейчас Иллариону? И ему, Шеврикуке?

Нет, его тоска имела иные причины. И он знал какие.

66

Епишки, к каким, по мнению Дуняши, мог прибиться сегодня Епифан-Герасим, с криками, воплями, с потасовками и бузотней на вытоптанном, без единой травинки, поле гоняли мяч. По всей вероятности и если применить теорию аналогий, игра их исходила из положений европейского регби. Во всяком случае, мяч они гоняли, подхватывали, швыряли, отправляли свечой в небо – дынеобразный. Шлемы с решетками скрывали лица, но Шеврикука быстро углядел физиономию с фотографии из личного дела среди зрителей. Вернее, в числе зрителей. Епифан-Герасим стоял в одиночестве, прислонившись к стволу молоденькой липы, глазел на игру, выражался и лузгал тыквенные семечки из аптечной упаковки. Был он здоровенный детина, средних лет, кучерявый блондин, при усах и бороде, в коричневом армяке, полосатых холщовых штанах, юфтевых сапогах. Головной убор имел заслуженный, помятый перед его превратился в козырек и сделал шляпу (под цилиндр) похожей на картуз. «Вредный мужик! – сообразил Шеврикука. – И нос у него самый вздорный». И как мог такой здоровенный и вредный мужик вмещаться в кошмары, сны и галлюцинации Бушмелева? А вмещался. Но тесно, наверное, ему было и гнусно. И наверное, он корежил, в сердцах, и так кореженые кошмары и сны. Отчего-то расхотелось Шеврикуке пить в трактире с Епифаном-Герасимом «Тамбовскую губернскую»… Однако Шеврикука подошел к епишке изверга Бушмелева.

– Привет, Епифан, – сказал Шеврикука. – Или Герасим.

– Ну Герасим, – прорычал детина. – И что дальше. Ты кто?

– Шеврикука. – Шеврикука протянул детине руку, тот взглянул на нее, сунул в пасть тыквенную семечку и отвернулся.

– Экий ты, Герасим, неучтивый, – вздохнул Шеврикука.

– Ты куда, Шеврикука, шел? – спросил епишка.

– А в обжорный трактир, колбасы похлебать, – сказал Шеврикука.

– Ну вот туда и топай, хрен учтивый! – распорядился Епифан-Герасим. – Не засти глядеть бойцов.

«И потопаю. Подальше», – подумал Шеврикука, пошагал было от ристалища, но кисет, привязанный шнурком к его запястью, вразумительно задергался.

– Вот с ним и потопаю, – сказал Шеврикука, расшнуровал кисет и поставил на левую ладонь зеленого бельчонка.

– Петюля! – взревел Епифан-Герасим, бросился к Шеврикуке и рухнул перед ним и Петюлей на колени. – Петюля!

А зеленый бельчонок, вереща нечто, стал отплясывать в радости на ладони Шеврикуки.

Свирепый приватный истязатель злодея – Бушмелева (хотя истязатель ли? может, потатчик тайным грехам злодея?), разбойник из муромских лесов, замоскворецкий кулачный боец, выходивший в стенке на купца Калашникова, преобразовался, сделался ребенком, какому показали давно не виданный гостинец, он вскочил, слезы вытирал, коленца камаринского выделывал и повторял:

– Петюля! Петюля! Петюля!

Умиляться встречей приятелей Шеврикуке надоело.

– Ладно, мы идем в трактир.

– И я! Можно, и я с вами? – взмолился Епифан-Герасим. – Возьмите меня!

– Если Петюля соизволит, – была резолюция Шеврикуки.

Бельчонок закивал, соизволяя.

Шеврикука предложил Приватным привидениям самим выбрать трактир, наиболее подходящий их традициям, вкусам, кулинарным легендам, специфическим особенностям желудков, желудочных соков, отрыжек и прочему. Сам же он был готов отпробовать все местное. Был назван трактир «Гуадалканал». По дороге в «Гуадалканал» Епифан-Герасим стал жаться, сожалеть о том, что с довольствием у него туго и неясно – какая у него теперь выслуга дет, учитывать ли вынужденное в связи с выходом из строя организма воспринимающего объекта, Бушмелева, безделье или нет, какие могут быть льготы и т. д. – никак не могут решить, и он ходит с грошами в кошельке. Шеврикука понял, что среди всего прочего Епифан-Герасим – жмот и любит прибедняться. Петюля тоже обнаружил, видимо, что его карманы пусты, но так и не смог прервать речи своего почитателя. Помолчав, Шеврикука заявил, что с довольствием у него – дела сносные, что это он ведет их в трактир, а не они его и пора прекратить песнопения.

Название трактира подсказывало Шеврикуке мысли о том, что основу меню составят там блюда американской и японской кухонь, а может быть, и кухонь других стран Тихоокеанского бассейна, так или иначе вовлеченных в театр военных действий. На полках за трактирщиком он обнаружил банки американской тушенки и ветчины выпуска сорок четвертого года, пористый шоколад и японские сушеные кальмары. Но это, выяснилось, был как бы трактирный музей. В меню же предлагались два коктейля: «Перл-

Харбор» и «Хиросима-Нагасаки», по цене примерно равные. Их Шеврикука посчитал нужным опробовать на десерт. Основными же блюдами трактира были – солянка сборная, расстегаи с куропаткой и жульен из маслят. Их сотрапезники Шеврикуки и согласились принять во внимание.

– А что пить будем? – поинтересовался щедрый Шеврикука. – Может, закажем бутылку «Тамбовской губернской»?

И Шеврикука уставился на Епифана-Герасима.

– Да ну! – поморщился тот. – Зачем эту-то дрянь?

Но тут же он и смутился, вспомнив, видимо, о неясностях с довольствием.

А у Шеврикуки полегчало на душе.

– Ну а что, отчего же и не «Тамбовскую»? – пропищал Петюля, скорее всего желая угодить вкусу Шеврикуки.

– А ты-то что! – рассмеялся Епифан-Герасим. – Тоже мне пивец! Тебе если нальют, то капельку от капельки. Не напаивай его, Шеврикука.

– Полагаю, что Петюля, – произнес Шеврикука, – знает свою дозу и сознает свое положение в обществе.

Пока же сам Шеврикука пожелал осознать свое положение в обществе хозяев и посетителей трактира. И его карманы были пусты. Ну не совсем, но пусты. Он полагал, что как-нибудь вывернется. И хотел поставить некий опыт.

– Кроме «Тамбовской», – сказал трактирщик, – я предложу вам двойной «Шеврикукс».

– Чего? – спросил Шеврикука.

– Вы забыли. А пользуется спросом.

– Валяй. Исключительно с хреном. Поверху. И без содовой.

– А как же! Самарский хрен вас устроит?

– Что же может быть крепче самарского хрена? – воскликнул Шеврикука. – В особенности из деревни Обшаровка Безенчукской волости!

– Справедливо изволили заметить! – испуганно сказал трактирщик и пропал. Но потом появился.

А Епифан-Герасим упросил Шеврикуку заказать сухое блюдце и у фиолетового окоема посудины усадил Петюлю. Шеврикука же укорял себя: ведь мог (было время) вызнать у Дуняши, чей этот Петюля Приватный и отчего у него в приятелях громила Епифан-Герасим.

– Был Продольный, – сказал трактирщик таинственно.

– Кто?

– Ну, может, не Продольный… – опять испугался трактирщик. –

Может быть, Стыркин.

– Какой еще Стыркин?

– Нет-нет. Продольный, точно, Продольный, – сказал трактирщик. – Такой – с чубом, в тельняшке, обмотан пулеметными лентами. Искал каких-то Отродий… И вас…

– Не нашел? – спросил Шеврикука.

– Не нашел! – рассмеялся трактирщик. – Не нашел!

– Когда это было?

– Часа два назад. Вот, пожалуйста, двойной «Шеврикуке». С хреном поверху, исключительно обшаровским Безенчукской волости. Вашим приятелям предоставить?

– Нет, – сказал Шеврикука. – Сейчас шарахну. Апробирэн.

– Наше вам с кисточкой! – напутствовал трактирщик. – Вкривь и вкось!

Шеврикука шарахнул. Самогон, с чем-то желтым. Возможно, кроме хрена в нем был и перец. Выжил. Откашлялся. Надо было стучаться к Иллариону в Гатчину с канистрами «Шеврикукса». Может быть, вывел бы Иллариона, Павла Петровича, Александра Федоровича из состояний меланхолии и исторических невезений. Двойной «Шеврикукс» с хреном никак не заинтересовал Епифана-Герасима и Петюлю. Те все умилялись встрече, ворковали что-то недоступное Шеврикуке, пусть наговорятся, решил он. Да и зачем они ему вовсе? Он очухивался от именного напитка и наблюдал за публикой, скорее всего, постоянными сидельцами трактира «Гуадалканал».

Никто из них не был похож ни на американцев, ни на японцев, ни на папуасов, ни на таитян, ни, наконец, на чукчей. И вообще морды и хари сидели в трактире те еще. Но, впрочем, чему было удивляться Шеврикуке? Он знал, кто такие Приватные привидения и каковы на вид. Однако в застолье, чтобы не потерять охоту к угощениям и не начать икать, к ним надо было привыкнуть. Сидели вокруг все больше уродцы, иные – хитрованы и жулики, иные – вовсе без соображения. И все – деспоты (вел ли себя деспотом Епифан-Герасим или он пребывал у Бушмелева порой – даже и в кошмарах – услужителем и приживалой?). Петюля-то ладно… Хотя как сказать. Чей он, ласковый Петюля-то? Или кем он помыкал? Лохматые, шершавые, лысые посетители отдыхали в «Гуадалканале», в струпьях и гное, с пятачками и копытцами, с волчьими клыками, с бантиками на хвостах и мохнатых пестиках, с шестью мордами и совсем без морд, какие хочешь и какие не хочешь, в страшных снах не приснятся, но уже кому-то приснились… И он, Шеврикука, может, приснился вчера

Иллариону и императору Павлу Петровичу? Или они приснились ему?

– Шеврикука! – толкнул его Епифан-Герасим. – Вот Петюля хочет попросить. Но стесняется.

– Пожалуйста! – сказал Шеврикука великодушно. – Просите, чего хотите. Заказать вам двойной «Шеврикуксе»?

– Нет! Нет! – запищал Петюля из блюдца. – Мне… Но понять смысла его звуков Шеврикука не имел возможности. Он обратился к собеседнику Бушмелева как к переводчику:

– Что он? О чем он?

– Он просит заказать ему ацетонового клея. Четверть чайной ложечки…

– Зачем?

– Любимое кушанье. Долго был лишен…

– Он же внутри склеится!

– Напротив. Его изнутри разопрет. Потом – это каприз.

– Каприз. – это краеугольное, – согласился Шеврикука.

Сейчас же Петюля заговорил громко и басом, будто возле рта его оказался мегафон, а голос ему одолжил пензенский губернатор.

– Дело, Шеврикука, не в капризе. Хотя и в нем тоже требование организма. Не моего одного. И важно получить от бескорыстного угостителя.

– Это конечно! – сказал Шеврикука. И крикнул: – Человек!

– Не человек, – печально произнес трактирщик. – Шлямпенхвост. Что прикажете?

– Четверть чайной ложечки ацетонового клея. Если можно – в хрустальном наперстке, – сказал Шеврикука. – Мне же два коктейля – «Перл-Харбор» и «Хиросима-Нагасаки». А тебе что?

– Мне еще три солянки в одну посуду! – обрадовался Епифан-Герасим.

– А ты кто? – спросил Шеврикука. – Епифан? Или Герасим?

– Герасим! – прокричал громила. – И никто более.

– А отчего же… – Шеврикука чуть было не произнес «в бумагах», – ты еще и Епифан?

– Блажь одного идиота, – помрачнел Герасим.

Хорошо бы «идиотом» он держал в уме Бушмелева. Подумав так, Шеврикука шарахнул подряд два доставленных трактирщиком коктейля и был отчасти удивлен. Он намеревался прикоснуться губами к питейной мифологии тихоокеанского театра военных действий Второй мировой, а ощутил во рту, горле и пищеводе напоминание о Москве пятидесятых годов и коктейлях «Таран» и «Маяк», ценою в два рубля, чьими составными были

коньяк и водка, а меж ними пролегал желток предпочтительно свежего яйца. Если помните, Шеврикука к пьющим не принадлежал, а два удара не вызвали в нем ярких ощущений, но лишь досаду, легкую, как козий пух. Тройная солянка Герасима взбодрила. А вот малыша Петюлю хрустальный наперсток преобразил. Его на самом деле расперло, зеленый хвост Петюли удлинился и стал закручиваться кольцами, уши потянулись вверх и превратились в хоботки, а потом и в хоботы. Блюдце было немедленно заменено самоварным подносом, на нем почитатель клея теперь и дергался. Будто в нем поселился Блуждающий Нерв, неприятный и шумливый был Петюля. «Ну ладно, пусть! – подумал Шеврикука. – Посидели, и хватит…» К болтовне Герасима и Петюли он так и не прислушивался. Однажды в ней возникло имя Гликерии («А ты думал, конечно, Гликерия…»), но тут же и растаяло. «Надо расплатиться и подготовить себя к завтрашнему…» А чем расплачиваться-то?

– Шлямпенхвост! – подозвал трактирщика Шеврикука. – А этот Продольный… который с чубом… и с пулеметными лентами… Он походил на самозванца?

– На Самозванца? – обрадовался Шлямпенхвост. – Конечно походил! Он так и заявил: «Вот возьму и произведу себя в ваши воеводы. А там поглядим!» Но уж больно он вороватый. Зарился на наши исторические ценности.

И трактирщик указал на банки тушенки сорок четвертого года и пористый шоколад американских авиаторов.

– Зачем они ему?

– А я знаю? Сбыть, наверное, как коллекционные. За валюту.

– А разве не Бушмелева зовут в воеводы? – Глаза Шеврикуки были скошены в сторону Герасима.

– Что? Кого? – заерзал трактиршик. – Я ничего не слышал про Бушмелева! Ничего! Никогда! Трактир закрывается! Трактир закрывается!

– Жаль, жаль… – сказал Шеврикука. – Еще бы посидеть… Ну, если закрывается, надо расплачиваться за компанию.

– Вам-то что беспокоиться? – удивился Шлямпенхвост. – Вами за все заплачено. И наперед. Вы как зашли, так сразу и… Вы что – не помните?.. А теперь у вас и кредит. Да-с… Заходите-с…

– Ну да… Ну да… – пробормотал Шеврикука. – Конечно! И непременно! И за сегодня спасибо…

Громила Герасим уносил Петюлю из трактира «Гуадалканал» на самоварном блюде.

«Значит, так… – соображал Шеврикука. – Ну да, все верно…» Как

только он зашел, он и посчитал необходимым произвести некий опыт. Он даже ничего не произнес, а лишь мысленно указал, и все было воспринято. А названный исходящий номер был взят Шеврикукой из… именно, именно оттуда. Опыт удался и своим результатом приглашал Шеврикуку действовать дальше.

67

Как и положил себе Шеврикука, он отдохнул в Землескребе, отоспался и встал, освобожденный от сомнений, меланхолии и тоски. То есть мелкие сомнения в нем оставались. А иначе как? Что же касается меланхолии и тоски, то их, если толковать уже упомянутое суждение примечательной для Шеврикуки личности, отменила готовность к войне и отличному поручению. Ну, к войне, видимо, громко или преждевременно сказано.

В квартире Уткиных поутру Шеврикука уже смирным глазом исследователя читал личное дело приватного привидения Епифана-Герасима. Подробности татуировок Герасима Шеврикуку посмешили и обрадовали. В одной из них он углядел чертеж лабиринта Федора Тутомлина. Вернее, он предположил, что перед ним чертеж именно покровского лабиринта. И убедил себя в этом.

О Петюле он разыскал лишь одно упоминание, да и то в меленькой сноске. Но он посчитал, что уже знает или догадывается о Петюле и Герасиме существенно.

Можно было отправляться на встречу с Дуняшей.

Но прежде он повелел себе подняться в получердачье и осмотреть лежбище Пэрста-Капсулы в рассуждении порядка бытования подселенца в Землескребе и течения его недуга. Как бы в канун устройств бомжеубежищ не возникли поводы для отлавливания здесь бомжа. Радлугин – он добродетельный, но подвержен всяким неожиданным общественным порывам. И он был самоназначенным Старшим по подъезду.

Пэрст лежал в получердачье.

Мебели стояли здесь все те же, неизвестно кем и без ведома ответственного домового занесенные. Платяной шкаф. Тумбочка. Но что-то в получердачье и изменилось. А что?

Пэрст лежал бездыханный. Но, судя по запахам и их оттенкам, он не помер. Если, конечно, по условиям своего существования он не был нетленным. Башку его прикрывал конус Железного Дровосека с кожаным ремешком под подбородком, застегнутым, возможно, еще пальцами Шеврикуки. Исследователю показалось, что голова полуфабриката уменьшилась, а сам он удлинился. Но мало ли что может померещиться после застолий с Герасимом и Петюлей.

Вот и мнение о том, что Пэрст лежал упакованный или укутанный, возможно, было ложным. Во что упакованный или укутанный? Ни во что.

Или во всяком случае – в нечто прозрачное или даже невидимое, не позволяющее себя увидеть. В кокон! Но тут же он себя и поправил. Не в кокон. В капсулу! Именно в капсулу!

Но не в ту капсулу, в какую отрядили Пэрста на столетия сидений Отродья Башни в ожидании любознательных потомков. Та была похожа на футбольный мяч, ее осквернили строительные мужики, и она проросла металлическими прутьями с пивными пробками вместо листьев. Нет, посчитал Шеврикука, Пэрст помещен (или сам поместил себя) в капсулу удлиненную, облегающую его тело, уберегающую его до поры до времени от дурных воздействий.

До поры до времени? До какой поры? Сказано было как-то: до конца сентября. Или октября. А нынче – август. Но что ему-то, Шеврикуке, сроки полуфабриката?

Главное, что тот лежал утихомиренный, чистый, в свежем белье, не шумел, не буянил, не издавал звуков и ароматов, какие могли бы привлечь ловцов бомжей.

И Шеврикука покинул получердачье.

Покинул отчасти раздосадованным. Досады его имели происхождение эгоистическое. Конечно, не из-за Радлугина и ловцов бомжей посещал он Пэрста-Капсулу. Конечно, и здоровье подселенца он был обязан иметь в виду. Судьба подселенца занимала его сама по себе. Но он и надеялся. В особенности сегодня…

Ну что же, сказал себе Шеврикука, обойдемся без приспешников, без помощников и тем более без советчиков.

А может, он все же прикидывается охолодавшим и бездыханным? Сам же, стервец, вослед Шеврикуке глаз приоткрыл, а потом, язык в спину показав, выругался небось единицами своего энергетического измерения и расхохотался.

Дуняша-Невзора поджидала Шеврикуку в Лавандовом саду невдалеке от Купального пруда. Сегодня она более походила на больничную сиделку, аккуратную и сострадательную. «Опять тоску нагонит?» – насторожился Шеврикука.

– А что же ты не кормишь своих бегемотиков? – спросил он.

– Обойдутся! – сердито сказала Дуняша. – Слушай, Шеврикука, что ты натворил! Отчего ты не вернул Петюлю на Лужайку? Как ты позволил ему пить клей?

– Вот тебе раз! – удивился Шеврикука. – Ты меня не предупредила, чем его поить, а чем нет.

– Да хоть бы и предупредила! Ты все равно бы поступил по своему

самонравию!

– Что значит – по самонравию?

– То и значит! По самонравию!

«Это про Потемкина утверждали, – вспомнилось Шеврикуке, – ведет себя не по законам, а по самонравию…»

– Самонравие – самодурство, что ли? – спросил Шеврикука.

– Твое самонравие – возможно, и самодурство! – заявила Дуняша. – Теперь сам расхлебывай.

– А не ты ли подсунула мне Петюлю и посоветовала зайти в трактир?

– Я хотела тебе помочь! Чтобы Герасим разговорился, а ты бы из него что-нибудь вытянул.

– Ну и что же натворил Петюля? Чем он теперь нехорош? И почему он не может вкушать ацетоновый клей, коли он того желает?

– А потому, что не может. Ему запрещено. Его начинает лихорадить. И в него входит Нерв. И сам он начинает взъяряться.

– Ты не забыла про бинокль?

– Не забыла…

– Так к кому вхож Петюля?

– А ты не знаешь?

– Не знаю.

– Ты дурака валяешь?

– Ладно… Гликерия держала в руках бинокль?

– Нет. Она не знает о нем. Это моя затея.

– Ты врешь.

– Я не вру.

– Так к кому вхож Петюля?

– К троим.

– Значит, насчет бинокля и Гликерии ты не врешь?

– Не вру.

– Ну и окончим на этом разговор.

– Хорошо… – Дуняша положила руки на колени. – Я вру. Гликерия развинчивала и обнаружила…

– Бинокль беру, – сказал Шеврикука. – Насчет Петюли?

– Он вхож к троим. Определенным. Но он вхож и ко многим. К кому укажут. К кому захотят. В этом его особенность и ценность. Сам же он увлечен компьютерами. У него приятель… как это… Белый Шум… Слышал о нем?

– Слышал, – кивнул Шеврикука. – Он и мой приятель… А Петюля и Герасим?

– Не знаю. Восемнадцатый век. Меня тогда не было.

– Опять ведь неправда…

– Поговоришь нынче с Гликерией, и отпадут вопросы, – сказала сиделка и помрачнела, будто вспомнила о своей больной, распластанной под капельницей.

– Ты сейчас поведешь меня к Гликерии? – спросил Шеврикука.

– А более и времени не будет.

– Но выходит, что Петюля-то – вредный. А ты его угощаешь ячменным зерном.

– Мои слабости. И Петюля вредный не всегда.

– Вредный, когда проявляет самонравие?

– И тогда тоже.

– А мне по душе слово «самонравие», – сказал Шеврикука.

«А Пэрст-Капсула – самонравный? Кстати, а не вхож ли в его сны, видения, а может, и кошмары, его недомогания Петюля? С Белым-то Шумом они приятели… Но вряд ли Дуняша ведает о полуфабрикате, уберегаемом нынче невидимой капсулой».

– И где же теперь Петюля?

– На игровом поле. С Герасимом. Пока клей из него не выйдет и не опадут раздутия, его к Лужайке Отдохновений не допустят, а ячменные зерна он получать не будет.

– Экая досада…

– Ладно. Вести тебя к Гликерии Андреевне? Ты готов?

– Готов.

– Ты ее не огорчишь? Ты ее не обидишь?

– Не имею намерений. Бинокль у тебя? Или у Гликерии?

– У меня. Гликерия ничего бы не смогла пронести в узилище…

«Ну это, положим…» – хотел было возразить Шеврикука, но не возразил.

Принял протянутый ему перламутровый бинокль, рассматривать его не стал, сунул в карман джинсов, пальцы его наткнулись на нечто твердое. «Соска-затычка, – вспомнил Шеврикука. – Исключительно для правого уха…» Ему опять захотелось вышвырнуть подарок Отродий, доставленный Веккой-Увекой, но вызывать вопросы Дуняши он не пожелал.

Шли они уже с Дуняшей в березняке с ореховым подлеском, под ногами шуршали папоротники, трещали белые подгрузди, и туман, туман опадал на них. «Я дальше не пойду, меня не пустит, там впереди камни и пещеры, – прошептала Дуняша. – Ты проводник. Ты пройдешь. Ты вызывался быть проводником. Ты пройдешь?»

– Ты пройдешь? – спросила она громко, с сомнениями и испугом.
– Пройду! – сказал Шеврикука. – Поворачивай.
– Я буду ждать…
– Здесь не жди!
Туман затемнел теменью. Испугов Шеврикука не ощущал, не то было намечено им предприятие, чтобы его сочли необходимым остановить капканами и препонами. Дурацкий бинокль если и мог что-либо отворить, по уверениям ослабленного меланхолией Иллариона, то не здесь и не сейчас. Сейчас же следовало повторить опыт, начатый в трактире «Гуадалканал». Но там усилия прилагались по пустяковому поводу – всего лишь расплатиться за себя и за двух скромных в потребах собутыльников. Теперь же без шумов надо было заменить взрывные устройства или хотя бы отбойные молотки. «Будем ответствовать! – заверил себя Шеврикука. – Будем ответствовать!»
Дабы ответствовать, должно было обратиться не только к силам, какие и обеспечили благополучный уход из американо-японского «Гуадалканала», но и к своим долгосрочным обретениям. Что Шеврикука и сделал. Его тотчас завертело, ткнуло головой в твердое, ушибло, но не одурманило болью, камни же стали словно бы сыром, потом и плавленым, и творожным, Шеврикуку проволокло сквозь сырково-творожную массу, не измазав и не забив ему нос, рот и уши, а затем и вынесло в пустоту. Пустота была черной, явно замкнутой пазухой в чем-то, пещерой или камерой, догадался Шеврикука. И догадка его вскоре подтвердилась. А прежде он услышал женский вскрик, не громкий, не истеричный, но скорее брезгливо-предупредительный, будто к ноге кричавшей присоседилась мокрая мышь.
Без всякого разумного движения мысли Шеврикука выхватил бинокль, и тот неожиданно испустил свет, не яркий, но давший увидеть женщину в монашеском плаще с капюшоном. Бинокль словно бы вызвал другое свечение. Над Шеврикукой, уткнувшимся в камни, возникло тюремное оконце с решеткой. Женщина, хотя Шеврикуке удалось разглядеть лишь нижнюю половину ее лица, была несомненно Гликерия. Но требовалось и подтверждение.
– Ты рада мне так, – сказал Шеврикука, – будто я и впрямь мышь.
– Шеврикука? – с удивлением произнесла Гликерия.
– Кто же еще? Ты что, меня и не ждала?
– Ждала, – подумав, ответила Гликерия. – Но с сомнениями.
Теперь Шеврикука разглядел камеру. Длинная, узкая. Пенал. Или часовня? Гликерия сбросила капюшон, откинула голову и стала похожа на

героиню Флавицкого, измученную ужасами мира и оскорбленную подлостью известных ей лиц.

– Ты прикована?

– Да. Я на цепи, – сказала Гликерия. – Здесь узилище.

– Сейчас я освобожу тебя. И выведу отсюда.

– Нет! Нет! Меня не надо выводить отсюда! И не надо освобождать от цепей! – вскричала Гликерия чуть ли не в испуге.

– Но зачем я здесь?

– У тебя много времени? – спросила Гликерия.

– У меня времени мало.

– Тогда будем говорить коротко. И вопросов следует задавать немного.

– Но все же – из-за чего ты здесь?

– Не по своей воле. Из-за чужих козней!

– Из-за чьих? И в чем нарушена или уязвлена твоя воля?

– Если ты явился сюда мстителем или освободителем, – сказала Гликерия, – твой приход бессмысленный.

– Что и зачем я должен делать? – спросил Шеврикука. – Нас могут слышать и наблюдать теперь?

– Я думала: ты позаботился о том, чтобы не могли… – Гликерия будто бы удивилась его вопросу.

Шеврикуке вновь пришлось обратиться к приданным ему силам.

– Так что и зачем я должен сделать?

– Если это не противоречит твоим отношениям ко мне, твоим желаниям, твоим возможностям, я просила бы тебя, я умоляла бы тебя проникнуть в нечто, добыть нечто, что обеспечило бы мне истинное положение и свободу, в частности, от страхов и дурных обязательств.

– Наволочки хватит? – спросил Шеврикука.

– Что? Какой наволочки? Для чего?

– Для добытого. Мне в силу самых разных причин, не в последнюю очередь – сословных, удобнее всего уносить добычу в наволочках.

– Ты балагуришь, Шеврикука! Ты смеешься… – И Гликерия расплакалась.

– Ничего подобного, – сказал Шеврикука мрачно. – Я не шучу. И ты бы могла знать мои привычки. Но где уж тут помнить о них…

– Не обижайся, Шеврикука. – Гликерия шагнула к Шеврикуке, произведя звон оков.

Шеврикука расстроился или даже испугался. Слезы уже состоялись, цепи зазвенели, следом могли открыться нежности, и все пошло бы прескверно. Он положил себе избегать всяческих проявлений

чувствительности, чтобы не мешать делу, он и держался, но теперь и сам шагнул навстречу Гликерии, дал ей уткнуться ему в грудь и выплакаться.

– Все. Оставили, – сказал Шеврикука, отстраняя Гликерию. – Если я вспомнил наволочки, значит, я настроен всерьез. Будь добра, излагай суть дела.

Суть дела содержалась в следующем. Гликерия, хотя и принадлежала к роду Тутомлиных, из-за того, что служила в доме на Покровке привидением, многого в этом доме не могла, не имела на то прав. Доступное простой личности в силу установлений было недоступно ей. Под простой личностью можно было понимать и Шеврикуку. Нарушение установлений каралось жестоко (в узилище же ее затворили из-за других бед и злоключений, не расспрашивай сегодня каких). Потому и простенький бинокль, шестистепенная штучка, добывался известным Шеврикуке способом. Перед самым затворением в узилище Гликерия все же отважилась и попыталась пробраться к покровским тайникам. Однако во всех местах и щелях ее проникновений Гликерию словно бы током отшибало. «К тому же я не такая, как ты…» – «Проныра», – подсказал Шеврикука. «Нет, нет! – не согласилась Гликерия. – Просто ты лишен моей щепетильности и многих моих ложных комплексов. К счастью, и Бушмелев по установлениям не может проникнуть в тайники», – тут же сообщила она. «При чем тут Бушмелев?» – насторожился Шеврикука. «Ни при чем, ни при чем! – поспешила ответить Гликерия. – Но он может нанять…» Она замолчала. «Пройдох, таких, как я… – хотел было продолжить за Гликерию Шеврикука, но слово „пройдоха“ в нем задергалось, подпрыгнуло и превратилось в „Продольного“. – Может, может! – убедил себя Шеврикука. – Надо тотчас же действовать!..»

Стало быть, Шеврикуке, раз он взялся, предстояло проникнуть в тайники и добыть… Последовали перечисления, какие скоро утвердили Шеврикуку в мысли, что одной, даже и купеческой, первогильдийной наволочки ему будет мало. Тут тебе хоть из купчихиной перины выпускай пух и закидывай перину за спину.

– Но там, говорят, все давно выгребли, там ничего Нет! – убежденно сказал Шеврикука.

– Есть, есть! – схватила его руку Гликерия. – И в кабинете-убежище Федора есть, и в тайниках рядом с ним он держал реликвии своих дядьев и дедов. Добраться до них никто не мог. Один лишь твой подселенец. Но он унес только бинокль.

– А чаша? А клеть?

– Увидишь! Увидишь! Проберись!

– Проберусь! – заверил Гликерию Шеврикука. Он уже ощущал себя пробравшимся и одолевшим неприятеля. О» сокрушил стены и расшвырял преграды.

Впрочем, надо было утихомириться. После следующих перечислений Гликерии, прозвучавших деловито, Шеврикука почел нужным иметь еще две наволочки. Особого упоминания удостоилась некая историческая булава. «Символ власти военачальника», – вспомнился Шеврикуке вопрос недавнего кроссворда с фрагментами. Чья это булава и какому воечальнику она теперь предназначалась? Не новому ли воеводе? На вопросы о булаве и бочонке Полуботка с золотом Гликерия отвечала нервно. Бочонка там действительно нет, Мазепа его туда не завозил, а что касаемо булавы, то какая, чья, кому, зачем, она все объяснит Шеврикуке позже, позже, позже! Сейчас надо спешить. Согласен, кивнул Шеврикука. Как личное одолжение (а остальные – не личные, что ли?) Гликерия просила отыскать одну миниатюру, ей очень дорогую, она сейчас нарисует, где искать, картинка могла заваляться, на ней – женщина на лошади, со шпагой в руке, ну, он сам увидит и поймет…

– Все, что ли? – спросил Шеврикука, как бы давая понять, что хватит, и так добра тащить достаточно, нельзя пережадничать, тем более что надо спешить.

– Да, – сказала Гликерия. – Сейчас все повторю по порядку.

Повторила. Шеврикука шевелил губами ей вдогонку, укладывая в себе пункты стратегемы. Назначенное к выносу из дома Тутомлиных его озадачило. Зачем Гликерии столько всего, несочетаемого к тому же, будто она барахольщица и желает иметь дела с торговцами антиквариатом?

– Во всех этих предметах есть смысл и мифологическое назначение. Со временем, через несколько дней, у тебя отпадет необходимость задавать вопросы.

– Куда тащить наволочки с добром? – спросил Шеврикука.

– Не сюда же. Сначала к себе, в какое-либо укрытие. Потом все оценим, обдумаем и решим, с чем и как быть.

– Хорошо, – сказал Шеврикука.

– Иди ко мне, – позвала Гликерия.

– Зачем. – прохрипел Шеврикука. – Надо спешить…

– Нет, – сказала Гликерия. – Просто подойди ко мне… Вот так… Шеврикука, прости меня!..

Гликерия, обняв Шеврикуку, целовала его, провожая на подвиг.

– Иди, Шеврикука! Прощай!

– При чем тут «прощай»? – удивился Шеврикука. – Я не люблю это

слово.

– Прощай, прощай, Шеврикука! Прости меня! Грешную, недостойную! – И Гликерия снова расплакалась.

«Ну хватит!» – будто выругался Шеврикука и шагнул от Гликерии вбок, в черноту камней.

Мрачный прохаживался Шеврикука улицей Королева, а потом и Звездным бульваром. Был бы открыт на Королева, пять, пивной автомат, он бы зашел туда в поисках облегчения, но увы…

Снова вползла в него тоска. «На Острове Тоски двадцать две стальных доски…»

– Шеврикука! – окликнули его.

Перед Шеврикукой стоял сановитый домовой Концебалов-Брожило, в грядущем – Блистоний, в коричневом бостоновом костюме налогового инспектора, но в сандалиях римлянина. Концебалов был хмур и важен.

– Шеврикука, два слова.

– Слушаю.

– Там, где вы будете… завтра… да, завтра… среди коллекции с библиотекой графа Сергея Васильевича Тутомлина стоит и мой Омфал… Одна из Лихорадок решила содержать его там…

«Стало быть, – подумал Шеврикука, – не только мой подселенец был способен проникнуть в тайники за лабиринтом. Одна из Лихорадок… Для меня все равно какая…»

Он вздохнул.

– Вы меня не поняли? – спросил Концебалов.

– Я вас понял.

– И что?

– Четвертая наволочка, – сказал Шеврикука.

– Вы мне не ответили. А я ведь ваш должок Кышмарову отменил…

– Какой еще должок! – возмутился Шеврикука. – И я вам ответил. Четвертая наволочка. Если достану четвертую наволочку…

68

Утром Шеврикука пах мятным листом, был свеж, выбрит и готов к предприятию.

Но его занимала мысль о Совокупеевой.

Если Дуняша не соврала и не нафантазировала, и если нынче в доме на Покровке начиналась апробация или пилотная деятельность Салона призраков, привидений, колдунов и ведьм «Анаконда», и если Совокупеева Александрин вовлечена, ему непременно, ради чистоты предприятия или интересов дела, надо встретиться с Совокупеевой.

И не только встретиться, но и иметь с ней, по мере возможностей, совместное удовольствие.

Мысль эта представлялась ему не авантюрно-озорной, не пошло-физиологической, а дающей оправдательное объяснение предприятию.

В нем он, Шеврикука, так он постановил, должен был быть свободен от Гликерии.

От личностно-заинтересованного расположения к ней.

Он обязан быть чужим к ней.

В узилище он выдержал. А ведь Гликерии кандалы, ножные и ручные, цепи со звяканьем, шипы – до крови, нисколько бы не помешали. Напротив, они должны были бы обострить и разгорячить ее. И она позвала его. А он выдержал. По-дурацки это вышло или не по-дурацки, но он выдержал.

В тайники он должен был проникнуть ради себя. А не ради кого-то. И не из-за своей зависимости от кого-то или от каких-либо своих чувств. Не из сострадания или жалости к кому-то. А ведь в узилище он сострадал и жалел…

«Ну и потребы у нее! – раззадоривал себя Шеврикука, направляясь со станции метрополитена мимо Чистых прудов и балкона Ростовцева над ними к Покровке. – И даже вещицы, добытые Пэрстом из раскопа в Марьиной Роще, оказались ей нужными, большелобые восточные странники с посохами, копилка, откуда узнала она о них?» Он опять недоумевал по поводу состава заказанной добычи.

Ни в доме Тутомлиных, ни во дворе никаких признаков пилотной деятельности салона «Анаконда» Шеврикука не обнаружил.

– А загляните за угол, в Сверчков переулок… – неуверенно посоветовал опрошенный прохожий. – Там вроде бы футбольные колдуны…

Смотреть на футбольных колдунов Шеврикука не пошел, а направился к магазину А. Продольного «Табаки и цветные металлы». Блондинки-милашки, хоть сейчас в стюардессы, а может быть, только что из стюардесс, под глянцевыми видами Риги и Таллина принимали заказы на алюминиевые трубы, о хозяине ничего сообщить не смогли, кроме того, что он душка, что он вышел ненадолго по делам и что в Липецке у него есть дядя, тот поставляет сигарные махорки.

Ощущая, что он остывает, а медлить никак нельзя, Шеврикука все же свернул в Сверчков переулок.

Три дня назад на желтом флигельке, возрастом в двести лет, без оконных рам и дверей, болталась зазывальная тряпка: «Сдается в аренду, 200 квадратных метров». Нынче дом блестел, звенел и процветал не хуже магазина А. Продольного. Над дубовой дверью, украшенной золотыми перекрестьями, над узорочьем крыши крыльца, на самой двери торжествовал змей Анаконда, премудрая тварь, выползавшая из… нет, не из медицинской посуды… из Пузыря, сообразил Шеврикука. А каковы были окна вчерашнего сиротского флигелька! Что тебе Венеция! Что тебе Атлантик-Сити! Что тебе Никольская улица в Китай-городе! Значит, концерн «Анаконда» свернул и в Сверчков переулок. «А Пузырь-то при чем? – подумал Шеврикука. – Отчего Пузырь-то положили под змея? Или же вышли и на Пузырь? Или это не Пузырь, а мне мерещится…»

А вот вывеска слева от двери сомнения отбрасывала: «Салон гарантированных чудес и благодействий концерна „Анаконда“. Привидения, призраки, колдуны, ведьмы, пришельцы, депутаты, кандидаты, доктора».

Чудеса и благодействия осуществлялись на втором этаже.

Шеврикука смутился, он был тут лишний и бесполезный, служивый портфель (кейсы он не уважал) прижал к боку, в нем уплотнились четыре наволочки, бинокль, кушак, веревки с бельевыми зажимами и кое-какие инструменты для исследовательских и вскрышных работ. Если бы его где одернули и устроили натягай, он бы ответил: обещан дождь, ищу помещение, где можно было бы посушить наволочки. Впрочем, не такой он был идиот, чтобы бормотать кому-либо подобные глупости. Тем более что наволочки лежали в портфеле сухие и глаженые.

– Ба, Игорь Константинович! – закричал налетевший на Шеврикуку известный предприниматель Олег Сергеевич Дударев. – Вы-то мне и нужны! Я только что хотел вам звонить!

– Я насчет паркетных работ узнать… – кротко начал объясняться Шеврикука.

– Да какие тут паркетные работы! – хохотнул Дударев. Нынче на нем была белая футболка с обещанием на груди:

«Не навредим!», на спине же – с угрозой: «Но и вы не вредите!» – Вы же играли в «Локомотиве» правым краем!

– Я? В «Локомотиве»? – удивился Шеврикука.

– Ну-ка! Покажите ноги! Расставьте, расставьте их! Ну рот. Все верно. Они у вас кривые. А правая короче левой и загребает! Замечательно!

– У меня кривые? – возмутился Шеврикука. Он был доволен стройностью своих ног. – И правая короче? Да я…

Будь Дударев менее воодушевленным, он сообразил бы, что ему следует быть поделикатнее в эстетических категоричностях, но он не мог остановиться:

– Успокойтесь, ноги у вас достаточно кривоватые, у всех приличных футболистов ноги кривоватые, и у паркетчиков тоже, а у Гаринчи одна нога была короче другой, и какие финты! Пойдемте, будете нынче консультантом.

Не желая выслушивать жалкости протестов, Дударев повлек Игоря Константиновича в зал общих операций.

Там был словно бы американский, если верить боевикам, весь в стеклянных перегородках, офис, то ли редакция газеты, то ли полицейский участок, не хватало лишь негров, и паркет успели настелить, когда же, но плохонький паркет, корявый…

Еще по дороге в офис Шеврикука пытался оказать сопротивление словами, на его взгляд, справедливыми:

– Это у Сергея Андреевича Подмолотова, Крейсера Грозного, ноги кривые, и каждая длиннее другой, и он до сих пор играет вратарем за клинкерный завод. Его и берите в консультанты.

– Так-то оно так. Но где отыщешь этого олуха и дармоеда! – сокрушался Дударев. – А вы сами… Вы учуяли. Грозного мы еще отыщем и приставим. А вы и прибавку к жалованью получите. Если хотите – в гривнах, в «мазепах». Они дороже доллара. Вон сколько у нас сегодня заказчиков.

В офисе толкались и гудели мужики.

– А сотрудников у нас пока кот наплакал.

Движение руки Дударева направило взгляд Шеврикуки на сотрудников. Они были выставлены напротив заказчиков. Будто для опознания. Казались удрученными. Были все это дамы и барышни и лишь один маленький мужичонка, наверняка колдун и хахаль супруги активиста Радлугина. Та поддерживала мужичонку под руку. Среди удрученных (или

озадаченных?) сотрудников Шеврикука увидел Леночку Клементьеву, Совокупееву Александрин, Векку-Увеку и еще двух знакомых ему прелестниц. Дударев взял бумажки нарядов и поинтересовался:

– Так. У кого Черкизово, стадион «Локомотив», ворота у Южной трибуны, дальняя от правого края штанга, отметка – «шестерка»?

– У меня, – выступила из строя Совокупеева Александрин.

– Замечательно, – обрадовался Дударев. – Первой, Игорь Константинович, вы обслужите заявку Александры. Ильиничны Совокупеевой.

– Да, Игорь Константинович, – еще более обрадовалась Совокупеева. – Первой вы обслужите меня.

Явно было, что и другие сотрудники готовы к тому, чтобы их заявки обслужил консультант Игорь Константинович, шагнули к Шеврикуке и Векка-Увека, и супруга Радлугина, не отпуская от себя колдуна и хахаля и даже подталкивая его вперед, но кто из них мог соперничать теперь с Александрой Ильиничной Совокупеевой?

А Совокупеева схватила руку Игоря Константиновича своей жаркой рукой и повлекла его в собственный студийный кабинет.

– Да не смогу я, Александра Ильинична, – жалко бормотал Шеврикука.

– Сможете, Игорь Константинович! Вы все сможете! – уверяла его Совокупеева.

Ведомый Совокупеевой Шеврикука слышал последние успокоительные уверения Дударева в том, что Игорь Константинович долго не задержится с консультацией и что Крейсер Грозный, еще более крупный специалист, а со времен парагвайского мореплавания и обретения амазонского змея Анаконды – друг Пеле, появится вот-вот.

Студийный кабинет Совокупеевой весь был в восточных диванах, коврах, цветах и благоуханиях.

– Подождите, Игорь Константинович, – сказала Совокупеева. – Какой вы нетерпеливый! Сначала давайте разберемся с этим идиотским футболом. Через час я должна ехать в Черкизово, на «Локомотив».

– Бывший «Сталинец»…

– Что?

– Это я так, – смутился Шеврикука. – Всякая муть осела в памяти.

– Ладно. А я должна ехать туда расколдовывать ворота. А другие заколдовывать. Рассмотрим чертежи.

Особенность пилотного дня Салона чудес и благодействий заключалась в том, что первыми сюда заявились умеющие работать ногами,

локтями, а те, кто повыше, и головой администраторы семи футбольных команд. Были и другие желающие, страдальцы и томленые, но футболеры одолели срочностью. А потому и вынужденной крупностью предоплат. Именно сегодня проходил тур в высшей, первой и второй лигах. Опять бездарные составители календаря из федерации сбили в кучу зрителей и команды в одни и те же часы на семи московских стадионах – «Динамо», «Локомотив», «Торпедо», ЦСКА, на Песчаной, Малом и Пионерском полях Лужников и в Бескудникове. А в спорте нынче никак не обходятся без договорных ничьих, откручиваний колес в «Формуле-1», пинаний ногами под шахматной доской претендентов. И естественно, колдунов. Нигерийцы привозят на Олимпиады совершенно диких и темных колдунов, с кольцами в носу, из джунглей, англичане же предпочитают диплом Оксфорда – кембриджскому (из-за Толкиена). На чертеже Александры Ильиничны ворота были изображены как ворота, с сеткой, нигде не порванной, лишь в левом углу их, над землей у штанги, зловеще полыхала кровавая метка – шестерка. Который год «Газовику» из Тюмени сюда забивали голы с правого края резаным ударом.

– Так… Дальняя штанга… – задумчиво бормотал Шеврикука. – С правого края… Кривоногий… Делов-то… Вы сейчас отойдите от меня, Александра Степановна… И пыл умерьте… На время… на время… А то не выйдет…

Он поводил руками над тренерским чертежиком, пальцами шевеления и вздраги произвел, вспомнил простенькие заклинания Петра Арсеньевича и по аналогии с ними произнес про себя заклинание на иссушение кривоногого, семь на футболке. С другими воротами тяжестей также не было. Тут Шеврикука с удовольствием сочинил заклинание на упрощение кивка головы.

Вечером все вышло замечательно, в «южные» ворота ни от какого правого края ни одна дуля не залетела. В «северные» же при подачах угловых кивками головы центрального защитника были уложены два мяча. Но об этом Шеврикука не узнал.

– Ну и все, – сказал Шеврикука.

– И что?

– Поезжайте. Травку на поле во вратарских площадках подергайте. Понюхайте. Сплюньте. Землицы оттуда же посыпьте на эти бумажки, а потом сдуйте ее на заказанные места. Шляпка у вас есть?

– Берет.

– Наденьте.

– Жарко.

– Наденьте. У первых ворот сдвиньте берет на левый бок. У вторых – на затылок. И все.

Шеврикука боялся, что она не поверит ему.

Но она поверила. Во всяком случае, не потребовала ни разъяснений, ни новых действий. То ли ей вся затея представлялась неразумно-бесшабашной. То ли ей уже не терпелось.

– Иди ко мне, – сказала Александра Ильинична.

Она сидела на диване у окна, пышная, жаркая, спелая. Скинула кофту, обнажив роскошество плеч. На подоконнике за ее спиной теснились яблоки («как же, вчера ведь был яблочный Спас…»). Прежде, в застолье при разгоне Департамента Шмелей, и позже Шеврикуку посещали мысли о том, что Совокупеева сложена из ядер. Теперь же он подумал: не из ядер, из яблок, из краснобоких, медовых, налитых соком августовских яблок!

– Ну иди же! Иди!

И Шеврикука пошел.

О, сладость восточных диванов!

69

Совокупеева, дабы уберечь Шеврикуку от новых консультаций, открыла окно, им он, осторожничая, лаская стену, соскользнул на асфальт Сверчкова переулка.

Но уже при первых шагах по асфальту понял, что сладости восточных диванов и ковров ослабили его. Если не сказать: привели в изнеможение. Надо было отсидеться и передохнуть. Вскоре он обнаружил магазин с розливом. Там наполняли кружки пивом «Радонеж» и на тарелках подавали креветки. Бумажек из карманов Шеврикуки хватило на кружку, запахи же креветочных панцирей можно было вбирать в себя даром. А что, если как в «Гуадалканале», подумал Шеврикука. Попробовал. Вышло, как в «Гуадалканале». Шеврикука выпил еще две кружки «Радонежа» и расчистил три тарелки креветок. Мог бы хлебнуть и стакан водки, но посчитал, что преждевременно. Ни с кем не общался, политиков не трогал, Чечню не склонял и ни в коем случае не поддерживал разговоры о сегодняшнем футбольном туре. Сосредоточивал, собирал себя.

Изнеможение сняло. Надо было идти. А не вставал. Подняло же его с места и вмиг соображение о том, что на водопой может заглянуть Крейсер Грозный, призванный в Салон чудес и благодействий для консультаций.

И вот Шеврикука уже стоял перед домом Тутомлиных.

Отщелкнув замок, запустил руку в портфель, наволочки были целы, инструментарий и бинокль тоже.

Деньги, явившиеся для уплаты за пиво и креветки, легкость и даже веселость происшедшего с ним и с Совокупеевой были хорошими знаками, побуждавшими его действовать скоро и с отвагой. Погонявшими его исполнять предназначенное.

Прежде он появлялся в доме на Покровке мухой-дрозофилой, пауком, сплетавшим себе под сводами нижних палат кружевной замок, сегодня же он почел нужным пребывать в гостях у Тутомлиных любым Шеврикукой, когда пожелает – видимым, ощутимым, телесным, когда пожелает – невидимым, невесомым, складным.

Прибытие в гости к Тутомлиным он позволил себе ступенями парадной лестницы. Портфель Шеврикуки людям, глазевшим на него, возможно, мятежно-остающимся (или мечтательно-остающимся?) жильцам, возможно, арендаторам, объяснял деловую московскую уместность посетителя или даже его необходимость.

Номера помещений из заманного дударевского проспекта ко дню смотрин дома Шеврикука запомнил и заглянул в №25 – 27 (граф Сергей Васильевич Тутомлин, считавший себя виноватым перед убиенными на эшафотах женщинами, позже – арендатор парка Фонтенбло и основатель яхт-клуба в Париже), в №12 (граф Платон Андреевич Тутомлин, отплававший навигатор, патриот картофеля и устроитель в собственном камине – зимой! – первого в Москве инкубатора на пятьсот цыплят), в №21 – 22 (граф Константин Тутомлин, якобы на спор поправивший косицу императору Павлу и якобы добывший, опять же на спор, золотую с бриллиантами табакерку государя. А Илларион? А Илларион-то как же? Что теперь гадать! Надо было в Гатчине и спросить у Павла Петровича о табакерке. Но зачем?). Побывал Шеврикука и в №32 – 34 (княгиня Мосальская, принцесса Ноктюрн), и в №35 – 36 (графиня Ольга Константиновна Тутомлина, в восемьдесят семь лет катавшая в Париж за приличными платьями к коронации Александра II). Поднимался Шеврикука и на чердак, где две ночи в восемнадцатом году коротал Савинков. Спускался и в комнаты, принимавшие чернокнижных послушников Якова Брюса. И только потом направился к №39 – 43, связанным со злодейской и распутной жизнью заводчика Бушмелева. Что и говорить, все тут быльем заросло, и так заросло, и таким быльем, что, если бы Игорь Константинович Шеврикука был не знаток резаных ударов кривоногого правого края, а почитатель отечественной старины, он бы достал из кармана мятый платок и вытер бы влажности под глазами.

В осмотренных им номерах его заинтересовал камин-инкубатор графа Платона Андреевича. Каминными ходами, понял Шеврикука, можно было и теперь выбрести в лабиринт. Но Шеврикука положил себе продвигаться через Бушмелева. Пусть тот почувствует его, коли имеет возможность, пусть взволнуется, пусть обозлится, а там посмотрим. К обозлению Бушмелева и мелкой суете зловредного домового Пелагеича Шеврикука себя приготовил.

Но в бушмелевских покоях, частью – уже пустых, частью – все еще разгороженных на коммунальные каморки, Шеврикуку раздосадовав, никто не проявил к нему ни злобы, ни оборонительных предосторожностей, ни простого интереса.

«А вдруг они вчера уже все вынесли?!» – осенило Шеврикуку.

К камину-инкубатору возвращаться не стоило. По представлениям Шеврикуки он стоял теперь в одной из спален Бушмелева – парадной. Стены ее когда-то были обиты красным штофом, а за событиями в алькове с двух портретов непременно наблюдали император и императрица. Где

ныне утомленные знакомством со страстями и бесстыжествами Бушмелева портреты? Неважно. А вот где они висели, Шеврикука сообразил. Застыв на минуту, сосредоточиваясь, обращаясь к силам, приданность коих (а может быть, даже и преданность?) к себе он уже испытал, он бросил себя в стену, во вмятину, в пятно, оставленное энергией портрета мужского, и внутри стен, срезая углы и повороты тайных ходов, стал, винтясь, продвигать себя к лабиринту графа Федора.

И продвинул.

Но продвинул лишь в приемные устройства лабиринта. Три дня назад здесь ему устроили заграждения и далее не пустили. Теперь же никакого сопротивления он не ощутил. Ничье неприятие не обволакивало. Это Шеврикуку насторожило. Ну, конечно, силы… Но и при силах надо было быть осмотрительным. При силах-то – в пять раз более осмотрительным. Ну ладно, в узилище к Гликерии он мог позволить себе ринуться дерзко и с вызовом, без оглядки. Да и тогда это было ребячеством. Будем считать, простительным. Сейчас он был обязан озадачить силы так, чтобы они были ему не только тараном, средством внутристенных передвижений, отмычкой, добытчиком, но стали и разведкой, дозором, охороной, а в случае нужды – и полевым лазаретом.

Шеврикука и озадачил силы.

И вступил в лабиринт.

«Лабиринт шутейный. Для глупых и не умеющих считать. Паутина, сплетенная лишь с тремя подвохами», – оценил Пэрст-Капсула создание Федора Тутомлина.

Шеврикука помнил татуировку на плече громилы Епифана-Герасима. Но он отдал знание силам. И считать Шеврикуке не надо было уметь. В мгновение он пронесся лабиринтом в коридоры зеркал, за какими и местилась дверь в подземное укрытие графа Федора.

Зеркала… «Третий подвох, только и всего. Сверни вправо за угол…» Возбужденным, будто бы бегущим за троллейбусом в надежде растолкать очередь и вскочить на подножку, Шеврикука увидел себя в отражениях. Десять Шеврикук. «Куда они? Куда я? Зачем? Зачем это мне?»

И Шеврикука присел на корточки.

На самом деле – зачем это ему? Неужели и впрямь нельзя было освободить Гликерию и облегчить ее участь иным способом? Она просила не задавать вопросы. Известное дело: не задавай вопросы, если не хочешь услышать неправду. Но он здесь не из-за одной лишь Гликерии. Из-за чего же? Ради того, чтобы испытать свои возможности? Пусть будет так. Пусть будет так! Что же теперь останавливаться, коли ввязался и понесся

бесшабашно, с дерзостью и опять же с веселостью? Пожалуй, веселости Шеврикуке уже недоставало… Ладно, посчитаем, что третий подвох лабиринта – именно сомнения в зеркалах. Зачем? Зачем он? Зачем он в этом мире? А так как ответы на это сыскать было нельзя, следовало отбросить сомнения и свернуть за угол.

Что Шеврикука и сделал. И увидел дверь. Раззадорившись, осмелев, распалив себя шальными надеждами, ударил с разбегу плечом в дверь. И влетел в укрытие графа Федора.

Да, не первый он тут был, не первый. И Илларион – не первый. И Пэрст-Капсула. До них побывало тут множество посетителей, путешественников и воров. По образованию – англичанин, в зрелые годы – полковник, в остальные – шалопай, граф Федор устроил лабиринт, а за ним кабинет своего одиночества, куда не доходили крикливые гуляки, надоеды из суда и, уж конечно, вовсе не уместные здесь кредиторы. По легенде, в кабинете своего одиночества граф имел библиотеку и коллекцию восточных диковин, курил здесь кальян, рассматривал диковины И отгонял сплин с мигренью. Что сделали варвары с Монплезиром московского повесы! Испохабили, раскурочили, разворовали. Книжные листы пустили на базары под селедку, из сафьяновых обложек пошили сапоги, кальяны загнали и пропили, стены исписали нетленным: «Здесь был…» Как Пэрст-Капсула сумел еще добыть в погромленном, изувеченном месте перламутровый бинокль? Ловким и зорким, стало быть, временами оказывался подселенец. А Шеврикука никаких клетей и чаш не углядел.

Значит, здесь тупик? И наволочки останутся пустыми?

Простукивания стен и пола Шеврикуке открытий не принесли. Тупик тупиком. Но Илларион сказал: чаша есть. Видел ли он ее или знал о ней от приятеля, не имело значения. Надо было прорываться дальше! А для этого приказал ужесточить воздействие сил.

И тотчас же – увидел, ощутил тревогой зазвеневшее – в полу укрытия графа Федора имелись четыре люка. А в них – четыре клети? «Клети – это вроде бы кабины шахтных спусков…» – вспомнил Шеврикука. «От синего поворота третья клеть…» – если не верить Пэрсту-Капсуле. «От синего поворота третья клеть…» – если верить Иллариону и его мохнатому Брадобрею. Где он, синий поворот? Чего он, синий поворот? Зеркального коридора лабиринта, может быть? «Не ищи его, не возвращайся к зеркалам, к третьему подвоху, иди сюда! – гнала его уверенность. – Вот твой люк! Нажимай пяткой!» Нажал. И полетел вниз, третьей клетью, охолодел внутри, видел срезы подземных ходов со скелетами в них, будто ударился, присел, охнул от боли. Распрямился. Открыл дверцу клети.

Мраморная чаша. Вот она. Перед ним.

Бирюзовые камни на дивной, белой с вкраплениями серого, рукояти чаши. Вот и четвертый сверху. И в нем прорезь.

Ни о чем не думая и в портфель не глядя, достал оттуда бинокль, энергия в нем, Шеврикуке, осуществлялась рывками или судорогами, ногтем указательного повернул бронзовый винт, бинокль распахнулся, перламутровые башни сошлись основаниями, выщелкнув стальную пластину. Шеврикука ввел пластину в прорезь камня, повел руку вправо и… «Ну вот, начали сопротивление, – решил Шеврикука. – А то и огрызаться начнут. Или дадут отпор взломщику и грабителю». Но снова он не испытывал ни страха», ни тем более ужаса, и не случилось ни нападения на него, ни отпора ему. «Напряжение поворота камня требует больших усилий», – дошло до Шеврикуки.

Но и когда усилия эти были призваны Шеврикукой, он сам вынужден был кряхтеть, чуть было не потянул предплечье и плечо, но камень поддался, заскрипел, казалось, начав крушиться и искрить, и потянуло чашу вправо, а за ней и гранитный монолит, в какой чаша была вправлена, при этом раздались треск, гром, пыль посыпалась, и Шеврикуке почудилось, что дом Тутомлиных рушится и падает на него.

(Ощущения Шеврикуки не были преувеличенными. Дом дернуло, и крепко. Сопереживали и соседние строения. В Салоне чудес и благодействий в зале общих операций треснули стекла. Были обеспокоены силовые и градоохраняющие структуры. Но и пожарные, и борцы с терроризмом признали вызовы ложными. Даже ученые собаки и те не учуяли присутствия в доме Шеврикуки.)

А Шеврикуку втянуло за гранитный монолит и осадило на пол. Пол был холодный, каменный. Чаша встала на место, не испугав Шеврикуку. Он полагал, что она его выпустит. А находился он будто в Золотом фонде Эрмитажа. Пышно сказано, конечно, но увиденное Шеврикукой, наваленное беспорядочно или безалаберно, вызвало его уважение.

Стало быть, якобы разграбленный и опустевший кабинет одиночества графа Федора – для дураков, а тутомлинские тайники – здесь. И его в них впустили. То есть это его силы вмяли Шеврикуку сюда. Других – пускай не пускай, а сами они войти не смогут. И похоже, давно никто не поворачивал четвертый бирюзовый камень на рукояти чаши. И кто же сунул на телевидении во множество экранов заросшую рожу мужика с объявлением о синем повороте, третьей клети, бирюзовом камне? Или этот мужик являлся на экране лишь перед одним Шеврикукой? А куда ведут другие три люка? А может, есть достопримечательности на стенах и на потолке

кабинета одиночества?

Но что было сидеть и размышлять на камнях? Тем более холодных. Какое у него было время? Какое время было у Гликерии? Она ведь прощалась с ним, провожая на подвиг… «Если ранили друга, перевяжет подруга горячие раны его…» (Что за бред лезет в голову? С чего бы? С того, что и там провожали за сокровищами?) Гликерия прощалась с ним, возможно и не веря в то, что, вернувшись, он застанет ее существующей. Прощалась, дурень! Шеврикука вскочил. Рука и плечо болели. Он нервно вытащил из портфеля наволочки. Чтобы забрать открывшееся ему за бирюзовыми камнями, не хватило бы и сотни наволочек.

«А третий-то подвох не так уж и прост, – подумал Шеврикука. – Не каждый выдержит видение своей сути. Пожелаешь разбить зеркало и уйти в Зазеркалье…» Он чуть было не пожелал.

Все, все, все, возмутился Шеврикука, никаких пустых мыслей! Никаких мыслей вообще! Десять минут на поиски и сборы – и вон отсюда. Он выделил в силах искусствоведов, классификаторов, антикваров и перепоручил им заказы Гликерии Андреевны. Сам же предоставил трудам лишь свои руки и глаза. Он, продолжая быть осмотрительным, приказал силам, занятым разведкой и охороной, на всякий случай – но непременно! – не выпускать из виду действий: 1. Гликерии. 2. Бушмелева. 3. Увещевателя. 4. Бордюра. 5. Темного Угла. 6. Продольного с Любохватом. 7. Пэрста-Капсулы. 8 – 14. Еще кое-кого. В частности, здешнего домового Пелагеича, который мог и дремать, а мог и суетиться, разбуженный.

Десять не десять, а минут двадцать пребывал Шеврикука в тайниках Тутомлиных (а скорее всего, уже и не Тутомлиных) грузчиком-манипулятором. Набивал наволочки. Будто бы стоял в пору «Время, вперед!» среди ударников-энтузиастов, принимая от соседей кирпичи и направляя их к платформам, назначенным к путешествию в пыльную Челябу на Тракторострой. Запыхался, вспотел. Влажной ладонью сметал волосы на затылок. Нет, только роботом, подчинявшимся созданным им же специалистам, он не был. Что-то соображал и что-то чувствовал. Но чувства его чаще всего были удивлениями. Скажем, выполняя напомненный ему пункт перечня заказов Гликерии, Шеврикука распахнул (второпях, второпях!) дверцы орехового шкафа и выгреб оттуда ворох вееров, какие оказались бы нелишними в Оружейной палате, и понес их ко второй наволочке. «Зачем они ей? – удивлялся Шеврикука. – Зачем их ей столько?» А зачем ей были нужны коричневые странники с посохами из малины в Марьиной Роще и как их добудут со складов Пэрста-Капсулы? Впрочем, это не его было дело. Или вот, нес он ко второй наволочке, а

наволочки Шеврикуки имели обыкновение растягиваться, золотые карандаши для записей кавалеров и дам на балах Ростопчиных. Зачем ей столько этих карандашей? Ну ладно, торопимся далее. Реликвии Марии Антуанетты из коллекции Сергея Васильевича Тутомлина Шеврикуку не удивили. А вот почему Гликерия не потребовала забрать из той же коллекции кресло несчастной гражданки Капет и мебель герцога Орлеанского, Шеврикука объяснить не решился. Но вот зачем ей бумаги и пентаграммы чернокнижников? Вспомнил он о булаве, тотчас же ему подсказали, где хранится булава. Булава оказалась тяжеленная, для двух рук, опять же с драгоценными камнями. Шеврикука представил: хорош будет наглец Продольный, опоясанный перекопскими пулеметными лентами, при булаве. Совершенно забыл Шеврикука о просьбе Гликерии: сыскать милую ее натуре картинку. Сыскали без него, его же подвели к картинке. Рядом лежал и медальон. В нем тоже имелась дама на лошади, со шпагой, та же самая, что и на миниатюре. Юная Екатерина в мундире преображенцев. Шеврикука опять удивился: зачем Гликерии – теперь! – именно такая Екатерина, ринувшаяся добывать царство? Опять же – их вельможное дело! Позже разъяснят. А почему четвертая наволочка пуста? И зачем она? Ах да, копия дельфийского Омфала, Пуп Земли Концебалова-Брожило, завтрашнего Блистония. Отыскался и Омфал из базальта и был с напряжением впущен в четвертую наволочку.

Мраморная чаша и гранитный монолит подчинились требованию Шеврикуки и выпустили его с наволочками к подъемнику третьего люка. Наволочки втолклись, вместились в клеть, прилип к ним и Шеврикука, стучал по полу каблуком, подъемник пополз с миллиметровой скоростью. «Скорее! Скорее же! – подгонял его Шеврикука. – Ну давай же, милый!» Доехали. Вышли. Люк зарос. Его и не было.

Теперь пришла пора показаться из портфеля верному кушаку, в четыре сажени, кумачовому, шелковому, с каким выходят на Столбы, в их числе и на Перья, красноярские скалолазы.

Кушаком наволочки были в спешке, но умелыми руками превращены в единую кладь, единение завершилось классическим морским узлом, возможно, что и выбленочным, но с кумачовыми бантами, жаль, опять посчитал Шеврикука, не было рядом Сергея Андреевича, Крейсера Грозного.

«Как я это все по городу-то поволоку? – обеспокоился Шеврикука. – А! Была не была! Главное, добыча есть и надо трогать!»

Он напрягся, закряхтел, с кладью за спиной и двинулся в уверенности, что на обратной дороге в лабиринте препятствий ему не будет, но положил

себе не глядеть в зеркала.

Тут его и околошматило. Околошматило и оглушило.

70

Очнувшись, Шеврикука сообразил сразу, где он находится. Разоренный кабинет одиночества графа Федора.

Никакие наволочки, ни пустые, ни тем более нагруженные в тайниках Тутомлиных, вблизи него не лежали.

Не валялся и кушак.

И не имело смысла искать их.

Ограбили.

Кто оглушил и ограбил – было сейчас не важно.

А разведка с охороной? Он-то ладно, торопился, бестолочь, разомлевший победитель и добытчик, понесся с тяжестью, как дурак, а они-то, разведка с охороной, силы, ему приданные и преданные, что они-то?

И торопился он вовсе не как дурак. То есть все равно вышло, что как дурак. Но он спешил в надежде спасти, оберечь Гликерию, полагая, что в ее судьбе счет идет на минуты…

Вставай, вставай, поднимайся.

Встал, толкая руками в пол. Но тут же и осел на пол.

Жидкое на затылке. Провел рукой. Кровь.

Гей, разведка! Гей, защита! Гей, полевой лазарет! Где вы?

Вынужден был вскоре с удивлением убедиться, что никакие отклики на его призывы не последуют. Силы, как он считал, приданные и преданные ему, покинули его или были у него отобраны.

Он остался один. Безо всяких сил. Сам по себе. Шеврикука.

А счет в ее судьбе идет на минуты…

Да что он блажит! Какие минуты в чьей-то судьбе! Ему самому сейчас необходимо уносить ноги, добраться до Землескреба и там, углубившись в приложения к генеральной доверенности Петра Арсеньевича, понять, что стало причиной его оплошности и конфуза, почему он брошен и один. Являлось в голову простое объяснение всему, нет, части всего, но в него он не хотел верить.

Чтобы выйти в город, в мир, в свое самонравие, надо было одолеть лабиринт. Час назад он помнил чертеж с плеча приватного привидения Епифана-Герасима. Сейчас исчез из его сознания и чертеж. И его выкрали из сознания Шеврикуки. Но надо было двигаться напролом, забыв о недавнем крахе, использовать собственные силы и средства, нельзя было

киснуть и сдаваться. Поднялся, шатаясь, постанывая от болей и досад, потащил себя к зеркальному коридору, к синему повороту. «Пройду! Пройду! Напролом пройду! Всего лишь три подвоха. И их одолею! – убеждал себя Шеврикука. – Глаза в зеркалах закрывать не буду! Выдержу!»

Но ледяным ветром его тотчас же вдуло обратно в кабинет одиночества, сбило с ног, прокатило с грохотом, треском, звоном по обломкам, осколкам, рвани, всей бутафории, изображавшей разгром и разор подземного укрытия утомленного московского повесы, головой ткнуло в затхлость стены и снова прекратило в нем свет.

Новое возвращение сознания принесло ему грустные сведения: он лежит, его руки и ноги связаны, во рту утвержден кляп.

– Да он буйный! – донеслось будто откуда-то из высей.

– Ненадолго, – ответили, теперь уже из подземелий. – Закаменеть способен дня через три. И уж навсегда. Но проверили – все ли в нем подходит?

– Все, все проверили! – заверили из высей. – И твердости, и жидкости, и газы, и огни. И главное – все линии и сути. И чувствилища. Все проверили! Закаменев, сможет держать более чем три этажа.

– И отлично! – загремели из подземелий. И будто захохотали. – Сам угодил! И страстями достоин?

– И страстями! Удостоверено. Наблюдали положенный срок. Да и теперь подтверждено.

– Всем будет соответствовать ритуалу?

– Будет! Всем! Вам лишь следует верно составить комбинацию предметов. Накрыть все углы.

– Накроем! Все есть! Сам же он и добыл. А мы составим.

– И потребуется кровь!

– Будет и кровь! Она в нем пока есть!

«Пока есть! Пока есть! Пока есть!» – заголосило эхо. И опять загудел смрадно-довольный гогот. И тишина. Тишина. Только где-то за стеной словно скреблась мышь. И ее усердие затихало…

Лежал Шеврикука, по его представлениям, уже не в укрытии графа Федора, а где – неизвестно. Догадки же строить было без пользы. А в укрытии графа Федора он и дал повод посчитать его буйным, там его опять оглоушивали, колошматили, причем жестоко, со злобой, будто мстили за что-то или исполняли давнее мерзкое, истерически-зажатое свое обещание причинить ему, Шеврикуке, боль, но при этом и оставить для какой-то цели его пока живым, да еще и с кровью. А потому его, доставляя себе, может, и маниакально-эротическое удовольствие, лишь пинали подкованными

ботинками или сапогами да покрикивали от радости. Шеврикука не знал, слеп он теперь или нет, но слух при нем остался. «Сам угодил! Сам все добыл в соответствии с ритуалом!» Что он добыл? В соответствии с каким ритуалом? Или обрядом? Кому, где, чем и какие углы предстояло накрыть, прежде чем пустить ему кровь? Прежде чем ему, Шеврикуке, окаменеть, а потом держать на себе дом в три этажа? Но если бы он и уразумел, кому, где, чем и какие углы и кто бы при этом воспрянул и воспринял мощь, скорее всего злую и черно-огненную, что бы изменилось?

До того были уверены в своем торжестве над ним его победители – да что над ним, над чем-то существенным и высоким, в чем он, Шеврикука, потряхивался мелким камушком, – что позволили дать ему очнуться, а самим себе – повести над ним (может, потому и оставили его – пока! – внемлющим звуки и беззвучие) громкий и необязательный для их дел разговор, наверняка все уже было обусловлено и определено. Но этот разговор с хохотом и паузами был обязателен и мил для продолжения их победительских удовольствий. А после – пусть он слушает тишину и то, как скребется мышь. Потом раздастся писк и все будет кончено. Ему же даже и скрестись не позволено, если только в мыслях, писк же его услышат лишь они.

О, если бы его услышал сейчас кто другой! Но кто этот другой? К кому, если он, Шеврикука, не утерял еще способность к произнесению звуков, а лучше бы – и к посылам тайных сигналов, он мог сейчас воззвать о помощи, кого бы мог молить о подмоге и пособлении во спасение? Никого, понял Шеврикука. Гордость и стыд не позволили бы ему призывать в дом Тутомлиных (да и у Тутомлиных ли он сейчас находится?) никого. Сам угодил. Сам угодил. Сам Да и утруждать соприкосновением с его частным предприятием лиц, к нему непричастных, было бы делом скверным. И уж совсем скверно случилось бы, если бы его мольбы почувствовали и раскусили его торжествующие злыдни, к кому он угодил, волоча добычу. Да и вдруг среди этих неведомых злыдней помещался и кто-либо из тех, на чье участие рассчитывал теперь Шеврикука. Могло быть и такое! Могло! Мысли об этом были печальней кончинного писка предусмотренной для него мыши.

Пытаясь превратить обрывки скачущих мыслей в нечто протяженное и имеющее форму, Шеврикука вспомнил, между прочим, о том, что в укрытии графа Федора, до того как быть признанным буйным и стать спеленутым, он сумел что-то и куда-то припрятать («затырить» – дернулось мальчишеское). Что и куда, уже не зная, попробовал восстановить знание. Но тут же приказал себе не делать этого. Мысли его могли читать, а

злыдням, может, не терпелось проведать: что и куда. Некие неуюты тяготили его правую ногу. Один неуют – в самом низу, другой – возле кармана штанов. «А-а! – сообразил Шеврикука. – Соска-затычка Увеки, переданная якобы от Отродий Башни… Эх, сунуть бы сейчас затычку в правое ухо, какой-никакой, а возник бы контакт хотя бы и с Отродьями…» Но чтобы извлечь предмет из штанов и отправить его к уху, должно было всего-навсего освободить от веревок правую руку. Поерзав, Шеврикука ощутил под собой твердости, тупые, но крепкие, и потихоньку стал двигать плечом, в надежде хоть одну веревку перетереть.

Усилия его были замечены, и Шеврикуку лишили сознания вновь.

Вернее, лишили сознания действенного, направленного на восприятие происходящего вокруг и с ним; Шеврикука был погружен теперь в дрему, угарную, тягостную, к нему приходили видения, в которых он никак не мог быть хозяином, но в них, по всей вероятности, отражались реалии, творившиеся в доме Тутомлиных (да, Шеврикука лежал именно в подземельях дома на Покровке). Возможно, к удовольствию натур, наблюдавших за видениями Шеврикуки, в видения эти – с их ли ведома или сами по себе – проникали личности, вызывавшие вздрагивания или стоны покровского пленника. Будто бы ползали по груди Шеврикуки насекомые размером с голубей, будто бы имели они по тридцать восемь ног и норовили лизнуть его в лицо. Будто бы то и дело подскакивал к его уху все еще раздутый Петюля и требовал клею. «Дай, Шеврикука, дай, ты его спрятал, дай, ты его спрятал, где ты его спрятал?» – пропадал и снова возвращался. «Не откроешь, где клей, будешь и сам весь склеенный! Весь изнутри склеенный!» Наклонялся над Шеврикукой заплаканный буян и мошенник Кышмаров, смотрел в лицо Шеврикуке, снимал с примятых кудрей картуз, кулаком утирал мокрый нос, бормоча: «Вот и нет должка-то! Был должок – и нет его!» – по брюху Кышмарова сползали на цепочке к ноге золотые часы, а стрелки на них застыли. «Любезный Шеврикука, – прогуливался Звездным бульваром белочесучовый Петр Арсеньевич, тростью с набалдашником поигрывал. – А вы замрите, милейший мой Шеврикука, замрите, вы же умеете…» И удалялся, теряя тело… «Прости меня, Шеврикука, прости! Прощай!» Женщина в скорбном одеянии, стоя на коленях, протягивала к нему руки, а на них опускался тесак, сверху ржавый от потеков крови, снизу – сверкающий, разбрасывающий колючие искры, словно от камня точильщика. «Прощай и прости!» – горестное слышалось снова, и тут же со свистом, рассекая воздух, опадал тесак. «Если ранили друга, перевяжет подруга…» – пела мавка с пудовой косой, подносила ко рту Шеврикуки ковш переполненный, смеялась, у опаленного рта

Шеврикуки ковш расплескивала и улетала к верхушкам берез, растворяясь в их колышущихся листьях. «Сам угодил! Сам угодил! – бубнил заросший Увещеватель. – Экая несуразная детина непобедимой дурнонамеренности, ни нравы его не смягчились, не воссияли в нем добродетели… Сам угодил! Сам угодил! Сам добычу им приволок! И даже чернокнижьи бумаги Рейтенфельса, глупейшего Брюсова ученика, охочего до авантюр и безобразного помыслами…» Треск тотчас раздался, а Увещевателя, важного в Обиталище Чинов, будто кувалдой огрели по голове, он рассыпался и был сдут ветром. Тут же две мелкие птички с кирпичными грудками, возможно, мухоловки, подмосковные, обыкновенные, встав острыми лапками на повязку-пластырь, пленившую глаза Шеврикуки, принялись клевать его лоб, объявляя при этом: «Черный рыцарь! Черный лыцарь! Черный воевода с малиновым усом! Он воспрянет, он восстанет, он укажет правду всем!» Что-то тяжкое толстенным жгутом стало опоясывать и стягивать Шеврикуку, это был змей. «Жрать! Жрать! – шипел змей. – Мало мне гвоздик, овсов, листьев болотной виктории! Накорми меня, Шеврикука, накорми! Или меня накормит Черный лыцарь!» «Вылезай из-под змея! Иначе не получишь шпагу! – закричал беспечно Илларион. – Вылезай. И побежали. Играть в чехарду! Павел Петрович и Александр Федорович уже нас ждут! Вылезай! А не хочешь – валяйся здесь и околевай». «Если ранили друга, перевяжет подруга…» – пропела бесстыжая мавка, рассмеялась, снова пронесла ковш мимо рта Шеврикуки, расплескала на камни коричневую брагу, полетела к березам, распустив, распушив теперь пудовую пшеничную косу, змей увязался за ней, будто намереваясь стать для той косы лентой или бантом. Однако облегчения Шеврикуке не вышло. Кололо снизу, резало спину, проволочной щеткой водило по правой руке. «Сгинул, сгинул старичок-то! – бил в бубен Колюня-Убогий, слюна капала из уголка его рта, рядом прыгал с костылем рыжий Ягупкин. – Сгинул, сгинул старичок! Скоро, скоро Шеврикуку стащит серенький волчок! И уложит на бочок!» Дерет, дерет правую руку… Но что это, что пытается воткнуться в правое ухо и не может воткнуться? Чье это жало? Остроконечная белая куколь, сплошные бинты, из них – глаза Пэрста-Капсулы, его голос: «И вы – мумия? А как же Радлугин? Кому доставлять его донесения? Вы мерзнете? Наденьте бурки и пошейте шапку-ушанку!» Петр Арсеньевич будто из-под скамейки на Звездном бульваре: «Замрите, любезный Шеврикука. Прочтите заклинание на иссушение кривоногого правого края и замрите…» Сокрушался Бордюр: «Что же вы не завязали нынче бант из желтого бархата? А, Шеврикука?» Распускал брызгавший зеленью хвост Петюля и молил: «Отдай склянку с клеем,

Шеврикука! Где ты спрятал ее? Где? Где?» Предъявлял рожу сверчковский домовой Псютьев: «Да ты что! И целые народы замуровывают…» Потом он, Шеврикука, полз зеркальным коридором лабиринта графа Федора, отражался в зеркалах, чурался себя, не понимая, зачем он, к чему, был противен себе и готов погубить себя, а впереди Илларион скакал через спины Павла Петровича и Александра Федоровича, и отовсюду журчала лесная девушка Стиша: «Если ранили друга, перевяжет подруга…»

Шеврикука ощутил, что он видит и сознает. Видит. Но не глазами, а чем-то существенным, имевшимся или создавшимся в нем. Повязку-пластырь с него никто не снимал. И видит он вовсе не картины, подаренные ему заключением в дремоту. Но видит и сознает выборочно, с провалами, с уходами в черноту, а соображения о ходе времени и движениях стрелок в часах у него притесненные. Среди первых его открытий было то, что правая его рука относительно свободна, в дремоте, видимо, беспокойствами спины он все же сумел перетереть о твердости веревку (а злыдни этого не заметили), и правая его рука – как бы сама по себе – вытянула из штанов соску-затычку Векки-Увеки, подарок Отродий, и воткнула ее, как и было рекомендовано Увекой, в правое ухо. Вполне возможно, это действие и стало причиной временных прояснений сознания Шеврикуки. Он почуял, что уложен в некоем каменном корыте, помещенном на небольшом каменном же постаменте, и вокруг него, Шеврикуки, происходят сцены в просторном подземном зале. Слышались и голоса, Шеврикуке уже знакомые, звучавшие словно бы из высей и снизу, из-под камней или из глубин земли. Причем теперь разговоры они вели не артистически-упоительные для своих победных удовольствий и в расчете на Шеврикуку, а исключительно по делу. Обыденному. Будто бы собирались затопить печь или разжечь костер. Хотя говорившие были и взволнованы, а слова их случались дрожащие. С перестуком зубов. Дело же заключалось вот в чем. Предстояло – и вот-вот! – провести два обряда, друг с другом связанные. Готовились к ним (при этом ждали и терпели) не день, и не год, и не два, и не одно десятилетие. Страшно подумать, сколько нынче всего сошлось, и лунного, и земного. И нужно не пропустить миг. И не ошибиться. Иначе опять ждать в унизительном сгорбленном существовании, если вовсе не быть искрошенными. Но вроде бы сейчас все сходилось и соединялось винтами. А необходимо и соединение пламенем, кровью и камнем. Вот-вот оно наступит. Люди своими раздорами и смутами сами постарались облегчить решение долготерпеливой задачи. Все есть. Все составные для углов комбинации приобретены и добыты. И место для острия огня и металла приготовлено – кивок в сторону

каменного корыта и пьедестала под ним. Остается ждать, когда луна доползет до предсказанной впадины в пространстве, застрянет на мгновение в желобе, и все. Терпели годы. Дотерпят и часы.

Порой разговоры верхнего и нижнего голосов напоминали производственные беседы заказчика и подрядчика, причем выходило, что заказчиком был нижний. «Раствор для замуровки подходящий? Китового навару в нем три процента?» – «Три! Три! Ровно три!» – успокаивал нижнего верхний. «А разряд молнии выйдет в семьсот тысяч вольт?» – «Выйдет! Это сделаем! – похоже, ухмылялся верхний. – Что-что, а это мы сделаем!» – «Во впадине луна удержится восемь минут?» – «Удержится. Куда ей деваться. Удержится. Если не удержится, мы удержим. Хоть на полчаса…» – «А Дикая Охота подойдет вовремя?» – все беспокоился нижний. «Вовремя, вовремя. На исходе шестой минуты. Не нервничайте! – Верхний голос проявлял уже раздражение. – Все просчитано, и траектория, и скорость полета, и особенности движения четвертого из свиты…» – «Молния сможет опустить четвертого именно в меня?» – «Опустит! Опустит! И при чем тут молния?» – «А произойдет ли совмещение четвертого из свиты со мной? Это просчитано?» – «Все просчитано! Право, что вы как капризная барышня. Раз мы приняли ваш заказ и счет оплачен, значит, за исполнение услуг мы отвечаем. Главное – точность соблюдения неизбежностей. До вас дошло?» – «А кровь у него как?» – «Давление в норме, плотность крови нормальная. Вот у меня анализы, и простой, и биохимический. Когда надо – загустеет. А когда надо – брызнет. Брызнет. Даем гарантию. И добродетели все при нем. Вам же нужны добродетели?» – «Добродетели! Знаем мы его добродетели!» – расхохотался нижний и паскудно выругался. «А против юных невест для приношения в жертву вы попрежнему возражаете?» – «Никаких невест, ни юных, ни в возрасте!» – зарычал нижний. «Ну, смотрите. Воля ваша», – деликатно произнес верхний.

Вот тогда Шеврикуку и принялся обволакивать Ужас. «Чудовище! – сознавал он. – Чудовище! Всюду и вокруг Чудовище!» Сдавливая всего Шеврикуку, его вбирало в себя нечто живое, страшное и огромное, дышало смрадно, втягивало потихоньку в свое чрево, в чрево Ужаса. Было с ним такое однажды, в день, когда он относил на лыжную базу обол и фибулу. И после являлись ему предощущения Ужаса. Но тогда он все же понимал степень угрозы, ее пределы и неизбежность ее разрешения. А потому был готов к сопротивлению и отстаиванию себя и своей сути. Теперь же ему было все равно. Усталость безразличия смиряла его. И Шеврикуку снова угнало в сон.

«…Омфал, где Омфал, где Пуп Земли, он же был тут, его же надо вминать в пьедестал, через четверть часа замуровывать, и вечный беспорядок! Бестолочь московская!» – слова, произнесенные бритвенным шепотом верхнего, привели к пробуждению Шеврикуки. Нечто торжественное происходило в подземном зале, шествовали скрытые черными капюшонами личности, песнопения трагического хора, состоящие не из слов, а из слипшихся в странные бессмыслицы слогов, умрачняли тьму подземелья, утяжеляли гнет и тоску сводов. Огни в плошках горели лишь по углам некой выложенной на полу вокруг каменного корыта с Шеврикукой фигуры, от огней шел смрад, но все же они освещали расставленные в углах геометрической фигуры предметы, понять назначение которых Шеврикука не мог (явно углядел Шеврикука только знакомых ему бронзовых странников с посохами). Это и была точность соблюдения неизбежностей? И при этом, как бы и не мешая тяжелому торжеству обряда, звучал аврально-бритвенный шепот работников, видимо отвечающих за производственное обеспечение ритуала и доставивших носилки с раствором, три процента которого должен был составлять китовый навар. «Саботажники! Разгильдяи! – бранился верхний, сегодня подрядчик, тоже в плаще и капюшоне, оскверняя погибельные для Шеврикуки минуты полнокровными московскими ругательствами. – Теперь и Омфал уворовали, а Пуп Земли заказан, прежде бинокль увели, как бы и раствор не застыл… Десять минут осталось! Десять минут!»

Залаяли на Покровке и в ближних переулках собаки. оголодавшие, брошенные, и тут же взвыли, и выли так, что были слышны в подземелье, смяв хоровое пение и устрашнив его, и все московское собачье племя поддержало покровских, совершив страшный погребальный вой.

Дикая Охота! Дикая Охота всегда вызывает смятение собак и псиное вытье. Давно не случалась она в московском небе. Кто нынче ею предводительствует? Нерон? Аттила? Бонапарт? Или какая иная великопримечательная натура? И кто – четвертый всадник свиты?

Луна вошла во впадину бездны и застряла в ней на восемь минут. А на исходе шестой минуты полета Дикой Охоты он, Шеврикука…

«Это не в ее судьбе счет идет на минуты, – дошло до Шеврикуки. – А в моей. И она это знала. А потому и повторяла: „Прости меня“. Это не были слова прощания. Это была мольба о прощении…»

Замри, Шеврикука! Но и замереть не хотелось.

Саданул звуком ввысь полковой горн. Умолк хор. Уползли в подворотни, утихнув, псы. Загремели барабаны.

Один из капюшонов в остановленном движении распорядителем

направился к упокоению Шеврикуки. Второй, ростом огромный, пошел за ним, преклонил колено в метре от распорядителя. «Заказчик, нижний…» – по скрипу сапог выяснил Шеврикука. Руку повелительно выбросил распорядитель над преклонившим колено. Плащ на том напрягся, будто облегал латы или кольчугу. «Три минуты… две… – шепотом считал невдалеке подрядчик, уже не бранившийся и сам, возможно, завороженный действом, – одна… половина…»

Распорядитель выхватил из рукава кинжал, повернулся резко, но и без суеты, отделяя одну позу от другой, жест от жеста, и двумя руками всадил клинок в грудь Шеврикуки. Сразу же вытащил кинжал, и брызнула кровь, попала на лицо коленопреклоненного, сбросившего капюшон, и тот, рыча, скуля от радости, стал растирать ее по лицу ладонями. Тотчас же зашипели плошки, стали возгораться, взрываться, лопаться предметы в углах магической фигуры, составляющие соблюдение неизбежности, и когда огонь добежал до корыта Шеврикуки и ног коленопреклоненного, пробив сомкнутые своды зала, влетела в подземелье шаровая молния, ринулась к коленопреклоненному и с шипением вошла в него. Грохнуло, взорвалось, изошло вонючим дымом – и долго все и вверху и внизу содрогалось и постанывало. И притянувший к себе молнию остался цел, прыгал, гоготал, вопил, а потом и прорычал зверино-зычно: «Свершилось!» Во все стороны пригрозил пальцем: «Ужо вам!» И было ясно: городу пригрозил.

Капюшоны забасили:

– Виват Черному лыцарю! Виват Воеводе!

– Батюшки! – бормотал подрядчик в расстройстве. – Как же это? Молнией ведь не четвертого всадника прихватило, а шестого! Вот пойдут скандалы! Загремлю в отпуск без содержания. И кто – шестой всадник? – И распорядился грозно: – Эй вы, с растворами! Начали!

Постамент корыта с Шеврикукой, но без Пупа Земли, ушел вниз, корыто легло вровень с полом и моментально было прикрыто двухтонной гранитной плитой. Раствор оказался хорош и быстро взял все швы. «Вроде бы бабу хотели», – судачили работники. «Хотели, да расхотели. Заменили мужиком. Просчитанным. И он пойдет держателем здания».

Шеврикука всего этого не слышал и не чувствовал.

Он был во тьме.

71

Пропажа Шеврикуки была замечена.

Не сразу и не всеми. Но замечена.

А кому-то просто не стало его хватать. Прежде всего жителям двух подъездов Землескреба.

Конечно, служивым личностям, в Китай-городе, в Обиталище Чинов и в Останкине, да и еще где-то, коим должностями вменялось в обязанность ежедневно иметь двухстолбового домового Шеврикуку в виду, кнутом над ним пощелкивать и из чайника его поливать, полагалось узнать о его пропаже тотчас же, а узнав, и взвесить – прекратить выписывать ему довольствие или с отчислением Шеврикуки повременить. Решили все же довольствие пропавшему пока начислять впредь до высочайшего казенного подтверждения его окончательного убытия в никуда. Во-первых, чтобы не иметь потерь в штатном расписании. Во-вторых, на всякий случай.

О чувствах и соображениях в связи с пропажей Шеврикуки этих личностей, разных по житейским привычкам и воззрениям на заботы и ценности сословия, допустим пока умолчания.

Что же касается жильцов Землескреба, то большинство из них ни о каком Шеврикуке или хотя бы о кое-кому известном Игоре Константиновиче, естественно, не знали. Но иные из них, в особенности наиболее интеллигентные и начитанные, о присутствии или о возможности присутствия и в их подъездах домового предполагали и, уж во всяком случае, ничего не имели против подобного присутствия. Да пусть бы и завелся у них домовой, жил бы себе припеваючи и опекал бы квартиры.

А может, он и впрямь завелся, жил, ус покручивая, и опекал? Пусть не все это замечали, а лишь некоторые, но в их квартирах бытовых безобразий случалось куда меньше, нежели в соседних подъездах. Тут и разводы происходили, пожалуй, реже. А теперь начались и безобразия. И посуда стала биться (а прежде можно было успеть подхватить оплошный стакан или тарелку у самого пола). И лампочки бессовестно перегорали. И краны текли. И маньяк будто бы заходил в лифт и чуть было не изнасиловал супругу Старшего по подъезду. И будто бы снова стала, постанывая, бродить по квартирам тень наложившего на себя руки чиновника Фруктова, в домашнем халате и в очках, и лишь стаканом дамского ликера «Амаретто» можно было от тени отделаться. И будто бы из комнат картежника-акулы Зелепукина, гастролировавшего в поездах, выходили на

балкон голые бабы с хвостами, махали банными полотенцами и звали народы на митинги. А у флейтиста Садовникова сломалась флейта и в котлете запекся таракан. Все эти безобразия, да иные и похлеще, с перебранками и драками, и дали повод бакалейщику Куропятову высказаться: «Э-э, братцы, да у нас, кажись, домового забрали. Беда-то, беда…»

С этим суждением многие были согласны. И в особенности была согласна Нина Денисовна Легостаева, просившая, если помните, Шеврикуку называть ее Денизой. Впрочем, по поводу заявления бакалейщика Куропятова она не произнесла ни слова. Она просто тосковала. И ухажер у нее был хороший, страстно-терпкий Радлугин. И попрежнему она ждала ребенка от Зевса (хотя в женской консультации начали тлеть сомнения). А вот тосковала. И ждала звонка. Не от Радлугина. Не от коллег по общественным наукам. Не от бойцов интеллектуального фронта (будут упомянуты позже) В. Добкина и О. Спасского. Не из журнала «Коллекция моды» с предложением позировать. А как и раньше – от сексуально озабоченного домового, из-за первых посягательств которого Нина Денисовна дважды по дурости обращалась с жалобами в милицию. Вот бы позвонил он, подышал бы тяжело в трубку, и она зашептала бы яро: «Это ты, милый… Приходи… Умоляю… Приходи… Через полчаса… Нет, сейчас…» И он бы тотчас пришел. Или бы монахом к закованной Жанне д’Арк. Или бы князем Василием Васильевичем Голицыным, пробиравшимся подземным ходом к царевне Софье. Или бы пролился на Данаю Зевсовым золотым дождем. Но нет. Не проливался. Не звонил. Не приходил. И Нина Денисовна, тоскуя и томясь прекрасным телом, чувствовала, что его в доме нет. И не будет.

И не одна Нина Денисовна Легостаева грустила. В подъездах вообще стало тоскливо.

К тому же пошли дожди. Лето стояло знойное, сухое, с крымской голубизной неба, от дождей отвыкли. А они пошли. И небо удручало теперь пасмурью. Мне, чтобы записывать эту историю, приходилось днем зажигать настольную лампу.

– Сергей Андреевич, – спрашивал Сергея Андреевича Подмолотова, Крейсера Грозного, летящий по делам российский коммерсант Олег Сергеевич Дударев. – Вы, часом, нашего Игоря Константиновича не встречали?

– Нет. Давно уже не встречал. Считай, с самого яблочного Спаса, – отвечал Крейсер Грозный. – Мы тогда еще недозревший штрейфлинг грызли. Да, месяц уже как…

– А визитной карточки его у вас нет? Или хотя бы телефона?

– Нет, – вздыхал Крейсер Грозный. – Ни визитной карточки. Ни телефона.

– А он мне позарез нужен! В Салоне. В связи с этими футбольными заказами. И он вам не конкурент! Не конкурент! – Дударев постарался не раздражать Сергея Андреевича.

– Мне никто не конкурент! – ответственно произнес Крейсер Грозный.

– Ну конечно, конечно! – поспешил согласиться Дударев. – И он мне нужен для паркетных работ. Увы, не в доме на Покровке. Вы же сами знаете, что после взрыва, встряски и прочей катавасии строительные планы на Покровке приходится пересматривать.

– Может, он в командировке? – высказал предположение Крейсер Грозный. – Или из-за дождей поехал на пляжи Сейшел?

Чуть было не забыл, возле Крейсера Грозного стоял в те минуты его японский друг и компаньон Такеути Накаяма, Сан Саныч, с фанерой доброжелательных плакатов на груди и спине: «Даешь Коморы, Сейшелы, Бермуды – новые русские острова!»

– Я-то как раз и хотел послать его в командировку! – сказал Дударев. – В горные районы Северной Италии. За паркетом из альпийских елей. Ему уже и заграничный паспорт выправлен. С орлами. И дом ему готов в Подмосковье под дубами и липами… Впрочем, это вам неинтересно…

– Отчего же… – вежливо произнесли Крейсер Грозный с Сан Санычем.

– Ну, я бегу. Встретимся в Салоне!

– И в Салоне тоже, – кивнул Крейсер Грозный.

И Олег Сергеевич Дударев поспешил к свинцового цвета «лендроверу», где его внимательно поджидали два крутостриженых паладина с черно-желтыми змеями Анаконда на серебристых рукавах.

Стало быть, недоставало Игоря Константиновича в Москве и как специалиста.

В происшедшем на ходу разговоре вскользь были упомянуты слова: «взрыв, встряска, прочая катавасия…» И все в связи с домом на Покровке. В связи же с Шеврикукой случайно и косвенным образом.

О взрыве и встрясках на Покровке было известно в городе, и толкования происшествия ходили самые разнообразные, отражая своеобычность миропонимания каждого из москвичей, а добредая до пригородов и ближайших губерний, они и вовсе перекувыркивались и обрастали пушистыми цветами. К тому же мастера сыска называли несколько рабочих версий случившегося, не отрицая при этом и множества

иных его причин.

Проще всего было связать взрывы и встряски с террористами, тем более что они как раз обещали провести Парад победы на Тишинском рынке, сокрушив перед тем георгиевский столп Зураба Церетели и перебив палками алкоголь в палатках. А встряски ощущались и в самом доме Тутомлиных, и во многих строениях от Воронцова поля и до Сретенки. Вылетали стекла, раскачивались люстры, съезжали с места ванны с купающимися в них жильцами, останавливались на полном ходу лифты, а в крайнем доме Большого Сухаревского переулка, почти у Цветного бульвара, с жестяным скрежетом рухнули разом на тротуар все водосточные трубы. (Очень скоро следствию пришлось отделить сухаревские водостоки от покровских причин, по новой рабочей версии виновными в крахе труб оказались шабашники из Сумской области.) В доме же Тутомлиных много чего покорежило, и у властей префектуры возникли поводы в аварийные сроки выселить из дома последних коммунальных квартирантов. В их числе и флотских корешей Крейсера Грозного, поднимавшего в памятный день смотрин Андреевский флаг – на борьбу за права и свободы здешнего привидения. Выселенные с Покровки напрочь отметали причастность к их бедам террористов; по их мнению, взрыв устроили мздоимцы-чиновники, все тот же пресловутый полпрефекта Кубаринов, чтобы расчистить плацдармы для деятельных операций неумытого и неухоженного московского капитала.

Террористов и мздоимцев обелили, как ни странно, саперы и пожарные. Помилуйте, о каком взрыве вы судачите, заявляли они, обижая покровских знатоков и следопытов из пригородов. Дом тряхнуло, но ничего при этом не взорвалось и не горело. «А собаки выли», – возражали им. «А может, у собак случилось расстройство пищеварительного тракта?» – отвечали саперы и пожарные.

«Собаки выли на луну, – разъясняли мистики. – На луне перемещались пятна, и собаки выли. И как раз подоспела Дикая Охота…» Имя предводителя Охоты называлось уже подземным, замороженным шепотом.

Тогда-то, видимо, и возникла державшаяся в Москве почти весь отопительный сезон легенда о Дикой Охоте, о Черном рыцаре (или лыцаре), или Черном воеводе. И моментально выяснилось, что многие москвичи, возможно, что и каждый третий из них или даже второй, подогнанные к окнам вытьем собак, видели, как от луны, будто бы зацепившейся за что-то, может, за гвоздь, и дергавшейся, отделился черный всадник (кто говорил – на коне, кто – на кобыле, но все сходились – на лошади, вроде бы с булавой в руке – это подтверждали не все) и

потихоньку спланировал с молнией, поначалу беззвучной, прямо на покатую крышу дома Тутомлиных. Копыто животного ударило по крыше повелительно или приветственно, вызвав россыпи искр, грохот, сотрясение воздуха, распространившееся в городе по законам ударной волны. Тогда и пошли мнения о взрыве и бомбе террористов или жилищных чиновных мздоимцев. Версия же о Дикой Охоте, естественно, была на уровне языческого мышления, однако просвещенные люди просили отнестись к этому уровню без высокомерия наук, находящихся на бюджетном содержании. Впрочем, и люди этих наук, вооруженные телескопами и чем надо, отмечали в скорых публикациях странность поведения луны в ночь, запомнившуюся вытьем собак. Глаза и точнейшие инструменты заметили, что луну на восемь минут будто бы вдавило в галактический желоб, где она и застыла на время, а мимо нее пронеслись стаей крупинки, и впрямь похожие (при многократных увеличениях) на всадников, одна из крупинок (кто утверждал – четвертая от первой, крупной, кто – шестая), несомненно увлеченная притяжением, понеслась к Земле, скорее всего сгорев в ее атмосфере метеоритом. Причины же затора в движении луны и явление пронесшегося скопления крупинок пока нельзя было назвать с корректной долей научной достоверности. Однако все в природе рано или поздно находит объяснения, успокоили исследователи московскую публику. Тем более что собаки прекратили выть сами по себе.

А вот Черного лыцаря продолжали наблюдать многие («вот как ты сейчас передо мной, так и он… и громко дышит»), с булавой и без булавы, в кавалерийском состоянии и пешим, и в Москве, и на августовско-сентябрьских просторах Отечества. В Москве он показывался чаще всего в предрассветные или рассветные часы, обычно – в отсутствие дождя, стоял черным покачивающимся столбом до небес, сотканным из дымов тепловых станций, тряс бородой, чесал косматую грудь и грозил пальцем. Нередко его явления совпадали с предсказанными метеорологическими бурями и несовершенствами. В провинции же его чаще видели вблизи металлургических заводов, порой он восседал на скипах и колошниках домен и болтал ногами. Но вряд ли при этом он пребывал в гармонии чувств. Чугун домна испекала после таких болтаний неважный, с низким насыщением углеродом, и потребители чугуна позволяли себе задерживать платежи. Якобы появлялся Черный лыцарь и на металлургических производствах, уже не имеющих домен, в частности у Оки, в Кулебаках и Выксе (Кулебаки, если помните, были отписаны Крейсером Грозным японскому другу в добавление к Нагасакам, Кобелякам и северным островам). И в Выксе с Кулебаками случались неплатежи долгов. А Черный

лыцарь якобы перелетал через Оку и куролесил в муромских лесах, где, видимо, знал грибные места. Пустыми оказались кадки муромчан, приготовленные для засолки рыжиков и маслят. Находились свидетели, уверявшие, что Черный лыцарь с разбойным гиканьем разъезжал в воздухах не на лошади, а на протяженном упитанном змее с четырьмя крыльями и хвостовым оперением.

Спешное выселение из дома на Покровке квартирантов и десятка пестрых арендаторов нисколько не ускорило переустройство здания под концерн «Анаконда». Дударев с проектантами и подрядчиками рыскали по лестницам и залам, но никак не могли сойтись в ценах, да и будто что-то мешало им прийти к согласию и равновесию интересов, будто что-то нарочно и мелочно стравливало их. Или даже выталкивало их из гнезда Тутомлиных, бормоча на ухо: «Не ваше! Не ваше! Не ваше!»

Тоска и предчувствие неудач угнетали деловых посетителей здания. И запахи здесь были мерзко-непонятные, хоть дыши сквозь носовые платки или надевай противогазы. И будто кто-то во тьме подземной вздрагивал, стонал и вздыхал. А наиболее чутким слышалось и грустное пение. Эстет-проектант утверждал убежденно: «Что-то из раннего Никиты Богословского… Какие-то кровавые раны… И как-то безнадежно…» Предполагаемый прораб возражал: «Нет. Гендель. Лондонской поры. И потом, тут полно привидений». «А что привидения? – встрепенулся Дударев. – Чем вам плохи привидения?» «Привидения нам ничем не плохи. Они тихие и добродетельные, – вздохнул эстет-проектант. – А тут какая-то бесовщина. Да еще и с дурными запахами…»

И создавалось впечатление, будто кто-то сильный, наглый и богатый, за углом неизвестности, намеревается отобрать у «Анаконды» дом. «Не выйдет! – в воинственных мыслях заявлял этому наглому и богатому Дударев. – Не выйдет!»

А слово «бесовщина» шныряло в разговорах и суждениях, а потому не было ничего странного в том, что к нему обратились доктора наук В. Добкин и О. Спасский, чью статью «Магнит бесовщины?» опубликовала газета «Свекольный вестник. Три в придачу». В свое время в том же издании (только без «Трех в придачу». И что придавали?) появились публицистические рассуждения Добкина и Спасского «Волнения домовых?», внимательно прочитанные Шеврикукой.

(Напомню, что Добкин и Спасский были бюджетными коллегами Нины Денисовны Легостаевой, Денизы, но Спасский, несмотря на всю свою бюджетность, играл в гольф, а Добкин, на то же несмотря, в силу несгибаемой слабости своей натуры продолжал давать деньги – и большие

– в долг.) Прежние заметки докторов наук вызвали нервическое неприятие Шеврикуки. Они, на его взгляд, доктора и щелкоперы, приписали к домовым, обозвав их энергетическими субстанциями, заурядные обиженные судьбой привидения. Доктора были обеспокоены дурным искажением полей людей, биологических и прочих, порождающим ауру зла, неблагополучия и неподчинения. И прежде домовые и привидения впадали в волнения, всем памятен день смотрин дома на Покровке, закончившийся мордобоем, страдальцами которого стали гости и случайные зрители. Стоит напомнить, подчеркивали авторы, что в первой своей публикации, «Волнения домовых?», они называли, пусть и мимоходом, среди возможных буйствовавших или вызвавших катавасию и отягощенного кровавыми грехами заводчика Бушмелева (естественно, тень его или призрак). Писали, в частности: «Не его ли была злокозненная затея? Тогда ее можно было бы посчитать пробной…» Вот эдак! И что же? Не с предсказанным ли учеными Бушмелевым связывает сегодня массовое сознание взрывы и встряски на Покровке и так называемого Черного лыцаря или Черного воеводу, удручающего и без того удрученное народосостояние? Для образованного человека Дикая Охота и есть Дикая Охота. Поэтическое суеверие. Но бесовщина на Земле, бесовщина в наших с вами человеческих отношениях оказывается магнитом для бесовщины небесной, мифологические персонажи из средневековых воздушных страхов энергетикой людей оснащаются осязаемой субстанцией, и вот уже всадник из свиты Дикой Охоты притягивается Землею, свергается на нее, в кучу зла, чтобы слиться с нею и служить злу. Авторы напоминали и о том, что из-за раздоров людей в местах их супернапряжений случаются вспышки холеры, землетрясения, оползни, снеговые лавины, они не хотели бы быть пророками несчастий, но зловещее, увы, может произойти теперь на правом берегу Сунжи. В конце же статьи авторы снова призывали столичных жителей опомниться, умерить свою ожесточенность и пустую суету, хоть потихоньку изгонять из себя бесовщину и не притягивать ее из высей и подземных недр.

Впрочем, вряд ли публикация «Свекольного вестника. Три в придачу» взбудоражила или предостерегла москвичей. И тиражи у нас не ахти какие, и москвичи беспечны. Сунжа далеко. А Черный лыцарь пусть себе забавляется. Хочет – на колошниках домен зад греет, раз с луны сверзился, а там подмерз. Хочет – рыжики жрет и безобразничает в муромских лесах. Если такие остались. Хочет – лошадь продает цыганам или сергачским татарам – на колбасу казы. Хочет – седлает змея о четырех крыльях. Главное, чтоб он нашего Пузыря не трогал и не обижал.

А он не трогал и не обижал. Возможно, имел на Пузырь долговременные виды, какие пока не обнародовал ни намеками, ни злонамеренными происками, ни хулиганскими подскоками. Во всяком случае, на Пузырь не усаживался и ногами не болтал, внутрь Пузыря пробраться попыток не предпринимал, в надежде нажраться там рыжиками. Он вообще при явлениях себя в Москве в Останкино не залетал, а от Пузыря держался на должном расстоянии. А скорее всего, сам Пузырь, пусть и в летаргии, будто уколотый веретеном обиженной феи, имел возможности сомнительных рыцарей и воевод к себе не подпускать, а коли кто пожелал бы усесться на Пузырь и ногами в сапогах или валенках трясти, сейчас же был бы сдут к кузькиной матери.

Спокойствие и постоянство положений Пузыря будто бы умиротворяли москвичей. В Лиге Облапошенных и в той перестали галдеть и совать палки друг другу в интересы и души. И то, что Пузырь обходит стороной якобы притянутая с небес бесовщина, было отрадно. А к тому, что Пузырь почивает и не дергается, смирный, но живой, и не открывает ворот, привыкли. Значит, так надо. Никуда он не денется. Постановление раздать Пузырь есть, его не отменяли, наступит мгновение, и – пожалуйста! – его раздадут. Тем более что слуги народа пока на каникулах, кто собирает чернику, кто отлавливает рябчиков, кому удаляют полипы в носу, кто учится играть на гармони, кто ожидает катастроф, вот нагрянут они в Москву, наорут друг на друга и распорядятся раздать Пузырь. Всем казалось теперь, что Пузырь разлегся на Звездном и Ракетном бульварах по-домашнему. Его бы еще верблюжьим одеялом прикрыть. Или укутать узбекским халатом. Его бока теперь гладили благонамеренно, словно утомившегося от игр кутенка. А дети и бомжи совершенствовали себя в написании на его подбрюшье коротких слов. И Пузырь позволял. Позволял украшать себя и зелено-голубыми плакатами, рекомендующими всем, независимо от политических убеждений, социальных векторов, плотских состояний, пользоваться исключительно тампонами «Североникель». А вольные прокатчики, прослышав о благонравии Пузыря, в трех местах на Ракетном бульваре – внаглую и за денежные знаки разных валют – принялись показывать на его шкуре, пользуясь ее юридической незащищенностью, разгульные эротические фильмы, какие не имел на кассетах и картежник-акула Зелепукин.

Неизменность трехнедельного, а потом и месячного существования Пузыря была истинно удивительной. Хоть заноси ее в московские рекорды. Все же иное в городе неслось, уплотняя и прессуя время, взвизгивало, подпрыгивало, кусалось, бранилось, стервенело, жестяно гремело в

валютных коридорах, обтягивалось золотыми цепями и цепочками, бросало в бреющие полеты хромированные автомобили, стреляло, низвергалось водопадами, расплескивая монеты, слезы людские, упования, угрызения совести, не останавливая ни единого мгновения, круша, рыча, подбирая, подличая, дымясь кровью и возносясь надеждами, неслось, неслось, неслось, не оглядываясь.

О московская жизнь быстролетящая! Куда же ты спешила в наши годы? Куда же летела? Куда? Но ведь как летела!

Вот совсем недавно, еще вчера, подчиняясь исторической необходимости, разгоняли Департамент Шмелей. Да, вчера! А кто теперь помнит о том Департаменте и о Шмелях? Никто. Если только бывший соцсоревнователь, а ныне оратор Лиги Облапошенных Свержов. Да корифей личных дел того же Департамента Бордюков. А Бордюков уже и в торговых людях побывал, и в рэкетирах, и в монархистах, а нынче он, приобретя шляпу, примкнул к предотвратителям катастроф, завтра же ринется в лыткаринские градоначальники. Но завтра-то – что? Вот оно… Вот оно уже – сегодня… Вот оно уже – вчера… В день разгона Департамента Шмелей, то есть именно вчера, в застолье возникали трудности с основным напитком, вместо водки лакали «лигачевку». А теперь? Какие трудности? Зайдите в магазин! Да вы и сами знаете! Но что водка? Гастрономические изделия теперь перед нами такие, что их соизволяют есть даже коты (мой Тимофей, в частности), десятилетиями по причине благородства желудков рожи воротившие от колбас и сосисок. Плеснула юбками «Ламбада» и унеслась. А с нею и эскадроны чьих-то шальных мыслей. А нынче повела в Москве плечами пиренейская «Макарена», и «Макарены» более нет. И гуманитарной помощи как не бывало… Но все это продуктово-танцевальные мелочи. Сколько же всего по ходу этой истории случилось: в Москве и в нашем с вами общем житии!

Еще весной Олег Сергеевич Дударев разъезжал на легком харьковском велосипеде, а теперь под ним – «лендровер», и был он весной бос и гол, а нынче при нем – двое хранителей тела, а свистнет – набегут и десять со станковым оружием. И во сколько раз за те же месяцы возвысилась зарплата паркетчика Игоря Константиновича, пусть так и не выданная, но это уж и не суть важно. А сколько в Москве прибавилось привидений! Увы, скорыми были и потери. Служили в Останкине домовые Петр Арсеньевич, Тродескантов, Большеземов по прозвищу Фартук, а теперь их нет. Был в Останкине домовой Шеврикука, а теперь его нет. Но кого я поминаю? Домовых. Экая тюлька и хамса! А сколько выпрыгивало из табакерок министров финансов и генеральных прокуроров – и где они? Болотилась в

городе плавательная вода, портя своими испарениями картины и книги в соседних хранилищах, и вот воды нет и блещет куполами храм. Посещал Шеврикука в Китай-городе Старый Гостиный двор, нырял там в Обиталище Чинов. Был забит Гостиный двор пустодельными конторами и службами, и не было в нем никаких торгов. И нате вам – конторы и службы вмиг повыгоняли, а в создании Кваренги – строительный бум! Может, нет там теперь и Обиталища Чинов и заросшего волосом Увещевателя?

Тюх-тюх, разгорелся мой утюг! Разгорелся ли?..

Но что я просвещаю осведомленных читателей, будто докладчик в красном уголке домоуправления – активистов из ячейки?

Осведомленным-то читателям и самим хорошо известно, как стремительна в Москве жизнь. Тихим шагом здесь не прогуляешься. И громы с молниями, взрывы, встряски в ней движение не прекратят. Ну опустел, притих, присмирел дом на Покровке, соседей позорил и раздражал своим бедняцким старосветьем. Но это же на время. А поблизости, в Сверчковом переулке, в ответвлении концерна «Анаконда», в Салоне чудес и благодействий сотрудники вовсе не присмирели, не притихли, а, напротив, крутились и плугами пропахивали целину. Александра Ильинична Совокупеева уж на что была выносливая, будто выросла на хлопковых плантациях, но и та, пожалуй, осунулась и лицом, и телом, иногда, правда, на нее ниспадала хмурь, она сидела мрачная у окна, словно смотрела вослед улетающей тройке или ее организму чего-то не хватало для полноты жизни. А так она крутилась. А Дударев, приобретший из-за дождя и престижных предрасположений кепку, Совокупееву и других привидений, ведьм, колдунов, консультантов и докторов погонял. Творческо-производственный крен Салона, возникший в пилотный день, так и не был пока устранен, и футбольные наваждения продолжались. Конечно, исполнялись и иные, более подходящие художнической. сути Салона, заказы, но не они создавали шелест бумаг в казне предприятия. Совались теперь в Салон не только мастера и турнирщики верхних лиг, но и представители низовых коллективов, понятно, не угольной и не отапливающей отраслей, и у этих было из-за чего горланить и канючить. Совокупеева шла нарасхват. Приличное государство сейчас же бы произвело ее в министры спорта. Было в ее глазах, движениях и смехе нечто такое (и задор, конечно), что возбуждало футбольных боссов, стряпчих и ярыг, будоражило их и возвышало в них атлетический дух. Ко всему прочему, Совокупеева попрежнему проявляла себя фартовой предматчевой колдуньей. Ну, случались огрехи, их списывали на счет непутевого ветра или солнца, брызнувшего вдруг в глаза вратаря. А так

почти все заказы Совокупеева исполняла. Особенно удавались ей неудачи кривоногих правых краев и опережающие удары по воротам головами заказчиков, чаще – при розыгрышах стандартных положений. И вот даже и ее посещала хмурь. Но, возможно, хмурь эта бывала вызвана и не досадами плоти, а квартирными хлопотами. Знаменитую квартиру на Знаменке, с девятнадцатью кошками прокурорши, адвокатом Кошелевым и привидением без головы, наконец-то расселяли, и Совокупеева вынуждена была тратить доли обаяния и энергии на полпрефекта Кубаринова.

Дуняшу-Невзору, на какую не имела зла, Совокупеева в прежней своей квартире видела теперь редко, да и в Салон чудес и благодействий Дуняша являлась нечасто и ненадолго, приносила Дудареву какие-то справки и объяснительные. Дударев читал их, не снимая головного убора; ворчал, но Дуняшу не увольнял. Как не увольнял и вовсе не являвшуюся на службу Гликерию Андреевну Тутомлину. Что-то там у них происходило. Но Дуняша ничего не открывала, говорила коротко, только о переезде прокурорских кошек позволила себе высказаться протяженнее и с сопереживаниями, а так – важничала, но и как будто бы чего-то стыдилась. Лишь Векка, именовавшаяся в ведомостях Салона Викторией Викторовной, предоставила Совокупеевой сведения, возможно, предположительные. Якобы влиятельная Дуняшина… ну, назовем… приятельница нынче в фаворе или при средствах, имеет успех в высших… ну, назовем, сборищах… не тусовках же… У нее поклонники, выезды, игры, скачки… ей нужны наряды, уход, прочее… Дуняша ее по старой дружбе и обслуживает… А так как обе они могут быть полезны концерну «Анаконда», их и не увольняют…

Сама же Виктория Викторовна, Векка-Увека, старалась и как футбольная колдунья преуспевала. Но и консультант у нее был замечательный – Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный. («Э, милая! Вратарем меня учили быть на флоте! Швыряли в меня буханки хлеба, я их ловил…» – «А торпеды?» – «И торпеды. Торпеды-то что! Они медленнее летят. Их легче брать…») Особенно ценные услуги Увека с Крейсером Грозным оказывали московскому «Спартаку», и в частности, при назначении судеб. Нет, тут описка. Судей! Судей! Уж на что капризны и привередливы спартаковские фанаты, а и те так полюбили Сергея Андреевича, что пошили ему из клубных флагов семейные трусы.

– Эх, вернуть бы нам Игоря Константиновича! – мечтал Крейсер Грозный. – Мы бы таких дел понаделали! Мы бы подняли уровень российского футбола до уровня Нигерии! Но где он, Игорь Константинович?

Дударев соглашался с Сергеем Андреевичем. Несмотря на искажение сути Салона чудес и благодействий, он, в детстве редко пинавший мяч, временно проникся уважением к футболу. Сам он обслуживал Детское поле Лужников, где ногами укрепляли здоровье державные мужчины. Настоящие мужики! Буйволы, а не мужики! О знакомствах с настоящими и будущими мужиками свидетельствовали теперь автографы на осенней кепке Дударева. На самые высокосоставные игры он брал с собой Викторию Викторовну и Крейсера Грозного, и конфузов не случалось.

Должен заметить, что в суете салонно-спортивной жизни Векка-Увека похорошела, совсем стала милашка-парижанка, нос сливой лишь добавлял ей очарования. К удивлению сослуживцев, похорошела и Леночка Клементьева. Но та вовсе не из-за салонных рвений (все путала пенальти с угловыми), а из-за того, что на нее снова открыл глаза технический гений и бытовой губошлеп Митя Мельников. Шептали: «В декабре свадьба будет… Это точно… Никуда не денутся…»

– Бабьи сплетни! – заявил в сердцах вошедший в перекрестье разговора Сергей Андреевич.

Он был в раздражении. Его опять обеспокоил амазонский змей Анаконда. Тому и бассейн был обещан, а провиант и теперь поставляли замечательный, и какие водки, ликеры, хересы и мадеры добавлялись к угощениям! Попечитель змея Сергей Андреевич, ветеринар и зоотехник Алексей Юрьевич Савкин, оставивший в Сальских степях пробные табуны зебр в управление ученикам, капали из мензурок те напитки на язык и не находили в них никаких изъянов. А змей в последние недели капризничал, вздыхал, кобенился, пугал склонностью к дурным поползновениям. И будто прислушивался к чьим-то призывам. И сегодня он вылакал три кадки ликера, ни с кем не поделившись, и не угомонился, а стал тянуть башку вверх, шипеть и будто собираться в недозволенную дорогу. Сейчас его стерегут с сетями и палками ветеринар Савкин и японский друг Сан Саныч.

– Помяните мое слово, – заявил Крейсер Грозный, – а произойдет какая-нибудь гадость. Не сегодня, так завтра.

– Типун вам на язык, Сергей Андреевич! – воскликнул Дударев. – Вы так накаркаете!

– Никогда! Нигде! И ни при каких обстоятельствах! Все пропьем, но флот не опозорим!

Но действительно накаркал.

Стоял среднесентябрьский день с северным ветром и мучительным дождем, когда в Салон вбежал Дударев, метнул на стол кепку и объявил:

– Все! Санэпидемики, пожарные, чрезвычайники велели Салон

закрыть и всем эвакуироваться. Из дома Тутомлиных повалил дым с золой, пеплом, камнями, еще не знаю с чем.

Дом Тутомлиных был окружен пожарными машинами. Ничто в доме не горело, но дым упрямо валил. Очень скоро он превратился в столб, диаметром метров в восемь, уперся в облака и в них вершиной пропал. Дня полтора он был именно дымовым столбом, покачивался, поддавался ветру, тот отрывал от него клочья, разметывал их, разнося с ними золу, пепел и запахи горелой промасленной бумаги, а то и дерьма. Потом столб явственно отвердел, и хотя не стал металлическим или каменным, но восковым предположительно мог быть. Исполинская свеча. В дни смотрин дома на Покровке не одному Шеврикуке, но и просвещенным людям приходили в голову Всемирная Свеча, призываемая в Москву в 1773 году, и страшные беды, последовавшие за этим призывом. Но та Свеча наверняка должна была бы быть все же белой. Или хотя бы желто-белой. А покровский столб рос черный. В просветах облаков было видно, что на вершине его пламени нет и что он, не укрощая себя, нагло поднимается. К солнцу, что ли, рвется? А потом из бока его отделилась ветвь и потянулась к Останкинской башне. А стало быть, и к Пузырю. Эта ветвь, в отличие от столба, была живая, гибкая, все вытягивалась и напоминала то ли загребастую руку, то ли змея, разверзшего пасть.

Жуть и туга проникали в души московских жителей.

И так продолжалось до последней среды октября.

72

Утром, в последний понедельник октября, Старший по подъезду гражданин Радлугин, пребывавший в ожидании безобразий, бунтов и разломов земной коры, решил обойти лестничные марши и квартирные площадки. Повод был естественный и государственный. Проверить, у кого можно, все ли перевели часы с летнего времени на зимнее. Сначала он взглянул на часы жены. Стерва, конечно, перевела, не дожидаясь выволочки. Или это сделал ее хахаль-колдун. И тогда Радлугин вышел из квартиры.

Собственно, он-то желал и даже страждал, коли созрел такой исключительно культурный повод, взглянуть лишь на одни часы. Нины Денисовны Легостаевой. В последние недели, к неудовольствиям и мукам Радлугина, Нина Денисовна уклонялась. Придумывала причины, деловые, социальные, медицинские, и уклонялась. Теперь же она наверняка лежала, сонная, нежная, с обворожительным телом, под теплым одеялом, забыв перевести стрелки часов. И Радлугин был к ней готов.

Но общественная направленность натуры Радлугина не могла не задержать его, на близких уже подступах к теплому одеялу, у двери квартиры бакалейщика Куропятова. Для Радлугина, увы, – и квартиры заблудшего чиновника Фруктова. Дверь к Куропятову отчего-то не была захлопнута, и из квартиры звучали мужские голоса. Один из них, пусть и полузадушенный, явно был голосом Фруктова. Слышались и хрустальные перезвоны. До Радлугина, естественно, дошли пересуды о новых странствиях тени Фруктова, и он был обязан иметь о них представление. Коли бы кто застал его у приоткрытой двери, да хоть бы и сам бакалейщик, Радлугин тотчас бы оправдался интересом к положению стрелок на часах.

«Ну что вы расстраиваетесь, Анатолий Федорович! – укорял Фруктова или успокаивал Куропятов. – И что из того, что вы ощущаете себя тенью или даже призраком? А кто из нас, прошу ответить, не тень или не призрак?» Фруктов промычал в ответ. «Я?! – возрадовался Куропятов. – Это оттого, что я упитанный и посещаем плотными дамами? Для них я, может, и не призрак. А для большинства-то людей я именно призрак. В лучшем случае. А в ординарном обыкновении я для них вообще никто. Ничто. Да, мы всегда жили и живем с призраками и привидениями. И прекрасно. Душа в душу. Кто такие Наташа Ростова или Анна Каренина? Они и есть призраки. А тем не менее для меня эта Наташа куда реальнее,

чем Надька Чесункова из сто девятой квартиры. Ну да, та, что меховщица… Или двенадцать цезарей, описанных Светонием. Или Бонапарт. Или Иосиф Виссарионович… Или император Николай со своими детьми и домочадцами… Или Распутин… Вы говорите: они жили. А вы их видели? Вы им в долг давали? Они вам вернули? То-то и оно! Жили они или не жили, какое имеет значение? Мы с ними живем! Они для нас с вами живее всех живых!» «Кощунственное отношение к текстам пролетарского классика!» – запечатлелось в мозгу Радлугина. Но некому было о запечатленном доносить. «А Василий Иванович с Петькой? А Штирлиц с Мюллером? А все эти в телевизоре? – продолжал Куропятов и вновь радовался произносимым им истинам. – От них куда больше житейской ощутимости, чем от пенсионеров Уткиных, варящих теперь на даче яблочные соки! Хоть бы самогон гнали! Вы, Василий Афанасьевич, страдаете! И зря. Вот возьмут и сделают вас у нас в подъезде домовым. Нашего-то, говорят, забрали. А вас воплотят! Да что вы так задрожали-то? Чем я так вас взволновал? Вовсе вы не будете Самозванцем. Давайте я наполню вам бокал… Ну вот! Ну вот! Так оно вернее и здоровью в укрепление! Нехорошо с утра. Но для вашей нервной системы… И вернемся к кроссворду. Значит, вопрос такой: „Западноевропейский народ, в гербе которого вилка с тремя зубьями, и чей философ – Сковорода“.

«Какие шовинистические кроссворды!» – возмутился Радлугин. Более он не желал слушать болтовню бакалейщика и Фруктова, пустозвоны, им все равно, где и куда обязаны ходить на часах стрелки. Бакалейщик Куропятов всегда был подозрителен Радлугину, а теперь, с мыслями о заведении в их подъезде домового, он стал ему противен. «Тоже мне философ! Распоясался. И Фруктова совращает! Философ и шовинист! Я ему такого домового заведу!»

Однако движение Радлугина к Нине Денисовне Легостаевой опять было нарушено. Теперь кто-то спускался над ним по лестнице, не ехал лифтом, что было бы прилично и легко объяснимо. А шел пешком. Шаги его были тяжелые, важные, Радлугину незнакомые. «Каменный гость», – подумал Радлугин. Хотя обувь гостя скорее была подбита металлом. Показалась и обувь – ковбойские сапоги. И джинсовый костюм был на незнакомце. А вот головной убор его с кожаным ремешком под подбородком выглядел странно – конус какой-то острием вверх. На острие же дергались электрические змейки. Незнакомец был надменен и еще более подозрителен, нежели бакалейщик Куропятов. Радлугин намеревался преградить ему дорогу, но лишь пробормотал жалко:

– Не подскажете ли, какой теперь час?

Незнакомец не взглянул на Радлугина, а лишь быстро и надменно, никакие часы не достав, произнес:

– Самое время. Уже тепло. Но должно быть жарко. – Но произнес для самого себя. Радлугину же не сказал ни слова и продолжил свое будто бы лунатическое движение вниз по лестнице. «Да я же видел его! – сообразил Радлугин. – Это же…» Это же был тот самый, обеспокоивший внимание Радлугина бомж, позже назначенный Игорем Константиновичем связным, «дуплом», и принимавший от него, Радлугина, донесения, вот уже два месяца как к ресторану «Звездный» не являвшийся. Вернулся! Радлугин бросился было за «дуплом» вниз, но остановил себя. Нет, нет, «дупло» был явно ниже, голову же имел шире, грубее в линиях. Этот словно бы подрос, и лицо его удлинилось. А может, это родственник «дупла», младший брат, воспитывался на харчах посытнее и получился утонченнее, красивее и изящнее старшего? Вот только из франтовства, что ли, водрузил на голову колпак звездочета?

Сейчас же мысли Радлугина составили торт «Наполеон». «Дупло», ездивший в Аргентину делать пластическую операцию (почему в Аргентину?). Младший брат «дупла», решивший навестить старшего (почему именно здесь?). Приятель Легостаевой, ночевал у нее, только что вылез из-под теплого одеяла (дурак, что ли, вылезать?). Хахаль собственной супруги, но нет, тот хилый и подержанный. Приезжий брат ночевал на чердаке. «Дупло» или «брат» должны были бы знать, где находится и когда объявится Игорь Константинович, в гражданской опеке и структурном руководстве которого Радлугин чрезвычайно нуждался. Такого рода мысли слоились в голове Радлугина. А что дослать, он не знал.

Все же он заставил себя подняться в получердачье. Пусто. Чисто. Никого сюда не заносило.

На лестнице в расстройстве и смятении чувств Радлугин подошел к окну. Было ему тошно. «Дупло» ли, «брат» Ли прошел мимо него, не взглянув, не протянув руки, не сказав ему ни слова. Ну и что? Это же все было в целях конспирации, не из-за чего-либо, не из-за его прорух, а в целях конспирации, дуралей! Но и эти соображения не принесли ему спокойствия. Посмотрев в окно, он понял, отчего ему тошно. Черный столб стоял над городом. И ничто ему не мешало и не вредило. И, видимо, не могло повредить. А от столба над крышами домов тянулась, кривилась, дергалась гибкая, мерзкая рука, прорастала в воздухе к Останкину, к Пузырю.

Звонить в дверь Легостаевой Радлугину расхотелось…

А в среду последней недели октября на Покровке опять случился

взрыв с огнем и грохотом.

Встряски происходили, но их было немного. Повреждений домов и людских жертв они не вызвали. Позже эксперты сошлись во мнении, что взрыв был направленного действия. А направили его, надо полагать, здоровые природные силы, какие – не скажем, в черный столб. Исполинский зловещий столб этот был расколот и изошел сотнями трещин. Но его, слава создателю, не раздробили на глыбы, какие, пусть они и из воска, могли бы, осыпавшись с высот, произвести погромы домов и людей, а принялись оплавлять, вызвали жар в составах и перевели в газообразное состояние, отчего твердый черный столб снова стал столбом дыма, исходившим из великаньей топки. Дрова в той топке иссякли, а кочегары спились. Дым же, почувствовав скорую погибель, принялся корчиться, раскачиваться, будто в исступлении, разметываться, разлетаться в стороны облачками, меняющими формы и часто напоминающими существа из черных сказок, видений и страхов, и они корчились и словно бы истязали себя, при этом слышались вопли, хулиганские выкрики и словно бы моления о даровании жизни. А вот собаки не выли, некоторые, поглупее, даже удовольственно повизгивали. Так на глазах у тысяч зевак тянулось часов шесть, пока свирепые ветры с Карского моря не растрепали и не растащили остатки черного столба. Падали на крыши и на мостовые хлопья, черные, серые, фиолетовые, летели обожженные клочки бумаг, ошметки, осколки, обмылки, огрызки необъяснимых пока происхождений. С ними населению было предписано в общения не вступать, пальцами не хватать, на язык не класть, в закуску не употреблять, подругам вместо цветов не дарить.

Жителей Москвы уверили, что за время существования самопоставленного столба взятый под государственную охрану Пузырь не похудел и искорежен не был.

Естественно, дом на Покровке посетили те, кому надо. Горячих следов в нем никаких не было. Перекрытия остались лежать. Только пахло горелым. И какой-то скверностью. Впрочем, скверность могла исходить и от бомжа, обнаруженного в парадном зале второго этажа. Разбуженный бомж для достоверности излагаемых фактов потребовал опохмельный стакан. Второй стакан понадобился для открывания левого глаза рассказчика и держания века в правом. Да, взрыв он ощутил. Но во взрыве не было той решительной категоричности, какая вынудила бы его прекратить сон. Разбудила его тишина. И тогда где-то внизу он услышал удары металла по камню. Били наверняка кирками и ломами. Били с яростью, будто желали взломать гробницу. Или сокрушить скалу. Он хотел

было пойти к трудягам на помощь, но ощутил, что его здоровье подорвано до такой степени, что он может оказаться при каменных работах лишь обузой.

Быстро спустившиеся в нижние помещения диггеры не нашли там ни пыли, ни осколков, ни скал, ни гробниц…

А Дударев услышал голос: пришла пора приводить дом концерна «Анаконда» в порядок.

73

«Если ранили друга, перевяжет подруга…» Надо было лететь вверх, плыть, ползти, карабкаться, над ним наконец-то забелело пятно, оно раскачивалось, удалялось, то растягивалось в полнеба, то сжималось в точку, но оно было, было, и следовало добраться до него. Движениям ног что-то мешало. Водоросли? Значит, он на дне? А над ним колышется вода? Грязная, светло-бурая, словно в Яузе или в московском канале у яхромских шлюзов, но над ней – небо и солнце! Надо вырываться, выныривать к ним, сейчас же, сейчас! Там спасение, там жизнь…

– У него губы шевелятся. И руки дергаются…

– И хорошо. Ты пой, пой…

– Успокойся, милый, не тревожься, лежи… Если ранили друга, перевяжет подруга…

Мягкая ладонь ласкает его… Это были не водоросли, это лесная мавка укутывала его своей косой, лукавая мавка, готовая улететь к березовым ветвям и слиться с ними. И это не пятно, а женщина в белом, с золотой диадемой надо лбом… Вот она… Все ближе и ближе. Губами прикасается к его лбу…

– Гликерия!.. Гликерия…

– Вот тебе раз!

– И это хорошо. Слово произнесено.

– Он как малярийный.

– Лихорадка. Так и должно быть. Большая Лихорадка. А подергивания – от Блуждающего Нерва. Они в нем. Он еще помучается. Но они будут вынуждены покинуть его. А ты пой, пой… А потом снова поднесешь ему снадобье.

– На муромской дороге стояли три сосны…

– Про муромскую-то дорогу зачем?

– Не мешай! Ты готовь свои воды. Глядишь, через два-три дня они понадобятся. А ты пой, пой…

– На муромской дороге стояли три сосны, мой миленький прощался до будущей весны…

Его хотят усыпить. Отвести, отвлечь его от белого пятна и солнца. От женщины с золотой диадемой. Его хотят ослабить, обезволить и усыпить. Удержать в каменной колыбели. Вот и белое пятно погасло. Нет, оно вспыхнуло вновь. Оно возобновилось, оно распускается, оно

расплескивается, оно надувается ветром, оно – парус, надо вцепиться в него и лететь за ним к освобождению. Но парус опал, накрыл его и влечет вниз, во тьму, и это не парус. Это наволочка…

– Где наволочки?

– Какие наволочки?

– Где наволочки? Четыре наволочки?

– Успокойся, милый! Ложись! Тебе не надо приподниматься. И опусти руки. Вот так. Какие наволочки?

– Он бредит.

– Мне страшно. У него открыты глаза. Но он не видит нас…

– Он бредит.

– Так надо?

– Посчитаем. Пусть бредит. Бред вымывает ложную начинь. Влей ему четыре ложки вон того, сиреневого снадобья.

– Наволо…

– Успокойся, милый, успокойся… Рыбки уснули в пруду, птички…

– Что-нибудь погрубее.

– На окраине Рощи Марьиной на помойке девчонку нашли…

– Вот-вот. Ему как раз сейчас про Рощу Марьину и про девчонку с помойки…

– Экий вы привередливый!

– Я не иронизирую. Я всерьез.

Наволочки. Унеслись наволочки. Вон, вон они в вышине. И их нет. Это чайки. Они машут крыльями. Они прощаются. Они улетают. Они уносят женщину. Она в черном. Нет в ней ни жара, ни свечения. От нее холод, от нее озноб. Ее нет вовсе. И снова наволочки. Четыре. Перевязанные кумачовым кушаком. Полные, тяжеленные, мраморным надгробьем наваливаются на него, вдавливают в мокрый каменный пол. Но кто-то сдергивает их. Они уже пустые над ним, колышутся, дрожат, рвутся в выси, их наполняют горячим газом. О, какая жара! А над ним – воздушные шары. Он – груз, привязанный к ним скалолазьим кушаком. Шары несутся в небо, волокут его, все выбрано у него изнутри и занято тяжестью страха, жаркие газы исходят из шаров на него, он сейчас ослепнет и оглохнет. Лихорадка с Блуждающим Нервом…

– Пить! Пить!

– Лей ему снадобье. А потом дай и морсу своего чудесного. И мокрое полотенце на голову.

– Он сам тянет руку к ковшу.

– Пусть сам и подносит ковш ко рту.

– А где Омфал? Где дельфийский Омфал? Уворовали?

– Опять открыл глаза и нас не видит. Какой Омфал? Он бредит?

– Не совсем бредит. Но и бредит. Пой ему еще, пой…

– Милый, ты опустись, приляг. Я налью тебе. Еще поднесу ковш. Вот, все. Сейчас утру капли… И лежи. Раскинулось море широко, уж берег не видно вдали…

– Он что – матрос Вакулинчук, что ли?

– А ты не шипи! Готовь свои водные процедуры… Товарищ, мы едем далеко, подальше от грешной земли…

Куда его везут, раскачивая, бросая со льда в костер? Куда его вообще могут увезти от грешной земли? Никуда. Он прикован к грешной земле… сказал кочегар кочегару… Кто этот кочегар? И кто кочегар другой?.. Огни в моей топке давно не горят, растапливать нет больше жара… Кто опять вздымает вверх наволочки, ставшие парусами?.. Малохол? Неужели Малохол? Откуда здесь Малохол? Зачем ему наволочки? Зачем ему дельфийский Омфал? Сгинь, Малохол!.. И упрыгал, упрыгал Малохол, бросив наволочки, сейчас же ставшие простынями и унесенные в выси. А Малохол все прыгает через дубовые колоды, все скачет! Но это не Малохол. Это же Илларион. Это на самом деле Илларион. И скачет он в Гатчинском подземелье, ведущем к гроту и озеру, продолжая чехарду с Павлом Петровичем и Александром Федоровичем. От свечей тени всех трех скачущих, по приличиям игры, по очереди, – великански чернеют и растут… На палубу вышел, сознанья уж нет, в глазах у него помутилось… Где Илларион, где император, где главковерх? Ускакали. В никуда. И свечи в потайном ходу гаснут. Навсегда. И тьма. Навсегда…

– Где я?

– Открыл глаза. Снова не видит?

– Увидит.

– Где я?

– Там, где находишься. Более нигде.

– Кто вы?

– Всмотрись. Может, и вспомнишь. Сколько нас?

Чистая комната. Чистые стены. Чистый потолок. Окно. И в нем – несущиеся облака, серые с голубыми промоинами. И деревья, золотые, бурые, пурпурные, звонко-красные и зеленые. Над ним трое. Двое мужчин и женщина.

– Зачем закрыл глаза? Не нас рассчитывал увидеть. Увы, но других здесь нет.

Над ним трое. Илларион, Малохол и Стиша.

– Спасибо вам…
– Ну хоть что-то разумное, – Илларион.
– Что и как произошло? Не тогда… на Покровке… А после?
– Проще простого. Государственная смена летнего времени на зимнее. Перевод часовых стрелок…
– Я не понимаю.
– И не надо. Потом, может, поймешь. Потом объясню доступными словами. А благодарить надо не нас. Мы лишь пробыли некоторое время сиделками, с корыстными, возможно, целями. Благодарить ты должен своего подселенца-полуфабриката. И отчасти, в мельчайшей степени, Увеку Увечную, Векку Вечную, Викторию Викторовну.
– А ты ей не верил, – покачала головой Стиша.
– Пэрст-Капсула? Я не понимаю…
– И я поначалу не понимал, – сказал Илларион. – Потом понял.
– Он где?
– Сюда он не вхож. Сюда почти никто не вхож, – сказал Илларион. – Кроме нас. Ты здесь в полнейшей конфиденции.
– Я под арестом?
– Нет. Хотя намеревались избрать и такую меру пресечения. Ты дал к тому поводы. Но нет, ты в затворе. Ты в Сокольниках, в профилактории Малохола. В твоих же интересах. И еще кое-каких. Как ты сюда доставлен, опять же не суть важно. А теперь, как обрывают беседы в детективах: пациент устал, разговор заканчивайте. На три дня поступишь в распоряжение Малохола, его бань, душей, бассейнов и восстановительных орудий. Очухаешься вконец, сможешь выслушивать ответы на собственные вопросы и ласково взглянешь на Стишу.
– Ох, да зачем мне этот вертопрах Шеврикука! – вскинула брови Стиша.
– Ну, не на Стишу, – сказал Илларион. – Еще на кого-нибудь попригляднее.
– Это на кого же? – возмутилась Стиша.
– Скажу только, – Илларион направился к двери, – что ты замереть сумел и успел. Это тебя и спасло. Но замер так, что вывести тебя в жизнь было нелегко.
– Спасибо…
– Да при чем тут спасибо! – Илларион поморщился, махнул рукой и вышел.

74

Была в хозяйстве Малохола и баня по-черному под соснами по соседству с мелким прудом. В ней Малохол и начал возобновление в Шеврикуке соков и сил. Потом произошел переход в здешние Сандуны, потом в сауну и в турецкую баню.

– Я понимаю, – сказал Малохол, – какую степень доверия ты испытываешь к нам… Не к нам, скажем… А ко мне… Но придется потерпеть…

– Потерпим, – кивнул Шеврикука. – Мне только и остается теперь, что терпеть… Но отчего в прошлый раз ты приказал мне более никогда к тебе не заглядывать?

– Я знал, – сказал Малохол, – что на тебя положены глаза, не было нужды и нам попадать под взгляды Недреманных Очей, проявляя к тебе дружелюбие. Нам же надлежало тебя поддержать позже.

– С чего бы? На кой я вам?

– Илларион тебе потом объяснит.

– А не из-за Стиши – в прошлый раз?

– Чуть-чуть из-за Стиши. Я же ревнивец… Но чуть-чуть…

– Полагаю, что будет еще немало поводов для моих удивлений и огорчений…

– Да, – подтвердил Малохол. – Кое-что тебя расстроит. Но ведь тебя предупреждали.

– Кто? О чем?

– Ну… – замялся Малохол. – По крайней мере о двух предупреждениях мне известно. Однако отмокай. А потом или сам выстроишь догадки, или задашь вопросы. Хотя бы и Иллариону. А у некоторых ты и не пожелаешь ничего спрашивать. Еще два дня, и я передам тебя Иллариону. Банщик и массажист тебе более не нужен. До поры до времени.

Через два дня явился Илларион. Он словно бы тоже был вынужден снимать напряжение в профилактории, носил спортивный костюм, кроссовки и походил на теннисиста, опечаленного отсутствием в здешней местности корта. Загар же его вызывал мысли о том, что Илларион совсем недавно лежал на тунисских пляжах. Молчал Шеврикука, молчал Илларион, заглядывал в томик Вовенарга и порой иронически улыбался. Иногда призывал Шеврикуку совершить поход в Сокольнический парк, но

и там путешественники медлительно молчали. Синоптики толковали о необыкновенной продолжительности нынешнего бабьего лета, и действительно, снег не выпадал ни разу, в парке цвета были желто-зеленые, лимонные и багряные, а на рынках торговали белыми грибами.

Шеврикука удивлялся терпению Иллариона, свойство это не было присуще его натуре. Но он не знал, в каких значениях приставлен к нему Илларион, заводить же разговоры об этом не считал уместным. Ясно было, что он, Шеврикука, натворил нечто досадное, требующее допросов и наказания. Но возможно, что его надзиратели полагали, что подследственный пока не созрел и пусть еще погуляет до протоколов. Но что-то было и не так. Ни в Малохоле, ни в Стише не хотелось подозревать теперь фальшь. Ночевали они с Илларионом в щитовом домике у забора, через который накануне марафонского забега на Башню перебирался жаждущий Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный. В домике хранился садовый инвентарь.

Среди этого инвентаря вряд ли могла валяться арфа, какую однажды Шеврикука увидел вблизи Иллариона. То есть это Илларион сидел на табурете вблизи арфы многострунной, перебирал эти многие струны, вызывая тихую мелодию, отдаленно напоминающую Шеврикуке арию героя кавалера Глюка. Потом Илларион заиграл «Гром победы раздавайся, веселися храбрый росс…», продолжив «Гром победы» парижским маршем воинов Александра Первого.

«До чего я его довел…» – подумал Шеврикука.

– Ну что? – заговорил Илларион. – О чем начнешь спрашивать? О наволочках? Или о Гликерии?

– О наволочках, – сказал Шеврикука.

– Общественно-сословное прежде всего! Как же-с! одобрил его Илларион. – Но, к сожалению, милостивый государь, наволочки, простите за выражение, увязаны с Гликерией Андреевной.

– Она всему причиной?

– Всему причиной ты. Но тебя использовали разные силы. В их числе и Гликерия.

– И много было разных сил?

– Мне известно о пяти. Корыстных.

– Ты – шестая сила?

– Нет, – покачал головой Илларион. И провел рукой по струнам арфы. – Не шестая. Я в этом случае и вовсе не сила. Я замешан, но сбоку припека. И без корысти.

– От скуки. И из любопытства.

– Верно. И ты должен был бы иметь это в виду.

– Я и имел, – сказал Шеврикука. – Но увлекся.

– Ты увлекся. И тебя увлекали.

– И Гликерия?

– Ты этого будто бы не понял? И будто бы не слышал моих предупреждений?

– Твои предупреждения были сдержанные и лукавые. И ты играл, меня поддразнивая.

– Допустим. Но ведь ты вовсе не простак.

– Что ты теперь обо всем этом скажешь?

Илларион сказал. Он встал. Казалось, он мог распорядиться, чтобы арфа, как предмет неуместный, исчезла. Но арфа оставалась стоять в тесноте служебного домика, и Илларион, прохаживаясь в этой складской тесноте, порой натыкался на сладкострунный инструмент, вызывая вовсе не волшебные, а скорее ржавые звуки. Морщился при этом. Но ржавые-то звуки, может быть, как раз и оказывались подходящими к его словам.

Конечно, можно посчитать Гликерию и стервой. Но стоит ли теперь сводить все к резкостям или даже брани? Женщина есть женщина. Тем более такая, как Гликерия Андреевна, с претензиями, капризами и склонностями к авантюрам. Не следует забывать и о том, что в последние месяцы Гликерия и Шеврикука находились в раздоре, и Гликерия вполне могла посчитать себя свободной от каких-либо приятельских обязательств. Другое дело, что она вводила Шеврикуку в заблуждения, а решающей своей просьбой поставила его на край гибели. Кабы не сумел Шеврикука замереть, да кабы не энергия Пэрста-Капсулы, да кабы не еще кое-что, он бы так и остался лежать навсегда замурованный, к тому же – и основанием для процветаний злодея Бушмелева. Гликерия не могла этого не понимать, потому она и искренне произносила прощальные слова, неверно Шеврикукой истолкованные. Конечно, она убеждала себя в том, что Шеврикука – пострел и погубить себя не позволит, да и новые значения и силы при нем, и он возьмет да и одолеет ненавистного ей Бушмелева. Опять же при этом она не могла не понимать, что новые силы Шеврикуку покинут, как только обнаружится, что предприятие, затеянное им, не имеет отношения к историческим или сословным необходимостям. Дело Шеврикука затевал частное. Малоприятно Иллариону и то, что Гликерия действовала с расчетом, неторопливо вовлекая Шеврикуку в свою игру, возбуждая в нем воинственно-рыцарское состояние и жалость к страдалице и узнице. Нарочно переступала установления, чтобы попасть сначала в домашний затвор, а затем уже и в каземат с узкими окнами. Но на очень

недолгий срок. Теперь она снова в свете, при всех своих нарядах и украшениях.

Гликерия Андреевна своего добилась. Из тайника, куда ни она, ни многие другие, в их числе Бушмелев и Отродья Башни, даже такой их вернейший исполнитель, как Белый Шум, пробиться не могли, Шеврикука, снабженный особенными значениями и силами, сумел выволочь все, что понадобилось Гликерии Андреевне. Четыре наволочки, нет, три, извини, три, четвертая предназначалась Концебалову, добро из трех наволочек пошло Бушмелеву на выкуп кабальной бумаги (из-за должка, из-за должка, случился как-то грех с Гликерией Андреевной), но и самой Гликерии из этого добра кое-что досталось.

Что же касается Бушмелева, то он пусть и был заеден в доме на Покровке насекомыми, в конце своей почти столетней жизни разум совсем не потерял. Блажил, прикидывался безрассудным, а сам рылся в бумагах чернокнижников, учеников Якова Вилимовича Брюса. В особенности в бумагах курляндского лекаря Андреаса Рейтенфельса. И обнаружил там формулу некоего магического ритуала. Восставший нынче, он и попытался произвести будораживший его долгие годы фокус в доме на Покровке. А по всяким расчетам, знакам, рисункам, астрологическим и временным требованиям важным компонентом ритуала оказался по причине многих своих свойств, в том числе и дурных, именно Шеврикука. Равноценной Шеврикуке могла быть и Гликерия Андреевна, скорее всего, она и еще более подходила бы к случаю, но сумела откупиться от приготовленной ей участи. К тому же без нее Бушмелев ничего бы не заполучил из тайников Тутомлиных и из запасов Шеврикуки. К самому Шеврикуке Бушмелев не мог подступиться ни с какого бока. И что же? Гремели в доме на Покровке громы и взрывы, слышались ритуальные песнопения, лилась кровь, замуровывали предсказанный курляндцем Рейтенфельсом компонент, и обрел Бушмелев черную силу. На время. Силой этой Бушмелев управлять не сумел, а возможно, и не все рекомендации курляндца оказались верными. К тому же отоспался и поборол томление всей своей сути Пэрст-Капсула.

Рассказать доступными Шеврикуке словами о действиях Пэрста-Капсулы Илларион брался с допущениями. Будет у Шеврикуки возможность, пусть обо всем расспросит полуфабриката. Или обратится за разъяснениями к своему гениальному квартиросъемщику Мите Мельникову (при упоминании Мельникова Шеврикуке тотчас же захотелось вернуться в Землескреб к служебным рвениям). «Ты и впрямь оживаешь, Шеврикука», – заметил Илларион. Так вот, Илларион принимает

суть происшедшего, но словами она передастся легкомысленно. Или даже смешно. По ученым рекомендациям в просвещенных странах два раза в год переводят стрелки часов: с летнего времени на зимнее и наоборот. Якобы для экономии энергии. Как эта энергия экономится, сколько ее и куда она девается, неизвестно. А вот полуфабрикат подсчитал, как, сколько и куда. И все подсчитанное изъял и вобрал в себя. И накопленное от прошлого перевода стрелок, и авансом, вперед, от перевода нового. При этом он говорил не только об энергии тепловой, электрической или мышечной, но и об энергетическом развитии судеб, духа и еще о чем-то, для Иллариона скучном. Так или иначе, Пэрст-Капсула бодр, вытянулся, шею приобрел и более не уродец. И он смог сокрушить черную силу Бушмелева и высвободить своего замурованного жилищного благодетеля. А надо сказать, что камни и раствор склепа были крепчайшие… Такая вот энергетическая история.

Бушмелев сокрушен, но не истреблен. То, что от него осталось, куда-то истекло и там притаилось. Не наделает ли дел нынешний удалец Пэрст-Капсула? Не воспылает ли в нем гордыня? Думать так, полагал Илларион, оснований нет. К тому же Пэрст-Капсула почти и израсходовал свои энергетические приобретения. Сейчас он на каникулах и ведет себя прилично, как заурядный московский отпускник-холостяк в Геленджике. Ланцелотом же на Покровке он проявлял себя исключительно из расположения к Шеврикуке. Впрочем, Иллариону кажется странным, что кто-то может иметь расположение к такому шалопаю, как Шеврикука. И еще. Отчего-то существенными на свойства Пэрста-Капсулы являются влияния плюсов и минусов лирических отношений Мити Мельникова и Леночки Клементьевой. «Я знаю отчего», – сказал Шеврикука. «Ну и хорошо», – кивнул Илларион. Он понимает, что Шеврикука не прочь бы поговорить с полуфабрикатом, но тому ходу сюда нет. По разным соображениям. Кто он, Шеврикука, – больной на излечении, временный затворник, злыдень-арестант или охраняемый объект, выяснится в скором времени.

– Чего уж тут выяснять, – сказал Шеврикука, – если я признаю себя виновным?

– Твои ощущения или даже терзания, – сказал Илларион и задел арфу намеренно, – мало кого волнуют. Выясняется степень твоей необходимости и полезности в будущем.

– Приданные мне силы оставили меня…

– На время. Надо полагать. Во всяком случае, ты так и остаешься наследником Петра Арсеньевича, и снять с твоих плеч возложенные заботы

никто не волен.

– А я сам?

– Ты тем более. А потому и посиди здесь в узком кругу общения. Имеет смысл до поры до времени делать вид, что ты погиб или пропал без вести. А потом посмотрят…

– А вы с Малохолом здесь от каких сил?

Илларион рассмеялся:

– Много знать будешь, сна лишишься.

– Ну понятно, – кивнул Шеврикука.

Потом он спросил:

– Что-то было сказано про Увеку?

– А-а… Увека-то, – Илларион улыбнулся. – Эта дурацкая затычка в твоем ухе сработала. Радиомаячком. Она – для Отродий Башни. Но сигналы ее принимал и Пэрст-Капсула. Хотя он и так знал, куда ты мог направиться. Он ведь отговаривал тебя…

– Не слишком внятно, – сказал Шеврикука.

– Куда же внятнее-то… – покачал головой Илларион.

Далее последовали вести с воли. Как только изошел из дома Тутомлиных черный дым, концерн «Анаконда» начал решительные работы. Деньги потекли, люди забегали, куда были брошены реставраторы, куда – строители обыкновенные. Кубаринов и Дударев проявили себя российскими патриотами, решив обойтись без югославов, в особенности если те хорваты, турок и галицийцев. В круговороте строительных страстей Дударев не забывал о полотчике Игоре Константиновиче, досадовал, что никак не может отыскать его и послать в Северную Италию за паркетными плашками из альпийских елей. Заграничный паспорт Шеврикуки пролеживал зря. В Южный Тироль были отправлены в конце концов куда менее достойные заготовители. Но так Или иначе перестройка дома на Покровке должна была быть произведена самым замечательным способом и в сроки проживания денег в деле.

Естественно, принялись возводить в усадьбе и бассейн для амазонского змея Анаконды, с примыкающим к бассейну вольером и пастбищем персональной зебры ветеринара и зоотехника Алексея Юрьевича Савкина. Корма и напитки для поддержания жизненной бодрости змея по списку Сергея Андреевича Подмолотова, Крейсера Грозного, подавались пока добросовестно, благородно соответствовали научным разработкам и после дегустаций погонщика змея, ветеринара и их японского друга Сан Саныча не вызывали протестов змея.

Бурно неслась деятельность Салона гарантированных чудес и

благодействий в Сверчковом переулке. Не иссякли и футбольные заказы, но перечень услуг с ходом дней удачливо расширялся. С устойчивой завистью смотрели на дела Салона старательные гитаны из Ателье «Позолоти ручку!», что у Чистых прудов, но вредить сверчковцам не решались. В особенности после исчезновения черного столба. Хороша была во всех предприятиях Александрин Совокупеева. Расцвела и озарилась улыбкою Леночка Клементьева. Супруге Радлугина и ее хахалю поручали снятия порч с телефонных автоматов и изведения крысиного духа из туннелей метрополитена. Появлялась в Сверчковом переулке Гликерия Андреевна во впечатляющих нарядах, перед ней ставили особые задачи, похоже, что секретные, и она, надо полагать, имея ассистенткой Невзору-Дуняшу, прихоти Дударева и клиентов исполняла, преуспевая. И если Дуняша болтала с Совокупеевой и даже с супругой Радлугина, то Гликерия разговоров почти не вела и выглядела высокомерной и державноозабоченной.

В подъезды Шеврикуки в Землескребе свежего работника пока не назначали. Так что Шеврикука может не волноваться («Как же не волноваться! – сокрушался Шеврикука. – А если приползут тараканы из подъездов Продольного!..»). В собрании домовых и на деловых посиделках в Большой Утробе о Шеврикуке не говорили ни слова. Но тихие шепоты о нем, несомненно, сочились. В их числе и самые невероятные шепоты. Вплоть до того, что Шеврикука по неизвестным причинам подселился в тень Фруктова, принял облик пострадавшего чиновника и теперь ни за что не отвечает, а лишь треплется с бакалейщиком Куропятовым на исторические и социальные темы, бранит власти и народные нравы. Другие полагали, что Шеврикука прокутил или проиграл свои новые значения и сейчас где-то на издыхании. Большинство же считало, что Шеврикука пропал всерьез, а документы на нового двухстолбового домового в Землескреб по дороге затерялись. Что у нас бывает.

Вообще же в Останкине было спокойно. На время, конечно, на время.

– А четвертая наволочка? – спросил вдруг Шеврикука.

– Какая, прости, из четырех наволочек четвертая? – поинтересовался Илларион.

– С Омфалом, Пупом Земли, для Концебалова-Брожило…

– Сама-то наволочка обнаружена, а Омфал, копия дельфийского, исчез.

– Ну да, – вспомнил Шеврикука. – Он еще тогда исчез… Они искали… Он был им нужен, но исчез…

– Когда – тогда?

– Перед началом ритуала…

– Значит, все же помнишь о чем-то?

– Да, вспоминаю кое о чем… Какой же я был болван, в какой горячности действовал, если не смог сообразить, отчего Горя Бойс сразу же выдал мне досье на епишку Бушмелева. Даже думать об этом не стал. Горя-то Бойс сам проговорился, что знал: я приду и с чем. А подсказал про епишку мне ты, Илларион…

– Опять же от скуки. И из любопытства.

– Пусть будет так… Много было ведающих, чего от меня ждать. Меня вели. Меня направляли. И Дуняша… И тем более Гликерия… И даже Конпебалов-Брожило… А я болван!.. Болван!..

– Не сокрушайся. Вытерпи.

На другой день Шеврикука запил. Приходилось сообщать: Шеврикука трезвенником не был, но и к спиртному его не тянуло. Поддержать компанию и беседу – это он мог, пожалуйста, но с оглядкой, а чтобы напиваться вдрызг и с удовольствием – в этом он никакой радости не видел. А тут он загудел. Пошел в разнос. Стишины напитки закусывал разносолами, от горячих блюд отказывался решительно. Запретов не поступало. Пил Шеврикука при видимом попустительстве Иллариона. А порой и при его участии. «Тамбовская губернская» при этом не предлагалась. Возможно, запойное состояние Шеврикуки не противоречило видам на него. Или даже было кем-то прописано ему.

Угнетало его и осознание собственных безрассудств. Но тут все было ясно. А вот Гликерия… Он начинал уверять себя в том, что ничего удивительного не произошло. Он должен был предполагать и такой поворот событий, свойства Гликерии были ему известны, уговоров чести между ними сейчас не существовало, и сам он, случалось, бывал грешен перед Гликерией… И все же, и все же… Она прощалась с ним в декорациях каземата, принося его в жертву… Ну и что? Гликерия свободна в выборе способов своего осуществления, вольна в отношениях со знакомцами, а он, Шеврикука, не должен был становиться болваном, пригодным для жертвоприношений. В ледяных рассуждениях он мог все себе разъяснить, но они его не успокаивали. Он понимал, что ему будет тяжко жить с памятью о… слова «предательство» он и в мыслях старался избегать… с памятью о поступке Гликерии. Он понимал, что ему тяжко будет жить без Гликерии, какой бы она ни была, и что наступит минута, когда он ее простит.

От этого явившегося ему соображения Шеврикука освободиться никак не мог. Тогда он и запил.

«Какое еще может быть прощение? Никогда! Ни за что! Да и нужно ли

ей мое прощение? Что оно ей? Ничего не значащий для нее жест болвана, над которым она, скорее всего, и посмеивается…»

Малохол (работники из команды Малохола – Раменский, Печенкин и Лютый в складской домик не забредали) и Илларион вблизи Шеврикуки больше молчали, а если и произносили слова, то вовсе не имеющие отношения к маете Шеврикуки. Одна лишь Стиша взглядывала на Шеврикуку жалеючи. Но и в ее взглядах угадывалось: «Помается мужик, потоскует, а потом и отойдет…»

Но не тоску ощущал теперь Шеврикука. Ему уже казалось, что два месяца назад тоску на него наводили, чтобы вызвать в нем сострадание, жалость к Гликерии и подтолкнуть к действиям. Или та тоска была предощущением событий в доме на Покровке.

Теперь же он испытывал… томление. Да, томление. И как бы прежде легкомысленно, свысока или даже иронически он ни относился к самодиагнозу Пэрста-Капсулы: «Томление всей сути», с ним именно и происходило сейчас томление всей сути. Схожие состояния были знакомы ему, но они случались временными и как бы частностными. Сейчас же его состояние казалось ему вечным и для него всеобъемлющим.

«Вот ведь блажь какая! – говорил себе Шеврикука. – Вот ведь дурость!»

В минуты относительных трезвостей к нему приходили мысли о том, что история мироздания – это и есть история томления. И что томление-то – самое существенное состояние мироздания. Все пронизано томлением. И душа, и плоть, и материя, и дух. Движение сил во всех формах мироздания вызвано прежде всего томлением. Томление есть и в амебе, и в частицах атомов, отсюда и реакции ядер, и в человеке. Томление нарождающихся Отродий Башни – от невоплощенности их в формах, от высокомерия их претензий и скудости их традиций и мифов, от того, что нет у них собственной Чаши Грааля, необходимость иметь какую, хотя бы обобрав домовых, их терзает… История ересей – и это история томлений (хотя почему ереси пришли ему в голову после соображений об Отродьях Башни?)… Афинский мудрец говорил о небесных печатях, скрывающих секреты природы, о том, что необходимо утаивание этих секретов от человека, убережение его от них, ибо снятие печатей не принесет ему счастья и не истребит его страхов. Но томление человека, как и иных тварей, камней, огня и вод, томление от несовершенств, в любви – может быть, в любви – в первую очередь, томление от запретов, от печатей, толкает его и к благу, и к дерзости, к действиям и распахиванию дверей, за которыми открываются новые несовершенства и печати. И новые

томления…

А что он, Шеврикука, в этом вечном движении? Что его нынешнее томление? Оно само по себе?.. Конечно, оно само по себе. Но Шеврикуке стало казаться, что он находится в единении и любви со всем мирозданием и что без этого единения и любви ему будет худо. «Нет, я не покинутый, – твердил себе Шеврикука. – Я никогда не был покинутый. И я никогда не буду покинутым. Я не должен быть покинутым…» И будто звуки арфы доносились из далей…

– Ты что, Шеврикука? Ты плачешь? Что о тобой? – говорил Илларион. – Ты на коленях! Ты молишься, что ли?

– Это я спьяну, – хмуро сказал Шеврикука, поднимаясь с колен. – Надо прекращать пить.

– Еще чуть можно, – сказал Илларион. – А потом действительно придется…

А струны арфы вздрагивали.

– Бывают томления, бывают утомления, – сказал Илларион, приглашая Шеврикуку к столу. – Мне это известно. А Стишины снадобья здесь не повредят.

Снадобья были предложены крепкие.

Ночью Шеврикуке приснился домовой Колюня Дурнев, он же Колюня-Убогий. Колюня сидел на табурете у лежанки Шеврикуки, бормотал что-то, на коленях держал бубен, из уголка рта его текла слюна.

Шеврикука заставил себя открыть глаза.

Колюня-Убогий как сидел в его сне на табурете с бубном на коленях, так и продолжал сидеть при открытых глазах Шеврикуки.

«Ну все, – понял Шеврикука. – Допился до собственного епишки. Определили ко мне Колюню…»

Утром Илларион сказал Шеврикуке:

– Пороку предаваться прекращаем. Через три дня за тобой придут. В тебе возникла надобность.

– Кто придет? – спросил Шеврикука.

– Увидишь, – сказал Илларион.

75

Через три дня за Шеврикукой пришел Колюня-Убогий.

Позже выяснилось, что он и не пришел, а приехал на мотоцикле, и это Шеврикуку не могло не удивить.

После недолгого разговора с Илларионом в присутствии Малохола Шеврикуке вручили шлем и очки мотоциклиста и проводили к средству передвижения. Шеврикука надел шлем и очки, сел на указанное ему место в коляске и был увезен в неизвестном направлении.

Неизвестным направление это оказалось для него.

Колюня-Убогий дорогу знал.

Стекла же очков Шеврикуки, как только мотоцикл взревел, стали черными и превратили Шеврикуку в слепого. Запоминать повороты и учитывать время всех отрезков движения Шеврикука не захотел.

«Куда привезут, туда привезут», – решил он.

Колюня-Убогий не произнес ни слова, возможно, не был уполномочен вести разговоры, а Шеврикука его ни о чем не спрашивал.

Он вспоминал о минутах расставания с профилакторием Малохола.

Вышли к забору озабоченные – и было отчего – Стиша и доблестные труженики Малохола – приставленный к деревьям и цветам Раменский, опекун пожарных гидрантов и огнетушителей Лютый, ревнитель токов воды в трубах и бассейнах Печенкин. Они поглядывали на Шеврикуку с интересом и скорее доброжелательно, нежели с укором. А Стиша – чуть ли не с любовью. Была она во все тех же красных сафьяновых сапожках и шелковой кадрильной юбке, но, естественно, без июльского венка. Стиша не сдержалась, бросилась к Шеврикуке, обняла его, не вызвав на этот раз недовольства Малохола. И растерялась, не знала, что сказать, вспомнила о не столь важном: оказывается, несколько дней назад вот здесь же забор намеревался перелезть Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный, с японским другом, он искал своего приятеля Игоря Константиновича, будто чувствовал, что он содержится здесь, и провозглашал трубно: «Паркеты завезли! Паркеты!» Слеза потекла по щеке Стиши. Она прошептала: «Не пропади! И не забывай тех, кому ты нужен…» Последние слова были произнесены явно со значением.

А прежде в домике, представив Шеврикуке Колюню-Убогого, Илларион сообщил, что вести пришли скверные, Отродья Башни предприняли в Останкине штурм бастионов домовых и ему, Шеврикуке,

пришла пора исполнять исторические и сословные надобности, предписанные «Возложением Забот». А когда Шеврикука был усажен в коляску мотоцикла, Илларион сказал: «Ну, ни печки, ни кочерги!»

И поехали.

В каком свойстве или в качестве кого предстояло ему исполнять исторические и сословные надобности, Шеврикуке не объявили. Кем он был после безрассудства и конфузии в доме на Покровке, так и не разъяснилось. Кто были при нем Илларион и Малохол, лишь чуть-чуть приоткрылось. А в разговоре, теперь уже как будто бы давнем, в Китай-городе, в Обиталище Чинов, Увещеватель дал понять Шеврикуке, что кому следует хорошо известно о его выходах на Отродий Башни и общениях с так называемым Бордюром. Могли ли сейчас доверять ему? Но возможно, его везли в какое-либо секретное узилище как изменника и предположительного союзника Отродий, открывших военные действия. Слова же о надобностях в нем были произнесены лишь для того, чтобы не допустить бунта и побега Шеврикуки.

Но отчего захват Шеврикуки и конвоирование его в узилище поручили Колюне-Убогому? Ведь стоило ему, пусть и слепому, рукой пошевелить, он бы этого тщедушного Колюню… Но когда Шеврикука пожелал осуществить намерение, выяснилось, что он не может пошевелить даже пальцами рук и ног.

Он был скован.

Значит, Колюня вовсе не был Убогим?

Ведь и домовой Петр Арсеньевич многим казался дряхлым мухомором, а имел и хранил упрятанные в нем силы, значения и полномочия. Однако эти силы и значения не смогли уберечь его…

Кем же был Колюня-Убогий?

И не несутся ли спереди и сзади, по бокам его мотоцикла, бронированные колесницы с бойцами Темного Угла, с Любохватом и Продольным, опоясанным пулеметными лентами?

«Эко ты себя возносишь! – устыдился Шеврикука. – Коли полагаешь, что тебя так оценивают и опасаются!»

Нечего было гадать без толку, следовало ждать, что с ним произведут. Постановление вышло, исполнители назначены, что будет, то будет.

Но успокоиться он не мог. Он был взволнован и растерян. И томление, похоже, не изошло из него.

Он представил, каким увидел его три дня назад Илларион. Он стоял на коленях. Он и на самом деле молился? Он жаждал тогда единения с мирозданием и любви. Он не желал быть покинутым. Он и теперь был

готов молить о том, чтобы его никогда не покинули. Не столь важно было, продолжится ли его существование или нет, главное, чтобы он не оказался покинутым и чтобы ему не отказали в способности к любви. Смеялся ли Илларион, обнаружив его на коленях, не имело значения. Да, он пил, но в те минуты он был трезв.

Тем временем движение мотоцикла прекратилось. Городские звуки вокруг не слышались. Похоже, никаких звуков вообще не было. Но не было и тишины. Сильные руки подняли Шеврикуку и опустили на землю. Оковы его движений были устранены. Стекла же очков не просветлели.

Поддерживая Шеврикуку под руку и направляя, его повели. Поначалу ступенями лестницы шли вверх, потом по ровному месту, затем безмолвно предложили Шеврикуке ступать лестницей, и крутой, вниз. Спуск вышел куда более длительным, нежели путь начальный. К удивлению своему, Шеврикука ощутил, что успокоился, свободен от волнений и страхов. Его усадили на нечто твердое и холодное.

– Оставьте нас, – услышал Шеврикука. А через минуту прозвучало: – Можете снять очки.

Тьма не исчезла. Шеврикука подумал, что если ему и вернули зрение, то вернули малость его. Но потом он понял, что комната ли, камера ли, пещера ли плохо освещена, горели лишь две лучины. Шеврикука сидел на каменной лавке. Против себя у стены в полумраке он увидел Колюню-Убогого.

– Это не камера и вы не узник, – сказал Колюня-Убогий. – О действиях Отродий вам сообщили. И это ваш пост.

Собеседник Шеврикуки действительно был похож на Колюню-Убогого, но о скудоумии, о слабоволии или жалкости его предполагать было бы ошибочно. И слова он произносил как личность значительная.

– Да, я был известен вам как Колюня-Убогий, – сказал собеседник. – Но я пребывал в Останкине в ином, декоративном, назовем так, состоянии.

– А кто вы?

– Посчитаем, что я из тех двадцати старцев, не скованных и не связанных, о которых вы дискутировали с Петром Арсеньевичем на Звездном бульваре. Хотя это обозначение, как вы сами понимаете, фольклорно-сказочное, а потому и условное.

– А кто я?

– Вы сами знаете, кто вы.

– И вы мне доверяете?

– Если вы имеете в виду свои общения с Отродьями, то суть их нам известна. Как известна она и самим Отродьям. Вы попытались стать

воином-одиночкой способами ребяческими. Отродья сразу же раскусили вас. Но не уничтожили, потому что поняли: и от общений с вами, разъясненным, можно извлечь пользу. Мы же сознавали, что вы действуете в соответствии с натурой нынешнего Шеврикуки, тридцатипятилетнего. Шеврикуки – частичного. А мы имеем в виду Шеврикуку цельного. И мы не отделяем вас от себя. Вы один из нас.

– Спасибо.

– Кстати, Отродьям неведомо, что с вами и где вы сейчас. Их маячок, затычка для правого уха, естественно, изъят, а вокруг вас установлены экраны защиты.

– И что это за пост? – спросил Шеврикука.

– Это важный пост, – сказал собеседник. – Там, за стеной, – указующий взмах руки, – наше сословное достояние. Наше Сокровище, о котором вы также беседовали с Петром Арсеньевичем. Чаша, какая привиделась вам в Обиталище Чинов, в кабинете Увещевателя. И позже вы всматривались в нее. Чаша, а если сказать с долей условности, то и Братина. Достояние наше жаждут завоевать Отродья ради укрепления собственной начальной мифологии и жизненных обустройств. Чаша-Братина – цель для них промежуточная. Главное для них – подчинение себе человека. Вам предстоит оберегать ее. Возможно, Отродья сюда и не доберутся. Но не исключается и худшее. Но оберегать Братину вам придется не кочергой, пусть и серебряной, а своей сутью…

– Но не помешала бы и серебряная шпага, – сказал Шеврикука.

– Может, вы ее и получите, – задумался собеседник.

– Меня толкали в одиночество, – сказал Шеврикука. – В необходимость быть одиноким охотником. Почему?

– Вас проверяли. Вас и силу ваших приобретенных значений. Ожидания оправданны. Вы многое открыли и многого добились самостоятельно. И это ценно. И в доме на Покровке вы одолели крепости, другим недоступные.

– Однако там меня замуровали.

– После того как вы нарушили требования «Возложения Забот».

– И я мог остаться лежать замурованным навсегда…

– И это вышло проверкой. Жестокой, согласен, проверкой. Но вот вы передо мной живой, а не замурованный. А потому вам и доверен этот пост. Петр Арсеньевич имел замечательные свойства и заслуги, но, видимо, воин в нем устал. Оттого Петр Арсеньевич и погиб. Но чутье ему осталось верным, раз возложение забот он произвел на вас.

– Кстати, – поинтересовался Шеврикука, – а Любохвату и

Продольному где доверены посты?

– О Любохвате и Продольном разговор особый, – сказал бывший Колюня-Убогий.

– А отчего вы доставили меня сюда со слепыми глазами?

– Таковы традиции и правила. Далеко не все тайны и мне открыты.

Было очевидно, что экс-Колюня-Убогий торопится куда-то. Напоследок он объявил Шеврикуке, что о ходе боевых действий его будут ставить в известность, а ход этот пока тяжкий и есть потери. Прозвучали и технологические наказы воину поста. Как и что предпринимать в случае нападения или вылазок Отродий, какую линию в направлении Чаши-Братины не переходить самому и уж тем более не допускать за эту линию злыдней и воров. Кроме Шеврикуки, в круговом порядке и на разных уровнях высоты оборону занимали и другие бойцы, но пост Шеврикуки чуть ли не самый решающий. Было подчеркнуто: находиться все время в напряжении, в обостренном состоянии всех чувств и свойств, проникновения Отродий могут оказаться не только хитроумными, но вообще такими, какие воображение домовых неспособно предвидеть. Тут уж только чутье…

– Нелинейными, – кивнул Шеврикука. – Или пульсирующими. Или еще какими. Распорядитесь, пожалуйста, доставить сюда из Землескреба мои бархатные банты, черный, желтый и фиолетовый.

– Зачем? – удивился экс-Колюня-Убогий.

– Не знаю. Не знаю. Я и сам не знаю, – нервно сказал Шеврикука. – Так. На всякий случай. Возможно, это пустая блажь. Но может быть, это подсказывает как раз чутье. Или аналогия.

Через час банты ему доставили.

Шеврикука проверил крепость узлов, вспоминал при этом свой поднебесный разговор с так называемым Бордюром, старания Бордюра развязать черный бант и радость его, когда узел распустился. Шеврикука даже понюхал банты, не пахнут ли они фронтовой останкинской гарью? Не пахли. И тут он смутился. Он всегда стеснялся собственного увлечения бархатом, а банты прятал. И теперь он представил, какие мысли вызвала у исполнителей его просьба. И что он, отправляясь на свидание с Бордюром, поддался блажи – повязал бант? И почему бант так смутил влиятельного из Отродий? Он так тогда и не понял…

Ну, банты ладно. Пусть где-нибудь пока поваляются. А вот о том, что он ничего не вызнал о Пэрсте-Капсуле, просто забыл спросить о нем у экс-Колюни-Убогого, старца, не скованного и не связанного, одного из тех, кому, по легенде, доверено сторожить камень Алатырь, Шеврикука теперь

досадовал. Кто Пэрст-Капсула в нынешних обстоятельствах? Кто и с кем он? Или против кого? Или он сам по себе? И как быть с ним, если он вдруг объявится вблизи поста Шеврикуки? То, что такое может случиться, Шеврикука не исключал.

А пока он решил произвести осмотр отведенного ему пространства, разглядеть все, что было доступно разглядеть. Поверхность стены, на какую указывал экс-Колгоня и за какой в Чаше-Братине сберегалось Сокровище-достояние сословия, показалась ему выпуклой. Если же принять во внимание слова экс-Колюни о круговых постах, можно было предположить, что Чаша-Братина размещена внутри некоего цилиндра. Стена виделась черной, но это зрительное ощущение Шеврикуки могло оказаться и ошибочным. Разглядел Шеврикука и внешнюю стену, похоже, тоже цилиндрическую. Где, в каком месте Москвы было устроено хранилище достояния домовых? Никаких подсказок разъяснению этого Шеврикука не обнаружил.

А не устраивают ли ему, явилось Шеврикуке соображение, еще одну проверку? Не разыгрывают ли его? И не начали никакой штурм Отродья, и нет нигде вокруг иных постов. Вряд ли, решил Шеврикука. Уж слишком неуклюже-громоздкой вышла бы такая проверка. К тому же он мог испытать на проверяющих силы своих новых значений. Но посчитал, что обойдется без этих испытаний.

Побродив метрах в тридцати от лучин и каменных лавок, Шеврикука обнаружил стенд на двух металлических жердях, сбитый из некрашеных досок. Стенд походил на пожарный. И орудия покоились на нем для рук пожарных. Две лопаты, совковая и штыковая, багор, кирка, лом, ведро, топоры. А с ними кочерга и ухват. По предположениям Шеврикуки, в Чаше-Братине находились вовсе не какие-либо сыпучие вещества или жидкости, в особенности способные воспламеняться, тем более что в первейшие обязанности сословия вменялось сбережение дома и домашнего очага. А потому оставалось думать, что орудия на стенде предназначались не для тушения пожаров, а для целей оборонительных. «Будем иметь в виду», – сказал себе Шеврикука.

Он почувствовал, что в пределах его поста появилась новая, а возможно, и нежелательная здесь персона. Или персоны? Враги? И где-то прячутся? Или хоронятся невидимыми? Нет, явившаяся персона не хоронилась и не совершала разбойных действий. Она стояла под лучинами. «Да это же Пэрст-Капсула!» – сообразил Шеврикука.

Словами Иллариона он был приготовлен к тому, что в облике подселенца произошли изменения. Действительно, полуфабрикат подрос, а

голова его вроде бы уменьшилась, во всяком случае, она не напоминала голову одного из карлов Веласкеса, и ее не подпирал раструб боярского воротника. Может быть, Пэрст-Капсула из полуфабриката сумел продвинуться в новую для него стадию развития? Надел он синий свитер и ходовые теперь черные джинсы с желтыми стежками, а правой рукой, отчасти удивив Шеврикуку, держал головной убор, в каком лежал в получердачье Землескреба занедуживившим.

– Опять зябнешь? – обеспокоился Шеврикука.

– Нет, – сказал Пэрст-Капсула.

Голос его вроде бы не изменился.

– А зачем это? – спросил Шеврикука, указав на перевернутую воронку.

– Так, – сказал Пэрст-Капсула. – На всякий случай.

– Похоже, ты уже не полуфабрикат.

– Возможно, и так, – кивнул Пэрст-Капсула. – Но не мне судить.

– Ну, здравствуй, – шагнул к подселенцу Шеврикука. – Спасибо…

– Здравствуйте, – пожал ему руку Пэрст-Капсула. – А на ваше «спасибо», как говорится: не за что.

– Ничего себе! Благодаря тебе я здесь, а не в камнях палат Тутомлиных.

– Вы в свое время меня поняли и приняли.

– Приютить тебя ничего не стоило, а вот что касается понять… – Шеврикука намерен был сказать: «С чего ты Взял, что я тебя понял…»

Но Пэрст-Капсула его опередил:

– Поняли, Шеврикука, поняли!

Словами этими, почувствовал Шеврикука, было предложено о случившемся в прошлом более не говорить.

– А зачем ты проник сюда теперь? – спросил Шеврикука.

– Быть подпорой вам, – сказал Пэрст-Капсула. – И для чувствительности восприятия. Вам и вашим не дано ощутить многие движения Отродий. Пусть я буду здесь хотя бы чувствительным прибором.

– Мне и нашим… А ты кто?

– Считайте, что и я ваш. В отношениях с друзьями я верный и постоянный. В этом я себя проверил.

– И ты полагаешь, что силы, приданные мне с возложенными заботами, не сделали меня достаточно чувствительным? – спросил Шеврикука.

– Не знаю. Посмотрим. Увидим. Вот возникнут напряжения…

– А когда возникнут напряжения?

– Скоро, Шеврикука, скоро.

– А что в Останкине?

– В Останкине скверно.

– Тебе известен зеленый бельчонок Петюля?

– Слышал о нем. Имеет дело с одним из Белых Шумов.

– Белые Шумы оправились от Лихорадок?

– Не совсем. Но они приспособились к ним. И могут использовать свойства Лихорадок в своих целях.

– Что думают Отродья сейчас обо мне?

– Для них – вы попрежнему в доме Тутомлиных и замурованный. Извлечение вас из-под плиты произведено ювелирно-безупречное, с соблюдением тайных предосторожностей. Отродья спокойны, считая, что и силы ваши израсходованы в подземельях. Кстати, они полагают, что и мои усилия пошли исключительно на изведение черного столба. Для них я остался несущественной мелочью. Подлежавшей уничтожению. Но – забытой. И для высокомерных умов и аппаратов есть мертвые зоны восприятия.

«И Гликерия уверена, что я замурованный…» – подумал Шеврикука. В прежних его мечтательных и тревожно-смутных видениях Чаши не раз возникала женщина в белом и с золотой диадемой надо лбом, она молила о помощи… Чаша и мольба женщины были соединены в сознании Шеврикуки и будто бы даже существовали в этом соединении равноправными, хотя женщина и виделась вблизи Чаши маленькой, а то и крошечной. Равносильными, пожалуй, оказывались чувства Шеврикуки к Чаше, женщине и ее мольбе… Теперь, стало быть, Чаша – сама по себе, и женщина – сама по себе, и совместиться друг с другом для Шеврикуки они никогда более не смогут…

– Шеврикука! – услышал он голос Пэрста-Капсулы. – Тревога! Отродья, их группы захвата направились к нам.

– Они близко?

– Нет, они далеко. И путь их не будет прямым. Но пришла пора нам сосредоточиться. А вам – подать напряжение в силы ваших новых значений.

«Женщина в белом, женщина в белом, в экое расслабление могут привести мысли о ней!» – отругал себя Шеврикука. Сейчас же в голову ему пришло соображение: развесить бархатные банты над линией недопустимости, указанной ему экс-Колюней. Легко сказать: развесить! Но – надо! И Шеврикука, как в доме Тутомлиных, произвел себя в штабиста или в диспетчера приданных сил, определил подразделениям специальности и задачи. Одна из задач была тут же исполнена: бархатные

банты зависли в воздухе над линией недопустимости. Узлы их были укреплены и стали замками. Сами же банты Шеврикука наделил смыслом и направленностью воздействий. Теперь и он ощущал движения вражьих сил. И сознавал, что по мере приближения захватчиков к Хранилищу Чаши-Братины он поймет, кто они такие и что они такое, вместе и в отдельности, и как будут действовать. Он передал сигнал экс-Колюне и – на всякий случай – Иллариону о начале операции Отродий.

Не принижая в себе уровень сосредоточенности, но и не желая взвинчивать себя в минуты (может, и часы!) ожидания, Шеврикука принялся вспоминать. Отчего возникла его приязнь к бархатам и когда? Носил ли кто из хозяев его домов или квартир бархаты? Двое-трое, пожалуй, носили. Один еще в Киеве, в тереме на Михайловой горе.

Было ли это или не было? Имя хозяина Шеврикука уже не помнил, а вот малиновый бархат его кафтана помнил. И помнил, как идолов волокли к Днепру Боричевым спуском. То есть помнил не он, нынешний Шеврикука, Шеврикука частичный, много о чем пожелавший забыть и сумевший сделать это, а Шеврикука цельный, как сказано было экс-Колюней. Именно-то Шеврикуку цельного и отрядили на пост в Хранилище Чаши-Братины.

Нынешнему Шеврикуке, тридцатипятилетнему, в джинсах, свитерах и куртках, было бы скучно помнить обо всем виденном и пережитом. «Наша участь – бесконечность схожих происшествий», – было произнесено Петром Арсеньевичем на Звездном бульваре. Каково жить-то с памятью об этих схожих происшествиях? Надо было осуществлять себя с азартом, озорством и удовольствием в новых обстоятельствах и происшествиях. И не вспоминать при этом, как он глазел с каштанового дерева на идолов, уволакиваемых к днепровской воде. Или как он, сидя на крыше вымершей избы, наблюдал за метаниями озверевшей толпы в дни холерного бунта, усмирять который прибыл в Москву отважный граф Григорий Григорьевич Орлов, так и не приманивший в собеседники Жан Жака Руссо. Конечно, видения, голоса и знания из прошлого нередко являлись Шеврикуке, но они были отрывочными, необязательными и как бы чужими. И он их всегда утапливал или прогонял. Теперь же по необходимости и на время оживал цельный Шеврикука (впрочем, порой вовсе и не Шеврикукой именовавшийся), и все, что имелось в его житейском и чувственном опыте, возобновлялось и сливалось в единое.

«Лежит бел-горюч камень Алатырь, никем не ведомый… под тем камнем сокрыта сила могучая, а силе нет конца… под камнем медный дом, а в том медном доме закован змей огненный, а под змеем огненным лежит

ключ семипудовый от чаши братской… и бодрствуют старцы, не скованные и не связанные…» Над этими давними словами Шеврикука посмеивался на Звездном бульваре в присутствии Петра Арсеньевича, как над простодушием начальных испугов и надежд. Кто же теперь он, Шеврикука? Воин ответственного поста? Караульщик при бел-горюч камне Алатыре? Пусть будет и так…

Шеврикука прогулялся к дощатому стенду с пожарными и печными орудиями. Орудий прибавилось. Между штыковой лопатой и кочергой размещалась теперь шпага, похоже, что серебряная. Вверху, в правом углу стенда, на гвоздях висели пять рогаток. Шеврикука рассмотрел две из них. Рогатины их были несомненно серебряные, боевые же резинки явно нарезали из противогазов, что соответствовало технологическим требованиям мастера спорта по стрельбе из рогаток Сергея Андреевича Подмолотова, Крейсера Грозного. А вот боеприпасы, прилагавшиеся к ним в фанерном ящике, с практикой Сергея Андреевича не совмещались, они были не из клинкера, их отлили из серебра.

– Чу, Шеврикука! – выкрикнул Пэрст-Капсула. – Степь горит совсем близко.

– Быстро они, быстро! – сказал Шеврикука. – Я чую, чую!

Колотушку бы еще серебряную в руки сторожа Чаши-Братины!

Впрочем, шутки, даже и мысленные, следовало отставить. Шеврикука чувствовал, что сейчас все и начнется, что враги на подходе и что к нему, как и ко всем, кто дерзнет помешать им, они не проявят ни понимания, ни пощады, не станут соблюдать и людские правила военных действий. И людские правила жестоки, но для Отродий и они обуза.

76

Далее произошли события, изобразить какие мне было бы затруднительно. Слишком много случилось в них для меня невидимого, неосязаемого и неощутимого. Но есть документ, именуемый «реляцией». Как известно, реляции бывают двух жанров. В одних – следуют описания боевых действий, в других – содержатся рассказы о подвигах с представлениями героев к наградам. В нашей реляции автор не посчитал необходимым просить о каких-либо наградах.

«РЕЛЯЦИЯ О НАПАДЕНИИ ОТРОДИЙ НА ОХРАНЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ №…»

(номер обозначен невнятно или цифры его растерты, наверняка из соображений секретности).

Нападение Отродий Башни продолжалось четыре с половиной часа. Свидетельствую лишь о том, что известно мне и что происходило на вверенном мне участке обороны. Имею честь сообщить о том, что непосредственному нападению предшествовала силовая подготовка. Произведена она была не с целью разрушения стен Объекта, прочих преград и физического уничтожения боевого состава обороны, то есть не походила на артиллерийскую подготовку, а была действием скорее психологического или психотропного характера. Внешняя стена Объекта стала словно бы стеклянной, и за ней высветились вгрызающиеся в стену, ползающие по ней агрессоры безобразных форм и видов, их сложение сопровождалось безобразными же звуками. Возможно, это были десантники, возможно, ряженые каскадеры Отродий, чьей целью было вызвать панику среди стражников Объекта №… Мне неведомо, как чувствовали себя другие стражники, но у меня и у приданных мне сил ощущения были, мягко сказать, малоприятные. Порой и просто жутковатые. Можно предположить, что командиры психической атаки внимательно просматривали фильмы ужасов. Причем среди ползающих по стене почти не было упырей, вампиров с клыками и кровью на губах, ведьм с зелеными рожами (я углядел лишь три подобных персонажа) и прочих монстров. Большинство пугавших походило на зловещих инопланетян из воображений уфологов. Некоторые из них были изобретательно безобразны. Звуки же, что раздавались в течение сорока пяти минут психоподготовки, были не вытьем, не лаем, не ржанием, не плачем или истошными воплями. Слышались и скрежеты, и механические трески, и

металлические визги, и звуки будто бы космические, и такие, о происхождении каких нельзя было и догадаться, и рокоты взрывов, и лязги танковых гусениц, и нудь отбойных молотков… К сожалению, не могу сообщить точные тактико-технические данные средств противника. Исследовать их не было ни времени, ни возможностей. Сказанное относится и к изложенному ниже. Выскажу лишь предположение, что производимые противником звуки должны были вызвать в стражниках внутреннюю вибрацию, способную породить страхи, бессилие, безволие и желание сдаться. Чувства эти преодолевались с трудом. Но преодолевались. Полагаю, что психоподготовка желаемого результата Отродьям не принесла.

Последовало трехминутное затишье с исчезновением десантников или каскадеров и пропажей звуков. Потом начался непосредственный силовой штурм Охраняемого Объекта. По моим понятиям, он состоял из трех стадий. Первым делом захватчики попытались небольшим числом исполнителей одолеть внешнюю стену Объекта. Памятный дам разгром музыкальной школы, после чего началось освоение нами Большой Утробы, произвели искусные боевики Отродий Белый Шум и Магнитный Домен. В операцию по сокрушению внешней стены были брошены с десяток Белых Шумов и четыре Магнитных Домена. При погроме музыкальной школы, для домовых, надо полагать, предупредительно-показательном, боевики Отродий Башни все, к чему прикасались, металлическое, деревянное, пластмассовое, искрошили, превратили в мелкие стружки, опилки и песок. Мне также известно, что Белые Шумы способны к действиям лавинообразным. Не удивлюсь, если операция по одолению внешней стены имела кодовое название «Лавина». Или «Крошево». В течение тридцати восьми минут боевики Отродий старались раскрошить стену, оплавить ее или хотя бы проткнуть. Удачи они не добились. Стена не поддалась. Осмелюсь допустить, что из-за своего высокомерия и наглой самоуверенности специалисты Отродий не слишком внимательно изучили свойства Охраняемого Объекта и выбрали не самые подходящие средства для его завоевания. Но это из области предположений… Естественно, подпирали внешнюю стену, укрепляли ее приданные мне силы, выводить же часть их за стену в соприкосновения с Белыми Шумами и Магнитными Доменами я не стал, не увидев в этом надобности. Боевики утомились, были, видимо, удивлены своей неудачей, злились, впали в раздражение, то есть готовы были к действиям безрассудным, импульсивным и неэффективным, скажем, снова стали грызть стену. А потому командование отозвало их с линии огня.

Характер второй атаки дал повод думать, что Отродья растеряны и в штабе их начались раздоры. А впрочем, возможно, Отродья намеревались ввести защитников Объекта в заблуждение. Во всяком случае, они применяли теперь способы нападения лишь линейные, употребляю терминологию одного из влиятельных представителей Отродий, с кем мне, по известным в Обиталище Чинов причинам, приходилось вступать в общения. Можно сказать, что они учитывали опыт овладения Казанью или Измаилом. Устраивались подкопы, прилаживались к поверхности внешней стены подрывные устройства, перфораторами пытались выбить в толще стены шурфы для взрывчатки же, подводились к стене турусы на колесах и тараны. Так продолжалось два часа при большом скоплении боевиков противника, видимых и невидимых. И вторая атака Отродий не принесла им чести, она захлебнулась, и создалось впечатление, что Отродья осознали, будто бьются лбом о стену. Стена, о чем свидетельствую, давала отпор сама, естественно с поддержкой приданных мне сил, вызывая во вражеских рядах потери, в частности, перенаправляя воздействия от взрывов и таранов на самих нападавших. И на этот раз ситуация, по моей оценке, не потребовала выведения наших сил за пределы стены.

Третья же атака, наиболее серьезная и отчаянная, как и следовало ожидать, вышла нелинейной. Многое было мне в ней не ясно, и важные (так оказалось) решения я принимал после подсказок моего соратника, известного под именем Пэрста-Капсулы, о чьем присутствии и оборонительной роли на вверенном мне участке я доложу в конце реляции. Внешне как будто бы и ничего не происходило, и почти не слышались звуки, но эта стадия штурма Объекта стала для меня, как стражника, самой тяжкой и неприятной. Признаюсь, что в иные минуты я был растерян, не знал, что делать, и даже был склонен к малодушию и пораженческим настроениям. Воздействия, смею предположить, и на стену, и на стражников устраивались самые разнообразные. И биологические, и химические, и снова психовибрационные, и лавинообразные (возможно, после переориентировки Белых Шумов), и лазерные, и еще неизвестно мне какие. Несомненно, применялись и отравляющие вещества. В моем организме возникали расстройства и некомфорты, случались и отключения сознания. В такие минуты приданные мне силы сражались самостоятельно, по заданным им программам и пользуясь информацией упомянутого мной Пэрста-Капсулы. Почувствовав смятение в рядах противника, на этот раз я распорядился наиболее маневренной части наших сил выйти за пределы внешней стены и там нанести захватчикам упреждающие удары. Что и было с достоинством и почти без потерь исполнено.

Произведенный (и трижды!) отпор позволял надеяться на то, что штурм Объекта сорван. Но и мои ощущения, и чувствительные системы приданных сил, и датчики Пэрста-Капсулы, также ходившего на вылазку, заставили нас усилить напряжение обороны. В бой Отродьями были брошены существа (аппараты? фантомы?), способные, не сокрушая внешней стены, проникнуть сквозь нее в недра Объекта. И проникновение произошло. Способных совершить его у Отродий нашлось немного, но они были опасны, зловредны и увертливы. Я принял решение не отвечать на их уловки хитроумными же уловками, а повести с ними рукопашный бой. Мне оружием послужили серебряная шпага и кочерга, в критические моменты подкрепляемые ломом. Пэрст-Капсула сражался багром и двумя лопатами, совковой и штыковой. Приданные силы использовали свои средства и делали это с удалью и бесшабашностью. Неся потери, индивиды Отродий все же теснили нас к указанной одним из старцев линии недопустимости. К ней нас и притеснили. Но дальше и сами пройти не смогли. Выпущенные из их орудий световые лучи (лазерные? или еще какие?) ударились в три предмета, водруженные мною над линией недопустимости (фиолетовый, черный, желтый банты из бархата), отлетели от них обратно, поражая своих же хозяев. После этого характер рукопашной решительно изменился. Захватчики с помощью названных уже орудий были сокрушены, остатки их подогнаны к внешней стене и вытолкнуты за нее в городские пространства. Теперь уже большая часть приданных мне сил (за исключением бдящих) была послана вдогонку за бандитами, приказано было открыть прицельную стрельбу из боевых рогаток серебряными катышами, что нанесло противнику значительный урон.

Более нападений на Охраняемый Объект не последовало.

Должен добавить, что причины странных воздействий бархатных бантов мне так и остаются неведомы. А потому признаю, что их самодеятельное и малообъяснимое развешивание над линией недопустимости достойно укора или даже наказания. Замечу только, что при развешивании бантов я укреплял их узлы легкими заклинаниями, придуманными по аналогии с простодушными заклинаниями Петра Арсеньевича, к которым я всегда относился иронически. Но для меня несомненно, что на одоление бархатных предметов или хотя бы на то, чтобы распустить их узлы (зачем? мне опять же неведомо), Отродья и их штабы потратили много сил, энергии и (если можно так сказать применительно к Отродьям) нервов. А может быть, сложные или даже нелинейные ситуации и требуют простодушных решений? Тут вопрос спорный и обязательно требующий научно-лабораторных исследований.

Мне неизвестно, каким образом на пожарном стенде появились рогатки (о происхождении шпаги я догадываюсь). Использование их могло оказаться делом рискованным. Но мне было велено: доверять чутью. И я чутью доверился.

И в случае с бывшим полуфабрикатом Пэрстом-Капсулой я доверился чутью и самому Пэрсту-Капсуле, о чем не жалею. Да, происхождение Пэрста-Капсулы могло казаться сомнительным, а некоторые случаи его существования выглядели странными или хотя бы загадочными. Но при появлении подселенца на моем участке Охраняемого Объекта я ощутил, кто он и на чьей стороне (признаюсь не без стыда, что я все же приказал приданным мне силам присматривать за Пэрстом-Капсулой, но присмотр этот скоро стал бессмысленным). Пэрст-Капсула действовал умело, самоотверженно, и без его участия вряд ли был бы даден отпор Отродьям. Коли нужна о нем или его свойствах развернутая объяснительная, я ее представлю. Пэрст-Капсула, как полуфабрикат, был создан во дни зарождения любви, окреп же он нынче в дни возобновления любви. Коли требуются какие-либо поручательства, я за него ручаюсь. Отмечу, Пэрст-Капсула получил в столкновениях раны или повреждения, но не умерил боевого пыла. Впрочем, и другие участники обороны имеют раны и повреждения, но это лишь в малой степени отразилось на характере их действий. И они не жалуются и не просят их пожалеть. На том и заканчиваю реляцию.

С почтением

домовой-двухстолбовый *Шеврикука* ».

И подпись. А на реляцию наложили резолюцию: «Развернутую характеристику на так называемого Пэрста-Капсулу от Шеврикуки потребовать, с подробным описанием контактов. Самого же Шеврикуку подготовить к сдаче полномочий». И – начальственные закорючки.

77

Возвращение Шеврикуки в Землескреб к служебным занятиям вышло тихим. Пенсионеры Уткины с урожаем, соленьями, вареньями, маринадами, сушеными грибами вернулись в Москву, и Шеврикуке снова пришлось назначить себе местом обитания квартиру картежника-акулы Зелепукина, выкурив оттуда временных жильцов и жилиц. Не было в квартире Зелепукина ни уюта, ни малахитовой вазы, да и просто чистоту в ней пришлось наводить неделю. Из подъездов своих Шеврикука почти не выбирался. Упоминая в реляции о ранах и повреждениях, он писал, в частности, и о собственных ущербах. Голова его была забинтована, челюсть бинтом же подтянута, левая рука висела на перевязи, ребра болели, вид он имел изувеченного. Но в калекопункт на улице Королева на этот раз он не совался, больничный не канючил, а пользовал себя травами и отварами, благо запасы их у него были. Присмирением тени чиновника Фруктова пока не занимался. Очень скоро благодаря аптекарским средствам Шеврикуки его недомогания ослабли, повязки и бинты были удалены, и Шеврикука, убедившись, что дела в его подъездах налаживаются и даже один неизбежный будто бы развод отменен, позволил себе выйти в свет.

Поначалу, надев клубный кафтан, отправился в Большую Утробу в ночное собрание домовых. Конечно, там ощущалось возбуждение, но ни о каких пирах победителей и речи быть не могло. Тяжко дался отпор Отродьям Башни, а потом и разгром их. Нельзя было увидеть теперь среди останкинских домовых ни аскета и квартального верховода Поликратова, ни вислоухого Феденяпина, назвавшего Шеврикуку в Ильин день богачом, ни старика Ивана Борисовича, вынужденного ватниками поддерживать оборонное состояние духа, ни болтуна Майонеза-Помпидуева (даже и без него было сейчас грустно), да многих, многих! И никогда они более не объявятся в Останкине. Пали в боях с Отродьями. И Колюня-Убогий будто бы пропал без вести. А громкогласный Артем Лукич ходил неслышным калекой. Скверными сложились отношения Шеврикуки с тончайшим Велизарием Аркадьевичем, а увидев Велизария Аркадьевича живым, Шеврикука чуть ли не расплакался от радости, обнял старика. «Одолели супостата-то, – бормотал Велизарий Аркадьевич. – Выстояли. И ничего они у нас не отобрали! Что тут творилось! Вы-то были где-то в командировке…» «Да, в командировке, – подтвердил Шеврикука. – В

отъезде…» Его даже радовало то, что к нему не пристают с расспросами, утвердившись в мнении, что в дни напряжений он был в отъезде. И не спрашивали (а допустимы были бы и ехидства), далеким ли был его отъезд и чем он, отъехав, занимался. Велизарий Аркадьевич не носил более костюма из мешковины и бутс победителя буров, явился он в собрание в свободной блузе живописца репинских времен, но вид его вызвал у Шеврикуки жалость и печаль. И тосковал наверняка Велизарий Аркадьевич о добрейшем Иване Борисовиче. О Петре же Арсеньевиче ими с Шеврикукой не было произнесено ни слова.

Любохват и Продольный были замечены Шеврикукой издалека, сытые, наглые, горластые, всем довольные. К нему они не приближались (он к ним – тоже) и, как показалось Шеврикуке, взглядывали на него настороженно. Будто он мог их чем-то обидеть. Что они-то поделывали в баталиях? Какие совершали подвиги?

О баталиях с Отродьями Шеврикуке многое было уже известно. Но кое о каких подробностях и событийных поворотах он узнал именно в Большой Утробе, выслушивая воспоминания ратников.

Цели у Отродий были две. Добыть Чашу-Братину с достоянием домовых. Само же сословие закабалить и превратить в услужителей себе. Ясно, что Хранилище Братины они штурмовали не в одном лишь месте. Где-то имели и локальные удачи. Но после того как их ударные силы были сломлены у известного Шеврикуке поста, отпор им был даден по всей окружности Хранилища. Далее их гнали, били и рассеивали. Но прежде, пока Шеврикука загульным жил в профилактории Малохола и размышлял о томлении, баталии и стычки происходили по всем линиям боевых действий Отродий и домовых. Останкинским жителям эти баталии, естественно, остались неведомыми, но кое-какие мелкие неприятности ощутили и они. В рядах Отродий наблюдались наемные или прельщенные идеей призраки и привидения, эти дрались рьяно, но бестолково. И как в случае с штурмом Хранилища, Отродий подводило их высокомерие, неумение оценить иные особенности домовых, а возможно, и слабая работа разведки. Потерь было много с обеих сторон, но викторию все же одержали домовые. Свою роль в баталиях Шеврикука нисколько не преувеличивал, слова о важности поста экс-Колюня-Убогий мог Произнести лишь для того, чтобы раззадорить в Шеврикуке воителя. А были, возможно, и более существенные воители, нежели он. Но где же сражались Любохват с Продольным? Этого Шеврикука так и не выяснил. А выяснить хотел…

Присутствие Отродий в Останкине не ощущалось. Куда утекли, уползли, унеслись Отродья, недобитые и рассеянные, ведомо не было.

Высказывались предположения. Не устремились ли недобитые к сокрушенному, но не истребленному воеводе Бушмелеву? К ошметкам черного столба? И такое могло быть. Или они уползли в укрытия, приготовленные на случай неудачи и отступления?

Но виктория викторией, недобитые недобитыми, а следовало уже думать о раздаче Пузыря. Опять созрела уверенность: ну если не через три дня, то на той неделе начнут раздавать Пузырь.

В получердачье Шеврикука не обнаружил следов подселенца. Может, тот нашел себе хорошую квартиру со сладкой хозяйкой. Может, гуляет, продолжив каникулы. Может, вернулся в лабораторию Мити Мельникова. А поговорить с ним не мешало бы…

Охота и любопытство потянули его на Покровку. Дом Тутомлиных был в лесах, обвешанных зелеными, будто бы марлевыми, полотнищами. Шумы в нем и вокруг него стояли самые что ни на есть строительные, обнадеживающие. Бассейн змея Анаконды был почти готов, стеклили шатер-башню, вставшую над бассейном.

Проникать в дом Тутомлиных Шеврикука не стал, а направился Сверчковым переулком в Салон чудес и благодействий. Там все бурлило. Не было в зале общих операций Дударева, Совокупеевой, Крейсера Грозного, и это Шеврикуку даже обрадовало, а то бы пошли вопросы, требующие ложных ответов. Но вот встреча с Дуняшей-Невзорой Шеврикуку расстроила. Та сидела деловитая, в сером английском костюме, вела разговор с клиентом, увидела Шеврикуку, вскочила. Шеврикука хотел было унести ноги, но Дуняша догнала его в коридоре, схватила за руку:

– Ты нас ненавидишь!

– Я не имею с вами никаких дел! – Шеврикука резко освободил свою руку.

– Мы для тебя подлые стервы. Можешь мне не верить, но Гликерии сейчас истинно плохо. Она не, доживет до маскарада. Она погибнет.

– Она погибает не в первый раз, – сказал Шеврикука и пошел своей дорогой.

А пришел он к магазину А. Продольного «Табаки и цветные металлы».

Сквозь дверной проем он увидел Любохвата и Продольного. Экие стояли два приличных бизнесмена в дорогих костюмах и без всяких пулеметных лент! И беседовали с двумя же бизнесменами нордической наружности.

«Нет, с Любохватом и Продольным я обязан разобраться!» – подумал Шеврикука, не ведая о резолюции, предписывающей освободить его от полномочий.

78

И действительно, не через три дня, а через шесть, «на той неделе», начали раздавать Пузырь.

Какие только замечательные личности не побывали в ту пору в Останкине! И даже те, кому чужие ломти и совать было некуда. Однако заполучить хотелось.

Шеврикука же был теперь к раздаче Пузыря и к самому Пузырю холоден. Установившееся было в нем после бдений в Хранилище душевное равновесие развеяла встреча с Дуняшей. Он то и дело вспоминал о ней и негодовал. Или недоумевал. «Да сколько же у них наглости и бесстыдства, коли они решились снова заводить со мной разговоры!» – это было недоумение. Особое же его негодование вызывали слова: «Она не доживет до маскарада…» В самом обмене репликами с Дуняшей он их как бы и не услышал, не они были главными, теперь же они гремели, барабанили в нем. Экая для Гликерии и Дуняши трагедия – не дожить до маскарада. До зимнего маскарада в Оранжерее! Имея столько нарядов и побрякушек – и не дожить! Или эти наряды и побрякушки в связи с возобновлением в нем, Шеврикуке, жизни объявлены крадеными и недопустимыми для показа на маскараде? А может быть, не допущены к маскараду и обе славные Шеврикукины подруги? И это для них хуже погибели? Прежде Шеврикука думал только о Гликерии, действия же ее прислуги не оценивал, теперь его негодований заслуживала и Дуняша, и эта стерва дурачила, обманывала его, держа за болвана. Но болваном он и сам себя признал. Болваном он будет оставаться, если не выбросит из головы и души Гликерию (а с ней и Дуняшу), если не перестанет даже и вспоминать о них. А вот не переставал…

Тем более что Дуняша мешала ему истребить память о себе и своей госпоже, появляясь каждый день пусть и вдали от Шеврикуки, но на видимом расстоянии, на улицах, в толпе, в суете, возникающей вблизи Пузыря. А применять отворотные зелья, заклинания на иссушение чувств, силовые снятия наваждения Шеврикука считал делом для себя постыдным и унизительным. Следовало держаться подальше от двух дам, а там, глядишь, дым и растает…

А суета в Останкине в ожидании раздачи Пузыря становилась чуть ли не праздничной. На Звездном и Ракетном бульварах на плоские крыши домов по вечерам поднимались духовые оркестры и маршами, в их числе

кавалерийскими, взбадривали население. Предполагалось, что накануне раздачи будут проведены салют и фейерверки. Ожидались приезды важных делегаций из богатых стран. Разговоры об этом вызывали скорее тревогу, нежели радость. Вдруг из Пузыря начнут выгребать (или оно станет само выползать) такое, что у иноземных кредиторов слюни потекут и они потребуют экстренной выплаты долгов и, уж естественно, прекратят валютные подачи. Оно, конечно, хорошо бы, чтобы такое выгребли и потекло, но зачем дразнить и печалить дарами Пузыря чужаков, и без того сытых? А потому утверждалось мнение: главные выгребы будут совершаться с соблюдением секретностей и вывозить добро станут в ночное время на секретные же склады. С них и начнут по спискам раздавать Пузырь. Ожидать на бульварных тротуарах своих порций Пузыря с сумками на колесах, с баулами и рюкзаками, с корытами на лыжах могли лишь люди, ущербные умом. Однако их объявлялось в Останкине все больше и больше. Скапливались они не везде, а в местах, где, по их изысканиям и вычислениям, по подсказкам магов, по чуяниям Чумака, и должны были отвориться товарные проемы Пузыря. В скоплениях сумок на колесах сейчас же стали образовываться выстраданные отечественной инициативой очереди со списками и с выведением чернильных номерков на руках. Понятно, списки полагалось перевыкрикивать ежедневно (а где и дважды в день), устраняя из списков сибаритов и безвольных. Опять же по московской привычке естественного отбора переклички устраивались в часы отдохновений метрополитена, тут уж сибарита, лежебоку и безвольного одно удовольствие было выставить из очереди. И в списках еженощно происходило обнадеживающее продвижение к дарам Пузыря.

Раздражали очереди являвшиеся к перекличкам в иномарках, с трелями охранных канареек, наглые люди, какие-то то ли хлопобуды, то ли будохлопы, во главе с профессором Облаковым и ненасытной дамой в мехах Клавдией Петровной. Они считали, что должны быть первыми и идти вне списков, потому что свои списки и номерки на руках уже выстояли лет пятнадцать назад, а то и больше в Настасьинском переулке, дом номер восемь. Именно тогда им (за плату!) и был припрогнозирован нынешний Пузырь. А потому Пузырь прежде всего – их, а уж затем – чей-либо еще. Выяснилось вскоре, что эти самые хлопобуды в последние годы много чего уже награбастали, много кого облапошили, места своих служений утеплили, виллы построили, чаще всего на Ривьерах, пробьются и внутрь Пузыря, а в останкинские очереди ездят отмечаться – на всякий случай. Чтобы никакой мелкой добычи не упустить, чтобы ни одна килька от них не удрала. «Этих – бить будем!» – было общее мнение в очередях

сумок на колесах. А так там нарастало единение душ и надежд, по причине ночных бесснежных холодов жгли костры, водили хороводы и предавались воздушным мечтаниям.

– Ох! Игорь Константинович, вы вернулись! – бросился к Шеврикуке во дворе Землескреба обрадовавшийся ему Радлугин.

– Да, вернулся, – согласился Шеврикука.

– Что-то вы не загорели…

– Я был на Ямале, – сказал Шеврикука.

– Какие же там теперь развлечения? – удивился Радлугин.

– Гонки на оленьих упряжках. И на собачьих.

– Ну, тогда конечно, – закивал Радлугин. – А «дупло»?

– Он на задании, – сказал Шеврикука. – Но скоро должен появиться. А пока донесения вам придется передавать мне. Из рук в руки. Но незаметно и не прилюдно.

– Слушаюсь! – вытянулся Радлугин.

– А как с Пузырем?

– Бдим, – сказал Радлугин. – Стоим на страже интересов. Доступ в него будет открыт во вторник, в одиннадцать ноль-ноль. Об этом уже сообщили в газетах, по радио, в телевизорах… Ну, вы сами знаете…

– Естественно, знаю, – важно сказал Шеврикука. Он хотел было поинтересоваться, каким способом, по сведениям Радлугина, будет осуществляться доступ в Пузырь, если тот попрежнему бездыханно спит и ничто в себе не открывает. Но промолчал, не желая давать Радлугину повод усомниться в государственной осведомленности Игоря Константиновича.

– Рад, что вы бдите и стоите на страже, – поощрил Радлугина Шеврикука. – Если что, докладывайте.

Через час Шеврикука почти те же слова сам услышал от предпринимателя Дударева. Дударев категорическим образом обрадовался возвращению Игоря Константиновича с Ямала, даже обнял путешественника, вызвав напряжение на лицах двух своих хранителей тела.

– Досада-то какая, Игорь Константинович, что вы наши паркетные работы пропустили! – сокрушался Дударев.

– Вы же мне о сроках-то не сообщили…

– Да-да, это так! Фронт работ открылся внезапно. И мы обещанную вам ставку не отменили и не понизили. Вы все получите. Все! И дом в Подмосковье пока незастеленный…

– Застелим, коли надо будет, – пообещал Шеврикука.

– Пока порадейте здесь. При Пузыре, – порекомендовал Дударев. –

Глаз да глаз за всем, что вокруг. А потом милости просим к делам – в дом на Покровке и в наш с вами Салон. Скоро змею мы соорудим Парадиз. Очень способный змей. Многого от него ждем.

Радостной вышла встреча Шеврикуки с Сергеем Андреевичем Подмолотовым, Крейсером Грозным, и его японским другом Сан Санычем. Крейсер Грозный говорил главным образом на футбольные темы, признавая в Игоре Константиновиче достойного знатока, радовался спартаковским удачам и не скрывал собственных своих колдунских удач.

– Вы видели, как Тихонов бильярдным ударом мяч загнал «Алании»? Вы-то, именно вы, можете понять, чего мне это стоило…

– А заказчикам сколько это стоило?

– Ну… – замялся Крейсер Грозный. – Подштопать тельняшку хватило…

– А как ваш змей Анаконда? – из вежливости поинтересовался Шеврикука.

– Куражится. Кочерыжится. – Тут Крейсер Грозный нахмурился. – Будто кто-то оказывал на него дурное влияние. Как бы чего не выкинул… Или, может, провиант, по вашим указаниям – с ликерами и водками, отпускают не-тех качеств? Мы-то дегустируем и довольные. Но мы-то привычные. А змей – существо тонкое. Вы, Игорь Константинович, как-нибудь взглянули бы на змея. А заодно и подегустировали бы с нами.

– Как-нибудь и зайду, – пообещал Шеврикука.

– Будем очень признательны, – сказал Крейсер Грозный. И тут глаза его стали знакомо хитрыми. Он подмигнул Шеврикуке и спросил таинственно: – Ну а как вам наши рогатки?

– Какие рогатки? – Теперь уже смутился Шеврикука.

– Вообще рогатки. И наши, в частности, михайловские. Мы через две недели пускаем с Сан Санычем фабрику рогаток в Михайлове Рязанской губернии.

– Откуда же вы столько серебра для них найдете? – спросил Шеврикука. – Не в убыток ли выйдет?

– Зачем нам серебро? – удивился Крейсер Грозный. – Если только на сувенирные экземпляры. А так на рогатины пойдет ореховое дерево. В боеприпасы же, полигонные испытания показали, надежнее всего брать катыши клинкера, нашего, Михайловского. Пробивают броню турецких авианосцев.

– Серебро-то, оно, – задумался Шеврикука, – видимо, и не всем показано…

– Ждем вас в Парадизе змея. И рогатки презентуем. На случай боевых

действий. – И Крейсер Грозный опять хитро подмигнул Шеврикуке.

А между тем объявленный вторник приближался.

По вечерам на улице Королева, на Звездном и Ракетном бульварах, у главного входа ВДНХ теперь происходили народные гуляния, благо что погоды стояли нечаянно бесснежные, теплые и сухие. Подъем духа населения подтверждала музыка духовая, возвышая аппетиты, там и тут дымили мангалы, куры обретали золотистую корочку на вертелах, шипели на сковородках брауншвейгские сардельки, в бумажных бокалах гулявшим предлагались глинтвейны, гроги, жженки и подогретые йогурты. Установили множество елок с разноцветьем гирлянд, будто бы Пузырь имел отношение к Рождеству и Новому году. Или ему отводились обязанности Деда Мороза. Но для явлений Деда Мороза и Снегурочки сроки еще не наступили. Почти не наблюдалось в те дни вблизи Пузыря скандалистов. Всякие сообщества и партии, осознавшие себя под идеей Пузыря и в борьбе за права и льготы, если и шумели теперь, то не в Останкине, а в своих уже приобретенных резиденциях и офисах. Одни лишь так называемые хлопобуды или будохлопы раздражали публику, бузотеря на перекличках и тыча в нос прохожим чернильные номерки.

Шеврикука все еще сомневался в способностях Возвышенного управления Справедливой Раздачи вызвать подвиг дружелюбия и бодрости спящего Пузыря в назначенный вторник, а в Москву уже стали съезжаться иноземные делегации и жаждущие зрелищ. В понедельник вечером были произведены обещанные салют и фейерверки, нисколько не обеспокоившие сон Пузыря. И это был государственный салют, а не минометная самодеятельность при смотринах дома на Покровке. Ходили слухи об амнистии, но никакие указы об амнистии изданы не были. Не подтвердились также слухи о награждении футбольного тренера Олега Романцева орденом «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени.

За фейерверками Шеврикука наблюдал на углу улицы Цандера и Звездного бульвара. Какие только знакомцы не оказывались в поле его зрения. Многие подходили к Шеврикуке, раскланивались. Все были возбуждены. «День Победы, что ли, какой?» – удивлялся Шеврикука. Не подошел к нему сановитый домовой Концебалов-Брожило, а стоял он от него метрах в двадцати, и повод подойти имел. Не подошли и Любохват с Продольным, они проскочили мимо него в толпе, видно спешили куда-то по делу, позволили себе лишь посмотреть на Шеврикуку. Посмотрели злобно, но будто бы и с опаской. Не подошла и Дуняша, а явно хотела подойти, она глядела на Шеврикуку в надежде, что он ее кликнет, сама же показалась ему заплаканной. А вот Гликерия Андреевна Тутомлина на

бульварах не показывалась… Зато объявился субъект с трубкой во рту, прозванный летом останкинцами инспектором Варнике. Нынче его одежды соответствовали сезону. Стоял он Наполеоном Бонапартом, руки сложив на груди, и словно был разочарован явлениями природы. «Так он и допустит в себя, – произнес он, вынув трубку изо рта. – Дурак будет, если допустит».

И Шеврикука полагал, что вторник станет для Возвышенного управления Справедливой Раздачи днем конфуза. Однако уже в девять часов занял место в толпе опять же на углу Цандера. Надо ли говорить, что на этот раз Пузырь был оцеплен, а движение транспортных средств вблизи него прекращено. Для почетных гостей и наблюдателей у пересечений Пузырем проспекта Мира установили две трибуны с подзорными трубами. Толпа шелестела флажками и плакатами, шумела, проглатывала глинтвейны и мороженое, но в половине одиннадцатого сама по себе притихла. И духовые музыки, взгремев и звякнув тарелками, умолкли. А Шеврикука почувствовал, что он волнуется. «С чего бы это? – удивлялся он. – Мне-то что?» А и вокруг него все стояли взволнованные.

В тишине праздничными динамиками было объявлено: «Уважаемые граждане! Просим вести себя без возбуждения и толкотни, дабы не вызвать Ходынки и неодобрений Пузыря. Сегодня состоится лишь доступ в недра Пузыря специалистов и перевозочных средств. Непосредственная раздача содержимого Пузыря произойдет позже по месту жительства и по утвержденным спискам. Ожидаются в пятницу на Звездном и Ракетном бульварах показательные дарения гостинцев Пузыря. Еще раз просим соблюдать спокойствие и не допустить толчеи. Спасибо за внимание».

Теперь работники Возвышенного управления Справедливой Раздачи стали казаться Шеврикуке бессовестными наглецами. Но без двух минут одиннадцать Пузырь вздрогнул, и по спине его от самого марьинорощинского путепровода в направлении Сокольников пошла судорога, у Сокольников она, видно, и закончилась. То есть слово «судорога» по отношению к Пузырю выходило не слишком уместным или приличным, можно посчитать, что, отходя ото сна, Пузырь изволил потянуться и размять спину. В одиннадцать же ноль-ноль шкура Пузыря разошлась во многих местах, и открылись проемы на боках Пузыря и на его спине. Не исключалось, что недра Пузыря отверзли и для подземных коммуникаций, каналов, линий метрополитена и трубопроводов.

Публика взревела в воодушевлении. Полетели вверх шапки, воздушные шары, голуби, сумки, детские коляски и радиотелефоны; Шеврикука обнаружил, что его обнимает Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный, и в руке у него – Андреевский флаг. Будто и впрямь была

одержана неслыханная виктория. Или нога останкинского обывателя ступила на пористую почву планеты Венера.

А инспектор Варнике сокрушенно качал головой. Он не одобрял Пузырь, не одобрял!

Потом публика притихла и с перешептыванием разглядывала Пузырь в новом его, распахнутом состоянии. И ожидала. Так ожидают выезда командующего парадом и звуки фанфар. А ничего не происходило. Ожидание сменилось недоумением. И лишь в двадцать минут первого начался истинно доступ в недра Пузыря и вывоз содержимого. Прибывали к Пузырю колонны автомобилей-дальнобойщиков и скрывались в Пузыре. В проемы же на его спине опускались тяжелые армейские вертолеты, щекоча, возможно, потоками воздуха шкуру Пузыря. Пузырь дергался, но проявлял терпение.

О том, какие средства заезжали или заплывали в Пузырь снизу, можно было лишь гадать, наверное, там были цистерны, думпкары и вагоны-холодильники. Минут через сорок выяснилось, что складывается или направляется Пузырем безостановочная система въезда-выезда и циркуляции грузопотока. Без заторов и досадных остановок. Автомобили все прибывали, а из назначенных проемов выезжали тяжелыми. Выныривали из Пузыря вертолеты и неслись к складам. По всей вероятности, Пузырь обладал свойствами, позволяющими ему безболезненно воспринимать работу летательных аппаратов. И погрузочные механизмы (или что там?) трудились в нем стремительно и задорно.

Словом, праздник отшумел и пошла рутина. Иноземцы и почетные гости сошли с трибун, отобедали еще раз в историческом зале и принялись разлетаться. И на рутину приятно поглазеть, если у тебя нет иного увлекательного занятия. А потому зеваки на бульварах все же оставались: вдруг что-нибудь сломается или какой казус произойдет. Естественно, не покидали постов люди со списками в руках, ночные переклички не были отменены.

Как и предполагалось, в ночные часы грузопотоки усилились. Прожекторы рвали тьму бесснежного города. И сам Пузырь будто бы светился, и гул стоял в Москве от моторов, колес и гусениц тяжелого транспорта.

Но какими бы способностями или оснащениями ни обладал Пузырь, рутина-то пошла наша, отечественная. И тут уж без всяких безалаберностей обойтись было никак нельзя. Да и без безалаберностей ход выгребания содержимого Пузыря мог вызвать у московских жителей

недоверие. Но пока, во вторник, в среду и в четверг, безалаберности шли мелкие. А ждали крупных. И уж не безалаберностей даже, а безобразий. Чтобы можно было душу отвести, выразиться, осуществляя свободу слова, и ткнуть пальцем в кого следует. А то все протекало как-то не по-человечески. Подозрительно складно протекало. Будто у кого-то состоялся сговор с Пузырем.

В пятницу снова понабилась на бульварах публика. Прибыли наблюдатели от самых разных движений и товариществ, естественно, и бывший соцсоревнователь Свержов из Лиги Облапошенных. Динамиками объявили, что показательно раздавать будут по спискам и номеркам именно ночных очередей с перекличками. Будто бы они, перекликавшиеся по ночам и водившие вокруг костров хороводы, растрогали Пузыря верой в него, и он распорядился одарить их. По другой версии, растроганный якобы Пузырь был ни при чем, а прибившиеся к перекличкам хлопобуды оказались столь влиятельными в сферах и структурах, что и выбили показательные дары для себя и уж ради приличия – и для остальных очередников.

В оцеплении у товарных проемов образовались ворота, уполномоченные Возвышенного управления Справедливой Раздачи в униформных куртках типа «Аляска» китайского пошива выкатили из Пузыря на автокарах коробки, ящики, цветные пакеты, ларцы, сундуки, мешки, мешочки, свертки. И показательная раздача началась. Совершалась она блистательно быстро. И раздатчики были хороши, расторопны и сноровисты. И очереди вели себя благонамеренно-послушно, не лаялись из-за номеров в списках, не выясняли базарно, почему кому-то выдают коробку, а кому-то целлофановый пакет, не клянчили у Пузыря льготных добавок, ссылаясь на косоглазие, а двигались молча, будто ленты транспортеров. По наблюдениям Шеврикуки, лишь Любохват с Продольным своей суетой создавали мелкую толчею и нервозность. Они перескакивали из очереди в очередь раз пять и повсюду отоваривались, надо полагать, преуспели в перекличках.

За час с четвертью с показательной раздачей было закончено. Уполномоченные в униформе поклонились публике, пожелали всем хорошего аппетита и поблагодарили за терпение. Ворота в оцеплении исчезли. Минуты три все стояли молча. А потом в толпах начались ропоты разочарований. Разочарования эти имели несколько причин. Во-первых, раздача прошла опять же рутинно. Никого не потешили, не ввели в возбуждение социальных удовольствий и надежд. Даже духовые оркестры и те не гремели. И шутихи не трещали и не дымили. Словно бы, как

четверть века назад, выдавали в домоуправлениях пакеты с пшеничной мукой. Другие разочарования были обращены в глубины собственных натур досадующих. А они-то что же прохлопали? Час с четвертью – и все! Небось столько невостребованных к раздаче даров осталось в недрах Пузыря, и пойдут куда-нибудь налево, а они поленились ночами поотмечаться в списках! Третьи разочарования вызвали распотрошенные упаковки даров Пузыря.

Не положено огорчаться несовершенствами дареного коня. Неприлично это и недостойно гражданина созидателя. А тут некоторые стали прилюдно браниться: «Экую дрянь нам подсунули!» Надо сказать, что потрошили ящики, коробки, пакеты далеко не все, а самые нервные и нетерпеливые. Те, что поблагоразумнее, сразу же поволокли приобретения домой, а то еще уворуют, искорежат от зависти или заставят обновку обмыть. Да и не все открытые и обнародованные дары можно было назвать дрянью. Далеко не все! Среди них попадались совершенно замечательные для ведения домашнего хозяйства вещи – скорокипящие чайники с золотыми спиралями, пылесосы и утюги «Ровента», электропечи «Бош», массажеры для сбавления веса, секс-наборы с резиновыми куклами, сковороды и кастрюли «Тефал», комплекты постельного белья из ивановских миткалей и прочее и прочее, всего не перечислишь. Особое одобрение вызвали золоченые ночные горшки с музыкальными секретами; исполнение хозяином двух основных функций организма по обмену веществ приводили к звучанию в горшке двух разных мелодий, причем одну играл легкий ансамбль с ксилофоном, а другую – чуть ли не симфонический оркестр. Что уж тут было дуться на Пузырь! Благоразумные же уносили в ящиках и коробках кто телевизоры, кто разобранные велосипеды, кто коллекции греческой метаксы и пива «Гиннесс». И эти приобретения неблагородно было бы обзывать дрянью.

Первые вопли разочарования раздались при вскрытии мешка из плотной бумаги весом в двадцать килограммов. В нем нежно белел картофельный порошок. Такой мешок был бы уместен лет семь назад. Теперь же он казался издевкой. В одной из коробок лежали двадцать четыре экземпляра учебника по математике для шестого класса. Новый хозяин в сердцах разбросал их по асфальту и принялся было топтать их, но был остановлен проворным молодым человеком. Этот прыткий запихал учебники в баулы и помчался на Дмитровку, к Художественному театру, где сбыл книжки несчастным родителям, заработав на слезах детишек два миллиона. С возмущением была воспринята коробка с резиновыми галошами, заложенными сверху эстонской бутербродной замазкой «Рама».

Но галоши и замазку, пусть и с руганью, все же растащили. А вот топтать содержимое высокого пластикового пакета раздосадованному владельцу никто не стал мешать, напротив, нашлись и соратники. Из пакета на тротуар вывалились наборы больших портретов Якубовича и Брынцалова в разных возрастных видах, от купания в детских ваннах до нынешних их солидностей. Отчего вдруг вышло соединение в пакете двух этих персон и нет ли в явлении портретов какого-нибудь глумливого намека останкинским жителям, об этом судить не брались. Поруганию были преданы и кассеты с записями Александра Малинина, Любови Успенской, Вики Цыгановой, какого-то Портного, и, возможно, не из нелюбви к попсе и безвременной музыке, а из соображений справедливости: «Этим вон стиральные машины и велосипеды, а нам всякие Успенские!» И уж чуть ли не взрыв негодования и презрения вызвали упаковки, плотно забитые прокладками с крыльями, явления которых в телевизорах, особенно в обеденное время, приводили к потерям аппетитов. Тут брань стала звучать и в адрес Пузыря, вовсе, может быть, невинного и, скорее всего, недостаточно информированного об интересах и привязанностях москвичей. Разочарования подвели к перебранкам, а те – и к глупейшим дракам.

Такой вот оборот приняла показательная раздача даров Пузыря. Это нам свойственно. Воодушевления и восторги у нас сменяются унынием, раздражениями, для которых порой и нет оснований. И теперь довольных или ожидающих удовольствий было куда больше, чем недовольных, но недовольные, при остроте их досад, выходило, затевали бузу. Во всяком случае, угнетали настроения. И это не могло не сказаться. Дальнейшее опорожнение Пузыря стало проходить нервно, с неприятностями, неполадками и заторами. А по городу уже бродили слухи и домыслы, ставившие под сомнение как добродетели Возвышенного управления Справедливой Раздачи, так и добродетели самого Пузыря. Ко всему прочему, в суждениях телеведущих, их остротах, подковырках и даже в жестах угадывались теперь намеки на то, что дела с Пузырем не так уж и хороши, как всем представляется. И выварилось в публике мнение. Если кто желает получить от Пузыря по коммунальным опискам квартиры, автомобили, коттеджи-резиденции в Перхушкове, путевки на Багамы, кипы акций, кухонные комбайны, темно-синие, немаркие носовые платки и подшитые валенки (о них мечтали вслух, вы, конечно, не помните, два профессора Литературного института, Вадим Евгеньевич Ковский и Владимир Павлович Смирнов, этот ждал еще и дратву для подшития валенок), то пусть фантазеры, даже и имеющие льготы, перестанут грезить

и утрутся собственными платками. В лучшем случае им выдадут галоши, прокладки, маргарин «Рама» и учебники для шестого класса. Скорее всего, Пузырь почти целиком состоит именно из галош, прокладок, маргарина и горохового концентрата. (По поводу галош, модных в хлопкосеющих районах, прибыли уже – опять на верблюдах и ишаках – купцы из Средней Азии.) А если что и вывезли из Пузыря ценного, то оно уже либо разворовано, либо тихо роздано и без того сытым, превращено в доллары и уплыло в чужие земли.

В такое не хотелось верить. Но, исходя из долговременных житейских опытов, верили. Снова зашумели в Останкине сообщества и партии. Ликовала, предъявив свою правоту, Лига Облапошенных. Бил молотком по чугунному горшку для жаркого взбудораженный Радлугин и возносил к небу списки участников Солнечного Затмения, достойных большего, нежели галоши и прокладки. Начиналась в Останкине буча, от которой Шеврикука ничего хорошего не ожидал.

Досадными и частыми стали теперь сбои в грузоперевозках. Машины ломались, самозванцы с подменными номерами пытались пробиться к проемам Пузыря, из ближних стран предъявлялись документы десятилетне-братской давности, иные пилоты не могли опустить летательные аппараты внутрь Пузыря, усаживали их на его спину. Похоже, и сам Пузырь нервничал. Несколько раз его будто бы корежило. Однажды это наблюдал и Шеврикука, на ум ему сразу же пришел Блуждающий Нерв. Но всякий раз Пузырь успокаивался, лежал смирно, запасы в нем, видимо, не иссякли. А может, они и вовсе были неиссякаемыми.

Но в воскресенье случилось никак и никем не чаянное. Уже утром на глазах у зевак Пузырь перестал пускать в себя вертолеты и автомобили. Из него выезжали и вылетали, в него же проникнуть ничто не могло. «Ну а как же? Выходной! Имеет право!» – рассуждали наблюдатели. Предчувствие выгнало Шеврикуку из Землескреба к улице Цандера. У въездных проездов толклись обескураженные специалисты, но похоже, и они сами себе ничего не могли разъяснить. А потому версия о выходном Пузыря была признана сносной и разумной. Но когда из Пузыря выпорхнул последний загруженный вертолет, проемы Пузыря в мгновение закрылись. Будто их и не было никогда. Все притихли. Вертолет унес с собой звуки. Пронзительно-тоскливо сделалось в Останкине. Судорога прошла по спине исполина. Теперь уже от Сокольников и до Марьиной Рощи. Пузырь замер. И через минуту отцепился от Земли. Подъем его вышел плавным и чрезвычайно уважительным по отношению к московским наблюдателям, мягко сказать, ошалевшим. Лишь некоторые шептали с возмущением: «Как

посмел! Немедленно поднимать перехватчиков! Или – ракетой его! Ракетой!» В высотах, где он некогда висел над Останкином, Пузырь прекратил подъем. В толпе послышалось: «Одумался! Да куда он от нас денется! Далеко не улетит!» Пузырь, повисев, произвел некие колебательные движения с изгибами всего тела (Шеврикука посчитал их прощально-приветливыми) и продолжил восхождение в небеса, теперь уже с невежливой скоростью. Брошенные вдогонку ему истребители-перехватчики не смогли остановить беглеца. Очень быстро он превратился в точку. А потом и вовсе исчез.

Печально и тихо смотрели в небо останкинские жители.

79

В грустной, будто осиротевшей толпе Шеврикука увидел Дуняшу. Она глядела в его сторону. А к ней приближались Любохват с Продольным. Дуняша стала призывно махать рукой Шеврикуке, но Любохват с Продольным резко повернули ее и, видимо, принудили следовать с ними.

Шеврикука намерен был направиться им вдогонку. Но осадил себя.

Он был ученый.

Обещания заняться Любохватом и Продольным он так и не выполнил. Вроде бы не было для этого сословных причин. Беспокойства, какие вызывали в нем Любохват и Продольный, могли быть вызваны лишь его неприязнью к ним. Ну и что из того, что они поглядывали на него злобно и будто бы от них он мог ждать пакостей? Это его трудности. А для всего сословия или хотя бы для его останкинского землячества Любохват с Продольным, вполне возможно, были удалыми и героическими личностями, а во время баталий с Отродьями Башни исполняли секретные задания… И все-таки Шеврикука не мог не доверять своему чутью, а сомнения следовало развеять. Хотя бы поговорить с Артемом Лукичом, посылавшим Продольного в экспедицию по неотложным делам, а еще лучше – с Увещевателем, выложить им свои сомнения и добиться от них разъяснений.

Можно было бы постучаться к Иллариону. Но как бы не оказался Илларион опять в Гатчине. Или где-нибудь на Земле Франца-Иосифа.

А о том, какие интересы связывали Дуняшу с Любохватом и Продольным, не следовало и думать.

Но пока Шеврикука стоял на Звездном бульваре. И ему без Пузыря было печально. И даже обидно. Но отчего же обидно-то? Будто и ему чего-то недодали? Но он ничего и не ждал.

А толпа попрежнему молчала. Смотревшие в небо заметили появление на северо-востоке тяжело-темных облаков. И стало прохладнее. Безмолвие публики не нарушал даже бывший соцсоревнователь Свержов. Все были обескуражены. До того привыкли к Пузырю, что он уже казался своим, домашним. Без него был теперь неуют в душах. Заметили лишь одного оживленного человека – подозрительного типа с поднятым воротником и трубкой во рту, прозванного в народе инспектором Варнике. На вопрос, что случилось с Пузырем, он заявил, чуть ли не торжествуя:

– Как он прилетел, так он и улетел. Он свое дело сделал. И какой он

вам Пузырь?

Версию о том, что Пузырь стал легкоподъемным оттото, что из него изъяли все тяжести, инспектор Варнике принял с высокомерным смехом и со словами: «Тяжестей в нем осталось достаточно. Просто он посетил плантацию человеков. Понаблюдал, как совершаются здесь опыты, и был таков». Инспектор Варнике приподнял котелок, поклонился публике и пошагал в направлении Марьиной Рощи. Более в Останкине его не видели.

А тяжело-темные облака наползали, наползали. И когда наползли, из них посыпал снег. Сначала он был крупитчатый, потом полетели хлопья метельные, ветер стал мотать верхушки деревьев, срывать державшиеся до конца ноября листья, словом, дождались зимы. Пурга погнала публику со Звездного и Ракетного бульваров в тепло жилья.

В понедельник утром Шеврикука увидел Звездный бульвар белым. На высоких южных склонах его, от проезда Ольминского и до проспекта Мира, детишки резвились на санках и пластмассовых кругах. От Марьиной Рощи и до проспекта были накатаны лыжни, останкинские физкультурники в часы безработиц, отталкиваясь бамбуковыми палками, доставляли себе удовольствие.

«Так, – подумал Шеврикука. – Завтра в парке откроют лыжную базу, и взаимоуважающий соблюдатель Горя Бойс со всеми своими персонажами переберется на зимние квартиры в Ботанический сад, в Оранжерею… Ну и что? Ничего, ничего, – успокоил себя Шеврикука, – мне в Оранжерее делать нечего».

Из телевизионных передач он узнал, что, несмотря на убытие Пузыря, раздача по коммунальным спискам вынутого из него добра отменена не будет. Другое дело, сроки ее несколько отодвинутся, потому как тщательными научными способами подвергнутся изучению свойства наследия Пузыря, чтобы не было причинено ни малейшего вреда народонаселению. То есть пока на добро отлетевшего Пузыря наложен карантин.

К объявлению этому публика отнеслась удивительно добродушно. Буйных волнений в Москве и провинциях не последовало. «Интересно, – соображал Шеврикука, – а что добыли Любохват и Продольный в пяти очередях?» И опять же ему стало досадно на самого себя. Получалось, что у него к этим двум субъектам болезненное отношение. Но он понимал, что не успокоится, пока кое-что не выяснит.

Когда Шеврикука решился пойти в Большую Утробу, у двери квартиры Зелепукина он обнаружил клочок бумаги. Нервным женским почерком там было написано: «Шеврикука! Гликерию похитили. Требуют выкуп. Где она,

неизвестно. Без вранья. Поверь».

Шеврикуке захотелось скомкать бумагу и швырнуть ее в мусоропровод. Но он посчитал, что по возвращении от Артема Лукича он ее сожжет. Не было надобности подносить бумагу к носу, запахи исходили от нее Дуняшины.

Экая опять бесстыжесть и наглость!

Но, может быть, наглость и бесстыжесть на этот раз были вызваны отчаянием?

Ну и что? Обойдутся и без него! И как бы еще не пришлось пожалеть о своей затее самим похитителям Гликерии. Но кто они? Не оживляет ли снова в себе силы кровопивец и тать Бушмелев? Но Гликерия вроде бы расплатилась со злодеем… На всякий случай, пообещал себе Шеврикука, надо будет повидать Епифана-Герасима, не из-за Гликерии, конечно, и не из-за ее драм, а чтобы вызнать местопребывание и намерения Бушмелева.

Артем Лукич в Большой Утробе присутствовал. В дни баталий с Отродьями ему присудили особые полномочия, и он оказался в Утробе главнозаседающим. Похоже, и теперь полномочия у него не были отобраны. Вопреки дурным ожиданиям и слухам, бывшее бомбоубежище власти не определили под ночлежку бомжам, и домовые попрежнему чувствовали здесь себя хозяевами, к самому же помещению относились теперь уважительно: оно выдержало осаду Отродий.

Шеврикуку допустили к Артему Лукичу без проволочек. На последних посиделках Артем Лукич обидел Шеврикуку и даже унизил его, а Продольного возвел в действительные члены посиделок, совершенно, на взгляд Шеврикуки, незаслуженно, а потому Шеврикука на Артема Лукича был сердит. Правда, он пытался успокоить себя: мол, очень может быть, тогдашнее поведение Артема Лукича было частью той самой жестокой проверки, назначенной ему, Шеврикуке. А теперь, когда и проверка, и оборона Хранилища – в прошлом, разумнее было бы вести себя великодушно и не напоминать старику о досадах и обидах.

И все же к столу Артема Лукича Шеврикука подошел, не выказав дружелюбия.

– Садись, – предложил Артем Лукич. – Чем обязан?

– Продольным и Любохватом! – резко сказал Шеврикука.

– Ах, вот оно что… – пробормотал Артем Лукич. И встал. – Вот оно что…

Поводом разговора он был явно недоволен. В прежние дни он бы наорал на Шеврикуку, ногами принялся бы топать, запустил бы в гостя чернильницу, но после баталий с Отродьями громкогласный Артем Лукич

ходил неслышным калекой. И теперь он произнес тихо:

– Ты место свое знаешь? Ты кто? Ты двухстолбовый домовой! У тебя дела в двух подъездах!

– Я место свое знаю! – сказал Шеврикука чуть ли не воинственно. – И другие знают, каково мое место. Любохват и Продольный вызывают у меня сомнения, возможно несправедливые. Если вы эти сомнения не развеете, я могу натворить дел, какие не понравятся ни вам, ни Продольному с Любохватом. Если вы не уполномочены дать разъяснения, я схожу в Китайгород, в Обиталище Чинов.

– Ты, Шеврикука, я вижу, возомнил о себе, – покачал головой Артем Лукич. – А зря.

– Ладно. Может, и возомнил. И зря, согласен. – Шеврикука встал. – Но у меня свои понятия о чести. И если кто-то за что-то должен платить по счетам, я постараюсь посодействовать тому, чтобы так оно и вышло.

– Постой, Шеврикука! – заторопился Артем Лукич. – Успокойся. Сядь. Поговорим здесь. Куда ты, право?

– Я же сказал: пойду в Китайгород. В Гостиный двор. В Обиталище Чинов.

– А может быть, в этом нет нужды? – прозвучало за его спиной.

Шеврикука обернулся. В присутственное место Артема Лукича входил знакомый Шеврикуке со дня июльского собеседования Увещеватель.

– Садитесь, Шеврикука. В Гостином дворе, как вы знаете, нынче стройка, – сказал Увещеватель. – И вы, Артем Лукич, присаживайтесь.

Пожелание Увещевателя было исполнено. При кабинетном свете Увещеватель выглядел иначе, нежели в лучинной полутьме Китайгородского Обиталища Чинов. Здесь он казался менее древним и менее заросшим, а глаза его были ярко-живые. Неожиданные и совершенно необъяснимые прежние его посмеивания, никак не соответствующие смыслу произносимых слов, нынче отсутствовали. Но опять нечто знакомое угадывалось Шеврикукой в частностях Увещевателя и его интонациях.

– Суть ваших сомнений, Шеврикука, – сказал Увещеватель, – нам известна. Но всего открыть вам в интересах дела мы не можем. И у нас нет ясности. Разговор с Любохватом и Продольным для вас пока преждевременен. И очень просим вас вести себя тихо, ни во что не вмешиваться и не предпринимать никаких самостоятельных действий. Дабы не повредить и самому себе.

– Всего не можете, – сказал Шеврикука. – Но хоть что-то откройте.

– Спрашивайте.

– Исчезновение Петра Арсеньевича.

– Да, – после очевидных колебаний сказал Увещеватель, – Любохват и Продольный желали использовать возможности Петра Арсеньевича. Пытались его уговорить или даже обмануть. Не вышло. Он стал им опасен. И они пособили кое-кому убрать Петра Арсеньевича.

– Кому же?

– Для вас сейчас неважно кому…

– Предположим… Далее. Марьинорощинский раскоп. Они проводили его по чьему-либо указанию? На пользу сословия?

– Нет, никаких указаний им не было дано. Действовали самостоятельно.

– Они сотрудничали с Отродьями Башни?

– Тут нет ясности. И есть серьезные вопросы.

– А с Бушмелевым? Особенно в пору его черной силы?

– И тут нет пока ясности. Что еще?

– Пожалуй, мне достаточно.

– Когда вы их видели?

– Вчера. Как только отлетел Пузырь.

– А сегодня?

– Нет. – Шеврикуку отчасти насторожил вопрос Увещевателя. – Сегодня не видел.

– Не видели… Ну ладно… Шеврикука, это не указание и не приказ. Это, почитайте, просьба. Не вмешивайтесь в то, во что вам не следует вмешиваться. Воздержитесь.

– Не вмешивайтесь – это, стало быть, не мешайте?

– Я сказал: не вмешивайтесь! – Увещеватель произнес это уже сердито. – Помимо всего прочего, ваши самостоятельные действия приведут к неожиданным для вас опасностям, а толку не дадут.

– Ваши слова принял к сведению, – сказал Шеврикука. – Спасибо за внимание к моей личности. Разрешите откланяться.

– Шеврикука, не дури! – выкрикнул ему в Спину Артем Лукич. Попробовал выкрикнуть.

Так. Значит, и Увещевателю неведомо, где нынче Любохват с Продольным. Следовало безотлагательно заглянуть в подъезды – владения Продольного. То, что Продольного в подъездах нет, он выяснил сразу. В трех его квартирах жильцы были в отъезде, в них Продольный мог отдыхать или кутить с приятелями, там наверняка остались от него следы или даже улики. И верно, на восьмом этаже Шеврикука обнаружил комнату, оклеенную ликами и черно-белыми телами мадам Кабарес и ее соратника

по искусству, то ли Карацюпы, то ли еще как, артистическую кличку его Шеврикука точно не помнил. Но зато знал доподлинно, что Продольный шутников обожает, а в мадам, похоже, и просто влюблен. В комнате было грязно, натоптано, Продольный на диван укладывался, видимо, в сапогах. И пахло дурно. У дивана же стоял сбитый из досок ящик, заваленный пулеметными лентами. Похоже, Продольного куда-то спешно вызвали, и ему было не до уборок. Впрочем, уважением к чистоте домовой Продольный не страдал. Не исключалось, что спешить Продольному пришлось на Звездный бульвар, где они с Любохватом на глазах Шеврикуки приблизились к Дуняше и вынудили ее следовать с ними.

А ведь Дуняша махала рукой Шеврикуке, возможно, просила помочь.

Ну, махала. Ну, просила. Пусть и дальше просит.

Он посетил и другие квартиры. Обыскал и места, где, по его предположениям, Продольный мог устраивать тайники. Кое-что нашел. Нельзя сказать, чтобы находки его особенно удивили. Или тем более поразили. Это он и ожидал обнаружить. Сомнения подтверждались. И в его действиях возникала сословная необходимость. Сидеть в Землескребе и ждать Шеврикука не имел уже ни сил, ни благоразумия. А не соединились ли теперь в деле Любохват и Продольный со злодеем Бушмелевым?

Но где он, Бушмелев? «Сейчас же надо отыскать Епифана-Герасима!» – приказал себе Шеврикука. Он снова был в состоянии, требующем верить в предощущения. И он нисколько не удивился, чуть ли не столкнувшись на улице Королева с Приватным привидением заводчика Бушмелева. Епифан-Герасим торопился, но при этом и нервничал, оглядывался в соображениях: нет ли за ним хвоста. Воротник его тулупа был поднят, а собачья шапка напялена на лоб. Герасим привел Шеврикуку к станции Метрополитена. Потом они долго ездили в соседствующих вагонах, на иные перроны с пересадками Герасим выходил из вагона, смотрел в черноту туннелей, прислушивался и принюхивался. На «Боровицкой» Шеврикука не выдержал и подошел к громиле.

– Ну что, Герасим? – сказал Шеврикука. – Здорово! Как поживаешь?

– А, это ты за мной шастаешь… – сказал Герасим, но без раздражения и угроз в голосе.

– И где же он? – спросил Шеврикука.

– Тебе-то что? Впрочем, ты все равно не отстанешь… Там… Где-то там… в недрах… Все притягивает и притягивает меня, а притянуть никак не может… Мне же самому лезть к нему сейчас не резон… И охоты нет… Но ведь притянет…

– И что он там делает?

– Кто его знает? Может, отлеживается. Может, набирается сил. Может, ждет пособников… Известно только, что по вредности своей в первом часу ночи он морочит башку людям, особенно уставшим или поддатым, гоняет их не по тем переходам, они и до дома добраться не могут…

– Коли так, разыскивать его сегодня нет нужды, – вслух подумал Шеврикука.

– Ты лучше Дуняшу навести, – сказал Герасим, – а то что-то Петюля наш в печали. Ты сходи к ней… На всякий случай…

– Придется сходить, – вздохнул Шеврикука.

– Вот-вот. И я бы тебе советовал не откладывать…

– Сейчас и направлюсь…

«А ведь и на самом деле придется направиться, хотя это и противно. Но вдруг хоть какая ниточка потянется от нее к Любохвату с Продольным, даже если и она, и Гликерия с ними сейчас в деле…»

Нетерпение подталкивало его к действиям скорым. Убедив себя в том, что и нынче создалась сословная необходимость, Шеврикука решил напрячь приданные ему силы. На поиски Дуняши тратить время он не захотел. Выяснил, что Дуняша пребывает в Оранжерее. (Выяснил также, между прочим, что Гликерии там нет, как нет и Любохвата с Продольным.) Встречаться нынче с Горей Бойсом и бабкой Старохановой у Шеврикуки не было желания, и он вызвал Дуняшу в Ботанический сад под маньчжурский орех.

– Так, – сказал Шеврикука, – никаких слов. Никаких слез. Только по делу. Буду спрашивать. Что за похищение? Что за выкуп? И без всякого вранья.

– Тяжко нам, Шеврикука…

– Я вас понял. И не ной. Отвечай быстро.

– Кто похитил – не знаю. Мне лишь доставили кассету с голосом Гликерии. Она умоляет заплатить выкуп.

– Почему – тебе? Служанке. А не какому-нибудь… высокому нынешнему покровителю Гликерии?

– Лишь мне известно, где укрыты вещи и драгоценности…

– Какие вещи?

– Те, за которыми ты ходил с наволочками. То есть те, что остались от твоей добычи. И старые ценности Гликерии.

– И ты так верна Гликерии, что не перепрячешь ее безделушки, а сможешь отдать их похитителям?

– Да, я так верна ей! – сказала Дуняша с вызовом. – Оскорбления же твои я смогу выдержать. Я их заслужила.

– Тебе знакомы Любохват и Продольный?

– Знакомы. Именно они стали или выбраны посредниками похитителей.

– А кто похитители?

– Не знаю. Кто-то в силе. Раз сумели похитить, запугать, укротить Гликерию. И вынудить ее принять их условия.

– Она с ними не в сговоре?

– Зачем это ей?

– Зачем! – усмехнулся Шеврикука. Усмешка его вышла горькой.

– Она с ними не в сговоре, – сказала Дуняша. – И она страдает. Я клянусь.

– Оставьте ваши клятвы при себе, – поморщился Шеврикука. – Если я и проявляю интерес к этой истории, то вовсе не из-за Гликерии и ее страданий, а потому, что имею счет к Продольному и Любохвату. Какие сроки и условия выкупа?

– Завтра в девять утра вещи, по их списку, я должна принести в парк, к шашлычной, сесть там за четвертый столик от входа. Обещано: через час туда доставят Гликерию. Даны гарантии.

– Какие тут могут быть гарантии? – раздраженно сказал Шеврикука. – Кстати, летом я давал Гликерии две вещицы, на сохранение. Где они?

– Они при ней. То есть они были при ней.

– В списке выкупа их нет?

– Нет.

– Ладно. Разберемся с ними позже… Есть у тебя предположения, где они могут держать Гликерию?

– Нет.

– Кассета при тебе?

– Вот она. И вот список.

– Если сегодня дело не выйдет, завтра объявлюсь в парке.

– Она страдала в последние дни, она раскаивалась, она жалела, что вовлекла тебя в ту историю… Поверь мне…

– Сейчас у меня потекут слезы! – рассердился Шеврикука. – Уволь меня от раскаяний и жалостей. Они не имеют отношения к моему делу. К моему, поняла?!

В Землескребе, в квартире акулы Зелепукина, Шеврикука прослушал кассету. Слова произносила действительно Гликерия. И обращалась она именно к Дуняше. Обращалась с мольбой, на этот раз, признал Шеврикука, искренней. Но, конечно, она могла иметь в виду и то, что Дуняша доставит звуковое послание ему, Шеврикуке. И все же, принимая во внимание и это

соображение, можно было посчитать, что Гликерия напугана и измучена. Она не играла. И, судя по звучанию ее слов, состояние ее натуры и духа было скверное. О похищении и выкупе, подчиняясь требованиям бандитов, она просила Дуняшу никому не сообщать, никакого добра, ни украшений, ни нарядов, ни реликвий, не жалеть, тем более что они ей теперь – в тягость, лучше бы их не было.

Кассету Шеврикука прослушивал еще раз десять. Естественно, не для того, чтобы разжалобить себя мольбами и стенаниями Гликерии. Ему надо было выделить, выявить, усилить и опознать шумы, сопутствующие словам пленницы. Кто-то кашлял. Будто бы за стеной. Кто-то щелкал зажигалкой. Может, прикуривал. А может, и подносил огонь к подбородку Гликерии. Автомобили проезжали мимо убежища похитителей, и было их множество. Звук двигателя одного из них показался Шеврикуке знакомым. Шеврикука остановил движение кассеты, усилил громкость, а в себе – чувствительность, «Ба, ба, да на таком же разъезжает Олег Сергеевич Дударев!» – сообразил Шеврикука. Но от знания того, что мимо похищенной прокатил «лендровер» Дударева, цель исследования Шеврикуки не приблизилась. Ну если, конечно, Дударев подъезжал к офису концерна «Анаконда» на Покровке… Это кое-что… Но именно кое-что! Требовалось усилить чувствительность восприятия решительным образом. И вот уже Шеврикука ощущал шорохи вокруг Гликерии и чуть ли не запахи помещения. Кто-то снова кашлянул за стеной и произнес хрипло: «Вольфрам Тырныаузского месторождения, три тонны…» А пахло-то вокруг Гликерии табаками.

Запись слушать более не было нужды.

Шеврикука снова взглянул мельком на список дани. Вещи Марии Антуанетты из коллекции графа Сергея Тутомлина, королевские табакерки, елизаветинские веера, золотые карандаши для записей пар танцоров на ростопчинских балах и прочее и прочее… Экие обнаружились в Останкине любители антиквариата!

Воинственным Шеврикука отправился на Покровку.

В стеклянно-офисной конторе магазина «Табаки и цветные металлы А. Продольного» клиентов было двое, а бронхитно-громко кашляла одна из сотрудниц-стюардесс. Нынче она говорила о титане Березниковского комбината. Шеврикука выскочил на улицу в опасении, как бы не вышел к клиентам из хозяйских помещений сам А. Продольный. Темница Гликерии находилась где-то рядом, за стеклами. Либо над потолком, либо под полом. Скорее всего, под полом, соображал Шеврикука, запахи Табаков исходили наверняка от образцов предлагаемой магазином продукции. То есть со

склада, А склады в покровских домах заводили в подпольях.

В подполье, которого, впрочем, могло и не быть, Шеврикука решил проникать со двора и сквозь стены. Уже в стенах он ощутил, что склад и впрямь есть, он устроен как бункер, не так давно, и в нем на полу лежит пленница. И дверь в нем – бункерная, а при двери – охрана, мощь ее – злообеспеченная. Призывать себя к расчетливым действиям Шеврикука не смог, его вела ярость, он проломил стену и ввалился в склад-бункер, вызвав шум падения коробок и каких-то предметов. За дверью явно обеспокоились. Шеврикука притих. Он начинал видеть в темноте. У его ног лежала женщина. Гликерия. Она была без сознания. Это отчасти обрадовало Шеврикуку. Слышать Гликерию, вести с ней разговор было бы Шеврикуке неприятно. Он старался смотреть на нее не как на страдалицу, не как на хорошо знакомое ему существо, а как на улику, способную изобличить Продольного и Любохвата. Связали Гликерию не веревками, а проволокой, похоже, что колючей. Мучили ее жестоко. («Ну как же, легко ли вынудить женщину отказаться от нарядов и побрякушек накануне зимнего маскарада!» – подумал Шеврикука, но тут же посчитал свое соображение недостойно-грубым.) Шеврикука освободил Гликерию от варварских пут, отодрал пластырь от глаз, кляп хотел оставить во рту, но после колебаний вытащил и кляп. Тихонько подошел к двери, толкнул ее плечом – легче сдвинуть Останкинскую башню. Ногой задел за что-то. Предмет был, кажется, знакомый. «Ба, да это же концебаловский Омфал! – поразился Шеврикука. – Копия дельфийского Пупа Земли. И он здесь!»

За дверью обеспокоились всерьез.

– Там кто-то возится! Там что-то делают! Зови хозяев!

Сверху загремели шаги.

– Это Шеврикука! – донесся до Шеврикуки нервный выкрик Продольного. – Там Шеврикука!

– Ты бредишь, что ли? – Теперь уже говорил Любохват. – Откуда там может быть Шеврикука? Да он эту бабу после всего сам бы прибил с радостью!

– Там Шеврикука! – твердил Продольный. – Я говорил тебе… Открывайте дверь! И стволы! Стволы!

Шеврикука схватил Омфал.

Сколько там их, за дверью? И на что способны их стволы?

Гликерия, похоже, стала шевелиться за его спиной. Застонала. Пронести ее сейчас сквозь стены ему вряд ли удалось бы.

А дверь, возможно из прочнейших сплавов, произведя скрежет, стала рывком сдвигаться вправо. В открывшийся проем ворвались трое. В темени

бункера они не углядели Шеврикуку. Мгновений ему хватило для того, чтобы ударами базальтового Омфала в ярости сокрушить троих нападавших. Двое других – это были Любохват и Продольный – бросились вверх по лестнице, просто уносить ноги, но возможно, что и за подмогой. Или за подкреплением Сил.

– Шеврикука! Это ты…

Шеврикука обернулся. Гликерия уже стояла на коленях.

– Можешь идти? Быстро и за мной! – приказал Шеврикука.

– Шеврикука! Прости меня!

– Нет времени! Сейчас они вернутся. Или затворят дверь!

Шеврикука дернул Гликерию за руку. Но не смог сдвинуть ее с места.

– Если ты меня не простишь, – прошептала Гликерия, – я останусь здесь.

«Надо было идиоту вынимать у нее изо рта кляп!» – осерчал на себя Шеврикука.

– Хорошо, хорошо! – быстро произнес Шеврикука. – Я тебя прощаю. И я тебе не судья.

– Ты говоришь это вынужденно. И не от всего сердца. Без твоего прощения я отсюда не выйду.

– Ладно. Торжественно прошу принять мои прощения, – заявил Шеврикука. – Более я не держу на тебя досады. Вставай и иди. И никаких слов. И никаких жестов!.. Ну вот! Мы уже и опоздали!

Сверху неслись Любохват и Продольный с трубами в руках, похожими на гранатометы.

– Любохват и Продольный! – раздалось сейчас же. – Бросьте оружие! И замрите!

Возможно, для усиления впечатлений зажглись светильники. Над застывшими Любохватом и Продольным стоял Илларион. Острие его серебряной шпаги упиралось в камень лестницы. За плечом Иллариона Шеврикука увидел Пэрста-Капсулу.

– Шеврикука, – сказал Илларион. – Тебя ждут разочарования. Да, они позорили честь сословия. Но они всего лишь навсего грабители и мошенники.

И тут совершенно неожиданно для всех, для Шеврикуки, во всяком случае, безусловно неожиданно, на лестничную площадку въехало четырехосное транспортное средство, виденное им однажды на Звездном бульваре. То ли ванна, то ли лодка, то ли коляска, предназначенная для передвижения амазонского змея Анаконды. И теперь под прозрачным колпаком боевым орудием пребывал в ней именно амазонский змей. А за

штурвалом управления находился запыхавшийся Сергей Андреевич Подмолотов, Крейсер Грозный.

– Мы не опоздали, Игорь Константинович? – поинтересовался Крейсер Грозный.

– Вы не опоздали, – строго сказал Илларион. При этом он с подозрением взглянул на Шеврикуку.

И тотчас же произнес:

– Даму я беру под свою опеку. А вы… Игорь Константинович… будьте любезны отконвоировать мошенников в Останкино, к Артему Лукичу. Вот вам моя шпага.

И бросил Шеврикуке серебряную шпагу.

В мгновение, когда шпага летела к Шеврикуке, бритоголовый боевик, называемый Любохватом, ожил, дернулся и понесся по лестнице. Илларион, видимо, посчитал низким для себя делом останавливать беглеца подножкой. Шеврикука бросился вдогонку за Любохватом в верхние помещения магазина, а потом и на Покровку.

Но нигде Любохвата не обнаружил.

80

Естественно, Шеврикуку ждали разносы, сначала в Останкине, в Большой Утробе, а затем в Китай-городе, в Обиталище Чинов, под Старым Гостиным двором.

Выходило, что Шеврикука своими авантюрными и безрассудными («бесстыжими», было и такое мнение) действиями почти что сорвал долговременную и кропотливую операцию. Или хотя бы почти рассекретил ее. За Любохватом и Продольным следили давно. И не только за ними. Трое сокрушенных концебаловским Омфалом, стороживших при двери бункера, были из мелких тварей Темного Угла, их позвали в долю, они и продались. Но они-то – пескари. А теперь мало того что сбежал Любохват, могли уйти на дно щуки крупные, затаиться где-нибудь под корягами либо в иле. И исчезновение Любохвата – дело чрезвычайно неприятное. Это – личность опасная, изобретательная и коварная.

– Любохват за мной, за мной! – твердил Шеврикука. – Будет отловлен и доставлен.

– Ни в коем случае! Никакой самодеятельности! – кричали на него. – Никакой охоты в одиночку! Да он вам не по зубам!

– Он мне не по зубам? – возмущался Шеврикука. – Это мне-то не по зубам! Этот осквернитель чести сословия! Да еще при приданных мне силах!

– Не было у вас никаких приданных сил, – разъясняли ему. – Такова у вас натура, что велено было отозвать от вас временно приданные вам силы и полномочия, чтобы вы не втравили нас в передрягу. Сообщить вам об этом по небрежности забыли. Как вы сумели уцелеть в своем предприятии, удивительно! Петр Арсеньевич не уцелел…

Тут и Шеврикука удивился. А он-то, дуралей, этим отозванным от него силам ставил задачи, приказывал, был уверен в них. Раздосадованный, он чуть было не накричал на собеседников. Но что досадовать-то! Значит, и сам он, просто Шеврикука, был кое на что способен. А впрочем, большим открытием это назвать было нельзя.

Воровали Любохват, Продольный с командой или в чьей-то команде для продаж коллекционерам. Ублажали их тайные страсти и причуды. Естественно, с выгодой для себя. Именно причуда заставила их произвести марьинорощинский раскоп. Некий свежий делец пожелал, чтобы одна из спален его особняка вблизи Барселоны была обставлена под московскую

малину сороковых годов. Черную кошку завести было легко, а вот обстановку… О сгоревшей некогда малине Дуськи Полтьевой Продольный вызнал у Петра Арсеньевича, тот ему даже план погреба начертил. Заказчик предметами быта, откопанными в 11-м проезде Марьиной Рощи, остался чрезвычайно доволен. Он и мебель завел по рекомендациям Продольного и по аналогии с киношной малиной Горбатого. И ему перестали сниться кошмары. И прошла тоска. Но клады из Марьиной Рощи (кстати, Пэрст-Капсула копал там тщательнее и выбрал из земли Продольным не востребованное) были почти исключением. Обычно Любохват и Продольный добывали (воровали, мошенничали) вещи музейные. И для коллекций заграничных. Эгоистически-закрытых. Гонорары получали валютные. Подъехали к одному придурку и убедили его в том, что он потомок Кутузова и, стало быть, имеет все права на бывшую собственность фельдмаршала. Тот так воодушевился, что позволил себе изъять экспонаты – ордена, шпаги, мундиры – из кутузовской избы в Филях. Теперь они в Канаде и на Соломоновых островах. Среди последних заказов Продольному были угличский опальный колокол и рояль Петра Ильича из клинского Музея.

– Что же вы на меня кричите? – поинтересовался Шеврикука. – Теперь-то уж точно колокол и рояль останутся в Угличе и в Клину.

– Но на тех-то, кто над Любохватом и Продольным, уже вышли, а улик и доказательств не набрали, и наберем ли теперь из-за авантюры вашей милости?

– Будут улики и доказательства! – заверил Шеврикука. И спросил: – А Концебалов-Брожило?

Нет, сказали ему. Концебалова подозревали. Но нет. Омфал понадобился ему не для продажи. Исключительно из-за собственного его тщеславия. Тщеславен мнящий себя Блистонием, тщеславен. Иметь Пуп Земли, хотя бы копию его, он пожелал ради самоутверждения. Любохват же получил заказ на него от салоникского владельца кораблей. Надо заметить, что разведчики в команде Любохвата – Продольного были искусные. И наводили их личности осведомленные. Об иных из них известно, но не обо всех. А потому Шеврикуку за дурость следовало наказать. И хотели наказать. Уже и бумага была составлена в Большой Утробе с предложением выгнать Шеврикуку из действительных членов деловых посиделок, лишить его двух подъездов в престижном Землескребе и отправить на улицу Кондратюка в хрущобу. Но в Обиталище Чинов этой бумаге ходу не дали, что существенно озадачило останкинских укорителей Шеврикуки. Сам же Шеврикука получил повод важничать. То есть он и не особо важничал, а

несколько успокоился и пообещал себе выследить Любохвата и захватить. Всяческие запреты лишь подталкивали его к действиям. Как наследник Петра Арсеньевича, он полагал себя имеющим право отплатить негодяю. Старик хотел побороть прохвостов, но воин в нем угас, и они, возможно, в сговоре с Отродьями Башни (Петр Арсеньевич тем явно мешал) его извели. Стало быть, поиски и одоление Любохвата были теперь для Шеврикуки делом чести. Только бы тот не сбежал куда-нибудь в Мньяму или в Объединенные Эмираты.

Нечаянное явление в магазине Продольного Крейсера Грозного и амазонского змея вскоре получило объяснение. Продольный давно крутился вблизи змея. Крейсеру Грозному его рожа была знакома и противна. Редкостный по величине змей, да еще и с прекрасной родословной, уворованный, мог бы принести Любохвату с Продольным приличный денежный приз. В крайнем случае они сумели бы пустить его шкуру на обшивку коммерсантских портфелей. И змей, видимо, ощутил интерес Продольного к его независимой личности. В минуты, когда Шеврикука проник в склад-бункер, змей в своем корабле на колесах чрезвычайно разволновался и вынудил Сергея Андреевича доставить его именно в магазин «Табаки и цветные металлы». Он, пожалуй, мог бы в те мгновения и заглотить стервеца.

– А дамочку-то вашу, Игорь Константинович, – сказал Крейсер Грозный, – этот ваш приятель, который в черном плаще и со шпорами, увез куда-то на такси…

И глаза его стали очень хитрыми.

Шеврикука собрался было пошутить насчет гвоздик и маньчжурского ореха, но раздумал.

– А он, ваш приятель-то, мне понравился… Он обещал прийти в гости к змею… На дегустацию провизии и напитков змея… С вами вместе…

– И с императором… – сказал Шеврикука в раздумье.

– С каким императором? – насторожился Крейсер Грозный.

– С каким-нибудь… Вы-то ведь пили с императором…

– А как же! Я пил с императором Хайлем Селассием!

– Вот и он пил…

– С Хайлем Селассием? С эфиопским? – Крейсер Грозный чуть ли не возмутился.

– Кроме эфиопов и другие народы имели императоров, – заметил Шеврикука.

Сам же он и думать не думал ни о каких императорах. Упомянутая Сергеем Андреевичем дамочка, увезенная на такси, дала совершенно иное

направление его мыслям. Говорить о чем-либо с Гликерией Шеврикука не желал. Но полагал, что получить от нее две вещицы, переданные ему некогда Пэрстом-Капсулой и по договоренности с Гликерией оставленные у нее на сохранение, ему необходимо. Хотя бы одну из них. Посылать же за вещицами Пэрста-Капсулу вышло бы неучтивостью. И Шеврикука пригласил Дуняшу в парк, к той самой шашлычной, где не состоялось свидание Дуняши с посредниками похитителей. Или Любохват все же являлся к шашлычной?

Он уже не жалел о том, что простил Гликерию. Он даже сузил смысл прощения. Он простил Гликерии ее выходку-уловку. А кто он был такой, чтобы иметь право судить Гликерию, назначать ей наказания или помилования? Никто. Он мог жить с собственным частным мнением о Гликерии. И только. Ко всему прочему, он был присушен Гликерией или к Гликерии. Но на каждую присушку есть отсушка. Средства отсушки Шеврикука хорошо знал. Хотя бы из простодушных заклинаний Петра Арсеньевича. И в острые минуты обиды в сокольническом томлении мысль об отсушке, немедленной причем, приходила ему в голову. Теперь же, после того как он простил Гликерию, желание отсушки как будто бы и отменялось. Прощение в магазине на Покровке вышло и впрямь вынужденным. Но, может, оно и к лучшему. Иначе он долго бы маялся сомнениями: прощать, не прощать. А простив, он получил явственное облегчение. Да и скучно было бы ему существовать без Гликерии. Гликерия Андреевна Тутомлина была его вечным приключением. В грядущем же не исключались и самые неожиданные повороты в их отношениях.

В парке, у шашлычной, Шеврикука сразу же объявил Дуняше о цели своего прихода. «Хорошо, хорошо, – заверила его Дуняша. – Я принесу тебе их». Тотчас же Шеврикука осознал неловкость положения. Выходило, будто бы он, как при детских раздорах, явился требовать свои игрушки.

«Знаешь, – поспешил он, – мне-то нужна одна вещь. Для дела. Та монета, что теперь вправлена в перстень. А другая, фибула, пряжка, пусть так и останется украшением ремня…» Шеврикука не стал объяснять Дуняше, для какого дела ему понадобится золотая монета, условно названная Петром Арсеньевичем оболом, то есть пропуском куда-то, неизвестно куда, может, и в ловушку. Да и понадобится ли? Но предчувствие подсказывало Шеврикуке, что понадобится. И очень может быть, что этот обол и выведет его на Любохвата.

На другой день, при возвращении обола, Дуняша попыталась передать Шеврикуке и некие слова Гликерии. «Не надо! – остановил ее Шеврикука. – Не надо!» И все же он был принужден выслушать сведения

об обстоятельствах нынешней жизни Гликерии и Дуняши. Когда Шеврикуку размуровали и возродили, обо всем тут же стало известно. От Гликерии отвернулись, в хорошее общество ее перестали приглашать. Да и она сама поняла, что натворила, пребывала в затворничестве и отчаянии. Ее уязвимость почувствовали Любохват с Продольным, потому и затеяли похищение. Но после похищения мнение о Гликерии изменилось, ее теперь жалеют, ей сострадают, и наверняка они с Дуняшей будут приглашены на зимний маскарад.

– Вот и повеселитесь, – сказал Шеврикука.

– Какие уж тут, Шеврикука, веселья, – печально вымолвила Дуняша. – А всю твою добычу Гликерия готова вернуть в коллекцию Тутомлиных.

Шеврикука пожал плечами и удалился, успев, уходя, произнести:

– Привет Петюле!

81

А во дворе дома на Покровке заканчивалось возведение бассейна Парадиза со стеклянной крышей-башней для амазонского змея Анаконды. При очередной встрече с Шеврикукой Сергей Андреевич Подмолотов напомнил о необходимости продегустировать провиант и напитки змея.

– И приятель ваш обещал посетить, – сказал Крейсер Грозный, – который со шпорами… Как его…

– Илларион… Илларион Васильевич…

– Вот-вот! Илларион Васильевич! Шеврикука, полагая, что Крейсер Грозный от него не отвяжется, а собственное его любопытство не истает, попросил Сергея Андреевича назначить срок дегустации. Сергей Андреевич назначил. И сообщил, что со стороны змея принимать участие будут Алексей Юрьевич Савкин, зоотехник и ветеринар, а также всеобщий японский друг Сан Саныч. Игорь Константинович же с Илларионом Васильевичем могут привести с собой приятелей и приятельниц, хорошо бы – истинных гурманов.

– Не знаю, – сказал Шеврикука. – Я-то приду. А вот Илларион Васильевич может быть и занят. А может быть он и в отъезде.

Шеврикука опасался, что Илларион пошлет его подальше, но все же постучался к нему. Нет, Илларион о своем обещании помнил и желал корм змея попробовать.

Возможно, что сотворители Парадиза Анаконды изучали особенности Оранжереи, в чьей теплой воде одно время ютился змей, или они выразили в сооружении свои представления о рае. Бассейн Анаконды был хорош и озеленен листьями лотосов и викторий, хрустальным конусом (или шатром?) с серебряными перехватами возвышалась над ним воздушная башня, под ее стенами уже произрастали пальмы с бананами и корявые амазонские деревья, будто канителью, перевитые лианами. Цветные тропические птицы резвились в высях, на лианах же озорничали мартышки.

– Змей там, – указал Крейсер Грозный. – Дрыхнет. Но здесь еще недоделки. Пойдемте в гостиную.

– А пираний в Парадизе нет? – спросил Шеврикука.

– Нет! Нет! Как вы могли предположить!

В гостиной, примыкавшей к вольеру личной зебры зоотехника и ветеринара Алексея Юрьевича Савкина, столы были накрыты. Шеврикуку

и Иллариона Васильевича принимали и не как гостей вовсе, а как работников, как экспертов и инспекторов, или даже аудиторов, уполномоченных подписывать заключительные и требовательные бумаги. Коли по итогам дегустации будут обнаружены несоответствия процветанию змея.

– Как будете проводить? – спросил Крейсер Грозный. – По спискам? Или по аппетитам? Если по спискам, надо начинать с овсов.

– По аппетитам, – сказал Илларион.

Список угощений змея Анаконды был составлен Крейсером Грозным по подсказкам Шеврикуки, вспомнившего о меню персидского слона, украшавшего Петербург в годы Елизаветы Петровны. В список попали и тростники, и ананасы, и мускатные орехи, и шафран, и макароны по-флотски, и солянка московская, и борщ, и сорок ведер виноградных вин, и шестьдесят ведер водки…

– Только и всего? – высокомерно спросил Илларион.

– Нет, конечно, – сказал Крейсер Грозный. – Организм змея еще много чего потребовал.

– Рыбу-то он, возможно, принимает?

– Принимает. По четвергам…

– Ну, тогда разумно начать дегустацию с рыб осетровых пород, – предложил Илларион. – С икорками…

– Истинно так! – обрадовался Крейсер Грозный. – Истинно так! А потом перейдем на поросят. Он, стервец, ужас как любит заглатывать поросят.

Водка подавалась змею исключительно завода «Кристалл», лишь иногда – от волжских берегов, самарского ликеро-водочного. Похоже, что Крейсер Грозный, его японский друг Такеути-сан, Сан Саныч, и зоотехник Алексей Юрьевич Савкин (это был черно-красивый мужчина с буденновскими усищами) в ожидании гостей уже приняли для приличия аперитивы и, мягко сказать, назюзюкались. Они не падали, не теряли аппетита, лишь по укорам Крейсера Грозного Сан Санычу можно было догадаться о степени их долговременной подготовки к дегустации. А укорял Сергей Андреевич так: «Вот у вас, Сан Саныч, есть император, а ты с ним не пил! А я пил с императором! С ихним, с эфиопским! Как раз перед тем, как мы пошли с дружеским визитом на Амазонку за змеем! Эй, змей! Ты дрыхнешь, а ты тоже не пил с императором!» «Не верю! – качал головой японский друг. – Не верю!» «Не веришь! – трубил Крейсер Грозный в возмущении. – Да хочешь, я позову императора? Спроси его!»

Шеврикука подмигнул Иллариону.

И сейчас же за столом обнаружился пожилой мелкокурчавый негр в коричнево-оранжевом балахоне.

– Хайле! Селассия! – бросился его обнимать Крейсер Грозный. – Они мне не верили! Савкин, наливай! Все пропьем, а флот не опозорим! А вы мне не верили! Ну и не будете пить с императором!

– А мы пригласим своего императора, – заявил Илларион. Сегодня он был в темно-синей деловой тройке, без сапог и шпор.

В гостиную стремительно вошел император Павел Петрович, будто прямо из Гатчины. Только нынче при нем была его знаменитая палка.

– Милости просим! – вскочил Сергей Андреевич, соображая при этом вслух. – Это кто же у нас был такой курносый?

– Павел, Павел… – прошептал ему Шеврикука.

– Точно, Павел! Паша, садись сюда, напротив эфиопского. Савкин, гони стакан! Ба, а тут еще и флотский! – обрадовался Крейсер Грозный.

Флотским, естественно, оказался Александр Федорович Керенский.

«А этот-то зачем приплелся?» – Шеврикука с удивлением посмотрел на Иллариона. «Ничего, ничего…» – успокоил его Илларион.

Опасения Шеврикуки, что Павел Петрович кого-нибудь отдубасит и сошлет в Сибирь, оказались напрасными. Павел находился в шутейном состоянии духа и с удовольствием выслушал историю хождения черноморского крейсера секретным фарватером под Африкой в Парагвай и обретения амазонского змея, подтвержденную мычанием эфиопского императора. Некую нервозность за столом вызвали отказы братишки Александра выпивать с компанией.

– Я не пью! Я не пью! – твердил он.

– Да какой же ты флотский! – возмутился Крейсер Грозный. – Может, ты какая баба переодетая? Сестра милосердия какая!..

– Ну, это вы грубо, Сергей Андреевич, – покачал головой Шеврикука.

А Александр Федорович нервно съежился и принял от зоотехника Савкина стакан. И пил далее.

Когда откушали солянку по-московски, разговор зашел о змее, как о живом символе концерна «Анаконда». Вспомнили, что с помощью змея бразильские хирурги вернули Сергею Андреевичу главные достоинства, каким нанесли ущерб бандитские пираньи. А потому разумно было говорить о фаллическом, дионисийском смысле именно этой змеиной особи, а стало быть, и о том, что своим присутствием змей-символ предназначен служить плодородию, процветанию, вакханалиям и росту концерна «Анаконда».

– Он как там, в манаусском госпитале, – вспомнил Крейсер Грозный, –

поднялся в полный рост, все и охнули… А уж тут-то, в Парадизе, да на московских харчах… Пойдемте к нему! Сейчас мы его поднимем. Под самую крышу!

Спустились к бассейну. Призывы Сергея Андреевича приподняться были оставлены змеем без внимания. Случилось лишь слабое колыхание листьев виктории. Да мартышки будто бы смеялись.

– Паш, – обратился к Павлу Петровичу Крейсер Грозный, – будь добр, дай-ка мне свою палку.

Усердия палки возымели действие. Змей высунул из воды морду. И даже поднял ее метра на три. «Давай! Давай, родимый! – поощрял его Крейсер Грозный. – Помнишь, как в Манаусе…» Сан Саныч и Савкин побуждали змея бодрствовать стрельбой из рогаток. Затем, поскребя буденновские усищи, Савкин предложил подвесить на лианах жареного поросенка, тогда у змея возникнет животный стимул. На лианы с поросенком отправили эфиопского императора. Украшение лианы заинтересовало змея. Он поднялся было метров на семь, но потом расхотел, опал и скрылся под лотосами и викториями.

– У, скотина! – осерчал Крейсер Грозный. – Разнежился! Отъелся на московских харчах!.. Или, может, харчи не те?..

Тут же вспомнили, что Игорь Константинович и Илларион Васильевич приглашены в Парадиз в качестве экспертов и инспекторов, должных определить, нет ли в провианте и напитках змея каких-либо изъянов, способных навредить здоровью не только самого змея, но и хрупких погонщиков и дегустаторов. Вернулись в гостиную. Изъяны, естественно, были обнаружены. Требовалось немедленно составить челобитную-рекламацию на имя господ Кубаринова и Дударева. За бумагу усадили Алексея Юрьевича Савкина, текст же ему подсказывали все, с эфиопского (ахмарского) переводил Крейсер Грозный. Шеврикука вспомнил челобитную погонщиков елизаветинского слона, и его фраза «к удовольствию змея водка, поставленная в ящиках 30 ноября, неудобна, понеже явилась с пригарью и некрепка» была положена на бумагу. Подписи под челобитной среди прочих поставили императоры Хайле Селассие и Павел Петрович. А под ними и флотский, Александр Федорович.

– Народ не унывает! – потряс бумагой Крейсер Грозный.

И Сергей Андреевич предложил подписавшим исполнить хором «Прощайте, скалистые горы!». Что и было исполнено.

82

Утром Шеврикука чувствовал себя скверно. Снег шел густой. В Сокольники, что ли, съездить, раздумывал Шеврикука, или сходить в Ботанический сад? Пошел в Ботанический сад. Один из столбов металлической ограды притянул Шеврикуку. Будто что-то призывно трещало на нем. Или верещало. Паучок сидел на столбе, ему бы замерзнуть, а он ползал, видно, был искусственного происхождения.

– Шеврикука, – раздалось из паучка. – Это я, Бордюр. Тот, кто называл себя Бордюром.

– И что? – спросил Шеврикука.

– Мы вас недооценили. Как и все ваше сословие. А именно вас-то надо было уничтожить еще в июле…

– Что-либо изменилось бы?

– Может, и ничего не изменилось бы, – печально прошептал Бордюр. – Мы ослабли… Мы искорежены… Но мы еще кое на что способны… Меня нанимают компьютерным вредителем… Мы воспрянем… И вы от нас хорошего не ждите…

– Мы и не ждем, – сказал Шеврикука. – Вы подозвали меня, чтобы сообщить мне это?

– Нет. Открывшись вам, я поступил неблагоразумно, – сказал Бордюр. – Но я уже не мог… У меня к вам личный мучительный интерес… Он меня жжет… В чем сила ваших бархатных бантов?.. Почему вы их развесили перед Чашей?

– Кабы я сам знал! – чуть ли не вскричал Шеврикука. – Это и для меня тайна!

– Я так и полагал, что вы мне не скажете, – прошептал Бордюр. – Но я уже не мог…

– Да нечего мне вам сказать! – Шеврикука готов был выругаться.

А верещащий паучок исчез со столба.

«Отродья окрепнут, Бушмелев окрепнет… Любохват пойдет с ними… – размышлял Шеврикука. – Так и будет, А Векка-Увека? Она ведь выходила на Отродий… По моей же подсказке…»

На всякий случай Шеврикука направился к маньчжурскому ореху. Но никакая миловидная барышня в пушистой шубенке, с трогательной беличьей муфтой под орехом его не поджидала…

В Салоне благодействий и чудес в Сверчковом переулке Шеврикуку

встретили с шумом и приязнью. Шеврикука опасался сегодняшних проявлений расположения к нему Совокупеевой, но жаркая женщина Совокупеева вела себя чрезвычайно деликатно. К тому же все были оживлены новостью: через две недели произойдет наконец свадьба Леночки Клементьевой и Мити Мельникова. Уж на что был опасен сейчас Шеврикуке Крейсер Грозный (вдруг – новая дегустация!), но и тот обошелся с ним милостиво, никуда не потянул, а только сытно пофантазировал по поводу свадебного застолья. «Помнишь, Игорь Константинович, – подтолкнул он Шеврикуку, – как славно мы посидели на поминках Департамента Шмелей!» Никаких намеков на особенность отношений Крейсера Грозного с Веккой-Увекой Шеврикука не углядел. Может, ничего и не сложилось? Или – гвоздики съедены, опали лютики?.. И такое могло быть. Увека же лишь помахала Шеврикуке ручкой, в разговор с ним не вступала, будто бы и не молила его (и не раз) оказать ей честь – сделать помощницей в его, Шеврикуки, делах. Может, дела эти ее разочаровали. А может, увлекли ее новые затеи и интересы. Оно и к лучшему. Пусть поживет в них.

В связи с зимними каникулами футбольные заказы почти прекратились (остались лишь – связанные с перекупкой игроков), но поступали заявки баскетбольные, хоккейные и – единичные – от фигуристов (падения соперников, выбоину устроить, шпильку для волос обронить на лед). Но все чаще оплачивались пожелания, для Салона – «профильные», вызванные лирическими или гражданскими причинами. Снять порчу, вернуть мужа, отбитого злыдней-красоткой, найти украденный «форд» (поручения ясновидящим – Векке-Увеке и супруге Радлугина), выбить неплатежи, отменить заказной взрыв (исполнитель – колдун, хахаль Радлугиной) и т. д. Забегал в Салон Олег Сергеевич Дударев, шумел, распоряжался и убегал на Покровку. Офисные помещения концерна были почти отделаны, а вот реставраторы в исторических залах тянули, капризничали, то мрамор италийский был им нужен, то бронза и хрусталь для люстр-паникадил. «Придется терпеть и тратиться, но уж все будет как у Тутомлиных, и даже лучше! – разъяснял Шеврикуке Дударев, затащивший Игоря Константиновича в дом на Покровке. – Но и не дождавшись реставраторов, скоро будем освящать здание. Освящать! Как же без этого! Тем более после черного столба…» Он не забыл напомнить Игорю Константиновичу о том, что его заработная плата снова увеличена и ее непременно выдадут. А в день открытия Парадиза амазонского змея Игорь Константинович сможет рассчитывать и на премию. Дударев находился в чудесно-щедром расположении духа, ему уже и сейчас, похоже, не терпелось что-нибудь

выдать достойнейшему Игорю Константиновичу.

– Вот, Игорь Константинович, я вам одну вещь презентую, если не возражаете.

– Не возражаю. Отчего же… – без охоты, из вежливости произнес Шеврикука.

Дударев открыл шкафчик, достал оттуда бинокль и протянул его Игорю Константиновичу. Это был хорошо знакомый Шеврикуке перламутровый бинокль.

– Спасибо… – растерялся Шеврикука. – Спасибо! Вещь изящная. И, видно, старинная…

– Старинная, – подтвердил Дударев. – Может, и от самих Тутомлиных. Сыскалась при ремонте нижних помещений.

– А более там ничего не сыскалось? – медленно, стараясь не выдать волнения, произнес Шеврикука.

– Нет, более ничего. Уже после этой находки там ковыряли, ковыряли и щупы приволакивали, но более ничего не нашли.

– Может, еще и найдут… – предположил Шеврикука. – Очень вам признателен… Даже неловко принимать такой подарок…

– Берите, берите! – барином поощрял его Дударев. – Вы его заслужили. Рад, что он вам приглянулся. В театр с ним сможете сходить. В Малый или в Большой…

– Непременно, – пообещал Шеврикука.

– Да, Игорь Константинович, а вы слышали про Мельникова-то с Клементьевой?

– Слышал, – сказал Шеврикука.

– Очень хорошая новость! Очень! После свадьбы мы заставим этого гения Митеньку потрудиться на концерн!

– Будем надеяться…

«Вот уж для кого, наверное, это хорошая новость, – подумал Шеврикука, – так для Пэрста-Капсулы…» В дни недавних недомоганий Пэрста-Капсулы чрезвычайно занимало, как у этих двоих дела. Не исключено, что Пэрст-Капсула находился теперь вблизи Мельникова и Клементьевой, возможно и не объявляя себя. Несколько дней Шеврикука его не видел. И не искал. Полагая, что, коли случится надобность, Пэрст-Капсула сам возникнет. И если пожелает, расскажет о своей жизни и своих развлечениях. Он натура теперь самостоятельная…

Через четыре дня Сергей Андреевич, Крейсер Грозный, снова позвал Шеврикуку поглядеть на змея.

– Только без дегустаций, друзей и императоров! – потребовал

Шеврикука.

– Именно! Именно! – согласился Крейсер Грозный.

– А в чем дело? – спросил Шеврикука.

– Увидите! – зашептал Крейсер Грозный. – Осознал, стервец! Мы его с того дня не кормили. Только вы об этом Кубаринову и Дудареву не говорите.

В предвкушениях презентации Парадиза полпрефекта Кубаринов и Дударев явились наблюдать змея. Кто за отсутствием эфиопского императора развешивал на лианах запеченных поросят, Шеврикука узнавать не стал. И Крейсер Грозный был крепок и смел и уж наверняка смог бы лазать по мачтам и вантам, и находились при нем японский марафонец Сан Саныч, штурмовавший Останкинскую башню, и ковбой-зоотехник Алексей Юрьевич Савкин. Оголодавший змей был подведен к необходимости духовного и физического подъема. Что и был вынужден сделать к удовольствию наблюдателей. Пришитый некогда Сергею Андреевичу бразильскими хирургами и явленный впервые публике, змей сначала как бы танцевал в воздухе, складывался в кольца, а уж потом поднялся в полный рост. Правда, под углом, мешал потолок. Это – в манаусском госпитале. Сейчас же змею было не до танцев, манили поросята, да и мартышки могли с ними пошутковать. Змей по сигналу погонщика и научного руководителя выпрыгнул из воды будто бы с намерением взлететь в поднебесье, выпрямился во все свои одиннадцать метров, замер на мгновение, показав публике, каков он змей и каков красавец, а затем, сверкая кожей, совершил полет к поросятам, заглотал трех, перевернулся мордой вниз и, вызвав брызги, пропал под лотосами и викториями. Публика не расходилась и, чтобы не помешать пищеварительному процессу, не шумела, а лишь повторяла уважительно: «Хорош! Хорош!» Крейсер Грозный был горд змеем, Кубаринов пожимал руку Дудареву. После нынешнего показа змея не вызывало сомнений: концерн «Анаконда» будет процветать и заглатывать. Через неделю ожидалось открытие первого дочернего предприятия концерна – Михайловской фабрики по производству рогаток.

А Шеврикука представил себе, каким мог бы стать змей, коли бы у него отросли хотя бы четыре перепончатых крыла. Ну и башка бы его увеличилась. Дракон, не дракон… Но может быть, и дракон. И тут же подумал о Бушмелеве…

Опять он вышел на Епифана-Герасима. Опять последовал за ним в недра столичной подземной дороги. Пробыл там на этот раз до половины второго ночи, пока поезда не прекратили свое рабочее хождение. Епишка

злодея маялся, его корежило, его чуть ли не всасывало в глубины туннелей, но у него пока хватало сил удерживаться и не быть втянутым в дела и жизнь Бушмелева.

А Бушмелев все еще занимался баловством: путал пьяным, уставшим и рассеянным направления при пересадках, особенно на станциях «Тургеневской», «Таганской», «Комсомольской-кольцевой». То ли ни на что другое не был способен. То ли валял дурака, не желая открывать свои возможности. Любохватом вблизи него и не пахло. Вдруг и впрямь он уберегался теперь во Флориде или в Сингапуре.

Наблюдения за Епифаном-Герасимом и Бушмелевым следовало продолжать.

А в Ботаническом саду, в Оранжерее, как и в прежние зимы, динамичным образом, с интригами, досадами и сюрпризами шли приготовления к январскому маскараду. Бывать в Оранжерее у Шеврикуки нужды более не было. А если он что и узнавал о приготовлениях, то из краткостей Векки-Увеки, нередко иронических. «Ваши-то допущены, допущены, – ехидничала Векка Вечная, или Увека Увечная, в Салоне. – Упорядочены в глазах света. Вот уж расфуфырятся! Вот уж повеселятся!» «Пускай фуфырятся. Пускай веселятся, – говорил Шеврикука. – Дамское счастье ваше такое…» А не исключалось, что на этот раз, после публичных признаний и успехов привидений, маскарад им позволят провести в Итальянском павильоне Останкинского дворца…

Многое в Москве может быть забыто через день. Полагалось бы забыть и про Пузырь. Было бы даже прилично забыть о нем. Ну прилетел, ну улетел. Прилетал и Майкл Джексон, и саблю ему, кажется, дарили. Ну и что? И где этот Майкл Джексон? И что нам с него? Правда, была разница. Майклу дарили. Пузырь сам дарил. И из него вывозили, чему были свидетели. Другое дело, сам он пропал и будто бы никогда Москву не посещал. А потому не могло ли все вывезенное из него теперь тоже пропасть, или превратиться в труху, или по сезону – в снег? Такое случается. Шутников в мироздании множество. Но нет, нынче пока такого не случилось. Для успокоения народонаселения в государственные склады были допущены придиры из разных фракций и сообществ, в том числе и из Лиги Облапошенных. Склады были забиты продуктами и вещами, вовсе не намеренными, как было установлено придирами на ощупь, исчезать, преобразовываться в насекомых либо гадов или превращаться в мокрое пятно. Раздачу Пузыря не отменили, высочайшее постановление не подправлялось, но сроки раздачи были теперь неопределенно отодвинуты. В связи с необъяснимым отлетом Пузыря изучались все свойства его

наследства, дабы выстроить научные догадки, что это за Пузырь, откуда прилетал и с какой целью, и определить, нет ли в нем чего губительного для здоровья и нравственно-социального состояния общества. И нет ли тут какого ехидства природы. Гражданам по месту прописок выдали талоны с номерами. По этим талонам в случае благополучия в исследовании натуры Пузыря и предстояло получить каждому свою долю наследства. Естественно, нашлись и будораги. Они кричали: «Чего ждать? Что нам может навредить? Чего не выдержат наши организмы? Вон из тех-то, кто на показательных раздачах отхватил свои галоши, телевизоры, кухонные комбайны, что-то никто не подох и не выродился! А мы чем хуже?» Но за будорагами мало кто шел и горлопанил. Даже Лига Облапошенных призывала потерпеть до решительного выяснения обстоятельств. Нетерпеливые же и скептики талоны продавали. Шеврикуке было известно, что много пузыревых талонов оказывалось в доме на Покровке, в сейфах концерна «Анаконда».

Сам же Шеврикука, несмотря на обещания себе паспорт истребить, не разорвал его и не сжег. И взял талон. На всякий случай. Впрочем, о нем он не думал, а занимался своими делами в подъездах. Заходил иногда и в подъезды прхвоста Продольного. Нового домового туда пока не прислали, а порядок требовалось поддерживать. Все шло одобряемым Шеврикукой чередом. Супруги Уткины смотрели сериалы и наслаждались чаем с крыжовенным вареньем. Нина Денисовна Легостаева перестала тосковать и вновь принимала у себя ухажера Радлугина. О младенце от Зевса она никому не напоминала, себе – в особенности. Тень Фруктова Шеврикука ограничил в правах и возможностях передвижений. Погубленный чиновник мог являться теперь только бакалейщику Куропятову. Без собеседований с Фруктовым Куропятов заскучал бы. Сам же Шеврикука скучал без подселенца Пэрста-Капсулы. Но знал, что тот рано или поздно обнаружится. Вот ведь обнаружился вдруг в Большой Утробе домовой Колюня Дурнев, или Колюня-Убогий, по представлениям Шеврикуки сгибший в баталиях. Колюня-Убогий прошел мимо него с безумными глазами, бил в бубен, слюна капала из уголка его рта. Шеврикуку он не узнал, хотя рыжий нечесаный бездельник Ягупкин толкал Колюню и указывал: «Вон, гляди, Шеврикука!» «Эге! – сообразил Шеврикука. – Как бы не начались осложнения!..» Но осложнения не начинались. Не являлся за должком мошенник Кышмаров (а не был ли он, кстати, связан с Любохватом?). Не приезжал сановитый Концебалов-Брожило в поисках Омфала, возможно, выжидал… А так в подъездах Шеврикуки лампочки горели, лифты ездили, вода в трубах текла холодная и горячая и трубы не

гудели, не ныли, телефоны звонили и батареи позволяли жить квартиросъемщикам в тепле и уюте.

И вот тебе раз!

В морозное утро сквозь стены Шеврикука услышал трубные крики Сергея Андреевича Подмолотова, Крейсера Грозного.

– Игорь Константинович! Игорь Константинович!

Крейсер Грозный стоял перед Землескребом со стороны улицы Королева, в ушанке, в пальтеце, наброшенном поверх тельняшки, и обращался ко всему Землескребу:

– Игорь Константинович!

Рядом попрыгивал в валенках японский прикипевший друг Сан Саныч.

Шеврикука натянул кожаную куртку с подстежкой, кроличью шапку, обогнул Землескреб и приблизился к Сергею Андреевичу со спины, тоже как бы с Королева.

– Что вы, Сергей Андреевич? – спросил он. – Я в магазины выходил…

– Змея!.. Змея уворовали!.. Моего змея!.. Поехали!

И Шеврикука вместе с Сан Санычем был приглашен в автомобиль Дударева.

Один из боков стеклянного шатра-конуса Парадиза змея был раскурочен.

– Отсюда его и уволокли, – сказал Крейсер Грозный.

– А если он сам улетел? – предположил Шеврикука.

– Как это – улетел?

– Получил крылья и улетел. Пожелал стать драконом.

– Его уворовали! Зачем иначе было связывать Савкина с его зеброй?

А действительно, зоотехника Алексея Юрьевича Савкина с его зеброй нашли опоенными и связанными.

– Ну и что? А вдруг кто-то змея с крыльями взнуздал? – продолжил Шеврикука. – Кто-то с булавой и с плетью… А?

– Как же это вы, Сергей Андреевич! – причитал метавшийся по двору Дударев.

– Отыщется! – бросил ему Крейсер Грозный. – Отыщем! Вот и Игорь Константинович поможет!

– Нет, это сущее безобразие! За что мы вам деньги платили! И еще – флотский! И где же ваши рогатки?

Крейсер Грозный более его не слушал. Он смотрел в небо. Он был сейчас трагик.

– Но народ не унывает! – мрачно произнес он.

– Всенепременно с вами согласен, – сказал Шеврикука.